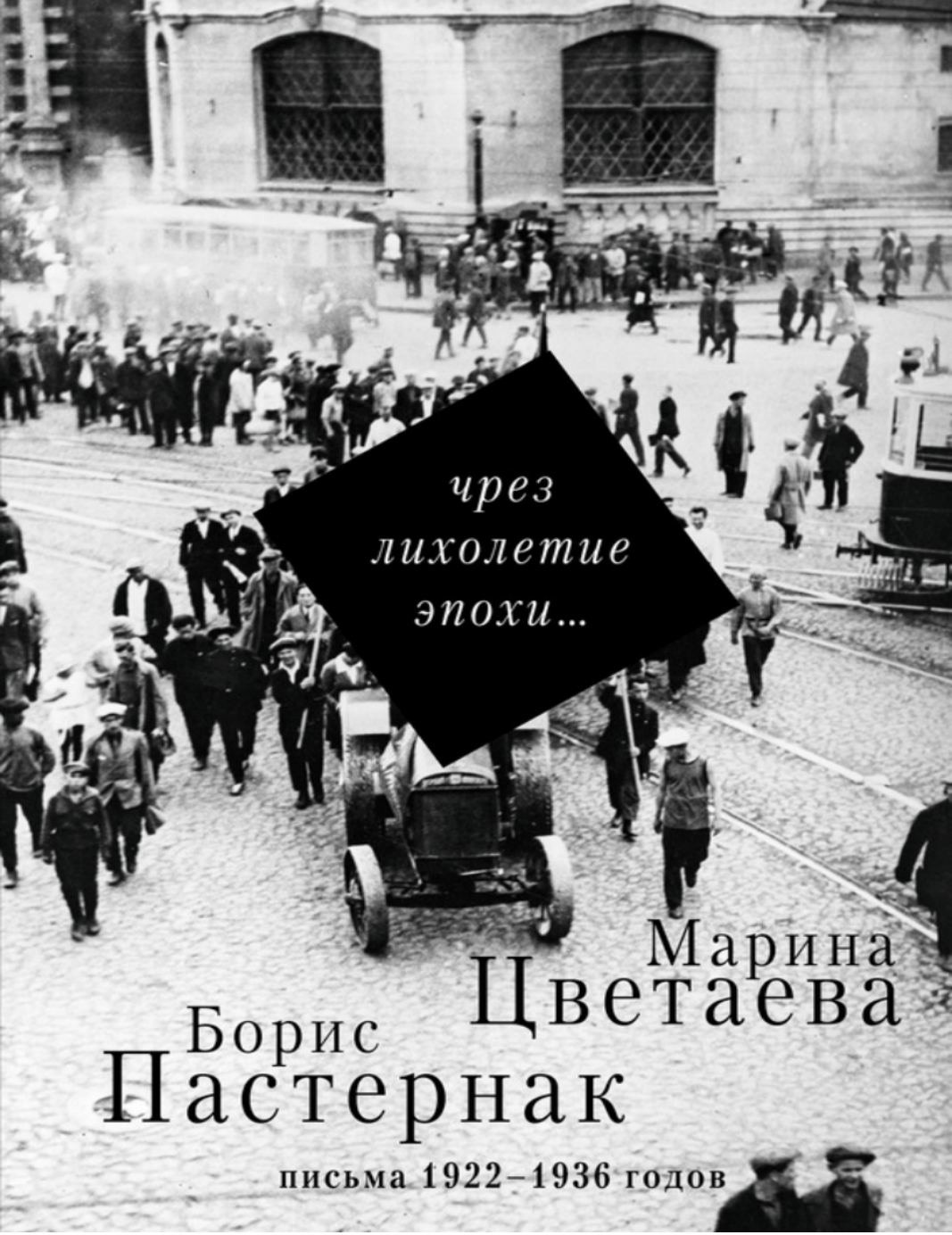


чрез лихолетие эпохи...

Марина Цветаева

Борис Пастернак

письма 1922–1936 годов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».

Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.

- Марина Цветаева, Борис Пастернак
  - ○
  - ○ Предисловие
  - ○ Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
    - ■ Письмо 1
    - ■ Письмо 2
    - ■ Письмо 3
    - ■ Письмо 4а
    - ■ Письмо 4б
    - ■ Письмо 5
    - ■ Письмо 6а
    - ■ Письмо 6б
    - ■ Письмо 7
    - ■ Письмо 8
    - ■ Письмо 9
    - ■ Письмо 10
    - ■ Письмо 11
    - ■ Письмо 12
    - ■ Письмо 13а
    - ■ Письмо 13б
      - ■
      - ■ Приложение
    - ■ Письмо 14
    - ■ Письмо 15
    - ■ Письмо 16

- Письмо 17
- Письмо 18
- Письмо 19
- Письмо 20
  - Провода
- Письмо 21
- Письмо 22
- Письмо 23
- Письмо 24
- Письмо 25
- Письмо 26а
- Письмо 26б
- Письмо 27
- Письмо 28а
- Письмо 28б
- Письмо 29
- Письмо 30
- Письмо 31а
- Письмо 31б
- Письмо 32
- Письмо 33
- Письмо 34
- Письмо 35
- Письмо 36
- Письмо 37
- Письмо 38
- Письмо 39
- Письмо 40
- Письмо 41
- Письмо 42
  -
  - Приложение
- Письмо 43
- Письмо 44
- Письмо 45
- Письмо 46
- Письмо 47
- Письмо 48
- Письмо 49
- Письмо 50
- Письмо 51
- Письмо 52
- Письмо 53
- Письмо 54а

- Письмо 54б
- Письмо 55
- Письмо 56
- Письмо 57
- Письмо 58
- Письмо 59
- Письмо 60
- Письмо 61
- Письмо 62
- Письмо 63
- Письмо 64
- Письмо 65
- Письмо 66
- Письмо 67
- Письмо 68
- Письмо 69
- Письмо 70а
- Письмо 70б
- Письмо 71
- Письмо 72
- Письмо 73
- Письмо 74
- Письмо 75
- Письмо 76
- Письмо 77
- Письмо 78
- Письмо 79а
  -
  - Приложение
- Письмо 79б
  -
  - Приложение
- Письмо 80
  -
  - Приложение
- Письмо 81
- Письмо 82
- Письмо 83а
- Письмо 83б
- Письмо 84
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- 15
- 16
- 17
- 18

- Письмо 85
- Письмо 86
- Письмо 87
  -
  - Приложение
- Письмо 88
- Письмо 89
- Письмо 90
- Письмо 91
- Письмо 92а
- Письмо 92б
- Письмо 93
  -
  - Приложение
- Письмо 94
- Письмо 95
- Письмо 96
- Письмо 97
- Письмо 98
- Письмо 99
- Письмо 100
- Письмо 101
- Письмо 102
- Письмо 103
- Письмо 104
- Письмо 105
- Письмо 106
- Письмо 107
- Письмо 108
- Письмо 109
- Письмо 110
  -
  - Приложение
- Письмо 111
- Письмо 112
- Письмо 113
- Письмо 114
- Письмо 115
- Письмо 116
- Письмо 117

- Письмо 118
  -
  - Приложение
- Письмо 119
- Письмо 120
- Письмо 121
- Письмо 122
- Письмо 123
- Письмо 124
- Письмо 125
- Письмо 126
- Письмо 127
- Письмо 128
- Письмо 129
- Письмо 130
- Письмо 131
- Письмо 132
- Письмо 133
- Письмо 134
- Письмо 135
- Письмо 136
- Письмо 137
- Письмо 138
- Письмо 139
- Письмо 140
- Письмо 141
- Письмо 142
- Письмо 143
- Письмо 144
- Письмо 145
- Письмо 146
- Письмо 147
- Письмо 148
- Письмо 149
- Письмо 150
- Письмо 151
- Письмо 152
- Письмо 153
- Письмо 154
- Письмо 155
- Письмо 156
- Письмо 157
- Письмо 158
- Письмо 159

- Письмо 160
- Письмо 161
- Письмо 162
- Письмо 163
- Письмо 164
- Письмо 165
- Письмо 166
- Письмо 167
- Письмо 168
- Письмо 169
- Письмо 170
- Письмо 171
- Письмо 172
- Письмо 173
- Письмо 174
- Письмо 175
- Письмо 176
- Письмо 177
- Письмо 178
- Письмо 179
- Письмо 180
- Письмо 181
- Письмо 182
- Письмо 183
- Письмо 184
- Письмо 185
- Письмо 186
- Письмо 187
- Письмо 188
- Письмо 189
- Письмо 190
- Письмо 191
- Письмо 192
- Письмо 193
- Письмо 194
- Письмо 195
- Письмо 196
- Письмо 197
- Письмо 198
- Письмо 199
- Письмо 200

○ Цветная вкладка
○ Комментарии
- Список сокращений

- Описание источников
- Выбор источников писем Ц
- Принципы подготовки текста
- Принципы комментирования
  -
  - Письмо 1
  - Письмо 2
  - Письмо 3
  - Письмо 4а
  - Письмо 4б
  - Письмо 5
  - Письмо 6а
  - Письмо 6б
  - Письмо 7
  - Письмо 8
  - Письмо 9
  - Письмо 10
  - Письмо 11
  - Письмо 12
  - Письмо 13а
  - Письмо 13б
  - Письмо 14
  - Письмо 15
  - Письмо 16
  - Письмо 17
  - Письмо 18
  - Письмо 19
  - Письмо 20
  - Письмо 21
  - Письмо 22
  - Письмо 23
  - Письмо 24
  - Письмо 25
  - Письмо 26а
  - Письмо 26б
  - Письмо 27
  - Письмо 28а
  - Письмо 28б
  - Письмо 29
  - Письмо 30
  - Письмо 31а
  - Письмо 31б
  - Письмо 32
  - Письмо 33

- Письмо 34
- Письмо 35
- Письмо 36
- Письмо 37
- Письмо 38
- Письмо 39
- Письмо 40
- Письмо 41
- Письмо 42
- Письмо 43
- Письмо 44
- Письмо 45
- Письмо 46
- Письмо 47
- Письмо 48
- Письмо 49
- Письмо 50
- Письмо 51
- Письмо 52
- Письмо 53
- Письмо 54а
- Письмо 54б
- Письмо 55
- Письмо 56
- Письмо 57
- Письмо 58
- Письмо 59
- Письмо 60
- Письмо 61
- Письмо 62
- Письмо 63
- Письмо 64
- Письмо 65
- Письмо 66
- Письмо 67
- Письмо 68
- Письмо 69
- Письмо 70а
- Письмо 70б
- Письмо 71
- Письмо 72
- Письмо 73
- Письмо 74
- Письмо 75

- Письмо 76
- Письмо 77
- Письмо 78
- Письмо 79а
- Письмо 79б
- Письмо 80
- Письмо 81
- Письмо 82
- Письмо 83а
- Письмо 83б
- Письмо 84
- Письмо 85
- Письмо 86
- Письмо 87
- Письмо 88
- Письмо 89
- Письмо 90
- Письмо 91
- Письмо 92а
- Письмо 92б
- Письмо 93
- Письмо 94
- Письмо 95
- Письмо 96
- Письмо 97
- Письмо 98
- Письмо 99
- Письмо 100
- Письмо 101
- Письмо 102
- Письмо 103
- Письмо 104
- Письмо 105
- Письмо 106
- Письмо 107
- Письмо 108
- Письмо 109
- Письмо 110
- Письмо 111
- Письмо 112
- Письмо 113
- Письмо 114
- Письмо 115
- Письмо 116

- Письмо 117
- Письмо 118
- Письмо 119
- Письмо 120
- Письмо 121
- Письмо 122
- Письмо 123
- Письмо 124
- Письмо 125
- Письмо 126
- Письмо 127
- Письмо 128
- Письмо 129
- Письмо 130
- Письмо 131
- Письмо 132
- Письмо 133
- Письмо 134
- Письмо 135
- Письмо 136
- Письмо 137
- Письмо 138
- Письмо 139
- Письмо 140
- Письмо 141
- Письмо 142
- Письмо 143
- Письмо 144
- Письмо 145
- Письмо 146
- Письмо 147
- Письмо 148
- Письмо 149
- Письмо 150
- Письмо 151
- Письмо 152
- Письмо 153
- Письмо 154
- Письмо 155
- Письмо 156
- Письмо 157
- Письмо 158
- Письмо 159
- Письмо 160

- Письмо 161
- Письмо 162
- Письмо 163
- Письмо 164
- Письмо 165
- Письмо 166
- Письмо 167
- Письмо 168
- Письмо 169
- Письмо 170
- Письмо 171
- Письмо 172
- Письмо 173
- Письмо 174
- Письмо 175
- Письмо 176
- Письмо 177
- Письмо 178
- Письмо 179
- Письмо 180
- Письмо 181
- Письмо 182
- Письмо 183
- Письмо 184
- Письмо 185
- Письмо 186
- Письмо 187
- Письмо 188
- Письмо 189
- Письмо 190
- Письмо 191
- Письмо 192
- Письмо 193
- Письмо 194
- Письмо 195
- Письмо 196
- Письмо 197
- Письмо 198
- Письмо 199
- Письмо 200

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91

- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135

- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179

Марина Цветаева, Борис Пастернак Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

© Б.Л. Пастернак (наследники), 2016

© И.Д. Шевеленко, составление, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2016

© Е.Б. Коркина, подготовка текста, комментарии, 2016

© Российский государственный архив литературы и искусства, 2016

© РИА Новости

© ООО «Издательство АСТ», 2016

В оформлении книги использованы фотографии из личных архивов Л.А. Мнухина, П.Е. Пастернака, РГАЛИ а также из фондов Shutterstock, которые сделали Sergey Goryachev, Hung Chung Chih, iryna1

Предисловие

В этой книге в наиболее полном объеме представлена переписка крупнейших русских поэтов XX века – Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. В биографиях обоих авторов она была одним из важнейших жизненных событий, а для читателей и исследователей остается ценнейшим источником для понимания творческих и интеллектуальных устремлений обоих. Публикация этой переписки впервые стала возможной сравнительно недавно, в 2004 году[1]. Причин тому несколько.

Бóльшая часть писем Пастернака к Цветаевой хранится в фонде Цветаевой в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва). Этот фонд, состоящий из материалов, переданных в архив дочерью Цветаевой А.С.Эфрон, был в значительной своей части закрыт для исследователей до 2000 года. Были недоступны и письма Пастернака; за исключением одного письма, они до 2004 года не публиковались. Еще двенадцать писем Пастернака к Цветаевой находятся у наследников Пастернака. Объясняется это тем, что в августе 1941 года, перед отъездом в эвакуацию, Цветаева передала конверт с письмами к ней Пастернака и Райнера Мария Рильке весны-лета 1926 года на хранение сотруднице Гослитиздата А.П.Рябининой. От нее впоследствии получил эти письма сын Пастернака. Именно этот корпус писем лег в основу тома «тройственной» переписки 1926 года, включавшей Пастернака, Рильке и Цветаеву. Подготовленный К.М.Азадовским, Е.Б.Пастернаком и Е.В.Пастернак, он первоначально появился в переводах: в 1983 году вышли немецкое и французское издания, в 1985 году появился английский перевод. Лишь в 1987 году «тройственная» переписка была опубликована по-русски в журнале «Дружба народов» (№ 6–9); наконец, в 1990 году появилось ее первое отдельное издание по-русски[2].

О том, что письма 1926 года – лишь небольшой фрагмент многолетней переписки Пастернака и Цветаевой, было известно давно; однако долгое время казалось, что опубликовать ее именно как переписку едва ли удастся в силу утраченности большинства оригиналов писем Цветаевой. Действительно, сохранилось всего несколько таких оригиналов, и теперь уже кажется маловероятным, что утраченные письма отыщутся. Историю этой пропажи описал сам Пастернак в своем автобиографическом очерке «Люди и положения»:

«В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна

сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой»[3].

Есть основания полагать, что частая перевозка писем Цветаевой была связана еще и с тем, что Алексей Крученых просил эти письма у их хранительницы, чтобы делать с них рукописные, а затем машинописные копии. Те несколько оригиналов писем Цветаевой, которые сохранились, как раз и находились, за одним-двумя исключениями, у Крученых на момент пропажи чемоданчика. Что касается копий, то Крученых и его помощники успели сделать их с большого количества цветаевских писем 1922 – начала 1927 годов. Именно эти копии были основными источниками для текстов писем Цветаевой, включенных в издания «тройственной» переписки. Иных источников, за вычетом немногих оригиналов, и не существовало бы, если бы не обычай Цветаевой писать черновики своих писем (не всех, но наиболее важных для нее) в тех же тетрадях, в которых она работала над своими произведениями.

После того, как все материалы архива Цветаевой открылись для исследователей, стало понятно, что количество черновиков писем к Пастернаку в ее рабочих тетрадях достаточно, чтобы восстановить переписку как целое. Впрочем, одна крупная хронологическая лакуна, с весны 1928 по весну 1931 года, практически невосстановима[4]. Образовалась эта лакуна из-за того, что Цветаева, возвращаясь в 1939 г. из Франции в СССР, не взяла с собой тетради этих лет, в которых работала над поэмой «Перекоп» и «Поэмой о Царской Семье», и они вместе со всем оставшимся в Париже архивом Цветаевой погибли во время войны.

В одном из тетрадных черновиков письма к Пастернаку, как будто предвидя проблему, перед которой встанут однажды ее читатели и исследователи, Цветаева писала: «Письма к тебе (вот

и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне» (9 апреля 1926 г.). Тетрадные черновики писем не случайно ставятся Цветаевой в один ряд с теми «вторыми черновиками», которые посылаются корреспонденту: в настоящем издании мы сохраняем оба варианта текста, если они известны, – тетрадный и посланный адресату, – и внимательный читатель сможет убедиться во взаимодополнительности этих «двух черновиков».

Не стоит, однако, преуменьшать трудностей и неизбежных потерь, вызванных столь необычным способом реконструкции переписки. Во-первых, значительная часть тетрадных черновиков Цветаевой написана скорописью, с сокращением практически всех слов. Их расшифровка потребовала огромных усилий и не во всех случаях увенчалась полным успехом. Для удобства читателей в настоящем издании конъектуры (ломаные скобки) сохранены в этих расшифровках лишь тогда, когда нет уверенности в однозначности или правильности чтения. Если бы конъектуры были оставлены везде, ломаные скобки оказались бы самым частым знаком на этих страницах. Во-вторых, датировка и встраивание тетрадных черновиков в единый хронологический ряд вместе с другими источниками (оригиналами писем Пастернака и Цветаевой, копиями писем Цветаевой) также оказались нелегкой задачей, и в нескольких случаях нет полной уверенности в том, что тетрадные фрагменты помещены нами на их точное хронологическое место.

У нас нет уверенности также, что все обращенные к Пастернаку фрагменты в рабочих тетрадях Цветаевой в действительности вошли в посланные ему письма. Не имея способа проверить это, мы выбрали единственно возможный путь – публикацию всего массива таких тетрадных набросков.

Помимо переписки двух поэтов в настоящий том включены сохранившиеся письма Пастернака к мужу Цветаевой, С.Я.Эфрону, и письма последнего к Пастернаку.

Все письма, составившие этот том, публикуются по доступным первоисточникам, будь то оригиналы, копии или тетрадные наброски. Несколько неточностей в чтении оригиналов, имевшихся в издании 2004 года, исправлены для нового издания. В комментарии внесен ряд дополнений и уточнений, а также обновлен их библиографический аппарат (главным образом, в связи с выходом 11-томного собрания сочинений Пастернака). Подробная информация о принципах подготовки издания содержится в преамбуле к комментариям.

Ирина Шевеленко

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

Письмо 1
14 июня 1922 г., Москва
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворенья на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб» – случилось то же самое.

Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, Вы не ребенок и, надеюсь, понимаете, что́ это в наши дни и в нашей обстановке означает, при *обилии* поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при *обилии* даже и неопороченных дарований, подобных имени, *осчастливленному Вашим посвященьем*. Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду. Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему *вольно* в *Вас*, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как Якобсену и России вольно в Рильке). Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства. Книги не покупаешь потому, что ее можно купить!! Итак простите, простите. Но как простить мне Вам *два* Ваших равно непростительных промаха? Первый. Отчего, идучи со мною по Плющихе, не сказали мне Вы, слово в слово, следующего. «Б.Л., мне думается, Вы поэт, а следовательно, Вам почти не приходится восхищаться современниками. Может быть у Вас на памяти один такой случай (ранний Маяковский), всё же остальное, даже и Блок и Ахматова и безукоризненно изумительный Асеев, только виды душевного довольства, удовлетворенности, почти что – *нравственные* оценки-признанья душевной порядочности, – и только. Я, думается мне, – тоже поэт,

Б.Л., – и знаю по себе, как тяжко то, что так резко разнятся эти два разряда. Вот, если Вы хотите пережить такое восхищенье, бурное восхищенье читателя на миг и почитателя на весь век свой, примите к сведенью, Борис Леонидович, а также передайте это и друзьям нашим, Асееву, Ахматовой и тени Блока, что случай восхититься так выдался на днях; и кстати: не говорите мне таким глупым голосом, будто это невесть что такое, о приятии одной книжки Маяковским; Вы, как о бестактности, будете потом об этом жалеть. Если хотите принять душевную соленогромовую ванну – прочтите “Версты”. Это – версты поэзии. Говорят, – их написала я».

Другой Ваш промах в том, что Вы сочли меня недостойным Вашей книжки и, зная прекрасно наперед, к чему бы такое посланье привело, мне своей книжки не послали. Как странно и глупо кроится жизнь. Как странно и глупо и хорошо.

Теперь благодаря нелепости этой я имею счастье и повод желать высказаться до конца, и так как такое желанье – неудовлетворимо, то я ударюсь удовлетворять его на все лады: за письмом, если позволите, последует другое, об этой чистой, абсолютной, исключающей всякие взвешиванья и соображенья возможности восторгаться будет говориться и писаться мною с тою радостью, какой обязывает нас такой акт избавленья от мерил справедливости. Вам не следует читать их. Читает их – женщина. Пишет же, плавит и раздувает – первостепенный и редкий поэт, которому, в этом возвышении над женственностью, позавидовала бы и Марселина Деборд-Вальмор. Счастливая! И как я счастлив за Вас!

Я и сам собираюсь за границу. Непременно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел, – а хотел и всегда, как хотел бы видеть Ахматову или – (да Вы уже понимаете – два разряда), – захочу, лишь только смогу польстить себя надеждой хоть отдаленно заплатить Вам тем же, чем Вы сегодня меня подарили. Если же Вы согласитесь ответить мне на это письмо по адресу: Berlin W Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck, Herrn Pr. L. Pasternack – мне – Вы доставите мне большую и мало еще заслуженную радость. И не забудьте сообщить в письме, простили ли Вы меня или нет: просьба моя об этом – нешуточна и увесиста. О, теперь я понимаю Илью Григорьевича! Охотно в поклонении поменяюсь с ним местом. Может быть, пошлю на Ваше имя недавно вышедшую «Сестру мою жизнь», вероятно без надписи, и Вы окажетесь *единственным* современником, дело которого одушевленнее, живее и неожиданнее его самого, ввиду чего белеет только к личностям обращенный титульный лист, в прочих случаях испещряемый до отказу.

А теперь, как проститься с Вами? Целую Вашу руку.

Потрясенный Вами Б.Пастернак

Письмо 2
Берлин, 29 нов. июня 1922 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, – что уцелеет?

И вот, из-под щебня:

Первое, что я почувствовала – пробегом взгляда: *спор*. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то *не заплатила*. – Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. – (Я тогда не прочла еще ни *одного* слова.)

Читаю (всё еще не понимая – кто), и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: *отброшен*. (И – мое: несносно: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!») – Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной – как удар: Пастернак!

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней – как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. – Поэт».

Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.

* * *

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) – «потому что в доме совсем нет хлеба». – «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» – «5 фунтов». – «А у меня З. – Пишете?» – «Да (или нет, не важно)». – «Прощайте». – «Прощайте».

(Книги. – Хлеб. – Человек.)

* * *

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2)

русской *своей* речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос – на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом – уже ухожу – Ваш оклик: «М.И.!» – «Ах, Вы здесь? Как я рада!» – «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности…»

И мое молчаливое: Зóрок. – Поэт.

* * *

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) – расспросы: – «Как живете. Пишете ли? Чтó – сейчас – Москва?» И Ваше – как глухо! – «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и —»

И я, мысленно: Косноязычие *большого*. – Темнóты.

* * *

11-го (по-старому) апреля 1922 г. – Похороны Т.Ф.Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа. Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И.Г, и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой – сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:

– Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.

Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? –

Маяковскому».

Это была *большая* радость: дар всей *чужести*, побежденные пространства (времена?).

Я – правда – просияла внутри.

* * *

И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.

И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»

Теперь *самое главное*, стоим у могилы. Руки́ на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.

Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. – И – толчком: чувство *прерванности*, не додумываю, ибо занята Т.Ф. – допроводить ее!

И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: *исчезновение*.

Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверное, не застану и т. д.

Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.

* * *

Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», – тоже в прерванности.

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.

То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.

Бег *по кругу*, но круг – с мир (вселенную!). И Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.

Всё только намечено – остриями! – и, не дав опомниться – дальше. Поэзия *умыслов* – согласны?

Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.

* * *

Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».

Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.

Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.

Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете? Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – *безымянность* – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.

Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.

М.Ц.

Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trautenau-Haus».

Письмо 3
Berlin W. 15, Fasanenstr. 41. Bei v. Versen, 12 ноября 1922 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Насколько чистым наслажденьем было для меня написать тогда Вам из Москвы о Вас одной по собственному побужденью, настолько угнетала и беспокоила меня мысль об ответе, к которому Вы меня обязали присылкой Разлуки, «Словами на сон», письмом и Вашей обо мне статьею. Угнетала она меня тем, что, хорошо зная за собой полную мою неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ничего уже Вам не скажет и не даст. Источники моей признательности Вам разнообразны, и сразу же обсужденье их мне хотелось бы начать со «Слов на сон». Однако прежде коснусь вышеназванной своей неспособности: быть может начало письма показалось Вам темным. Я знаю, Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею. Я больше всего на свете (и может быть это единственная моя любовь) люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье *естественно* принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвиженье это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться. Вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту. Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представлять себе устье именно в этом изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней, сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет на вольной воле, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. Как ни мало сказано этим уподобленьем, и в нем уже несколько перехвачено через край. Чтобы обойти всякий пересол, скажу точно. Мне свойственно, по особенной моей односторонности, отождествлять с жизнью тот нетерпеливый, как потребность в наслажденья, огонек, который начинает блуждать в ее глазах, когда она

задумывается о *бессмертии*, когда ей начинает казаться, что она любит его, когда она в этом убеждается, когда, забыв про все другое, она бросается к нему. *Волнующе связная наглядность* жизни или, что то же, красота, есть не что иное, как именно этот выбор, с отчаяньем и отвагой произведенный ей; когда ей *ничего лучшего как стать бессмертной* не остается, и не изменясь в других отношеньях, т. е. не став умнее и справедливей, она до неузнаваемости преображается единственно лишь тем, что теперь навсегда на нее падает зарево *вечной наклонной плоскости,* т. е. знаменье *того именно* духа, который когда-то заставлял ее течь и катиться, и сделал неуловимой, и поставил эти слова в кавычки, почти приравняв «наклонную плоскость» к красоте. Сколько раз принимались Вы грызть ногти, в Вашей статье, и совершенно неосновательно. А сколько у меня сейчас оснований повторить Ваше движенье! Всего больше хотелось бы мне хотя отдаленно описать Вам то чувствованье, без которого вход в искусство в моих глазах немыслим, – и которое охарактеризовать, по-видимому, невозможно. Как часты у меня поводы к полному, отчаянному и решительному бездействию – при таком взгляде на жизнь в ее отношеньи к художнику – судите сами. Грустно быть призванным писать лишь под таким-то и таким-то видом. Но что мешает встречаться с друзьями и писать к ним в такие нерабочие или «ненаклонные» полосы? Мне думается, однако, что письма пишутся людьми живыми. Мой же взгляд на жизнь так узок, что в эти периоды мне кажется, будто я не живу. Я не знаю, на что похожи эти растянувшиеся медитации. Если их внезапно оборвать, они сойдут за вступленье. Так и поступлю.

У «Разлуки» те же достоинства, что и у «Верст». Та же многоохватывающая порывистость, т. е. счастливая содержательность, давшаяся торпеда без тормозов. Книга в руках человека чувствующего не ждет посещенья знатоков, ее берешь, отправляясь к друзьям в Пушкино, как свою собственную, кровно ею гордясь и ей радуясь.

Совершенно же особенное спасибо Вам за «Слова». У меня было ощущенье (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья, «Слова на сон» до крайности близки – и намеренно – миру «Сестры». Не смейтесь надо мной и простите, если это не так. Если же я не ошибся, дайте объясню Вам, почему так особенно я Вам за них благодарен. Они мне страшно нравятся, и в минуты, когда Калигуле кажется что у него голова стеклянная, видя в «Словах» прекрасную, чудную, красящую все, на что она ни обратится, бессонную, удивительную, удивительную голову, он перестает ощупывать свою собственную и либо окончательно успокаивается либо же, в худшем случае,

черпает неполное спокойствие в мыслях о пользе стекла. Надо ли объяснять Вам, что «Слова» – поддержка в минуты сомненья в себе, – на что я – мастер вне соревнованья, – надо ли, после пониманья, подчас загадочного, которое показали Вы некоторыми сторонами своей статьи?

И, чтобы ограничиться наизамечательнейшим, – отношенье «Сестры» к революции охарактеризовано та́к, с такими зачастую совпаденьями в аргументации, что не грех задуматься о тайной шалости вовремя не замеченных радиосвязей.

Serment du jeu de paume[5], – говорите Вы. – Чем ознаменовываются, говаривал я (таких случаев было два-три у меня на памяти, а тайны «революционности» книги доискивались у меня люди, недоуменно искавшие ее среди тем и набранных букв и знавшие ее наизусть силой этой самой невыясненности) – чем ознаменовываются первые взрывы истинных революций?

В качестве *прирожденной природы*, почти лирически – провозглашаются *права* человека и гражданина. Дух *естественного* права, сметая условности и отвлеченья, торчавшие на станциях и по канцеляриям во всей их, – недавно казавшейся предустановленной, *натуральности* лилово спиртовой, *денатурированной* казенщины – превращает ненадолго мир в какой-то рай. Нет, не в какой-то. Здесь просто фраза не выписалась. Нет, действительно, – *Природе* – возвращается то преувеличенно бездонное значенье, какое она имела в Раю, в этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о *выросшем* мире. Не *естественно* ли еще там единобожеское богосознание? Не *натурален* ли там Бог? Не грехом ли, уже и там, названа та знаменитая и замечательная оплошность, с которой в Книге начинается и вводится… общественность… лица?

Несколько дней поглощены развивающейся пневматикой упразднений, устранений, – сметается все, что этому духу обожествленной природности кажется *неестественным*, – *безбожным*. Пуритане, жирондисты, анархизм. Это происходит весной. Все валится с ног, исчезает бесследно. Кто же, кто остается на ногах, грозя с них сбиться? Этимологически странно звучит ответ на это «кто». – Остается *лето*. Лето, день и ночь на ногах, повсеместное, играющее перекатами, хо́ркающее и блещущее, беззакатное, потрясающе-милосердное *своей* вежливостью к человеку, потрясающе-послушное в своем темном повиновении ночному небу, под которым, заломя голову, оно ходит по Земле, апокрифически неповоротливое, как мастодонт, доверенный уходу детских садовниц. Иначе говоря. Породить революцию можно лишь по-жирондистски. До степени же факта, когда его уже исторически не вычеркнуть, утучняют ее всегда

якобинцы. Достаточно сказанного, чтобы понять, что искусство, современное революции, неизбежно, волею самой революции, – уйдет в дни и годы, пораженное *днем ее рожденья*, и это лишь вина его впечатлительности, что памяти этой в нем никакие усилия новых условников и денатураторов не изгладят. До того отдаленного дня, в другом поколении, когда историк, тот же жирондист, что и художник, даст по-жирондистски естественную и непривычную апологию отошедшего в прошлое якобинизма. Дорогая Марина Ивановна, может быть один неосознанный расчет на Вашу снисходительность так утомительно распространил это отступление.

Касаясь «Послесловья», Вы замечаете о Маяковском. Неужто и это – случайность? Или может быть знаете Вы, что это – любимейшее его стихотворенье?

«Всесильный Бог Деталей». Теперь – строчка в стихотворении, одинокая и темная, как оговорка. Кто намекнул Вам о том, что это – формула? – *Первоначально таково было заглавие всей книги.* Никто этого не знает. Напомнили об этом Вы *и мне*.

Но в одном замечаньи о фразе: «Нельзя, не топча мирозданья» – говоря об ответственности *каждого шага*, с содраганьем при мысли, как бы: *не нарушить*, – Вы великодушно и самоотверженно обокрали самое себя. Это у Марины Цветаевой сказано:

> Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь.
> С полным передником роз, ни ростка не наруша.

* * *

Хочется думать, – и тогда бы я искренно порадовался за Вас, за себя и за них, – что Вы давно успели подзабыть часть затронутых здесь предметов. Я сознательно шел на неловкость, в которую неизбежно поставит меня Ваше заслуженно удивленное «о чем это он?» – при прочтеньи письма.

И так как все-таки стыдно потчевать столь сильно перестоявшимся ужином, сойдемся на этот раз на том, что однажды я горячо благодарил Вас, а если и неудачно, то только оттого, что с самого же начала слишком сконфузился Ваших бровей, приподнявшихся с первого же моего слова. Если вы уведомите меня о получении этой рукописной брошюрки, я буду радоваться, при всей заслуженной краткости такого уведомленья, что не трудно себе представить. Вопросов, в согласии с только что

сказанным, задавать не решаюсь.

Целую Вашу руку.

Ваш Б.Пастернак

P.S. Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе *рассчитывал* на встречи с Вами и с Белым. (Маяковского тогда тут не было еще.) Однако разочарованье мое на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, – без которого фикции бы не было.

Последовательности этой я не встретил даже и у Белого, который, страшно сказать, не прочь жить и *такою* жизнью. Я же, по его словам, зову на луну, где жить не всякому к лицу и по нраву.

Письмо 4а
<ок. 19 ноября 1922 г.>
Цветаева – Пастернаку

Мой любимый вид общения – потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. Последнее, что я бы хотела удержать – голос. Письмо – не слова, а голос. (Слова мы подставляем!)

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой – А <рисунок арки> В – чем выше – (дальше) – тем лучше: дольше. Совершенная встреча: А и В на одном уровне и разгон (ввысь) один и тот же: неизбежно встретятся. Здесь есть какой-то закон, наверное даже простой. Но тем не менее – захудалое, Богом заброшенное (вспомянутое!) – кафэ, – лучше в порту (хотите?), с деревянными залитыми столами, в дыму, – локти и лоб. – Но я свои соблазны оставляю тоже в духе.

* * *

Сейчас расстаются на слишком долго, поэтому *хочу* – ясными и трезвыми словами – знать: насколько – и когда. Потому что я – так или иначе – непременно приеду. Теперь признаюсь в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерной своей правдивостью: *небывалой*: как внутри – так вовне, в точности. Соблазн правдой. – Кто вынесет? – Особенно если эта правда в данный час: Осанна! Я не умеряю своей души (только жизнь!). А так как душа – это никогда «я», а всегда «ты» (верней – то!) – то у партнера или опускаются руки (трусливое «да ведь я не такой»), или земля ходит под ногами, – и тогда уже *я* на землю и ноги на мне. Принимаю и это.

Я знаю, что в жизни надо лгать. Но мои встречи не *в жизни*, а в духе, где уже всё победа. Моя вина – ошибка – грех, что средства-то я беру из жизни. *Так* ведя встречу нужно просто молчать: *ВСЁ* внутри. Ведь человек *не может* вынести. «Я – не Бог!»

А потом меня обвиняют в <пропуск одного слова>. Это не забвение: Бог перестал брезжиться (прорываться!) сквозь тебя, ты темный, плотный, свет ушел – и я ушла.

К чему сейчас всё это говорю? А вот: Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для

Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. – Ездят же, чтобы купить себе пальто! – Вы не меньше пальто!

<Небольшой пробел в тетради.>

Впечатление об его ирреальности: никогда не поверю, что Вы *есть*. Вы есть временами, потом Вас нет.

То, что Вы пишете о себе (русло, накл<онная> плоск<ость>) – правильно: <*стрелка к концу предыдущего абзаца*>

Вы – слушайте внимательно – как сон, в который возвращаешься (возвр<атные>, повт<орные> сны) – а где сон был, пока тебя не было. / *Не* сон: действующее лицо сна. Или как город: уезжаешь – и его нет, он *будет*, когда ты вернешься.

Пастернак – и сон, этого я еще не написала. Так – в жизни – я Вас не пойму, не охвачу, буду ошибаться, нужен другой подход – сонный. Разрешите вести встречу так: ПОВЕРЬТЕ, разрешите и отрешитесь.

Не думайте: мне всё важно в Вашей жизни: вплоть до нового костюма и денежных дел, я не занимаюсь лизанием сливок (с *меня* их всегда лизали: подыхай, живи как хочешь, будь прохвост<ом> – только пиши хорошие стихи!), но – пока я Вам в реальной жизни не нужна – будем жить в <пропуск одного слова>. А если бы – как пример – Вам нужно было бы приехать в Прагу, я бы узнала нынешнюю валюту и <оборвано>

Письмо 4б
Мокропсы, 19 нов. ноября 1922 г.
Цветаева – Пастернаку

Мой дорогой Пастернак!

Мой любимый вид общения – потусторонний: сон: видеть во сне.

А второе – переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но законы

Ни то, ни другое – не по заказу: снится и пишется не когда *нам* хочется, а когда хочется: письму – быть написанным, сну – быть увиденным. (Мои письма – *всегда* хотят быть написанными!)

Поэтому, – с самого начала: никогда не грызите себя (хотя бы самым легким грызением!), если не ответите, и ни о какой благодарности не говорите, всякое большое чувство – самоцель.

Ваше письмо я получила нынче в 6 ½ час<ов> утра, и вот в какой сон Вы попали. – Дарю Вам его. – Я иду по каким-то узким мосткам. – Константинополь. – За мной – девочка в длинном платье, маленькая. Я знаю, что она не отстанет и что ведет – она. Но так как она маленькая – она не поспевает, и я беру ее на́ руки: через мою левую руку – полосатый шелковый поток: платье.

Лесенка: подымаемся. (Я, во сне: хорошая примета, а девочка – диво, дивиться.) Полосатые койки на сваях, внизу – черная вода. Девочка с бешеными глазами, но зла мне не сделает. Она меня любит, хотя послана не за тем. И я, во сне: «Укрощаю кротостью!»

И – Ваше письмо. Мне привез его муж из Свободарни (русское студенческое общежитие в Праге). Они вчера справляли годовщину – ночь напролет – и муж приехал с первым утренним поездом.

И то́ письмо я получила та́к. Раз – случайность, два – подозрение на закон.

* * *

У Вас прекрасный почерк: го́ните версту! И версты гривы – и полозья! И вдруг – охлест вожжи!

Сломя голову – и головы не ломает!

Прекрасный, значительный, мужественный почерк. Сразу веришь.

Вашего письма я сначала не поняла: радость и сон затмевали, – ни слова! (Кстати, для меня слово – передача голоса,

отнюдь не мысли, умысла!) Но голос слышала, потом рассвели (рассвет) слова, связь. – Я всё поняла. —

Знаете, что осталось в памяти? Ледяной откос – почти отвес – под заревом (Ваше бессмертие!) – и голова в руках, – уроненная.

Теперь слушайте очень внимательно: я знала очень многих поэтов, встречалась, сидела, говорила и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) – жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну, (в Москве) идет за пайком, ну, (в Берлине) идет в кафе и т. д.

А с Вами – удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. (А сколько Вы их прожили – и *каждый* жили, час за часом!) Вы у меня *в жизни* не умещаетесь, очевидно – простите за смелость! – *не в ней / Вы в ней не / не Вы в ней* живете, Вас нужно искать, следить где-то еще. И не потому, что Вы – поэт и «ирреальны», – и Белый поэт, и Белый «ирреален», – нет: не перекликается ли это с тем, что Вы пишете о дельтах, о *прерывности* Вашего бытия. Это, очевидно, настолько сильно, что я, не зная, перенесла это на *быт. Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень,* давая ей все полномочия.

* * *

«Слова на сон». Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша земная книга на коленях. (Сидела на полу.) – Я тогда десять дней жила ею, – как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась, хватило дыхания ровно на то восьмистишие, которое – я так счастлива – Вам понравилось. —

От одной строки у меня до сих пор падает сердце.

* * *

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча – *над*. – Закинутые лбы! —

Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу – ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. – Локоть и лоб. – Рада была бы и увидеть Маяковского. Он, очевидно, ведет себя ужасно, – и я была бы в труднейшем положении в Берлине. – Может быть, и буду. —

Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая.

Лучшее мое воспоминание из жизни в Берлине (два месяца) – это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом. Он жил, как дух: ел овсянку, которую ему подавала хозяйка, и уходил в поля. Там он мне, однажды, на закате чудно рассказывал про Блока. – Так это у меня и осталось. – Жил он, кстати, *в поселке гробовщиков* и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках.

* * *

Я живу в Чехии (близь Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей – таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, *бытовая* ее часть – пожалуй, даже бедней! – но к стихам прибавились: семья и природа. *Месяцами* никого не вижу. Все утра пишу и хожу: здесь чудные горы.

Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в «Эпопею», это и есть моя жизнь.

А Вам на прощание хочу переписать мой любимый стих, – тоже недавний, в Чехии:

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах – гранит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.

Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!

Не удушенный в хламе,

Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух – из ранних седин!

И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость – победа
Бессмертных сил.

Была бы счастлива, если бы прислали новые стихи. Для меня все – новые: знаю только «Сестру мою Жизнь».

А то, что Вы пишете о некоторых совпадениях, соответствиях, догадках – Господи, да ведь это же – не сшибанье лбом! Мой лоб, когда я писала о Вас, был закинут, – и естественно, что я Вас увидела.

М.Ц.

Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, *не* большую, но и *не* карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже 4 месяца выпрашиваю у Геликона!

Буду возить ее с собой всю жизнь.

Письмо 5
<январь-февраль 1923 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Я давно хотел и должен был поблагодарить Вас за «Царь Девицу». Однако, при Вашей исключительной подлинности, – мне с Вами переписываться не легче, чем с самим собой. Всего охотнее я бы оставил эти слова, как достаточно, вероятно, понятные Вам, безо всякого объясненья. Если же это потребуется, все последующее их объяснит.

Четыре месяца я тут проболтался, больше не могу. Как я рад за Вас, что по причинам, быть может, горьким и стеснительным Вы вынуждены жить не в Берлине.

Чтенье Вашей поэмы было истинным счастьем для меня. С наибольшей легкостью из театрального склада в Кузнецком переулке (помните? – не двор, – впадающая площадка, по всем окнам вывески) – отпускаются напрокат опашни, охабни, кокошники и телогрейки. Вот, наверное, отчего так дурна всякая Билибинщина, а также и артельная кустарщина арбатского (т. е. просвещенно-городского) происхождения. Дурна она, вероятно, своей относительностью. Признаки стили отобраны по сравненью с каким-нибудь другим, путем вычитанья. Эта отрасль говорит о рынке, о вывозе. На этой мякине проводится иностранец, англичанин Стэд. Вещи эти словно созданы на то, чтоб на них глядели вскользь, мельком, вполглаза. Они – художественно бессодержательны.

Берлинская акционерная болтальня на паях затруднила мне сношенья с собою до невозможности. Ваша книжка у меня под рукой, читал я ее дважды, но делом большой трудности, чем-то вроде путешествия о четырех визах представляется мне простой переход от слов к делу, от общего описанья ее достоинств к разметке ее карандашом. Я ее буду читать не раз еще и раз как-нибудь сделаю это. Тогда из этой равномерно-прекрасной книги я выделю те, почти без остатка ее и образующие части, которые особенно изумительны по своей безукоризненности, прозрачности и чистоте. Я обведу рамкою те страницы, по которым целым полотнищем, без складок, падают чистейшие, бесстильнейшие и только себе равные песни, редкие, редкостные, завиднейшие. На других я отмечу, где начало и где конец тех штук и отрезов, на которых так облагороженно-наглядно разыгрываются: движенья Царь Девицы, прощающейся со своими,

движенья взбегающих по лесенкам, шаги спускающихся, движенья моря, движенья ветра, движенья постепенно обнажающейся, не в пору зевнувшей, движенья сидящих на корме, движенья принятых на борт. Движенья радости и движенья печали, хотел еще прибавить я и вспомнил, – про изумительные песни эти я уже сказал. Дух содержанья: ждалось бы соединенье *умеренной* <подчеркнуто дважды> лирики со сказочностью (*образностью* <подчеркнуто дважды>), освобожденной от меры. Совсем не то. Редкое и неожиданное сочетанье совершенно безмерного, ну совершенно, совершенно безмерного лиризма с беглым, подробно-опрятным, не копостким и крайне оформленным реализмом. А стиль? Подзоры-то и кровельки, балясины и коньки? Что о них-то?

Вот в том-то и состоит главная прелесть поэмы, что она глубоко первообразна, а не производна, что поверхностной вязи на ней нет, что на нее не ловится иностранец, что беглым и лишь *естественно* завивающимся говорком в ней *излагаются* <подчеркнуто трижды> движенья и состоянья, картины и чувствованья, сплошь *языком* растворенные, языком прирожденно складным, промывным, текучим, не только не думающим о резком орнаменте, но и вообще не знающим отдыха, неустанно-содержательным. Спасибо за доставленное наслажденье. Сейчас его не с чем сравнить. О Билибинщине говорил (неужели не догадались?) с целью. Ее мыслимость, ее существование рядом, ее соседство, – все это превращает вольные достоинства Вашей сказки в едва оценимые *заслуги*.

* * *

Это письмо лежит у меня более месяца. Отчего же я его не докончил и не отправил? Сейчас перечел его и не вижу тому причины. Но я помню ее. Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. Ведь и самая потребность в таких излияньях есть свидетельство слабости, болезненности, волевого изъяна. И замечательно, эта же болезненность и слабость парализуют свое выраженье. Хорошо это устроено. А то что бы получилось? Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бóльшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная. Но опять я вступаю на эту круговую дорожку. Не к чему. Посылаю Вам книжку, называется она «четвертой книгой стихов» (какая чушь!), не люблю я ее. Этой книжки не люблю я за то, что первою своей

половиной она представляет завершенье «Сестры», если позволительно так называть разрыв с нею. В остальном же она скучна и второразрядна. Неужели это огорчит Вас больше, нежели меня самого?

Преданный Вам Б.Пастернак

Письмо 6а
<ок. 10 февраля 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Я сейчас в первый раз в жизни понимаю, что́ такое поэт. Я видала людей, которые прекрасно писали стихи, писали прекрасные стихи. А потом жили, вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки: не только жили: нажив<али>. И достаточно нажив<шись>, позволяли себе стих. – Честное слово! – И они еще были хуже других, ибо *зная* что́ им стихи сто́ют (месяцы и месяцы воздержания! Месяцы и месяцы жильничества! – Не-бы-ти-я), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопрекл<онения>, памятников за́живо. И у меня никогда не было соблазна считать *их* правыми, я галантно кадила – и отходила. Я ведь без конца поэтов знала! И больше всего любила, когда им просто хотелось есть или просто болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, – совсем не поэтом! и не Музой! – молодой (иногда трагической!) нянькой. – Вот. – С поэтами я всегда забывала, что я – поэт.

Но я, Пастернак, устала нянчиться. Из моих выкормышей никогда ничего не получ<алось>, кроме строчек. Вы же знаете, как этого мало.

Вы – Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт. т. е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю – Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу – польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте это так же отрешенно, как я пишу: дело не в Вас и не во мне, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас, но Вы настолько велики, что это знаете.

Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной станции. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс.) Ходила взад и вперед по темной платформе – далёко! И было одно место, фонарный столб – без света – это было место встречи, я просто вызывала сюда Вас, и долгие бо́к о бок беседы – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ. (Единственное место в России, где я *мыслю* Гёте.)

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходимы, как тот фонарный шест. / *Куда* бы я ни думала, я Вас не миную. / Фонарь всюду будет со мной, встанет на всех моих дорогах. Я выколдую фонарь.

Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что Вы этого ничего не знаете, не смущалась и тем, что всё это без Вашего ведома <вариант: соизволения>. Я не *волей* своей вызывала Вас, если хочешь – можно и расхотеть, хотенье – вздор. Что-то *во мне* хотело. Я то <оборвано>

«На вокзал» и к Пастернаку было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите, никогда нигде *вне* этой асфальтовой дороги. Уходя со станции, я просто расставалась: зрело и трезво. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.

Рассказываю Вам всё это, п.ч. прошло.

Нет, впрочем, лгу! Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказ<ывала> и другой не понима<л>, первая мысль: Пастернак. Надежная, спокойная. Как домой шла. Как на костер шла. *Вне* проверки. Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже *больше* Баха!), что Вы больше стихов любите Музыку, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели писать о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода), а *не* православный. Пастернак, я *читаю* в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы.

Мне хочется сказать Вам, и Вы не расс<ердитесь> и не откре́ститесь, п.ч. Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (гения, того, что над поэтом), поэт побежден Гением, сдался ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корыстная гордыня может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» – когда все дело: в самосожжении!)

Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.

* * *

Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане», посвятите это стихотворение мне. (Мысленно.) Подарите. Чтоб я знала, что они мои. Чтоб никто не смел думать, что они его. И есть крик, вопиюще мой: Это я, а не Вы – пролетарий! Пастернак, есть тайный шифр. Вы – сплошь шифрованы. Вы безнадежны для «публики». Вы – царская переп<иска>, или полководческая. Вы – переписка Пастернака с его Гением. Если Вас будут любить, то из страха: одни – быть

обвиненными в «некультурности», другие, <пропуск одного слова>, *чуя*. Но *знать* … Да и я Вас не знаю, п.ч. и Пастернак часто сам не знает, что ему диктует его Гений, Пастернак пишет буквы, а потом – в прорыве ночного прозрения – на секунду осознает, чтоб утром забыть.

А есть другой мир, где Ваша тайнопись – детская пропись. Горние Вас читают шутя. Поднимите голову ввысь: там – Ваши читатели. «Политехнический зал».

* * *

Ремесло. – Мóлодец. – «Женск<ое> ничтож<ество>». – Беседа с Вашим гением – о Вас.

* * *

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Р<оссию>, не повидавшись со мной. Россия для меня = un grand peut-être[6], почти тот-свет. Знай я, что Вы в Австралию, к змеям, к прокаженным, мне бы не было страшно, я бы не окликала. Но в Россию – окликаю. Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне – по делам, честно – к Вам: по Вашу душу, проститься. Вы уже однажды так исчезли – на Девичьем Поле, на кладбище: изъяли себя *из* … Просто: Вас не стало.

Памятуя, боюсь – и борюсь за: что? да просто рукопожатие.

Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон: по той свободе, которая у меня к Вам, по той *беззаветности* (освежите первичный смысл), по той несомненности, по той СЛЕПОТЕ.

Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, *вне* вымысла. Знаю, что *было*. Так, удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету.

Больше просить об этом не буду, только если *не* исполните (под каким бы то ни было предлогом) – рана на жизнь.

Не отъезда я Вашего боюсь, а: исчезновения.

* * *

Вы пишете: «не хочу о себе», и я говорю: не хочу о себе. Стало быть – именно о Вас. Вам плохо, п.ч. Вы с людьми. – И всё. – С

деревьями Вы были бы счастливы. Не знаю Ваших дел, но – уезжайте на волю.

Да, одно темное место в Вашем письме. Вы думаете, что я «по причинам гор<ьким> и стесн<ительным>» вне Берлина? Дружочек, я Бога молю всегда жить – как я живу: я *раз* в месяц в Праге, остальные дни – <оборвано>

Единственная моя горечь, что я в Берлине не дождалась Вас.

Никогда не слушайте суждений обо мне людей: я многих задела (любила и разлюбила, нянч<ила> и бросила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия. За два месяца в Берлине <оборвано>

Единственное, чего люди не прощают, это что без них обходятся. Не слушайте. Если Вам что-либо в моей жизни интересно – сама расскажу.

* * *

Пишите чаще. Без оклика – никогда не напишу. А писать мне Вам / Писать – входить без спросу. Вы же, когда бы обо мне ни думали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ: мой дом Вам настежь / сам к Вам идет / всегда на полдороге к Вам – где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана.

* * *

Сколько Вам лет? Я, когда меня спрашивают, всегда с гордостью говорю 17 и, одумавшись – 20, кажется. Вдохн<овенно> вру, что «Сестру мою Жизнь» Вы написали 13ти – pour épater le bourgeois[7]. – Лет 27?

Письмо 6б
Мокропсы, 10 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Пастернак!

Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу[8]. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. – И всё. – Каторжного клейма *поэта* я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много – и разных: это, впрочем, легко спадает, при первом дуновении *быта*. Они жили и писали стихи (врозь) – вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки – не только жили: наживались. И достаточно нажившись, разрешали себе стих: маленькую прогулку ins Jenseits1[9]. Они были хуже не-поэтов, ибо *зная*, что́ им стихи стоют (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников за́живо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила – и отходила. И больше всего я любила поэта, когда ему хотелось есть или у него болел зуб: это человечески сближало. Я была *нянькой* при поэтах, ублажительницей их низостей[10], – совсем не поэтом! и не Музой! – молодой (иногда трагической, но всё ж:) – нянькой! С поэтом я всегда забывала, что я – поэт. И если он напоминал – открещивалась.

И – забавно – видя, *как* они их пишут (стихи), я начинала считать их – гениями, а себя, если не ничтожеством – то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, пла́чу, наряжаюсь – и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр<имер>, вот Чурилин, напр<имер> – поэты». Такое отношение заражало: оттого мне всё сходило – и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени. (Это, кстати, огорчает меня чисто внешне: за 7 мес<яцев>, как я из Берлина, заработала в прошлом месяце 12 тыс<яч> герм<анских> марок, неустанно всюду рассылая. Живу на чешском иждивении, иначе бы сдохла!)

Но вернемся к Вам. Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца,

мой первый поэт за жизнь. И я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона. (Кстати: внезапное озарение: Вы будете очень старым, Вам предстоит *долгое* восхождение, постарайтесь не воткнуть Регенту палки в колесо!) – Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю. Читайте это так же отрешенно, как я это пишу, дело не в Вас и не во мне, я не виновата в том, что Вы не умерли 100 лет назад, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедываются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас – и не такое еще слышал! Вы же настолько велики, что не ревнуете.

Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, *не* с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе – далеко! И было одно место – фонарный столб – без света, сюда я вызывала Вас. – «Пастернак!» И долгие беседы бок-о́-бок – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я *мыслю* Goethe!).

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни *необходны, куда* бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выколдую фонарь.

Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что всё это без Вашего ведома и соизволения. Я не волей своей вызывала Вас, если «хочешь» – можно (и должно!) расхотеть, хотенье – вздор. Что-то *во мне* хотело. Да Вашу душу вызвать легко: ее никогда нет дома!

«На вокзал» и: «К Пастернаку» было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.

Рассказываю, потому что прошло.

И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» – это будет: мой вызов, Ваш приход.

* * *

Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь

рассказываю и другой не понимает, первая мысль (ожог!) – Пастернак! И за ожогом – надежность. Как домой шла, как на костер шла: *вне* проверки.

Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже *больше* Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели (и еще напишете!) о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода), а не православный. Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы. – Брезжится, впрочем, монастырь. —

Мне хочется сказать Вам, и Вы не рассердитесь и не откреститесь, потому что Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (Гения – за плечом!), поэт побежден Гением, сдается ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корысть может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» – когда всё дело: в самосожжении!)

Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.

* * *

Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» – посвятите эти стихи мне. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его.

Пастернак, есть тайный шифр. Вы – сплошь шифрованы, Вы безнадежны для «публики». Вы – царская перекличка или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. (Что тут делать третьему, когда всё дело: вскрыв – скрыть!) Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие – *чуя*. Но знать… Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом – в прорыве ночного прозрения – на секунду осознаёт, чтобы утром опять забыть.

А есть другой мир, где Ваша тайнопись – Детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову – выше! – Там Ваш «Политехнический зал».

* * *

Воскадив, начну каяться. – Блаженным летом 1922 (скоро год!), когда я получила Вашу книгу, мой первый жест был, закрыв

последнюю страницу, распахнуть свое «Ремесло» на первой и – черным по белу: Ваше имя. – Тут начинается низость Я тогда дружила с Геликоном, влюбленным (пожимаю плечами) в мои стихи. Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошь на *ш* (Господи, ведь *кот* по-французски – chat! Только сейчас поняла!) Ну, вот. Посвятить мимо его кошачьего замшевого носа «Ремесло» другому, да еще полубогу (каковым Вас, скромно и во всеуслышание, считаю) – у меня сердце сжималось! «Слабость на-аша… Глупость на-аша»… (Песенка. Вспомните напев!) И, скрепя сердце, не проставила. Так и оставила пустой лист.

(Геликон, конечно, через неделю после моего отъезда, меня предал и продал: как кот: коты на могилах *не* умирают!)

Теперь, осознавая, думаю: правильно. Геликон – не в счет, но «Ремесло» уже вчерашний день. Я же к Вам иду только с завтрашним. Так, спокойно и вне пафоса, просто знаю: следующая книга не может быть не Вам. Ведь посвящение – крещение корабля.

* * *

(Кстати, это письмо – беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте.)

* * *

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня – un grand peut-être, почти тот свет. Уезжай Вы в Гваделупу, к змеям, к прокаженным, я бы не окликнула. Но: в Россию – окликаю. – Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне – по делам, честно – к Вам: по Вашу душу: проститься. Вы уже однажды так исчезли – на Дев<ичьем> Поле, на кладбище: изъяли себя *из* … Вас просто не стало. Помятуя, боюсь – и борюсь за: что? Да просто рукопожатие. Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, но той *слепоте*, которая у меня к Вам.

Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, *вне* вымысла. Так удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету. Больше просить об этом не буду, но ответа жду.

Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) – *рана на жизнь*.

Не отъезда я Вашего боюсь, а исчезновения.

* * *

Два раза в Вашем письме: «тяжело». – Только потому, что Вы с людьми: Вы летчик! Идите к богам: к деревьям. Это не лирика; это врачебный совет. Живут же за городом, а в Германии это легче, чем где бы то ни было. У Вас будут книги, тетради, деревья, воздух, достоинство, покой. – Да, одно темное место в Вашем письме: Вы думаете, что я по причинам «горьким и стеснительным» живу вне Берлина? Да Берлин меня *сплошь* обокрал, я уехала нищая, с распиленными хрящами и растянутыми жилами. Люди пера – проказа! Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы, все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С. и Але, единственных, кроме Вас и кн<язя> С.Волконского, мне дорогих!

Единственная моя горечь, что я в Б<ерли>не не дождалась Вас. – Если Вы не уедете раньше, думаю приехать в начале мая. —

Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески – щажу. – Не слушайте. – Скажу хуже, пуще – но верней!

* * *

Вы получите от меня еще два письма: одно о Ваших и моих писаниях, другое – со стихами к Вам. Потом я замолчу. Без оклика – никогда не напишу. Писать – входить без стуку. Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ. Где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана!

* * *

Засим, Пастернак, до свидания. – Да, еще Вы должны подарить мне Библию, не из Ваших рук не возьму.

М.Ц.

<На полях:>

Praha II, Vyšehradska tř. 16, Mestsky Hudobinec. Mr S.Efron (для М.Ц.).

Худобинец – значит: убежище для нищих, прохудившихся: богадельня!

Письмо 7
Мокропсы, 11 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Это письмо будет о Ваших писаниях и – если хватит места и охота не пропадет! – немножко и о своих. Ваша книга – ожог. Та ливень, а эта ожог: мне было больно, и я не дула. (Другие – кольдкрэмом мажут, картофельной мукой присыпают! – Под-лецы!) – Ну, вот, обожглась и загорелась, – и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один. Я сама – собиратель, сама не *от себя*, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей – во мне. Милый Пастернак, – разрешите перескок: *Вы – явление природы*. – Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди – это вторые руки, поэты – третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а *явление природы*. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились – ни во что! И – *конечно* – Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (*есть* – такие дубы!), а Вы должны жить. (– На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба и сама *должна жить*, но – мимо!)

Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди – вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты – без стихов, это *первые руки*! Вы – поэт без стихов, т. е. так любят, так горят и так жгут – только не пишущие, пишущие раз, – восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении!) пера.

– Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние? «После этого он больше не писал».

Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас *средство*. Страсть эта – *отчаяние сказать*. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, – потому что в нем *всё*. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая… Вы хотите *невозможного*, из области слов выходящего. То, что Вы поэт – промах. (Божий – и божественный!)

Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, – только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. (Но все ослепительнее встает Ваша католическая сущность, – проповедника-монаха. Клянусь: не внешние приметы!) И оттого, что *дел нет*, – вся бешеная действенность в стихи: ничто на месте не стоит.

А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» – только оттого, что Вы *пытаетесь*: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не *протратитесь*. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) – Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет, – хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, Вам надо *отвод*: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.

Лирические стихи (то́, что называют) – отдельные мгновения *одного* движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем – рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь – движется. Лирика – это линия пунктиром, издалека – целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между …… точками – безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последнесть» каждого стиха!)

В книге (роман ли, поэма, *даже* статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди – судьбы – души, о которых пишешь, хотят *жить*, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем – всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит. Кажется, и Геликон говорил.

Не забудьте написать.

Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи.

До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку…», «Я их мог позабыть» (сплошь), – и последнее.

Жар (ожог) – от них.

Вы вторую часть книги называете «второразрядной». – Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, но – стихи! «Я их мог позабыть» – ведь это вторая часть!

Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу – неповинно, как человека. За то, что написано *тогда-то*, среди *тех-то, там-то*. За то, что *это* написано, а не то. – В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея

выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и – сколько – считаете написали?

14 нов. февраля

Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Всё, что я хочу сказать Вам – так непомерно! Возвращаясь к первой его части, верней к тому, уже отделанному (письма мои к Вам – перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите, – пробив!)… Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше проверив: *да*! Один раз только, когда я встретилась с Т.Чурилиным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, – сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипывая ему перья из крыл. (А Вы́ – бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) – Любя, может быть, страстно! – (*За*вершение, *до*вершение: *до, за* – предел!) Я же знаю, что Ваш предел – Ваша физическая смерть.

Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. А знаете, есть что-то у Вас от Lenau. (Почему в родстве неуклонно встает – германское?) Вы его когда-нибудь читали?

> Dunkle Zypressen!
> Die Welt ist gar zu lustig, —
> Es wird *doch* alles vergessen![11]

– Не Ваши? – Особенно вторая строка. – И Вы сами похожи на кипарис.

Но мешаете писать – Вы же. Это прорвалось как плотина – стихи к Вам. И я такие странные вещи из них узнаю. Швыряет, как волны. Вы *утомительны* в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, *опрокинутая* всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: срок, чувств, озарений, – да и просто шумов! Прочтете – проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, – а я унять не могу. Разве от *человека* такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел – на цепь. С ангелами (аггелами!) играть труднее.

Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались! – и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, – исподволь – и всё так

хорошо пойдет.

И вдруг – Вы: «дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! —

(И вот уже стих: С аггелами – не игрывала!)

– Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.

Пастернак, я в жизни – волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы – не умер!), сама – 20-ти лет – легкомысленно наколдовала: «И руками не потянусь». И была же секунда, Пастернак, когда я стояла с ним *рядом*, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие *не* красивые (стриженый, больной) – бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. – Стихи в кармане – ру́ку протянуть – не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) Ах, я должна Вам всё это рассказать, возьмите и мой жизненный (?) опыт: опыт опасных – чуть ли не смертных – игр.

Сумейте, наконец, быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (*читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!*), чтобы сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!

Ведь знаете: И́СКОСА – всё очень просто, мое «в упор» всегда встречало ИСКОСА, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать – приглядывались, сбивая меня с голосу.

– Устала. – И лист кончается. – Стихи пришлю, только не сейчас.

М.Ц.

Письмо 8
Прага, 15 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Долетела Ваша открытка с ответными крышами. – А все-таки я Вас с крышами перекричу! – Нате, любуйтесь!

Недоразумение выяснилось: письма просто встретились (разминулись). С Э<ренбур>гом у нас вышло наоборот, т. е. не с письмами вышло, а с людьми!

Пишу Вам после долгого трудового дня, лягу и буду утешаться «описью Вашего стихотворного имущества», – поразительно утешает от всех других имуществ: наличности их и отсутствия!

До свидания. Еще одно письмо за мной: стихи.

М.Ц.

Письмо 9
22 февраля 1923 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма, потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, – ни Вам, ни им. Я не могу не предполагать у Вас некоторого ожиданья письма по причине того трудно сдерживаемого нетерпенья, с каким сам я жду и ищу за него приняться, и Вы простите мне этот неловкий, но естественный перенос моих собственных чувств с себя на Вас. Целую Вашу руку. До скорого свиданья.

Ваш Б.П.

Письмо 10
<кон. февраля 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> – или нежелание принять?

А знаете, как это называется? Соблазн *избытком*. Из всех за жизнь – только один вместил: 61 г. от роду и – очевидно – миллиардер, т. е. привыкший.

А у Вас же великолепный выход: что́ превышает – пусть идет на долю *Гения*. Он вместит (бездонен).

Это не игра, п.ч. на игру нужен *досуг*. Я же задушена насущностями, от стихов до вынесения помоев, до глубокой ночи. Это *кровное*. Если хотите: кровная игра. Для меня всегда важно прилагательное.

Отношение к Вам я считаю срывом, – м.б. и ввысь. (Вряд ли.)

* * *

Я не в том возрасте, когда есть человеч<еские> ист<ины>.

* * *

Я не тот (я другой!) – тогда радуюсь. Но чаще не тот – просто *никто*. Тогда грущу и отступаюсь.

Письмо 11
6 марта 1923 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях. Этого последнего я бы желал всей душою. Я не боюсь того, что мне станет после этого трудней уезжать отсюда, потому что Веймар останется впереди и будет целью и поддержкой. Я не боюсь также, что лишусь Вашей дружбы по моем свиданьи с Вами, что бы плачевного я Вам ни рассказал и Вы бы ни увидали, потому что то и другое явится естественным продолженьем Ваших догадок не обо мне, как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем.

Темы «первый поэт за жизнь», «Пастернак» и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. Извините за неучтивость. Горячность Ваша иного назначенья. Многое, несмотря на душевно-родственные мне нотабены, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно.

За одно благодарю страшно. За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же и отвечаю. Это – подарок. С этой надеждой я не расстанусь. Но Вы забыли может быть? Это у Вас в первом письме. «Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ». А вот другое внушенье, это из второго. «Сумейте наконец быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим, чтобы сквозь Вас, как сквозь Бога, – прорвой!» Этого наказа я не принимаю, я его парирую. Мне в нем не нравятся два слова. «Сумейте» и «наконец». С Вами я меньше всего хотел бы что-нибудь *уметь*, слышать мне Вас без уменья *надо*, без установки на Вас, дело опять не в этом. Дорогая Марина Ивановна, будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя. В заключенье позвольте отнять у Вас право сердиться на меня за это письмо. Ему надлежало выразить две вещи. Одну, простейшую, непомерной глубины – Вам в лицо. Другую, тоже простую, но запутанности чрезвычайной, – всем вообще, о судьбе, о житье-бытье, о всякой всячине. Эту нелегкую долю оно с себя с

самого же начала сложило. Напишите тотчас, приедете ли Вы, т<ак> к<ак> я пишу в расчете на живой и близкий разговор с Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 12
Прага, 8 нов. марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской). Но я это давно знала, – еще до Вашего выезда!

Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы. Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.

– Что еще? – Поклонитесь Москве.

Еще раз спасибо за внимание и память, и – от всей души – добрый путь!

М.Ц.

Письмо 13а
9 марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

<В углу листа:>
Посвящение Февраля. Крыло Вашего отлета.

Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (предсмертной, я не боюсь больших слов, п.ч. у меня большие чувства). Пастернак, я не приеду. (У меня болен муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы м.б. сумел что-нибудь устроить, а так я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника, здешняя волокита). У меня здесь (как везде) ни друзей, ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М.Эренбург о Вашем отъезде: собирается… Но сборы – это месяцы! Кроме того, я не имела Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне расчета и вне лукавства и вне трусости. (Объясню!) – С получения Ваших «Тем и Варьяций», нет, – раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу. С Вашей лиловой книжечки я это превратила в явь, т. е. принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав ее окончание на ½ апреля. Работала все дни, не разгибая спины. – Гору сдвинуть! – Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед *жизненной* собой!). У меня (окружающих) *очень* трудная жизнь с моим отъездом – весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду, *НЕ* больше, – ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Больше, чем я сейчас – *нельзя*!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно, – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18го *целый день* (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, – пока души хватит.

Не приеду, п.ч. поздно, п.ч. я беспомощна, п.ч. Сло́ним, например, достанет разрешение в час, п.ч. это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей *пред* последней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, 16ти лет 2 года подряд, день <в> день, час в час, любила Герцога Рейхштадтского (Наполеона II), любила сквозь всё и всех, *слепая* жила. Пастернак, я себя знаю. Вы – мой дом, к Вам я буду думать *домой*, каждую секунду, я знаю. Сейчас Весна <оборвано>

(У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришлю.) Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: *ВСЁ* нужно сказать.

Предстоит огромная Бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, все это осталось на каменном отвесе берлинского балкона и в зап<исных> к<нижках>. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Это (Вы) уже поселилось в моей *жизни* (не только во мне!), приобрело оседлость.

Теперь, резко: что́ именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛОВА – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько – не знаю, увидите из февральских стихов. Самое точное: непрерывная и все …. устремление души, всего существа. К одному знаменателю. Ясно? Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом, Вам ясно? Законным. Ведь лютейшего соблазна и страшнейшей безнаказанности нет: расстояние! / пространство.

* * *

А теперь просто: я живой человек, и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя – нет, в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

* * *

Февраль 1923 г. в моей жизни – Ваш. Делайте с ним, что хотите.

* * *

П<астерна>к, два года роста впереди, *до* Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас, поэте, буду говорить другим: деревьям и, если будут, друзьям. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела.

Слово о Вашей – мысли навстречу моей *вечной* остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должна истолковать: Сумейте, означало не выучит<есь>, «Сделайте чудо, наконец» – увы относ<илось> ко мне, а не к Вам. Т. е. после стольких не-чудес, вот оно, наконец, чудо! (Которого *хочу*!) …Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Непосредственно после этого письма Вы получите другое, со стихами. Сделайте мне радость, прочтите их только в вагоне, когда поезд тронется. Вторая просьба: оставьте верный адрес.

– Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое. Я тогда не поняла «До скорого свидания», – теперь ясно, но поздно.

Письмо 13б
Мокропсы, 9 нов. марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Я не приеду, – у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, – в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше, и если бы я знала, что Вы так скоро едете… Неделю тому назад – беглое упоминание в письме Л.М.Э<ренбург>: Пастернак собирается в Россию… Потом пошло: и тот и другой, все вскользь, без обозначения срока.

Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего *рвения* к Вам, это не поможет. Я всё ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно.

С получения Ваших «Тем и Вариаций» – нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С Вашей лиловой книжечки это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание ее на середину апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Какая связь? Ясно. Та́к вскинуться я не вправе (перед *жизненной* собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь. С моим отъездом – весь чертов быт на них. Я ревностно принялась. Теперь поздно: книга будет, а Вы – нет. Вы мне нужны, а книга – нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. *Не* больше, – ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Всё равно *слишком* – и больше – нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас – пока души хватит.

Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, напр<имер>, достает разрешение в час, потому что это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду *жить* этим все два года напролет. И если за эти годы умру (*не* умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)

Предстоит огромная бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы – там, а я – здесь, дело в том, что Вы будете *там*, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска *по* Вас и страх *за* Вас, дикий страх, я себя знаю.

Пастернак, это началось с «Сестры», я Вам уже писала. Но тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь, а теперь моя жизнь – Вы, и мне некуда уехать.

Теперь, резко: *что́* именно? В чем дело? Я честна и ясна, *сло́ва* – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Наско́лько не знаю – увидите из февральских стихов. Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: *чувства*, уже исключающие понятие меры! – И я говорю меньше, чем есть.

А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя – лед (о*трешение*!), в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

Пастернак, два года роста впереди, *до* Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. – Буду присылать Вам стихи и всё, что у меня будет в жизни. О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то́, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно – или не нужно, – ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, – как тогда, в феврале, стихи.

Сейчас 2 ч<аса> ночи. – Пастернак, Вы будете живы? – Два года – что́ это? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я сейчас шла по отвесу горы, вижу пролетом поезд,

я подумала: вот! Пастернак, ни одного поезда не будет за эти… постойте: 730 дней! – чтобы я <оборвано>

* * *

Ваша изящная передача… И виду не подав! – Теряюсь. – «За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же отвечаю…» И еще, не забыла ли я? Нет, не забыла, если *я* забуду, мысль моя к Вам – не забудет.

А то, от чего Вы открещиваетесь, надо читать так: «Сделайте чудо (у меня: «сумейте»), будьте наконец тем»… «Наконец» – не к Вам, так, с пера сорвалось.

* * *

Вы не бойтесь. Это одно́ такое письмо. Я ведь не глупей стала – и не нищéй, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы – одаривающий. Буду в меру. В стихах – нет. Но в стихах Вы простите.

Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!

* * *

Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите – и страх, что, *поверив*, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне – мне всё слишком много: и от другого и – особенно! – от себя. Мое горе с Вами в том (*уже* горе!), что слово для меня ВПЛОТЬ – чувство: наивнутреннейшее. Если бы мы с Вами встретились, Вы бы меня не узнали, сразу бы отлегло. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. – Вам ясно? – В жизни я *безмерно* – дика, из рук скольжу.

* * *

Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов! Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов – в княжество снов.

Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. – Как через сто лет! – Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

М.Ц.

10 нов. марта, утром:

Целая страница еще впереди, – целый белый блаженный лист – на всё! Теперь пойдут просьбы: во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства не помнящий! во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!), чтобы я на все лады – и всем деревьям, – и всем ветрам! Злоупотреблять им не буду. В-третьих (бытовое), пойдите по приезде к Н.А.К<оган> (жене П<етра> С<еменовича>, матери Блоковского мальчика) и расскажите ей обо мне – что знаете. Скажите, что писала ей много раз и никогда не получала ответа. Скажите, что я ее и Сашу (сына) помню и люблю, дайте мой адрес. Да, еще очень важное: я переслала (т. е. Геликон) Н<адежде> А<лександровне> – для сестры – четыре доллара. Дошли ли? Если не забудете, попросите Н.А. передать сестре, что я ей писала бесконечное число раз и также в ответ – ни звука… Теперь еще, Пастернак, родной, просьба: не захватите ли Вы с собой три книжки моего «Ремесла» (возьмите у Геликона, объяснив) – все три сдали бы Н.А.: один ей, другой – моей сестре, третий – Павлику Антокольскому – мы с ним дружили в детстве (в начале революции).

О «Ремесле». Вчера, только что получив Ваше письмо, Вам его выслала, – свой экземпляр, пробный, немножко замурзанный, простите, другого не было. *Очень* хочу, чтобы Вы мне написали о «Переулочках», что́ встает? *Фабула* (связь) ни до кого не доходит, – только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, *всё* сказано. Другие слышат только шумы, и это для

меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне важно и нужно знать, как – Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?

Одной моей вещи Вы еще не знаете. «Мóлодца». Жила ею от Вас (осени) до Вас же (февраля). Прочтя ее, Вы может быть многое уясните. Это лютая вещь, никак не могла расстаться. Еще из просьб: присылайте стихи, это мне такое же освобождение, как собственные. Живописуйте *быт*, где живете и пишете, Москву, воздух, себя в пространстве. Это мне важно, я могу устать (от счастья!) думать в «никуда». – Фонарей и улиц много! – Когда мне дорог человек, мне дорога *вся* его жизнь, самый нищенский быт – драгоценен! И формулой: Ваш *быт* мне дороже чужого бытия!

Вчера вечером (я еще не распечатывала Вашего письма, в руке держала), вопль моей дочери: – «Марина, Марина, идите!» (я мысленно: небо или собака?) Выхожу. Вытянутой рукой указывает. Пол-неба, Пастернак, в крыле, крыло в пол-неба, – невиданное! Слов таких нет для цвета! Свет, ставший цветом! И мчит, запахнув пол-неба. И я, в упор: «Крыло Вашего отъезда!»

Такими *знаками* и *приметами* буду жить.

* * *

Посылаю стихи «Эмигрант». Хочу, чтобы прочли их еще в Берлине. Остальные (от первого до последнего) будут в письме которое высылаю следом. Их, – это моя нежная и настойчивая просьба, – Вы прочтете только в вагоне, когда поезд тронется.

* * *

Если будут очень ругать за «белогвардейщину» в Москве, – не огорчайтесь. Это мой крест. *Добровольный.* С Вами я вне.

Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно.

М.Ц.

– Оставьте адрес. —

Приложение
Стихи к вам:

1
Гора

Не надо ее окликать:
Ей отдых – что воздух. Ей зов
Твой – раною по рукоять.
До самых органных низов

Встревожена, в самую грудь
Пробужена, бойся, с высот
Своих сталактитовых (– будь!)
Пожалуй – органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —
Гора, но лавиной в лазурь
На твой серафический альт
Вспоет – полногласием бурь.

– И сбудется! – Бойся! – Из ста
На сотый срываются… – Чу!
На оклик гортанный певца
Органною бурею мщу!

7 нов. февраля 1923 г.

2

Нет, правды не оспаривай!
Меж кафедральных Альп
То бьется о розариум
Неоперенный альт.

Девичий и мальчишеский:
На самом рубеже.
Единственный из тысячи —
И сорванный уже.

В само́м истоке суженный:
Растворены вотще
Сто и одна жемчужина
В голосовом луче.

Пой, пой, – миры поклонятся!
Но Регент: «Голос тот
Над кровною покойницей:

Над Музою поет!

Я в голосах мальчишеских
Знаток…» – и в прах и в кровь,
Снопом лучей рассыпавшись
О гробовой покров.

Нет, сказок не насказывай:
Не радужная хрупь:
Кантатой Метастазовой
Растерзанная грудь.

Клянусь дарами Божьими:
Своей душой живой! —
Что всех высот дороже мне
Твой срыв голосовой!

8 нов. февраля

3
Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,
Дамами, Думами,
Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами
Неким —
Шуманом пронося под полой весну:
Выше! и́з виду!
Соловьиным тремоло на весу —
Некий – избранный.
Боязливейший, ибо взяв на дыб —
Ноги лижете!
Заблудившийся между грыж и глыб
Бог в блудилище!

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь
Не отвыкший… Виселиц
Не принявший… В рвани валют и виз
Веги – выходец.

9 нов. февраля

(NB! После «неким» – задержка дыхания – и: Шу́маном.)

4

Выше! Выше! Лови – летчицу!
Не спросившись лозы отческой —
Нереидою по – лощется,
Нереидою в ла – зурь!

Лира! Лира! Хвалынь синяя!
Полыхание крыл в скинии!
Над мотыками и́ спинами
Полыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как смеешь ты?
Только узел фаты веющей!
Или ветер страниц – шелестом
О страницы – и смыв, взмыл…

И покамест – счета – кипами,
И покамест – сердца – хрипами
Закипание – до – кипени
Двух вспененных – крепись! – крыл.

Так, над вашей игрой крупною,
(Между трупами – и́ – куклами!)
Не общупана, не́ куплена,
Полыхая и пля – ша —

Шестикрылая, ра – душная,
Между мнимыми – ниц! – сущая,
Не задушена вашими тушами
Ду – ша!

10 нов. февраля

5

Из недр – и на ветвь… рысями!
Из недр – и на ветр… свистами!

Гусиным пером писаны?

Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя зга – Скифия!

Сосед, не спеши! Нечего
Спешить, коли час – тысячный…
Разменной стрелой встречною
Когда-нибудь там – спишемся…

Вели – кая – и – тихая
Меж мной и тобой – Скифия…
И спи, молодой, смутный мой
Сириец, стрелу смертную
Кимвалами и лютнями
Глуша…
Не ушам смертного

(Единожды в век слышимый)
Эпический бег – Скифии!

11 нов. февраля

6
Колыбельная

Как по синей по степи́
Да из звездного ковша
Да на лоб тебе да…
– Спи,
Синь подушками глуша.

Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь,
Хвалынь-колывань.

Как по льстивой по трости́,
Ро́сным бисером плеща,
Заработают персты…
(Шаг – подушками глуша:)

Лежи – да не двинь,
Дрожи – да не грянь.
Волынь-перелынь,
Хвалынь-завирань.

Как из моря из Каспий —
ского – синего плаща,
Стрела свистнула да…
(спи,
Кровь – подушками глуша…)
Лови – да не тронь,
Тони – да не кань.
Волынь-перезвонь,
Хвалынь-целовань.

13 нов. февраля

7
Богиня Иштар

(Луны и Войны.
Ее, по словам Персов, чтили Скифы.)

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:

Братьев, сестер.

Руды моей вар,
Вражды моей чан,
Богиня Иштар,
Храни мой колчан…

(Взял меня – хан!)

Чтоб не́ жил кто стар
Чтоб не́ жил кто хвор
Богиня Иштар
Храни мой костер

(Пламень востер!)

Чтоб не́ жил кто стар
Чтоб не́ жил кто зол
Богиня Иштар
Храни мой котел

(Зарев и смол!)
Чтоб не́ жил – кто стар,
Чтоб нежил – кто юн!
Богиня Иштар
Стреми мой табун
В тридевять лун!

14 нов. февраля

8
Лютня

Лютня! Безумица! Каждый раз,
Царского беса вспугивая:
– «Перед Саулом-Царем кичась…»
(Да не струна ж – а судорога!)

Лютня! Ослушница! Каждый час,
Струны стрелой натягивая:
– «Перед Саулом-Царем кичась —
Не заиграться б с аггелами!»

Горе! Как рыбарь какой стою
Перед пустой жемчужницею.
Это же оловом соловью
Глотку залить… да хуже еще:

Это – бессмертную душу – в пах
Первому добру мо́лодцу…
Это – но хуже, чем в кровь и в прах:
Это – срываться с голосу!

И сорвалась же! – Иди, будь здрав,
Бедный Давид… – Есть пригороды!
Перед Саулом-Царем играв

С аггелами – не игрывала!

14 февраля

9
Азраил

I
От руки моей не взыгрывал,
На груди моей – не всплакивал…
Непреложней и незыблемей
Опрокинутого факела:

Над душой моей – в изглавии,
Над страдой моей – в изножии…
(От руки моей не вздрагивал, —
Не твоей рукой – низложена!)

Азраил! В ночах без месяца
И без звезд – дороги скошены.
В этот час тяжело-весящий
Я тебе не буду ношею…

Азраил! В ночах без выходов
И без звезд: личины сорваны!
В этот час тяжело-дышущий
Я тебе не буду прорвою…

А потом – перстом – как факелом
Напиши в рассветных серостях
О жене, что назвала тебя
Азраилом – вместо Эроса.

II
(последнее)
Оперением зим
Овевающий шаг наш валок —
Херувим
Марий годовалых!
В шестикнижие крыл
Окунающий лик как в воду —
Гавриил —

Жених безбородый!

И над трепетом жил,
И над лепетом уст виновных:
Азраил —
Последний любовник.

17 нов. февраля 1923 г.

М.Ц.

Письмо 14
<ок. 20 марта 1923 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна.

Вы видели, Вы слышали это? Призовите на помощь Ваше родное воображенье и представьте себе жизнь со всеми ее странностями и непорядками. Осмотритесь в этом представленьи: в нем найдите объясненье моего сдержанного величанья Вас и дикого этого запозданья. Увы, даже и это письмо преждевременно и пронесено тайком, под полою. В чем же дело? Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит. Это роковая незадача, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тяжбы избавлены были бы все трое. Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений. Как рассказать мне ей то, что нас с вами связало, когда *даже и Вам* мне этого не выразить, ибо единственным выраженьем этого будет ближайшая наша жизнь в ее труде, в ее сосредоточенной тишине и в той *силе*, которую я единственно силою-то и почитаю и которая предшествует *размерам* и их творит и зарождает, которая равна быть может точке и, дыша, отепляет своею умною нежностью безмерную вселенную, развернутую, раскинутую и сдерживаемую ее теплом. Что сказать мне Вам обо всем этом, если уже и сейчас возможность писать Вам или «взяться с Вами за дело» (в чем мне пока отказано) *я заменяю* чтеньем Толстого, ну хотя бы Воскресенья, что под рукой сейчас у меня. Вы – сестра мне, – и подумайте, с какой болью я закусываю при каждой новой строчке губы, чтобы не дать прорваться этому слову величайшей нашей мужской выразительности, дабы его горячая правда не попала в беду по моей ли малости, или по Вашей молодости, или по чем еще ином, как это всегда почти бывает с лучшими, с наилучшими достояньями человека.

Надо ли Вам, *такой* сестре, так по-родному хорошо знакомой

со всеми секретами породистого и *нравственно* породистого благородства (субстанция печалящая и усмешливая), говорить, что не Елена книжки – моя жена, что *то* все ушло в катастрофу, в несуществованье, что существованье далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равнодушью, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, – и что я узнал чувства делимые, множественные, бренные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие. Надо ли говорить Вам, что я далеко не тот, чтобы легкомысленно над этими *призраками чувств,* дающими жизнь на земле не призракам, *но живым детям,* насмеяться за то только, что они не поют и не хватают за сердце своим одиноким, неделимым и бесследным богоподобьем, а смотрят, всматриваются и размножаются деленьем. О, трудно мне об этом и так, второпях. Но свято и это. Однако иначе, суше, совсем иначе, чем принято это умиленно выражать. Осенью ждем мы ребенка, это ее, бедную, и погнало домой. Вот и едем. – Марина, если Женя проснется, я оборву письмо и так пошлю. Этот один обман да простится всем нам троим, – он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет.

Когда я прочел Ваше последнее письмо, у меня сердце сжалось от боли. Но это было заблужденьем. В следующую же минуту я поблагодарил Бога за то, что не встретил Вас летом 17 года. А то бы я *только* влюбился в Вас (и с Вами не было бы катастрофы, ибо их было бы две, а этого не бывает (т. е. у Вас и у меня)). Т. е. много бы ненависти осталось у нас по том, и такое потом обязательно бы последовало.

Письма не кончил. Опять просьба, уже раз высказанная Вам. Не думайте обо мне и об ответе, они придут сами собой. Стихов до Москвы читать не смогу. Пока не напишу из Москвы, – письма́, если бы написали, не посылайте. Всего огорчительнее было бы, если бы то, что пришло от Вас, залегло и сообщилось моей жизни (*даренье* большой *нравственной* и облагораживающей силы), в отдаленном моем выраженьи показалось чудны́м, смешным или непонятным Вам. А мне кажется, что судьба сводит нас *так* для того, чтобы кругом нас и рядом с нами не было искажений, обманчивости, измен. До свиданья. – Спасибо за Эккермана.

Ваш Б.П.

Письмо 15
<кон. марта 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Я терпелива, и свидания буду ждать, как смерти. / Я <в> Вас знаю только Вашу душу. / Умею любить Вселенную в розницу: *позвездно* и погнездно, но это величайший соблазн, – раз в жизни: оптом, в собирательном стекле – чего? – ну глаз. (Как всю Музыку в мире в одной органной ноте голоса.) Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй старым, старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять *всё*, т. е. дать другому возможность *быть*. Открещиваться и принимать вздох (выдох!) за вексель – дело наглой и подозрительной молодости. / Последняя реплика – «При чем тут я?!» («Не по адресу»). А здесь, волей-неволей, приходится говорить о поэте. Миллиард за жизнь прочитанных книг. – Так? – И очень много написанных. Откуда же *чудо* первичного волнения? Почему *это* ударило, а не соседнее. У каждого поэта только один читатель, и Ваш читатель – я. Теперь, внимание: я же не слепая и не глухая. Ваше признание меня (поэта) до меня доходит, я же не открещиваюсь: Вы поэт, Вы видите *будущее*. Хвалу сегодняшнему *дню* я отношу за счет завтрашнего, я спокойно принимаю, раз Вы верите – это будет (следовательно *есть*!). Вы видите землю насквозь, Вы видите цветок в семени. Никогда не расцветающий здесь, *здесь* прорастание в земле <вариант: сквозь землю>, цвет – завтра и *там*.

Ничья хвала и ничье признание мне не нужно, кроме Вашего, руку на сердце положа. – О не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т. е. не могут еще быть *только* чувствами. Когда я окончательно поверю в Вас, я перестану Вам писать.

* * *

Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. Это в первый раз за жизнь не наваждение, – а <пропуск одного слова> не чара, а знание. Не рассмотрите в этом превышения прав, раз, – упокоения в себе, два. Кроме Элизиума, есть еще земной милый сад с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, – лбом в Элизиум, ногами на земле. Поэтому покойно, упокоено только мое главенствующее. А ногам

– для того чтобы прямо идти – нужна рука – протянутая навстречу. – Хочу Ваших писем. —

Письмо 16
<кон. марта 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Не живя с <Вами>, я всю жизнь буду жить не с теми, но мне не важно с кем: кем. Живя <Вами>, я всю жизнь буду жить – ТЕМ!

* * *

Знаете, как это бывает. Предположим, Вы ставите вопрос, сгоряча – перв<ым> движ<ением> – нет, потом – глубже: да, потом еще глубже: нет, глубже глубокого: да… (Не четыре ступени – сорок!) И, конечное: *да*.

Так и с Вашим вопросом (ибо не утверждение, а вопрос, в утверждении – вопрос!) о сестре. (Уже сейчас не помню, что́ сгоряча, м.б. и *да*, важна смена!) Как с лестницы. Но в Вашем вопросе я не вглубь шла, а ввысь.

* * *

Воз<действие> одного на другого. Душа ищет знака, повел<евающего> *быть*, (скала – жезла Ааронова <вариант: Моисеева>).

* * *

Думаю, что из упорства никогда не скажу Вам того слова. Из упорства. Из суеверия. (Самого *пустого*, ибо вмещает *всё*, самого страшного!) Его можно произносить по пустякам, когда это заведомо – гипербола. Его можно дарить, как червонец – нищему. В больших случаях – тишина и осторожн<ость>. Не п.ч. Крёзу моего червонца мало, а п.ч. он его сам наперед взял.

Я ничего не могу Вам подарить, п.ч. это было бы взлом<ом> в Вашу же сокровищницу.

* * *

Еще: дарить: хотя бы душу! – *отделять*: душа часть меня, есть кость. Предпочитаю ничего Вам не дарить, не говорить – об этом.

* * *

Сегодня вечером, холодя себе весь левый сердечный бок промерзлой стеной весеннего вагона (сидела у окна), думала: этого жизнь мне не даст: Вас рядом. Даст чехов, немцев, студентов, гениев, еще кого-то, еще кого-то: – она мне не даст.

* * *

Ну, а в минуту смерти: *кто* встанет?

* * *

Думаю, (вне Вас и вне себя) в предсмертную секунду (последнюю до) – *та* рука, в секунду посмертную (первейшую, первую по) моя, *эта*.

По спокойствию и по безнадежности знаю: <оборвано>

* * *

– «Не ждите ни меня, ни моих писем»… Милый друг, я буду ждать *Ваших дел*, это же Ваше лучшее письмо ко мне: письмо к Миру!

* * *

– Ах, Вы и это слово писать задумыв<аетесь>? Для меня все слова малы с рождения, всегда. И за малейшее из них я так: из недр – благодарна. Я и не такие выслушивала молча, не отвечая на них, как не отвечают на вздох. Для меня они все малы, я ни одного не боюсь, другой у меня ни за одно не отвечает / я ни на одно не отвечаю.

* * *

Не бойтесь. Я не кредитор. Я и свои и чужие забываю,

раньше, чем другой успеет забыть. Я не даю забывать – *другому*. (Т. е. эту роскошь оставляю за собой!)

* * *

Я дружбу ставлю выше любви: не я ставлю, стоит выше, просто: дружба стоит, любовь – влежку.

Horizontales und Wertikales Handwerk[12].

* * *

Всё в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь.

* * *

Сестра, это отсутствие страдания (не *ее*, от нее!). – Не будете. —

* * *

На моей горе растет можжевельник. Каждый раз, сходя, я о нем забываю, каждый раз, всходя, я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст <вариант: Вы>. Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя – его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. Я думаю, что это Вы.

* * *

Можжевельник двуцветный: снизу голубой, сверху зеленый. В памяти моей он черный.

* * *

Нам с Вами важно условиться, договориться, и – сговорившись – держать. Ведь обычно проваливается, п.ч. *оба* ненадежны. Когда один надежен – уже надежда на удачу. А мы ведь надежны оба, Вы и я.

* * *

Со мной сумел (вместил и ограничил) только один, вдвое старше Вас. Вместил, ибо бездонен, ограничил – ибо женщин и этим всю женскую роль с меня *снял*. (Ограничил, т. е. освободил *от*.) Ту роль, которую *я*, с чисто мужской корректностью, все-таки почему-то играть себя считала обязанной.

* * *

Мой дом – лбы, а не сердца.

Письмо 17
24 августа 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Всё меня отшвыривает, Б.П., к Вам на грудь, к Вам – в грудь. Вас многие будут любить, и Вы будете знаменитым поэтом – дело не в том! Никогда и ни в ком Вы так не прозвучите, я читаю Ваши умыслы.

Письмо 18
<январь 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Пастернак, полгода прошло, – нет, уже 8 месяцев! – я не сдвинулась с места, так пройдут и еще полгода, и еще год – если еще помните! Срывалась и отрывалась – только для того, очевидно, чтобы больнее и явнее знать, что вне Вас мне ничего не найти и ничего не потерять. Вы, моя безнадежность, являетесь одновременно и всем моим будущим, т. е. надеждой. Наша встреча, как гора, сп<олзает> в море, я сначала приняла ее (в себе) за лавину. Нет, это надолго, на годы, увижусь или не увижусь. У меня глубокий покой. В этой встрече весь смысл моей жизни, думаю иногда – и Вашей. Просто: читаю Ваши книги и содрогаюсь от соответ<ствия>. Поэтому ни одна строка, написанная с тех пор, Вас не миновала, я пишу и дышу в Вас (как цель, место, *куда* пишешь). Я знаю, что когда мы встретимся, мы уже не расстанемся. Я vorfühlende[13]. Как это будет в *этих* мирах, не знаю, – как-нибудь! – это случится той силой горы.

Это не одержимость и не наваждение, я не зачарована, а если зачарована – то навек, так что и на *том* свете не проснусь, не очнусь. Если сон снится всю жизнь – какое нам дело, что это сон, ведь примета сна – преходящесть.

Я хочу говорить Вам просто и спокойно, – ведь 8 месяцев, под<умайте>, день за днем! Всякая лихорадка отпустит. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда Музыка – Б.П., когда лист слетает на дорогу – Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас. Всё, и болевое, и <пропуск одного слова>, с удесятеренной силой отшвыривает меня к Вам на грудь, в грудь, я не могу выйти из Вас, даже когда <оборвано>

О внешней жизни. Я так пыталась любить другого, всей волей люб<ви>, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана). Я невиновна в том, что я <оборвано>, я всё делала, чтобы это прошло.

Так было, так есть, так будет.

* * *

Я не жду Ваших писем, отпуская Вас тогда, я отпускала Вас на

два года, на все эти дни этих двух годов, на все часы. Мне эти годы, часы, дни нужно проспать. Сон – работа, сон – <пропуск одного слова>, любовь к др<угому>. Тревожиться и ждать Вас я начну, хотела сказать 31го апреля – нет, 30го марта 1925 г. Это – ставка моей жизни, так я это вижу.

Смешно *мне*, не отвечающей ни за час, загадывать на годы, но вот – полугодие уже есть. Так пройдут и ост<альные> три.

* * *

<Другими чернилами; вероятно, предварительный конспект этого письма:>

Не хочу сказать б<ольше>, чем есть, но: некое чувство обреченности друг на друга, просто: иначе не может быть. Вокруг меня огромные любовные вихри, Вы моя единственная неподвижность (во мне, все то – во вне, это во мне). О внешней жизни не расск<азываю>, т. е. о жизни моей в днях, – много всего! все настоящее, но из каждых рук рвусь в Вас, оглядываюсь на Вас. Встреча с Вами – весь смысл моей жизни здесь на земле (есть и ин<ые> см<ыслы>). Зн<айте>, что то, что удерживает, заграждает мне Вас, так же велико, громадно, безнадежно – как Ваше. Мы во всем равны здесь <оборвано>

Письмо 19
<пер. пол. 1924 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Так странно Вам писать! Мне кажется, Вы знаете и видите все, мы никогда не начинали, мы никогда не перестанем. Живите долго, живите вечно, я только на это надеюсь теперь. Как объяснить Вам? Я мог бы простыми и строгими словами рассказать, что́ теперь со мною и как сложилась жизнь, как трудно тут. Всего бы лучше так и сделать. Но я не знаю, далось ли бы Вам то волненье, с каким бы я их сказал. Я писал бы Вам о своем житье-бытье, и чем подробнее и точнее на нем останавливался, тем чудне́е и жутче было бы Вам, что я с таким усердьем себя помню. А между тем, подробно и точно писал бы я о Вас, о Вас давнишней, о Вас отдаленной и далекой в будущем. Что Вы такое, Марина? Вы в ряду тех величайших вещей, которых можно не замечать, без угрозы обидеть их и их лишиться. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем чтобы когда-нибудь и как-то (и кто скажет, как?) отправиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. Только раз пять или шесть, не больше, слышал я в жизни другую такую незаметность, водопад существованья, грохот невымышленного мира, частый, как несущаяся конница, град отвесного, во весь рост, чутья, предполаганья, испуга, восторга, поклоненья и утаиванья, – такие звуки знакомы окнам весенней ночью. О том, как услыхал я это в предпоследний раз, писал я в бытность мою поэтом. В следующий, в последний раз я это услышал из Верст и потом от Вас, изо всего, что от Вас шло и за что я никогда не благодарил во́время, как за отдаленное, всю ночь держащее тебя у окна, молодое, горделивое, немолчно играющее молчаньем, торжественно тихое одиночество далекого, далекого водопада. Зачем я пишу Вам глупости, они Вас за разметываемую красоту не вознаградят и вас не возвратят мне, если Ваше терпенье истощилось, если мое поведенье Вам в тягость и я Вас потерял. Я часто представлял себе, что было бы, будь Вы тут. Я боюсь говорить об этом, так ясно я все вижу, ничего не назвав. Но одним разочарованьем было бы в жизни у Вас больше, потому что до какой бы бледности и опущенности я ни дошел, войдя к Вам и оставшись при Вас, я бы их за собой не знал, за оглушающим грохотом полной подлинности, за счастьем, и наверное недоумевал бы и огорчался, когда Вы и другие глядели бы на

меня трезвыми глазами. Потому что красить Вас и Вас дополнять нечем и не к чему. И как легко бы я стал ничтожеством (для Вас неловким). Есть устойчивый, бестрепетно сторожевой порядок, порядок Верст и расстояний, без которых некуда было бы удаляться далям, неоткуда катиться их гулу. Они умнее нас. Их разорять нельзя. Я заметил, что думая о Вас, всегда закрываю глаза. Я тогда вижу свой дом, жену, ребенка, всё вместе, себя, лучше сказать, то место среди них, куда я должен откуда-то вернуться и возвращаюсь. И вот, с закрытыми глазами продолжаю я видеть их в какой-то их радости, в подъеме, точно приток неведомо откуда-то взявшихся планов или надежд влился в них, или у них праздник, и они не знают, как его назвать, я же знаю (и может быть говорю им), и имя этому празднику – Вы. Ничем у меня из головы этого представленья не вышибить. Я уже раз Вам о нем говорил. Я верю в это чутье, слишком часто оно мне является и мое постоянное любованье Вами сопровождает. Я ему слепо доверяюсь, хотя ни понять, ни осмыслить его не в силах. Возможно, что это предчувствие какое-то, – безо всякой мистики, лишнего глубинничанья и литературы. В том, как я люблю Вас, то́, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющий, – о если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знает. У него может быть только два значенья. Либо нам не суждено свидеться (ну скажем, меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы понапрасну их огорчать или отчуждать). Либо же суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось. Я ловлю себя на том, что говорю уже не с Вами, а о Вас с самим собой или с двойником моей Жени. Это ведь неуклюже и не касается Вас, и Вам скучно, наверное, родной, родной мой воздух, насильно с воли втянутый в комнату к посторонним! Сегодня ровно год, как я сдерживаюсь, таюсь и для Вас не существую. Дань неправде ведь и эта нарочитая нищета. Мне хочется писать Вам. Я буду писать про всякую всячину, без иронии, я буду обо всем пробалтываться Вам. Это будут (если пойдут) – ровные, почти неподвижные письма. Сразу же, как только я обращаюсь к Вам, Марина, меня подымает до самого предела преданности, и этот уровень длится ровно, без спаданий, головокружительно.

Ваш Б.П.

<На полях:>

Ищите случая, как с Синезубовым, рассказывайте о себе, передавайте все что можно, стихи же посылайте полностью, все, все, что напишете, одна Вы еще поэт под этим нашим небом.

Мой адрес: Волхонка 14 кв. 9. Прощайте.

Письмо 20
Цветаева – Пастернаку

Провода

– Борису Пастернаку. —

«И – мимо! Вы поздно поймете…»

Б.П.

1

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольнего.
– По аллее
Вздохов – проволокой к столбу
Телеграфное: «лю – ю – блю…

Умоляю…» (печатный бланк
Не вместит! Проводами проще!
Это – сваи, на них Атлант
Опустил скаковую площадь
Небожителей…
Вдоль свай
Телеграфное: про – о – щай…

– Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про – о – стите…
Это – снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:

Выше, выше – и сли – лись
В Ариаднино: ве – ер – нись,

Обернись!.. Даровых больниц
Заунывное: не́ выйду!
Это – про́водами стальных
Проводо́в – голоса Аида

Удаляющиеся… Даль
Заклинающее: жа – аль…

Пожалейте! (В сем хоре – сей
Различаешь?) В предсмертном крике
Упирающихся страстей —
Дуновение Эвридики:

Через на́сыпи и́ рвы́
Эвридикино: у – у – вы,

Не у —

17 марта 1923

2

Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира.

«…Все плакали, и если кровь болит…
Все плакали, и если в розах – змеи…»
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!

– Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо *небывших*!

Какие чаянья, когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся?
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!

Тщета! во мне она! везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Лжет календарная…

Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не…
– Утрата!

О по каким морям и городам
Тебя искать? (незримого – незрячей!)
Я про́воды вверяю провода́м,
И в телеграфный столб упершись – плачу.

18 марта 1923 г.

3
(Возможности)

Все перебрав – и все отбросив,
(В особенности – семафор!)
Дичайшей из разноголосиц
Школ, оттепелей… (целый хор

На помощь!) Рукава как стяги
Выбрасывая…
– Без стыда! —
Гудят моей высокой тяги
Лирические провода.

Столб телеграфный! Можно ль кратче
Избрать? Доколе небо есть —
Дружб непреложный передатчик,
Уст осязаемая весть…

Знай! что доколе свод небесный,
Доколе зори к рубежу —
Столь явственно и повсеместно
И длительно тебя вяжу.

Чрез лихолетие эпохи,
Лжей насыпи – из снасти в снасть —
Мои неизданные вздохи,
Моя неистовая страсть…

Вне телеграмм (простых и срочных
Штампованностей постоянств!)

Весною стоков водосточных
И проволокою пространств.

19 марта 1923 г.

4

Самовластная слобода!
Телеграфные провода!

Вожделений моих выспренных,
Крик – из чрева и на́ ветр!
Это сердце мое, искрою
Магнетической – рвет метр.

– «Метр и меру?» Но чет – вертое
Измерение мстит! – Мчись
Над метри́ческими́ мертвыми —
Лжесвидетельствами – свист!

Тсс… А ежели вдруг (всюду же
Провода и столбы!) лоб
Заломивши поймешь: трудные
Словеса сии – лишь вопль

Соловьиный, с пути сбившийся
– Без любимого мир пуст! —
В Лиру рук твоих влю – бившийся,
И в Леилу твоих уст!

20 марта 1923 г.

Эвридика – Орфею:

Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!..)
– О, не превышение ли полномочий,
Орфей, твоя оступь в Аид?

Для тех, отрешивших последние звенья

Земного… На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим – свидание нож.

Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой
Бессмертья…
До самых летейских верховий
Любивший – мне нужен покой

Беспамятности… Ибо в призрачном доме
Сем – призрак *ты́*, сущий, а явь —
Я, мертвая… Что же скажу тебе, кроме:
– Ты это забудь и оставь!

Ведь не растревожишь же! Не повлекуся!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.

Уплочено же – вспомяни мои крики! —
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

23 марта 1923 г.

Не чернокнижница! В белой книге
Далей денных – навострила взгляд!
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут… Морские недра
Выворочу – и верну со дна!
Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы – как душу добудет Бог:

Через дыхание – в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! – Все уста о шипья

Выкровяню – и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
– Сдайся! – Стрела, описавши круг…
– Сдайся! – Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание… (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст – слюда…)
Как прозорливица – Са́муи́ла
Выморочу – и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются…
Вьюсь и длюсь,
Есмь я и буду я, и добуду
Душу – как губы добудет уст —

Упокоительница…

25 марта 1923 г.

Час, когда вверху цари
И дары друг к другу едут.
(Час, когда иду с горы:)
Горы начинают ведать.

Умыслы сгрудились в круг,
Судьбы сдвинулись: не выдать!
(Час, когда не вижу рук.)

Души начинают видеть.

25 марта 1923

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Взмахов, выстроенных в ряд)
Были слёзы – больше глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: вернись!),

Были взмахи – больше рук.

Точно руки – вслед – от плеч,
Точно губы вслед – заклясть.
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость…
– Господи, взгляни на нас! —
Были слёзы больше глаз
Человеческих и звёзд

Атлантических…

26 марта 1923 г.

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
Так Монархини ждет наложник)
Терпеливо, как рифмы ждут,
Терпеливо, как руки гложут.

Буду ждать тебя (в землю – взгляд,
Зубы – в губы! столбняк! булыжник!)
Терпеливо, как негу длят,
Терпеливо, как бисер нижут.
Скрип полозьев, ответный скрип
Двери: рокот ветров таёжных.
Высочайший пришел рескрипт:
– Смена царства и въезд вельможе.

И домой:
В неземной —
Да мой.

27 марта 1923 г.

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а всё ж сдается: все

Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Всевидящий, он знает, чью
Ладонь – и в чью, кого – и с кем.
Кому печаль мою вручу,
Кому печаль мою повем

Предвечную (дитя, отца
Не знающее и конца
Не чающее!) О, печаль
Плачущих – без плеча!

О том, что памятью с перста
Спадет, и камешком с моста…
О том, что заняты места,
О том, что наняты сердца

Служить – безвыездно – навек,
И жить – пожизненно – без нег!
О заживо – чуть встав! чем свет —
В архив, в Элизиум калек!

О том, что тише ты и я
Травы, руды, беды, воды…
О том, что выстрочит швея:
Рабы – рабы – рабы – рабы.

5 апреля 1923 г.

С другими – в розовые груды
Грудей… В гадательные дроби
Недель…
А я тебе пребуду
Сокровищницею подобий.

По случаю – в песках, на щебнях
Подобранных, – в ветрах, на шпалах
Подслушанных… Вдоль всех бесхлебных
Застав, где молодость шаталась.

Шаль, узнаешь ее? Простудой
Запахнутую, жарче ада
Распахнутую…

Знай, что чудо
Недр – под полой, живое чадо:

Песнь! С этим первенцем, что пуще
Всех первенцев и всех Рахилей…
– Недр достовернейшую гущу
Я мнимостями пересилю!

11 апреля 1923 г.

Ариадна

1
Оставленной быть – это втравленной быть
В грудь – синяя татуировка матросов!
Оставленной быть – это явленной быть
Семи океанам… Не валом ли быть
Девятым, что с палубы сносит?

Уступленной быть – это купленной быть
Задорого: ночи и ночи и ночи
Умоисступленья! О, в трубы трубить —
Уступленной быть! – Это длиться и слыть
Как губы и трубы пророчеств.

2
(Антифон:)
– О всеми голосами раковин
Ты пел ей…
– Травкой каждою.
– Она томилась лаской Вакховой.
– Летейских маков жаждала…

(Но как бы те моря ни солоны —
Тот мчался.
– Стены падали…)
– И кудри вырывала полными
Горстями…
– В пену падали…

21 апреля 1923 г.

Несколько слов:

1
Ты обо мне не думай никогда!
(На – вязчива!)
Ты обо мне подумай: провода:
Даль – длящие…

Ты на меня не жалуйся, что жаль…
Всех слаще, мол…
Лишь об одном, пожалуйста: педаль:
Боль – длящая.

2
(Диалог:)
Ла́ – до́нь в ладо́нь:
– За – чем рожден?
– Не – жаль: изволь:
Длить – даль – и боль.

3
Проводами продленная даль…
Даль и боль, это та же ладонь
Отрывающаяся – доколь?
Даль и боль, это та же юдоль…

23 апреля 1923 г.

Сестра

Мало ада и мало рая:
За тебя уже умирают.

Вслед за братом, увы, в костер —
Разве принято? – Не сестер
Это место, а страсти рдяной!
Разве принято под курганом —
С братом?..
– «Был мой и есть! Пусть сгнил!»

– Это местничество могил!!!

11 мая 1923 г.

Сивилла – младенцу:

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.

С заоблачных, отвесных скал,
Младенец мой, —
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал.

Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение – паденье в час!

Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение – паденье в кровь,

И в прах,
И в час…

Где зарева его чудес?
Плачь, маленький: рожденье в вес.

Где залежи его щедрот?
Плачь, маленький: рожденье в счет,

И в кровь,
И в пот…

(намеренно обрываю)

17 мая 1923 г.

Диалог Гамлета с совестью

– На дне она, где ил

И водоросли… Спать в них
Ушла, – но сна и там нет!
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
– Гамлет!

На дне она, где ил:
Ил! – И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
– Но я ее любил
Как сорок тысяч…
– Меньше,
Всё ж, чем один любовник.

На дне она, где ил.
– Но я ее —
(недоуменно:)
– любил??

5 июня 1923 г.

Расщелина

Чем окончился этот случай,
Не узнать ни любви, ни дружбе.
С каждым днем отвечаешь глуше,
С каждым днем пропадаешь глубже.

Так, ничем уже не волнуем,
Ни единой струной не зыблясь —
Как в расщелину ледяную,
В грудь, что *та́к* о тебя расшиблась!

Из сокровищницы подобий
Вот тебе – наугад – гаданье:
Ты во мне как в хрустальном гробе
Спишь, – во мне как в глубокой ране

Спишь, – тесна ледяная прорезь!
Льды к своим мертвецам ревнивы:
Перстень – панцырь – печать – и пояс:

Без возврата и без отзы́ва…

Зря Елену клянете, вдовы!
Не Елениной красной Трои
Дым! – Расщелины ледниковой
Синь, на дне опочиешь коей…

Сочетавшись с тобой, как Этна
С Эмпедоклом… Усни, сновидец!
А домашним скажи, что тщетно:
Грудь своих мертвецов не выдаст.

17 июня 1923 г.

Занавес

Водопадами занавеса как пеной
– Хвоей – пламенем прошумя.
Нету тайны у занавеса – от сцены:
(Сцена – ты, занавес – *я*).

Сновиденными зарослями (в высоком
Зале – оторопь разлилась)
Я скрываю героя в борьбе с Роком,
Место действия – и – час.

Водопадными радугами, обвалом
Лавра (вверился же! знал!)
Я тебя загораживаю от зала,
(Завораживаю – зал!)

Тайна занавеса! Сновиденным лесом
Сонных сна́добий, трав, зерн…
(За уже содрогающейся завесой
Ход трагедии – как шторм.)

Из последнего шелка тебя, о недра,
Загораживаю. – Взрыв! —
Над ужа́—ленною́ Федрой
Взвился занавес, как гриф.

На́те! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?

Заготáвливайтé чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель бел, занавес рдян).

И тогда, благодетельным покрывалом
Долу, знаменем прошумя.
Нету тайны у занавеса – от зала.
(Зала – жизнь, занавес – я).

23 июня 1923 г.

Письмо

Строительница струн – пристрóю
И эту. Обожди
Отчаиваться! (В сем июне
Ты́ плачешь, ты – дожди!)

И если гром у нас – на крышах,
Дождь – в доме, ливень – сплошь —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь.

Ты́ дробью голосов ручьёвых
Мозг бороздишь, как стих.
(Вместительнейший из почтовых
Ящиков – не вместит!)

Ты́, лбом обозревая дали,
Вдруг по хлебам – как цеп
Серебряный… (Прервать нельзя ли?
Дитя! Загубишь хлеб!)

(Не окончено)

Сахара

Красавцы, не ездите!
Песками глуша,
Пропавшего без вести

Не скажет душа.

Напрасные поиски,
Красавцы, не лгу!
Пропавший покоится
В надёжном гробу.

Стихами, как странами
Чудес и огня,
Стихами – как странами
Он въехал в меня:

Сухую, песчаную,
Без дна и без дня.
Стихами – как странами
Он канул в меня.

Внимайте без зависти
Сей повести душ.
В глазные оазисы —
Песчаная сушь…

Адамова яблока
Взывающий вздрог…
– Взяла его на́глухо,
Как страсть и как Бог.

Без имени – канувший!
Не сыщете – взят.
Пустыни беспамятны, —
В них тысячи спят!

Стиханье до кипени
Вскипающих волн…
Песками засыпанный,
Сахара – твой холм.

3 июля 1923 г.

Брат

Раскалена как смоль:

Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью

Смуты… (Откуда звук
Ветки откромсанной?)
Брат, заходящий вдруг —
Сто́лькими солнцами!

Брат без других сестер:
На́-прочь присвоенный!
По гробовой костер —
Брат, но с условием:
Вместе и в рай и в ад!
Раной – как розаном
Соупиваться! (Брат,
Адом дарованный!)

Брат! Оглянись в века:
Не было крепче той
Спайки! Шумит река…
Снова прошепчется

Где-то, меж звезд и скал,
– Настежь, без третьего! —
Что́ по ночам шептал
Цезарь – Лукреции.

12bis июля 1923 г.

Клинок

Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть…
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!

Но бывает такая примесь
Прерий в ветре и бездны в губ
Дуновении… Меч, храни нас
От бессмертных душ наших двух!

Меч, терзай нас и меч, пронзай нас,
Меч, казни нас, но, меч, знай,
Что бывает такая крайность
Правды, крыши такой край…

Двусторонний клинок рознит?
Он же – сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
(Слушай! если звезда, срываясь…
Не по воле дитя с ладьи
В море падает… Острова есть,
Острова для любой любви…)

Двусторонний клинок, синим
Ливший, красным пойдет… Меч
Двусторонний – в себя вдвинем!
Это будет – лучшее лечь!

Это будет – братская рана!
Так, под звездами, и ни в чем
Не повинные… Точно два мы
Брата, спаянные мечом!

18 августа 1923 г.

Марина Цветаева

Дружочек, устала. Остальные дошлю. Итак, адр<ес> мой (стихов, м.б., не потеряете?) Прага Praha Smichov, Švedska ul., č. 1373 (не пугайтесь №, здесь все такие длинные). Из стихов посылала только те, что непосредственно к Вам, в упор. Иначе пришлось бы переписыв<ать> всю книгу!

Последние три стиха – для очистки совести – чтобы завтра *сызнова* начать:

Магдалина

Меж нами – десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает:

Ты мне – чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех…
(Чужая кровь – желаннейшая
И чу́ждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась – светла
Масть! – очесами демонскими
Таясь, лила б масла́ —

И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески…
Страсть, по купцам распроданная,
Расплёванная, – теки!

Пеною уст, и накипями
Очес, и по́том – всех
Нег… В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех:

Некою тканью под ноги
Стелюсь… Не тот ли (– та! —)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 авг<уста> 1923 г.

Побег

Под занавесом дождя
От глаз равнодушных кроясь,
– О завтра мое! – тебя
Выглядываю – как поезд

Выглядывает бомбист
С еще-сотрясеньем взрыва
В ушах… (Не одних убийств
Бежим, зарываясь в гриву

Дождя!)

– Не расправы страх,
Не… – Но облака! но звоны!
То Завтра на всех парах
Проносится вдоль перрона

Пропавшего… Бог! Благой!
Бог! И в дымовую опушь —
Как о́б стену… (Под ногой
Подножка – или ни ног уж,

Ни рук?) Верстовая снасть
Столба… Фонари из бреда…
– О, нет, не любовь, не страсть,
Ты – поезд, которым еду

В Бессмертье…

Прага, 14 октября 1923 г.

Брожу – не дом же плотничать,
Расположась на росстани!
Так, вопреки полотнищам
Пространств, треклятым простыням

Разлук, с минутным баловнем
Крадясь ночными тайнами,
Тебя под всеми ржавыми
Фонарными кронштейнами —

Краем плаща… За стойками —
Краем стекла… (Хоть краешком
Стекла!) Мертвец настойчивый,
В очах – зачем качаешься?

По набережным – клятв озноб,
По за́городам – рифм обвал.
Сжимают ли – «я б жарче сгреб»,
Внимают ли – «я б чище внял».

Всё ты один: во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах.
Так неживые дети мстят:
Разбейся, льстят, развейся, льстят.

…Такая власть над сбивчивым
Числом – у лиры любящей,
Что на тебя, небывший мой,
Оглядываюсь – в будущее!

16 октября 1923 г.

Письмо 21
<май 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Когда я думаю *во времени*, все исчез<ает>, все сразу невозможно, магия *срока*. А так – где-то (без *где*), когда-то (без *когда*) – о, все будет, сбудется.

* * *

Терпение. Не томлюсь, не жду.

Письмо 22
<май 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Высшая нереальность <вариант: ирреальность>.

* * *

Вы единственный, за кого бы я умерла без велик<ого> сознания *жертвы*, чью жизнь предпочла бы своей не как мне ценнейшую, а ценнейшую *моей* <вариант: своей>.

Письмо 23
14 июня 1924 г.
Пастернак – Цветаевой

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. Отчего не у Вас еще эти имена с рассказом об оставшихся, дышащих тем же, что и они! Как они ненавидят бумагу! Стоит одному из них, точно по недосмотру рассвета, слететь и лечь на страницу, как тотчас же просыпается страшная сволочь, – письмо. Оно ничего не видит и не знает, у него свое возбужденье, оно сыплет *своими* запятыми. Только отвернулся, глядишь, а уж оно и любит, любит – а я не хочу чтобы письма любили Вас. Вы не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка. Но это, последнее, я отошлю и в том случае, если засамовольничает и оно. Пока же это еще мой голос. – За что я ненавижу их? Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что *утомляет*, утомительной *долготы* любованья, поляризации чувств они не передают. А это самое поразительное. Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется. На улице, смеясь, разговариваешь со знакомыми. Вдруг содрогаешься, такою отталкивающей силой ни с того ни с сего наделяются их слова. И вдруг чувствуешь, что это действуют не они, что они поляризованы, что их перевели в этот полюс. *Они – не она*, вот в чем вся их сила. И какая! И когда сжимается сердце, – о эта *сжатость* сердца, Марина! Какой удивительный след неземного прикосновенья в этом ощущеньи! И насколько *наша* <подчеркнуто трижды> она, эта сжатость, – ведь она насквозь *стилистическая*. Как мы ее понимаем! Это – электричество, как *основной стиль* вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну, зарядить Богом, ассимилировать, *уподобить*. И вот она, заряженная им с самого рождения, и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая реторическим треском самостоятельных маховых движений (*неутомляющих* мыслей, порывов, *любящих писем*, вторичных поз), вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце – питающий приток безразлично многочисленных времен и мест,

восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, – на другом – *бесконечно малая*, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть *искры, ушедшей в воду* и фасцинирующей ее со дна. Ее волненье удивительно своей неуловимостью. Оно производит работу, перед которой скаканье морских бурь смешно и ничтожно. При взгляде же на ее поверхность ничего не увидать, тихая, ровная гладь. Но она растворяет миры, как в детстве, она стаскивает их в себя, воспаляет вниманьем, разлагает, проясняет. Она подчиняет сердечной сжатости все разнесенное и раздутое человечеством, смывает слова, слои посредственные, искажающие. Она впитывает только чистую природу и, проволакивая по своему дну все воспринятое, относит восстановленное вещество к точке своего поклоненья. Вот этих неподвижных бурь письма не передают! О если бы по их страницам проволакивался хотя бы тот песок, который тащит по дну души это теченье. О как чудно было бы! Как много сказали бы Вам царапины, и борозды, и линии осадка. *Движенье* и *содержанье* чувства должны Вас интересовать. Что дива в одном его факте?

Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще – Вы – возмутительно-большой поэт! Говоря о щемяще малой, неуловимо электризирующей прелести, об искре, о любви – я говорил об *этом*. Я *точно* это знаю. Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих – мерзость. Вот скверное стихотворенье 1915 года из «Барьеров»:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,

С заскорузлой от музыки коркой
На *поденной* душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О письмо, письмо, добалтывайся. Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я жалею, что я о бане Вам писал, это не Вам надо было рассказывать. И все равно не изобразить прелести и утомительности труда, которым необходимо

заработать Вас. Не как женщину, – не оскорбляйтесь, – это завоевывается именно маховым движеньем, слепо и невнимательно, точь-в-точь так, как любят письма, пылкостью и красноречьем минуты. <Одна строка зачеркнута.> Нет, иначе, и опять я чуть не начал рассказывать, как именно, и опять ни к чему. <Одна строка зачеркнута.> Вы видите, как я часто зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с Вами. И прежде всего той его <так!> части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, а стихи писать, наверное, разучился. Между прочим, я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолженья. Часть Ваших стихов будет напечатана в журн<але> «Русский Современник». Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословн<ое> происхожденье, знающий, философски образованный, один из «испорченных» мною). Они статьи не поняли и возвратили. Хочу писать и я статью. А Бобровскую в «Печати и Революции» получили? Вздорная, но сочувственная. А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со *знающей* силой, т. е. то, что мне ближе всего и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал. За то, что это встреча с таким же электрическим вниманьем, со способностью заряжаться, воспроизводить правду, уподобляться подлинному, сжиматься, как я их знаю по себе. И вот, тут я борюсь с письмом и воздерживаюсь от восклицаний. Это будет как возвращенье на ту далекую родину, где еще женились на сестрах, так еще редок, образцов и баснословен был человек. Потом эта даль затуманилась, когда же туман разорвался, их уже не существовало. Вы говорили о том же, назвав себя полубогом.

<На полях:>

И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами? Какие они превосходные!

Постарайтесь с оказией прислать Психею и все, что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все присланное замечательно. Совершенно волшебен «Занавес». Спасибо.

Письмо 24
<июль 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Знаю о нашем равенстве. Но, для того, чтобы я его чувствовала, мне нужно Вас чувствовать – старше <вариант: больше> себя.

* * *

Наше равенство – равенство возмож<ностей>, равенство завтра. Вы и я – до сих пор – гладкий лист. Учит<ываю> при сем *всё*, что дали, и *именно* поэт<ому>.

* * *

Вы *всегда* со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не окликала Вас. Вами я *отыгрываюсь*. Моя защита, мое подтв<ерждение>, – ясно.

Через Вас в себе я начинаю понимать Бога в друг<ом>. Вездесущ<ие> и всемогущ<ество>.

* * *

Пока мальчика нет, думаю о нем. Вспомните старика Гёте в Wahlverwandschaften. Гёте *знал*.

* * *

Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи? (Бóльшего не вижу.) Я помню Вас стоя и высок<им>. Я не в<ижу> иного жеста <кроме> рук на плеч<и>.

* * *

«Но если я умру, то кто же – мои стихи напишет?» (Опускаю ненужное *Вам*, ибо Вы сами – стихи —)

То, от чего так неум<ело>, так по-детски, по-женски страдала А<хмато>ва (опущ<енное> «Вам»), мною перешагнуто.

Мои стихи напишете – Вы.

5 го ию<ля>

Борис, Вы никогда не будете лучшим поэтом своей эпохи, по-настоящему лучшим, как например Блок. У Блока была тема – Россия, Петербург, цыгане, Прекрасная дама и т. д. *Остальное* (т. е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением.

Вы, Борис, без темы, весь – чистый вид, с какого краю Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Душа: Вы. Тема Ваша – Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб – Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю?

Вас.

Любить *Вас* читатель не сог<ласится>. Будет *придир<аться>* к ритмике, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой <поэт> Вашего времени, останетесь в стороне того огромного тока любви, идущего от миллионов к единственному.

Вы первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

* * *

Борис, Вы, конечно, меня поймете и не подставите вместо себя Бальмонта. Бальмонт *весь в теме*: экз<отика>, женщ<ины>, красивость, крас<ота> – que sais-je![14] «Я» только повод к перечислению целого ряда предметов (Бальмонт).

«Все предметы только повод к я» – вот Блок.

Повод – без я (имажинисты).

Я – без повода (Пастернак).

* * *

Жел<ать> – жел<ать> большего себя. Иначе не стоит.

* * *

Вне фабулы.

Фабула: дети, присл<уга>, прост<о>. А дальше? Зрите<ли> <оборвано>

События в долине, на горах нет событий, на горах событие – небо (облака). Пастернак на горе.

* * *

Свою гору (уед<иненность>) Вы тащите с собой повсюду, разговаривая с з<накомыми> на улице и отшвыривая ногой апельсинную корку в сквэре – всё гора. Из-за этой горы Вас, Пастернак, не будут любить. Как Гёльдерлина и еще некоторых.

* * *

Как глубоко, серьезно и неспешно разворачивается моя любовь, как стойко, как – непохоже. Встреча через столько-то лет – как в эпосе.

8 го ночью

Стр<анно> созн<авать>: то, что должно было бы нас разъединить, еще больше скрепило.

Мне было больно от твоего сына (теперь могу это сказать, п.ч. тебе будет больно от моего!). Теперь мы равны. Со страхом жду твоего ответа, как отзовешься?

* * *

Недавно брала твою книгу в лес, лежала с ней.

* * *

С гордостью думаю о твоем влиянии на меня, не влиянии, как давлении, о в – лиянии, как река вливается в реку.

И так как до сих пор на меня не влиял ни один поэт, думаю, что ты больше, чем поэт – стихия, Elementargeist[15], коим я так подвержена.

Письмо 25
<осень 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, родной. Я не знаю, долетело ли до Вас мое письмо – давнишнее, в начале лета. Длительность молчания между нами равна только длительности отзвука, вернее: все перерывы заполнены отзвуком. Каждого Вашего последнего письма (всегда – последнего!) хватает ровно до следующего, при частой переписке получ<илось> бы нечто вроде сплошного сердечного перебоя. Сила удара равна его длительности, – есть ли в физике такой закон? Если нет, – есть.

Борис, если не долетело, повторю вкратце: в феврале я жду сына. Со мной из-за этого ребенка уже раздружились два моих друга, – из чистой мужской оскорбленности, негодования, точно я их обманула, – хотя ничего не обещала! А я, в полной невинности, с такой радостью сообщ<ала> им эту весть (оба меня любили, т. е. так думали) – и знаете чего ждала и не дождалась в ответ: «*Ваш* сын! Это должно быть чудо!» и еще… «но пусть он и внешне будет похож на Вас». Это я бы сказала *Вам*, Борис, п.ч. я Вас люблю, и этого ждала от них, п.ч. они меня любят, а дождалась – ну, <оборвано>

Теперь я совсем одна, но это не важно, всё, что не насущно – лишне, *двоих* не теряют, а *одного* не было, я ничего не потеряла, кроме – времени от времени – своего же волнения (сочувствия) в ответ на чужое.

Борис, мне противно повторять то́ свое письмо, тем более, что писала я в глубокой потрясенности, теперь свыклась – но там была формула, необходимо, чтобы она до Вас дошла: «единственное отчаяние мое, Борис, – Ваше имя». Я его Вам посвящаю, как древние посвящали своих детей божеств<у>, <оборвано>

Борис, с рождения моей второй дочери (родилась в 1917, умерла в 1920 г.) прошло 7 лет, это первый ребенок, который после этих семи лет – постучался. Борис, если Вы меня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не помешала *верстаку жизни* (совсем гётевское наблюдение и определение и даже форма, – только Гёте бы вместо *жизнь* сказал природа. О «Детстве Люверс» – потом), я не воткнула палки в спицы колеса судьбы. Это единственное, что я чту. Да, Борис, и будь этот ребенок у меня от первого прох<одимца>, он все-таки был бы, п. ч. он захотел *через меня быть*. Да, Борис.

Впрочем, Вы мудры и добры, – зачем всё это? Горечи моей Вы не сможете не прочесть уже с первой буквы февраля. Ни о радости, ни о горечи я говорить не буду, – <оборвано>

А если это будет дочка – значит, сын впереди.

Я назову его Борисом и этим втяну Вас в круг.

* * *

Борис, я закончила большую вещь – I часть трилогии «Тезей»: Ариадна. Приступаю ко второй. В «Современных Записках» (XXI кн.) есть моя проза, из советских записей, – достаньте и прочтите. Часть сказки «Мóлодец» уже отпечатана, выйдет к Рождеству, пришлю. (Здесь очень неисправные типографии) <оборвано>

Письмо 26а
<ок. 14 февраля 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис,

1го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете но желание С. (не треб<ованье>) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение. Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некая внутренняя неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью: приручать дикого зверя – Любовь, обезвреживать барса (Барсик, так было – было бы! – уменьшительное). Ясно и просто: назови я его Борисом, я бы навеки простилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Та́к, назвав этого Георгий, я сохр<аняю> права на Бориса, то есть на Вас и – Борюшка, это не безумие, я просто чутко слушаю себя, Вас и Будущее.

Георгий – моя дань долгу, преданности, доблести и Добровольчеству, это тоже *я*, не отрекаюсь. Но не *Ваша я*. Ваша я – в Борисе.

Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душою, как Вы – с туй карточкой, Вы мой воздух и мой вечерний возврат к себе. Иногда Вы во мне стихаете, когда *я* стихаю в себе. Но чуть стих или дуновение иных земель – Ваше имя, Ваше лицо, Ваш стих. Жила эту зиму «Детством Люверс», изумительной книгой. (Да, книга, несмотря на, кажется, 70 страниц.) Многое, по поводу нее, записала, м.б. *напишу*.

Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь (в Праге есть крематорий) – уже было завещано Але – чтобы вместе сгореть – как в скитах! Но – уцелела: чудом, всё произошло неожиданно, в деревне и почти без врачебной помощи. Третий день как встала. Мальчик хороший, с прелестными чертами, по всем отзывам и моему чутью – в меня. – Сколько писем за эту зиму! Не отослала ни одного, – все равно Вы их читали! Да все их, как всю себя, могу стисн<уть> в одно слово <оборвано>

Продолжение

Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты, – разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот – я вся на Вы, а вот с Вами, с тобой – это ты неудержимо рвется, мой *большой* брат!

Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю, – ты ведь не

скажешь, что это воображение. Люблю, мне это иногда кажется пустым словом, заменим: хочу, жалею, восхищаюсь и т. д., замени, т. е. не существенно. Мне всегда хочется сказать: я тебя больше, лучше, чем люблю. Ты мне *насквозь* родной, такой же жутко, *страшно* родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)

Ни одна моя строка, ни одна моя тоска, ни один мой помысел не минут тебя. Читала Детство Люверс, как дневник. Наше царство – где и когда?

Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?

Я приучила свою душу жить за окн<ами>, я на нее в окно всю жизнь глядела, – о только на нее! – не допуск<ала> ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом, но никогда дом – душой. Я в жизни своей отсутствую. Душа – в доме, душа – дома – для меня немыслимость, именно НЕ мыслю.

Борис, сделаем чудо.

* * *

Да, когда я думаю о своем смертном часе, я думаю: кого? чью руку? И – только твою! Я не хочу ни священника, ни поэтов (не сердись!), я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу покоя силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего обещ<ания> <вариант: слова>, Борис, на *ту́* жизнь.

* * *

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – *доля*. (Ты <оборвано>.) А есть: рок (гос) – утес. Доля же – дол. Ты мой вершинный брат, все остальное в моей жизни – аршинное.

* * *

«Игры слов и смыслов», – какую-нибудь книгу свою я так назову. *Восстановление* утраченного первичного смысла путем сопоставления якобы случайных созвучий. Восстановленный брак, союз, связь.

* * *

Борис, а ты помнишь Лилит? Борис, а не было кого-нибудь *до* Адама?

* * *

Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, до-первой и *не-числящейся*. (Отсюда моя *ненависть* к Еве!)

* * *

Жена Эренбурга рассказывала, как вы вместе ехали на вокзал (они уезжали, Вы провожали). «Был замечательный вечер». Борис, это ты со мной ехал на вокзал, меня провожал.

* * *

Только не на глаз<ах> встречу, только не на глазах!

* * *

Все стихи и вся музыка – обещания обетованной земли, которой здесь нет. Поэтому – безответственны и беспоследственны. Они *сами* – то!

Письмо 26б
14 февраля 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

<Вверху письма:>
Это не сантиментальность, а просто Анютин глазок.

Борис!

1го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и десять дней на свете, но желание С. (не требование) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение.

Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некая неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя – любовь, обезвреживать барса (Барсик – так было – было бы! – уменьшительное). Ясно и просто: назови я его Борис, я бы навсегда простилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Та́к, назвав этого Георгием, я сохранила права на Бориса. (Борис остался во мне.) – Вы бы ведь не могли назвать свою дочь Мариной? Чтобы все звали и знали? Сделать общим достоянием? Обезвредить, узаконить?

Борисом он был, пока никто этого не знал. Сказав, приревновала ко звуку.

* * *

Георгий – моя дань долгу, доблести и добровольчеству, моя *трагическая* добрая воля. Это тоже я, не отрекаюсь. Но не *Ваша* я. Ваша я (*я*) – в Борисе.

* * *

Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душой, как Вы – с то́й карточкой. Вы мой воздух и мой вечный возврат к себе (постель). Иногда Вы во мне стихаете: когда я стихаю в себе. Жила эту зиму «Детством Люверс», изумительной, небывалой, еще не бывшей книгой. Многое попутно записала, может быть напишу.

* * *

Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь (в Праге есть крематорий) – уже было завещано Але – чтобы вместе сгореть – как в скитах! Я бы очень легко могла умереть, Борис, – всё произошло так неожиданно: в последнем доме деревни, почти без врачебной помощи. Мальчик родился в глубоком обмороке – 20 минут откачивали. Если бы не воскресение, не С. дома (все дни в Праге), не знакомый студент-медик – тоже все дни в Праге – мальчик бы наверное погиб, а может быть и я.

В самую секунду его рождения – на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала мятель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная мятель за зиму и именно в *его* час!

Мальчик хороший, с прелестными чертами, длинные узкие глаза, точеный носик, по всем отзывам и по моему чутью – весь в меня. А ресницы – золотые.

Мой сын – Sonntagskind[16], будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Выписки из черновой тетради:

(до Георгия)

Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты – разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот, – заткнуть дыру. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой *большой* брат.

Ты мне *насквозь* родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)

* * *

Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела – о, только на нее! – не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison roulante)[17], но никогда дом – душой. Я в жизни своей отсутствую, меня *нет*

дома. Душа в доме, душа – дома для меня немыслимость, именно не мыслю. Stranger here[18].

Борис, сделаем чудо.

Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И – только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на *ту* жизнь.

* * *

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – *доля*. Ты же – воля моя, та́, пушкинская, взамен счастья (я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива! Счастье? Pour la galerie и für den Pöbel![19])

Ты – мой вершинный брат, все остальное в моей жизни – аршинное.

* * *

«Игры слов и смыслов», – какую-нибудь книгу свою я так назову.

* * *

Борис, а ты помнишь Лилит? Борис, а не было ли кого-нибудь до Адама?

* * *

Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, *до* – первой и *не-числящейся*. (Отсюда моя ненависть к Еве!)

* * *

Жена Э<ренбур>га рассказывала, как вы вместе ехали на вокзал (они уезжали, Вы провожали). «Был замечательный вечер». Борис, это ты со мной ехал на вокзал, меня провожал.

Только не на глазах встречу, только не на глазах!

* * *

Все стихи и вся музыка – обещания обетованной земли, которой нет. Поэтому – безответственно и беспоследственно. Они *сами* – то!

* * *

Борис, а ты – верный. Ты слишком тяжел, чтобы постоянно перемещаться. Демона, любящего (или губящего) десять Тамар, я не мыслю. Думал ли ты когда-нибудь о смехотворной (жалкой) стороне Дон-Жуана? Любуясь им, я бы не могла любить его: мне было бы неловко, что после меня можно любить еще кого-нибудь.

* * *

Борис Пастернак, – это так же верно, как Монблан и Эльбрус: ведь они *не сдвинутся*! А Везувий, Борис, сдвигающий и не сдвигающийся! Всё можно понять через природу, всего человека, – даже тебя, даже меня.

* * *

Тогда – парнасцы, сейчас – везувийцы (*мое* слово). И первые из них: ты, я.

* * *

Это я случайно, Борис, из тетрадки для стихов, остальное развеялось и размылось. Ведь моя жизнь – неустанный разговор с тобой. Пишу тебе на листе из той же тетради, это самое мое собственное, вроде как на куске души. Чтобы ты лучше понял меня: у меня есть чудная бумага, целый блокнот, мужской, вроде пергамента, но писать тебе на бумаге, подаренной другим – двойная измена: обоим (ведь по отношению к нему *ты* – другой!) Есть вещи щемящие.

Измена – чудесное слово, вроде: разлука. Ножево́е, ножёвое. И только звук его знаю, смысл – нет. Изменить можно только государю, т. е. высшему, а как я ему изменю, когда оно во мне? В быту это *есть* – измена, сам быт – измена: души. Изменять с

душой быту – ничего, кажется, другого в жизни не делала. Понимаете, иное деление, чем любовник и муж.

* * *

Я живу возле Праги, безвыездно и невылазно, никого не вижу, кроме Али и С. Много стихов. Скоро выходит моя книга, может быть получишь одновременно с письмами. Следующий – далекий – этап: Париж. С тобою бы хотела встретиться через год: 1го мая 1926 г. (а рука по привычке души пишет 25 г.!). Сейчас я совсем связана: мальчиком и новизной чувства к нему. А тогда ему будет больше года, я уже буду знать, что у меня за сын и наверно – что у меня сын.

Ты ведь можешь любить чужого ребенка, как своего? У меня всё чувство, что я умру, а вам вместе жить, точно он ровесник тебе, а не твоему сыну.

Борис, думай о мне и о нем, благослови его издалека. И не ревнуй, потому что это не дитя услады.

Посвящаю его тебе как божеству.

М.Ц.

Мой адр<ес>: Všenory, č. 23 (p. p. Dobřichovice) u Prahy – мне —. Чехо-Словакия.

Письмо 27
<20–22 марта 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Б.П., когда мы встретимся? Встретимся ли? Дай мне руку на весь тот свет, *здесь* мои обе – заняты!

* * *

Б.П., Вы посвящаете свои вещи чужим – Кузмину и другим, наверное. А *мне*, Борис, ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше, чем давала: от Блока – ни строки, от Ахматовой – телефонный звонок, который не дошел, и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, – от Мандельштама – несколько холодных великолепий о Москве, от Чурилина – просто плохие стихи, от С.Я.Парнок – много и хорошие, но она сама – плохой поэт, а от Вас, Б.П., – ничего. Но *душу* Вашу я взяла, и Вы это знаете.

Письмо 28а
26 мая 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис! Каждое свое письмо к Вам я чувствую предсмертным, а каждое Ваше ко мне – последним. О, как я это знала, когда Вы уезжали.

Это письмо к Вам второе после рождения сына. Повторю вкратце: сын мой Георгий родился 1го февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался стоявший рядом с постелью спирт, и он предстал *во взрыве*. (Достоин был бы быть Вашим сыном, Борис!) Георгий, а не Борис, потому что Борис – тайное, ставшее явным. Я это поняла в те первые 10 дней, когда он был Борисом. – Почему Борис? – «П.ч. Пастернак». – И так всем и каждому. И Вы выходили нечто вроде заочного крестного отца (православного!). Вы, которому я сына своего посвящаю как древние – божеству! «В честь», когда я бы за Вас – жизнь отдала! (Ваша сто́ит моей, а м.б. и больше!) Обо всем этом я Вам уже писала, если дошло, простите за повторение.

Георгий же в честь Москвы и несбывшейся победы, Вы меня поймете. Но Георгием все-таки не зову, а зову Мур – нечто от кота, Борис, и от Германии и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца, говорит (совершенно явственно, с французским r: «heureux»[20]), улыбается и смеется. Белые ресницы и брови, синие чуть раскосые глаза, горбонос. Навостренные сторожкие ушки (слух!). Весь в меня. Вы его будете любить, и Вы должны о нем думать.

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу. Вокруг света и вокруг колыбели. Или же: вокруг света (тот моряк) и вокруг мира. Ибо человек – единственная достоверная вселенная – бесконечность. Единственное мое представление о бесконечности: звездное небо (на веру?) и Вы Борис (явь).

– Вот Вам мой «Мо́лодец», то, что я последнее писала перед Вашим отъездом. После него, из больших вещей: «Поэма горы», «Поэма конца», «Тезей» и, теперь, «Крысолов» (печатается в «Воле России» с *чудовищными* опечатками). Поэму горы посылаю, почитайте ее когда-нибудь, где-нибудь, чтобы меня не совсем забыли. Мой читатель, несомненно, в России, и, без самохвальства, задумчиво, мысль вслух: – «Россия». Но дуализм, властвующий над моей жизнью, вернее моя жизнь, не сливающаяся с моей душой, занес – занесла – занесли меня сюда,

где стихов не читают. Но тут другое, – то, из чего возникают стихи, то, о чем поют.

* * *

Еще о мальчике: живу им. Чувств<ую>, что им – отыграюсь. В первый раз *присутствующему* говорю: *мой*.

Через год встретимся. Знаю это. Вообще, живу встречей с Вами.

* * *

А ты знаешь, Борис, откуда посвящение к Мóлодцу? Из русской былины – Морской царь и Садко. Когда я прочла, я сразу почувствовала тебя и себя, а сами строки – настолько своими, что не сомневалась в их авторстве лет триста-пятьсот назад. Только ты никому не говори – про Садко, пускай ищут, свищут, я нарочно не проставила, пусть это будет наша тайна – твоя и моя.

* * *

А ты меня будешь любить *больше* моих стихов. (– Возможно? – Да.) *Народ* больше, чем Кольцов? Так вóт: мои стихи – это Кольцов, а я – народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п.ч. конца нет, неиссякаем. Ведь только за это ты меня любишь – за Завтра, за за-пределом строк. Ох, Борис! Когда мы встретимся, это, правда, гора сойдутся с горой: Синай <вариант: Моисеева> с Зевесовой – (и взрыв будет —). О, я не даром (ведь не придумывала же!) не взяла Везувия и Этны, там взрывы *земного* огня, здесь – свыше: всё небо в двух, в одной молнии. Саваоф и Зевес. – Едино. – Ах!

* * *

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому что ты – не потому что я – (любим, жалеем, связаны), а п.ч. ни ты, ни я и не хотим *жить*, п.ч. и ты и я: *из* жизни (как из жил!). Мы *только* встретимся. – Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь. О, ты так дьявольски, так небесно-умен, что ведь не подставишь – просто-

напросто – поцелуя. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать.

Есть сухой огонь (весь «Мóлодец») – вообще, вчитайся, я тебя очень прошу. Сказку эту («Упырь») можешь найти в 5-томном издании Афанасьева (кажется, III том) – сделай мне радость, прочти.

* * *

Никогда не пишу тебе о быте, но чтобы ты все-таки знал, что я «живу»: живу в чешской деревеньке Вшеноры под Прагой, почти безвыездно вот уже второй год (всего в Чехии под Прагой – четвертый). Жизнь неприглядная, природа мелкая, людей почти никаких. Живу из себя и в себе. После советской каторги – поселение. Думаю, что следующий этап – Париж. В Париже же встретимся. Не в самóм – съедемся так, чтобы полдороги ты, полдороги я. (Ты ведь из Берлина поедешь?) – Лучше в Германии. – И, конечно, в Веймаре. Не хочется *никаких* людей, никакого сообщничества, чтобы всё естественно, самó, – как во сне. Этой встречей живу. Ты моя даль – обожаемая.

Письмо 28б
Прага, 26 мая 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис!

Каждое свое письмо к Вам я чувствую предсмертным, а каждое Ваше ко мне – последним. О, как я это знала, когда Вы уезжали.

Это письмо к Вам второе после рождения сына. Повторю вкратце: сын мой Георгий родился 1ro февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался разлитой возле постели спирт, и он был явлен *во взрыве*. (Достоин был бы быть Вашим сыном, Борис!) Георгий, а не Борис, потом что Борис – тайное, ставшее явным. Я это поняла в те первые 10 дней, когда он был Борисом. – Почему Борис? – П. ч. Пастернак. – И так всем и каждому. И Вы выходили чем-то вроде заочного крестного отца (православного!), Вы, к<ото>рому я сына своего посвящаю, как древние – божеству! «В честь» – когда я бы за Вас – жизнь отдала! (Ваша стоит моей. В первый раз.) Обо всем этом я Вам уже писала, если дошло, простите за повторение.

Георгий же в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все-таки не зову, зову Мур – от кота, Борис, и от Германии, и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца, очень большой и крупный, говорит (совершенно явственно, с французским r: «heureux»), улыбается и смеется. Еще – воет, как филин. Белые ресницы и брови, синие, чуть раскосые (будут зеленые) глаза, горбонос. Навостренные сторожкие ушки демоненка или фавна (слух!). Весь в меня. Вы его будете любить, и Вы должны о нем думать. Ваш старше всего на два, нет, на 1 ½ года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш – мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу: Вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель – единственная достоверная вселенная: несбывшийся, т. е. *беспредельный* человек. И единственное мое представление о бесконечности – Вы, Борис. Не из-за любви моей к Вам, любовь – из-за этого.

– Вот Вам мой «Мóлодец», то, что я кончала, когда Вы уезжали. После него, из больших вещей: «Поэма Горы», «Поэма конца», «Тезей»… Ты всё это получишь.

А ты знаешь, откуда посвящение к «Мóлодцу»? Из русской

былины «Морской царь и Садко». Когда я прочла, я сразу почувствовала тебя и себя, а сами строки – настолько своими, что не сомневалась в их авторстве лет триста-пятьсот назад. Только ты никому не говори – про Садко, пускай ищут, свищут, я нарочно не проставила, пусть это будет наша тайна – твоя и моя.

А ты меня будешь любить *больше* моих стихов (– Возможно? – да). *Народ* больше, чем Кольцов? Так вот: мои стихи – это Кольцов, а я – народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п.ч. конца нет, неиссякаем. Ведь только за это ты меня любишь – за Завтра, за за пределом стран. Ох, Борис! Когда мы встретимся, это, правда, гора сойдутся с горой: Моисеева – с Зевесовой. Не Везувий и Этна, там взрывы *земного* огня, здесь – свыше: всё небо в двух, в одной молнии. Саваоф и Зевес. – Едино. – Ах!

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты – не потому, что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты и я *из* жизни – как из жил! Мы только (!) встретимся. Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь.

Есть сухой огонь (весь «Мóлодец») вообще, вчитайся, я тебя очень прошу. Сказку эту («Упырь») можешь найти в 5-томном издании Афанасьева (кажется, III том), сделай мне радость, прочти.

А взрыв не значит поцелуй, взрыв – взгляд, то, что не длится. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать.

* * *

Напиши мне. До сентября я достоверно в Чехии. Потом, быть может, Париж. В Париже же встретимся. Не в самом – съедемся так, чтобы полдороги ты, полдороги я (Гора с горой). И, конечно, в Веймаре. Только напиши, когда.

Пишу в 6 ч<асов> утра, под птичий свист.

Марина

Адрес: Чехословакия: Všenory, č. 23 (p. p. Dobřichovice) u Prahy – мне —.

Письмо 29
25 июня 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Сейчас словила себя на том, что вслух, одна в комнате, сказала – «Все мои – там», как когда-то в Советской России о заграница. О, Борис, я всегда за границей, и там и здесь, мое здесь всегда изничтожается там (*тем* – Там!), но возвр<ащаясь> к возгласу, тому и этому: да, *мои* – подвига <вариант: солдата> во мне – мои! – были здесь, где я сейчас, а мои – поэта-меня – мои (а поэт – тоже солдат!) действительно там, где Вы сейчас. И проще: Россия, вся, с ее печен<егами>, самозванцами, гипсовыми памятниками в<ождям> вчерашнего дня и какими – из радия? – памятниками Будущего – Вы, Борис. Кроме Вас у меня в России нет дома: maison roulante – croulante[21] – Вы.

Я Вас чувствую *главой* поколения (на весь Вавилон выше!). Вы последний камень рушащегося Вавилона, и Ваше имя, Борис в м<оем> с<ознании> звуч<ит>, как угроза грома – рокотом – очень издалека. И не то крест<иться>, не то ставни закрыв<ать>. А я на этот гром – две<ри> на<стежь> – авось! (И мысль: неужели у него есть руки (не рука<ми> перо держ<ит> или руками, чтобы его не выхв<атили>) – чтобы держать перо и губы – чтобы сказать: Марина!)

О как я слышу это свое имя из Ваших уст! Как *глухо*, как на пороге губ и как потом (рот – как Красные ворота, это Аля сказала) рот как Красные ворота и мое имя, как торжественная колесница, (р – гром).

А еще – люб<лю> <*нрзбр.*>, вжавшись лбом в пле<чо> и в ладонь, помнишь, как в первом моем стихе к тебе в котором я сознательно говорила на твоем языке (тайном!).

* * *

Для меня дело в любви не в силе, а в умении. Сила, это пустынник и медведь. М.б. – умение в силе?

Письмо 30
2 июля 1925 г.
Пастернак – Цветаевой

Месяц тому назад я получил Ваше письмо, Марина. Бог знает как оно до меня добралось. Говорят, Вы мне ответили на мое прошлогоднее. Но то не дошло.

О Вашей радости я узнал раньше от Аси. Подробности рожденья мальчика действительно чудесны. Вы об этом пишете с заразительной таинственностью, полным шепота ртом. Когда я читал Ваше письмо, мне представилась детская ночью, где-то мыслилась маленькая кроватка, Вы над ней наклонялись и производили какие-то движенья над лампой. Свет заражался Вашей озабоченностью и повторял Ваши движенья.

Мне живется очень трудно, и бывают времена, когда я прихожу в совершенное отчаянье. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Жена и ребенок в деревне, на даче. Теперь крестьяне стали строить большие светлые избы и сдают их на лето. Там очень хорошо. Я приехал в город доставать денег, и это мне не удается. За квартиру не плочено три месяца, а это по нашим законам предельный срок, после которого подают в суд и выселяют. Тем же самым грозит мне неплатеж налогов. Родители, сестры и брат за границей, квартира переуплотнена, я единственный тут остался. Нам остались две комнаты, но одна из них, по размерам, сущий манеж (старая папина мастерская), и получается площадь, которая поглощает половину моих заработков. Сократить ее нельзя, этому мешает расположенье и устройство печей. Переехать тоже невозможно, не только оттого, что некуда, а и потому еще, что тут папины работы за всю его жизнь и вещи семьи, и сдвинуть этот заколдованный массив мог бы только человек без мнительности и воображенья, решительный, здоровый и дневной. Все это со стороны должно быть смешно, и если Вы не улыбнетесь, мне будет стыдно Вашей снисходительности.

А кругом люди, как ни бедственно положенье многих, делают подарки женам, ходят не в отребьях и, принимая друзей, развлекаются и не отпугивают их унынем. Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы

отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унизительная процедура. Поведенье людей лишено логики. Чем выше балл, который они тебе выставляют, тем он мертвее. Всего меньше считают себя обязанными делать вывод из своего мнения те, по мненью которых я делю поэтическое первенство с Есениным. Манеры, способ обращенья и проч. у этих людей выработались из сношений с этим последним. Они привыкли к грубостям и запанибратщине, и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит. Это я о житейской, матерьяльной стороне. Что же касается до существа этого сопоставленья, то нельзя ничего придумать пошлее. Не говоря уже о Маяковском, о живых еще, по счастью, Сологубе и Ахматовой, я Мандельштама и Асеева ставлю выше как поэтов. Но не в этом дело. Я был бы рад делить поэтический уровень только с Вами. Только в этом наблюденьи была бы какая-то правда, объективная, живая, моментальная, без первенств и порядковых чисел. Первым был Брюсов. Это не по нашей части. Анненский не был первым. О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать! Как трудно, как трудно!

Я долгое время (около 6-ти лет) совершенно не мог писать. Были случайные исключенья, и ни одного из них нельзя признать удачным. «Высокую Болезнь» я так широко и свободно отрицаю, точно она еще в меньшей степени написана мною, чем все, что не мною написано в мировой поэзии. Я неудачно выразился: мировая поэзия хороша и близка нам, а эта вещь до призрачности ничтожна. Дальше так продолжаться не могло. Осенью я решил, как в таких случаях говорится, бросить литературу. Я получил работу по библиографии. Заработок был мизерный, заниматься приходилось с утра до позднего вечера. В этом заключалась приятность этой работы. Свободного времени она не оставляла. Пять месяцев я прохлопотал в совершенном забвеньи имен, соревнований, направлений, журнального разврата, журнальных обысков и доносов, которым стал подвергаться перед этим разрывом с литературой (что его и вызвало). И вот к весне что-то тронулось и пошло, как семь лет назад. Я начал роман в стихах. Я дал себе слово таить работу, пока всего не кончу. И опять непреодолимые матерьяльные причины легли поперек работы и механически отсекли то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с руками. Матерьяльное положенье достигло у меня той посредственности, о которой я мечтаю. Но вторая глава сложнее и глубже по духу. Я задержался. Потом увидал, что часть матерьяла должна еще

попасть и в первую главу. Стал ее дописывать. И опять я не соразмерил времени, опять стало туго.

Я взялся за писанье детских вещей, на которые тут большой спрос, все пишут. Написал веселую, хрестоматийного рода «Карусель». Сошло. Тогда, по просьбе Чуковского и как бы для него, написал более серьезный и содержательный «Зверинец». В чаяньи удачи с ним перевез семью в деревню. И вот я никак не могу его пристроить. Удивительно, что я Вам об этом так подробно пишу.

Тут у меня был очень милый молодой человек, Фонтенуа, французский поэт. Он обещал переслать Вам первую главу романа. Получили ли Вы ее? Потом я послал Вам книжку прозы. Она так и должна была называться «Проза». Издательство заставило меня назвать ее «Рассказы», из тех соображений, что «Проза» названье смешное и чересчур «изысканное» (!). Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. Это была краткая формула, выражавшая психологический тупик смертной казни, и цензура этот кусок запретила.

Вам не понравится мое письмо. Мне очень хотелось Вам написать, очень трудно было отказать себе в этой потребности и еще труднее дышалось за письмом. Вы знаете, я изнемогаю. Что то дальше будет? Нет почти вероятья, чтоб оно Вам что-нибудь сказало. Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора. Марина, попробуйте мне написать прямо по адресу: Волхонка 14 кв. 9. И ради Бога пришлите с оказией все новое. Ведь я еще и Психеи не знаю.

А если мне еще суждена работа, то в ее разгар, когда нет на свете близости, равной моей мысленной с Вами, моим отдыхом и праздником будет разговор с Вами о жизни, не этой, унизительно говорившей сегодня вместо меня, а той, которая ударяет в голову одиночества и которой никто не слышит.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким-то изгибом шейной мышцы, по-особому приподымающей подбородок, то эту горделивую породистую жилку постоянно находишь в Вас и не перестаешь замечать: мне кажется, я бы мог *Вас описать*, разбирая свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воротом, Ваш лиризм по-прежнему молод, святая поза осталась в нем. Я же перестал слышать себя, и свое чувство, и жизнь, и хотел бы знать только одну работу, которая мне кажется каким-то низко и плашмя освещенным фантастическим миром, отсвет которого падает на руки и на лицо, отбрасывая тень на все, чем и в чем я был когда-то. Только не оставляйте меня.

Ваш Б.П.

Письмо 31а
<10–14 июля 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. Первое человеческое письмо от тебя (остальные – Geisterbriefe[22]), и я польщена, одарена, возвеличена, покорена, перевернута. Это письмо – перелом гордости (гордость – хребет), ты в нем (жест крайнего доверия), ты *поверил в меня*, что я – человек, приблизился ко мне на все те версты, удостоил меня своего черновика. Борис, на веру, я такой же и столько же (ни на милл<иметр> больше, ни на милл<иметр> меньше) человек, как ты. Мне вот уже (17 г. – 25 г.) 8 лет суждено *кипеть* в быту, я тот козел, которого хотят зарезать, которого непрестанно заре– и недоре-зывают, я то варево, которое (8 лет) кипит у меня на примусе, моя жизнь – черновик, перед которым – посмотрел бы! – *мои* <подчеркнуто трижды> черновики – белейшая скатерть. Я растерзана жалостью и гневом, жалостью – к своим, гневом – на себя: за то, что терплю. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день) быта срываюсь с тетрадки, и *НИКОГДА* – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым даже моя католическая любовь (к тебе) – шутки, пустяк.

Внешне: я живу не «за границей», а на поселении, сама готовлю, качаю воду, стираю, нянчу Георгия, занимаюсь с Алей по-французски (вспомни К.И.Мармеладову – это я). Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени *думать*, думает перо. Утром 5 минут (время присесть), среди дня 10, вечером – вся ночь, но ночью не могу, другая я оживаю (слушающая, а некого, даже шумов садика – ибо хозяева запирают выходную дверь с 8 часов вечера, а у меня нет ключа). Борис, я живу *фактически* взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом, есть куски, отрывки тротуара, пространства, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – лежа – туча: туша. Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, не нужны, а вне – не стихов, а того, что́ их создает <вариант: из чего они> – что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!

Где я живу – деревня, с гусями, с водокачками. В Праге бываю раз в месяц, за иждивением, и вся <вариант: только и> радость – что не *опоздала* на *поезд* (роковое созвучие! <вариант: предначертанность созвучия>). Если бы восстановить мой день,

шаг за шагом, жест за жестом – а попытаюсь! – получилось бы – что белка в колесе и что рабочий у станка (и спасает равномерность! <вариант: однообразно порядок муки, пытки), не белка и не рабочий – просто кельнерша в <оборвано>

Не 8-часовой, а 24-часовой рабочий день.

Ты не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни секунды *своего* времени. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье.

Вот я тебя не понимаю: *бросить* стихи. А тогда что? С моста в Москву-реку? Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее <вариант: важно, чтобы она тебя бросила, не ты ее>. Ты же у лиры – крепостной.

* * *

Две комнаты – крохотные, исчерченные трубами, железная печка, как в России. Все вещи наруже, не ходишь – спотыкаешься, не двигаешься – ударяешься. Посуда, табуретки, тазы, ящики, сплошные острия и углы, вся *нечисть* быта, яростная. Тетрадям одним нет места. На том же столе едят и пишут (муж – докторскую работу «Иконография Рождества», Аля – французские переводы, я – налетом – Крысолова).

* * *

Не писала Вам домой – инстинкт. Оказия – в никуда («во сне всё возможно» <вариант: почти что на тот свет>), адрес – обязывает. В Вашем пожелании я вижу призыв к порядку. Подчиняюсь.

Письмо 31б
Вшеноры, близь Праги, 14 июля 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис,

Первое человеческое письмо от тебя (остальные Geisterbriefe), и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика.

А вот мой черновик – вкратце: 8 лет (1917 г. – 1925 г.) *киплю* в быту, я тот козел, которого непрестанно заре– и недоре-зывают, я сама то варево, к<отор>ое непрестанно (8 л<ет>) кипит у меня на примусе. Моя жизнь – черновик, перед которым – посмотрел бы! – *мои* <подчеркнуто трижды> черновики – белейшая скатерть. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день!) быта (NB! быт – твоя задолженность другим) – срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым моя католическая – нет! моя хлыстовская любовь (к тебе) – пустяк.

Ты не думай, что я живу «за границей», я живу в деревне, с гусями, с водокачками. И не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни одного *своего* жеста. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье. День: готовлю, стираю, таскаю воду, нянчу Георгия (5 ½ мес<яцев>, ЧУДЕСЕН), занимаюсь с Алей по-франц<узски>, перечти Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», это я. Я неистово озлоблена. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени *подумать*, думает перо. Утром 5 мин<ут> (время присесть), среди дня – 10 м<инут>, ночь моя, но ночью не могу, не умею, другое внимание, жизнь не в себя, а *из* себя, а слушать некого, даже шумов ночи, ибо хозяева запирают выходную дверь (ах, все мои двери *в*ходные, тоска по *вы*ходной – понимаешь?!) с 8 ч<асов> вечера, а у меня нет ключа. Борис, я вот уже ГОД живу *фактически* взаперти. У тебя хоть между домом и редакцией, редакцией и редакцией отрывки тротуара, простора, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – туча: туша.

Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, а вне – не стихов, а того, *из чего* они – что́ я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях.

Вот я тебя не понимаю: *бросить* стихи. А потом что? С моста в Москва́-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока *она*

тебя не бросит… Ты же у лиры – крепостной.

* * *

Сопоставление с Есениным, – смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувство: как легко быть Есениным! Я тебя ни с кем не сопоставляю. Ты никогда не будешь ПЕРВЫМ, ведь первый – великая тайна и великий шантаж, Борис! – только какая-то степень последнего, тот же «последний», только принаряженный, приукрашенный, обезвреженный. У первого есть второй[23]. *Единственный не бывает первым* (Анненский. Брюсов).

* * *

И Прозу и поэму получила. Название «Проза» настолько органично, а «Рассказы» настолько нарочито, что я ни разу, понимаешь, ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки, не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака. Никогда – «Рассказы». Разве ты можешь писать рассказы? Смеюсь. Рассказы, это Зайцев пишет. Проза, это *страна*, в ней живут, или море – черпают ладонью, это ЦЕЛЬНОЕ. А рассказы – унизительная дребедень. Дурак издатель. Ах, Борис, сколько дураков и наглецов.

* * *

О Георгии узнал от Аси? Передай ей, что я ей писала бесчисленное число раз по самым фантастическим адресам, посылала книги, деньги и вещи. Передай ей, что я ее люблю и что я все та же. И что от нее за 3 ½ года не получила ни строки, только раз – устную весть через какого-то чужого, с какой-то службы. И еще – давно – от Павлика.

<Конец первого листа письма. Остальная часть письма не сохранилась.>

<На полях:>

Адр<ес>: Чехо-Словакия, Všenory, č. 23 (p.p. Dobřichovice) u Prahy.

Дошел ли «Мóлодец»? Послан с оказией.

Письмо 32
16 августа 1925 г.
Пастернак – Цветаевой

Я во многом перед Вами виноват. И запоздалость ответов против других грехов еще вина последняя. Но как-то странно, как раз в тех случаях, когда ответ на многое в Ваших письмах вырывается за их чтеньем безотчетно, восклицаньями, – ответные письма залеживаются или не удаются.

Невольно вскрикнул я над двумя местами. Над известием о кончине Рильке и над предложеньем помощи.

Начну с последнего. Было последним свинством посвящать и Вас во всю эту грязь. Я называю это грязью потому, что это затрудненья никак не человека, а мытарства мещанские, до непозволительности мещанские, то есть до такой степени, что будь Вы тут, Вы и сами мне их так в глаза назвали. Коротко говоря, чтобы Вам все было ясно, это вот что. Это – часть отцовой квартиры, втрое по квадратуре площади превосходящая то, что нам троим нужно, по количеству же и устройству комнат и печей не поддающаяся сокращенью; это, затем, целый арсенал совершенно не нужной нам мебели и вещей из иной и уже давно чужой эры, двусмысленных и вредных на чужой взгляд и, как-никак, порабощающих нас хотя бы своим количеством. И наконец – это двойственная, всегда полуподавленная, наполовину же раздраженная психология самих обитателей, это мое сознанье, что большая часть моих усилий пропадает даром и что целость этой нелепости, переживающей обостренье за обостреньем, – лучший нравственный патент моего безволья, нерешимости и ненаходчивости. И вот, всему этому Вы хотите прийти на помощь! Как Марина, как большой и, значит, строгий и проницательный голос правды, как друг, как что хотите, Вы уже, конечно, угадали мой черновик, т. е. в той же мере и черновик жены, – потому что она резче и решительнее меня на все это смотрит. И значит прибавлять ничего не надо. Но если бы, не дай Бог, я не успел Вам этого сказать и Ваши намеренья остались жить, я бы одно их существованье переживал как громкую несообразность, как пощечину, данную себе на всю жизнь. Это дико. Вам в тысячу раз трудней, и трудность Вашей жизни слышна истории, она *современна*, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье. И я так горячо все это расписываю не в

отклоненье только предложенного: об этом и разговору быть не может, и это бы значило в открытое ломиться, это и Вы сами поняли, и жар моих представлений тут излишен. Но мне просто хочется, чтобы Вы это знали и не думали обо мне лучше, чем я того заслуживаю, зрелище неблаговидное, говорю Вам. Также за намеренное, подтвержденное оскорбленье сочту я и присылку чешского гонорара за перевод прозы, если это гадательное предположенье осуществится (гадательным же оно кажется мне по неинтересности, т. е. ненужности, безжизненности этой прозы в наше время). Нет, ради Бога, Марина, пусть все будет по-прежнему, умоляю Вас, умоляю во имя пониманья *дела*, на которое я так всегда любовался. А по-прежнему это значит я Ваш должник, и моего долга ни обнять, ни простить, ни оплатить. Вот оно. Иное расположенье не отвечало бы жизни, т. е. было бы почему-либо фальшиво.

А когда я прочел о Рильке, я попросту разревелся вовсю. Что удивительного! Одно время, т. е. после глухого семилетнего разъединенья между Европой и Россией, я страшно боялся, что Рильке уже нет в живых, и с этим страхом поехал за границу. Можно просто сказать, что это опасенье было моим единственным дорожно-душевным грузом. В нем сходилось, завершаясь, все. Чувство неизвестности о Германии, чувство сострадательной тревоги за нее. Чувство неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни. Какая-то перемешанность времен, разных и противоречащих, одновременно расквартированных в разных местах и то наступательных, то эвакуирующихся, временных в разной степени и несвоевременных в одной – высочайшей, бесконечной. Писать в таком духе на эту тему – чистый разврат. Но если хотеть сказать точнее, то бегло, в письме, надо было бы сказать, что Рильке среди всего этого душевного замешательства, разумеется, не было места, в олицетворенье этого сумбура он годился всех меньше, да и вообще не годился никто с лицом. Не годилась, для примиренья и объединенья этих мотавшихся горизонтов, и личность, их качку переживавшая. А между тем, эти не вымышленные и не наснившиеся призраки концов, разрывов и пр. и пр. какой-то точки, вокруг которой бы они уживались, требовали. И вот, бессознательно, я, так сказать, посвящал все эти ощущенья Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время. Мне думалось, именно в этом химерическом воздухе, только и делавшем, что превращавшем нас в химеры или же нас химерами объявлявшем: Жив ли Рильке? Что он об этом думает? В какой он рамке, если он жив и – Рильке? Кто он теперь, если он ни во что не обрамлен?

И как удивительно, что я не собрался к нему в Швейцарию! Если я когда чаял какой-то награды за принятую и поднятую в этой жизни горечь, то только всегда в мечте о поездке к нему. – И вот в 22-м году я узнал, что он жив, но давно ничего не пишет. Мне даже обещали адрес его достать. И тут я перестал за него бояться, точно когда узнал, что он «так, ничего, как все смертные», уверился, что ни ему, ни мне, ни его адресу, ни исполнимости моего желанья не будет никогда конца.

Сызнова я стал думать о посещеньи его при мысли о встрече с Вами. Вы часто спрашивали, что мы будем с Вами делать. Одно я знал твердо: поедем к Рильке. И даже одно такое сиденье у него однажды снилось мне. В этой сцене много было материально-элементарного, природного, много такого, чему он развязал язык своими книгами, немало чего перешло от него ко мне, да отчасти и к Вам.

Еще недавно, но до известия о его смерти, в ответ на запрос Либермана для голландского ежегодника (он запрашивал ведь и Вас), я приписал ему главное и решающее на себя влиянье. Мне страшно хотелось, чтобы это признание попалось ему на глаза. Если Вы что-нибудь знаете о его смерти поподробнее, непременно напишите. А я за этим известием вмиг осиротел и на много-много лет состарился. Но эта весть попала на благодарную почву – я уже и говорю-то трафаретами, как пенсионеры.

Нет правда. Я больше стал думать, чем чувствовать, и – Вы не смейтесь, – без этого не обойтись. Я по собственному опыту начинаю теперь понимать, из чего должна была быть у этого человека рамка, если бы он жил и оставался собой. Интерес к упущенному, пополненье пробелов, оставленных удивительной нашей невежественностью по части всего, что не обняла в отрочестве наша метафора или рифма, воспитывает, горбит, стыдит, но зато и обещает связать бессвязное. Сколько лет ушло на наших глазах, как далеко те годы, в которые мы себя помним! А ведь по-настоящему и этого-то, интимнейшего, чувства нам голыми руками уже не передать! Мы хиреем, и если чего-то нам не сделать сейчас, то скоро мы не в состоянии будем измерить и горечи нашей и возраста и оставленности, и самого нашего, наиближайшего. Это оттого, что в память нашу, как бы она ни была жива, вошло очень мало существенного в свое время, т. е. такого, что сложило событья и определило теперешнее время. Мне трудно, например, видеть в перспективе себя и свое, настолько же трудно, насколько легко это «сто лет назад» давалось моей непосредственности. И без нашего ведома, мы таким путем обращаемся в полную противоположность тому, что так любили в искусстве. Секреты дали и близости,

расплывчатости и точности, предугаданности и внезапности, т. е. тот такт неповторимости, кот<орый> отличает жизнь и поэта от словесности, – все это начинает уплывать из рук, переставших вновь и вновь, по-живому, этими тайнами обращаться. Это оттого, что многое, бывшее нам природой, успело стать, не по-газетному, а поистине – *историей*. А ее нужно знать в глаза, и за глаза о ней знать столько, сколько надо для оценки ее головы, заглядывающей в комнату. Без этого мы становимся византийцами, мастерами мозаики, и наше дело уплощается до двухмерной орнаментальности. Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. Марина, простите за эту беспорядочную болтовню, – в ней должно б быть порядку, но это требованье у меня теперь распространяется на все, что мне дорого и дышит, т. е. на то, вокруг чего есть воздух, что невымышленно существует, с чем я сношусь по разряду глубины. Скоро воздух, воздух жизни мой и Ваш и нашего скончавшегося поэта, воздух крепкого и срывистого стихотворенья, воздух мыслимого и желающегося романа, станет для меня совершенно тождественным с историей. Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную – есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой. Мне хочется, чтобы у атмосферы был возраст и сожаленье, чтобы лучи преломлялись средой, которая помнит, числит и ценит расстоянья. Даже огурцы должны расти на *таком* припеке, на припеке исторического часа. Понимаете ли Вы эту чушь?

Ну и вот, оттого-то я и не писал Вам. Нечего мне Вам в этом отношеньи показать, нечем поделиться, не о чем спросить и посоветоваться. Когда то сделаются такие вещи! Сколько надо работать! И только набредешь, нащупаешь, как и где кладутся пирамиды, не с тем, чтобы самому их класть, а хоть бы чтобы не мешать и не быть смешным занятым их кладкой, глядишь – тут дыра, там прореха (это в житейских обстоятельствах), и сломя голову надо бежать их заделывать какой-нибудь дешевой чепухой, отвратительной, давно тобой самим осужденной поделкой. Вот когда и отчего я и прихожу в отчаянье, только в таком смысле я и жалуюсь на нашу участь. Работать не терпится, без работы душе нашей конец, полное выбытье, беззубость, а работать не дает именно то время, кот<орое> с угрозою взывает к ней. Это не письмо, а позор, я его поскорее поспешу смыть.

Пока простите.

Ваш Б. [24]

Сейчас я на рассвете приехал в город. В проходе трамв<айного> вагона недалеко от меня стояла женщина. Она могла бы быть Вами. Никакого сходства, но что-то в чертах открытого, хорошего лица и в глазах от Аси и м.б. от Вас. Я глядел на нее и радовался пасмурному утру и московским домам в лесах и знаках малярных работ, и непререкаемости закона, по которому подмосковные дачи в серые осенние утра выбрасывают на первые поезда такую кучу народа, и тому, что Вы тоже как все, и спешите с нами на службу. И разумеется, лишь только я это лицо заметил и, распорядясь воображеньем, объявил Вашим, как сразу же улыбнулся глупости, никчемности и многословию письма, написанного накануне, перед городом. И если бы это чувство было хоть чуточку слабее, я бы поколебался, посылать ли его Вам. Но оно такое верное, старинное, издалека укрепленное, что ему вообще никакого дела до писем нет.

<На полях:>
«Молодца» я не получил и книжек жду с нетерпеньем.

Письмо 33
<втор. пол. сентября 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Что у Вас сегодня ночью не звонил телефон? (которого нету) Так это я к Вам во сне звонила. 50–91. В доме, где <вариант: откуда> я звонила, мне сказали, что 50–91 – мастерская и что там по ночам спят. Никто не подошел, но я услышала <вариант: я стояла и слушала> тишину Вашего дома и, быть может, Вашего сна.

* * *

Отчего *все* мои сны о Вас – без исключения! – такие короткие и всегда в *невозможности*. Который раз телефон, который я от всей души презираю и ненавижу, как сместивший переписку, и которым *пользуясь*, вкладываю всю брезгливость, внушаемую этим глаголом. А иные разы – не помню, писала ли, улица, снег, переулки. То Вас дома нет, то мы на улице и вообще дома нет, ни Вам, ни мне <вариант: нам вместе>.

* * *

На Ваше письмо (как я ему обрадовалась!) так долго не отвечала, п.ч. кончала большую статью о Брюсове – листа 4 – конечно, не статью: записи встреч и домыслы. *Не* человека, не поэта – фигуру Брюсова. Называется «Герой труда». Последние слова, дающие *всё* написанное: И не успокоится мое – —

Задача была невозможная, т. е. достойная: дать, вопреки отврату очевидности, крупную фигуру, почти что памятник, которым он, несомненно, был. Есть и о Вас – немного, предмете его жесточайшей – и последней ревности (больше, чем зависть!), о Вас, примере *поэта*. Вы же не минуете ни одной моей мысли! Правильнее бы, Вас не минует ни одна и т. д., но, очевидно, Вы настолько в движении, что все-таки *Вы* не минуете.

Хороший памятник Брюсову. Несомненно *лучший*. Я довольна.

* * *

О Рильке. То же, что я. Я ему тоже все вверяла: всю заботу, всё неразреш<имое>. Он был моим живым *там*. О влиянии – непосредственном – не знаю, я его впервые прочла в Берлине, в 1922 г., уже после Ремесла. Не влияние, а *до* знания – слияние. О, Борис! Хотите одну правду? Тогда, в Берлине, две книги вместе – Сестра моя жизнь и книга (*одна* ведь) – Рильке. И я, тогда, чтобы освободиться от Вас, п.ч. Вы еще живы и, следовательно, трагически, растравительно (как Рильке – Вам) доступны, отыгрывалась Рильке: Вот еще бóльший, чем Пастернак. Это в самый разгар моей любви к Вам. Я очень счастлива, что есть высшее Вас, и Вы должны быть счастливы, иначе – бог и тупик.

Да, умер. А Вы дум<аете> – *я* не собиралась? Я ведь зна<ла>, как войду, как и что не уйду. Сяду у ног, руки переплету на коленях, гляжу снизу, все равно – какое лицо. А потом вжать в руку лоб, так я, не раскрывая губ, моих богов – ем. (Только из себя понимаю причастие, извне – чудовищно.)

Ты думаешь – к Рильке можно вдвоем? И, вообще, можно – втроем? Нет, нет. Вдвоем можно к спящим. На кладбище. В уже безличное. Там, где еще лицо… Борис, ты бы разорвался от ревности, я бы разорвалась от ревности, а м.б. от непомерности такого втроем. Что же дальше? Умереть? И потом, Рильке не из благословляющих любовь, это не старец. (Не «к Толстому», не Рабиндранату и пр.) К Рильке за любовью <вариант: с любовью> – любить, тебе как мне.

– К Рильке мы бы, конечно, поехали.

* * *

Вообще [мы бы] *с тобой* бы непрерывно ездили, не жили бы. (Ироническая заведомость, предрешенная сослагательным!)

* * *

Да! о другом! Скоро все мои связи возвращаются с дач. Если получишь посылку (когда – не знаю, но говорю заранее), вязаный костюм и верблюжью куртку Асе. Шарф тебе. Розовая куртка мальчику. Прости, глупо, что розовая, не я выбирала, мне подарили для Мура, а ему велика. В Париже, где я надеюсь быть к 1-му ноября, достану ему целый костюм – голубой. Оттуда оказии будут. И лучше не говори, от кого, просто – прислали. Ты ве<дь> можешь и не знать. Я тебя очень люблю.

Хотела и твоей жене, но лучше не надо, она меня не любит и

вряд ли будет любить, не нужно щемящести мелочей.

* * *

Мой сын очень хорош. 7 ½ месяцев. Классическое: сидит, смеется. И *не* классическое, собственное – ругается скороговоркой, как индюк, выразительно, властно, всегда по *адресу* и всегда по мужскому. Вырастет феминис*том*. (Хорошее определение мужской ветрености?)

* * *

Ты моей жизни не знаешь, знаешь ее отрывками, точно я уже умерла. Так вот еще отрывок: к 1-му ноября, кажется, еду в Париж – месяца на три, п.ч. вряд ли устроюсь твердо. Мой первый выезд из – даже не Чехии, а окрестностей Праги, попросту – из деревни – за 3 с лишком года. Еду с детьми, С.Я. пока остается в Праге, кончать докторскую работу. Радуюсь? Не знаю. Если будут какие-нибудь большие дружбы в Париже, если заработаю себе человеческую душу (на все века) – За иным не сто́ит. – А еще, и гораздо сильнее, радуюсь вагону.

* * *

Да, главное: твоя проза, по всей вероятности, к весне будет издана отдельной книгой. Гонорар переведу. Раньше весны невозможно, всякие – опередили, чешский рынок завален (дрянью).

Письмо 34
4 января 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Наверное, эта капля переполнила чашу и незачем писать, меня ничто не извинит. Я годами заболеваю графофобией. Если это состоянье Вам неизвестно, я давно осужден и сейчас лью чернила впустую. Но у меня лежит третий месяц Асино письмо к Вам, и так как немыслимо было посылать его Вам без сопровожденья, то я попал в некрасивое положенье и перед нею. Однажды, когда, как это часто бывало, мне казалось, что я Вам напишу на другой день, я сделал уже просто черт знает что: я на ее тревожный запрос о письме соврал ей, что оно уже послано. Если даже и допустить житейский софизм о дозировке бессовестности, то и в таком случае мне нет извиненья. Я думал, что пробуду лгуном не больше суток, а эти сутки выросли в несколько недель. И вот я Вам пишу в самое неподходящее время. У меня мучительно болит зуб, я только что от врача, он мне не помог, зуб только пуще разболелся, я себе места не нахожу, самое лучшее перенестись к Вам в Прагу. Но все это, все это пустяки. Есть две важные вещи, о кот<орых> будет разговор, и позвольте мне обратить их в порядок. Вы уже, конечно, узнали о смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смял. Самоубийства не редкость на свете. В этом случае его подробности представились в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытав, с предельным мученьем, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердцеразрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося.

Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности – это крайнее воплощенье того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотворенье он написал кровью. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно, я не умею их читать. Они мне, в особенности последние (т. е. не предсмертные, а те, что писались последние 2 года), говорят очень мало. Стихией музыки все это уже давно пережито. Я не помню, что́ именно я писал Вам летом о тягостности, связанной у меня с ним и его именем. Между прочим и он, вероятно, страдал, среди многого, и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял

этой несуразицы. Я доходил до самоуничиженья в стараньи разрушить это сопоставленье, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горящей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и пр., здесь – мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг, другие, несравнимые загадки и задачи, конфузящая обстановка отказов и двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т. е. когда, точнее, я услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и *только* за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он между прочим думал *кольнуть* меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признанье. Сейчас горько и немыслимо об этом говорить. Но я пересматриваю и вижу, что иначе я ни чувствовать, ни поступать тогда не мог, и, вспоминая ту сцену, ненавижу и презираю ее виновника, как тогда.

Я не знаю, как у Вас там, но и происходило все это, и дни шли, и догорал и сгорел он, и Молодца Вашего я получил, и треплюсь и раскалываюсь, и письмо Вам пишу я в воздухе, в котором поэзии нет и который на нее не отзывается. Я к этому еще вернусь, если о себе в конце заговорю.

Ну тут извиняться, объяснять уже просто гадко. Можно без этого? Спасибо, спасибо, спасибо. Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что – скользнуло предчувствие. Потому еще, что я знаю смысл своих усилий, и знаю, что с собой делаю и куда веду, и знаю Вас и Вашу верность своему лицу, вспыхнувшему разом, в молодости, на все времена, и увиденному в стихе и в жизни, и пущенному на дно души, как переживанье облика, постоянного, на все времена.

Теперь о сказке. Настоящая сказка, несмотря на то, что менее кондовая, уставная, чем Царь-Девица, более своя, более прихотливая. Но все отходы от торной сказочности утверждены, даже самые причудливые. Может быть расписываюсь в собственном невежестве, но кажется, будто есть такая, должна быть, несмотря на неожиданность мраморов в снегах и деревца и

всего, в них творящегося. Драматично и больно, трогательно. Не хочется оглядывать в целом, поддаваясь чутью, что сказочное событье несет сторожевую, символическую службу. О целом, о единстве не думаешь, не сплывается, а катится, развертывается, роится. Написано очень широко, очень разгонисто, приходится говорить о партиях, мельчайшее деленье – совокупность нескольких строф. В этом отношеньи прекрасно строют и подгоняют изложенье, сразу указывая широту неделимых долей и быстроту их следованья, замечательные, лейтмотивные

…… У Маруси выше всех. ……

и

…… Проводи меня, Маруся, до ворот.

Дальше для краткости буду поскупей и вместо цитат просто привожу страницы. 17–18–19. Мастерски передано движенье на воздухе и его совместность с душевным движеньем в один и в другой конец. 27–28. Выпытыванье. 31. Важная. Книжная. 38–40. Чудесно изложено заклятие. Как справились! И какая точность в экспозиции всего последующего, при всей сложности и прихотливости провозвещаемого. Барин и Мрамора (сказочная красочность). 62–63. *Очень хорошо.* Настоящая Ваша лирика. 70–71. Гости. 76; 79; 82; *очень хорошо*. 77–78. *Очень хорошо* <подчеркнуто дважды>. Повторенья (ритмические и тематич<еские>) из I[й] части! На селе. Возглашенья, сплетающиеся с голосом собственной души Маруси. Конец. Все это так чудесно льется в своей однородной щедрости, что некоторые строчки, сами по себе невинные по языку и стилю, в этом потоке кажутся описками. Это «Все промахи чувств» (52), «Судит зрело» (65), «Что зуб, то брешь» (80) – но и то написал я, и мне стыдно стало. Точно я Львовым-Рогачевским становлюсь.

Больше всего поразила широта письма. Три-четыре приведенных (и подчеркнутых) восхитительных места разбрызгиваются по всей ткани, задают ей тон, в нее незаметно переходят. *Кажется, что все так же хорошо написано, как эти лирич<еские> сгустки*. А это завидное свойство большой, со вкусом проведенной композиции, подчинить легкие части основным так, чтобы они казались их качественным продолженьем.

5 января 1926 г.

Вчера вечером я Вам писал, еще состоя в человеках. За ночь у меня сделался флюс, впервые в жизни. Теперь сижу кругом обмотанный ватой и фланелью, чувствую себя свиньей-копилкой, и даже направленье мыслей какое-то поросячье под хреном. В таких духах совершенно не в состояньи обременять Вас своим присутствием. Воспользуюсь превращеньем и напишу родителям, которым не писал больше полугода. Может быть до спада опухоли успею также написать и Эренбургу. С Вами же поспешно прощаюсь, и Вы не глядите в мою сторону, если по московскому обычаю еще с час, расставаясь, протопчусь на пороге. До свиданья. Не смейте думать, что вот, мол, и этот дождевик лопнул и осыпал сушью. Это не так.

Когда я уверюсь, что рифмы и размер у меня окончательно ни к селу ни к городу, я стану третьестепенным историком. Пока же поправляю ужасные дела и еще ужаснейшую репутацию большой работой в стихах о 1905-м годе. Это не поэма, а стихотворная хроника. Пишется в календарной последовательности, в форме отдельных картин. Кое-что уже сделал, юбилейные сроки все пропустил, будет выходить в 1926-м году. Когда напишу о Шмидте, пошлю эту часть Вам. Я знаю, Вы им увлекались.

Откуда Вы взяли тогда о Рильке? Он, сл<ава> Богу, жив и здравствует. Я получил из Германии его «Sonette an Orpheus», книжку, написанную недавно, в 23-м году, после большого, затяжного перерыва. Меня она глубоко взволновала теми именно особенностями, в силу которых она поэтически невероятно для Рильке бледна. Меня это близко тронуло, как простая, житейски понятная болезнь большого и дорогого духа. Прежде всего поразило, что с человеком, поставленным в совершенно другие, нежели мы, условья, делается то же самое, что и с нами. В этом сказалась общность эпохи и ее невымышленная, непреодоленная трудность. В этой книжке он (местами) ввязывается в разговор с духом времени (машина, война, аэроплан и пр.), рассуждает, поучает, оправдывается. Тяжелые, дидактические эпизоды. Всегда, во все эпохи в искусстве сосуществуют взаимно обязанные друг другу: 1) хороший, преемственностью оправданный, до некоторой степени общий народу и времени стиль и 2) кто-нибудь один (или несколько человек, это безразлично), вновь и вновь, в который раз в истории, наперекор ее скольженью, восходящий к самому *началу* художественной стихии, к ее абсолютному роднику. Оригинальность по существу и есть тяготенье к первородному в искусстве. Если по отношенью к Рильке я не только его современников, но и лучшие немецкие традиции, вплоть до Гётевской, воспринимал как фон к его своеобразью, то надо сказать, что в этой книжке он заговаривает

голосом фона. Поучительно и это обстоятельство. Этот шаг бессознателен. Но он доброволен. И все-таки книжка замечательная. Я ее без конца читаю. То, о чем я говорю, только оттенок, не более того.

На этом удручающем рассужденьи «о двух типах и пр.» я, забывшись, некстати заскрежетал зубами. Легко вообразите, что со мной сделалось. Прощаюсь с Вами с совершенно искаженным лицом, не хуже, т. е. хуже, гораздо хуже Вашего упыря. Ответьте поскорее Асе и не слишком черните меня. За сказку не могу словами сказать, как благодарен. Я ее не стою, не стоил, не буду, не могу никогда стоить. Но это ничего. Нестоющее – принцип строенья материи, сыпучий, атомистический мир, в котором и я живу, вслед за Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 35
1 февраля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Спасибо за карточку и за письмо. Еще большее спасибо за порученье. Я верю в Вас, и мне хорошо при мысли, что это напишете Вы и вложите в это свою душу и силу. Мне хотелось сделать это сколь можно полно. Получив Ваше письмо, я тотчас же заказал ремингтонные копии с вырезок, какие можно было тут достать. Я написал Устинову[25], последнему, с кем виделся Есенин накануне самоубийства. Ответа еще не получил. Быть может, он прямо Вам в Париж напишет. Тогда я буду об этом знать. Не тесните меня сроком. Я могу все это послать но почте. Но надо быть уверенным, что все это дойдет. Я бы предпочел оказию. Мне кажется, хорошо было бы зайти со всем этим матерьялом к Луначарскому или в Главлит (в цензуру), чтобы быть уверенным, что со всем этим не произойдет какого-ниб<удь> глупого недоразуменья. Оказия будет через недели две.

Месяц назад я Вам писал в Прагу. В конверт было вложено Асино письмо. Получили ли Вы его? Судя по некоторым вопросам Вашего парижского, оно не дошло до Вас.

Часть сведений, сообщаемых Вами и имеющих отношенье до меня, мне помочь не могут. С матерьяльными трудностями справляюсь. Но время трудное, – безо всякого комментария, трудное для всех, для всякого, везде. На мгновенье обманываешься новою работой, новым усилием раздвинуть свои границы, переселить чутье, честь и правду куда-нибудь еще, с места, на котором застал их с детства. И всякая такая попытка кончается отчаяньем. Нарочно посылаю пробы. Это из большой работы о 905 годе. Интересно, что Вы скажете о стихах про вонючее мясо и пр. Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности.

Правда, умоляю Вас, дорогой друг, напишите мне резко и серьезно, что Вы думаете о вонючем мясе, разговорах и прочем. Дома (жена и брат) ужасаются, говорят гадость и где тут поэзия, вероятно, так же думает и Маяковский. То, что нравится ему в цикле, не нравится мне, – это Пресня, которой Вам не посылаю: романтизм, метафора, пустяки. А мне сейчас важно, как одолеть болото. Обязательно напишите. В письме в Прагу говорил о

Молодце. Горжусь Вашим посвященьем, горжусь и как-то постоянно расстаюсь с ним. Молодец сейчас у Эвы. Если Пражского письма не видали, сообщите, напишу подробно, сейчас не хочу говорить, повторюсь, а вдруг Вам все же переслали. Три места там восхитительного лиризма, написано широко, швырком, разметисто.

Мне звонила Ася из «Узкого». Это санаторий Цекубу под Москвой. Она пробыла там месяц, скоро возвращается. Подробно расспрашивала про «Молодца», кот<орого> еще не читала (он от Эвы к ней перейдет). Говорит, отдохнула. Просила писчей бумаги ей послать. Пишет сказки, свои, знаете? Мне нравится род и складка ее фантазий, чутье живой формы, Вы понимаете? Но никуда ее писаний не пристроить, я и не берусь, да она об этом и не думает.

P.S. Только что пришел человек с матерьялами из Петербурга. Среди них исчерпывающее письмо Лукницкого, со множеством важных подробностей. Думаю, это письмо будет стержнем испрашиваемых Вами достоверностей. Кроме того множество статей. Отнесли перереминтонить.

Узнал, что оказия будет между 10-м и 15-м февраля. Отложите работу на неделю. Жалко будет, если все это затеряют на почте.

<На полях:>

Посылаю бандеролью «Кр<асную> Ниву» с автобиографией Есенина. Это проба. Напишите, дошло ли.

Письмо 36
23 февраля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Получили ли Вы уже статьи о Есенине? Если нет, то на днях получите. Они будут Вам доставлены на дом.

Обращенье в гостинице. Ни в коем случае не барин. Вероятнее всего, гражданин. Это трактирное, ходовое, как в старину с-ер. В его же случае могло быть более прямое и теплое (если знали), товарищ Есенин или же просто по имени-отчеству. Вероятнее всего, товарищ Есенин, характеристичнее всего (для полового) – гражданин.

Гостиница «Англетер» на Вознесенском проспекте, близ Исаакиевской пл<ощади>, из окна номера вид на нее. Возьмите план и описанье Петербурга, думаю, можно найти. Путь от вокзала гадателен. Как Вы его ни восстановите по плану, он будет правдоподобен. К характеристике места. Область, в которой разыгрывается Преступленье и Наказанье, сколько помню, главным образом в Свидригайловской части. Недалеко отсюда Сенная, притоны, короткие бредовые прогулки Раскольникова. Последнее время Есенин, встречаясь с людьми, отрывисто представлялся: Свидригайлов. Так поздоровался он раз с Асеевым. Слыхал и от других.

Шуба и меховая шапка. В сведеньях, сообщенных Лукницким, имелось указанье, что на ночь, оставшись один, потребовал в номер пива, и наутро, когда взломали дверь, обнаружили три пустые бутылки. Под этими словами была сноска. Лукницкий просил этой подробности не распространять. Прочтя это замечанье, я тотчас же вычеркнул все о пиве в рукописи Л<укницкого>. И потому в ремингтонной копии, отправленной Вам, Вы ничего этого не найдете. Я бы и Вам (следуя его просьбе) этого не сказал, когда бы не настойчивость В<ашего> вопроса с указаньем на важность этого пункта для Вас. Прямого выраженья этой детали Вы давать не вправе, тут я к просьбе Л. присоединяюсь. Кстати, описанье, данное Л., наиболее полное и ценное из всего, Вам посланного. Вы этот матерьял узнаете по заголовку. Точно его теперь не помню, но в нем названы: Устинов, Фроман, Шкапская, Эрлих и др. лица, которых Л. опрашивал. Сам Л. – приятель Ахматовой, лично его не знаю, может быть знаете Вы. Отзывчивый и обязательный человек.

На днях узнал версию, кажущуюся мне вздорной и неправдоподобной. Надо будет переспросить Казина, на которого

ссылался рассказывавший. Будто бы Е<сенин> перед отъездом говорил К<азину>: «Вот увидишь, как обо мне запишут». С этим хотят поставить в связь домысел о том, будто бы Е. хотел устроить *покушенье на* самоубийство, в чем между прочим ищут объясненье факта, что кисть правой руки была у него на горле и защемлена петлей. Так как я не думаю, чтобы к этой версии Вы отнеслись иначе, чем я, то я ничего и не делал для установленья ее источников и уточненья ее самой. Положенье же кисти в этом случае прибавляет лишнюю жутко-волевую черту ко всему облику катастрофы.

Ах, Марина, Марина! Что бы я ни сказал Вам теперь, все это будет не лучше моих прошлых ответов, вызвавших наконец этот взрыв, которого я так давно ждал и боялся. Ваш отпор не только справедлив, но даже сильно смягчен и ослаблен, Вы щадили меня, нанося этот удар.

С чего начать, что сказать Вам? Я теряюсь от множества вещей, которые должны быть поняты и названы тут и тотчас же. Я теряюсь от радости, овладевающей мною, лишь только я с Вами заговариваю по-прежнему, хотя и теперешним только голосом, хотя и в ответ только на Ваш. Вы говорите мне, что я Вас потерял, а я радуюсь, потому что едва попытавшись что-то сказать Вам про боль, причиненную Вами, я уже слышу удесятеренный отзвук моих слов, мыслимый только в обращеньи к Вам: это мое представление о Вас отзывается на них физически, как гулкость воли, – представленье о большой образцовой душе, которая не может не быть большим умом, знающим все и любящим свое знанье. Я буду писать это письмо долго. Я буду его прерывать: я боюсь подпасть инерции чувства, разбегу мысли. А тут надо писать с натуры. Речь идет о существующем, неотменимом. Я Вас не потерял, я Вас потерять не могу.

Было большою смелостью посылать Вам мои вахлацкие, безличные, ничего не значущие письма ради полученья Ваших, стоять перед Вами дуралей дуралеем, принимая Ваше «ты» и наполняя воздух нестерпимой глупостью своего обращенья. Неужели Вы думаете, что я не понимал, как может все это смотреть со стороны и чем должно тогда показаться? О нет, я видел Двенадцатую ночь и Чехова в роли Мальволио, я читал Горе от ума и помню Молчалина. Но не думая о разительности такого возможного сходства, я нес по видимости равнодушный вздор, звал Вас на вы и, как захлороформированный, давал времени делать со мной все, что ему заблагорассудится, без всякой заботы на этот счет, владея навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из Верст и Ваших юношеских книг. И опять этот тон: «образ», «говорящий из книг». Но Вы на выраженьях не задерживайтесь.

Многое я успел давно сказать Вам, остальное подсказало Вам чутье. Вы не могли не оценить с самого начала *природы* нашей связи. Вы о ней говорили и писали, я молчал. Я так свободно, без краски, без примеси неловкости этого касаюсь, потому что это не Мальвольо и не Молчалин, потому что я знаю, о чем говорю. Потому что это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой этого содрогающего родства. Теперь я не уверен, знаете ли Вы, о чем я говорю? Вот пример. Целую вечность я не слышал музыки. Сегодня случайно попал на симфонический концерт, посвященный Скрябину. Вы знаете, чем он был для меня. Я слушал, не настраиваясь, без аффекта преданности, с той неряшливостью, которая бросилась Вам в глаза в письмах, спокойный насчет однажды измеренной глубины, память которой при мне, без зависимости от воспоминанья. Может быть, я много потерял при таком слушаньи против той поры, когда жизнь воспринимал как лирическое стоянье на часах. Исполнялись вещи знакомые, когда-то заставлявшие меня сумасшествовать. Теперь многое прошло мимо ушей, многое показалось пустым и растянутым. Только было я стал думать о том, как нравственно беднеет человек, претерпевающий перемены, подобные происшедшей в последние годы со мной, как Бекман-Щербина заиграла h moll-ную (кажется) фантазию. И вот было место в этом удивительном сочинении, где сменявшие друг друга, теснившиеся и наслаивавшиеся нарастанья, неся на себе все большее и большее аккордовое бремя, вдруг, на ужасной гармонической высоте, смягчились, расплылись, задержались и, словно смерявши до самого дна достигнутую высоту и как бы оглянувшись назад, на мелодию, как оглядываются на прошлое, внезапно, покорившись влеченью накопленных звуков, оторвались и пошли расти дальше.

Это было неожиданное разрешение доли несоразмерно бóльшего напряженья, допущенное вскользь, наперекор теченью, и тут же оттертое в невыносимую, только искусству ведомую давность. Тут было то, что я люблю. Тут была частность, изобличающая род. Тут был прием, каких в музыке тысячи, но именно тот из них, в котором для меня все ее существо. Явленье это протекло во всей его неповрежденной целостности: то есть слезы у меня хлынули *именно те*, которые эта гармоническая непредвиденность видела когда-то на человеческом лице и с часа своего зарожденья навсегда в свое звуковое сверканье включила. Тут были Вы. Тут было мое отношенье к Вам, которое Вас не удовлетворяет и оставляет в недоуменьи. Тут было одно из начал таланта и то опять-таки, которое мне кажется всеобъемлющим и

предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того чтобы озираться на него, стоящего позади в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости.

Одна поправка к сказанному необходима. В параллель с приведенным я ставил только Вас. Я говорил об этой искре в Вас одной. Я о себе не сказал тут ни слова. Себя я не знаю и не вижу. Содроганье родства, сказал я. Это я чувствую в том человеческом плане, где это чувство полагаю обязательным для всех и дарованным каждому. Если Вы его во всех вызывали, и в этой форме, я рад быть в их обществе и согласен с Вами, что и я оказался, как все. Вот Вам. Больше я ничего не прибавлю. Ничто на свете не заставит меня говорить не к месту и не ко времени. Потому что и время и место живые вещи, живые части нашей судьбы. «Здесь» и «теперь» не пустоты. Они живут и меняются. Я не хочу их умалять и обесценивать предугадыванье. Они больше и старше меня. Сейчас Вы и я живем порознь, живем с ними по трое. А Вы хотите меня слышать так, точно мы собрались вчетвером. Не от одной воли это зависит, в особенности сейчас, когда они во сто раз сильнее и одухотвореннее нас хотя бы одной своей неизвестностью и новизной, тем, что мы их лица толком не разглядели и не полюбили, тем, что они разные у Вас и у меня, там и тут. Эта противоестественность порождена нашей посредственностью и ленью, когда мы ее победим, они сольются, мы очутимся опять на родине, мы с ними породнимся.

Этим я живу, на это направлены мои усилья. Как-то я говорил Вам об историзме. Но тут не говорить надо, а дело делать. Об этом напишу Вам как-нибудь в другой раз. Несколько положений стали для меня руководящими. Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложенья красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. Когда она осядет и просветлится в стиле, когда она оставит потомству свой собственный, она окажется выше и серьезнее нынешних стилизационных штампов. Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться *социализмом*, безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого, однако, прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. И опять-таки в этой тоске по форме, которой наше время немилосердно лишено, есть, как и в мыслях о Вас и о Скрябине, постоянный у

меня, частный и волнующий пункт. Это именно пункт совпаденья русской истории с мировой. Этим еще ничего не сказано, для эпигона Достоевского уже этого было бы достаточно, но схемы ведь только записи в долговой книге. Это надо увидеть и показать. Это должно быть чем-то подобным какому-то полуобороту земного шара, в котором он виден *не* весь и тогда только *весь* реален, или чем-то подобным улыбке на человеческом лице. Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это. Карточки Вашей я не отдам, как и вообще ничего. Спокойной ночи, я страшно с Вами заболтался. Не перепечатывайте меня. За гонорар спасибо. Здесь легче живется, чем у Вас. Никакого гонорара не надо. Свинство, что мы Вам ничего не шлем.

24 февраля 1926 г.

P.S. Как нехорошо Вы меня успокаиваете насчет души и Нью-Йорка, Есенина и Маяковского. Помните? Эти сентенции запрошены не мной, они идут мимо, к какому-то воображаемому истукану, каким никогда не был и не буду. Он должен быть затаенно-тщеславным, скрепя сердце и изнемогая от его лицемерья, его из жалости кормят карамелью. Неужели таким я стал представляться Вам? Тогда некстати распутывал я перед Вами путаницу моих отношений с Е<сениным>, не мной созданную, всесторонне оскорбительную, лежащую ниже того мира, в котором когда-то жил и когда-нибудь еще поживу.

Вы спрашиваете, что из сообщенного Вами не может помочь мне. Помните? Ну вот, Вы угадали. Да, конечно, именно та любовь (литерат<урной> молодежи), о которой Вы пишете. Во-первых, это чепуха, т. е. либо ее не существует вне Вашего доброжелательства, либо же, если она есть, то у нее *не может быть* должного наполненья. Потому что эта симпатия разнесена по двум разным мирам, неполным и в своей неполноте неблагополучным. Это опять об истории.

Тем же сознаньем объясняется «тревога», с какой я ждал Ваших слов об отрывках 1905. Меня интересовала возможность жанра, в котором я не уверен. Сохраняю ли я то, чем хороши поэты, в ломке, производимой над собой, над одним из них, или достигаю обратной цели. Т. е. этот интерес шире и серьезнее предположенного Вами (и показанного незаслуженно карикатурно).

В заключенье простите за нескладность и длинноту письма. Я боюсь таких писем. Все равно никогда не высказать того, что за ними подымается. Слог же это недопустимый, его следует бегать. В основе таких поползновений всегда десяток противоречивых порывов. Письмо разгорячается, точно оно способно заклясть

получателя и его вызвать и поставить перед тобой. Письмо вдается в лирику, точно оно это явленье переживает. В то же время, лишенное чудесного сопротивленья действительности, оно философствует, и его философствованью нет границы, которую ставит живая встреча. Напишите мне.

Ваш Б.

Письмо 37
<ок. 4 марта 1926 г.>
Пастернак – Цветаевой

Марина, бездоннодушевный друг мой, соседняя топка житейской котельной, под теми же парами, пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться. Твое «ты» делает меня куклой, гипокритом, круглым лицемером неслыханного диаметра, а я ни кукла, ни гипокрит. Мое вы к тебе найдено как равновес, как стиль 1905-го, как единственная мыслимость среди немыслимых трудностей времени, с которым и в котором весь я, со всею серою гаммой повадок, с семьей, с характерами, вырастающими на *этой гамме*, по этой конституции. Ах, как это объяснить! Верь, верь, верь, верь, верь мне, это главное. И не возмущайся всеми этими «равновесами», «возможностями», «мыслимостями», которые всколыхнут тебя кажущимся отливом золотой середины. Неправда, неправда! Но в этой тянущейся грозе однообразья, которой захвачено начало века, разрушенье обессмыслилось, и я не слышу грозы в личной гибели, ни в причиненьи страданья другому. Я не боялся колоть Ваши руки мизерностью и сухостью своих отписок, потому что пасть Вашего духа знаю, как свою, и знал, что это пустяки, если только Вы не пожелаете прикинуть свою или мою повесть (безразлично) на общую болевую шкалу, градированную драматическими формулами. А Вы и не сделали и <не> сделаете этого. Вы не ломились в меня, это я в Вас первый с Верстами вломился. Вообще этот разговор – я или Вы – так некстати, такое житейское заимствованье, и тут же думаю о себе, что я во сто крат беспомощнее, потому что к письму от путаницы прихожу с чувством такого чего-то простого, чудесного, счастьеносного и понятного, и в письме, пока суд да дело, так все это затуманиваю попыткой показать эту простоту! Вот, ну что это за неразбериха! Пишите мне на вы, Марина! У меня столько веры в то, что динамит можно подарить бедным родственникам и что эту часть симфонии уже отстучали! Она называется эроикой ведь не только по обилью ударных, заполонивших первую часть! Скоро ей придется чистым содержаньем, настоящею музыкой оправдать свое названье. Тут-то нам будет работа! Марина, мы будем неогегельянцами, какими были молодые Энгельс и Маркс, мы еще с Вами будем обрушиваться на коммунистов с упреками в малодушьи и пессимизме, мы или те из молодых, которым будем радоваться, как своей поросли, и которые будут жить и дружить с

нами. Марина, Марина, это все я о Вас пишу. Марина, чтобы Вам стало ясно: когда недавно, совсем в последнее время, я оглянулся на цепь смертей, павших на эти годы, не смерть Блока, которого я боготворил, не Есенина, столь близко прикинувшаяся, что вырастает в виденье, не Брюсова, который меня любил и был коммунистом, но гибель Гумилева показалась мне катастрофической непоправимостью, злодейским промахом эпохи, самоубийственной ошибкой. Удивляйтесь, как хотите, но я чувствую и вижу, что проживи он до наших дней, он был бы человеком революции и эпохи, именно он, вызывавший в Блоке брезгливый отпор своим, забегавшим вперед, требованьем сжатой и собранной культуры. И опять тут всего ни объяснить, ни рассказать Вам. Но если Вас резануло слово «ошибка» по адресу человека, которого просто оплакиваешь и просто ужасаешься подлости, его прикончившей, последуйте за этим словом и за этим чувством и Вы поймете, как я все начинаю видеть и переживать. Мне хочется чувствовать через историю и за нее, и я не преувеличу, если назову это перерожденьем сердца.

Марина, Марина, Марина! Как я рад, что Вы так подробно написали про вечер. Я вслед за последним письмом хотел попросить Вас об этом. Лично, кровно радуюсь, кружусь с Вами и поздравляю. Все близко, все словно тут, как у нас, вплоть до вечного измышленья редакций насчет «непонятности»! Марина, берегите здоровье, цепляйтесь за жизнь, нам много предстоит дела впереди! О схожести судеб, не только моей с Вами, но и Асеевской и Маяковской, расскажу друзьям.

Другое совпадение (как о вечере, в ответ на упущенную просьбу). О перепечатке Сельвинского. Хотел писать Вам о нем и опять упустил. (Чудесно и верно Вы меня определили, сказан об отборе червей, специально для Вас. Не боюсь признаться в верности подмеченной черты. Она так схвачена, что стало быть, знаете все остальное. Тогда не боюсь. О как люблю Вас!) Так вот, предупредили и это упущение и как раз в той связи, в какой хотел о нем говорить. Он очень талантлив. Смешно говорить о моей или Вашей современности. Современен только он. Т. е. только такой, в революцию зародившийся сплав эпики, эклектики и нового акмеизма плывет, голова в голову, с головою дня над мутью количества, и с ним ныряет, захлебывается и всплывает. И тут же утешительная поправка о современности: и однако, в порядке временных и хронологических напряжений, он, временно, позади нас. Т. е. он умеет раскаляться и сиять при более низких и бедных температурах, нежели мы. Он так талантлив, что не может не оказаться впоследствии лирической индивидуальностью. Между тем его сила теперь как раз в том, что

он, как думают (и он сам в том числе), – не лирик. О нем как-нибудь в другой раз. Меня удивляет, как это Вы или Св<ятополк>-Мир<ский> его почувствовали с печатного. Его надо слышать. Прошлый год, всю зиму, его замечательно читал на память Асеев, куда бы ни пришел. Но о нем в другой раз. Марина, меня пугает и сделает несчастным в будущем и совершенно обескрылит, если Вы ее еще раз подтвердите (если за ней окажется смысл), Ваша приписка: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» О Марина, Марина. Для меня время не движется лишь относительно Вас и значит, «этих лет назад». Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? Как же это случилось? Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! Я не боюсь Вас, ни себя, ни времени, ни судьбы. Я не боюсь ни за смысл, связывающий нас, ни за его постоянное биенье, ни за его будущее. Но я пуще судьбы боюсь *этой Вашей фразы*, п.ч. знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете «смеяться на себя за все эти годы», верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на «Вы» и перестаньте смеяться.

Простите за предшествующее письмо. Хотя и в нем, за нескладицей, много правды и, за огорченьем, постоянная нежность, вне которой я ни разу не слышал природы, ни разу с Вами не говорил. Не напоминайте мне про смех и про годы. Вот я сказал Вам какую-то глупую, по-стариковски трогательную чушь и уже сдерживаюсь, и уже готов повиснуть у Вас на шее, сотни раз отлитой в душе, сотни раз облёснутой языками радости, гордости, близости, преклоненья. Неужели Вы не знаете? Неужели, неужели. Но не надо, нельзя, не трогайте, прошу Вас, и не смейтесь. Давайте переписываться и без этих приписок. Хорошо?

<На полях:>

Я бы покривил душой, если бы умалил радость, вызванную Вашими словами о 1905 годе. Значит, я не ошибаюсь, и м.б. и во многом остальном. Встречаетесь ли Вы с Ильей Григорьевичем? Если да, то не говорите обо мне. Я ему написал очень жестокое письмо отн<осительно> его вещи и, вероятно, огорчил. Но что мне было делать.

Матерьялы о Есенине, верно, получены уже Вами.

Письмо 38
19 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Прошлую неделю я мысленно переписал Вам множество писем, прожил несколько лет, сильно заскочив вперед, и сделал много такого же, бесследного и бесплодного. Вот как это случилось. В воскресенье вечером позвонила Ахматова, приехавшая в тот день из Петербурга, и через два часа зашла с Н.Н.Пуниным. Я ее не видал два года. Осенью она хворала и, слышно было, нуждалась. Теперь я нашел ее неожиданно помолодевшею. Она поправилась, и к ней вернулась та мраморная красота, которая так ее выражает, что даже стала частью ее имени. Когда я мысленно обратился к Вам с этим «вы́кающим» наблюденьем, мне дико было говорить «вы», сообщая эту радость. «Ты знаешь, Ахматова и т. д.». Так хотелось и делалось.

Дни были весенние, схватывавшиеся к вечеру морозцем, черной улицей, от фонаря к фонарю. Через два дня, таким именно вечером, взвинченно-чутким, когда чем редче звук, тем резче воспаляется ушная раковина дали, я пошел к ней, и мы говорили о ней, о тебе, о близких людях. Но это все были пустяки в сравненья с близостью, пахнувшей мне в лицо, когда, заговорив о Гумилеве, она, не замечая этого, свела речь к перечню заимствований и влияний, его объясняющих, часть которых установила в последнее время сама. Тут не было и следа Брюсовского или Ходасевичевского любованья предметом с кафедры. Как раз наоборот, тут была прелесть подчиненности классной атмосфере. Тут, болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствие тебя, сестры по парте, в… учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю. Все эти дни я говорил с тобой, строил теории и истоптался в оптимизме, т. е. ввел в походку всю стоптанность, заключенную в слове. Странно, что я не написал тебе тогда же, а выздоровевшую Ахматову, и, кажется, в тех же выраженьях, понес Эренбургу. Потом я получил твое письмо про то, каково твое ты. Оказывается, оно бунтарское, и тебе ты не говорят. Ей-богу, глупо было тут как раз со своим и сунуться. Тебе покажется, – из духа противоречья. Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи. Ни даже бунтовской, супротивнической. Но это подавленное реченье

вырвалось и потекло, став, как первоначально – школьным, чистым, детским. О порядках же учрежденья, о «наших нравах» напомнила мне именно она.

Теперь о Лондоне. Лет тринадцать или больше назад я бредил Англией и, служа воспитателем (гувернером, подумай!) в богатой немецкой купеческой семье, откладывал деньги для поездки в Лондон. Т. е. «гувернером» я заделался именно ради Лондона. Тогда (как вспомнишь, как это все было неумело, глупо!) я читал англичанке-учительнице за плату курс русской истории литературы, которую она очень любила, а я знал не больше, чем теперь. Однажды она мне прочла Эдг. По в оригинале. Восхищенью моему не было конца. И вот вместо того, чтобы принять ее предложенье обмениваться уроками, я из скаредности (так дорожил грошами) собственными силами в три месяца сроку и на такой же, конечно, срок изучил язык. Это все было в те времена, которые описаны в первых страницах Бытия, т. е. когда я служил молодым Гегелем в немецкой семье, читал свободно по-французски, когда Бобров переводил Рэмбо, ты выступала с Асей, взявшись за руки, и Асеев занимал на вечер манжеты у Анисимова для посещенья своб<одной> эстетики. Все это былье я заворошил нечаянно, узнав, что ты попадешь в Лондон. Именно, мне вспомнилась зима, когда я зачитывался Китсом и Суинберном, и даже, из строки в десятую, понимал, что делал. И, разумеется, в стихах рос и творился свой Лондон, которого наверное на свете нет, но именно в этот Лондон я пишу тебе. Помню, ледяной, утихомирившейся, расчистившейся ночью, перед тем укатанной и обметенной вьюгой, – я жил тогда в Лебяжьем переулке, в канареечной клетке, окном выходившей на Кремль – представился мне он вот как. Там в тумане, тронутом морозною проседью, осязало себя время, и стрелки на Вестминстере и циферблаты других башен медленно, *как блюдца*, подвигались слева направо, по кругу английского алфавита, и били, попадая на иные буквы, и скрытый туманом, таинствами языка и недоступностью, дух Англии, как спирит, выросши над фиакрами и господствуя над Диккенсом, касался ободков кончиками пальцев. Стихов этих я теперь не помню, как и других той поры, и не знаю, где они. Теперь мне неясно, почему это Лондон, а не Мюнстер или не Флоренция. Но именно в пальцы кольнуло меня твое известие о путешествии, и от моего разговора с тобой, от слов, от платья, от усилия представить тебя там отделяется легкий треск. А сегодня ты пишешь, что какой потолок над тобой – неважно. Кроме того, это я забыл сказать – и тут все ассоциативные пружины наружу, ты поймешь, что твоей комнаты, твоего, наконец, «одиночества, – нет: единоличья»

я никак иначе, как в Лебяжьем духе той своей комнаты вообразить не в силах, а стало быть, это: колдовское, леденящее, забывающееся вдохновенье тех лет. Мельком видел я его тогда, – и вот оно с тобою. Это предвиденье и пожеланье. Я хотел о многом написать тебе сегодня. И прежде всего я хотел ответить на два твои последние письма. Потом я хотел рассказать тебе о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и – в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю Женю и болею, когда она не пьет рыбьего жира, ты знаешь, что есть края́ и края, ты изошла всю эту постройку и видела многое по-моему. Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи. Будь счастлива в Лондоне, как я счастлив сейчас с тобой, не жди никогда слов, побывавших в кислотах, ты все знаешь. И о предположенном, о том, что хотел, не расскажу. Не надо. Ты все знаешь, все, все. Спокойной ночи.

Твой Б.

<На полях:>

Отправляю не перечитывая. Не суди как ответ. Свое и твое. Ничего не сказал из того, о чем, думалось, напишу.

Письмо 39
25 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так *вполне*, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой[26], я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным, мира, явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачеркнешь и подставишь.

Что же я делаю, где ты меня увидишь висящим в воздухе вверх ногами?

Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинанья. Но о чем речь, разве еще стол описывать, на котором лежала?

Ты мне напомнила о нашем боге, обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда смотреть на роман как на *учебник* (ты понимаешь чего) и на лирику как на *этимологию* чувства (если ты про учебник не поняла).

Верно, верно. Именно так, именно *та* нить, которая сучится действительностью; именно то, что человек всегда *делает* и никогда не *видит*. *Так* должны шевелиться *губы* человеческого *гения*, этой твари, вышедшей из себя. Так, так именно, как в ведущих частях этой поэмы. С каким волненьем ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. «Преувеличенно – преувеличенно, то есть. Но в час, когда поезд подан – вручающий. Коммерческими тайнами и бальным порошком. Значит не надо, значит не надо. Любовь это плоть и кровь. Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Расставание, расставаться?» (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное,

кем-то раненное в живот» уже упомянуто шахматами.) Верно, пропустил, поэма лежит справа, взглянуть и проверить, но не хочу, тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина» или любой другой безотчетный звук, какой, засуча рукава, ты из кучи можешь достать с моего дна. А у людей так. После чтенья, моего, *такого* чтенья, – тишина, подчиненье, атмосфера, в которой и начинается это «купанье в бурю». Как же это делается? Иногда движеньем брови. Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно *ты* это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!», чтобы сердце тут же заныряло, открытое в своей болтливости и при всех проговорках законспирированное от них породою, в раздвинутых тобою далях. Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина! Но о поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве, о гениальности, о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр всех этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творенье. Только одно небольшое замечанье об одном выраженьи. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон, что в своем одинаковом отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-одинаковому отталкивались от последовательно царивших штампов. Слова артист и обьективность могли быть оставлены тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в них только слышишь, что они – Сивцево-Вражечьи, прокурены, облиты вином и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой гостеприимной лестнице. Я же их захватил с собой и об артистизме ничего не скажу, тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. Вот оно в двух словах. Ты же, читая, прикинь на себя, припомни свое, помоги мне. Когда Пушкин сказал (ты знаешь это точнее, прости невежество и неточность): «а знаете, Татьяна моя собирается замуж», то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства. Захватывающая парадоксальность ощущенья была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям. Может

быть только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок. Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о кот<ором> я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: «Знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал. *Как поэт он выше меня*». Субъективно то, что только *написано* тобой. Объективно то, что (из твоего) *читается* тобою или правится в гранках как написанное *чем-то* бóльшим, чем ты. Знаешь ты это, знаешь? Все равно, я знаю это о тебе. И опять больше, меньше, – тут не чины, не в этом моя объективность. Не в этом ее жалостная, роковая, убойная радостность. А в незаслуженном дареньи. Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит, как поставили, и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна, – но тут нельзя останавливаться и надо прибавить: *и ты вечно со всем этим*, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконнорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведеньи, а не в авторстве. Потому что твоим гощеньем в произведеньи эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются. Ты одновременно в разных местах. Вечный этот мир весь начисто мгновенен (как в жизни только молния). Следовательно, его можно любить постоянно, как в жизни только – мгновенье. Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: откровенье объективности. Прямо непостижимо, до чего ты большой поэт! Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и, кажется, скоро, потому что этим воздухом я дышу уже и сейчас. Mein grösstes Leben lebe ich mit dir[27]. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем и уже и сейчас, поводив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основанье, насильно теснишься мною назад и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях (*об этом в другом, следующем письме*), начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив – шестилетнюю странность лицом целого, душой зданья. Ты моя безусловность, ты, с головы до ног, горячий, воплощенный замысел, как и я, ты – невероятная награда мне за рожденье и блужданья и веру в Бога и обиды. Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. *Она вышла*

за другого. Вьюном можно бы продолжить: впоследствии я *тоже* <подчеркнуто дважды> *женился на другой*. Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему! Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь, в иксовом поколении, и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах – громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, – *лицемерю* (!!), как, по-либреттному, чувствует и говорит она. Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, *привита* той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной. Мои следующие письма будут скучны тебе, если ты не со мной сейчас и не знаешь, кто с кем и почему так переписывается. О Rilke, куске нашей жизни, о человеке, приглашающем нас с тобой в Альпы будущим летом – потом, в другом письме. А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или м.б. весной, и м.б. уже и в 22–23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все? Ты ломилась? Зачем ты так заносишься в униженьи? И униженье нарочитое, и заноситься не надо. Ты ломилась? Ты правда так думаешь? А я как раз в фатальных тонах все это воспринимаю *оттого только*, что такого счастья руками не сделать и вломом не достать. Ну куда б я мог вломиться, чтобы сделать тебя? Чтобы вызвать тебя на свет в один час со мною? Руки твои и свои я знаю, хорошие руки, но и воспоминанья стоят предо мной, и воображаются твои. Сколько сделано людей, сколько в отрочестве объявлено гениев, доверенных, друзей, единственных, сколько мистерий! Отчего их так много? Не оттого ли, что по детской глупости *работалось* постоянно одно, то именно «ты», которое оказалось налицо, и это одно поролось за работой, за гнилостью нитки, за гнилостью затеи. И вот вдруг ты, не созданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, преувеличенно, то есть / Во весь рост. Что ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. А я, говоришь, как все? Значит ты создала меня, как их? Тогда за что ж ты не бросаешь меня и столько всего мне спускаешь? Нет, ты тоже не создавала меня и знаешь, насколько я твой.

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Это из «Высокой Болезни», которую я, за вычетом этого четверостишья, терпеть не могу.

Как удивительно, что ты – женщина. При твоем таланте это ведь такая случайность! И вот, за возможностью жить при Debordes-Valmore (какие редкие шансы в лотерее!) – возможность при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты еще не слышишь, что об этом чуде я и говорю тебе, то это даже лучше. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого что *этих поцелуев я никогда не видал*.

Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще. Спокойнее, как раньше.

Я боготворю тебя.

<На полях:>

Когда перечитываю письма, – ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!

Письмо 40
27 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина, вспоминаю вчерашнее письмо с ужасом. Я хотел тебе дать понятье о своем счастьи, а написал тяжелую диссертацию об объективности. Опять, наверное, отобрал червей. И вот снова это начинается. Что ж, это законно. Жизнь на расстояньи – платонизм. Платонизм – философия. Вот почему, когда у меня часто бьется сердце по тебе, я философствую. Когда обыкновенно в жизни говорят мои друг, то это равносильно твоему «Дитя годовалое: “дай” и “мой”». Мое горе, мой тип, мой талант, мое воспоминанье, моя мать звучат иначе и значат другое. Так звучишь ты, мои друг, без эгоизма присвоенья и прихоти, целиком от рожденья погруженная в чистый и негромкий трагизм слова «мой», как типическая сила моей жизни, как моя особенная и единственная смерть. Я думаю, мне легче будет с тобой, чем было бы с Богом. Ты общая сила, а не частность, ты поэт и артист, все отвлеченья от случая сделаны тобой давно, девочкою, ты – самопреображенная, генерализировать жизнь за взглядом, за беседой с тобой не надо, тут чистый разговор, тут две повести самопреображенья поверяют себя друг на друге, тут счастье, которому равного нет, – такая ты большая, такая большая. Я предвосхищаю встречу с тобой как счастье *предельной простоты*, какой не бывает даже в детстве со своими, а только в детском одиночестве, когда самостоятельно построенная физика неведенья не взорвана непрошеным просвещеньем. Мы-то с тобой знаем (как мало людей наблюдает себя и жизнь в час этого детского взрыва), мы знаем, *что и просвещенье разлетается вдребезги* в общем взрыве. Потом строют из общих и смешанных обломков вторую физику, навсегда свою, зацементировав бессмертием. Нов и смешан матерьял, замысел стар и первозданен, как до взрыва.

В эту неделю я тебя не полюбил больше, такой возможности на свете нет, я только как-то свихнулся. Меня подцепило мной самим, мне казалось, что жизнь моя закатилась неведомо куда, поглощенная до неразличимости общей историей дня, лицом существованья. Моя тяга к истории, к современному эпосу была бессознательной тягою к названной утопленнице. И оказывается, эта загадочная личность жива, она отделена от меня расстояньем, временем, нищетою (ты не понимай последнее буквально, но для того чтобы все уладить, у меня денег пока нет), она далека еще,

но о ней доходят вести, и я знаю, в каком направленьи к ней ползти. Тут я не о тебе только говорю, но и о себе и о многом.

Но вот опять растет диссертация. Поговорим о другом. Насчет «Крысолова» и всего, что у тебя есть нового, написанного за границей (за искл<ючением> Разлуки, Ремесла, Царь-Девицы и Молодца), произвел попытку, написал в Париж секретарю Раковского, Корнелию Зелинскому. Ты ведь страшная, ты что-то писала и говорила. Написал ему в форме лаконической просьбы, категорически и просто, установив уровень факта. Думаю, твое медузоподобье его не остановит и он к тебе зайдет. Тогда «Крысолова» и что найдешь еще нужным дай в двух-трех экземплярах, для показа, когда тут нужно будет. (Не на Арбате, там и без того любят, а в сердце времени, под пружиной, в царстве препятствий.) – Фома Аквинат на службе у романтики может быть хорошо, но существо мысли не устраняет ее относительной, историко-литературной формы. Ты не историко-литературна, ты не часть, не отрезок в калейдоскопе субъективностей. Я свои слова о тебе люблю больше. Ты объективна, ты главным образом талантлива, – гениальна.

Последнее слово зачеркни, пожалуйста. Его не должно быть в твоем лексиконе. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут или не скажут. Все равно, не отрицательная гадательность шанса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушною крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику. Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности. В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живешь или который за писаньем физики воображаешь. В другие времена по этому покрытью будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий. Она небесна в своем историческом происхожденьи. И опять диссертация! Как от этого отделаться! Но еще два слова о Фоме. Прошлый месяц я задумывал статью о поэзии, на примере нескольких поэтов. В предварительной росписи, что́ о ком, значится. Блок – дух времени, история, стиль, общество. Цветаева – талант, объективность. Гумилев – стихотворенье (борьба с субъективностью оружием культуры). Асеев – идея (дух содержанья, облик автора, Шиллеровская гуманность). Талант, артистизм, запущенная в самый характер бесконечность, владенье мигом, – вот ты по преимуществу. Никогда, впрочем, эти замыслы (это я о статье) не приводятся в исполненье. В статье о тебе,

которую для «Русск<ого> Современника» писал некий Вильям, милый молодой философ, говорилось о тебе как о редком случае, когда, говоря о поэте, приходится говорить о поэзии. Ты именно не особенная, как не особенный и Рильке. Т. е. тут та предельная оригинальность, которая свойственна всей области, как ее принцип. Но довольно, опять диссертация. Диссертацией была и статья В<ильяма>, и ее ему вернули. Прости, прости. И тебе эта страница, верно, надоела и мне не нужна.

Ты с грустью говоришь, что мне о тебе нечего помнить и нечего от тебя ждать. (Лондонское письмо.) Не было за эти четыре года такого случая, когда бы эти слова были справедливы. Они безусловно абсурдны. Но они были относительно правдоподобны в тот день, когда ты еще их писала. Что же произошло? Вообрази отъезд человека. Его редкое, предельное волненье сплошь состоит из быстрых, утилитарных, целесообразных мыслей и действий. Он смотрит на часы, и у него бьется сердце. Он старается втиснуть в чемодан нужное и видит прошлое. Когда он несется на вокзал, воображая, что боится, как бы не опоздать, он на самом деле видит то, чего еще не может видеть: дорогу, место назначенья, будущий год. К чему эта проза? Чтобы напомнить тебе, что предел волненья и одурелости не Дон-Кихотство, а буря соображенья, пучок целесообразностей. Вот что происходит со мной сейчас.

Я многое понял из того, что знал. Я нашел имя тебе, и тому, чем был сам, и своей жизни и судьбе. И так как в эти дни такая именно толчея стоит у меня в голове, мыслей невпроворот, то тебе не надо прибавлять, что делается в сердце.

Я понял, что недооценил судьбы. И рад. Было бы хуже, если бы я переоценил ее. Я не знал, что она так угрюма и меланхолична оттого, *что такая счастливая*. Недооценив ее, я подавил в себе ребенка и поэта. Этим я стал заниматься с 19 года. Мне это так быстро не далось, как другим, сильнейшим (Маяковскому напр<имер>). Мне стало удаваться это только последний год (Спекторский, 1905 год, историзм, породненье с общественностью, Пастернак стал понятен, борьба с тобой, ответы на твои письма). Теперь я понял, что старая дорога свободна, что мне *не обязательно* находиться в детской времени, с лепетом, общественнической погремушкой, понятностью и пр. и пр. Однако эту льготу надо было увидать в судьбе. В личную прихоть я не верю, я не ницшеанец, не эстет, не сверхчеловек. Но судьба это зелень, лето, правда тепла, правда породы, замысел ботаника. С души воротило, я верил времени, что эту касторку надо пить, шесть лет оттягивал, наконец решился, стал готовить кофе с лимоном (1905 г.), вдруг входит огромная удивительная судьба,

как мать, и говорит, что эту дрянь надо вышвырнуть в окошко. Надо было прочесть Поэму Конца, чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после.

Когда летом 1917 г. ко мне в Нащокинский пришел знакомиться И.Г.Эренбург, то сделал он это по совету Брюсова. У нас ничего не вышло. Мне некоторые его стихи понравились, я же ему был совершенно чужд. Первого же моего ответа на его вопрос о том, кого или что я люблю, он совершенно не понял. Я сказал: больше всего на свете я люблю проявленье таланта. Он ответил, что именно этого-то он и не любит, и из слов его я понял, что ему представляется, будто он наткнулся на эстета и разубеждает его. Существо «Сестры моей жизни», главные стихи были тогда уже написаны. Я всех чуждался, я знал, что́ это такое, но лето было заряжено такой непомерной чувствительностью, я так любил в каждой грозе, в каждой уклончивости моей знакомой, в каждой внезапной поездке к ней в Балашовский уезд проявленье таланта, что замыкался единственной силой этого тока. К Цейтлиным я попал после конца, после «Разрыва». Я не знал, кто рядом со мной. Я не знал, что рядом со мной сидит то, что я еще тогда любил больше всего на свете, то именно, чем я отшатнул И.Г. И чудесно, что я еще тогда этого не знал. Тогда было невозможно, тогда все было бы погублено. После этих дат или годом позже я повел не свой, насильственный, педагогический образ жизни. Я стал рвать со всем прирожденным во мне, стал учиться людскости, равнодушью. Я совершенным дураком поехал за границу в 1922 г. Уезжая туда, я смутно искал именно того, что сейчас на меня валится. – Вот смысл восьмилетья.

Мне придется продолжать 1905 г. и книжку закончить. Тут я хотел о планах несколько слов. Но вот что. В искаженьи, понесенном жизнью за эти 8 лет, я никому никогда не лгал. Я сдержу перед всеми слова, данные за этот срок. Я не умею писать письма. Но ты знаешь все. Больше тебе писать так я не буду. Рамка чуждости и наговора ложится тогда на семью. А я бы умер с тоски, если бы мне сказали, что двое этих людей из целей превратились <в> средства и что жертвами сделал их я. И пойми, что это не от тебя, не от твоего ты, не от твоих писем, а от потрясения, от того, что́ во мне. Оттого, что я понял, что больше всего на свете люблю проявленье таланта.

Нынешним летом я хочу отправить жену и ребенка за границу к сестре (Мюнхен). Я не поеду. Я надеюсь вырваться через год, и разумеется к тебе и с тобой к Рильке. Давай опять переписываться по-старому. Прости за двойственность и если думаешь, как все,

что лицемер, то порви со мной.

Письмо 41
<ок. 27 марта 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. А пока вы с Ахматовой говорили обо мне в Москве, я в Лондоне говорила с эстрады тебя и Ахматову. Последовательностью Ахматова, Гумилев, Блок – Мандельштам, Есенин. Пастернак, я. Маяковского за недохв<атом> глотки не говорила, сказала стихи к нему. Слушали меня – но этих имен писать не должно. Достаточно будет сказать тебе, что моим лучшим слушателям запрещено было прийти. Борюшка, сообрази. Из того, что прочла стих к Маяковскому, выведи, кто были слушатели.

Больше всего – странно – дошел Есенин. (Ореол ли сканд<ала> – Айседоры – смерти?) Слушали изумленно и – благоговейно. В воздухе: что же нам говорили??? Вроде откровения. Невинно. Трогательно.

В Лондоне увид<ела> приблизительно всех уцелевших, близких родственников. *Необычайный зал*. В воздухе была доброта, оттяжка <вариант: отпуск> струны, доверие. Я знала <оборвано>

* * *

Лондон. Посылаю тебе – бандеролью – старинный Лондон до пожара. Эт<от> не тот. Не твой. Первое мое впечатление – никто не пони<мает>! – изумл<ение>, что дома из кирпич<ей>, улицы из домов, Лондон из улиц. Город распад<ался> на моих глазах. Я ничего не *узнавала*. Мой Лондон был загиб улицы и фонарь. И весь кругом – сизый как слива. (М.б. созвучие с *голубь*?) Кстати, голуби есть, – много, у Вестминстерского аббатства.

То же самое, как стих, который знаешь с голосу (поворот голоса тут правее, тут левее), вдруг увид<еть> напечатанным. Буквы – строчки – строфы – Где же *стих*? (Оно.)

Потом опять восстанов<ился>. У меня благородная (неблагодарная) память. Я, пожалуй, и смотрю-то, чтобы забыть (выделить).

* * *

Голуби. – Лебяжий. – Тот <*нрзбр.*> конечно. А твоя канареечная клетка в Лебяжьем, конечно, лондонская моя (9, Tow<er> Sq<uare>!)

Теперь я уехала <оборвано>

* * *

Кстати, нас с тобой на громком диспуте вместе ругали. Белиберда, вроде Пастернака и Цветаевой. Мы за границей до смешного ходим в паре. У всех на устах.

Борис, только твою современность мне я признаю.

* * *

Я бы с тобой совсем не умела жить. Я бы тебя жалела на *жизнь* – даже с собой! А м.б. – именно с собой, п.ч. я дома не живу. Что бы мы делали?! Я бы не хотела обедать с тобой. (Ужинать – да.) Я бы не хотела, сидя с тобой, есть сладкое. Я бы не хотела, ничего не хотела от тебя, что не последний – ты. Я бы не хотела, чтобы ты входил в комнату, п.ч. ты в ней живешь. П.ч. *я* в ней живу. Но одного бы я от тебя хотела – до такой <оборвано>

Страсть, что и сейчас, даже по стар<ому> следу мысли (мечты) у меня <оборвано>

* * *

В Россию никогда не вернусь. Просто п.ч. такой страны нет. Мне некуда возвращаться. Не могу возвр<ащаться> в *букву*, смысла которой не понимаю (объясняют и забываю).

Письмо 42
3 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Мне пришло в голову и со всей абсолютной искренностью спешу тебе это сказать, как умнице и большому человеку. Мои последние письма ни к чему решительно не должны склонять тебя. Они тебя не связывают ответом. Я не жду его. Это должно тебе быть известно вот зачем. Наверное ты работаешь, у тебя есть планы, и, при всей неизвестности, время тобой уже предупреждено целиком и оформлено наперед предвосхищением себя самой за работой. Так вот, непредвиденность моих писем не должна нарушать твоей формы, и ты не была бы той, которой я писал, если бы это случилось. Но ты окончательно не была бы собой, если бы поняла меня так, что я пекусь как-то, где-то о твоем – – отношеньи ко мне, о его непроизвольности.

Если б не дурная форма моих писем, они бы не нуждались в этом торопливом и запоздалом добавлении. Но они в нем нуждаются. Именно этим они и плохи.

Я боюсь, что в них есть принужденье к отклику, что они приглашают к соответствию и что за их чтеньем может показаться, что на них надо ответить, и даже может представиться, чем. Неужели они до такой степени отвратительны?

Когда это происходит с людьми случайного и с неба валящегося типа, то такое подчинение предъявленному чувству подымает их и облагораживает. Тебе же, живому источнику формы, со своим особым строем *душевно допущенной* случайности – это просто вредно и опасно. В конце концов это прилив именно той неискоренимой жалости, за которую нас не без поверхностного правдоподобья зовут лицемерами, не зная, как это щепящее нас самопожертвованье чисто. Итак, не отвечай мне, пиши Цветаевские письма о себе и о деле, думай вслух по своей линии или вовсе не пиши, если тебе теперь не до того. Если эта просьба застанет тебя за работой, ты ее поймешь; если нет, она обдаст тебя холодом.

Теперь о деле. Ответь, пожалуйста, на прилагаемую анкету. Воображаю, что ты переживешь при взгляде на этот анемично-водянистый, анилиново-отсутствующий опросник, живое воплощенье советской барышни, страдательного винта в перетершемся механизме, восходящем к Ржевскому, к дровам и пшену, – истлевающий оттиск истлевшей бабочки, не дающей и

отдаленного понятья о гусенице-прародительнице! – Писать о тебе будет Д.С.Усов, тебя очень любящий. Он и обо мне пишет, и о Блоке, и об Ахматовой, и не помню еще о ком. Сведенья давай в какой угодно пропорции, т. е. если ты в ударе и это тебя ни от чего не оторвет, воспользуйся после многих отклоненных случаев этим вновь представляющимся написать автобиографию, если же это не в твоем плане сейчас, отвечай коротко и только на что захочешь. Мне, при устном опросе, он изобразил работу составителей как нечто до крайности упрощенное. Это будет, по его словам, сборник сухих справок, воздерживающийся от характеристик, философствованья и оценок. Но м. б. он боялся приступа откровенности у меня и наклеветал на словарь из страха многословья? Не знаю. Во всяком случае отвечай, как хочешь, но ответом не задерживайся, он ему нужен через две недели. Пришли по моему адресу, так он предложил. Еще что-то хотел сказать. Да, Потемкина, если по-твоему сто́ит, перепечатайте, – он уже напечатан. Гапон (Мне 14 лет), конечно, лучше, но он еще не появлялся в печати, хотя запродан с осени. А без Гапона, боюсь, Потемкин – басня. Только не перепечатывайте старья, вроде Матроса и пр.

Да, о главном забыл. Изд<ательс>тво «Новая Москва» выпустило антологию поэтов XX в. по принципу составленья хрестоматий, т. е. составители, Ежов и Шамурин, собрали огромный том из безвозмездных перепечаток. Издательство не только не задумалось о доле гонорара перепечатываемым, но даже не сочло нужным послать им вышедшую книгу. Она стоит 15 руб<лей> и, разумеется, никому из нас не доступна. Я ее в глаза не видал. Кириллов и Герасимов подали на «Нов<ую> Мос<кву>» в суд и выиграли процесс. Суд присудил изд<ательс>тво к выплате гонорара по 50 к<опеек> за перепечатан<ную> строчку. Основываясь на этом прецеденте, новый, полноправный профсоюз писателей (секция работн<иков> просвещенья) собирается доправлять по каждому внесенному заявленью следуемое заявителю. Тебе выходит сумма около 90 руб<лей>. Ты сделай вот что. Пришли Асе доверенность на полученье следуемых тебе с «Нов<ой> Москвы» денег за перепечатку и т. д. и т. д. Я в эти деньги не особенно верю. Но доверенность Асе пришли. Она удивляется, что от тебя нет писем.

<На полях:>

Заходил ли к тебе Зелинский? О себе, о работах и пр. напишу вскорости. Это не письмо. Это сопроводитель сов<етской> барышни. Как тебе работается?

Приложение

Государственная Академия Художественных Наук

В январе-феврале 1925 года Отделом Изучения Революционного Искусства при Государственной Академии Художественных Наук была проведена выставка революционной литературы России за 1905–1925 гг. Весь материал с выставки поступил для проработки в организованный при отделе кабинет революционной литературы. Одной из первоочередных работ своих кабинет наметил составление биобиблиографического словаря писателей 20го века и приступил в настоящее время к собиранию материала для этой работы. Желая иметь данные наиболее точные и полные, которые можно получить лишь из первоисточников, кабинет обращается ко всем писателям с просьбой присылать свои автобиографии; не связывая никого ни формой изложения, ни размерами, кабинет просит дать исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1. Фамилия (псевдоним), имя, отчество. 2. Адрес. 3. Место и точная дата рождения. 4. Социальное происхождение. 5. Краткие биографические данные: а) среда, б) влияние детских лет, в) материальные условия работы, г) путешествия, д) эволюция творчества. 6. Общее и специальное образование. 7. Основная специальность. 8. Литературная, научная, общественная деятельность. 9. Первое выступление в печати. 10. Первый отзыв. 11. Литературные влияния. 12. Любимые писатели. 13. В каких периодических изданиях и сборниках участвовали. 14. Принадлежность к литературной организации. 15. Хронологический перечень работы. 16. Библиография о творчестве.

Москва, ул. Кропоткина, 32, Государственная Академия Художественных Наук, Кабинет революционной литературы.

Письмо 43
4 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Вырывается. Пишу во всей рискованности (отрывистости). О как я люблю тебя! Так просто, так соответственно так, как ты меня, так вот. Вот я, вот Цветаева, вот моя работа, вот ее, вот мой порыв к ней, вот ее пониманье, вот ее диапазон, обнимающий как раз столько, сколько надо, чтобы спутать с самим собой, вот ее душа вынута из тела, вот моя (и мои времена и я в других людях и государствах), и вот она с ней, и не стыдно, а как раздеты! Я так люблю тебя, что даже небрежен и равнодушен, ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина. Ты та женщина.

Сейчас от младшей сестры из Берлина вырезка из нем<ецкой> газеты, статья какого-то проф<ессора> Diederichs'a, и копия письма Rilke к отцу со словами обо мне, и в ответ на эту любовь – благодарность тебе и слова, о как я люблю ее, Марину, охватывающую: и младшую сестру, и мать, и горизонт, и все, что случится, *знающую все так, как надо знать, как, мне кажется, надо знать.* И пусть они все существуют, милые, отдельные, сыгравшие свою роль в этой, под тебя глядящей жизни, пусть живут дальше и продолжают играть свою роль, и будем ласковы к ним отдельным, будем печься об их здоровье, желать им успеха и их любить, моя вся, моя общая, моя, как жизнь, умная, одухотворенная, умелая! Обнимаю и целую, как обнимают такое.

Послать так? Или записать листок? Тогда это два письма. Первое тут кончается. Больше нечего сказать. Мое счастье матерьяльно: оно в лицах, в случайностях, в стихах (только одна поправка: в таких, как были когда-то, о не в «1905»! – и какие будут), *в смене* антипатических и симпатических небес (слышишь: *в смене*, одни бы симпатические не дышали), в ворочаньи родины с боку на бок, то спиной, то лицом к тебе, в бесприкрасной, в пиджаке и с начинающейся проседью, деятельности, – мое счастье с провиденьем матерьяльно, мое счастье с тобой не одно духовидчество, мы где-то что-то с тобой уже делаем. Надо доехать. Не попрекай меня «инословьем». Не лови на метафоре! Ты – на метафоре?! Половина метафор сбылась. Я их знаю. Я знаю, как они дышат и как, призраками глядевшись в окна, людьми входят потом в дом. Я не зря не еду тотчас на запад. Но к

чему я все это говорю, ты ведь знаешь. Это не два письма, а одно. Как твой Есенин? Долгое, подробное признанье со страшным концом о том, как я был с ним связан, сделаю тебе при встрече. Это была символическая драма. Теперь не до нее, да и это в глаза надо смотреть, когда рассказывать. Теперь не до нее, судьба ее доиграла. В момент, когда я на людях в кино, на постановке «Потемкина» (совпаденье до точности с моей трактовкой) узнал о его самоубийстве, ужаснулся, и самое ужасное признанье вырвалось вслух. Третьяков сказал «на том свете сочтетесь». Нет. Я его больше не увижу никогда. Те светы у нас будут разные. Дай мне руку на весь тот свет.

<На полях:>

Спасибо за гравюры Холлара. Это, верно, в ответ на «спиритическое письмо»? Большое спасибо. Не пиши мне, работай. На адресе твоя рука, и сл<ава> Богу.

Письмо 44
<ок. 6 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. Я только что вернулась из Вандеи <над строкой: с моей родины>, где была 3 дня и куда 15го еду на полгода. Поэтому, читая твое вниз головой, вернулась домой, – нет, просто оказалось, что я домой (в Париж) еще не приезжала, не выезжала, что всё еще перед неуловимой линией прилива (океан). Борис, я люблю горы, преодоление, *фабулу* в природе, становление, а не сост<ояние>. Океан я – т<ы> буд<ешь> сме<яться> <оборвано>. Становление одновременно себя и горы. Гора растет под ногой, из-под ноги. Ясно?

Океан на полгода – для сына, для Али, для С.Я. – мой подарок, а еще Борис, ты не будешь смеяться, из-за твоих строк:

Приедается всё —

Если ты сказал, – ты знаешь, и это действительно так. Я буду учиться морю. Ссылаю себя, Борис, в учение. Дюны, огромный (a perte de vue <над строкой: l'infini[28], так в п<оэ>ме), плаж – и *ОНО*. (Не море, а вообще оно, неведомое.) Ни деревца. Две пустыни. Домик у рыбаков: 67-летняя старуха и рыбак старик – 74 лет. Никого знакомых. Тетради, рыба.

Я, Борис, с Лондона – нет, раньше! – отодвинь до какого хочешь дня – с тобой не расстаюсь, пишу и дышу в тебя. У меня в Вандее была огромная постель – я такой не видывала, и я, ложась, подумала: С Борисом это была бы не 2-спальная кровать, а душа. Я бы просто спала в душе.

Вандея (проехала ее всю) зеленая, луговые квадраты, лугов<ые> и <*нрзбр.*>. Где преслов<утые> talus[29]? Ни следа. Или Наполеон в 15 г. велел сбрить? Сирот<ская> стр<ана>, где только кап<каны> для кроликов. Я почти что плакала.

Мое местечко рыбацкий поселок St. Gilles sur Vie (это река – Vie). В колок<ольне> был убит наполеоновский генерал Grosbois, наблюдавший движение войск. А в 7 километрах на ферме Матье крест – памятник Ларош-Жакелену, убитому в 1815 г. Женщины в бел<ых> башенках и деревянных, без задк<ов>, башмачках. Народ изысканно-вежливый. Старинные обороты: «Couvrez-Vous donc, Monsieur»[30] (как когда-то корол<ю> – принц<есса> крови).

Это не география, это ландшафт моей души на полгода вперед.

* * *

Борюшка, на днях в Москву едет И.Г.Эренбург. Передаю ему / с ним: Поэму горы <над строкой: конца> (со знаками препинания), Поэму конца (рукоп<ись>), Крысолова, статью о Брюсове, статью о критике и всё, что еще успею. И, если Эренбург согласится повезти, подарки тебе и сыну. Не сердись! В этом нет грубости, одна нежность, беспомощная и хват<ающаяся> за шерсть фуфайки. Она у тебя будет почти животное, всё равно как если бы я тебе пос<лала> собаку.

Ах да, и еще фотографии, наст<оящие>, давно хочу, – одну тебе (надпишу), одну Асе. Только не держи на виду, такие вещи не лгут только в первый раз.

<Приписка сбоку:> NB! Знаки препинания.

* * *

Ты мне сделал больно своими письмами. Безнаказанно такое не читают. Отвечу тебе одним. У меня есть <пропуск одного слова> – одна за жизнь, ее сожгут вместе со мною (п.ч. меня сожгут, зарывать себя не дам!). Когда я тебя увижу, я отдам ее тебе. Больше у меня ничего нет.

* * *

«Поэма конца», которая *вся* на паузе, без знаков препинания! Ирония или Kraftsprobe[31]? И то, что ты полюбил ее *такой*, с опечатками (важен каждый слог!), без единого знака (только они и важны!) – зачем, Борис, говорить мне о писавшем, я *читавшего* слышу в каждой строке твоего письма. То, что ты прочел ее – вот ЧУДО. Написал во второй раз по (все-таки – чужому) и какому сбитому! следу. Ты как собака почуял мой след среди путаницы. (Словари разные. Да. И в этом неистовая прелесть встречи.)

Пленит<ельно> то, что дошла она до тебя *сама*, опередив мое (ныне сбывающееся) желание. Вещи не ждут, этим они чудесны, чудеснее нас. Помнишь у тебя?

Но вещи рвут с себя личину…

О, подожди, Борис, в свой час напишу о тебе как никто. Прочти Святополка-Мирского (посылаю) – прав он? Не знаю. Я не знаю Канта. Я только страдаю от Бергсона (тоже не знаю) у меня и Канта у тебя. Вообще, *это* запомни: ты моя единственная проверка: слуха, *старшего* моего. (Я *громче* слышу, ты <пропуск одного слова>.) Не п.ч. я тебя люблю, я в тебя верю, а кажется обратн<о>. Люблю (ужасающее) потрясающее пустот<ой> и ужасающее вместим<остью>, растяжим<остью> слово, я все слова люблю, кроме него. У него только одна сила – молниеносная (несущая молнию и молнию длящаяся) убедительность, бесспорность, кратчайший путь в другого (в любого). «Люблю» просто условный знак, за которым НИЧЕГО. Ты меня понимаешь? И я вовсе не говорю его тебе, то, что у меня к тебе, очень *точно*, сплошь доказуемо и только тем страшно, что впереди не замкнуто. Отвеч<аю> за каждую сущую секунду, восприним<аю> ее топографич<ески> ясно <над строкой: и даль<ше> не зн<аю>>. Дорога в горах, без перспективы, и дорога, ведущая выше горы. Ясно? Твое – море, мое – горы. Давай поделим и отсюда будем смотреть. Я буду учиться морю со всей честностью и точностью, п.ч. это – учиться тебе. И в тебя я еду на поиски, а не в Вандею.

<Приписка сбоку:> Ясновид<енье> каждой отдельной секунды.

* * *

Единственное, что бы мне меш<ало>, если бы / – / —, это то, что он – *мой*. (И мой.)

* * *

Ты пишешь, что я что-то читала. То же, что в Советской России, давнее, здесь об этом не напис<ала> ни одного стиха. А читала, п.ч. нужно было ради одного какого-нибудь <оборвано>

Продолжение

Если бы я умерла, я бы дов<ерила> тебе написать то, чего я не успела, просто дала бы точные слуховые указания и словарь. Ты бы написал свое, но ты бы написал меня. У нас разный словарь – как это восхитительно.

Ты, как я, родился – завтра.

(Точно вчера родился – ложь. Точно завтра родился.)

* * *

У меня есть слезы, и Поэма конца только п.ч. мне их моих было мало, – выкрич<аться> и выплак<аться>. А еще – чтобы не захлебнуться в них, не кинуться с моста.

* * *

Ты знаешь, Лондон – наш город, беспризорных бродяг. Видела их ночные места.

* * *

Дай мои стихи без имени, – я хочу, чтобы их знали – кто знает, догадается. Ведь это, по существу, безымянно.

* * *

«Меня любили только част<ично>» – Борис, когда меня в жизни любили, я мучалась, меня точно зарывали в землю, сначала по щиколотку, потом по колено, потом по грудь (начинала задыхаться). Меня изымали из всего мира и загоняли в ямку, жаркую как баня. Я с остр<ой> подозр<ительностью> выслеживала этот момент изъятия. Человек переставал говорить, только глядел, переставал глядеть, только дышал, переставал дышать, только целовал. И целовал не меня, п.ч. меня уже забыл, а губы, вовлекаясь в процесс (пог<аное> слово!). Вовлекалась иногда и я. Словом, губы целовали губы и хотели целовать день и ночь. Я быстро уставала, убитая однообразием. Еще о любви <оборвано>

Письмо 45
<ок. 9 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борюшка! Вот тебе примета. Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне. Ты и стихи (работа) у меня нераздельны. Мне не нужно выходить из стихов, чтобы писать тебе, я в тебе пишу. Это я в ответ на твою оглядку, от которой мне человечески-больно. (От тех двух божественно-больно!) Борюшка, у нас с тобой ничего нет (не буду перечислять, раз ничего!) – кроме *наверняка*. Я наверняка била в тебя все эти годы, – видишь возникновение правды под пером! – не *билась*, била. Как в заочную птицу на лету – в твою душу. И попадала, п.ч. эта птица – всюду, нет места, где ее нет.

Отвечать на письм<о>. Я не знаю что это значит. Я знаю отзываться, отзвучивать, возвращать тебе – утысячеренно – твое же <вариант: тебя же>. Кому ты пишешь? Вспомни. Тому, кто с первой строки «Сестры моей Жизни» (всё чудо, что она ко мне попала, только в этом! остальное все было готово) не отрываясь – через всех и вся – (ибо были и все и вся!) – безнадежно, п.ч. безукоризненно-*вежлив* и верит на́ слово – глагола не проставл<яю>, п.ч. самый пустой из всех. Не выходя из себя, люб<ить> другого, не выходя из стихов, люб<ить> человека. (Тут невязка, п.ч. вся я – выхождение из себя.)

О безукоризненной вежливости же – вспомни Блока и Маяковского, обоих, кого бы я могла любить (теперь нет). От Блока я стояла меньше чем в 2 вершках, толпа теснила, – рядом. 1921 г., а в 16 я написала: И по имени не окликну, и руками не потянусь. И не потянулась. А он умер. А с Маяковским – раннее утро на Б.Лубянке <над строкой: Кузнецком>, громовой оклик: Цветаева! Я уезж<ала> за границу – ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, *на улице*, без свидетелей, кинуться этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, п.ч. знала, что Лиля Брик и не знаю что еще… (Вломиться головой в грудь.)

Борис, раз ты не звал, я тоже не звала эти годы. Раз ты не называл, я тоже не называла. Я все-таки женщина и трагически хорошо воспитана. (Только в 1926 г., после лондонской знати поняла: я получила не интеллиг<ентское>, а аристократическое воспитание – дуновение рано умершей матери. Отсюда, от нее, ненависть к буржуазии и полупрезрение – не без

добр<одушия> – к интеллигенции, к которой *никогда* себя не причисля<ла>! Как, один в Москве мне сказал: феодальный строй. Ворот уж нет, герб держится.) Так во́т – для чего я все это пишу: чтобы ты знал, что пиша мне, ты пишешь в себя, просто дыша – дышишь в меня. И раз навсегда, хоть бы я завтра умерла, хоть бы жила сто лет. Не пониж<ая>, не повыш<ая>, вне становления или в становлении, ставшем состоянием, так же, как *душа растет*. Вот я – к тебе <оборвано>

Еще – трудная просьба, но пойми – не выводи меня из Аси. Я была задумана с братом, но без сестры. Не пойми неправильно, но не отождествляй. И не говори с ней обо мне, не вводи, не выводи. Москва, нет – Россия для меня только – ты. Двух «там» быть не может. Я целиком в тебе. Моя Россия. Когда я говорю Москва, я молн<иеносно> говорю: Пастернак. До всего, что не ты (вне поля твоего зрения и предвид<ения>), мне в России дела нет. Ты мой слух и мое зрение в России. Поскольку будет расширяться их поле – будет расширяться и мое. Это не слепость любви говорит, доверяю тебе *мой* слух и *мое* зрение. Увидь и услышь за меня.

* * *

Можно о достоверностях?

Из Парижа после Лондона третье письмо. Дошли ли виды старинного Лондона? 20го или возле уезжает Илья Григорьевич. Посылаю с ним Крысолова, Поэму горы, Поэму конца (без опечаток), Брюсова, Поэт<а> о критике и вещи тебе и сыну. О последнем я думала, – м.б. твоей жене будет противно видеть на нем нечто причастное моим рукам? Но соблазн сильнее – прости меня! – посылаю. Просто мальчику, за жизнью которого слежу. Можно ведь? И похож ведь – чем-нибудь – на тебя?

Достоверность важнейшая: если ты *по-настоящему* хочешь будущим (1927 г.) летом сюда, я тебе помогу, с помощью человека, обожающего твои стихи. Устроим вечера – в Париже и в Лондоне. У меня друзья музыканты (именны́е), их пригласим. Не фантазия. Напиши – ну расщедрись на *цифру*! – сколько нужно на выезд (паспорт, билет, дорогу). Жить устроим, все будет устроено. Поедем вместе в Лондон. Одному трудно продерж<аться> вечер, возьми меня на выручку, меня любят. Стихи буду читать *новые*, в паре <вариант: в масть>. А что обо мне в Москве говорят – не верь. Читала старый (1917 г. – 1922 г.) Лебединый Стан, который читала и в России. Никаких выступлений, политикой не занимаюсь, правыми брезгую и у них

не печатаюсь. Я тебя не скомпрометирую, будь спокоен, знаю, что делаю.

Борис, ты ответь. Не к спеху – но ответь. Дай мне радость на целый год вперед. Я эти полгода буду жить в Вандее. Время скоро пройдет. Ответь.

Повидаешь Ремизова, Шестова – кто у тебя еще друзья? У меня никого.

Объявление вечера дадим за три месяца. У меня зал разрывался. У тебя разорвется. Кроме того – чего у меня не было – придут все евреи. Борис, ты заработаешь 10 тысяч франков, клянусь. А в Лондон для души (моей и твоей), но и там тысячи три франков наберем.

Самое трудное будет *мне* не разорваться. Зал, м.б., и выдержит.

* * *

Беру твою меховую голову. У тебя голова как шапка.

* * *

Самое замечательное – из тебя во мне ничто не про<йдет> даром. Во мне ты обретешь всю *чистоту внимания* (твое – об Ахматовой). Как ни один твой типографский знак для меня не пропадает даром – так ни один голосовой или иной уклон. Источник богатства не только предмет, но и наше внимание к нему. Мое внимание неисчерпаемо и неутомимо. Мое внимание – то же терпение, терпеливая направленность на один предмет. Дорого бы я дала, чтобы знать, что из этого бы вышло *в жизни*. (Она у меня весьма на подозрении.) Если будет чудо, то через тебя.

Борис, моей любви к тебе хв<атит> на гораздо больше, чем жизнь. Вывод – бессмертие.

* * *

У меня чувство, что это *в мире* единственный раз, когда совпадают двое. Ты минус я, я минус ты – мир обокраден – не мы, которые его, так или иначе, восстановим. Не будем ворами.

А о жалости мне не говори – всё знаю, до таких дон, днищ, днъ (потому что – тройное дно!). Самая бездонная из бездн. Тебя

в лицемерии, а <меня> в нещадности. Как ни утишай голоса, он у меня все-таки слишком громок. (Не вещественный, голос как сущность силы.)

Словом, полное соответствие. Будь спокоен, цельный и в эт <оборвано>

Что с этим делать? (С тобой и мной <вариант: с соответствием?!>) Я бы хотела умереть, чтобы заново начать жить – с тобой. Если бы ты мог быть моим настоящим братом – или сыном – все равно чем! Я бы и в равнодушии кровного братства, и в запретности сыновства, я бы и годов<алого> тебя узнала. Ты не знаешь, какая для меня рана – *твой* сын!

* * *

Одно мое письмо к тебе пропало – давнишнее, кажется в июле 1924 г. – когда я только что узнала о *своем* сыне. Не восстановить! Все письмо – один вопль, невосстановимо – п.ч. теперь ему 1 год 2 месяца и я знаю его лицо.

Прости меня за этот выпад из дост<оверной> колеи, разъединенн<ости> тебя и меня. Я знаю, что на расстоянии так не должно. (Безопасно! безответственно!) У меня – *в жизни* так не должно и не будет. Я совсем не застенчива, но очень воспитана, ты никогда не услышишь бóльшего, чем *решил* услышать. Но дай мне вопить так – через простр<анства> – как поезд – как волк —

Ведь я не больше говорю тебе, чем волчье или паровозное у – у – у —

Борис! Ты нав<ерное> куда-нибудь поедешь летом, так все звуки в ночи, на воле – я. Когда дерево шатается под ветром. Когда поезд гудит. Это я тебя зову – неодолимо.

Анкету вышлю завтра.

<Запись после письма:>

Написать Б. о чарах. Презренность чар. (Низость, низкий сорт.)

Письмо 46
11 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Меня больно кольнуло известие о Х<одасеви>че. Как мне избавить тебя от «стрел», направленных в меня? Может быть написать ему? Вообще я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним, и это смешило и обижало И<лью> Г<ригорьевича>. Я уважал его и его работу, его сухое пониманье и его позу, которую считал временным явленьем. Мне она казалась чем-то вроде затянутости за табльдотом: съест человек новизну признанья и успеха, развяжет салфетку, отвалит в естественность, и мы его увидим в партикулярном беспорядке роста. Вот именно, я иначе представлял себе его развитье. Я и сейчас не утратил бы дружеского чувства к нему, если бы не твои слова о гадостях, которые он тебе делает из неприязни ко мне. А этому свинству уже имени нет. Он знает, как меня звать и как меня хаять. Мог бы непосредственно. И адрес мой, во всех отношеньях, ему прекрасно известен. Был бы чересчур тонок и фантастичен домысел, что, желая поразить меня в сердце, он за мишень избрал как раз тебя. Этого он, вероятно, не знает, хотя уже и в Берлине я говорил с ним о тебе, – горячей нельзя. Переписка наша оборвалась на его письме, написанном после смерти Брюсова. Оно мне решительно не понравилось. Он повторил тупую, безглазую, бессердечную фразу о том, что мы все знаем, но что можно по-разному переживать. Для меня эта формула о Брюсове была личной трагедией и была бы таковой и в том случае, если бы он меня как поэта не так сильно любил. Его судьба взывала к мысли, как трагическая загадка, и в моей жалости к нему были все признаки большого путного чувства, без тени оскорбительности для него, хотя из того же чувства я готов был лгать ему. Впрочем, кажется, этого не случилось ни разу, хотя я не останавливаю Ж<анну> М<атвеевну>, когда она меня зовет его любимейшим учеником. Та ходячая фраза, которою так легко отделался, и кто, Х<одасевич>! – в письме о своем собственном прототипе, была на устах у нас, сумасшедших дилетантов, именно в дни, когда Х<одасеви>чи закладывали основанье этой ледяной драмы. Из-за них именно и их несдержанности в те годы, *мне пришлось* сказать на поминках у Ж.М. мучительное, судорожно-сведенное слово о том, что Б<рюсов> взывает к памяти, к *справедливости*, к историко-литературному изученью, а не к фразе о том, что он не говорит

чувству. Поразительно, как идут из него тут вот Блок, там – Северянин, из переводов Верхарна – м.б. Маяковский; еще откуда-нибудь я. Ты ведь все это понимаешь? Да, а Гумилев! Главного забыл. Слова эти посеяли недоуменье среди пивших и евших. Понял, глубоко понял, что я сказал, один Рачинский и обнял и расцеловал. Правда, я говорить не умею, всегда сумбурен, а тут к тому же и пили много. Остальные чуть что не попрекнули меня съеденным и питым. «А он-то вас так любил», вырвалось у Ж.М., и я сказал ей, что об этом никто не пожалеет, ни она, ни его память. Тут хотели медовой ходячей фразы в противовес ходячей желчной и удивились, ее не услыхав. А вскоре я получил письмо с ходячею желчью. На это письмо, м.б. и по случайности, я ему не ответил, и переписка замерла сама собой. По отношенью к Х. точно так же, как и в отношеньи Брюсова, я всегда готов сдерживать всякий натиск ходячей фразы. Я не знаю, что его взвинтило против меня. Надо владеть техникой, надо быть умницей, надо чуждаться пошлости и смешного, надо уметь работать. Достоинства всего Х<одасеви>ча в целом составляют необходимую частицу минимального художнического идеала. Но ты представляешь себе, что бы случилось с зауряд-дураком, свались на него задача написать Гамлета. Из положенья, что это должна быть лучшая драма мира, а это положенье дураку было бы обязательно известно, он вывел бы заключенье, что писать ее нужно в условьях, в каких писались лучшие драмы мира, т. е. что для этого надо заразиться Эсхиловым кашлем пятого века и пр. и пр. Шекспир же знал, что это надо написать по возможности *дома*. Х<одасеви>ч далеко не этот дурак, надо отдать ему справедливость. Но драма этого дурачества и всех его заблуждений настолько перевита с культом старого мастерства, что только редкие уходят с собственным лицом со школьного маскарада. Только случайность, м.б. какая-нибудь особенность судьбы позволяет в настоящем свете увидать *естественную* панораму культуры, ту воздушную перспективу ее сырого величья, благодаря кот<орой> и держится ее сухой валютный курс. Это ты понимала еще ребенком. «Неповторимое имя Марины, Байрона и болеро». (Цитата неподходящая, но хочу напомнить то стихотворенье.) Тут-то и обозначается граница В<ладислава> Ф<елициановича>. Он не знает, что кроме сырости беспомощности, есть сырость силы, сырость большой, трудной формы. А может быть, и знает, да не хочет знать. Между тем эта линия отделяет большое явленье от малого. Первое приходит со своей природой, с обозом своих шорохов и тайн. Оно с провиантом, у него обеспечен тыл. Но даже и в этом отношеньи я о Х. никогда ничего обидного не говорил. Если даже до него

дошли мои слова о нем, сказанные зимой его первой жене, А<нне> И<вановне>, то и в них нет ничего дурного, они сказаны с сожаленьем и доброжелательством. Я сказал, что он жертва типического заблужденья, овладевающего большинством в стадии мастерства. М<ежду> пр<очим> и Ахматова, отнюдь не футуристка, и не только допускающая заимствованья, а, по-видимому, в изученьи поэта видящая только исследованье его источников, и та согласна со мной, что убежденье, будто на улицу надо выходить Тютчевым, чтобы воспринимать зелень, не может быть моралью артиста. Кроме того, это всегда на руку Овсянико-Куликовским. Их ученый кругозор ограничен портфельной кожей, сорт которой так же произвольно связан с именем Пушкина, как городские улицы и скверы, пароходы или иные сорта карамели. Важно то, что кожа эта выделывается в честь Пушкина точно так же, как Ленинград стоит именем Ленина. И вот, тебе хорошо известны их восторги, когда в Возмездии начинает чувствоваться легкое потрескиванье ямбической инерции, или когда в поэме Белого ее треск совершенно оттесняет автора, или когда вдруг это происходит даже со мной (вот захлебывались Сакулины (Высок<ая> Болезнь)), или когда Есенин просто поселяется в Сакулинском портфеле, т. е. не только принимает его поздравленья, но и сам готов себя поздравлять с этой – утратой поэтического содержанья. Но довольно о Х. Просто удивительно, что я так много о нем говорю. М.б. бессознательно я хочу тебя настроить на примиренье с ним. Помнится, он ко мне и к тебе хорошо относился. —

Шмидта дописал до половины. Думается, недели через 2–3, пред тем как сдавать, пошлю на твой высокий суд (если кончу). Уже определилось, что он ниже… посвятимости тебе. Его поэтический уровень снижен тяжелыми гирями реализма, психологической правды и пр. Правда, все это поднять нелегко. Только надо ли это? Этого вопроса не разрешить. Очередная работа стала перебиваться налетами внезапных состояний полудиктанта, бессонниц со слушаньем стихов, отн<осительно> которых не всегда уверенность, что – свои, как в Сестру мою жизнь (acc<usativus> temporalis[32] = в пору, в среду). Боюсь сглазить, кажется дождался года, которого ждал восемь лет. Завел, как тогда, для таких инстинктивных записей – толщенную тетрадь in folio. Вообще такие состоянья люблю, – болезненное блаженство, но к их документациям отношусь с постоянным подозреньем. Т. е. тут могут быть редкие проблески. Но это совсем особый жанр. Такие вещи надо накапливать. Когда их много, выясняется, чего они хотят от тебя, и тогда им следуешь. Каждое же в отдельности для обработки не годится. Ты спросишь,

о чем я говорю? О двух категориях. Одни возникают за столом, с пером в руке. Другие в постели, за умыванием после плохой ночи, еще как-нибудь. Из них два посылаю, чтобы до Шмидта чем-ниб<удь> перекинуться с тобой. Одно – думал о тебе, лежал, и хорошо шло, почти как говорю. О другом два слова.

Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну как тут отдаться занятью,
Когда по различью путей,
Как лошади в Римском Сенате,
Мы дики средь этих детей!

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десяток эстрад.
С одних говорят пожеланья,
С других, по желанью, острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу.
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый.
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

Чтобы испытать, возможен ли на этой почве переход к настоящей прежней поэзии с воображеньем, идеализмом, глубиной и пр., я вслед за Шмидтом, прерывая работу над книгой, хочу написать… «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой и м.б. единственной женщиной революции, вроде тех, о кот<орых> писал Мишле. Вот из набросков:

…Но как я сожалею,

Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Тогда б я знал, чем держится без клея
Людская повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам:
Валились зимы в мушку, шли дожди.
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Все падало, все торопилось в воду,
За поворотом превращалось в лед,
Разгорячась, влюблялось на полгода,
Я даже раз влюблен был целый год.
……

Смешаться всем, что есть во мне Бориса,
Годами отходящего от сна,
С твоей глухой позицией, Ларисса,
Как звук рифмует наши имена.

Вмешать тебя в случайности творенья,
Зарифмовать с начала до конца
С растерянностью тени и растенья
Растущую растерянность творца.

Прости бесстрашье, с каким засылаю тебя таким многословьем. Не боюсь и того, как взглянешь на рифмованный листочек. Ты, верно, тоже не придаешь значенья этим записям, *сопровождающим* естественное развитье, разделяющим их <так! > участь. Это не плоды, а процессы. Еще объясненье. Это письмо в ответ на твое двухцветное по возвращеньи из Лондона. Спасибо за себя и за Ан<ну> Андр<еевну>. Очень хороши твои замечанья о въезде в Лондон и о разочарованьи (топография слуха). И о лишенности поэтов непосредственности (нацеленность на слово – нацеленность на смысл). Конечно, это так. Тут только м.б. необходима та поправка, кот<орая> опять возвращает к разговору о Х. Надо быть большим поэтом. Полет, рассеянность, горизонт большого умиленья, многое другое в том же роде – все это тоже непосредственность, т. е. лучше сказать, только это и есть планетарная непосредственность, из которой на разный фасон скроена отрывистая, вседневная. Тоже прекрасно и о волевом начале в любви. Безотчетно выделил все то, о чем и сам незадолго до твоего письма думал. Найдешь много и в моих.

Т<ак>, напр<имер>, о первоисточнике, это в том письме, где прошу не отвечать мне, только оттого, что к тому есть повод. – № Асина дома 18, кв. 8 (Мерзляковский пер.). – При перепечатке Потемкина набирайте в целую строфу, как в письме тебе посылал, а не с «Нов<ого> Мира», где разбита. Ты видала? Не слишком ли портит впечатленье такая транскрипция?

Твой Б.

Письмо 47
12 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Я получил твое письмо о переезде с детьми на море. И опять совпаденья, совпаденья, совпаденья. Совпаденье нежеланья отвечать тотчас на мои письма с моей просьбой о том же, вероятно уже дошедшей. Совпаденье буквальное твоих слов о герое твоей поэмы с моими собственными о моем собственном. Замечанье, которое растворится в целом, т. е. ты сейчас эту выдержку, не зная, откуда она, пропусти без вниманья: Он посвящает женщине Типические письма. *Он весь от а до ижицы* – Усвоенный разбег. Совпаденье относительно Рильке. Если ты что-ниб<удь> от него получишь, сообщи мне. Если будет что-нибудь для меня, просмотри, м.б. будет нуждаться в транскрипции. Кроме того, у нас почтовых сношений со Швейцарией, кажется, нет. Кстати. Ты говорила раз о карточке. Попроси у Эренбурга, я ему однажды послал. Тут заменю (полуправда – под рукою нет). Но этого не говори. Единственный раз, что я вышел, п.ч. снято во всех отношеньях моментально. Снимали Женю с мальчиком у фотографа, уже все было наставлено и готово, когда предложили и мне стать. Я и опомниться не успел, как вышел, т. е. удался. Был разгорячен, дело было летом, в Петербурге, мальчика на 6-й этаж нес перед тем, и на крыше под стеклом было душно. Обыкновенно же выхожу кретином и гориллой, каков, не в разрезе момента, и в действительности. – Но покончим с совпаденьями. Теперь просьбы. Ради Бога, родная, удивительная, избавься от мысли, что ты *еще* обо мне не сказала, как никто, и в свой час еще это сделаешь. Гони от себя эту мысль, как и поползновенья отвечать вовремя. Во-первых, это уже сделано. Во-вторых, не будь это даже так, гораздо большее, в том же направлении, делается тем, что я могу сказать тебе: я тебя не боюсь, мне с тобой вольно и просто, потому что ты гениальна.

Другая просьба. Ради Бога, не посылай ничего сыну. Я до глубины души тронут тем, как ты об этом пишешь, как вообще о детях пишешь, о Георгии. И я знаю все, но ты не все знаешь, т. е. то, что ты знаешь – не все. Ты как-то спросила, отчего я о нем не пишу. Оттого что он на руках у дома, уплотненного 4-мя семействами, оттого что у него не такая няня, какой бы я желал и какие бывали у нас; оттого что уплотненья и няня (белоруска) коверкают ему язык; оттого что мать целые дни во Вхутемасе, с утра до вечера, и в придачу к лишеньям, к которым ведет ее

постоянное отсутствие, теряет здоровье; оттого что я ничего ей не могу сказать, п.ч. знаю, что и я бы ходил во Вхутемас и семья бы меня не остановила; оттого что всеобщая любовь делает мальчика эгоистом и баловником и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах, иногда видящих его иначе; оттого что моя любовь к нему испещрена примечаньями; оттого что это мое сочиненье пишется чужими руками, и я не в силах этого переделать, потому что чем шире разъезжается эта нескладица, тем больше приходится мне зарабатывать, тем меньше, значит, я ей принадлежу; оттого что это безвыходный круг. Вот отчего я не люблю говорить о нем. Он настолько похож на мою детскую карточку, что когда ее случайно нашли при разборке папиного архива, то выдали за снимок с него. Может быть, он не так будет безобразен, как я, может быть, – только по-другому. Но все это, все это придется когда-нибудь переделать.

Третья просьба. Если в письмах, в противовес совпаденьям, у нас будут встречаться скрещивающиеся разновременные расхожденья, ты на них не обращай вниманья. Вот как я об этом думаю (я весь всегда в сентенциях!!). Не только у нас, но и вообще в человеческой атмосфере диаметральное разномыслие очевидный абсурд. Я не говорю о живом разнообразии мнений. Это – неприкосновенно. Но о спорности и противоречии истин. Это всегда основано на недоговоренностях, на недомолвках. Высказывается положенье так, как оно рождается в душе, сигналом, вырывающимся изнутри навстречу парящему, ширяющему *пониманью* и в расчете на его бессменное дежурство. И вот, мы живем одними тупыми, несчастными, *неудавшимися* недомолвками оттого, что даже и при желаньи их развить и истолковать, с самого начала обманываемся в расчете: дежурство заслонено или оттеснено стихией посредственности. Людям в большинстве нечего сказать оттого, что им некому стало говорить, и этот отрывистый, недопонятый лай стал обычной формой душевной жизни. Бессмысленность стала ее стилем. Тебя, стало быть, не должно смущать, что мои слова о Брюсове в примененьи к Ходасевичу встречаются по почтовой дороге с твоим желаньем послать мне «Героя труда». Ни этот, ни подобные случаи впредь. У нас даже и всякая недомолвка значительна, и, чтобы сказать трезвее, не может быть во всяком случае ни одной, которая бы обречена была недомолвкою остаться.

14 апреля 1926 г.

Я уже начинал письмо с этой невозможной зубной болью. Это у меня в третий раз за последний год. В разгаре работы, при повышении нервной деятельности, разболевается правая

половина нижн<ей> челюсти. Когда недавно флюс был – это другое, это слева. А тут все симптомы до точности повторяются. Боль благороднее зубной и невыносимей. Стоит с неудачной строфы перейти на оживающую, чтобы случился приступ. По-видимому, это воспаленье лицевого нерва. Когда, по прошествии двух недель, это мученье проходит, оно неизменно кончается странностью с левым глазом; трепетанье века, побаливанье виска, – но без дерганья, со стороны незаметное. Что за наказанье! Что мне делать? Завтра пойду сделать рентгеновскую съемку. Теперь я в апогее этой пытки. Главное, периодичность этих болей на что-то указывает, к чему-то взывает. М.б. это возмущенье нервной системы, бессильной вечно давать и давать, давно ничего не получавши. Отдыха тут мало. Я конечно не умею отдыхать. Т. е. те годы, что я ничего не делал, я докатывался до другой крайности: я утрачивал видимость душевной жизни, и такой отдых нравственно утомлял больше всякой другой работы. Но надо бы проездиться, попутешествовать, побывать одному в пути, в переменах. Это все вещи, о которых не приходится и мечтать.

15 апреля 1926 г.

Это не зубная боль. Эта боль такова, что под карандашом отца она дала бы всего меня в двух линиях: правого бока челюстных салазок и левого виска. Ото всего меня остается одно это мучащееся очертанье лица. И вот, в это опустошенное болью пространство, постепенно покидаемое Шмидтом, реквиемом и пр., за невозможностью писать их и обдумывать, пришло и взволновало меня письмо из Парижа от З<елинского>, из посольства, в ответ на мою просьбу прислать твои книги. Если бы это еще требовалось, тут был случай понять лишний раз, как я тебя люблю, какая для меня это полная истина, предельно живая, т. е. прежде всего включающая те стороны жизни, которые кажутся не относящимися к чувству отдельных людей. Т. е. с тобой я люблю и историю, и тебя и себя в ней, и еще может быть больше, но в ее духе, как ее часть, – судьбу русского общества, родную и неясную и требующую уясненья, но никак не того, какое до сих пор давалось с какой бы то ни было стороны.

Обрываю это письмо. Я зашел в область, о которой в двух-трех словах говорить нельзя. Может быть коснусь как-нибудь потом, в разговоре с И<льей> Г<ригорьевичем>. Ты ее тоже в письмах не касайся. Но если вспомнишь затрепанное Пушкинское: и в просвещении стать с веком наравне (кажется так?), то вот круг руководящих аксиом, которые определяют мой приблизительный, незаполненный, медленно заполняющийся

кругозор. Это убежденье, что настоящее живое искусство уже и в дни нашего детства было социалистическим. И в силу того закона, который культуру каждой эпохи заставляет отожествлять с собою все вечные элементы предшествующих эпох, мне и Шекспир и Гёте кажутся выразителями той же ноты, подобно тому как романтикам они должны были раскрываться романтиками, символистам – символистами (я стал ужасно рассеянно писать, на кажд<ом> шагу описки). В чем я вижу признаки социалистической культуры, это разговор долгий, я м.б. серьезно напишу тебе об этом и пришлю с И.Г. С этим связана и тенденция, которой проникнуты все мои намеренья. (Какая глупая тавтология!) Надо знать хорошо историю России со второй половины XIX в. до нашего времени. В большинстве и в лучшей своей части она – подпольная. Это значит, что я ее почти не знаю. Это, что гораздо важнее, значит и то, что узнать ее еще мало: в такой форме она ни тебя, ни меня не удовлетворит. Но узнав, ее надо *подчинить той пластической, воссоединяющей со всем миром эстетике,* которою с лихвой, захлебываясь в ней и ее не заслужив, пользовалась официальная история гибнувшего государства, связываясь с миром через нашу семью, через наши нервы, наше дарованье, наше прошлое.

<На полях:>

Не жди от меня некот<орое> время писем. По-видимому, мне нельзя будет писать. В здоровом состояньи и не замечаешь, что за этим волнуешься. А сейчас точно в больном нерве ковыряешь. Приступ за приступом.

Больше никогда так писать не буду. Примусь за леченье. Главное, работу придется бросить. Посылаю как есть, чтобы что-ниб<удь> послать.

Что ты вздумала морем поверять мои «идеалы»? Дюнами! Я горы так же люблю (Урал Люверс).

Вычитай из всего, если можешь, большую нежность к большому.

Прерываю письмо окончательно. Боль разыгралась невероятная. Удовлетворись <оборвано>

Письмо 48
<ок. 18 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Люб<опытно>, что те твои письма я прочла раз – и потом не перечитывала, м.б. бессознательно превращ<ая> их в живую речь, которую нельзя слышать вторично. А это (о Ходасевиче и Брюсове) много раз, в полном покое и вооруженности.

Борис, не взрывайся по пуст<якам>. Он (Ходасевич) тебя не любил и не любит и – главное – любить не *может*, любил бы – не тебя или – не он. «Пастернак сильно-разд<утое> явление», вот что он говорит о тебе направо и налево, а мне в спину – *я* только что вышла из комнаты – Сереже: «Между прочим, М.И. сильно преувеличивает Пастернака. Как всё, впрочем».

Не огорчайся, что тебе делать с любовью Ходасевича? Зачем она тебе? Ты большой и можешь любить (включ<ительно>) и Ходасевича. Он – тобой – разорвется, взорвется, на тебе сорв<ется>. Его нелюбовь к тебе – самозащита. Цену тебе (как мне) он знает.

И не утешай меня, пожалуйста, я против всякого равно-без-тще-душия забронирована. Полу-друзей мне не нужно.

* * *

Второе. То, что ты написал о Брюсове – провидческое. Я как раз думала, посылать тебе или нет с Эренбургом свою большую (прош<лым> летом) статью о нем. – Ну вот, прочтешь. – Не хочу ничего говорить заранее.

Да, ремарка: Адалис, как живую, несчастную и ничтожную, я намеренно, сознательно обострила <вариант: заострила>. Могла бы дать ее карикатурно (т. е. натуралистически), дала ее – ну словом, как я́ даю, когда даю. Не обманывайся и не считай меня дурой.

* * *

«Как *звук* рифмует наши имена». Ну что ж, Ваши как звук, а наши – как смысл. И своего имени я бы не променяла даже ради рифмы с твоим / тобой.

Первая и м.б. единственная женщина революции? Ну а я –

достоверно – первая и единственная обратного. И этой единственности я бы не променяла даже на *твой* Requiem мне <над строкой: подп<исанный> тв<оим> им<енем>>.

Обо мне, Борис, когда помру, напиши не Реквием, а гимн <вариант: оду> на рождение.

Младенца милого небесное явленье
Приветствует мой запоздалый стих…

Requiem – покойся. Я от *покоя* устала, от насильного сна.

Очень хорошо – с грудными городами на груди.

* * *

Стихов мне не пиши. То, что можно бы – не посмеешь (*мою* единственность!), личное – у нас с тобой захват больше. Пиши большие вещи, Шмидта, Реквием, пиши *себя*, так ты больше со мной <над строкой: – всё равно говоришь – мне>.

За стих спасибо. Если расшифр<овать> – хорош особенно конец.

* * *

Наша основная разница. Ты очень добр. Я – нет. – Я пламень и камень. Сушь – вот моя основа, всегда, в любви и вражде.

* * *

Ты хочешь ввести в последнем письме элем<ент> благоразумия (большие паузы между словами, чтобы утишить дыхание). Ты в нем как главный уговаривающий.

* * *

Отметить:

Еще одна разница между нами: у тебя есть объективный (для всех) словарь, у меня его нет.

* * *

Третья строка предпоследнего 4-стишия – зря. Мишурный – интеллигентское слово, ставшее ирреальностью <вариант: только переносным>. Кроме того, гуща и мишурный – вразрез. Не надо. Замени.

* * *

Да! Еще. Стихи мне оставь для разлуки. Сейчас встреча. (*Все* стихи о разлуке!) Встреча в здесь – разлука, п.ч. здесь мы разъединены, не сегодня, а всегда, «навсегда». Сейчас – полно и цельно, встреча на всех парах и на всех парусах.

И все-таки – зову тебя, хотя с падающим сердцем. И через *это* перейдем.

После этого мне нечего уже будет ждать выше. Бóльшего не бывает. (Эти слова я через всю жизнь слышу к с<ебе>. Говорю их впервые.)

Письмо 49
20 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще – брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.

Вчера я прочел в твоей анкете о матери. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петерб<ургской> консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со сл<овами>: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я, верно, в нее. Она воплощенье скромности, в ней ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам. Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоем детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты вываривалась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.

Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой, и тут я измерил разницу. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно стало невмоготу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта. Вот колодка, вот мы друг для друга, вот голодный рацион, которого мы должны держаться год, если ты проживешь и обещаешь мне, что я тоже выживу. Родной мой друг, я не шучу, я никогда не говорил так. Уверь меня, что ты на меня полагаешься, что ты доверилась моему чутью. Я расскажу тебе, откуда эта оттяжка, отчего еще не я с тобой, а летняя ночь, И<лья> Г<ригорьевич>, Л<юбовь> М<ихайловна> и прочая. Я это объясню потом.

В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно

перешедший в пробужденье. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себя и тебя счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. Но это было рудиментом твоего обаянья. Твоя красота, переданная на фотографии, – красота в твоем особом случае – т. е. явленность большого духа в женщине ударяла в твое окруженье прежде, чем я попадал в эти волны блаженствующего света и звучности. Это были состоянья мира, вызванные в нем тобою. Это трудно объяснить, но это-то и придавало сновиденью черту счастливости и бесконечности. Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до сих пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только *думал* любить, давно, давно, до числового ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, то есть в антропоморфной однородности воздуха и часа – Цветаевой, то есть языком, открывшимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, то есть предельной *человечностью стихии* <подчеркнуто дважды>, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи («стихийность»), а у себя на месте.

Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натыкаться на Ланов, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор быть может и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоем сердце. Отчего для меня существует только С.Я. и моя жизнь.

Ты же пишешь о женщине с мертвыми пальцами: ты м.б. любил ее? И это ты видишь меня и говоришь, что знаешь? Но ведь даже и если бы Э<льза> Ю<рьевна> была полною себе противоположностью, то и *тогда* требовалось бы нечто

исключительное, возвращающее от отдельных лет и лиц к первооснове жизни, ко входу, к началу – иными словами, требовалась бы ты – чтобы вывести меня из линии и довести до чего-нибудь достойного именованья. Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок. Т. е. у меня нет в этом частоты, которая грозила бы опасностью жизнеискаженья. И опять, понимаешь ли ты? Есть несколько случаев, когда Женя страдала по недостаточным поводам, т. е. когда я начинал любить и не долюбливал даже до первого шага. Есть *тысячи* женских лиц, которых мне бы *пришлось* любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявленье женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в восполненье этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

Так вот, в том, что Э.Ю. не было даже среди недостаточных поводов, причинявших страданье Жене, и вся замечательность ее вероятной антипатии ко мне. Я ее видел два-три раза тут в обществе, чаще чужом, чем своем. При моем появлении она во всеуслышанье заявляла, что она так, мол, и так – а я на нее даже не обращаю вниманья. Я конфузился ее бестактности, ссылался на то, что я вообще тюфяк или бездушная кукла, и говорил все, что в таких случаях говорится. Мне пришлось у ней побывать не из-за ее напоминаний, а из-за твоего Есенина, по тому естественному закону, который до фантастики преувеличивает цену всего, что из чужого мира помогает как-нибудь мне с тобой. Она мне читала свою прозу, и я ее хвалил, где она этого заслуживала. Она не без способностей, но я сказал ей, что писателя и текст создает третье измеренье – глубина, которая подымает сказанное и показанное вертикально, над страницей, и, что важнее – отделяет книгу от автора. Я сказал ей, что этого у нее нет и что это, верно, приходит с работой. Я не знаю, зачем ей вздумалось искать или стараться симпатизировать мне. Действительных причин думать дружить со мной у ней нет. Я хочу сказать, что по всему я должен был бы быть нулем для нее или безразличен, как большинству тут, тронутому тем же противоречьем подражанья мне и пр. Неприятной стала она мне после твоего письма, и ты, конечно, мне поверишь, что не из-за слов о Гапоне (она его слышала только один раз, и я не ей его читал), которые не новы для меня, а потому, что явилась из ночи в твое письмо, в первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым дальнейшее существованье без тебя.

Марина, позволь мне прервать это самомучительство, от кот<орого> никому не будет никакого проку. Я задам тебе сейчас вопрос, без всяких пояснений со *своей* стороны, потому что я верю в *твои* основанья, которые у тебя должны быть, должны

быть неизвестны мне и составляют часть моей жизни. Ты на него ответь, как никому никогда не отвечала, – как себе самой. *Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?* Эта нерешительность у меня *не абсурдна*, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решеньи (т. е. через год). Если ты меня поддержишь во втором решеньи, то из этого проистечет следующее. 1) Я со всем возможным напряженьем проработаю этот год. Я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя (пойми широчайшим образом) чем-то более *полезным* в жизни и судьбе (объяснять – это томы исписать), чем это было бы сейчас.

Тогда я попрошу твоей помощи. Ты должна будешь представить себе, *как* я читаю твои письма и что со мной при этом делается. Я перестану совершенно отвечать тебе, т. е. никогда не дам воли чувству. Т. е. я буду видеть тебя во сне, и ты об этом ничего не будешь знать. Год это мера, я буду соблюдать ее. Речь идет *только* <подчеркнуто дважды> о работе и вооруженьи, о продолженьи усилий, направленных на то, чтобы *вернуть* истории поколенье, видимо отпавшее от нее и в *котором находимся я и ты*. Ни о чем больше нет речи. У меня есть цель в жизни, и эта цель – ты. Ты именно становишься меньше целью, а частью моего труда, моей беды, моей теперешней бесполезности, когда счастье увидать тебя этим же летом заслоняет для меня все, и я не вижу долей этого целого, которые м.б. увидишь ты. Распространяться тут – значит затуманивать. Марина, сделай, как я тебя прошу. Оглядись, вдумайся *в свое*, только в то, что кругом *тебя*, хотя бы это были *твои* представленья обо мне, или хотя бы слова, сказанные при тебе утром французскими твоими рыбаками, – осмотрись и в этом огляде почерпни толчок для ответа, но не в твоем желаньи видеть меня, потому что ты знаешь, как я тебя люблю, и увидать это тебе должно хотеться.

И отвечай тотчас же.

Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками *только к тебе* и даже не представляю себе, *куда еще* и *зачем еще*. Не поддавайся живущей в тебе романтике. Это плохо, а не хорошо. *Ты сама* шире этого *только*, а я как ты. Между тем если еще есть судьба на свете, а я это увидал нынешней весной, то еще не тот кругом у нас русских воздух (а м.б. и во всем мире), когда можно доверяться человечности случая или лучше – приравненности неизвестности к поэту. Тут заряжать надо собственной рукой. А это – год. Но я почти уверен, что еду к тебе сейчас, побросав всякие работы. Все равно, пока ты меня не приведешь в порядок, я ни за что взяться не могу.

<На полях:>

Посылаю тебе фотографию. Я ужасно безобразен. Я именно таков, как на фотографии, – она удачна. Я только щурюсь, п.ч. смотрю на солнце, что и делает ее особенно неприятной. Глаз надо закрыть.

Не слушай меня. Отвечай свободно. Умоляю тебя.

Письмо 50
<ок. 28 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно. У кого ты спрашиваешь? У той, которая с тех пор как себя помнит <вариант: уже с 7-ми лет>, три дня носила с собой письмо – только чтобы не прочесть! – а когда мальчик или девочка, которые должны были прийти через неделю, приходили сегодня – плакала. Письма, мальчики, девочки – всё *ты*. И мой ответ – все тот же.

(Ты гроза, которая только еще собирается.)

Не сейчас!

И это я говорю, которая всегда первая входит, первая окликает, первая тянется, первая гнется, первая выпрямляется. С другими – да. Первая и тотчас же, п.ч. как во сне – сейчас пройдет. Недоувижу. (В переводе, не долюблю!) Разгляжу и недоувижу. И вот обеими руками – к себе, глаза зажав – к себе! Чтобы *самой* любить. Вот тебе и Ланн и Х-овое количество Ланнов. Я никогда в жизни не встречала силы. Поэма конца – простая (прости за грубость) мужская сила, сила страсти, сила любви, слепая сила, вдруг оказавшаяся *и* душой. Были души, но в зачатке, держались в воздухе, пока я дула.

В одном ты прав – С.Я. единственное, что числится. С первой встречи (1905 г., Коктебель). – «За такого бы я вышла замуж!» (17 лет).

Я бы сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту – (мечта многих, мечта мною десятки раз воушию слышанная, – и от девочек и от старух, мечта *времени*) – Ребенок – и одна. Жизнь с ним, в нем, без *того*. <Вариант: Ребенок, но без *того* >. Или, это я уже сейчас, смерть с тем, в том. Косвенность, но важная: я вообще не понимаю появления 2го ребенка. Будь я мужчиной, я бы боялась, у меня бы душа разрывалась. Ребенок *смывает* всё. И после такого смытия – опять сначала?! Но это скобки. Спешу.

Борюшка, мне еще не мыслится тот город (как страшно, что у него есть имя!). Час мыслится – не ночь, не ночь! – рассвет. Сновиденная *безгрешная* (ГЕНИАЛЬНО, хотя тоже ненавижу это слово) гостиница, где как в замке Психеи и Belle et la Bête и Аленького цветочка (одно) прислуживают руки. А м.б. голоса. Условность комнаты. Потолок – чтобы раздвинуться. Пол – чтобы провалиться.

Не Романтика! (Втайне; ce n'est que ça?![33] Ведь Романтика это мой штамп, чтобы сразу знали, с кем водятся, с кем *не водиться*!) Точное ви́дение двух глаз.

* * *

Живи. Работай. 1905 год – твой подвиг. Доверши. Строка за строкой. – не строки, а кирпичи – кирпич за кирпичом – возводи здание. Я тебя люблю. Я не умру. Ты не умрешь. Всё будет.

Чей сон сбудется – твой или мой – не знаю. А м.б. мой – только начало твоего. Мои поиски. Твоя встреча.

Живи совсем спокойно. Счастье не должно падать на голову. Я как ты – молния de longue haleine[34]. Живи *свой день*, пиши, не считай дней, считай написанные строки. Я тебя спокойно люблю – полновластно. Я ведь тебе даже сейчас стихов не пишу – не сводить себя с ума, не вызывать <пропуск одного слова>, не смывать расстояний, не ставить тебя посреди комнаты, *не вызывать твоей души.*

Я ведь знаю что́ – стихи. (То же, что ты сказал той об истоках прозы.) Стихи – вызывание <пропуск одного слова>. Meisterlehrling[35] (опять Гёте!) – помнишь? Стихи это все *сонмы*, коими насыщен воздух. Все бывшие и вновь желающие быть, все небывшие, но уже быть желающие. Стихи – заклятье. Стихи – в каком-то пред<еле> – полновластие. Но я не Meister, Борис, а Lehrling[36].

Ахматова в 1914, кажется, году написала и напечатала

> Отними и ребенка и друга
> И таинственный песенный дар.

Я всегда (и тогда и сейчас) чит<ала> эти строки с содроганьем. На что – решилась! Что на себя взяла! (Гумилев – следствие.)

Я бы не только не написала этих строк, я бы их не подумала, а если бы нечаянно подумала, то с содроганием открестилась бы и отплюнулась.

Потому, Борис, переполненная и захлестнутая тобой (что́ – море!), не пишу тебе стихов, тех же писем, но *совершенных*.

Я знаю, что больше не должна тебе писать. Ведь ты об этом *просил*. И ты прав. Иначе – счет дням и жизнь не в жизнь. Давай уговор: я буду тебе писать – пореже – совсем тихо, о здесь, о детях, о стихах, о мыслях. Этой связи порывать не надо. Ведь <оборвано>

Я буду молчать в тебя, расти в тебя, писать в тебя. У меня несколько больших замыслов, надо исполнить хоть один. И я весь день занята – сыном, обиходом, рук не хватает.

Борис, на карточке ты чудный. Поскольку Маяковский *воля*, постольку ты – душа. Лицо души. Я тебя прекрасно помню – у нас в темноте с письмом Эренбурга. Когда я говорила с тобой, я подымала голову, а ты опускал. Этот встречный жест помню.

* * *

Следующее письмо будет о Вандее, о том, как живу.

* * *

Итак, через год, сама помогу выехать – трезво, весело, в сознании правоты, заработанного *права*. Я в восторге от твоего решения (вопроса). Мне, чтобы любить, нужно, чтобы другой был кругом *прав*. Непогрешим в чутье. – Вот.

Но одна просьба: робкая: хоть пуст<ой> конв<ерт>, но хоть адрес твоей рукой. Не вычеркивай меня окончательно на целый год. Этого не должно. Будь моей редкой радостью, моим скупым божеством (о, это слово я люблю и за него стою, это не «гениальность»), но – *будь*. Не бросай совсем, не проваливай безвозвратно в рассвет.

* * *

Не знаю, когда выедет Эренбург. Вещи сданы. Прошу его еще о синей лампе – для невралгии, – у тебя ведь есть боковое электричество (в стене, для стоячей лампы?).

Кончаю. Иду в сад к сыну.

* * *

А Е.Ю. – улыбаюсь. Ты просто не так прочел. Я написала: ты м.б. ее любишь (т. е. допускаешь, принимаешь, переносишь, расположен) – ты прочел: ты м.б. ее *любил*. (Расположение ведь не проходит.) Т. е. расположение в прошлом, т. е. *не* расположение в прошлом, а любовь (употребляемый в прошлом, глагол весом / грозен). Милый Борис, ты не мог любить такую

(расположенным можно быть к кому угодно, просто поворот тела в сторону, как за ужином), ты мог (можешь) любить себе обратное, но равно-сильное. Она недостаточно улица, чтоб ты ее любил, недостаточно площадь, не блоковская Катька ведь, просто дама. И дама – недостаточно.

И – улыбка ширится – Ланн. Стало быть, орудует вещественными доказательствами. (Книжки, надписи, письма – что еще?) Да, <оборвано>

* * *

Где будешь летом? Где твои будут летом? Как здоровье мальчика? Твой первый оттиск.

Письмо 51
1 мая 1926 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис! Что ты со мной делаешь? Сам просишь не писать, а сам шлешь мне книгу с надписью, от которых (книги и надписи) <пропуск одного-двух слов>. Но я буду тверда, не буду писать о тебе и себе, не буду писать сейчас, поступлю как друг.

Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! Борис, эта книга у меня должна быть. Если нет, достань, выкради у знакомых. Первое – Метель. Я в такой метели (городе, возникавшем только в метель, или метели, возникавшей только в таком пригороде) была однажды с Т.Ф.Скрябиной – за постным маслом, которого (только повод! Не может же метель приглашать – та́к, да еще в такое утилитарное время!), конечно, не оказалось. Нас сшибало с ног, захлестывало, зацеловывало. Дощатые заборчики и испуганно-счастливые глаза Скрябиной, узнававшей и мужа и сына / дуновение / родное.

Письмо 52
5 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

На днях придет твой ответ. Может, он потребует телеграфного отклика. Тогда этот огромный перерыв перебьется для тебя лающим лаконизмом депеши. Давно, давно, уже не помню когда, пришло твое письмо, последнее из Парижа, с холодком и о Ходасевиче, т. е. виноват: с ответным холодом на мое, о Ходасевиче. В тот день я узнал, что увижу тебя не в St. Gilles. Это случилось до письма, и холод письма облегчил мне тяжесть этого сознанья.

И все же, ты можешь обложить меня льдом, а оно невыносимо. Прости, что я так невозможно разлетелся тогда. Этого не следовало делать. Это должно было остаться моей возрождающей тайной до самого свиданья с тобой. Я мог и должен был скрыть от тебя до встречи, что никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, что ты мое единственное законное небо и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю.

И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, то есть допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобой, то есть с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись.

Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах. – Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу на лето к сестре в Мюнхен. Если за лето успею, осенью поеду сам. Если нет, предстоит страшная, душевно бездонная зима, и потом, наконец, весна. Дольших сроков на свете не имеется, они недопустимы и невообразимы.

Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь – вокзал; скоро уеду; куда – не скажу»? (У меня анкеты нет, привожу на память.) Я не обеспокоился, понял как провозглашенье

бессмертия, т. е. ударенье на нем, на секрете и на вере, *а не на буквальной скорости*, как поняла Ася, залив меня безысходною тревогой (потому что это пониманье *твоей сестры*). На этот вопрос не забудь ответить. Ах, как иногда глупо сболтнется! Ведь я не о том прошу. Но скажи, что я понял правильно, а если (чего вообразить не в силах) это не так, то умоляю тебя, переуверуй! На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. Письмо, по мимолетном недоуменьи, восстановило в моей памяти две-три недавних бессонницы, когда этот страх меня преследовал. Очевидно, я ей об этом проврался. Но письма припомнить не могу, и – не ответ ее, так и не знал бы о его существованьи. Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает. Перечислить нет возможности. Вдруг я стал тут для всех хорош. Вспомнили – и посыпалось, со всех концов. Как ты по-особенному хороша, когда исключительно случайно проносишься в этом вихре участия. Напр<имер>, то-то и то-то обо мне. И затем, вдруг (надо прибавить, что это говорит человек, даже не знающий, знакомы мы с тобой или нет) восхищенное сообщенье, что Версты (твои) ходят в списках по Москве. Или иногда непрямо, письмо о том, что со мной что-то, верно, происходит в последнее время, потому что корреспондент или корреспондентка часто видят меня во сне и пр. и пр. Точно ты завела или ко мне приставили тут специальных пифий. Я до бессмыслицы стал путать два слова: я и ты.

8 мая 1926 г.

Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось в эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина! Везде, везде.

Вот он, твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал, и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда *превосходишь* представленье, даже внушенное обожаньем.

Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвенья. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.

Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе. Я

говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращенье. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.

Я напишу тебе, как только будет готов Шмидт. Только так я могу заставить себя взяться за работу. Это будет недели через три. Я много чего расскажу тебе тогда. Ты ведь все-таки живешь тут и во всей *осязательности* отдельных происшествий со мной. – Но об этом сегодня ни слова. Когда я буду писать тебе, буду один.

Твой ответ чудный, редкостный. Если мои слова о грохоте (невозможно далеком, божественно-благородном) *законности кажутся* <второе слово подчеркнуто дважды> тебе расходящимися с твоими последними словами о замужестве, ты их вымарай, чтобы их больше не видать. На самом деле я в них выражаю то самое, что составляет суть и дыханье твоего письма.

Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, поперек нее. Я тебе желаю счастья в эти дни, тебе и себе.

Прилагаю к этому письму недоконченное, начатое в ожиданье твоего ответа. Ни на него, ни на это последнее, в котором я выражаю песку St. Gilles-ского пляжа свою робость и покорность и все то, что требуется, чтобы задобрить воздух – не отвечай. Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственно трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь *долгом*, возвышает человека. Он навязывает *свободу*, как призванье, как край, где тебя можно встретить. Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени и о своей. В «Шмидте» одна очень взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими строчками:

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И вечно тянется рука
В столетий изморось сырую,
Гиену верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

До этого стихи с движеньем и даже м.б. неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон *истории*: арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга – в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.

Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине» сл<ова> «За обедом к котлу не садились и *кушали* молча хлеб да воду…» – не случайная описка, а сказано так умышленно. Именно это *кушать* – солдатское, то есть, вернее, казарменное выраженье, а не всякие там хлебать или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того, это выраженье почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу, буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками и не дать ли в их ряду и сноску к слову «*кушали*»? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда осталась без приварочного обеда и *кушала только хлеб с водою*». Из дела № 3769–1905 г. Д<епартамента> Полиции 7-го делопроизводства «О бунте матросов на броненосце “Князь Потемкин Таврический”». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. – Разумеется, в оригинале по старому правописанью.

В документе, кот<орый> называется: «Правда о “Потемкине”». Написал минно-машинный квартирмейстер первой статьи броненосца «Кн<язь> Пот<емкин> Тавр<ический>» Афанасий Матюшенко. «Ребята, почему не кушаете борща?» – «Кушай сам, а мы будем *кушать воду* с хлебом». И вообще вся страница этого замечательного воспоминанья (Матюшенко повешен в 1907 г., его предал Азеф) пестрит этим кушаньем воды. Между прочим, меня удивляет, что некоторые слышат в этом какую-то странность. По-моему, это в стихии языка, и м.б. даже без наводящих подробностей матерьяла я сказал бы так и сам. Для сноски, разумеется, достаточно одного Перелыгина.

Остальные сноски, под соотв<етствующими> словами. Шканцы – средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью. Кнехт – железный столбик для зацепки каната. Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся <внизу> помещенья. Батарейная

палуба с башней – бронированная надстройка на середине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит – железное приспособленье, служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз – судовая кухня. Спардек – площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля. Ют – часть кормы до бизань-мачты. А может быть, ничего этого не нужно? Какой-то глупый получается вид. Как ты думаешь?

Как я ненавижу свои письма! Но так как я отвечу на твои продолжением и окончаньем Люверс и так как, что бы я ни написал взамен этой ерунды, завершающейся тремя перепутанными страницами о сносках и опять о червях, получится то же самое, то я и посылаю тебе эти вспышки разыгрывающегося тупоумья. Марина, я говорю это искренне, бесстрашье же мне внушает фатализм, т. е. вера в целое, растянутое по времени, и пренебреженье к частностям. – Была неделя, когда я полностью вышел из семьи. Истекшею зимой меня часто донимали разные предвестья возраста и нездоровья. Удивительно, как поправляет и омолаживает страданье. Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь.

Прости за письмо, за глупые стихи, за невозможное многословье в сносках, ни к чему не нужных. Я хорошо напишу летом, я все пройду снизу доверху. Я тебе напишу о тебе, о предельном, о самом дорогом: о тебе безотносительной, «объективной». И о том, как представлял я себе мое прикосновенье к тебе. Говорю, и громоздятся словесные извращенья. Это оттого, что все стало жизнью. – Чего-то жду от Англии. Либо просто-напросто тебя, либо в уподобленьи. М.б. легче будет жить, легче встретиться. – На вопрос о последней фразе анкеты ты ответила. Слава Богу. Отрывками твоих стихов в письмах пользуюсь как сжатыми образцами лирической силы и высоты. Как хорошо, что мы поем *эту* <подчеркнуто дважды> хвалу друг другу не первыми, а со стольких, стольких голосов.

<На полях:>

И все-таки, что я не поехал к тебе – промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз – жизнь, а не что-ниб<удь> другое.

Письмо 53
19 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

До этого было три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное *молчанье* твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнесть, чего боюсь. И все в таком роде. *Так* я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром. По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамленьи и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем не повинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об Англ<ийской> забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае прочел письмо и стихи (если это – банка, то анод и катод, и вся музыка, и весь ад, и весь секрет, конечно, в них: Зачем тебе, зачем / моя душа спартанского ребенка). И вот таким, от тебя и за тебя, влетел я в редакцию, хотя и своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. М<ежду> пр<очим>, я слишком высказался там в тот день, и м.б. мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.

Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «I-ою частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью

работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего, и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.

Посвященье

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Реви рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень – Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен.
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.

Тут – понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, – моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства. Писал в странном состоянии, доля которого, впрочем, была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты стихе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвященье, то вот:

Событье на Темзе, столбом отрубей
Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!

Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
Ты комкаешь кусок газетного листа,
Вбираешь и выносишь и выплевываешь вон

На улицу, на произвол времен.
Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
И не с кого списать мне дифирамб.
Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет,
Но в праздник нет торговли в Огоньке!

И вот, прибой бушующий, не по моей вине
Сегодня мы с тобой наедине.

Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель
И дни ложатся днями на панель.

По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
Конаясь, дни пластают век, кому начать игру.
Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
Но столб вручную взмывших обручей.

* * *

Событье на Темзе, ты вензель в коре
Влюбленных гор, ты – ледником прорытое тире.
Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
Я свижусь с днем, в который свижусь с ней.

Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: *зачем*, но до полученья письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии[37]. Это именно то письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действительных опор для решенья, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее срок его прихода. Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, м.б. не прямо, от него на Rue Rouvet, потом на океан, потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решеньем, послушаюсь *только* своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И, верно, хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе

с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успей остановить.

<На полях:>

Я твоей просьбы отн<осительно> Над<ежды> Ал<ександровны> еще не исполнил. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.

Письмо 54а
<ок. 22 мая 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Мой *отрыв* от жизни становится все непоправимее. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью, обессиленной жизнью, а живой из живых.

Подтверждение – моя исполнительность в жизни. Я исполнительна как раб. Только унеся вещь из дому, я могу ее понять, изымя<сь>, отвлечась.

Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем, я слишком суеверна, боюсь вслух, боюсь сглазить [то, что все-таки, очевидно, является – счастьем] – не объяснить. Боюсь оказаться неблагодарной. Но, очевидно, мне так трудно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. В тебя.

Борис, ни один мой час не принадлежит мне. Никуда не могу уйти, все заранее распределено. Я бы и умереть не могла – п.ч. распределено. Кем? *Мною*. Моей заботой. Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур ходил в грязной куртке, я не могу —. У меня горд<ость> нищего – не по карману, не но собственным силам. И вот, как заведенная: <оборвано>. Борис, я тебя хочу – без завода, в каком-то жизненном промежутке, в состоянии паузы. Такая пауза – мост, поезд, всё, что движется: переносной пол, maison roulante[38] – моего (и м.б. твоего) детства.

Я ненавижу предметы – я загромождена ими. Точно мужчина, давший честное слово уехавшей жене, что все будет в порядке. Поэтому – не упорядоченная жизнь, а безумие, вдруг среди разг<овора> – срывается: забыла, вывешено ли полотенце: солнце, нужно воспользоваться.

Словно вытверженный урок – как Отче Наш, с которого не собьешь, п.ч. не понимаешь ни слова.

Нынче письмо от Аси. Есть о Мóлодце. «Борис, по своей добр<оте>, увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя». Ты опять прав. Конечно, простое освобождение: от чего? от насилия жизни, от непременности жить. [Она *честно* как нужно оберегалась от счастья. Оно пришло. Разве важно, – что именно во время Херувимской.] Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в «огнь-синь»? Лететь в него вечно. Так я вижу счастье. Никакого

сатанизма. Просто сказка, как упырь – силой любви – превр<ащается> в человека (его нарастающие, крепчающие предостережения, его мольбы!). А человек – Маруся – силой той же любви – в упыря <вариант: нечеловека> (перешагнула же через мать! – через себя! – в конце: через ребенка и барина). Как в Греции: любовь делает богов людьми и людей – богами.

Херувимская? Так народ захотел. И, нужно сказать, хорошо выбрал час для встречи. Борис, я не знаю, что́ такое кощунство. Любовь. М.б. – степень огня? Красный – синий – белый. Белый (Бог) м.б. *силой* бел, чистотой сгорания? Чистота. Мое обожаемое слово.

То, что сгорает без пепла – Бог. Так?

А от этих – моих – в простр<анстве> огромные лоскутья пепла.

Продолжение

То, что ты пишешь о себе, я могу тебе написать о себе: со всех сторон любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, тоже затрепывается. Люди, которые прежде не замечали, вдруг – увид<ели>, воззрились, обмерли: А я та же. Что мне эта прихоть их часа? Я прежде тоже была.

Когда я прихожу в комнату, мне поскорее хочется из нее уйти.

Я совсем не умею жить в доме и жить с др<угими>.

<Оставлена пустая строка> – ты мне ответил «поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно. Гёте в старости. В молодости нужно было – всё, а в старости – Эккерман (воля последнего к II Фаусту, уши и записная книга). Рильке перерос Эккермана, он больше знает о бессмертии, чем Гёте. На меня от него веет последним холодом *имущего*, который и меня включил в свое имение. Да, да, несмотря на жар писем, на бесконеч<ность> вслушив<ания> и вним<ания>, на безукоризненность слуха, – я ему не нужна, и ты не нужен. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он – прав, что я в свои лучшие, высшие – часы высшей силы во мне – такая же. И, м.б., от этого спасаясь, четыре года подряд, за неимением Гёте, была Эккерманом – Волконского?! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть?!

О, Борис, Борис, был бы ты здесь, я бы врылась в твою грудь <вариант: тебе в грудь>, закрыв глаза <от?> эт<ого> ледникового периода в груди.

Письмо 54б
22 мая 1926 г., суббота
Цветаева – Пастернаку

Борис!

Мой отрыв от жизни становится всё непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью – обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!

Свидетельство – моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное. Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем. Боюсь вслух, боюсь сглазить, боюсь навлечь, неблагодарности боюсь – не объяснить. Но, очевидно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. (Конец «Мóлодца».)

Да, о Мóлодце, если помнишь, – прав ты, а не Ася. «Б. по своей неслыханной доброте увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя».

Борис, *мне всё равно куда лететь*. И, может быть, в этом моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама – Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других – более, *чем* – но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую идя – по голосу, по чужой воле, не своей.

Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в огнь-синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма. Херувимская? Так народ захотел. (Прочти у Афанасьева сказку «Упырь». – Пожалуйста!) И, нужно сказать, хорошо выбрал час. Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против grandeur[39] – какой бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Всё остальное – степени силы. Любовь! Может быть – степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть *силой* бел, чистотой сгорания? (Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией. Просто – линией.)

То, что сгорает без пепла – Бог. Тает?

А от этих – моих – в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Мóлодец.

Я недаром отдала эту поэму тебе. Переулочки и Мóлодец – вот, досель, мое из меня любимое.

Еще о жизни. Я ненавижу предметы и загромождения ими. Точно мужчина, давший слово жене, что всё будет в порядке. (А она умерла или вроде.) Поэтому – не *упорядоченность* жизни, построенная на разуме, а *мания*. Вдруг, среди беседы с другом, которого не видела 10 лет, срывается: «Забыла, вывешено ли полотенце. Солнце. Надо воспользоваться». И совершенно стеклянные глаза.

Словно вытверженный урок – как Отче наш, с которого не собьешь, потому что не понимаешь ни слова. Ни слога. (Есть деления мельчайшие слов. Ими, кажется, написан «Мóлодец».)

* * *

То, что ты пишешь о себе, я могу написать о себе: со всех сторон – любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, – имя ведь тоже затрепывается. Не воспрещаю. Не отвечаю. (Имя требует имени.) Вдруг открыли Америку: меня. Нет, ты *мне* открой Америку!

* * *

«Что бы мы стали делать с тобой – в жизни?» (точно необитаемый остров! на острове – знаю). – «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно *силы*, всегда влекущей, отвлекающей. Рильке – отшельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Р<ильке> перерос Э<ккермана>, ему – между Богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания – я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня – большая раструва, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы – сама такая же. И может быть от *этого* спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гёте, была Эккерманом, и *бóльшим* – С.Волконского! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть.

Всю жизнь хотел я быть как все.

Но мир, в своей красе,
Не слушал моего нытья
И быть хотел – как я.

Даже без кавычек. Этот стих я так запомнила со слов Л.М.Э<ренбург> еще в 1925 г. весной. И так он мне ближе. Век ведь – поправка на мир.

Да! Доехал ли Э<ренбур>г? Довез ли? Посылала тебе еще тетрадку, для стихов. Сегодня у нас первый *тихо* океанский день: ни ветри́нки. – Такие письма можно писать? – Недавно у меня был чудный день, весь во имя твое. Не расставалась до позднего часа. Не верь «холодкам». Между тобой и мною такой сквозняк.

Присылай Шмидта. У меня в Праге был его сын, и для него была трагедия и добавка «Очаковский». Чудный мальчик, похожий на отца. Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. Будь здоров. Обнимаю, родной.

М.

Письмо 55
23 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что, поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же не отворачивайся, что́ бы тебе ни показалось.

И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.

Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно, я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и… осуществленья, – нет, лучше: проверки.

И вот недавно, с тобою, решительно *впервые* случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.

Ты простоте открыла радость недостававшего разряда. Степень стала основаньем[40].

И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный plusquamperfect[41].

Ничего не изменилось.

* * *

Все равно, *одно* одиночество, одни выхода, и рысканье то же, и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Свят<ополк>-Мирский. Тот же самый Зелинский прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного, которого и я достаточно хорошо знаю по столкновеньям в Берлине, где они, засев в «Накануне»,

травили Белого и, когда требовалось, та́к нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Бор<ис> Ник<олаевич> и подпись под фотографией: Ал. Н.Толстой. Таков-«сяков» сей Кусико́в, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый. Сказанное похорони, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.

* * *

Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно. Люблю С<вятополка>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли *определяет* меня. Я не про оценку, про определенье именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени», как ты его определяешь – натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного. Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него. Ты – *большой* поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт – сердце и субъект поколенья. Первый поэт – объект дивованья журналов и даже… журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае – первый, но тоже и большой как ты, т. е. таимый и отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между Боратынским и Языковым – Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. Разность терминологии. Св<ятополк>-Мирский под «первым» разумеет подлинно большой, т. е. я бы так рассуждал: единство поколенья – единственность лирической стихии – единственность, в своем бое сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или приемниками единственности. Волны же эти все время в движеньи. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: – приближенное обобщенье.

<На полях:>

Говорю о ст<атье> в «Совр<еменных> Зап<исках>». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтеньи послал Вильяму в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечесть.

* * *

Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случаях моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-ниб<удь> мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-ниб<удь> любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, *трудный* для меня период преодоленья *реализма* через поэзию, там всегда есть вещи, лучше моих, нередки даже случаи, когда вообще *весь* номер, в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, то есть не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы, верно, ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами, разрезанными для правки, ты не думай, что это я рвусь осчастливить тебя своими неудачами и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронутом виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли). Я этой возможностью и пользуюсь.

Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключеньем двух-трех недавних глав из «Шмидта», залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это: потому что в природе обстоятельств и неизбежно, и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержаньем. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О, никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убежденья, мож<ет> быть даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в

форме выраженья, чем м.б. ее и затрудняют. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты? У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова. – Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и м.б. что-ниб<удь> из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг – в сторону. – Живу его благословеньем. Если будет что, посылай просто по почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейц<арские> марки.

<На полях:>

Верно, не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, кот<орым> пользовался. Переделывать – надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю.

Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с кот<орой> оно начинается.

Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С.Я. Мы м.б. будем обеими семьями друзьями. И это не ограниченье, а еще больше, чем было. Увидишь.

Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.

Письмо 56
St. Gilles, 23 мая 1926 г., воскресенье
Цветаева – Пастернаку

Аля ушла на ярмарку, Мурсик спит, кто не спит – тот на ярмарке, кто не на ярмарке – тот спит. Я одна не на ярмарке и не сплю. (Одиночество, усугубленное единоличностью. Для того, чтобы ощутить себя не-спящим, нужно, чтобы все спали.)

Борис, я не те письма пишу. Настоящие и не касаются бумаги. Сегодня, например, два часа идя за Муркиной коляской по незнакомой дороге – дорогам – сворачивая наугад, все узнавая, блаженствуя, что наконец на суше (песок – море), гладя – по́ходя – какие-то колючие цветущие кусты – как гладишь чужую собаку, не задерживаясь – Борис, я говорила с тобой непрерывно, в тебя говорила – радовалась – дышала. Минутами, когда ты слишком долго задумывался, я брала обеими руками твою голову и поворачивала: ВОТ! Не думай, что красота: Вандея *бедная*, вне всякой внешней heroïc'и: кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но – ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно – *к* ах!) времени моего детства – нелепых – квадратное дно и боковые банты, – девочки, так похожие на бабушек, и бабушки, так похожие на девочек… Но не об этом – о другом – и́ об этом – о всем – о *нас* сегодня, из Москвы или St. Gill'a – не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)

Борис, я не живу назад, я никому не навязываю ни своих шести, ни своих шестнадцати лет, – почему меня тянет в *твое* детство, почему меня тянет – тянуть тебя в свое? (Детство: место, где все осталось *так* и *там*.) Я с тобой сейчас, в Вандее мая 26 года, непрерывно играю в какую-то игру, что́ в игру – в игры! – разбираю с тобой ракушки, щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник, выбегаю смотреть (п.ч. когда Аля бежит – это *я* бегу!), опала ли Vie или взошла (прилив или отлив).

Борис, но одно: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная заведомая неподвижность. Моя косность. Моя – хочу или нет – терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное

себя – как Рильке! (Себя или божества – равно́.) Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть *оно*, все, что в нем ужасающего – оно. Суть его. Огромный холодильник. (Ночь.) Или огромный котел. (День.) И совершенно круглое. Чудовищное *блюдце. Плоское*, Борис! Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову напр<имер> бы ненавидела. Как всякую власть). Море – диктатура, Борис! Гора – божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора – это прежде всего *мои ноги*, Борис. Моя точная стоимость. Гора – и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки – не раскаиваюсь. «Приедается все – лишь тебе не дано…» С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: ТВОЙ СТИХ, т. е. преображение вещи. Дура я, что я надеялась увидеть *воочию твое* море – заочное, над'очное, вне-очное. «Прощай, свободная стихия» (мои 10 лет) и «Приедается все» (мои тридцать) – вот мое море.

Борис, я не слепой: вижу, слышу, чую, вдыхаю *всё*, что полагается, но – мне этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк и рыбак знают, что́ это. Моя любовь была бы превышением прав («поэт» здесь *ничего* не значит, самая жалкая из отговорок. Здесь – чистоганом.)

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на́ море я – даже не пассажир! ДАЧНИК. Дачник, любящий океан… Плюнуть!

* * *

Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку, выбивает из стихов, – вставший Nibelungenhort[42] – легко справиться?! Ему – не нужно. Мне – больно. Я не меньше его (в будущем), но – я моложе его. На много жизней. Глубина наклона – мерило высоты. Он глубоко́ наклонился ко мне – м.б. глубже, *чем* … (неважно!) – что́ я почувствовала? ЕГО РОСТ. Я его и раньше знала, теперь знаю его *на себе*. Я ему писала: я не буду себя уменьшать, это Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!), это Вас сделает только *еще одиноче*, ибо на острове, *где мы родились* – ВСЕ – КАК МЫ.

Durch alle Welten, durch alle Gegenden

an allen Weg’enden
Das ewige Paar der sich-Nie-Begegnenden[43].

Само пришло, двустишием, как приходит все. Итог какого-то вздоха, к которому никогда не прирастет предпосылка.

Для *моей* Германии нужен был весь Рильке. Как обычно, начинаю с отказа.

* * *

О Борис, Борис, залечи, зализи рану. Расскажи, почему. Докажи, что все та́к. Не зализи, – ВЫЖГИ рану! «Вкусих мало меду» – помнишь? Что́ – мед!

* * *

Люблю тебя. Ярмарка, ослиные таратайки, Рильке – все, все в тебя, в твою огромную реку (не хочу – море!). Я так скучаю по тебе, точно видела тебя только вчера.

М.

St. Gilles, 25 мая 1926 г., вторник

Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом. То же, что не окликнуть еще раз из окна, когда уходит (и с уходящим, на последующие десять минут, *всё*. Комната, где даже тебя нет. Одна тоска расселась).

Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод. Не превратить ТВОЕГО СОБЫТИЯ в собственный случай[44]. Не быть ниже себя. Суметь не быть.

(Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся! Оборот Орфея – дело рук Эвридики. («Рук» – через весь корридор Аида!) Оборот Орфея – либо слепость ее любви, невладение ею (Скорей! скорей!) – либо – о, Борис, это страшно – помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер —

Либо *приказ* обернуться – и потерять. Все, что в ней еще любило – последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертья, помнишь?

– – … С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть!

все, что еще отзывалось в ней на ее женское имя – шло за ним, она не могла не идти, хотя, может быть, уже не хотела идти. (Так, преображенно и возвышенно, мне видится расставание Аси с Белым – не смейся – не бойся.))

В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Мóлодцем – не смейся опять! – сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло – верно. Ах, м.б. просто продленное «не бойся» – *мой* ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришел – ЖИТЬ, тот за моей – не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы… стыдно – назад!

О Рильке. Я тебе о нем уже писала. (Ему не пишу.) У меня сейчас покой полной утраты – божественного ее лика – ОТКАЗА. Пришло само. Я *вдруг* поняла. А чтобы закончить с моим отсутствием в письме (я так и хотела: *явно*, действенно отсутствовать) – Борис, простая вежливость не совсем или совсем не простых вещей. – Вот. —

Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный». Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто *не*. Когда олень рвет листья рогами – это естественно (ветвь – рог – сочтутся). А когда вы с электрическими пилами – нет. Лес – мой. Лист – мой. (Та́к я читала?) И зеленый лиственный костер над всем. Так? —

Борис, когда мне было шесть лет, я читала книжку (старинную, переводную) «Царевна в зелени». Не я – мать читала вслух. Там два мальчика убежали из дому (один: Клод Бижар – Claude Bigeard – Бижар – сбежал – странно?), один отстал, другой остался. Оба искали *царевну в зелени*. Никто не нашел. Только последнему вдруг неожиданно *хорошо* стало. И какой-то фермер. Вот все, что я помню. Когда мать проставила голосом последнюю точку – и – паузой – конечное тирэ, она спросила: «Ну, дети, кто же была эта царевна в зелени?» Брат (Андрей) сразу ответил: «Почем я знаю», Ася, заминая, начала ластиться, а я только покраснела. И мать, зная меня и эти вспышки: – «Ну, а ты как думаешь?» – «Это была… это была… НАТУРА!» – «Натура? Ах ты́! – Умница». (Правда, ответ запоздал на́ век? 1800 г. – Руссо.) Мать меня поцеловала и обещала мне, вне всякой педагогики, в награду (спохватившись, скороговоркой) «за то, что хорошо

слушала»… книжку. И подарила. Но гнуснейшую: Mariens Tagebuch и, что́ еще хуже: Машин дневник, противоестественный, п.ч. *Маша* – и тетя *Гильдеберта*, и праздник «Трех Королей» (Dreikönigsfest) и пр. Противоестественный потому еще, что мир непреложно делился на богатых девочек и бедных мальчиков, и богатые девочки этих бедных мальчиков, сняв с себя (!), одевали (в юбки, что ли?). Аля эту книгу читала и утверждает, что там тоже был мальчик, который сбежал в лес (п.ч. его бил сапожник), но вернулся. Словом: НАТУРА (как – часто) повлекла за собой противоестественность. Эту ли горькую расплату за *свою природу* имела в виду мать, даря? Не знаю.

* * *

Борис, я только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор как *впервые не полюбила* [45], порываюсь любить его, в надежде, что может быть выросла, изменилась, ну просто: а вдруг понравится? Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И *каждый* раз: нет, не мое, не могу. То же страстное выгрыванье (о, не заигрыванье! никогда), гибкость до предела, попытка проникнуть через слово (слово ведь больше вещь, чем вещь: оно само – вещь, которая есть только – знак. Назвать – овеществить, а не развоплотить) – и – отпор.

И то же неожиданное блаженство, которое забываешь, как только вышел (из воды, из любви) – невосстановимое, нечисляющееся. На берегу я записала в книжку, чтобы тебе сказать: Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: МОРЕ, ЛЮБОВЬ. А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по плажу, волна явно подлизывалась. Океан, как монарх, как алмаз: слышит только того, кто его *НЕ* поет. А горы – благодарны (божественны).

Дошла ли наконец *моя*? (Поэма Горы.) Крысолова, по возможности, читай вслух, полувслух, движением губ. Особенно «Увод». Нет, всё, всё. Он, как «Мо́лодец», писан с голосу.

* * *

Мои письма не намеренны, но и тебе и мне нужно *жить* и *писать*. Просто – перевожу стрелку. Ту вещь о тебе и мне почти кончила. (Видишь, не расстаюсь с тобой!) Впечатление: от чего-то драгоценного, но – осколки. До чего *слово* открывает *вещь*! Думаю о некоторых строках. – До страсти хотела бы написать Эвридику:

ждущую, идущую, удаляющуюся. Через глаза или дыхание? Не знаю. Если бы ты знал, как я *вижу* Аид! Я, очевидно, на еще очень низкой ступени бессмертия.

<На полях:>

Борис, я знаю, почему ты не идешь за моими вещами к Н<адежде> А<лександровне>. От какой-то тоски, от самообороны, как бежишь письма, которое требует всего тебя. Кончится тем, что все пропадет, все мои Гёт'ы. Не перепоручить (не перепору́чишь) ли Асе? Жду Шмидта.

М.Ц.

Я не слишком часто пишу? Мне постоянно хочется говорить с тобою.

26 мая 1926 г., среда

Здравствуй, Борис! Шесть утра, все веет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу (две разные радости: пустое ведро, полное ведро) и всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца (уже с полным) вторые скобки: все еще спали – я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой, утра и ночи, вставая в тебе, ложась в тебе.

Да, ты не знаешь, у меня есть стихи к тебе, в самый разгар Горы (Поэма конца – одно. Только Гора раньше и – мужской лик, с первого горяча́, сразу высшую ноту, а Поэма конца – уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы, я, когда ложусь, – не я, когда встаю! Поэма горы – гора, с другой горы увиденная, Поэма конца – гора на мне, я под ней). Да, и клином врезавшиеся стихи к тебе, недоконченные, несколько, взывание к *тебе* во мне, к *мне* во мне.

Отрывок:

…В перестрелку – скиф,
В христопляску – хлыст,
– Море! – небом в тебя отваживаюсь.
Как на каждый стих —
Что на тайный свист
Останавливаюсь,
Настораживаюсь.
В каждой строчке: стой!
В каждой точке – клад.
– Око! – светом в тебе расслаиваюсь,
Расхожусь. Тоской
На гитарный лад

Перестраиваюсь,
Перекраиваюсь…

Отрывок. Всего стиха не присылаю из-за двух незаткнутых дыр. Захоти – и стих будет кончен, и этот, и другие. Да, есть ли у тебя три стиха: ДВОЕ, посланные мною тебе летом 1924 г., два года назад, из Чехии? (Елена: Ахиллес / – Разрозненная пара, – Так разминовываемся – мы, Знаю – один / Ты́ – равносущ / Мне.) Не забудь ответить. Тогда пришлю.

Борис, у Рильке взрослая дочь, замужем где-то в Саксонии, и внучка Христина, двух лет. Был женат, почти мальчиком, два года – в Чехии – расплелось. Борис, последующее – гнусность (моя): мои стихи читает с трудом, хотя еще десять лет назад читал без словаря ГОНЧАРОВА. (И Аля, которой я это сказала, тотчас же: «Я знаю, знаю, утро Об*лом*ова, там еще с*лом*анная галерея».) Гончаров – таинственно, а? Тут-то я и почувствовала. Когда Tzarenkreis – из тьмы времен – прекрасно, когда Обломов – уже гораздо хуже. Преображенный – Рильке (родит<ельный> падеж, если хочешь? Рильке'м) Обломов. Какая растрата! В этом я на секунду увидела его иностранцем, т. е. себя русской, а его немцем. Унизительно. Есть мир каких-то твердых (и низких, твердых в своей низости) ценностей, о котором ему, Рильке, не должно знать ни на каком языке. Гончаров (против к<оторо>го, житейски, в смысле истории русской литер<атуры> такой-то четверти века ничего не имею) на устах Рильке слишком теряет. Нужно быть милосерднее.

(Ни о дочери, ни о внучке, ни о Гончарове – никому. Двойная ревность. Достаточно одной.)

* * *

Что еще, Борис? Листок кончается, день начался. Я только что с рынка. Сегодня в поселке праздник – первые сардины! Не сардинки, потому что не в коробках, а в сетках.

А знаешь, Борис, к морю меня уже начинает тянуть, из какого-то дурного любопытства – убедиться в собственной несостоятельности.

* * *

Обнимаю твою голову – мне кажется, что она такая большая –

по тому, что́ в ней – что я обнимаю целую гору, – Урал. «Уральские камни» – опять звук из детства. (Мать с отцом уехали на Урал за мрамором для Музея. Гувернантка говорит, что ночью крысы ей отъели ноги. Таруса. Хлысты. Пять лет.) Уральские камни (ДЕБРИ) и Хрусталь графа Гарраха (Кузнецкий) – вот все мое детство. На́ его – в тяжеловесах и в хрусталях.

* * *

Где будешь летом? Поправился ли Асеев? *Не болей.*
Ну, что́ еще?
– ВСЁ! —

М.

<На полях:>
Замечаешь, что я тебе дарю себя ВРАЗДРОБЬ?

Письмо 57
<май 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Б.

Море я полюблю, когда начну его писать, займусь им, вникну в него.

Ты в слово современный вкладываешь всё, что я во вневременный.

Ты более чем кто-либо оговорочен.

* * *

У меня мое море, наше с тобой.

Письмо 58
5 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Горячо благодарю тебя за всё. – Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознанья. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтенье тебя (настоящее), и разговор с тобой, придется отложить. Может быть я ошибаюсь в сроке, и все это станет возможно гораздо скорее. – У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал, в сравненья с тем, что скажу. У меня на руках в теченье дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе по той же причине непринадлежности себе. Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоем случае, чтении, мне показалось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть в «Крысолове», удивительно построенном и скомпанованном. Эти места таковы, что, возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над *определеньем* неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке м.б. не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и *точным*. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») – Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову» и во всяком случае той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал. – Эренбург пришел ко мне, пробыв тут вне досягаемости неделю. Он еще не все мне передал. Из оттисков только «Гору» и «Крысолова» в 1-м экземпляре. На квартире, где он остановился, его никогда не застать. – Лучше всего с фуфайкой и с кожаной тетрадью для стихов. Обе положил, первую в ожидании зимы, вторую – в ожиданьи (безнадежном) какой-нибудь неслыханной мысли, – без горечи и боли, которая вызывается во мне взглядами других подарков, устремленными в мою теперешнюю пустоту. Деньги, до полученья, мечтал отдать Асе. Но они пришли в очень

критическую минуту, и мне, пока что, от этой мечты приходится отказаться. Положенье, на первый взгляд, такое. Человек бушевал и обновлялся при виде маленькой карточки и вот получил большую. Человек обезумел от некоторых мест поэмы и вот получил две. На него пролился золотой дождь, и с его каплями в волосах он адресуется к источнику: погоди, мол, я завтра поблагодарю тебя. Как бы ни было велико у тебя искушенье увидать это в таком роде, как бы ни было велико правдоподобье образа, гони этот призрак, ничем не похожий на истину. Лучше всего было бы в точности исполнить просьбу: забыть меня на месяц. Ради Бога, не взрывайся. Впрочем, я готов допустить и крайность с твоей стороны. Я так в своих надеждах тверд, что готов все начать сызнова. – Была у меня мысль послать тебе в этот промежуток написанную половину Шмидта, «Поверх барьеров» и еще всякой дребедени с условьем, чтобы ты мне об этом ни слова не писала, пока я не возобновлю человеческого разговора с тобой. Но Шмидта не хочу окружать оговорками и вообще не пошлю, пока не будет кончен. С тем падает и весь план. Опять были частные совпаденья: блюдце (о море), множество выражений, рифм и пр. в поэмах.

Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон, верно, упущен, но что делать. Боюсь лета в городе – духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного страданья). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодатностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е. – метафоры неуместны – прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыравнявшимся заработком. Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного приниженья Жени, тебя, себя самого и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеянью обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда *единственное* чистое и безусловное его место составляет *работа*.

Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.

7 июня 1926 г.

Совпаденья словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышлю, чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры написал под влияньем Крысолова. О Барьерах. Не приходи в

унынье. Со страницы, примерно, 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) – начало, говорю я, еще м.б. терпимо. Непозволительное обращенье со словом. Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы – пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, кот<орой> это посвящено, – из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, м.б. бóльшем, чем в следующих книгах. Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, *отчасти* того же порядка, что и ошибки твоей творческой *философии*, проскользнувшие в последних письмах. Прости за смелость, – я это кругом обошел и знаю.

<На полях:>

Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т. е. правил и выпускал он.

О Шмидте два слова. Нетерпеж *послать* (*только послать*, на почту снесть). Между 7й и 8й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре (*совсем другой* человек пишет, нежели авт<ор> писем к «предмету»). Очень важная вставка. Почти готово, – но дошлю со 2-ой частью, где только и начинается драма. (Превращенье человека в героя в деле, в кот<орое> он не верит, надлом и гибель.) Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в Крысолове не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.

Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п.ч. мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, *уважаю*.

Мне позвонили из «Комсомольской правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой на № комсомола в Верстах! Ты меня ненавидишь, я это чувствую.

Письмо 59
6 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку

<О поэме «Попытка комнаты»:>

Я хотела дать любовь в пустоте: *всё* в *ничто*. Чувств<ую>, что любовь не получ<илась>, п.ч. есть вещи больше. *Они* – получились. Кроме того, у меня к тебе (с тобой) странная робость, скудость. Не затрагиваю. Точнее: не дотрагиваюсь. Ты ТО, что я люблю, не ТОТ, кого люблю.

Письмо 60
<нач. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

<Среди поправок к поэме «Попытка комнаты»:>

Борис, как я бы хотела тебе показать свои чернов<ики>. Тебе – тебе – тебе одному, никому больше. Тебе, не соглядатаю, а содеятелю, сопреступнику. Для одного 4-стишия столько столбцов и смыслов. <Над строкой: для одной рифмы сколько> Это крайняя заумная изощряемость мысли, изощряемость, доводящая нас до тупика и бросающая на постель. Ум за разум!

Письмо 61
10 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Тех писем не нагнать и не задержать в дороге. Впрочем, завтра попробую послать воздушной. – Ничего в них нет страшного или дурного. Но ими говорит то угнетенье, в котором я находился, пока не увидал второго письма Рильке к тебе. Теперь я люблю всё (тебя, его и свою любовь) так же бесконечно, как, в последний раз, 18-го мая (день твоей молчаливой пересылки). Знаешь, что меня тяготило последнее время? В твоих словах о нем мне стали мерещиться границы – тезисы об одиночестве и творчестве, вещи известные мне, как и тебе, не меньше; но, как это бывает со всем краеугольным, когда я его признаю и с ним соприкасаюсь, известные мне небрежнее, мимоходнее, обязательно в какой-нибудь частности, известные мне легче и живее, чем в твоей бесспорной формулировке. Ты же выражала их почти как ложь. *Я боялся, что ты любишь его недостаточно.* Мне трудно все это рассказать тебе с начала, с того предвосхищенья, которым была внушена вся весна, и поездка к тебе, и письмо к нему, и чутье всего, что должно было последовать: потянуть, полететь на нас из будущего. Я прекрасно понял (и это есть у меня в неотосланном письме) породистость и душевный такт твоей сдержанности при пересылке. Но именно то, что этому прирожденному движенью было оказано предпочтенье перед случайностью промаха (*не* промолчать, оказаться не золотой, а неизвестного состава), меня и огорчило. Уже этот конверт бесконечность затуманивал, если не упразднял. Моей, предвидевшейся мне (бесконечности) на наш счет, я в красоте твоей сдержанности не узнал. Марина, тебе не придется негодовать и удивляться: я сам дальше все это объясню, дай только договорить мне, это я не обвиняю, а оправдываюсь. И все, что ты потом ни писала, увеличивало несходство. Теперь все ясно. Я позволял своему чувству жить допущеньем, что мы светопрозрачны друг для друга, т. е. что мое письмо к нему прошло через тебя и что мои домыслы о вашем знакомстве равносильны невиденным фактам. Твои же слова о нем, т. е. та сторона их, которая была *производной* и шла в ответ на мою *путаницу* <подчеркнуто дважды> и беспокойство, не только не успокаивали, а их усугубляли. Я сказал уже. Двумя химерами отдавали эти ответы (*моя* вина). Мне представилось, что у тебя есть границы, которые *я* могу увидеть (представляешь точность

горя!). Я пришел к мысли, что ты его не любишь, как надо и можно, как я (представляешь и это!!). А ты еще подливала масла в огонь: Гончаров, Marine и пр. Теперь эти химеры рассеяны, не тобою, п.ч. даже в твоем последнем письме (лавр оценен и съеден) – ты продолжаешь бить меня по тому же больному месту: тычешь границами (выдуманными) его якобы и своего чувства к нему, а вместе с тем, в этой части и неизбежно, при всей моей reconnaissance[46] к тебе («Благонамеренный», Цветаева), – и призраком своих собственных.

Химеры рассеяны его изумительным вторым письмом к тебе. По этому ответу легко заключить о твоих к нему. Вот чего мне все время недоставало, и удивительно, как ты этого не поняла. Вместо того, чтобы переписывать его строчку о силе *моего* письма, ты должна была именно хоть строчку (т. е. знак только какой-нибудь) дать из его письма о твоей силе, из его письма о его силе с тобою. Тогда бы время не перекосилось так, как это случилось. Правда, однажды ты наконец догадалась сказать мне, как это велико у тебя и как велика отдача, и этого было бы за глаза довольно с меня, когда бы в том же письме ты не рассердилась на что-то и не затемнила сказанного первым приступом межевых страстей. Теперь *все* однородно, уподоблено, поднято на исходную высоту, вольно порознь и благодатно в целом. *Больше сноситься об этом не надо* 2[47]. Горячо верю, что если ты уже успела провиниться перед той стороной (а как мне этого не бояться при твоих письмах со схемами), то задолго до этих рассуждений (воображаю, как они тебе отвратительны) все восстановлено тобою же. Ужасно страдаю, что не могу написать ему сейчас, что не пора. Я уже говорил тебе, что у меня сумбур, пыль и моль летает, и деньги доставать, и своих отправлять за границу. Крысолова перечел и хочу сегодня же написать тебе о нем. Если это примут воздушною, то придет через дня три-четыре вслед за этим. Нам надо любить друг друга по твоим правилам («Благодарность»). *И я не ошибся в тебе* <подчеркнуто дважды>. Но я так верю каждому твоему слову, что когда ты принялась умалять или оледенять его, я принял это за чистую монету и пришел в отчаянье, в котором бы и остался, если бы не его письмо к тебе (от 10/V). Оно тебя мне вернуло.

* * *

Эта радость пришла вчера. Перед этим ты мне снилась два раза подряд. Ночью (я лег в 5-м часу утра) и днем (досыпáлся в сумерки). Смутно помню только ночной сон. Ты сюда приехала. Я

тебя водил к твоим младшим сестрам (которых нет) в несколько домов, каждый из которых ты признавала домом своего детства, они выбегали в том возрасте, в котором ты их покинула, и так, в этом повторно колеблющемся шуме сменяющихся варьянтов какой-то очень глубокой темы (обладал ею я, и ты была девочкой перед моей душевной сединой), колтыхаясь, с горки на горку, из-под полка под поло́к, проволоклась перед нами летняя, сутолочная, неподвижно горящая Москва.

Крепко тебя обнимаю. Прощай мне всё.

Письмо 62
12 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис, я боюсь твоего следующего письма. Мне нужно с Вами поговорить – я этого боюсь пуще <пропуск одного слова>. Раз ты недоволен, я виновата – в чем? И *подтасовка* вин. Не внушай мне виновность, слишком легко, не становись в нескончаемый ряд моих обвинителей, когда все и вся обвиняют, только один ответ: Не виновата. Никогда. Ни в чем. Если *я* виновата – виноват Бог. Не внушай мне – моей еще раз виновностью – правоты. Не забрасывай мою голову назад, не ставь меня одну против всех и тебя. Я не виновата, что я такая родилась. Моя жизнь – по нотам. Ноты – на белом небесном листе.

Знаю, о чем еще, кроме вины: о вине будущей. Оставь это. Рассчитывай только на непредвиден<ность>, никаких замыслов и путей к осуществлению тебя в моей жизни, себя в твоей у меня нет. Год бы думала – не придумала. Не предрешай. Я не хочу тебя бояться. Судьба не предупреждает. Не предупреждай и ты.

<Приписка между абзацами:> Увидим в какую сторону.

Если ты решил все миром и ладом – тоска. Если ты решил – огнем и мечом – тоска. *Не решай* за жизнь, вспомни свои слова о деревьях. Не вмешивайся. Есть тысячу <так!> непредвиден<ностей>, которые ты (я) опускаем. Вспомни свою волну (на́ бок). Не я волна. Не ты.

Не иди ко мне *с готовым* <оборвано>

Ненавижу жизнь <оборвано>

Я боюсь тебе писать – а много нужно сказать – и о Рильке, и еще. Вот его новый адрес: <не вписан>. Ты просишь забыть на месяц, а сам забудешь через час <вариант: два> (уже забыл <вариант: что просил>). Забыть в дне, не ждать писем, не писать, *не мешать*. Помни, что ты сам меня просил об этом.

* * *

«Боюсь свободы, боюсь влюбиться». Это мне напомнило один долгий, до-весенний, совместный островитянский день на траве, на груди. И, на обратном пути, спутник, задумчиво. – «Как мне бы хотелось – вокруг света! Но конечно не одному. Как бы мне хотелось – влюбиться!» – И я, материнski: «Влюбитесь! Сбудется!» Борис, только что – ближе нельзя, глубже нельзя, рот и сердце,

полные мной и – «влюбиться!».

Вы не похожи с тем человеком, но сказали мне одинаков<о>, т. е. ясно и явно: *ты не в счет*.

От этого твоего возгласа мне стало… старше и спокойнее. И еще – глаза раскрылись! У тебя была волна ко мне, меня, *препятств<ия>,* – не было, разобьешься о любое (влюбленность). И еще: мы не хотим любить новое (и старого дост<аточно>), мы хотим целовать новое. —

Картина простая: дом, родство, вечная ценность – я (где-то – когда-то), милая сердцу прохлада – и: новый рот <над строкой: текущий счет <творчества?>>. Ты непосредственнее меня, у меня бы такая вещь не сорвалась, уже потому, что в другого – вонзается.

Одному рада: тяж<есть> заминк<и> с Рильке этой твоей «влюбленностью» снята. Совсем.

Мне не больно. Мне *взросло* и *ясно*.

* * *

Мне очень жаль тебя за твою трудную жизнь. Это у нас с тобой [всегда] останется: союзничество сочувствия <оборвано>

Вот тебе письмо Мирского, в котором, надеюсь, растворится мое. (Не я в Мирском – [то, о чем я] – в том, о чем он.)

<На полях:>

Дошли ли письма Рильке? Остальные дошлю, когда у тебя будет время.

Письмо 63
<сер. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Ты не дум<аешь> о том, что мы с тобой клеймленые какие-то? И – перескоком – сколько сглазу! Нас с тобой обглядят (как обгложут). О, как я ненавижу глаза, регистрацию их. Я почему-то сейчас увид<ела> нас с тобой – в июле – вниз по Пречистенскому бульвару. Ты с тем раскланиваешься, я с тем, и еще, и еще… Борис, никогда я еще ни одной встрече так не ужасалась, как нашей: я не вижу места свершения ее. Твоя мысль была гениальна: Рильке. У меня есть виды его жилища: Muzot, замок XIII века, одинокое зданье, в горах.

Сначала я безумно любила твои стихи, потом – свои стихи к тебе – потом свои возвраты к тебе (ТЫ – близ<ко>), а сейчас, кажется, просто тебя.

Письмо 64
<ок. 13 июня 1926 г.>
Пастернак – Цветаевой

Мой друг.

Я прочел еще раз Крысолова, и у меня уже написано полписьма об этой удивительной вещи. Ты увидишь и не пожалеешь. Я не могу дописать его сейчас. Я все расскажу тебе потом. В разговоре о Крысолове будут ссылки и на свое: недавнее, нехорошее (Высокая Болезнь) – (не люблю) – (прилагаю); и на одно давнее, подлинное, нигде не напечатанное (перепишу и вышлю, при той первой возможности, кот<орая> будет и возможностью продолженья письма). Ни о чем высланном уже и высылаемом (ни даже о Барьерах) ничего не говори, пока не получишь «Чужой Судьбы» (рукоп<ись> 1910 г.) и письма о Крысолове. Тогда и спрошу обо всем в целом, т. е. посоветуюсь с тобой, как быть, и поправимо ли десятилетье. Да, еще посылаю вставку под 8ю цифру в Шмидта, письмо к сестре. На все посланное смотри как на судебный матерьял. Исподволь посылаю, чтобы под руками был, когда заговорим. В письме о Крысолове будет не о вещи только, о многом еще, много личного, – словом, обо всем, вызванном вещью. Поэмы Горы не перечитывал. Вот отчего о ней речи пока нет. Всеми помыслами люблю тебя и крепко обнимаю. Не верю в свой год до тебя. Что под встречей с тобой понимаю, если это требует еще разъясненья, тоже в Крысолововом письме.

Письмо 65
14 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Того письма о Крысолове, которое начал на днях, не дописать. Начинаю наново, а то уничтожу. Оно начато с дурною широтой, слишком с разных сторон сразу, слишком лично, слишком изобилует воспоминаньями и личными сожаленьями. Т. е. оно чересчур эгоистично, и эгоизм его – страдательный: это барахтанье всего существа, получившего толчок от твоей сложной, разноударной поэмы. Крысолов кажется мне менее совершенным и более богатым, более волнующим в своей неровности, более чреватым неожиданностями, чем Поэма Конца. Менее совершенен он тем, что о нем хочется больше говорить. Восхищенность Поэмой Конца была чистейшая. Центростремительный заряд поэмы даже возможную ревность читателя втягивал в текст, приобщая своей энергии. Поэма Конца – свой, лирически замкнутый, до последней степени утвержденный мир. Может быть, это и оттого, что вещь лирическая и что тема проведена в первом лице. Во всяком случае, тут где-то – последнее единство вещи. Потому что даже и силовое, творческое основанье ее единства (драматический реализм) – подчинено лирическому факту первого лица: герой = автор. И художественные достоинства вещи, и даже больше, *род* лирики, к которому можно отнести произведенье, в Поэме Конца воспринимаются в виде психологической характеристики героини. Они присваиваются ей. В положении, что большой человек написал о большом человеке, вторая часть перевешивает первую, и изображенный удесятеряет достоинства изобразившего.

Что может, вообще говоря, служить началом единства и окончательности несобственной, *не* перволичной лирики? Чтобы долго не думать и ответить тотчас, доверюсь беглому ощущенью. Тут два фокуса. Редко они уравновешиваются. Чаще борются. Однако для достиженья окончательной замкнутости вещи и тут требуется либо равновесие обоих центров (почти немыслимое), либо совершенная победа одного из них, или хотя бы долевая, неполная, но *устойчивая*. Такими фокусами мне кажутся: 1. Композиционная идея целого (трактовка ли откровенно сказочного образа, или вымысла мнимо правдоподобного, или любой другой предметной тенденции). Это один центр. 2. Технический характер сил, двинутых в игру, химическая характеристика материи, ставшей в руках первой (1) силы миром;

спектральный анализ этого небесного тела. Бесконечность первой волны упирается в идеальное бессмертие предмета (вселенной). Бесконечность второй, завершаясь горячим, *реальным* бессмертием энергии, есть, собственно говоря, поэзия – в ее ключевом бое. В Крысолове, несмотря на твою прирожденную способность *компоновать*, мастерски и разнообразно проявленную в Сказках, несмотря на тяготенье всех твоих циклических стихотворений к поэмам, несмотря наконец на изумительность композиции самого Крысолова (крысы как образное средоточье всей идеи вещи!! социальное перерожденье крыс!! – идея потрясающе простая, гениальная, как явленье Минервы) – несмотря на все это – поэтическое своеобразие ткани так велико, что, *вероятно*, разрывает силу сцепленья композиционного единства, ибо таково именно действие этой вещи. Сделанное в ней говорит языком *потенции*, как это бывает у больших поэтов в молодости или у гениальных самородков – в начале. Это удивительно молодая вещь, с проблесками исключительной силы. Действие голого поэтического сырья, т. е. проще, сырой поэзии, перевешивает остальные достоинства настолько, что лучше было бы объявить эту сторону окончательным стержнем вещи и написать ее насквозь сумасшедше.

Может быть, так она и написана, и в последующих чтеньях под этим углом у меня и объединится. Св<ятополк>-Мирский очень хорошо и верно сказал о надобности многократного вчитыванья. – Замечательно, что в самой композиции были два мотива, двинувшие тебя по пути оголенья поэзии и писания чистым спиртом. Это, во-первых, издевательская нота сатиры, сгустившая изображенье до нелепости и т<аким> обр<азом> и параллельно этому доведшая *аффект* выраженья до крайности, до той крайности, когда, разгоревшись среди высказанного, *физическая* сторона говора в дальнейшем овладевает словом как предметом второстатейным и начинает *реально* двигаться в нем, как тело в одежде. Это конечно благороднейшая форма зауми, та именно, которая заключена в поэзии от века. Хорошо и крупно, что она у тебя не в случайных мелочах и не на поверхности, как это часто бывало у футуристов, а вызвана внутренней мимикой, совершенно ясна и, как кусок музык<ального> произведенья, подчинена всему строю (напр<имер>, Рай-город и пр.). Потом она – предельно, почти телесно – ритмична. Вторым поводом в сюжете для разнузданья поэзии был мотив музыкальной магии. Это ведь была отчаянно трудная задача! Т. е. она ужасно затруднена реализмом прочего изложенья. Это точь-в-точь как если бы факиры своим чудесам предпосылали речь о гипнозе или

фокусники – объясненье своих приемов и потом, разоружившись, все-таки бы ошеломляли! Т. е. ты понимаешь, начни ты всю поэму с «Ти-ри-ли», «Индостан» – это было бы в тысячу раз легче, чем дать одним и тем же языком и жестом сперва – правдоподобье (отрицанье чудес) и затем – чудо. Словом, никакая похвала не достаточна за эту часть шедевра, за *эту* его чудесность. Но сколько бы я ни говорил о «Крысолове», как о законченном мире со своими качествами, постоянно будут нарастать кольца, типические для всякой *потенции*. Говоришь о вещи, нет-нет соскользнешь на речь о поэзии вообще; говоришь о тебе, то и дело подымаются собственные сожаленья: силы, двинутые тобою в вещь, страшно близки мне, и особенно в прошлом. Не прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественным – пути.

– *Перебои*, ритмическое перемеженье мысли заскакивающими (ровно насколько можно) скобками другой. «Фиговая! Ибо что же лист / Фиговый (Mensch wo bist)[48] / Как не прообраз ее? (Bin nackt)[49] / Наг, потому робею».

Осатаненье восстающего на себя ритма, одержимость приступом ускоряющегося однообразья, стирающего разность слов и придающего несущейся интонации видимость и характер слова. В партии Рай-город эта стихия матерьялизуется до *предела* в переходе: Кто не хладен и не жарок, прямо в Гаммельн поез-жай Город – и знакомый, уже раньше поразивший дикостью, лейтмотив целиком, точно лошадь в реку, обрушивается в несущееся дальше изложенье, чтобы сразу пресечься рожком ночного сторожа. (Замечательно.) Такое задалбливанье, анестезированье слова встречается не раз в Поэме и постоянно служит либо эквивалентом насмешки (почти высовыванье языка), либо материализацией флейтового лейтмотива. Вообще ты в этом отношении Вагнерианка, лейтмотив твой преимущественный и сознательный прием. Так, чудесно набеганье того же лейтмотива в след<ующей> главе, где он, помимо напоминанья, представляет еще варьянту горячности (вместо сарказма – волна гордости): В моих (через край-город). В этой второй главе прекрасен переход от сравнительной аритмии рассужденья о снах, досадливого и против воли копанья – к партии «замка не взломав», которая кажется возмущеньем подавленного ритма. Это ощущенье не обманывает, ритм, разбушевываясь, как всегда у тебя, начинает формировать *лирические сужденья* (Не сущность вещей – вещественность сути. Не сущность вещей – существенность вещи.) Это собственно – поэтический полюс зауми. Во всех смыслах. Т. е. я так его всегда переживал. Диаметральные противоположности возможны лишь как

завершенья *однородной* сферы. Они достаточны для ее построенья, т. е. они дают все и все исчерпывают. Какая однородность связует законченную лирическую сентенцию Лермонтова с матерьяльным до бессмыслицы звучаньем иных элементов его стиха? (Лерм<онтова> я взял потому, что при его дилетантской подчас аффектации посторонних поэзии вещей, при множестве дурных стихов, при его двойственности в деле эмоции – в одном случае истинная эмоция поэта, – в других якобы нечто большее: слабость и беспорядок «искренности», при всем этом вдвойне поразительна его сухая мизантропическая *сентенция*, задающая собственно тон его лирике и составляющая если не поэтическое лицо его, то звучащий, бессмертный, навеки заражающий индекс глубины.) Так вот. Ту и другую крайность связует их общий родник: движенье. Твои нагромождающиеся друг на друга определенья всегда сопутствуют апогею ритма, всегда своею формой и содержаньем ему обязаны, всегда, наконец, натуральны в этом именно месте возвысившейся до предела стихии, начинающей мыслить и швыряться определеньями, формулами, пифическими «мантиссами», кусками оформленного смысла. Точно так же и разлеты в тупики осязаемого слова, т. е. в элементы губного, горлового и мышечно-шейного возбужденья или охорашиванья – порождаются изгибами и поворотами ритма. Но в этой поэтической физике «бесконечно большое» (определенье, сентенция, философствующее слово) удавались тебе всегда несравненно больше, чем выраженье «бесконечно малого» (основанье качества, тональность образа, неповторимости и пр.). – Опять радостно узнать, при повторении, что прокатившаяся часть была лейтмотивной (Засова не сняв, замка не затронув). Я уже сказал, что в этой вещи *частности* отобраннее, чем это у тебя в обычае:

Гусиных перьев для нотариуса.

Полка с мопсами в лавке глиняной!

В Напасти снова удивительная музыка.

За несколько минут перед этим пришла Женя с известием, что получила загр<аничный> паспорт. Бросаю письмо. Надо доставать деньги. Вообще взволнован и отвлечен. Думал поспеть до этого, – не вышло.

18 июня 1926 г.

Знаешь что? Пошлю-ка тебе пока эту ерунду. Слух тебя не

обманет. Ты по вялости и топтанью на месте восстановишь хаос, в кот<ором> я урывками конспектировал этот разбор. При первой возможности (думаю, через неделю) допишу и дошлю. Самые замечательные части, конечно, Увод и Детский рай, и часть «Напасти». Т. к. я неизбежно забуду, что́ тут писал (*так* писано), то ты не будь в претензии, если в дальнейшем обсужденья встретишь повторенья сказанного.

Затем еще вот что. Тебе конечно покажется, что в этом Сакулинско-Коганском разборе нет веянья жизни (моей, твоей, всякой истинной). Ну так вот тебе. Больше года мы жили без крыс, когда-то (плод разрухи) нас одолевавших. В день прочтенья поэмы опять набежали, пришлые, на дворе ремонт. Толкуй эпизод как знаешь. Я с ними конечно не уживусь и выведу, хотя бы они и были притянуты лирикой. Но все-таки это интересно.

Ужасно хочется работать. Перерыв затянулся. Как только работу возобновлю, приду и душевно в более ясное, упорядоченное состоянье. Сейчас себе не принадлежу.

Если ты мной недовольна, несмотря на объясненья и причины, которые твое воображенье воссоздаст во всей живости, если захочет; если ты все-таки мной недовольна, скажи это прямо, а не давай этому чувству раствориться в общем тоне слов. Такой раствор всегда огорчительнее чистого недовольства во всей крепости. Тут дается простор мнительности и собственной печали.

Также залежалось дополненье к Шмидту. Или я отослал уже его? Последние недели перепутались у меня в памяти, и ответ на эту неуверенность даст мне письменный стол, хотя и он в совершенном запуске. Значит, если не дослал, прилагаю. Вторую часть начну писать по отъезде своих. А забот-то, забот!

И Рильке еще не поблагодарил. Простится ли?

<На полях:>

Отсылаю не перечитывая. Ты все знаешь.

Письмо *66*
St. Gilles, 21 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку

Мой дорогой Борис,

Только что – Шмидт, Барьеры и журналы. Пишу только, чтобы известить, что дошло. Ничего еще не смотрела, потому что утро в разгаре. Одновременно письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас, либо отказаться от чешской стипендии. («Отказаться» – ход неудачно построенной фразы, просто в случае невозврата – отказывают.)

Возвращаться сейчас невозможно – домик снят и уплочено до половины октября, кроме того – нынче первый солнечный день, первое море, Борис. Возвращаться ни сейчас, ни потом *мне* невозможно: Чехию я *изжила*, вся она в Поэмах Конца и Горы (герой их 13-го обвенчан), Чехии просто нет. Вернусь в погребенный черновик.

Следовательно, – (невозвращение) – я на улице. Думаю (непонятный отказ чехов, обещавших стипендию по крайней мере до октября) – эхо парижской травли («Поэт о критике» – травля), а м.б. и донос кого-нибудь из пражских русских: везде печатается, муж – редактор и т. д. С.Я. получает с № (Версты), причем I еще не вышел, а II намечается только к октябрю.

Пишу в Чехию с просьбой выхлопотать мне *заочную* стипендию, как Бальмонту и Тэффи, которых чехи содержат, никогда в глаза не видав (меня видели, всегда с ведром или с мешком, *три с половиной года,* – не нагляделись, должно быть!).

Пишу в сознании полной бессмысленности. Явный подвох какого-нибудь завистника. (Завидовать – мне! И, после краткого вдумывания: да, можно, но тогда нужно просить Господа Бога, чтобы снял меня с иждивения, а не чехов.)

Кроме того (возврат в Чехию), в Чехии С.Я. делать нечего. Ни заработков, ни надежд. Даже на фабрику не берут, ибо русских затирают.

* * *

Таков мой жизненный поворот. Не принимай к сердцу, огляди издали – как я. Почему сообщаю? Чтобы объяснить некоторую заминку с Шмидтом, – дня три уйдут на письма, т. е. те полтора-два часа в день, которые у меня есть на графику, ту

или иную.

Борис, где встретимся? У меня сейчас чувство, что я уже нигде не живу. Вандея – пока, а дальше? У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю.

Громовая статья П.Струве (никогда не пишущего о литературе), статьи Яблоновского, Осоргина, многих, – всех задетых (прочти «Поэт о критике», поймешь) – чья-то зависть – чья-то обойденность – и я на улице, я – что! – дети.

Мур ходит, но оцени! только по плажу, кругами, как светило. В комнате и в саду не хочет, ставишь – не идет. На море рвется с рук и неустанно кружит (и падает).

Да, Борис, о другом. В Днях перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, – Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это всё временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева» и т. д.

Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает.

Между нами – такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.

«Но всё это – временное», а —

«Время – горе небольшое:
Я живу с твоей душою…»

Скоро напишу, Борюшка, это письмо не в счет.

М.

<На полях:>

Шмидт получен, скоро получишь о тебе и мое. И еще элегию (мне) Рильке. Люблю тебя.

Письмо *67*
<втор. пол. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Можно ли, любя Рильке, не любить его больше всего на свете, можно ли, любя Пастернака, не любить его больше всего на свете, можно ли, любя своего сына, не любить его больше всего на свете. Можно ли, любя Гёте – <оборвано>. Можно ли, осмеливаясь произнести или даже не осмеливаясь произнести люблю, не давать всего себя целиком, назад, вперед, навсегда, во веки веков, аминь.

Борис, я люблю его больше всего на свете, больше тебя. Этого ты хотел? Если да, ты совершенн<о> божественное чудовище, как я, но это скобка.

Линия я – Рильке, я – ты, я – сын и т. д. существуют только по прямому проводу. Обращаясь с этими словами *ему* – к тебе, я лгу.

Правда существ<ует> – будь вним<ателен> – в секунду от меня к нему и вторично, через стих. Мой рассказ тебе о нем, о себе к нему будет ложь, п.ч. рассказ, а совершалось это не рассказом. Всякий рассказ ложь, п.ч. направлен [к тебе], а совершался вне направления. Выведение из одного состояния (времени глагола) в другое.

Рильке я написала о себе: ich bin Viele, Unzählige vielleicht. Eine unersättliche Unzahl und Keiner will vom andern wissen, soll nicht. Sie kennen sich gar nicht, sie treffen sich manchmal nur im Traum[50]. Тюрьма с одиночными камерами, без перестукивания. Или перестукивающаяся только моим единым безличным сердцем, бьющимся в каждом.

Борис, когда я говорю с тобой, я говорю в тебя, т. е. *всё* есть *ты. Ты* вызываешь слова, не я их говорю. *Ты* берешь, не я даю. Я под твоим давлением, и я твоя.

Чтобы все мои любови (Гёте + Гёльдерлин + маленькая девочка на плаже + + +) растворились в одной, шли вечером домой, как блудное (ибо врозь пасутся) стадо – это, да?

<Запись после письма:>

Каждый есть абсолют и требует абсолюта.

Борис, ты заметил, что несколько человек переписываются?

Письмо 68
1 июля 1926 г., четверг
Цветаева – Пастернаку

Мой родной Борис,

Первый день месяца и новое перо.

Беда в том, что ты взял Шмидта, а не Каляева (слова Сережи, не мои), героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет, еще точнее – на этот раз заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты. Что такое Шмидт – по твоей документальной поэме? Русский интеллигент 1905 г. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова и море!), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь *пенснейной*. Люблю дворянство и народ, цветение и недра, Блока шинели и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шутки, та же невеселость ее.

В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею[51]. Убеждена, что письма почти дословны, – до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного!

Прекрасна Стихия. И естественно, почему. Здесь действуют большие вещи, а не маленький человек. Прекрасна Марсельеза. Прекрасно всё, где его нет. Поэма несется мимо Шмидта, он – тормоз. Письма – сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились? Пиши я, я бы провалила их на самое дно памяти, завалила, застроила бы. Почему ты не дал зрительного Шмидта – одни жесты – почему ты не дал Шмидта «сто слепящих фотографий», не дающих разглядеть – что́? – да уныние этого лица! Зачем тебе понадобился подстрочник? Дай ты Шмидта в действии – просто ряд сцен – ты бы поднял его над действительностью, гнездящейся в его словесности.

Шмидт не герой, но ты герой. *Ты*, описавший эти письма!

(Теперь мне совсем ясно: ополчаюсь именно на письма, только на письма. Остальное – ты.)

Да, очень важное: чем же кончилась потеря денег? Остается в тумане. И зачем этот эпизод? Тоже не внушает доверия. Хорош офицер! А форма негодования! У офицера вытащили полковые деньги, и он: «Какое свинство!» Так неправдоподобен бывает только документ.

Милый Борис, смеюсь. Сейчас, перечитывая, наткнулась на строки: «Странно, скажете, к чему такой отчет? Эти мелочи относятся ли к теме?» Последующим двустишием ты мне уже ответил. Но я не убеждена.

Борис, теперь мне окончательно ясно: я бы хотела *немого* Шмидта. Немого Шмидта и говорящего тебя.

* * *

Знаешь, я долго не понимала твоего письма о «Крысолове», – дня два. Читаю – расплывается. (У нас разный словарь.) Когда перестала его читать, оно выяснилось, проступило, встало. Самое меткое, мне кажется, о разнообразии поэтической ткани, отвлекающей от фабулы. Очень верно о лейтмотиве. О вагнерианстве мне уже говорили музыканты. Да, всё верно, ни с чем я не спорю. И о том, что я как-то докрикиваюсь, доскакиваюсь, докатываюсь до *смысла*, который затем овладевает мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом. Об этом ты говорил?

* * *

Борис, ты не думай, что это я о твоем (поэта) Шмидте, я о *теме*, о твоей трагической верности подлиннику. Я, любя, слабостей не вижу, всё сила. У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять Есенина. Ты дал живого Шмидта, чеховски-блоковски-интеллигентского. (Чехова с его шуточками-прибауточками, усмешечками ненавижу с детства.)

Борис, родной, поменьше писем во второй части или побольше, в них, себя. Пусть он у тебя перед смертью вырастет.

* * *

Судьба моя неопределенна. Написала кому могла в Чехии. «Благонамеренный» кончился. Совсем негде печататься (с двумя газетами и двумя журналами разругалась). Будет часок, пришлю тебе нашу встречу. (Переписанную потеряла.) Пишу большую вещь, очень трудную. Полдня уходит на море – гулянье, верней, сиденье и хожденье с Муром. Вечером никогда не пишу, не умею.

М.б. осенью уеду в Татры (горы в Чехии), куда-нибудь в

самую глушь. Или в Карпатскую Русь. В Прагу не хочу – слишком ее люблю, стыдно перед собой – той. Пиши мне! Впрочем, раз я написала сегодня, наверное получу от тебя письмо завтра. Уехали ли твои? Легче или труднее одному?

<На полях:>

Довез ли Э<ренбур>г мою прозу: Поэт о критике и Герой труда? Не пиши мне о них отдельно, только если что-нибудь резнуло. Журналов пока не читала, только твое.

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне цельный мой день. Тогда бы я переписала тебе Элегию Рильке и свое.

Напиши мне о летней Москве. Моей до страсти – из всех – любимой.

Письмо 69
1 июля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Ты напрасно будешь искать ответа на последние три письма. А между тем от одного предположенья, что в каком-то смысле рука, протянутая к тебе, будет пуста, мне больно, некстати больно, т. е. вредоносно больно одною лишней болью сверх общей усталости и упадка. Распространяться не хочу, писать не перепишешь. Больше чем когда-либо мне сейчас приходится заботиться о покое и нравственном равновесии, эгоистически и на границе смешного, как старой деве. Я остался один в городе, по многим причинам, из которых главная в твоем обладаньи, и с единственной целью – поработать с пользой, то есть с усиленной и ускоренной выработкой, чтобы быть на будущий год сильнее средствами и досугом. Я сейчас очень бегло назову одну вещь, вероятно известную тебе другой стороной, чем мне, может быть и вовсе даже непонятную. Может быть это меня покажет с новой и дурной стороны. Но не стыжусь сознаться. Я боюсь лета *в городе*, потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и *извращена*, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявленьем нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара. Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: тут пошли бы… искушенья св. Антония. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении воздерживающейся крови. Ты прости, что я об этом говорю. На всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясеньи, держится, как на стонущих дугах, все последствующее благородство духа, разумеется до конца идиотское, ангельски трагическое.

Это самая громкая нота во вселенной. В *этот* <подчеркнуто дважды> звук, несущийся сквозь мировое пространство, я верю больше, чем в музыку сфер. Я его слышу. Я не в силах повторить его или даже вообразить себе в его вихревой, суммарно-сонмовой простоте, моя же словесная лепта в этом стержневом стоне – вот она. Я жалуюсь всеми сердечными мышцами, я жалуюсь так полно, что если бы, купаясь, я бы когда-нибудь утонул, ко дну пошла бы трехпудовая жалоба о двух вытянутых руках, – я

жалуюсь на то, что никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя, и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т. е. если бы не было вашей сестры миллионов; я жалуюсь на то, что Адама в Бытии не чувствую и не понимаю; что я не знаю, как у него было устроено сердце, как он чувствовал и *за что* жалел. Потому что только за то я и люблю, когда люблю, что, правым плечом осязая холод правого бока мирозданья, левым – левого, и значит, застилая все, во что глядеть мне и куда идти, она в то же время кружит и моется роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе дозволенного обнаженья.

Но я напрасно выбалтываю это тебе, дорогая подруга. Горько м.б. уже и то, что механизм чувства *я знаю* по той боли, какую он мне иногда причиняет изнутри. Зачем еще открывать его тебе. Бог тебя знает, как ты еще на него взглянешь. И потом, никогда ничем хорошим не может пахнуть машина. Как я рад, что пишу тебе. Мне становится чище и спокойнее с тобою. – Мы думаем одинаково в главном. Полушутливых опасений «влюбиться» ты не поняла. Тут то же самое. Та же двойственность, без которой нет жизни, то же *горе* подкатывающих к сердцу и к горлу качеств – родных, именных, тех же, что во мне законном, *но* излившихся за мои контуры, весь век барабанящих по периферии. Из них построен мир. Я люблю его. Мне бы хотелось его проглотить. Бывает, у меня учащается сердцебиенье от подобного желанья и настолько, что на другой день сердце начинает слабо работать. Мне бы хотелось проглотить этот родной, исполинский кусок, который я давно обнял и оплакал и который теперь купается кругом меня, путешествует, стреляется, ведет войны, плывет в облаках над головой, раскатывается разливом лягушачьих концертов подмосковными ночами и дан мне в вечную зависть, ревность и обрамленье. (Знакомо? Знакомо?) Это опять нота единства, которой множество дано во звучанье, для *рожденья звука*, на разжатых пястях октав. Это опять – парадокс глубины.

Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я. До чего мне упущенная, нулем или не мной вылетевшая возможность, кажется шелком против меня! Черным, загадочным, счастливым, отливающим обожаньем. Таким, для которого устроена ночь. Физически бессмертным. И смерти я страшусь только оттого, что умру я <подчеркнуто трижды>, не успев побывать всеми другими. Только иногда, за письмами к тебе и за твоими, я избавляюсь от ее дребезжащей, поторапливающей угрозы. Дай я обниму тебя сейчас крепко, крепко и расцелую, всем накопившимся за рассужденьями. Но нежность была во всех этих мыслях. Ты ее слышала?

О не исключающих друг друга исключительностях, об абсолютах, о *моментальности* <подчеркнуто дважды> живой правды.

Слава Богу, что так. Нам легко будет – общий язык одной черты. Ты знаешь, о чем я? О письме про Рильке, про Гёте, Гёльдерлина, Гейне. Про «больше всех на свете». Главное же о моментальности правды.

На этом у меня бывали расхожденья с людьми. Про себя давно имел обыкновенье говорить, что я могу быть дорог, близок, легок и постоянен тому, кто знает, что мгновенье соперничает только с вечностью, но больше всех часов и времен. Надо заводить что-то не свое, общечужое, чтобы в продолженьи часов сидеть с человеком, хорошо себя чувствующим в часах. Это как партия пернатого с пресноводным. А как это ужасно в любви!

2 июля 1926 г.

Я нарочно не перечитываю. Прямо с последней строки я пошел к Эренбургу, собиравшемуся на вокзал. Попал на какое-то подобье прощального обеда. Были Майя, Сорокин и еще какой-то человек, кот<орого> я не знаю. Много пили, мне незаметно подливали. На вокзал от него было рукой подать, он уезжал в Киев, с Брянского, а квартира его первой жены, где он остановился, – над самым Дорогомиловским мостом. Шли берегом, в этих местах сохранившим хаотичность 18–19-го. Дело было под сумерки, с обоих берегов купались. Панорама здесь, если помнишь, широкая. Вся она была заслонена от солнца не то пылью, не то подобьем какой-то сухой, остолбеневшей и тихой пасмурности, той серой воздушной прострацией, кот<орая> бывает в городе вечерами. Только в далекие гимназические годы мне бывало так, т. е. с такою обширностью, грустно. Картина дышала какою-то нечаянностью, только что всплывшей из забвенья и готовой вот-вот нырнуть в него назад. «Скажите Марине» начал было я и не стал продолжать, несмотря на его усердное выспрашиванье, вперемешку с усмешкой, точно он годами старше меня. Вряд ли он что-ниб<удь> сможет рассказать тебе. Мы видались несколько раз. Что он видел? Семью, может быть, но очень поверхностно. Меня среди других. Меня (в первые дни своего пребыванья здесь) – в надеждах, в твердой уверенности, что все, приведшее его тут в отчаянье, – пустяки и пена, существо же цело и сохранно. Наконец меня же в последние дни, в совершенно другом настроеньи, что, вероятно, ускользнуло бы от него, если бы я сам ему не сказал о перемене. Это прекрасный человек, удачливый и движущийся, биографически переливчатый, легко думающий, легко живущий и

пишущий: – легкомысленный. Я никогда не замыкаюсь перед ним, но и не помню случая, чтобы когда-нибудь успешно высказался перед ним или открылся. Я не знаю, как он может любить меня и за что. Он не настолько прост, чтобы быть для меня обывателем, т. е. куском бытовой непринужденности (обычнейшим моим собеседником). И он не настолько художник, чтобы я становился в беседе игрушкою часа, положенья или принесенного из дому настроенья. Так как, несмотря на все его удачи, я его считаю несчастливцем, то внутренне, про себя, никогда, впрочем, этого ему не показывая, желаю ему добра, желаю с аффектацией и упорством. И мне бы очень хотелось, чтобы ты не согласилась со мной и меня осадила: он вовсе не художник. Я желал бы, чтобы ты была другого мненья. Найди в нем то, чего я в нем напрасно ищу, и я стану глядеть твоими глазами. Я очень боялся его приезда, после своего письма о «Рваче». Мне думалось, что нам не избежать тяжелых разговоров. Но не было случая. Все обошлось благополучно.

Я выше меры испустословился по поводу начала Крысолова. Тебе, верно, было неприятно читать. Пропорционально достоинству частей мне теперь после той воды о первых частях надлежало бы излить ее бассейнами. Но я эту пропорцию нарушу. Постараюсь вкратце. Наилучшие главы: Увод и Детский рай. На их высоте (но, по теме, без флейты; а это ведь как партия без королевы!) – Напасть. В ратуше нравится мне меньше. Почти исключительно, как и в первой половине, приходится говорить о ритме, о музыкальной характеристике действующих слагаемых, о лейтмотивах. Прерогативы ритма в Уводе и Д<етском> Р<ае> почти предельны: это то, о чем может мечтать лирик: тут и субъективный ритм пишущего, его страсть и полет, и подъем, и ритм ритма, про чудесную силу которого он пишет, т. е. то, что никогда почти не удается: искусство, берущее предметом себя же, а ты вспомни поэтов, художников и чудаков в драмах, повестях и пр., вспомни эту извечную пошлятину, чтобы правильно измерить свою собственную заслугу. В Напасти ритм живописующий. И как он живописует! Он какой-то природно гостинодворский, точно музыка всегда знала такую тональность. Только искрометность его и позволяет тебе мгновенным бреднем пройтись по рынку, захватив целую площадь, во всей ее случайности, в садок двух-трех ритмических определений. Прекрасен своей силой (богатством дальнейших возможностей) мотив судаченья (а у нас, а у нас), в особенности когда он возвращается после *ошеломляющей* по своей воплощенности крысиной фуги. Просто кажется, что ты срисовала одновременно и крысиную стаю, и отдельных пасюков и свела этот рисунок на сетчатку ритма,

ниткой отбив по ней, к хвосту, к концу, это накатывающее, близящееся, учащающееся укороченье! Ритм похож тут на то, о чем он говорит, как это редко ему случается. Похоже, что он состоит не из слов, а из крыс, не из повышений, а из серых хребтов.

Всего скупей о наилучших главах: все предшествующие наблюденья вызваны к существованью магнетической полнотой этих центральных. Так что косвенно многое уже сказано и о них. Увод!!! Буду лаконичен и беспорядочен. Хорошо идут мимо ратуши. Бредовар. Очень хороши *единством стиля*, тяготеющего к какой-то действительности тридевятого царства, все словообразованья главы. Они собираются в узел фантастического правдоподобья. У места, куда он их ведет, имеется особая флора, климат, нравы и тайны: ими объясняется жуткое постоянство этого словаря. Вообще, в этой сказочной партии – за сердце хватающий лиризм. Тирили. – Его собственная одержимость сильней всего охарактеризована *реализмом* ритмически вылепленной *флейты*. Ее реализм странно сказывается на стран<ице> 44, где за двукратным восклицаньем, – «не жалейте» попадает в окончанье строки и содержит, между жалейте и аллейке, зачеркнутую или намеренно опущенную рифму «флейте», вдвойне навязанную мнимым отсутствием.

Вообще поразительна ритмическая фигура (Лейтмотив) Крысолова! Первая строчка этой правдивейшей музыкальной фразы интонирована до последней степени. Индостан. Страшно действует то, что ◡◡ – занято *одним* словом (восклицаньем). Возбужденное этим анапестом и призванное работать воображенье, не находя сопротивленья в виде оформленного предложенья, с разбега строит образ самого флейтиста, его т<ак> ск<азать> *позитуру* (корпус, подающийся вперед на узде и в артикуляции этого трехчлененья: ◡◡ – в пушину́!). Поразительны волны, идеальные (перекаты смысла) в моменты, когда расходится гипнотическая сведенность флейтовой темы. (Напр<имер>, чего стоит одно это: миру четвертый час и никоторый год.) Здесь Индия усыпительно матерьяльна. Резня красок – это ты сама о своей руке сказала, и оценила правильно. А в новом переплетеньи с лейтмотивом неверья и отрезвленья (примерно с ритмического *перебоя*: тот, кто в хоботе видит нос *со̄бственный*) тема флейты дорастает до захватывающей *новой* силы. Это ведь по существу полный *траурный марш*, колдовски-неожиданно подслушанный откуда не привыкли, с черного его хода, или с черного входа впущенный в душу; между тем как мы всегда в Бетховенский, Шопеновский, Вагнеровский и вообще во всякий траурный марш вступали со стороны ожидающегося

выноса, через парадное Te deum[52]. В «Ратушу» ты вложила много мысли и остроумья. По *значенью* ратсгерр от романтизма – замечателен. Он как персонаж просится в группу, окружающую и поддерживающую Фауста. Сарказм главы очень содержателен и не карикатурен.

Плачьте и бдите, чтоб нам спалось,
Мрите, чтоб мы плодились!

Так же хороша тема «Я». Очень ловко чехол вырастает в символ. Жвачно-бумажный. Но когда к концу главы бороздой взрезает ее сложную рябь угроза знакомого и ставшего родным голоса: Не видать как своей души! имитирующего окончательное и непоправимое: «Не видать как своих ушей!», тогда понимаешь, отчего, невзирая на свои крупные достоинства, глава оставляет более холодным, нежели 1-я и 2-я. (Потому что только IV-я и последняя ни в какое сравненье с другими нейдут.) Это оттого, что после «Увода» внимание, прикованное к судьбе Крысолова, нетерпеливо ждущее даже не развязки, а жаждущее счастья ему, уже не соглашается заниматься ничем другим, как бы оно ни было интересно, и видя в V-й главе только то, что относится к развитью темы, т. е. измену слову и предательство, воспринимает их мгновенно и томится оттяжкою взрыва. И бытовая роспись, м.б. наиудачнейшая в этом месте, его только мучит и возмущает. Может быть это в твои планы и входило. Терзательная глава.

И опять – живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю к тебе, ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу, и снаружи ее почернило и омеланхолило, и висит на руках, и путается в ногах. Как именно *потому*, по роду *этой* страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как есть. И твой женский возраст, и твое незнанье того, как и зачем встретимся, и моя вчерашняя вера в прелесть, теперь перескочившая на год и годом от меня закрытая и как бы переставшая существовать. Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай». Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и – жестокая и страшная. Восхитительно взята школа. Гул да балл. Гун да галл. И пропущенный сквозь эту лихорадящую, будоражащую, раннеутреннюю ритмику:

Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан.
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.

Щебня, щебня водопад,

пропущенный, стало быть, через нее вчерашний, показавший свою силу «Индостан!» ◡◡ – страшный анапест, при вчерашнем ритмическом магните, только с измененным звучаньем. В тот миг, как узнаешь его мелодию, хочется кинуться ограждать детей от ее последовательности (от знанья конца).

Детвора
Золотых вечеров мошкара!

Это обреченные все разом входят в очковое поле зренья ритма. Некоторое облегченье, что для животных флейта звучала реально флейтой (реализм неукоснительный, беспродышно-фатальный), для душ же он метафоризируется, зовет трубой (бессознательно в фонетике рифмы: тра ра ра). Очищается, просветляется также и траурный марш. Гармония его раскалывается надвое. Мотив обетованья (звучит почти честно, *действительно* благовествующе): Есть у меня… И мотив отпевальный: В царстве моем… (звучит как канон: идеже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханье). Первый мотив, вырастая в глубине, за сеткой обольщенья, достигает твердости, истинной высоты, оплаченной драматически в прорвавшейся после строчки: «Для мальчиков радость, для девочек тяжесть» личной ноте:

Дно страсти земной
И рай для одной.

Но довольно о Крысолове. Я боюсь, что сделал его ненавистным тебе кропотливостью своего разбора. Summa summarum[53]: абсолютное, безраздельное господство ритма. Оно естественно вызвано характером сюжета. Предельно воплощенное в двух драматических главах, где творятся и показываются его чудеса, оно распространяется и на другие главы, где ритм только лишается первого лица, остается же (в остальном) во всей силе и вызывает к существованью мысли, образы, повороты и переплетенья темы. —

Я получил твое письмо о чешских злоключеньях. Не могу сказать, как меня все это огорчает. Не уезжай из Франции, умоляю тебя. Мне кажется, ты ближе к России, будучи там, нежели в Чехии, хотя по географии выходит наоборот. Я не знаю, чем это объясняется, но думаю, что и у тебя такое же чувство.

Мне верится, что все у тебя обойдется, хотя я и не преуменьшаю трудностей, неожиданно свалившихся на тебя. Ах эти вечные интриги! Страдаю от них последнее время и я. Скучно рассказывать, но месяц назад мне (матерьяльно и в смысле перспектив) было сравнительно легче. Теперь же очень трудно, и возникает опасенье, что будет как прошлый год. Но ради всего святого, не возвращайся в Чехию. Приведенных слов Маяковского не знаю, п.ч. вообще ничего не читаю и не знаю, что кругом делается. Плюнь! Я тебе о нем напишу. Он престранно устроен. М.б. ему кажется, что это он тепло о тебе вспомнил. Он давно в Крыму, а то бы я с ним поговорил. Я, сильно любя его, раза два-три в жизни ссорился с ним по такому же поводу. Тогда я сталкивался с полным его неведеньем того, о чем речь. Прости за скучное многословное письмо. Теперь путь к Крысолову очищен. Его можно читать по-сибаритски.

Но «Кр<ысолов>» не такая вещь, о кот<орой> можно сказать, что она «страшно нравится», и дело с концом. Меня волновали ее особенности и хотелось в них разобраться.

Письмо 70а
<ок. 10 июля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от своей правоты – только оттого, что она и правота другого – а страдать пришлось бы непрерывно – этого унижения я бы не вынесла. Пока я была одна права, если и встречались схожие слова и даже жесты (второе, естественно, чаще), то двигатель всегда был иной, особенно же рознился уровень. Кроме того, *твое* не на твоем уровне – не твое совсем, меньше твое, чем обратное. Я бы с тобой не могла жить, Борис, в июле месяце в Москве, п.ч. ты бы на мне *срывал* —. Я много об этом думала – и до тебя – всю жизнь. Верность как самоборение мне не нужна (я как повод к прекрасному поступку). Верность как постоянство страсти мне непонятна, чужда. Верность и первая и вторая меня с человеком разводит. Оглядываюсь. Одна за всю жизнь мне подход<ила> (м.б. ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, но чутка). Верность от восхищения. Восхищение заливало в человеке все остальное, он с *трудом* любил даже меня, до того я его от любви отводила. *Это* мне подошло.

Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве? Да разве я *одна* могу тебе дать сумму. (Хотя я сама сумма, не только себя, но и всех моих прабабок и т. д.) Я была бы в непрестанной тоске, которая меня бы глубоко унижала. *Жизнь* другого нельзя выносить рядом.

Оговорюсь о понимании. Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то, чем ты прельщ<аешься>, я *залью*сь презрением – как соловей песней. Я взликую от него. Я излечусь от тебя мгновенно. Как отрешилась бы от Гёте и Гейне, взглянув на их Kätchen – Gretchen. *Пойми меня*: ненас<ытная> исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего, Борис, вопреки всем моим стараниям. А от Психеи – всё. Променять меня на хотя бы первую красавицу мира – променять Психею на Еву (Психею на Психею не меняют), понимаешь водопадную высоту моего презрения. Душу – на тело. Отп<адает> и *мою* и *ее*. Ты сразу осужден, я *не* понимаю, я отступаю.

Ревность. Я никогда не понимала, почему Таня, заслуженно скромного о себе мнения, вдруг решает, что она для Х – единственная. *Почему*? Она же видит, что есть красивее и умнее и т. д., и она же ценит красоту, ум и т. д. Мой случай усложнен тем,

что *не частен*, что ma cause[54], сразу переставая быть моей, делается cause ровно половины мира: ДУШИ. Что измена мне еще *до* боли возбуждает во мне негод<ование>. Что измена *мне* – ПОКАЗАТЕЛЬНА.

Ревность? Я просто уступаю, как душа всегда уступ<ает> телу, особенно чужому, – от чистого презрения, от неслыханной несоизмеримости. Уступаю – Х всем, а сама – отступаю. Оттого – ни взгляда назад.

Не был<о> еще умник<а>, который сказал бы мне: «Я тебя меняю на стихию: множество: безликое, отдохн<овение> от *тебя*. – Разряд<ку>» – Или еще лучше: мне захотелось *улицы*.

Я бы обмерла от откровенности и – м.б. поняла бы. (Мужской улицы нет, есть только женская. Ни одна женщина не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, *ВСЕ ПОЭТЫ*.)

У меня другая улица, Борис, лирическая, без людей, с концами концов, с детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им и не нравлюсь, у них нюх. Я нравлюсь старикам и женщинам и собакам. Я не нравлюсь голому инст<инкту>, я не нравлюсь *полу*, пусть я в твоих глазах теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь она бессмертна, ведь ее (даже) никогда не было. Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи. Не сомневаюсь в том, что в старческих воспоминаниях я буду – остальн<ое> сглажив<ается> – одной из первых <вариант: первой>. Что до мужских действительностей – никогда в них не числилась. «Если бы я Вас любил» – этим ограничивается.

Взрыв ревности к московской улице, – так ты истолк<уй> письмо.

Лейтмотив вселенной. Да, мужской лейтмотив ее, которого я *никогда* – клянусь тебе! – не слышала, без которого я так восхитительно обхожусь. Мужской лейтмотив ее.

* * *

Проглотить вселенную – всю – и т. д. и т. д. О, нет! Ничего не хочу внутрь, <оборвано>. Пропасть втягивающая и вулк<ан> извергающий. *Избыть* себя, не вобрать в себя <оборвано>

Моя жалоба – о невозможности стать <оборвано>

Письмо 70б
St. Gilles, 10 июля 1926 г., суббота
Цветаева – Пастернаку

Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от своей правоты – только оттого что она и правота другого, страдать от правоты – этого унижения я бы не вынесла.

По сей день я страдала только от неправоты, была одна права, если и встречались схожие слова (редко) и жесты (чаще), то двигатель всегда был иной. Кроме того, *твое* не на твоем уровне – не твое совсем, меньше твое, чем обратное. Встречаясь с тобой, я встречаюсь с собой, всеми остриями повернутой против меня же.

Я бы с тобой не могла жить, Борис, в июле месяце в Москве, потому что ты бы на мне *срывал* —

Я много об этом думала – и до тебя – всю жизнь. Верность как самоборение мне не нужна (я – как трамплин, унизительно). Верность как постоянство страсти мне непонятна, чужда. (Верность, как неверность, – всё разводит!) Одна за нею жизнь мне подошла (может быть, ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма ее). Верность от восхищения. Восхищение заливало в человеке всё остальное, он с *трудом* любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищённость – восхи́щенность. *Это* мне подошло.

Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (везде, в жизни). Да разве единица (какая угодно) может дать сумму? Качество другое. Иное деление атомов. Сущее не может распасться на быть имеющее. Герой не дает площади. Тебе нужна площадь, чтобы еще раз и по-новому дать героя (себя).

Оговорюсь о понимании. Я тебя понимаю издалека, но если я увижу то, чем ты прельщаешься, я *зальюсь* презрением, как соловей песней. Я взликую от него. Я излечусь от тебя мгновенно. Как излечилась бы от Гёте и Гейне, взглянув на их Kätchen – Gretchen. Улица как множественность, да, но улица, воплощенная в одной, множественность, возомнившая (и ты ее сам уверишь!) себя единицей, улица с *двумя* руками и *двумя* ногами —

Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи – всё. Психею – на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения. (Психею на Психею не меняют.) Душу – на тело. Отпадает и *мою* и *ее*. Ты сразу осужден, я *не* понимаю, я отступаю.

Ревность. Я никогда не понимала, почему Таня, заслуженно скромного о себе мнения, негодует на Х за то, что он любит еще других. *Почему*? Она же видит, что есть красивее и умнее, то, чего она лишена, у нее *в цене*. Мой случай усложнен тем, что *не частен*, что моя cause, сразу перестав быть моей, оказывается cause ровно половины мира: ДУШИ. Что измена мне – ПОКАЗАТЕЛЬНА.

Ревность? Я просто уступаю, как душа всегда уступает телу, особенно чужому, – от честнейшего презрения, от неслыханной несоизмеримости. В презрении и негодовании растворяется могшая быть боль.

Не было еще умника, который сказал бы мне: «Я тебя меняю на стихию: множество: безликое. Я тебя меняю на собственную кровь». Или еще лучше: мне захотелось улицы. (Мне никто не говорил *ты*.)

Я бы обмерла от откровенности, восхитилась точностью и – может быть, поняла бы. (Мужской улицы нет, есть только женская. – Говорю о составе. – Мужчина, жаждой своей, ее создает. Она есть и в открытом поле. – Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, ВСЕ ПОЭТЫ.)

У меня другая улица, Борис, льющаяся, почти что река, Борис, без людей, с концами концов, с детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им и не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь *полу*. Пусть я в твоих глазах теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бессмертья). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи. Не сомневаюсь, что в старческих воспоминаниях моих молодых друзей я буду – первая. Что до мужского настоящего – я в нем никогда не числилась.

Лейтмотив вселенной? Да, лейтмотив, верю и вижу, но лейтмотив – клянусь тебе! – которого *никогда* в себе не слышала. Думается – мужской лейтмотив.

* * *

Моя жалоба – о невозможности стать телом. О невозможности потонуть. («Если бы я когда-нибудь пошел ко дну»…)

* * *

Борис, всё это так холодно и рассудочно, но за каждым слогом – живой случай, учивший и, повторностью своей, научивший. Может быть, если бы ты видел с кем и как, ты бы объявил мой инстинкт (или отсутствие его) правым. «Не мудрено…»

Теперь вывод.

Открывалось письмо: «не из-за непонимания, а из-за понимания». Закрывается оно: «не понимаю, отступаю». Как связать?

Разные двигатели при равном уровне – вот твоя множественность и моя. Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти как таковой, не признаю за ней никаких прав – особенно голоса, которого никогда не слышала. Я с ней – очевидно хозяйкой дома – незнакома. (Кровь мне уже ближе, как *текучее*.) «Воздерживающейся крови…» Ах, если бы моей было от чего воздерживаться! Знаешь, чего *я* хочу —

<Конец первого листа письма. Остальная часть оригинала не сохранилась. Ниже следует продолжение по копии.>

Продолжение

когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. *Чуда*.

Ты получишь в руки, Борис, – потому что, конечно, получишь? – странное, грустное, дремучее, певучее чудовище, бьющееся из рук. То место в «Мóлодце» с цветком, помнишь? (Весь «Мóлодец» – до чего о себе!)

Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже *весь в нас*. Твои вечные отъезды (так я это вижу) и – твоими глазами глядящее с полу. Твоя *жизнь* – заочная, со всеми улицами мира, и – ко мне домой. Я не могу присутствия и ты не можешь. Мы бы спелись.

Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери всё, что можешь – пока еще хочется брать!

Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не приручай ее. Бери всё это с лирической – нет, с эпической высоты!

Пиши или не пиши мне обо всем, как хочешь. Я, кроме всего, – нет, раньше и *позже* всего (до первого рассвета!) – твой друг.

М.

Версты вышли. Потемкин четверостишиями. В конце примечания. Наши портреты на одной странице.

Версты великолепны: большой благородный том, строжайший. Книга, а не журнал. Критика их исключит и клочьями будет питаться год. В следующем письме вышлю содержание.

На днях сюда приезжает Св<ятополк>-М<ирский>, прочту ему твоего Шмидта, которого читаю в четвертый раз и о котором накипает большое письмо. Напишу и отзыв М<ир>ского. (Его сейчас пресса дружно дерет на части, особенно за тебя и за меня.)

С Чехией выяснится на днях. Так или иначе – увидимся, м.б. из Чехии мне еще легче будет (– к тебе, куда-нибудь). Может быть – всё к лучшему.

Иду на почту. До свидания, родной.

Второе письмо <о Крысолове> поняла сразу и сплошь: ты читал так, как я писала, и тебя читала так, как писал ты и писала я.

* * *

За мной еще то о тебе и мне и элегия Рильке. Помню.

Получил ли ты «Поэт о критике» и «Герой труда»? (Дано было Э<ренбур>гу.)

Письмо 71
11 июля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Последнее время я очень *боялся*, что получу от тебя письмо, в котором, без своего ведома себя насилуя, ты примешься хвалить Шмидта. Я именно *боялся* этого. Я не стыжусь признаться в этом страхе, но не взялся бы сказать, за что я именно опасался: за цельность ли и высоту твоего образа, за твердокаменность ли своей веры в тебя или просто за чистоту твоей совести. И как всегда ты из этой заминки вышла верная себе и без пятнышка. Дурацкие состоянья сопутствуют творчеству, тут А не равно А, логика бессильна или вечно неприлична и пьяна.

Нисколько несмотря на страх, в котором я только что тебе признался, я твоим письмом был очень огорчен. Ничего удивительного тут нет, и настроенье, в котором ты меня оставила, вполне заслуженное. Написать дурную вещь – горе неподдельное для нашего брата. Но как сдержать это чувство в разумных границах? И как их определить? Неудачен тем же и весь 905 год. Еще большее горе написать дурную книгу. Большее еще сознавать, что ты давно упал и никогда тебе не подняться. И вот, наконец, разрастающаяся горечь и стыд за себя, требуя абсолютной краткости итога, чего-то вроде «круглого числа», скашивает все дроби и приходит к пределу: всего больнее (и так оно и есть) быть вообще пародией на человека и пародией на лирика.

Что все эти прискорбные стадии я быстро пробегаю в душе, задерживаясь на последней, в том виновато, конечно не мненье твое, до мелочей совпадающее с моим собственным. Для этих отчаянных настроений имеется сейчас благодарная почва. Ты спрашиваешь, легче ли или труднее мне одному? Страшно трудно.

У меня есть какие-то болезненные особенности, парализованные только безвольем. Они целиком подведомственны Фрейду, говорю для краткости, для указанья их разряда. Все слабые стороны чувствительности, одновременно и христианской, и просто-напросто животной, изъязвлены и подняты во мне до бреда, до сердечного потрясенья. Жизнь, как она у меня сложилась, *противоречит* моим внутренним пружинам. Я это помню и знаю всегда и в нормальных условиях всегда этому противоречью радуюсь. В одиночестве я остаюсь с

одними этими пружинами. Если бы я уступил их действию, меня разнесло бы на первом же повороте. Но нет человека, которого, при таком заряде, останавливало бы благоразумье. И я – не исключенье. Но поддайся я действию этих сил, как тотчас же и навеки мне пришлось бы расстаться со всем дорогим, с чем я разделил свою жизнь, со всеми людьми моей судьбы. Чтобы далеко не ходить, скажу просто: после такой раскатки я бы уже не считал возможным взглянуть в лицо своему сыну. Вот это-то и останавливает меня, ужас *этой* навсегда нависающей ночи.

Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт. Я чересчур много сторон знаю в том, что называют страдательностью. Для меня это не одно слово, означающее один недостаток; для меня это больше, чем целый мир. Целый, действительный мир, т. е. действительность сведена мною (во вкусе, в болевом отзыве и в опыте) именно к этой страдательности, и в романе у меня героиня, а не герой – не случайно. У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, *в чем* он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроеньям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой. Вот мущина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходят даже степень того, что можно назвать женскостью.

Ich habe Heimweh unbeschreiblich
Von Tränen ist der Blick verhängt
Ich fühle ferne mich und weiblich.

I.R. Becher[55]

Но ты, может быть, не знаешь, о чем я говорю? Об убийственной власти, которую надо мной имеют видимости, химеры, возможности, настроенья и вымыслы. Я с первых детских дней и до настоящего времени влекся через годы и положенья в постоянной завесе каких-нибудь навязчивых идей, всегда болезненных, всегда истачивающих сердце, всегда противоречивших действительному положенью вещей. Менялись только эти завесы. Жизни, как ее, верно, постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видал и не увижу. —

Мне что-то нужно сказать тебе о Жене. Я страшно по ней скучаю. В основе я ее люблю больше всего на свете. В разлуке я ее постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, т. е. пока я не узнал ее родни и она – моей. Тогда то, чем был полон до того воздух и для чего мне не приходилось слушать

себя и запрашивать, потому что это признанье двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить. Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять. Тут я удач не видел. Темная тень невоплотимости легла на эти годы и испортила нам обоим существованье. Вот отчего я часто, вероятно, хуже, чем должен бы, писал тебе о ней. Ты с ней обязательно должна познакомиться. Если она будет в Париже, вас все равно столкнет случай, я это вижу, или я не я.

У меня к тебе большая просьба. Позволь мне (но только по-хорошему) снять посвященье тебе с этой посредственной вещи. Если ты это поймешь и дашь согласье, мне станет многим легче. Меня мучит мысль, что я связал твое имя и, значит, мысль о тебе с таким бледным пятном и что по моей вине ты как-то будешь с ним ходить в паре. Ведь ты же это должна понять. Будь в этом отношении такою же прямой, как во всем до сих пор. Уладились ли твои дела с Чехией? У меня с матерьяльной стороны предвидятся улучшенья. Госиздат, верно, переиздаст Сестру и Темы.

С нетерпеньем жду стихов, как ты говоришь, о нас обоих. Т. е. просто, вероятно, замечательных новых твоих стихов.

Твой Б.

<На полях:>

Когда будешь писать, не забудь упомянуть о посвященьи, прошу тебя. Тихонову очень понравился Крысолов. Потом я ему дал П<оэму> Конца. Он в восторге. Он сказал, что после Ахматовой это первый серьезный большой голос в поэзии. Если тебе этого мало (т. е. если ты формулировку считаешь неудачной), то прими в расчет, что Тихонов вообще человек иного и не близкого круга. Но прекрасный человек.

Письмо 72
<ок. 20 июля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Отрывок из письма к Борису (на песке st. gill'ского plage a l'infini[56] – карандашом)

Этот уезд из Чехии, эти экскурсии (воображаемые, его, – 1939 г.) в Париж и в Лондон – точно нарочно, чтобы ты тогда мог полюбить меня. Теперь я еду в Чехию, а ты больше всего на свете любишь свою жену, и всё в порядке вещей.

Б<орис>, одна здесь, другая там – можно, обе там, *два* там – невозможно и не бывает.

Я ни с кем не делю <пропуск одного слова>, это *моя* страна и *моя* роль, поэтому не думай обо мне вовсе.

Двум поездам вслед не глядят. (В два глаза – одному.)

Тоскуй, люби, угрызайся, живи с ней на расстоянии, как какой-то час жил со мной, но не втягивай меня.

Человеческого сердца хватает только на одно отсутствие, оттого оно (отсутствие) так полно.

…Не бойся, что я чем-н<и>б<удь> преуменьшаю твою любовь к жене, но «я люблю ее больше всего на свете» – зачем ты *мне* это твердишь, это ей надо знать, не мне.

(NB! Твердил – себе. Потом с ней разошелся.)

Я привыкла к жизни – в мире совершенном: в душе. Оттого мне здесь не хочется, не можется, не сто́ится.

Письмо 73
30 июля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Если я примусь отвечать тебе, все будет продолжаться деятельно и документально. Или ты веришь в перемены? Нет, главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. В том, чем мы проживем, в чем умрем и чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли.

Теперь о воле. В планы моей воли входит не писать тебе и ухватиться за твою невозможность писать мне, как за *обещанье* не писать. При этом я не считаюсь ни с тобой, ни с собой. Оба сильные, и мне их не жаль. Дай Бог и другим так. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Либо это приведет ко благу, либо этому не бывать. И ты мне не задашь вопроса: к чьему? Благом может быть лишь благо абсолютной деятельной правды.

Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши.

Когда твой адрес переменится, *пришли мне новый*. Это обязательно:

Позволь мне не рассказывать себя и не перечислять отдельных шагов, которые я делаю чистосердечно и добровольно.

До полного свиданья. Прости мне все промахи и оплошности, допущенные в отношеньи тебя. Твоей клятвы в дружбе и обещанья, подчеркнутого карандашом (обещанья выехать ко мне), никогда тебе не возвращу назад. Расстаюсь на этом. Про себя не говорю, *ты все знаешь*.

Не забудь про адрес, умоляю тебя.

Еще до того, как тебе напишет Асеев, расскажу это тебе сам. Зимой я у Бриков пробовал читать «Поэму Конца». У нас были шероховатые отношенья, читать я принялся в ответ на просьбу прочесть что-ниб<удь> свое, верно вообще вид у меня был вызывающий. Мне и не преминули отомстить самым чувствительным образом. Я не мог вынести этого пренебреженья и бросил на второй странице. Я возмутился, стал шуметь, вечер был безобразный. На прошлой неделе я дал Асееву, кот<орый> тогда тоже присутствовал, прочесть Поэму Конца и Крысолова в печатн<ых> оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону, под сильнейшим впечатленьем этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи. Потом я ее слышал в его изумительном чтении на кварт<ире> Бриков. Лиля и Маяковский в Крыму. Асеевский ученик и любимец, Кирсанов,

пальцы изъязвил чернилами, переписывая ее. Кажется, он это сделал в одну ночь. Асеев читал и Крысолова, тоже чудесно, на разные голоса. Мы проразбирали тебя до 4-х час<ов> ночи. Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до главлита, верно, и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно.

По-видимому, аналогия к чтенью Шмидта со Святополком-Мирским? Да, даже в тот же день. (Мы полунощничали с 28-го на 29-е.) О нет, нет и трижды нет, моя мука, моя прелесть, моя судьба, мой несравненный поэт, нет, не унижай меня и себя, тут нет параллели.

И зачем это чтенье со Св<ятополком>-М<ирским>? То есть не с ним, я хочу сказать, а чтенье *чего* <подчеркнуто дважды>! Ты меня так обижаешь, серьезно обсуждая 1905 г.! Я иногда поддавался тебе, и вот так только и могла возникнуть нелепость посвященья! Но уверяю тебя, по силам, сложившим 1905, это находится на средине между службой и *писательством*. Координаты же по отношенью к *поэзии* не берусь даже определить… Ты меня оскорбляешь своей скрытой и подавленной жалостью. Но это пустяки. Я жалованья еще не получил и 1905 докончу. Я тебе ничего там не посвящу, п.ч. хочу книжку выпустить с посвященьем: «Среднему читателю и его опекунам». Или «…и его деревянной лошадке».

Не пиши мне, прошу тебя, и не жди от меня писем. Пойми также и то, что ни слова не говорю о стихах «о нас». Ведь у тебя редкостное воображенье. Ну а тут и рядового было бы довольно, чтобы все прочесть и постигнуть. Справлюсь со всем.

Весь твой Б.

<На полях:>

Но адрес обязательно. Целую Францию за все, что она дала мне. Ты еще забыла Рильке, когда так истолковала переезд. Помнишь?

Ты спрашивала о статьях: Поэт о критике и Герой Труда. Эренбург их не привез. Не будет ли ещё оказии?

Письмо 74
31 июля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я его и сегодня повторяю. Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо. Если то, для чего я жертвую твоим голосом, твоими письмами и всем собой (кроме воли), заключающимся в одном обожаньи тебя – если это не частность, а сила судьбы и высота, то это дело жизни, и *ее* дело найтись среди нас и дать восторжествовать и своей единственности, рядом с нашей. Если даже это и частность, то и перед частностью у меня есть долг, бездонный долг.

Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня! О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала!! Ты не обидела бы, а *уничтожила* меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой. Когда я из Таганки, где квартира Бриков, в пятом часу возвращался по пустой Москве в заре, редких извощиках, метельщицах и петухах, после разговоров о Поэме Конца, где говорилось, что ты «наша», т. е. где Асеев говорил, что это могли бы написать Боря или Володя (вздор и ложь, ты не обижайся, а радуйся, ты пойми, что это – ласка и побратимство, а не тыканье пределами в чудо, внезапность и беспредельность, да, еще надо тебе сказать, что Асеев назвал кровнейших своих друзей) – я сызнова, как весной, – спинным хребтом, виском и всем правым боком, ощутил веянье твоего рядостоянья, весь шевелящий волоса холод твоей женской валькирической смежности, весь чистый теряющийся из глаз раскат моей нежности к твоей силе.

Умоляю тебя об одном. Никогда не давай мне почувствовать, что за Асеевым и Маяковским я стал *дальше* <подчеркнуто дважды> тебе. В тебе еще нет ничего, что бы могло тебе объяснить основанье моей тревоги. И, не понимая меня, ты справедливо оскорбишься этим предвестием ревности. Основанья же к ней – во мне. В том, как сильно я хочу товарищества с тобой этих превосходных друзей, людей и поэтов.

Асеев сказал: «Как она там может жить?» – и, странно, прибавил… «среди Ходасевичей». И тогда я подхватил это сопоставленье и, вспомнив одно свое письмо, сказал им про твою нелюбовь к нему и про то, как тебя покоробило, когда я стал его защищать. Я знал, как они на меня за тебя набросятся (они

Х<одасевича> ни в грош не ставят и ненавидят), и только затем и говорил, изображая все в ином свете, чем это было в действительности. Боже, что это было за наслажденье – слышать от них, как ты хороша и как я глуп и снисходителен!

Вчерашняя моя просьба остается в силе. Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и *не ответить*. Пусть будет последним – мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все твое. Не удивляйся этой волне, на миг удивившей и меня и давшей смысл этому движенью и крепость. Кончаю в слезах. Обнимаю тебя.

<На полях:>

Держи меня в известности отн<осительно> перемены адресов. В час добрый тебе в Чехию! «Как живет и работает черная лестница» – заглавье бездонное. Пропасть повествовательного, таящегося обещанья, лирической полносмысленности каждого сказанного слова. Громадная, легко выраженная метафора!

Не смейся и не презирай. Ты не все правильно понимаешь во мне. Может быть ты переоцениваешь меня целиком. Но некоторых серьезных сторон ты недооцениваешь.

И все вздор: эти оценки, переоценки, пониманья. Не обращай вниманья.

Письмо 75
4 августа 1926 г., St. Gilles-sur-Vie (Vendée)
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Твое письмо зв<учит> как тяж<елый> вздох облегчения – отсекли руку, и слава Богу: больше не будет болеть. Я у тебя наболела, наболевание шло возрастая, наконец – конец. Борюшка, как ты целен, как похож на себя в жизни, как точно переведен со <вариант: *из* > стихов! Зна́чимость исключительно внутреннего, отс<ечение> внешнего даже как *повода*. Полнейшая внешняя бессобытийность. Наша встреча – что́ это? Любое твое четверостишие, где, что и как произошло, неизвестно, только ясно, что *всё* и именно так, как полное всё (недели<мое>!) происходит.

Нынче, идя на рынок (всё думала о тебе), точное определение лирики и эпоса: лирика внешнее переводит на внутреннее (*в* себя! *погружение*), эпос – внутреннее на внешнее (*из* себя, чтоб жило вне). Ты лирик, Борис, каких свет не вид<ывал> и Бог не создавал. Ты сведение всех слоев внутреннего – на нижний, нижайший, начальный – бездны. (Не сочти за письмо, – итог.) Святополк-Мирский сам тебе напишет, он *медленный*, бессловесный, безотзы́вный, глухой. Пока – одну его фразу: «У меня впечатление, что это насилие. Как и *Спекторский*, впрочем» [(которого *очень* любит). «Родился человек лириком, а эпос не дает спать». (От ПИСЕМ в ужасе, как я.)] Это насилие есть уже в Высокой болезни.

Борис, брось фабулу (*кончай* 1905 г.!), фабула ниже тебя, не только несв<ободой>, но сама по себе несравн<енно> нижайшее —. Фабула – швы («как связать?»). Ты не развязан, разверзт. Это усилие (насилие) никогда не вознаградит тебя. Где вещи – (Dinge) – великоле<пно>, где люди – слабо. Твоя единица дел<ения> мира не человек. Вещи тебя слуш<аются>, люди говорят сами. Ты настолько не человек (божественен, божеств<енен> с первого дня по седьмой – какое снижение), настолько третий (с первого по четвертый) день, что каждый сценарист заткнет тебя за пояс. Фабула презренна, фабула для меня средство, проба сил, только моя сила ею соблазн<яется>. <Вариант: Фабула – после седьмого дня (грехопадения) трудолюбие.> Для меня – почти насилие, для тебя – сверхнасилие, грубость да будет искуплена точностью – изнасилование твоей сущности. Не надо событий. *Бытие* бессобытийно, события – дроби, бытие – то и там, где все события

уже (сразу) произошли. История Франции до конца мира в четверостишиях Нострадамуса. Ты, когда пишешь, сразу, одним жестом, без первой и последней строки кладешь стихотворение на бумагу. Ты весь таков. Ты целен, как взрыв.

Борис, alles rächt sich[57]: тебе нет дела до людей. До товарной станции – да. Через тебя говорят вещи, ты одержим Ding. (Как Рильке, никогда не написавший ни одной поэмы. Еще соотв<етственней> его *странная*, родственно-странная проза.) Ты думаешь, Рильке бы *не* мог? Думаю (он внутренне старше тебя), он сразу, не убедившись, что не может, не захотел. Что́ *не мочь*? Воля хочет, а *вся* сущность не хочет.

Ты пишешь о воле, каком-то волевом шаге, добровольном и чистосердечном. Так пишут приговоренные, не желающие умирать от руки [пал<ача>], *сам* захотел. Кто тебя приговорил, Борис? Думаю – этим волевым шагом (кажется, знаю его, *вне* личн<о>) ты проводишь между нами единственную черту, которой мне *здесь* – к тебе – не перешагнуть.

Если это то, что я думаю, буду ждать Царства Небесного.

Ты знаешь, я всегда бледн<ая>, у меня вчера весь день лицо горело – от какого-то отч<аянного> под<ъема>, как от реш<ения> <под строкой: от не проливающихся слез> – даже сквозь загар, от сознания непоправимой конечности твоего письма. Ты со мной исстрадался. Я – твоя, и ты меня не вид<ишь>, я с тобой – и за тридевять земель. Ты хочешь за́ руку, надо браться за ручку.

Прости и ты меня – за недостаток доброты, терп<ения>, м.б. веры, за недостаток (мне стыдно, но это так) человечности.

[Борис, никогда ничто меня не утешит в этой утрате тебя.]

То об Асееве и Маяковском и Главлите читала уже затуманенными от (так и не пролившихся) слез глазами, страшно преувеличенно (физически) и до того отрешенно – как с того света. Мне ничего не нужно, ни призн<ания>, ни славы, ничего кроме твоей головы у себя в руках, какого-то часа *ПОКОЯ* за всю жизнь, назад и вперед.

Я ничего не знаю, что произошло, ты не только непредугадыв<аем>, ты непроницаем. Опять та же стена молчания, как тогда, в 1924 г. и [опять – через какой-то срок – твой почерк] три года назад. Я опять одна, и ты опять *один*. Расстроилась – служба связей.

Провалю тебя глубоко, ты моя ручная рана (ручная как зверь), о как она уже начинает жечь <вариант: грызть>.

Вот элегия Рильке. Спасибо и за него, но – на том свете к тебе поеду, не к нему. Что́ еще сказать? Вот мой сын: Наполеон на Св. Елене, которая за столетие обстроилась «кабинками». Борис, у

меня никогда не будет «кабинки» – будь хоть миля. – *Стыдиться* моего благополучия и вообще меня ты никогда не будешь. Письмо уже плывет. Целую твою руку – за всё.

* * *

Одно позволь в случае крайней необходимости – деловое – не хочу, чтобы другие писали, позволь мне. Еще о себе: кончила поэму: Как живет и работает черная лестница, принимаюсь сейчас за гору: чистку Тезея (*50* сомнительных мест). Потом, надеюсь, за Тезея и Федру. Вещь зад<умана> трилогией. Сейчас, когда у меня такое горе (ты), хорошо напишу. Ипполит будет не только любл<ен>, залюблен.

Одного письма я тебе так и не написала («о первом прикосновении к тебе» – из твоего). Я всё отдаляла, теперь оно (прикосновение) дальше самого перистого (самые далекие), облачка, Борис, какая боль.

II

Борис, по тому, как я сейчас плачу, я поняла – ты уходишь. Так я не так давно плакала над редактором Благонамеренного Шаховским, уходящим на Афон. Перед таким уходом я <*нрзбр.*> жизнь: из меня уход<ишь>. Дорога тебе одна, знаю, и вчера знала, либо пролив<шиеся>, залившие меня слезы только подт<олкнули> меня. Ты уходишь из России в буквы, в которые никогда не вернусь. И сторону, которую я м<огла> недооцен<ивать> – знаю.

Всё – сразу – пон<яла>. Прощаясь со мной, ты прощаешься со всем тем: (тупое слово *враг*. Гощу – гостит во всех мирах). Ты прощаешься с гостьбой. Полунадорвав страницу, где я вместе с Ходасевичем, ты отрываешь, вырываешь. Ты *всё* становишься кто-то (не аноним). Точно анонимность партийного номера СПАСЕТ! <От этого места в тексте прочерчена линия вниз к началу абзаца, идущего после отбивки.>

Не вхожу в оценку, чту волю <оборвано>

Твое второе письмо было немедленным ответом на это. Едва проставила последнюю точку (клянусь!), Аля – с улыбкой, означающей письмо от тебя.

Борис, Борис, ты мне уже ответил.

* * *

Борис, я с ума сошла. Теперь, когда больше не верю, скажу: из обоих писем по слезам <вариант: безумию> [своим] – я поняла: ты берешь партийный билет. Понимаешь мой ужас? Единственная вещь, которая бы нас развела навсегда (короткое жизненное всегда). Теперь я знаю, хочешь скажу? Ты не можешь жить в состоянии постоянной продленной измены, на два фронта, в тех письмах я ведь была права? Борис, если мое горе называется твоя семья – благословляю его (ее). После того ледяного ужаса – всё легко, всё снесу. Я лежала на песке, на дюне, куда зарылась от людей <вариант: и зарывала свои слезы в песок, в дюну>, и вдруг – никто как Бог: «Глупость! Бред! Билет ни при чем. *Проще, проще* <второе слово подчеркнуто дважды>!» О, я не плачу, больше не буду плакать. Развести нас может только идея: неодушевленный предмет <вариант: в жизни осуществляемая>>.

Борис, мой абсолютный слух! Но в одном ты ошибся: Маяковский и Асеев меня уже резнули. Раньше мы шли одни по рассвету, в этом письме рассвет шагал несколькими нами. Я не хочу других братьев, кроме тебя. Моя Россия, моя Москва, как мой тот свет, мои оба Там – называются *ты*. Знаешь, что ты делаешь. Ты тихонечко – чтобы не так больно – передариваешь, сдаешь меня на руки – кому? – Асееву? Неважно. Чтобы держать связь, о, не *тебе со мной*, мне с Москвой. Побратать меня с этими, чтобы я не так окончательно была одна. Ты не предвосх<итил> моей ревности – она уже горит. Ревность *к себе* в других руках. Уподобл<ение>. Святополк-Мирский попр<осил> твой адрес, чтобы самому написать. И уже слышу свой голос: Он сейчас уезжает – пришлите на мое имя. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал твой адрес, я не хочу, чтобы кто-нибудь мысленно ходил со мной по Волхонке. *Моя* Волхонка!

Всё, что бы я хотела своего в России, должно было идти через тебя. Я не хочу другого приемника (от приятие). Мне вообще ничего не нужно, кроме тебя.

Борис, тебе не будет ново *во мне* в глубине. Помнишь те годы? Ты просто возвращаешься на дно меня, *жить молча*. Эта весна была взрывом. (Из предполагаемой статьи о твоей прозе: Б.П. взрывается сокровищами.) Твоя весна 1926 г. взорвалась мной.

Борис, я опять буду называть твоим именем: колодец, фонарь, самое бедное, одинокое. Car mon pis et mon mieux – sont les plus déserts lieux[58]. Борис, это *Я* написала.

Это первые мои слезы, первые вообще слезы, которые вид<ит> мой сын. У тебя еще будут дети.

Буду присылать тебе, по возможности, всё написанное, без

одной строки, пока не позовешь. Теперь я без фабулы, надо приниматься за Федру.

<Запись после письма:>

Буду одурять себя ходьбой. Я, кажется, ловлю себя на полн<ом> покое, точно все слезы пролила – сразу. Поняв, что *не* … кровь между (ибо для меня это – кровь), я поняла, что между нет ничего, т. е. то, что всегда было, привычная *гора*, беда, стена, не новая. С эхо (эха'ми!), не матрасная.

Письмо 76
<сентябрь 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Не могу удержаться от желания написать тебе о Шмидте. Я недаром его переписывала – не без корысти и не без выгоды. Усвоить другого через свою руку (почерк), стать им, другим, путем своей правой – это уже у меня было однажды – с тобой. В 1922 г., когда получила первое твое письмо.

Борис, я все эти годы – с 17го так спешу, мне всю жизнь так *некогда*, что – наконец в 26 г. чувствовать разучилась. Чувствовать – вчувствовываться <так!>. Просто чувствовать – вздор. Посему не истолкуй *досугом* ни той тогдашней переписки, ни нынешней – Шмидта. Чтобы понять <над строкой: слова> другого (мало понять), мне нужно произнести вслух его слова <вариант: услышать их из собственных уст>, или же – прочесть его (другого) своей рукой, удвоить.

Шмидт мне сейчас совершенно ясен, т. е. чувства мои в ответ на него настолько сильны, что – теперь или никогда – узнаешь меня *сторонне*.

<Два следующих абзаца зачеркнуты одной вертикальной линией.>

[Лейтенант Шмидт, по твоей поэме, мне глубоко отвратителен. Хвастун, болтун, неврастеник и нытик (качка) <оборвано>

Вот Шмидт, встающий из твоей поэмы. Человек без чувства долга, малодушный. Бросает флот и едет «распутывать интригу» <оборвано>]

Какой Шмидт встает из твоей поэмы? Во-первых, не моряк, без тени (просвета) морской чести. Чуть дома грызня – бросает флот и едет «распутывать интригу». Где долг? Увозит с собой казенные деньги и… дает себя укачать вагону и обокрасть – неизвестному. Проснувшись, вспом<инает>, что он нелегал, ничего не делает и спасается в волне спячки. Речь в Севастополе не дана. Крупный пробел. Почему ты не дал Шмидта в деле, Шмидта в силе, дословного Шмидта? Речь же существует? (Хорошая, очевидно!) Дальше: его арестовывают. Что первое? Нытье и самолюбованье. В мичманской в рабочей блузе да влюблен. Гениально перед<ана> морск<ая> болезнь, но… стыдно за лейтенанта. «Ne daigne»[59] – вот ответ в таких случаях моряка, да и каждого порядочного человека – морю.

Мужское письмо – верх грубейшей, отврат<нейшей> самовлюбленности. Если ты хотел дать иронию – не вышла. (Верь моему слуху!) «А предмет статей и споров – и поборник правды – Шмидт». КАКАЯ МИЗЕРИЯ.

Борис, любишь ли ты своего героя? Мне кажется – пытаешься. Он весь обратен тебе. На коп<ейку> дела – на – слова, и в общем нуль.

О Шмидте (вещи) я бы сказала так. Всё, что Пастернак – прекрасно, всё, что не Пастернак – посмешище. Прекрасны главы: Стихия, Марсельеза и, частично, Ноябрьский митинг и Восстание (в последней жест матроса). Удручающе-явно́ четверостишие – А разве слова на казеном карнизе и т. д. Борис, я левой рукой изо всех сил держу правую, чтобы тут же (сошло бы за опечатку) не подписать

– Свои?!)
Свои.

П.ч. свои, и Мукден, и Цусима, и слои, и казармы, давно-свои, кровно-свои. 4-стишие для цензора.

Я тебе предложу другое, Борис, дай измам перемолоться, – тоже (частью) свои будут.

Знаю, знаю, знаю, ты настолько не похож (ни на кого), что в желании дать настоящего человека дал посмешище. Я бы сказал (поступил, почувствовал) так, следовательно Шмидт – «простой, настоящий» говорит, чувствует, делает именно обратное. Твой Шмидт – самохвал. Тот, кого любила Россия, и – это уже в са<мом> звуке фамилии – был *застенчив*.

Дело, Борис, еще и в языке. Письма Шмидта написаны на жаргоне. Если у 1905 г. не было своего языка, ты не должен был заставлять Шмидта писать письма, ты должен был дать его исключительно через жест. Ведь не то отвратительно, что он теряет деньги (хотя и это, – хорош моряк! Хорош офицер! хорош вождь!), а то, что он, проснувшись, произносит. – Так и есть. Какое свинство. Нет пакета. Ведь он в эту секунду тошнотворен.

Вл<асти>, не долженств<ующие> любить 1905 г., долж<ны> б<ыть> в восторге, как и многие, тоже его не любящие, по сю сторону.

Не знаю, написал ли тебе С<лоним>ъ. Он <*нрзбр.*> вдохновлен.

Слушай: есть у тебя одно совершенно *античное* место (мир, в котором сейчас живу) – клятва.

Клянитесь,

Как тени велят вам.

Клятва Стиксом. Ты об этом не думал, рада. Только 05 г. было бы – как *трупы* велят вам (виселицы, общие могилы, пр.).

Ах, Борис, почему *на тебя* этот груз?

* * *

Соскучилась – стосковалась – по твоей новой прозе, по большой вещи *без темы*, где ты своб<одно> плав<аешь> и беспрепя<тственно> тонешь. Соскучилась по тайному, донному, спящему, бестемному, тёмному тебе. <Когда?> год конч<аешь>. Хотела спросить – какие еще будут главы, вспомнила – не переписыва<емся>. Разреши – mentalement[60] – писать тебе изредка, когда очень будет нужно. Только к мыс<ли> тв<оей> обращаюсь.

Письмо 77
<сентябрь 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

О Л<ейтенанте> Шм<идте> Б.П. – Победа человека, к<отор>ый не есть ты, к<оторо>го в тебе нет. Победа *всех* против *одного*. Ш<мидт> ноет. Ш. слюнит. Ш. нытик. Слёзы и слизь.

Письма Ш. – срифмованный жаргон 1905 г.

* * *

Дети, вы меня сбросите!

* * *

Дети, вы меня вспомните!

Письмо 78
Bellevue, 31 декабря 1926 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис!

Умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю – дня три назад. Пришли звать на Новый год и одновременно сообщили.

Последнее его письмо ко мне (6 сентября) кончалось воплем: «Im Frühling? Mir ist bang. Eher! eher!»[61] (Говорили о встрече.) На ответ не ответил, потом, уже из Bellevue, мое письмо к нему в одну строку: Rainer, was ist? Rainer, liebst Du mich noch?[62]

* * *

Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада – мой любимый – чуть не сказала: мой лучший – стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори, – пусть Есенину мирно спится.

* * *

Увидимся ли когда-нибудь?

– С новым его веком, Борис!

М.

Письмо 79а
<1 января 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, он умер 30го декабря. Не 31го. Еще одна жизненная нелепость, неточность, промах. Последняя мелкая мстительность жизни – поэту. Новый свой век он начал 27 годом, любимой цифрой. «7 – meine Lieblingszahl!»[63]

Борис, мы никогда не поедем к Рильке. Не сбылось. Еще одно не сбылось. Отчего, Борис, ты и я так мало хотим, так и не пытаемся хотеть? Те, что ездили к Рильке, любили его меньше, чем ты и я. (Не оттого ли (малость хотения) что неверие.) Ich will nicht wollen – ich darf nicht wollen[64]. Откуда это? Что-то чту и чем-то брезгую, не стоит объяснять.

…Борис, у вас паспорта сейчас дешевые. (Читала накануне.) И нынче ночью (под Новый Год) мне снились: океанский пароход (я на нем) и поезд. Это значит, что ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондоне, у меня в него давняя вера (помнишь тех потол<очных> птиц и твою замоскворецкую мятель).

Я тебя никогда не звала, теперь я тебя зову, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне. Твой город и мой. К зверям пойдем. К Тоуэру пойдем (ныне – казармы). Перед Тоуэром маленький крутой сквэр, пустынный, только одна кошка из-под скамейки. Там будем сидеть. На плацу будут учиться солдаты.

Вырвем этот клок (бессмертия) у жизни. Раз. Час.

Видишь, Борис, втроем, в живых, все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя: я бы не могла не поцеловать его руки, не могла бы поцеловать его руки даже при тебе, почти что при себе даже. Я бы рвалась и разрывалась, п.ч. ведь еще *этот* свет. (Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по точности снов. Чистота линий. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как я обижена в этом!) Тот свет, ты только пойми, свет, освещение, вещи, инако освещенные, светом твоим, моим.

На ТЕМ СВЕТУ – пока этот оборот будет, будет и народ. Но я сейчас не о народах.

– О нем. Слушай внимательно. Последняя его книга была французская Verger. Он устал от языка своего рождения.

(У меня, в 1916 г. —

И думаю: когда-нибудь и я,

Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской…)

Он устал от всемощности, захотел ученичества, схватился за неблагодарнейший из языков для стихов («poésie» – Dichtung[65]) – французский, опять смог, еще раз смог, сразу устал. (Не от немецкого.) Дело оказалось не в немецком, а в человеческом. Жажда французского была <вариант: оказалась> жаждой ангельского, тусветного. Книжечкой Verger он проговорился <вариант: обмолвился> на ангельском языке.

Дай время. Все пришлю тебе: и фотографии, и каждую строку. Сейчас не хочу разворачивать, не хочу этого *повода* смерти, выйдет, что действительно умер. Вздор какой. Сейчас, пока пишу, еще не похоронили (12 часов Нового Года, 1ro января) или – м.б. – только что. Душа совсем рядом, с тобой и мной. Видишь, он ангел, неуклонно чувствую его за *правым* плечом (не моя сторона, всегда прислушиваюсь влево).

* * *

Борис, два года, нет б<ольше>, абс<олютное> ч<исло>. Этим<и> год<ами> я тебя заслужила. Три почти года – отсутствия. Малейш<ий> собл<азн> – мимо: не сто́ит. Доберегу.

Приложение

Цветаева – Рильке

Das Jahr geht mit Deinem Tod? Ende? Anfang an. (Liebster, ich weiss, dass Du mich jetzt – Rainer, jetzt wein ich – dass Du mich jetzt ohne Post lesen kannst, eben liesest.) Lieber, wenn *Du* gestorben bist, ist Leben – Keines, gibt es keinen Tod. Was noch? Die kleine Stadt in der Savoye – wann? wo? Rainer, und das Schlafnest? (Netz) Jetzt kannst Du auch russisch und weisst dass Nest – ГНЕЗДО ist und mehreres noch. Ich will Deine Briefe nicht nach (wieder?) lesen, denn sonst werde ich nicht «leben» wollen («können»? «kann» alles, gilt nicht) – zu Dir wollen – nicht hier wollen. Rainer, ich weiss, dass Du gleich rechts bist, Deinen hellen Kopf fühl ich fast. Ob Du einmal meiner gedacht hast? Morgen Neujahr, Rainer. – 1927. – 7, Deine Lieblingsziffer. Also 1875 geboren (Zeitschrift)? 51? Jung.

Arme Enkelin, die Dich nie gesehen hat.

Arme ich.

Doch – nicht traurig sein! Heut Nacht um zwölf stoss ich (oh ganz sachte, Lärm leiden wir beide nicht) mit Dir an.

Liebster, mach, dass ich manchmal von Dir träume.

An ein hiesiges Zusammenkommen haben wir beide nie geglaubt, – wie aus Hiersein, ja? Du bist mir vorangegangen und ordnest – Stube nicht, Haus nicht – die Landschaft zu meinem Bewillkommen.

Ich küsse Dich auf Mund? tempe? <вариант: Schläfe>? Stirn? Lieber Mund, [denn todt bist Du nicht] wie einen rechten Lebenden.

Liebster, lieb mich anders und mehr als alle. Sei mir nicht bös, – gewöhne Dich meiner, denn so bleib ich.

Was noch?

Zu hoch, vielleicht? (…un peu trop en face de ce spectacle émouvant) <Над строкой: Nicht hoch, nicht weit, noch nicht, noch ganz nah, Stirn an Schulter.>

Mein lieber grosser Junge – Du.

Rainer, *schreib* mir! (Dumm genug, die Bitte?)

Freudiges Neujahr und eine schöne Himmelneujahrslandschaft.

Marina

Bellevue, 31 December 1926, 10 Uhr Abends.

Rainer, Du bist noch auf Erden, kaum 24 Stunden!

Перевод

Год уходит с твоей смертью? Конец? Начало. (Любимый, я знаю, что ты меня теперь – Райнер, сейчас я плачу – что ты меня теперь можешь читать без почты, уже прочитал.) Любимый, если *ты* умер, жизни нет, и нет смерти. Что еще. Маленький городок в Савойе – когда? где? Райнер, а как же гнездо для сна? (сеть)[66]. Ты ведь знаешь теперь и русский знаешь, что Nest – ГНЕЗДО, и еще многое. Я не хочу перечитывать твои письма, потому что иначе я не захочу «жить» («мочь»? «могу» все, <это слово> не подойдет), – захочу к тебе – не захочу быть здесь. Райнер, я знаю, что ты сейчас справа, почти чувствую твою светлую голову. Думал ли ты когда-нибудь обо мне? Завтра Новый год, Райнер. – 1927. – 7, твое любимое число. Значит, ты родился в 1875 году (газета)? 51? Молодой.

Бедная внучка, которая никогда тебя не видела.

Бедная я.

Но – не грустить! Сегодня ночью в двенадцать я чокнусь с тобой (о, совсем тихо, мы оба с тобой не переносим шума).

Любимый, сделай так, чтобы я иногда видела тебя во сне.

В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили, как и в здешнюю жизнь, да? Ты меня опередил и заказал – не комнату, не дом – пейзаж, чтобы меня хорошо принять.

Я целую тебя в губы? в висок? в лоб? Лучше в губы, [ты ведь не мертвый] как вправду живого.

Любимый, люби меня иначе и сильнее, чем все. Не сердись на меня, – привыкни ко мне, ведь такой я останусь.

Что еще?

Слишком высоко, быть может? (…чрезмерная близость этого волнующего зрелища) <Над строкой: Не высоко, не далеко, еще нет, еще совсем близко, твой лоб на моем плече.>

Мой милый взрослый мальчик – ты.

Райнер, *пиши* мне! (Довольно-таки глупая просьба?)

С Новым годом и прекрасным небесным новогодним пейзажем.

Марина

Bellevue, 31 декабря 1926 г., 10 часов вечера.

Райнер, ты еще на земле, не прошло еще суток!

Письмо 79б
Bellevue, 1 января 1927 г. — Цветаева – Пастернаку

ты первый, кому пишу эту дату. —

Борис, он умер 30го декабря, не 31го. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая мстительность жизни – поэту.

Борис, мы никогда не поедем к Рильке. Того города уже нет.

* * *

Борис, у вас паспорта сейчас дешевле (читала накануне). И нынче ночью (под Новый Год) мне снились 1) океанский пароход (я на нем) и поезд. Это значит, что ты приедешь ко мне и мы вместе поедем в Лондон. Строй на Лондоне, строй Лондон, у меня в него давняя вера. Потолочные птицы, замоскворецкая мятель, помнишь?

Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне. Твой город и мой. К зверям пойдем. К Тоуэру пойдем (ныне – казармы). Перед Тоуэром маленький крутой сквэр, пустынный, только одна кошка из-под скамейки. Там будем сидеть. На плацу будут учиться солдаты.

Странно. Только что написала тебе эти строки о Лондоне, иду в кухню и соседка (живем двумя семьями): – Только что письмо получила от (называет неизвестного мне человека). Я: – Откуда? – Из Лондона.

* * *

А нынче, гуляя с Муром (первый день года, городок пуст), изумление: *красные* верха дерев! – Что это? – Молодые прутья (бессмертья).

* * *

Видишь, Борис: втроем, в живых, все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя: я бы не могла не целовать его рук, не могла бы целовать их – даже при тебе, почти что при себе даже. Я бы

рвалась и разрывалась, распиналась, Борис, п.ч. все-таки еще *этот свет*. Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, *инако* освещенные, – светом твоим, моим.

На *тем свету* – пока этот оборот будет, будет и народ. Но сейчас не о народах.

– О нем. Последняя его книга была французская, Verger Он устал от языка своего рождения.

(Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской…

16 г.)

Он устал от всемощности, захотел ученичества, схватился за неблагодарнейший для поэта из языков – французский («poésie») – опять смог, еще раз смог, сразу устал. Дело оказалось не в немецком, а в человеческом. Жажда французского оказалась жаждой ангельского, тусветного. Книжкой Verger он проговорился на ангельском языке.

Видишь, он ангел, неизменно чувствую его за *правым* плечом (не моя сторона).

* * *

Борис, я рада, что последнее, что он от меня слышал: Bellevue. Это ведь его первое слово оттуда, глядя на землю! Но тебе необходимо ехать.

Приложение

Цветаева – Рильке

Das Jahr endet mit Deinem Tod? Ende? Anfang. Du bist Dir selber das neueste Jahr. (Liebster, ich weiss dass Du mich eher liest, als es steht – Rainer, jetzt wein ich, jetzt fliesst Du mir aus den Augen.) Lieber, wenn Du gestorben bist, ist Tod – keiner (oder) Leben – keines. Was noch? Die kleine Stadt in der Savoye – wann? wo? Rainer, und das Schlafnest? (Netz). Jetzt kannst Du auch russisch und weisst, dass Nest – ГНЕЗДО ist, und mehreres noch. Ich will Deine Briefe nicht

nachlesen, sonst werde ich zu Dir wollen – nicht hier wollen – und wollen darf ich nicht, <пропуск из-за дефекта копии>. Rainer, ich weiss, dass Du gleich rechts bist, Kopf an Schulter. Ob Du einmal meiner gedacht hast? Ja! Ja! Ja! – Morgen Neujahr, Rainer 1927 – Deine Lieblingszahl. Also 1875 geboren? (Zeitschrift.) 51? Jung

Arme ich.

Doch – nichts von armsein! Heut Nacht um zwölf stoss ich (meinen Stoss kennst Du doch: ganz leise!) mit Dir an.

Liebster, mach, dass ich manchmal von Dir träume, nein, falsch: bewohne meinen Traum. Jetzt darfst Du wollen und handeln.

An ein hiesiges Zusammenkommen haben wir beide nie geglaubt – wie ans Hiersein, ja? Du bist mir vorangegangen (Aufsicht auf <*нрзбр.*>, doch gleich kommt besser!) – und ordnest – Stube nicht, Haus nicht – die Landschaft zu meinem Bewillkommen.

Ich küsse dich auf Mund? Schläfe? Stirn? Lieber – Mund, wie einen rechten Lebenden.

Liebster, lieb mich anders und mehr als alle. Sei mir nicht bös, – gewöhne Dich meiner, denn so bleib ich.

Was noch?

Nicht hoch, nicht weit, noch nicht, noch ganz nah, Stirn an Schulter. Nie weit: nie zu hoch!

Mein lieber grosser Junge – Du.

Rainer, *schreib* mir! (Dumm genug, die Bitte?)

Freudiges Neujahr und eine schöne Himmelneujahrslandschaft.

Marina

Bellevue, 31 December 1926, 10 Uhr Abends.

– Rainer, Du bist noch auf Erden, kaum 24 Stunden!

Перевод

Год кончается твоей смертью? Конец? Начало. Ты самому себе – самый новый год. (Любимый, я знаю, ты меня читаешь раньше, чем я пишу) – Райнер, сейчас я плачу, ты льешься у меня из глаз! Милый, раз ты умер – значит, нет никакой смерти (или никакой жизни!). Что еще? Маленький городок в Савойе – когда? где? Райнер, а как же гнездо для сна? (Сеть.) Ты ведь теперь знаешь по-русски и знаешь, что Nest – ГНЕЗДО, и многое другое. Не хочу перечитывать твоих писем, а то я захочу к тебе – не захочу быть здесь, – а я не смею хотеть, <пропуск из-за дефекта копии>. Райнер, я знаю, что сейчас ты справа, головой – на моем плече. Думал ли ты когда-нибудь обо мне? Да! да! да! – Завтра

Новый год, Райнер, – 1927 – твое любимое число. Значит, ты родился в 1875 году? (Газета.) – 51 год? Молодой.

Бедная я.

Но – ни слова о бедности! Сегодня в полночь я чокнусь с тобой (ты ведь знаешь мой удар: совсем тихий!).

Любимый, сделай так, чтобы я иногда видела тебя во сне – нет, неверно: живи в моем сне. Теперь ты вправе желать и делать.

В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – как и в здешнюю жизнь, да? Ты меня опередил (вид на *<нрзбр.>*, но выходит лучше!) и заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж, чтобы меня хорошо принять.

Я целую тебя в губы? в висок? в лоб? Милый, лучше в губы, как вправду живого.

Любимый, люби меня сильнее и иначе, чем все. Не сердись на меня, – привыкни ко мне, ведь такой я останусь.

Что еще?

Не высоко, не далеко, еще нет, еще совсем близко, твой лоб на моем плече. Никогда далеко: никогда слишком высоко.

Мой милый взрослый мальчик – ты.

Райнер, *пиши* мне! (Довольно-таки глупая просьба?)

С Новым годом и прекрасным небесным новогодним пейзажем!

Марина

Bellevue, 31 декабря 1926 г., 10 часов вечера.

– Райнер, ты еще на земле, не прошло еще суток.

Письмо 80
Bellevue, 12 января 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

<На конверте письма Д.П.Святополка-Мирского к Пастернаку>

Дорогой Борис! Пересылаю тебе письмо М<ир>ского, которому не давала твоего адреса и которому умоляю его не давать. Причины внутренние (дурной глаз и пр.) – посему – веские, верь мне. Если неловко писать на меня и давать мой (NB! самое лучшее бы: я – глушитель) – дай адр<ес> Союза Писателей или Поэтов или еще что-нибудь общественное. Он твоего адр<еса> (личного) домогается с такой страстью, что *дать нельзя никак*. Кроме того: Волхонка, д. № 14, кв. 9 – моя, *не делюсь*. При встрече расскажу и увидишь.

Пока тебе будет достаточно знать, что когда, на днях, зашел ко мне – тут же застлала от него рукавом портрет Рильке в газете. Твоя Волхонка и лицо Р<ильке> – однородность. Не предавай меня.

Обнимаю и жду письма.

М.

<На обороте конверта>

Нарочно пишу на его письме, чтобы запечатать волю (его к твоему адресу), твою – к даче его.

М.Ц.

Приложение

School of Slavonic Studies
Malet St., London WC 1.
8 января 1927 г.

Святополк-Мирский – Пастернаку

Глубокоуважаемый Борис Леонидович,

простите, что осмеливаюсь беспокоить Вас этим письмом. Дело в следующем: французский журнал «Commerce» напечатал некоторое время тому назад переводы двух Ваших стихотворений

(Накрапывало, но не гнулись, и другого из «Рус<ского> Совр<еменника>», переводы так себе). Они хотят Вам заплатить за них гонорар, и вероятно хороший. Как Вам было бы удобнее всего, чтобы Вам выслали деньги: куда и в какой форме (чек, перевод, валюта)?

2) Я занимаюсь переводом «Детства Люверс», на два языка, французский (для Commerce же) и английский (еще не знаю, для кого), и тоже хотел бы<ть> по этому поводу в контакте с Вами, чтобы Вам при этом не остаться внакладе.

Не знаю, дошли ли до Вас Версты и как Вы их одобрили? Дальнейшее их существование не ясно.

Не осмеливаюсь после таких материальных предметов писать, как хотел бы, о той глубокой привязанности, которая давно уже привязывает меня к Вам как к автору, особенно «Сестры Моей Жизни», книги, однако, столь бездонно содержательной, что сходя в нее постоянно все глубже и глубже, я все еще не знаю, достиг ли я ее последнего круга и средоточия. Если бы я смел думать, что моя оценка может Вам быть интересна, я бы хотел Вам говорить также о том, что такого поэта, как Вы, у нас в России не было со времени золотого века, а в Европе сейчас может быть спор только между Вами и Т.С.Элиотом.

Письмо это буду просить переслать Вам Марину Ивановну; но был бы счастлив, если бы Вы мне ответили прямо по вышеозначенному адресу и сообщили бы мне Ваш.

Глубоко почитающий Вас

Д.С.Мирский

Письмо 81
<январь 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. Странно, что все это – вторично. То письмо помнишь – из Чехии? И свои слезы. И свой восторг: отец сказал, что жив.

Сейчас слезы. Жди восторга: Отец скажет, что жив! <вариант: Отцовского слова>

Еще одно: с содроганием поняла, что вещь о нас двоих «Попытка комнаты» – не о нас, а о <пропуск одного слова>. Пиша ее, не понимала: почему так жутко (ожидание явления). И горевала: почему – все-таки – нелюбовно. Перечти Элегию: дважды поймешь.

О Борис, Борис! Вся поэма – пророчество! Конец страшен.

Нам не то с тобой на роду.

Начинаю вживаться в весть. Отовсюду – зн<аки> и зовы.

Письмо 82
<ок. 3 февраля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогой друг! Я пишу тебе случайно и опять замолкну. Но нельзя же и шутить твоим терпеньем. Шел густой снег, черными лохмотьями по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти. Ну что тут говорить! Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то, жизнь поехала мимо, несколько дней мы друг друга не слышали и не понимали. Кстати ударил жестокий, почти абстрактный, хаотический мороз. По *всей* <подчеркнуто дважды> ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели? Нет, кажется нет, и не надо: полный залп беспомощности снижает человека. У меня же все как-то обесцелилось. Теперь давай жить долго, оскорбленно-долго, – это мой и твой долг. – Нелегко мне далось это молчанье. Особенно больно было открыть его вслед за полученьем Мур'овой карточки и не успеть сказать тебе, как он великолепен в своей младенческой надменности и насколько, действительно, – наполеонид. – Версты не могли дойти до меня: зарубежные русские книги посылать никогда не следует, они остаются в цензуре. Их мне дал Зелинский. У меня странная привычка: только я успею разрадоваться и разволноваться, как тотчас спешу осчастливить кого-ниб<удь> из друзей источником этого волненья. Тут даже есть закон пропорции, и так как на этот раз чувства были предельны, то Версты пробыли у меня только сутки. Но, конечно, я проглотил все, разве только не дочитал (и жалею об этом) статьи Шестова. В книжке, точно как на приволье, против меленькой листовки Поэма Горы сильно выиграла. Свое настоящее место она заняла в особенности в отсутствие «Конца» и «Крысолова», которые находились в тот день у Асеева. Конечно, и сейчас я скажу, «Гора» – в подчинении к «П<оэме> Конца». Но тогда я прочел ее вне этой ее подчиненности, словно бы тех исключительнейших поэм не существовало. Твоя, конечно, твоя. Особенно все куски с перемежающимися: гора горевала – гора говорила.

Раз случился скандал. Надо тебе знать, что я проворонил корректуру I-й части Шмидта, и по этой случайности вещь осталась как бы за тобой, т. е. акростих был напечатан. Поначалу его не прочли (прописная колонка не была выделена). Когда же (удружил один приятель) уже по прошествии двух месяцев после выпуска эта «тайна» была раскрыта, редактор, относившийся ко

мне, не в пример многим тут, исключительно хорошо, стал рвать и метать, заговорил о черной моей неблагодарности и не пожелал больше никогда ни видеть меня, ни слышать, ни, следовательно, и объясняться. Напуганного всем происшедшим приятеля секретари Нов<ого> Мира поспешили успокоить фразой, заставившей меня сердечно пожалеть о недоразуменьи, обидевшем такого человека. Он, сказали они, слишком любит Цветаеву и Пастернака, дело обойдется, это размолвка ненадолго. – Представь, он вообразил, что это я ему подсунул, чтобы его одурачить. Я ему написал письмо, где всем вещам (в том числе и его мыслям) вернул поколебленное достоинство. Это прекрасный человек, и он ведет журнал лучше, чем это возможно в оглоблях, в кот<орые> взяты здесь ответственные редактора. Версты нравятся им. Поняла ли ты суть происшедшего? Ты – за границей, значит, твое имя тут – звуковой призрак. Передают (я не был), на отчете Всер<оссийского> Союза Пис<ателей> об истекшем годе в прозе, поэзии и пр. Асееву, читавшему доклад о поэтах, задали вопрос, отчего он не говорит о тебе, не поэт ли Ц.? Нет, ответил будто бы он, Цветаева поэт *огромный*, но ее здесь нет. Ты не сердись на него, даже я за тебя не обиделся: ни Маяковский, ни Коля не могут себе позволить многого из того, что спускается мне. Они воспринимаются в обрамленьи ответственности, популярности и пр. Я же на положении безответственном, т. е. сущие дети, поголовные дети и подчас дурные, воображают, что я – ребенок. Зато и живу я несоизмеримо лучше (морально) и хуже (матерьяльно) многих. – Уже ты заметила, вероятно, к середине письма, что я болтаю с тобой как ни в чем не бывало, точно мы вчера расстались. Что ты сейчас делаешь, чем в настоящее время занята?

<На полях:>

Я получил твое вложенье (письмо от Св<ятополка>-Мирского). Я не знаю его имени и отчества. Сообщи мне его, пожалуйста.

Отвечу, разумеется, через тебя. Покамест же, горячее ему спасибо за письмо и за его приязнь.

Письмо 83а
<ок. 9 февраля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Твое письмо похоже на отписку: причина – страх, что вообще не напишешь, так<ое>, т. е. <над строкой: а под страхом> тайное нехотение письма, сопротивление письму. Впрочем – и не тайное: раз с первой строки: – потом опять замолчу.

Такое письмо не прерывает молчания, у меня даже нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому все в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, на своем отнесении себя к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Рильке. Его смерть – *в ее динамике* <над строкой: жизн<енной> действенности» – право к сущ<ествованию> мое с тобой.

Грубости удара я не почувствовала (твоего «как *грубо* мы осиротели»). Что почувствовала, узнаешь из вчера законченного (31го, в день вести – начатого) письма моего к нему, которое, как частное письмо, друзьям прошу не показывать. Сопоставление Рильке и Маяковского для меня, при всей (?) любви (?) моей к последнему – кощунственно. Кощунство (давно это установила) есть несоответствие.

Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне – начало лета – оказался стихом о нем и мне, КАЖДАЯ СТРОКА. Произошла любопытная подмена: стих писался во время моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался – мало о нем! – о нем сейчас (*после* 29го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому, к которому же СОБИРАЛАСЬ! – о встрече с ним – ТАМ. Вещь называлась «Попытка комнаты» и, направленная на тебя, казалась странной – до такой страсти отрешенной и нелюбовной. Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строчку, ПРОВЕРЬ. Этим летом, вообще, писала три вещи: 1) Вместо письма 2) Попытка Комнаты и <3)> «Лестница» – последняя, чтобы освободиться от средоточия на нем – здесь, в днях, по причине ЕГО, МЕНЯ ЕЩЕ В ЖИЗНИ и (оказалось!) завтра – смерть – безнадежного. Лестницу, наверное, читал? П.ч. читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.

Достань у Зелинского (если в Москве, а если в Париже – все-таки достань) 2 № Верст, там мой Тезей – трагедия – I часть.

Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Рильке, которое кончила только вчера (в тоске).

Спасибо за любование Муром. Лестно (сердцу). Да! У тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в Тезее: – Игры – призрак и радость – звук. Какую силу, кстати, обретает слово призрак в предшествии звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак – подумай.

Когда едешь? – Имя Святополка-Мирского – Димитрий Петрович.

Да! Самое главное. Нынче (8го февраля) мой первый сон о нем. Не не-все в нем было сном, а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе): «Между нами серебряная голова» – не иносказательная седая, а серебряная, металл, так я поняла. И – зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, пол утыкан. Платье длинное, нужно пробежать не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая – много людей в черном, узнаю Р.Штейнера (видела раз, в Праге) и догадываюсь, что собрание посвящения. Подхожу к господину, сидящему посреди зала, в кресле. Взглядываю. И он с улыбкой: Райнер Мария Рильке. – «Ich weiss!»[67] Отхожу, вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то и, за руку, увожу. – Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Он раздваивается: один он в углу, далеко от меня, молодой, другой – рядом – нынешний. У меня в руках кипящий чугун, бросаю в него щепку: Поглядите. И люди смеют после этого пускаться в плаванье! – «Я люблю море. Мое! – Женевское!» – «Почему Вы не понимали моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски? – Да – Женевское. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St. Gill'e…» И он, mit Nachdrang[68]: – «В St. Gill'e – *ВСЁ* хорошо», явно отождествляя Сен-Жиль с Жизнью. Все, говоря с ним, в пол-оборота ко мне – «Ваш знакомый», не называя, не выдавая.

Словом, я побывала в гостях у него, потом он у меня.

Живу им и с ним. (Мне еще одна встреча <варианты: событие, жизнь> предстоит в жизни – ты. Это будет проверка.) Грустно-озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его последние, т. е. мне, после этой – еще много-много раз, он жил – в последний, м.б. в *пред* последний. Вся моя забота (жизненная) – не пропустить в следующий раз (его последний).

Эта смерть, т. е. эта зияющая дыра *здесь* – как всё в моем порядке вещей. Это было лучшее, разве не естественно, что ушло. Первое совпадение лучшего *для меня* и лучшего на земле. Разве не естественно, что ушло. Ты, очевидно, еще чтишь жизнь или на что-то от нее надеешься. Для тебя эта смерть не в порядке вещей,

для меня такая жизнь – не в порядке, в порядке ином, моем нежизненном.

О Верстах. III № будет, дай для него стихи, если есть. № будет маленький. Я дам Письмо, а ты стихи, больше стихов не будет. Не поленись, высы<лай> сразу, лучше неизданное, поме<тим> перепечатк<ой>.

Да! главное. Как случилось, что ты центром письма взял [не наше с ним расставание], а твое со мной разминовение, потонувшее в огромности нашего с ним расставания. Для меня вторые ты и я начинаются со дня его смерти, здесь преемность <так!>. Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое *когда живы* – частность, о которой перед лицом сего и говорить не стоит. Там воля, решение, прочее, здесь: СТРЯСЛОСЬ.

Многое могла бы еще сказать тебе.

Будет время – перепишу и пришлю тебе обе вещи, ту, летнюю, эту, зимнюю. А пока – до свидания.

Дошло ли описание его похорон? Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув. Скоро увижусь с русской, которая была его секретарем два последних месяца и видела его за два-три дня до смерти. Да! две недели спустя ее получила от него подарок – немецкую Мифологию, издания 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была L'Ame et la Danse, Valéry.

* * *

Живу в страшной тесноте, в комнате втроем с двумя детьми, никогда не бываю одна, страдаю.

Вариант
(последний лист письма)

По опыту знаешь, что есть места недающиеся, невозможные, к которым *глохнешь*. И вот – 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.

* * *

Живу им и с ним. Грустно-озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его, боюсь, последние, т. е. – мне еще много-много раз, ему – много! – один. Вся моя забота (жизненная) не пропустить в следующий раз (его последний).

Эта смерть, эта зияющая дыра здесь – как-то в порядке (моем) вещей. Первое совпадение лучшего *для меня* и лучшего *на земле*. Разве не ЕСТЕСТВЕННО, что ушло. За что *ты́* – принимаешь жизнь? Для тебя эта смерть не в порядке вещей, для меня такая жизнь (о *его* говорю) – не в порядке, в порядке ином, здешний стирающем.

Да! главное. Как случилось, что ты центром письма взял не наше с ним расставание, а твое со мной разминовение, в огромности того расставания – тонущее. Словом, начал с последней строки своего письма, а не с первой – моего (от 31го). Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, *пока живы*, – частность, о которой перед лицом СЕГО – и говорить совестно. Там: «решил», «захотел», «пожелал» – здесь: СТРЯСЛОСЬ.

Или это сознательно? Тогда вспомни его – о страдании (Leid) и перенеси последнее и на меня, после *такой* потери ничем не уязвимой, кроме ЕЩЕ – ТАКОЙ. (Кажется, точно.)

– Дошло ли описание его погребения? Немножко (не из своих уст, потому – неточно) узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем. Да! две недели спустя получила от него подарок – немецкую Мифологию 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была L'Ame et la Danse, Valéry. (Вспомни мой сон.)

Живу в страшной тесноте, втроем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.

* * *

Кто из русских поэтов пожалел о нем? Передал ли мой привет автору Гренады? (имя забыла)

…Да, новые песни
И новая жисть.
Не надо, ребята,
О песнях тужить!

Не надо, не надо, не надо, друзья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

М.Ц.

<На полях:>

Передай, пожалуйста, вложенный листочек Асе. До нее мои письма не доходят.

Bellevue (S. et O.)
31, Boulevard Verd

Письмо 83б
Bellevue, 9 февраля 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис,

Твое письмо – отписка, т. е. написано из высокого духовного приличия, поборовшего тайную неохоту письма, сопротивление письму. Впрочем – и не тайную, раз с первой строки: «потом опять замолчу».

Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, называет его. У меня совсем нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому всё в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Р<ильке>. Его смерть – право на существование мое с тобой, мало – право, собственноручный его приказ такового.

Грубость удара я не почувствовала (твоего «как грубо мы осиротели», – кстати, первая строка моя в ответ на весть тут же:

Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
Ясное? – нету сведений!
Осиротели не только мы с тобой
В это пред-предпоследнее
Утро… —)

Что́ почувствовала, узнаешь из вчера (7го, в его день) законченного (31го, в день вести, начатого) письма к нему, которое, как личное, прошу не показывать. Сопоставление Р<ильке> и М<ая>ковского для меня при всей (?) любви (?) моей к последнему – кощунственно. Кощунство – давно это установила – иерархическое несоответствие.

Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне – начало лета – оказался стихом о нем и мне, *каждая строка*. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался же – мало о нем! – о нем – сейчас (*после* 29го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому – к которому же *собиралась*! – как *не* встретились, как *иначе* встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая… нелюбовность, отрешенность, отказность каждой строки. Вещь называлась «Попытка комнаты» и от каждой – каждой строкой –

отказывалась. Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строку, *проверь*. Этим летом, вообще, писала три вещи:

1. Вместо письма (тебе), 2. Попытка комнаты и <3.> Лестница – последняя, чтобы высвободиться от средоточия на нем – здесь, в днях, по причине ЕГО, МЕНЯ, нашей еще: ЖИЗНИ и (оказалось!) ЗАВТРА – СМЕРТИ – безнадежного. Лестницу, наверное, читал? П.ч. читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.

Достань у З<елин>ского, если еще в Москве, а если нет – закажи – № 2 Верст, там мой «Тезей» – трагедия – I ч<асть>. Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Р<ильке>, которое кончила только вчера. (В тоске.)

Спасибо за любование Муром. Лестно (сердцу). Да! у тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в «Тезее»: «Игры – призрак и радость – звук». Какую силу, кстати, обретает слово призрак в предшествие звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак – думал?

Имя Св<ятополка>-Мирского – Димитрий Петрович. Он сделает тебе много добра, если не будешь слишком платить ему тем же. Когда-нибудь расскажу.

Последняя веха на пути твоем к нему: письмо для него, пожалуйста, пришли открытым, чтобы научить критика – иерархии и князя – вежливости. (Примечание к иерархии: у поэта с критиком не может быть тайны от поэта. Никогда не пользуюсь именами, но – в таком контексте – наши звучат.) Письма твоего к нему, открытого, естественно – не прочту.

Да! Самое главное. Нынче (8го февраля) мой первый сон о нем, в котором *не* «не все в нем было сном», а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе, иногда еще и Мур третьим): «Между нами серебряная голова». Не серебряная – седая, а серебряная – металл, так поняла. И – зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, весь пол утыкан. Платье длинное, надо пробежать, не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая – много людей в черном, узнаю Р.Штейнера (видела раз в Праге) и догадываюсь, что собрание посвященных. Подхожу к господину, сидящему в кресле, несколько поодаль. Взглядываю. И он с улыбкой: Rainer Maria Rilke. И я, не без задора и укора: «Ich weiss!» Отхожу, вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то, вернее дослушать что-то от кого-то (помню, пожилая дама в коричневом платье, восторженная) и за руку увожу. Еще о зале: полный свет, никакой мрачности и все присутствующие – самые живые, хотя серьезные. Мужчины по-старинному в сюртуках, дамы – больше пожилые – в темном.

Мужчин больше. Несколько неопределенных священников.

Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Один в углу, далеко от меня, молодой, другой – рядом – нынешний. У меня на коленях кипящий чугун, бросаю в него щепку (наглядные корабль и море). – «Поглядите, и люди смеют после этого пускаться в плавание!» – «Я люблю море: мое: женевское». (Я, мысленно: как точно, как лично, как по-рильковски): – «Женевское – да. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St.Gill'e»… И он mit Nachdruck[69]: «В St. Gill'e *всё* хорошо», – явно отождествляя St. Gilles – с жизнью. (Что, впрочем, и раньше сделал, в одном из писем: «St. Gilles-sur-Vie (survie!)». – «Как Вы могли не понимать моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски?» – «Теперь». (Точность этого ответа и наивность этого вопроса оценишь, когда прочтешь Письмо.) Все, говоря с ним – в пол-оборота ко мне: «Ваш знакомый…», не называя, не выдавая. Словом, я побывала у него в гостях, а он у меня.

Вывод: если есть возможность такого спокойного, бесстрашного, естественного, вне-телесного чувства к «мертвому» – значит, оно есть, значит, оно-то и будет – там. Ведь в чем страх? Испугаться. Я *не* испугалась, в первый раз за всю жизнь чисто обрадовалась мертвому. Да! еще одно: чувство тлена (когда есть), очевидно, связано с (приблизительной) длительностью тлена; Р.Штейнер, напр<имер>, умерший два года назад, уже совсем не мертвый, ничем, никогда.

Этот сон воспринимаю как чистый подарок от Р<ильке>, равно как весь вчерашний день (7-ое – его число), давший мне *все* (около 30-ти) невозможных, неосуществимых места Письма. Всё стало на свое место – сразу.

По опыту знаешь, что есть места недающиеся, неподдающиеся, невозможные, к которым *глохнешь*. И вот – 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.

Живу им и с ним. Не шутя озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его, боюсь, последние, т. е. – мне еще много-много раз, ему – много – один. Вся моя забота и работа отныне – не пропустить следующего раза (его последнего).

Грубость сиротства – на фоне чего? Нежности сыновства, отцовства?

Первое совпадение лучшего *для меня* и лучшего *на земле*. Разве не ЕСТЕСТВЕННО, что ушло? За что *ты* – принимаешь жизнь??

Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь – не в порядке, в порядке ином, иной порядок.

Да, главное. Как случилось, что ты средоточием письма взял

частность твоего со мной – на час, год, десятилетие – разминовения, а не наше с ним – на всю жизнь, на всю землю – расставание. Словом, начал с последней строки своего последнего письма, а не с первой – моего (от 31го). Твое письмо – продолжение. Не странно? Разве что-нибудь еще длится? Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, пока живы, ЧАСТНОСТЬ – уже уничтоженная. Там «решал», «захотел», «пожелал», здесь: СТРЯСЛОСЬ.

Или это – сознательно? Бессознательный страх страдания? Тогда вспомни его *Leid* [70], звук этого слова и перенеси его и на меня, после *такой* потери ничем не уязвимой, кроме еще – ТАКОЙ. Т. е. – не бойся молчать, не бойся писать, все это раз и пока жив, неважно.

Дошло ли описание его погребения. Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем. Да! Две недели спустя получила от него подарок – немецкую Мифологию 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была Paul Valéry. (Вспомни мой сон.)

* * *

Живу в страшной тесноте, две семьи в одной квартире, общая кухня, втроем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.

* * *

Кто из русских поэтов (у нас их нет) пожалел о нем? Передал ли мой привет автору «Гренады»? (имя забыла)

Да, новая песня
И новая жисть.
Не надо, ребята,
О песнях тужить.

Не надо, не надо,
Не надо, друзья!
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Версты эмигрантская печать безумно травит. Многие не подают руки. (Х<одасеви>ч первый). Если любопытно, напишу

пространнее.

Передай Асе листочек, мои письма к ней не доходят.

Письмо 84
<ок. 9 февраля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

11

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожано́м.

Отёки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.

С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе,
Различных орьентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.

* * *

Пред этим, в понедельник,
В обеденный гудок
Обезголосил эллинг
И обезлюдел док.

Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочной
У выходных ворот.
Солдатки и служанки

Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.

Влились в тупик казармы
И – вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка…

* * *

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустились наутек.

Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.

* * *

Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катались экипажи,
Мелькали кучера.

Боязнь бомбардировки
Сквозила, дня ясней,
В кучерской сноровке
И резвости коней.

Безмолвствуя, потерянно
Струя́ми вис рассвет.
Толстый, как материя.
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три погибели

Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.

Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Верста, скача под шины,
Несла ко всем чертям.

Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.

* * *

Вставали кипарисы;
Кивали, подходя.
Росли, – чтоб испариться
В кисее дождя.

12

Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
И не ропщет, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.

Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и несмотря на то,
Трын-трава и море по колено:
Дует дальше с той же прямотой.

Вот он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

* * *

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы – шум и споры
Этой темной ночью ноября.

Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.

Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это – шторм в открытом море ртов.

Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вкруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, – и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,

И глуша раскатами догадки,
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

* * *

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.

Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами, – полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это – объясненье исполинов.

Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он – малинов.
Если мрак за них, то он – лилов.

Все же раз доносится: эскадра.
(Это с тем, чтоб браться, да с умом.)
И потом, другое слово: завтра.
(Это… верно, о себе самом.)

13

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь – кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках – под диван,
Потом от чемодана к шкапу. —
Сумбур, горячка, – караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг – звонок, и кабинет
Перекосившее: о Боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настежь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
И ужас нравственных нерях:
«Тогда какой же вы политик?

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
– Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся.

Я объезжаю города,
Чтоб пробудить страну от спячки,

И вывожу без вас суда
На помощь всероссийской стачке.

Но так, – безумное одно
Судно против эскадры целой! —
Нам столковаться не дано,
Да и не наше это дело.

* * *

Пожатья рук. Разбор галош.
Щелчок английского затвора.
Плывущий за угол галдеж.
Поспешно спущенные шторы.

И ночь. Шаганье по углам.
Выстаиванье до озноба
С душой, разбитой пополам,
Над требухою гардероба.

Крушенье планов. Что ни час
Растущая покорность лани.
Готовность встать и сгинуть с глаз
И согласиться на закланье.

И наконец, тоска и лень,
Победа чести и престижа,
Чехлы, ремни и ночь. И день,
И вечер, о котором – ниже.

14

Подросток-реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.

Пройдя в столовую
И уши навострив,
Матрос подумал:

«Хорошо у Шмидта».

…Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом…
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

…Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело —
К зиме.

Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг
За плотными драпри
Проклятья раздались
Так явственно,
Как будто тут, внутри.

«Чухнин? Чухнин?!
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката,
отличать от правых виноватых!

Я Черноморский флот, хо —
лоп и раб, забью тебе,
как кляп, как клепку,
в глотку!

И мигом ока двери комнаты вразлёт.

Буфет, стаканы, скатерть —
«Катер?»
– Лодка,
В ответ на брошенный вопрос —
матрос,
И оба вон, Очаковец за Шмидтом,
Невпопад, не в ногу,
из дневного понемногу в ночь,
Наугад куда-то, вперехват закату.
По размытым рытвинам садовых гряд.
……
В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном потном зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо по размытым,
сбитым плитам променад.

Пото́м бегом, сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног тропой наискосок
Кругом обрыва… Топот, топот, топот,
Топот, топот, поворот-другой,
….
И вдруг, как вкопанные, стоп.
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь побранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух
И кубарем с: последней кручи – бух
В сырую груду рухнувшего бута.

15

Стихла буря. Дождь сбежал
Ручьями с палуб по желобам.
Ночь в исходе. И ее
Тронуло небытие.

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.

Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблéй,
Отдается дрожью в теле
Кораблей. —

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

Где след команд? – Неотрезвимы.
Споили в доску, и к утру,
Приняв от спившихся в дрезину
Повинную, спустили в трюм.

Теперь там обморок и одурь.
У пушек боцмана́. К заре
Судам осталось прятать в воду
Зубовный скрежет якорей.

А там, где грудью б встали люди,
Где не загон для байбаков,
Сданы ударники к орудьям,
Зевают пушки без бойко́в.

Зато на суше – муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье

Толпе у Павлова мыска.

Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой —
И – проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег
И грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.

На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий, —
Донцы и Крымский дивизьон.
И – любопытство, любопытство!
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.

Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.

Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Но это только мерный ярус.
А сверху бухту бунтарей
Амфитеатром мерит ярость
Объятых негой батарей.

* * *

Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,

В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара – крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

16

Вдруг, как снег на́ голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура – ударом в борт,
в штурвал,
В бушприт!
Ура – навеки, наповал,
Навзрыд!

Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

Он вырвался, как вздох,
Со дна души судна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.

Сигналы «Вижу» дальних мачт
Рябят – (2, 3, 4, 5)
Рябят – (не счесть, чего желать!)
Рябят седую гладь!
Простор, ощерясь мятежом,
Ерошится ежом.

* * *

Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».
Как красный стенговой, как знак
К открытию огня.
Вверх и наотмашь. Поперек,
Как сабля со стегна.

И мачты рейда, как одна.
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На 2-х, на 3-х, на 4-х
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский – томящ,
Как рок.

17

Вдруг взоры отвлеклись к затону.
Предвидя, чем грозит испуг,
Как вены, вскрыв свои кинстоны,
Шел ко́ дну минный транспорт «Буг».

Он знал, что от его припадка
Сместился бы чертеж долин:
Всю левую его лопатку
Пропитывал пироксимин.

Полуутопший трапецоедр
Служил свидетельством толпе,
Что бой решен, и рыба роет
Колодцы под смерчи торпед,

Что градоносная опасность,
Нависшая над кораблем,
Брюхата паводком снарядов,
И чернь по кубрикам попрятав

Угрозой, водкой и рублем,
Готова в нетерпеньи хряснуть,
Как мокрым косарем – кочан,
Арапником огня по трапам,
Что их решили взять нахрапом
И рейд на клетки разграфлен.

* * *

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,

В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первей?
Объехать эскадру.
Усовестить ядра.
На муку подвигнуть зверьё из верфей.

И на миноносце ушел он туда,
Где небо и гавань ловя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династии далей – дымились суда.

Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но весь громоздясь Пелионом на Оссу,
Под лад броненосцам
Качался и несся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

Поднявшись над скопом
Слепых остолопов,
Ворочая шеей оград и тумб,
Летевший навстречу ему Севастополь
Следил за ним
За румбом румб.

* * *

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.

Он не спешил. На миноносце
Щадили винт.
Он чуть скользил, а берег несся,
Как в фордевинд.

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлёй грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой.
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

Снова на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.

Снова по рейду и по реям
Громко пронесся красный вихрь:
Бывший «Потемкин», теперь – «Пантелеймон»
В освобожденных узнал своих.

Снова, приветствуем экипажем,
На броненосец всходил и глох

И офицеров брал под стражу
И уводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:

Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.

По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.

«Эх, – простонал, – подвели, канальи!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.

С суши, в порыве низкопоклонства
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Тени и камни, камни и солнце
В воду и вечность, как невода.

Все закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

Закат был тих и выспренен,
Как вдруг – бабах, в сердцах
Раскатился выстрел
С «Терца».
Мгновенный взрыв котельной.
Далекий крик с байдар
И под воду. Смертельный
Удар.

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространство
Оборвалось и – в бой,

Чтоб разом опростаться
Пальбой.

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружья
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел и гладил флаги
По лбу.

Он нес суда и зданья, выбрав
Фундаменты и якоря,
На ливень гибель всех калибров
Беря.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась в лету́, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть и визг и вывих
Везде.
…….
…….

Уже давно затих обстрел,
Уже давно горит судно
В костре. Уже давно быстрей
Летят часы. Но вот затих
С последним воплем треск шутих,
И крейсер догорел.

Глухая ночь. Чернильный ров
Морской губы. Слепой покров
Бегущих крыш и катеров
В чехлах прожекторов.

«Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем – у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем. Сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему и каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег Рождества.
Где он, тот день, когда вскрыв телеграмму,
Все позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну!
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее полученья был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутаций,
Дума, эсдеки, – звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, все. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет Севастопольской бойни
В старых газетах – полный отчет».

<На последней странице текста поэмы:>

Кинстоны – каналы, ведущие в балластные цистерны двойного дна.

Гальюн – место в носовой части корабля (где находятся отхожие и свалочные места).

На «Пруте» находилась часть осужденных по Потемкинскому бунту (кот<орый> произошел перед тем за 5 месяцев). Брон<еносец> Потемкин после этого был переименован в «Пантелеймона». «Прут» служил плавучей каторжн<ой> тюрьмой.

Вот – то, что написано из II-й части. Если сцена суда и казни не будут лучше этих, т. е. не будут достаточно серьезны и человечны, мне придется на этом письме и кончить. Однако насчет суда у меня имеются кое-какие мысли, и я – попробую, т. е. пока что я этого письма концом не признал. Окончательно сделано все до 17-го деленья. С 17-го и до письма, может быть, буду переделывать. Нужны были деньги, и эту порцию я гнал к своего рода – двадцатому числу. Особенно это относится к бою. М.б. две строки многоточий будут заполнены, так строк на 16 – на 20 самой судьбой «Очакова» в обстреле. А м.б. этого и не надо. Вообще вся работа относится к самому последнему времени. Лето и осень прошли пусто и бесплодно. Но, конечно, читал, думал и наброски копились. По-настоящему все зажило на Рождестве. Особенно замечательна была ночь на 1-е. Я никуда на встречу Нов<ого> Года не пошел. Мне хотелось тебе написать в эту ночь, без малейшей тени даже метафизического предательства в отношеньи Ж<ени>, встречавшей Н<овый> Г<од> с Асеевым, Маяком и всей лефовской компанией. И вот, так же точно как я не писал тебе все это время, или еще отчетливей и сильней, я *вместо* письма к тебе решил собраться с мыслями и с волей, и в эту-то ночь и зажила II-я часть как целое. В 6-м часу утра Женичка (мальчик) закашлял очень страшно, мне показалось, что у него коклюш. Я стал ему греть молоко, по страшной рассеянности делая страшные глупости с примусом, на котором каждый раз то взрывом, то целым столбом отзывался огонь, без опасных последствий, точно только одушевленно говоря о своих способностях. Сейчас, написав это, я вспомнил о рожденьи Мура. Со встречи вернулись Ж<еня> с Маяковским. Он был вторым

поздравителем в эту ночь. Первою поздравила меня и 12 на минуту зашедшая Харазова. Ты ни ее, ни, верно, о ней не знаешь. Существованье ее для меня (т. е. знакомство) начинается с Аси. Я тебе м. б. когда-ниб<удь> о ней расскажу и о том, как и чем она связана с Rilke. Связь далекая и легкая, и однако составляющая единственный тон моего отеческого, редкого (т. е. неплотного) к ней отношенья. – Если II-я часть лучше отвратительной первой, то этим я обязан твоему осужденью.

Скоро напишу, с письмом к С<вятополку>-М<ирскому>.

Письмо 85
<сер. февраля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

<На обороте автографа поэмы «Попытка комнаты»>:

Борис! а это он тебя первый поздравил с Новым Годом! Через женщину. Через русскую. Почти через меня.

Письмо 86
22 февраля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

У меня вышла почт<овая> бумага, и неприятно писать тебе на этой. Я только что получил «Попытку комнаты». Ты знаешь сама, – как это хорошо и как близко мне, утратившемуся, настоящему. Но вот, только успел открыть рот, как уже – непрошеная бестактность. Нет, я не сравниваю. Я не могу не завидовать тебе, но сильнее моей зависти – гордость и радость. Ты удивительно стройно растешь и последовательно. Всего больше поражает и волнует меня в твоем безостановочно и безущербно развертывающемся мире тот стержень, по которому выравнивается твое богатство. <Зачеркнуто три с половиной строки.> Зачеркнул приблизительно то же, что следует дальше, по неудачности выраженья. Мысль, т. е. самый шум «думанья», настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется победительницей. Кажется, ей никуда еще не падалось так радостно и вольно, как в твои до последней степени сжатые и определенные строчки. Твои поэтические формулировки до того по ней, до того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть источник твоей бесподобной музыки. Точно, очищенная от всякой аритмии предполаганий, она не может не превратиться в пенье, как до звучности очищенный шум. Т. е. это то, о чем мечтал (но конечно, и мечта*ет*, всеми страницами (т. е. они и живы этой мечтой)) Баратынский. Все это, я знаю, не понравится тебе. *Меня* – то, конечно, очень трогает, нравится ли тебе что или нет. Мне хотелось бы удивляться тебе *так*, чтобы это тебе доставляло радость. Но не одни вещи, близко и лично касающиеся нас, нас с тобою связывают. Закону этой связи во многом до нас даже нет дела. Это сказывается м<ежду> пр<очим> и на «Попытке комнаты». Следуя твоей воле, я мыслю «Попытку» обращенною к Rilke. Ты представить себе не можешь, как мне бы хотелось, чтобы всем движеньем своим она летела к нему. Нам нужно в живом воздухе труся́щих дней, в топотне поколенья, иметь звучащую связь с ним, т. е. надо завязать матерьяльный поэтический узел, кот<орый> как-то бы звучал им или о нем. Но «Попытка» страшно связана со мною. Ты не возмущайся, пожалуйста: я ни хочу, ни не хочу твоего посвященья. Не в нем дело. Но если даже не существо, – пусть эмоциональная роль, пусть именная маска – но маска тут задета и окликнута моя. То есть я хочу сказать, что R<ilke> ты дани еще

не уплатила. Субъективно, т. е. прямо от себя, тебе ближе ко мне, чем к нему. Для соприкосновенья с ним требуется перерыв волевой волны, с большой долей объективного размышляющего, изучающего усилья. Можно довериться сновиденью о себе самом и о близлежащем: такой сон *местно* вещественен. Он всегда содержит много говорящего о существе вещей, вовлеченных в его круг. Далекое же, чем оно роднее нам и больше (далекое в реализации сроков, возрастов, расстояний и пр.) и чем больше страсти предполагает перспектива – всегда роняется сновиденьем. Если бы не было этого соотношенья, кот<орое> я выразил так плохо, что и сам, перечтя, не пойму, то, наряду со сном, не существовало бы искусства. Оно вызвано к существованью именно этой перспективной – воздушно-далеких и сердечно-близких вещей, с которой никогда не справляется, которым никогда не воздает должного – бесперспективное сновиденье. Род такого усилья, в высочайшей, сверхчеловеческой степени, дан в философии Крысолова. Но я свалил чересчур в кучу несколько очень несвязных соображений на одну и ту же тему. Слышишь ли ты мой голос за всем этим? Напиши мне, что письмо не раздражило тебя. Через месяц мне обещают II-е Версты, Лестницу и все, что смогут достать. Светлову (о «Гренаде») передал: это было первое мое знакомство с ним. Тут много способных. Талантливым считаю одного Сельвинского. Он очень настоящий, очень замечательный.

Вот стихи Харазовой, возникшие в мыслях о R., ему посвященные и написанные, по ее словам, в последние дни года, за день, за два до ее полночного появленья у меня. Я хочу, чтобы ты их знала. Она очень милый человек с совершенно потрясающей биографией, – попроси Асю, – она тебе расскажет ее историю. Она – необыкновенный человек, чрезвычайно вдохновенный. Это я говорю о ней, а не о том, что она доносит до страницы. Ты знаешь, что это вещи разные. Но м.б. я слеп, и ты будешь справедливей к ней, и тогда окажется, что я ничего не понимаю и проглядел крупное дарованье, оглушенный сухостью и педантизмом своих мерил.

An R.M. Rilke

1

Das Herz von Lerchenglocken schwer,
Such ich dich einsam in Spiegel;

Und leise fällt das Leben umher
Von der Wände traulichem Hügel.

Als rauschte der Glasquelle steigender Teich,
Worin Fenster und Teppich ertrinken,
Ein Mädchen im Sessel der Mondsichel gleich,
Und Tischtöcher sinken und winken.

Und Stunden gehen aus und ein
Und falten alternd die Hände,
Bis die eine ergreifet des Herzens Schrein
Mit sprengendem Schlüsselwenden.

Oh! – Darauf ein Rauschen!.. Ich glaube der Tod! —
Holunder und tropfende Regen! —
Weil in des Herzens leiser Not
Sich Lerchenköpfe bewegen.

2

Jeden Abend trittst du, ein vergess'ner Engel,
In des Herzens Kammer fordernd und bestimmt.
Setzest dich ans Spinnrad und mit gold'nen Fäden,
Leitest du mein Schicksal, bis die Herzwand glimmt.

Stunden knien nieder, trinken mir aus Händen.
Der Erinnrung Murmeln klug und tränenleer.
Und die Ampel schrumpfet, eine rote Schale
Wie Bananenwinken in des Teppichs Meer.

Draussen wachsen Blumen, nahen sich die Wölfe
Und mit weichen Rufen locken sie dich fort.
In des Blutes Brunnen sammelt sich der Nachklang,
Naht mit Unbestimmtheit deinem letzten Wort.
Weiter ist Karfreitag. Weiter wird es Ostern,
Wenn die Vögel fragen, wie ein Menschenherz…
Und im Spiegel gleitet deine Auferstehung
Hinter Wolkenstössen langsam himmelwärts[71].

Maria Wyss (это ее псевдоним)

* * *

Многоточьем подчеркнуто то, что тронуло. <Здесь – курсивом. *Прим. ред.*>

<На полях:>

Св<ятополку>-Мирскому напишу в следующем, и очень большое письмо. Какая радость держать в руках твой дар и глядеть в глаза ему! Ни с чем не сравнимое наслажденье

Получила ли ты II-ю ч<асть> Шмидта? Ругай свободно, если не нравится.

Письмо 87
<нач. марта 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Позволь мне на этот раз не о Шмидте, о Шмидте (*несравненно* лучше 1-ой части!) напишу после чтения его вслух С.Я. и Сувчинскому, напишу всё, что сказала, следовательно почувствовала / узнала. По горячему следу непосредств<енного> слухового и иного восприятия. Напишу под утысячеренным ударом слушателя. – Ты меня понимаешь? —

Пока же – не о тебе-Шмидте, о себе-Шмидте. – Я сейчас в огромной волне Германии и Смерти, вся на Тем Свету́ – от Гёте до Рильке. И еще Бог послал мне живого ангела, 20-летнего немца с того света (на здешнем – с Рейна), с которым – мысленно и письменно, когда и устно – беседую неустанно. Учти далекость от меня 05 г. – всякого года – кроме 18*75* г. и 19*26* г.

Кончаю сейчас – Три смерти – или Трезвучие – о двух смертях, пред– и по-шествующей смерти Рильке. (Все три на протяжении 3-ех недель). Как мне бесконечно жаль, что ты ничего не читал из моей «прозы» (т. е. МЫСЛИ), которую Святополк-Мирский в своей английской Истории русской литературы называет «*худшей* на протяжении русской литературы». Он меня, между прочим, сейчас ненавидит – за всю меня – так же как я его и, должно быть, в ответ.

(Твое обещание длинного <оборвано>

Предполагаемая, обещаемая длина твоего будущего письма к нему равна всей твоей неохоте. Но, Борис, твоя lune de miel[72] еще предстоит, вторая жена, не верь – первой жене!)

Борюшка, ты явно, героически – не на своей дороге. Ты никогда не станешь великим писателем (поэтом) земли русской, как Толстой, Достоевский, пр. Ты – отдельный и начинаешь там, где конч<или> они, переводя <над строкой: обрываешь> стрелку с уразумеваемого → вниз ↓ и там начиная всё сызнова <оборвано>

Ты ничего и никого не продолжаешь, ты не существуешь, ты подсуществуешь. Твой путь другой – будущего ОТДЕЛЬНЫХ. Тебе, Борис, даже через 100–200 лет не стать общим местом. (Говорю о всем, кроме Шмидта.)

1905 г. – ложный ход, работа не по тебе, вся на во всем – и всего-себя – перебарывании. Ты хотел простого человека, ты дал пошляка (Письма). Ты не знаешь, какие простые люди бывают.

Теперь, внимание:

Ложный ход, если бы он был последним, как степень – Шмидт – / при наличии последующего, т. е. Шмидт как ступень – если неправилен, то праведен.

В Шмидте (1905 г.) твоя дань людскому, человеческому, временному. <Над строкой: Времени (понять его).> Отдал – и *дост* (по-чешски: достаточно). Больше не связывайся.

Хочу от тебя прозы, большой, бесфабульной <вариант: бесте́мной>, тёмной, твоей.

О Попытке комнаты.

Разве ты не понял, что это не *наша*? Что так и не возникла она, [комната], п.ч. в будущем *ее не было,* просто – ни досок <вариант: доски>, ни балок. (*Есть* только то, что будет. Возникает только то, что уже есть.)

Оцени: обоюдная <над строкой: в письмах> Савойя, а под пером – ТА комната.

Бесперспект<ивность> сна? Об этом еще должна подумать. Кажется, ты прав. (Кстати, многие и многие здесь о тебе писавшие назыв<али> тебя бесперспективным <вариант: упорствовали на твоей бесперспективности>).

[Бесперспектив<но> —] Снотворчество?

* * *

Начинаются весенние дни, рассредоточ<енные> и рассосредотачивающие. Какой-то сквозняк света, неприятно и неприютно. Ушла зимняя необход<имость> <оборвано>

«От тебя до <вариант: ко> меня ближе, чем от тебя до <вариант: к> Рильке…» Нет, Борис, Рильке мне уже потому ближе тебя, что старше. (Мы с тобой – всячески – сверстники!) Особенно сейчас. Между тобой и мной – ТВОЕ время, твое, насильственное. В Рильке я *втекала*, к тебе мне надо пробиваться, прорываться. (Учти, что я не о личном говорю, о Рильке, тебе, себе – *в мире*.) Ты мне в какой-то час противуставишь – да просто III И<нтернационал> – не просто-третий, ТВОЙ, но все-таки И<нтернационал>, *слово* это, для тебя звучащее. Для того такие слова не звучали.

Вот тебе, дружочек, письмо, недавно оглашенное в Revue Française – [и еще другое, в Русской Мысли –] <пробел в полстроки> vers de méchants ivrognes[73] – узнаешь? Те, «способные».

* * *

Борис, ты столько раз меня холодил, в самое сердце, – кажется – переболевшее тобой – что простишь меня за правду линии: меня – Рильке, меня – тебя.

Ведь если бы ТОТ мне не был ближайшим, моя потеря бы не была так огромна и мое обретение – там – так несказанно.

Да! *Важное*. Борюшка, не бойся меня, – т. е. пусть не боится меня – дай мне адрес Зелинского или кого-нибудь, кто ему для тебя передаст, хочу тебе послать Druineser Elegien и Орфея, Рильке не успел (не было свободн<ых> оттисков), сделаю я за него.

Пошлю (З<елинскому>) безымянно, книга невинная, пожалуйста.

Простись со мной в Bellevue – 1-го переезжаем, куда неизвестно. Этот год нищенствуем, пожираемы углем, газом, электричеством. Да! Борис, если за перепечатку I части Шмидта что-то заплатят – можно пока взять себе? Прошу от крайности. Несомненно верну. (Дело о, для тебя, грошах.)

Bellevue мне было дано, как место моего прощания <вариант: мое последнее место> с Рильке, естественно, что оно кончается. Как-нибудь пришлю тебе открытку – на которой ему писала в последний раз.

Писем его не перечитываю, но перечла «Malte Laurids Brigge» – встречаюсь с ним пока на окольных, общих дорогах, в роли любого.

Через какой-то срок пришлю тебе Письмо, давно оконченное. – Не дашь ли новых стихов для Верст? (III сборник) Пометим как перепечатку.

Да, и еще пришлю случайно уцелевшее, не отправленное (из-за перечёрка) письмо к нему, предпоследнее.

P.S. Мой немец, кажется, меня не вынесет. После 1ой встречи он два дня болел / Ты понимаешь, ЧТО́ на него рухнуло?!

* * *

Борис, у меня огромная мечта: книгу о Рильке, твою и мою. Вижу ее в переводе на немецкий (ПОДЛИННИК!) и ликую.

Хотя бы ради этого – приезжай.

P.S. Ты всегда мне отправл<яешь> письма —

Приложение
Записи Цветаевой о поэме Пастернака «Лейтенант Шмидт»

<кон. февраля 1927 г.>

Мечта о разборе пастернаковского Шмидта.

* * *

Эпос в эпосе. Центральная фигура 1905 г. Наша старая любовь. Неслучайность выбора. Шмидт – законен.

Краткая передача фабулы. Что делает, чувствует и как высказывается в I части Лейтенант Шмидт.

Чувство читат<еля> к Шмидту и к Пастернаку.

Двойств<енное> впечатл<ение>. Стоит только Шмидту замолчать и Пастернаку заговорить… Но – сто́ит только замолчать Пастернаку и заговорить Шмидту. Цитаты.

Явный разлад пишущего с писомым. В чем разлад? Сущность? Проверка. / Основной разлад в *слове*, пошлейшем в письмах и избраннейшем в опис<аниях>. Лейтенант Шмидт у Пастернака пишет письма так, как вряд ли их даже писал в жизни / точно так же и – посему в тысячу раз хуже, ибо перенес<енные> в стихи общ<ие> мес<та> Шмидта просто станов<ятся> невынос<имыми>.

Каким же языком должен в поэме говорить Шмидт. Шмидтов<ским> – языком 1905 г. – мы в этом убедились – невозможно. Пастернаковским неправдоподобно, ибо как Шмидт Пастернаком не мог бы быть, так Пастернак – Шмидтом. Тогда каким же? Никаким. Шмидт *в поэме* не должен говорить вовсе. Промах Пастернака – захотел дать Шмидта в слове.

Срифмованная речь лучшего из ораторов – <пошлость?>. За Шмидта, и в ноябрьском митинге, должны бы<ли> бы говорить знамена, деревья, глаза, черноморские волны.

Шмидтовская речь в отражении —

II часть. Пересказ II части. Отсутствие писем. Значительно улучш<илось> состо<яние> больн<ого>.

Письмо 88
<сер. апреля 1927>
Цветаева – Пастернаку

<На экземпляре газеты «Возрождение» от 11.04.27, в которой помещена статья В.Ходасевича «Бесы»:>

Борюшка, как я могу без тебя жить? Как ты – без меня?

* * *

Мой новый адрес (перепиши на стену):
Meudon (Seine et Oise)
2, Avenue Jeanne d'Arc
Передай Асе.

* * *

Борюшка! Написала тебе два больших письма, – оба лежат. (Современность не есть ли – *своевременность*?) Третье, ненаписанное, пойдет. Сейчас переписываю II ч. Ш<мидта> для журнала, печатавшего первую. (Огромный успех у героев 05 года!) Вторую простят из-за первой.

Порадуйся на своего protégé[74] Х<одасеви>ча. Отзыв *труса*. Ведь А<дамо>вич-то (статьи не читала, достану, пришлю) писал о *тебе*, а этот, минуя тебя, о твоих ублюдках. Жди письма, спасибо за все, целую тебя.

М.

Письмо 89
<ок. 29 апреля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Опять ты со мной, и что в мире может с этим сравниться! Твое письмо пришло как раз в тот день, когда я сдавал весь 1905[й] (вместе с накануне оконченным Шмидтом) в Госиздат. Я кончил его именно так, как ты о том говоришь, и думаю о нем в точности твоими словами. Я говорю об этом только затем, чтобы ты узнала об этой новой твоей, и может быть, тебе неведомой, помощи. Между прочим. Только «1905-м» я наконец добился тут права первого изданья «Тем и Варьяций», да и то не отдельного, а одним томиком, при «Сестре». Напиши мне поскорее о своем вечере и обо всем обещанном.

Твой Тезей замечателен. Так начинают только единственнейшие. Трагедия взята с места в карьер. Бездна благородной, мерно и без отступлений наслаивающейся правды, и ее вершина – в сцене с Вакхом, о которой просто невозможно говорить. Здесь, на внезапной высоте, отдельно от остальной трагедии и над ней, *дается* трагедия самой вакхической истины, как нагорное законодательство этого мира.

За «Тезеем» с особой, окончательной категоричностью испытал радость: удивительная, – за что ни возьмется, во всем, везде, – своя рука, свой голос, свой опыт, и все это предельной, несравненной крепости и глубины. Что это *особенно* заметно в «Тезее», – естественно. Сами по себе эти качества быть может в нем не сильнее, чем в других вещах, но тут они, помимо твоей воли, составляют часть тематики: черта законченной одухотворенности, к которой сводятся они, и есть ведь извечная тема греческого духа. Короче: за этой трагедией я пережил тебя, как героиню: как абсолютно навсегда под собой расписующегося поэта. Разумеется, у меня ее нет, и она гуляет по рукам.

Скажи, как ты думаешь, Марина, можно ли думать о настоящей работе (т. е. о писании в безвестности и вне участия в политлитературщинке какого бы то ни было направленья) во Франции или Германии, или же лучше, скрепя сердце, постараться это сделать за год тут и, значит, отложить еще на год все? Глупый вопрос и заданный в нелепейшей форме, но прошлогодний твой ответ сделал больше, чем могла бы одна моя воля, в одиночестве. Надо ли говорить тебе, как меня тянет к настоящему, т. е. к тебе и ко всему тому, чего я не могу не

мыслить обязательно в твоем воздухе? Ты однажды предложила мне *просто* съездить на время, как ездят сотни путешествующих и благополучно возвращающихся «освеженными». Но ты ведь знаешь, что это абсурд и не про меня никак. Этой муки я не приму.

<На полях:>

Ответь мне сухо и спокойно, как я того и заслуживаю, главное – о себе, о своем вечере. Морального ада и тоски, в кот<орых> я тут варюсь, изобразить не в силах. Не пойми превратно. Я просто задыхаюсь в том софизме, о кот<орый> тут, без всякого последствия, разбивается решительно всякая действительная мысль.

Х<одасеви>ча получил и прочел. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не без подлости в ответ на чью-то, м.б. еще большую, чепуху? В<ладислав> Ф<елицианович> меня знает. Странно.

Письмо 90
3 мая 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Пока я занят был этой ретроспективной и ставившей в несколько облегченное положенье к «современности» работой, я все думал, что выровняется и время, и к ее концу, когда станет пора вспомнить о своем, это будет мыслимо, т. е. будет и кругом дышаться свободнее. Поразительно, что как раз с ее концом совпало у меня сильнейшее на этот счет разочарованье. Я не смогу и не сумею пересказать тебе всех случаев, когда я его испытал, они один другого необъяснимее и ужаснее, и только расскажу об одном, потому что он почти что семейный, и люди, в нем замешанные, тебе известны. И для полной ясности: все эти дозы отчаянья и недоуменья сопровождаются вниманьем и исключительною теплотою ко мне, а иногда даже и любовью, т. е. я хочу сказать, что заподозреть себя в пессимизме по личным причинам я не вправе. Изолганности и раболепному лицемерью нет предела. Нравственное вырожденье стало душевной нормой.

Однажды у тебя в Верстах очень хвалебно отозвались о «Лефе». Я никогда не понимал его пустоты, возведенной в перл созданья, канонизованное бездушье и скудоумье его меня угнетали. Я как-то терпел соотнесенность с ним, потому что это чувство ведь ничем и не выделялось из того океана терпенья, в котором приходилось захлебываться. Потом этот журнал благополучно кончился, и я об его конце не тужил. Теперь, скажем, в самые последние годы, мыслимое, слыханное, человеческое возродилось, но, конечно, в узко бытовых, абсолютно посредственных, вторично-рядовых формах, заливающих журналы и разговоры какой-то мозговиной обезглавленного сознанья. Зимой стал снова собираться Леф. Я туда, т. е. на эти ужины, ходил в качестве гостя. Тогда писался Шмидт, и я читал его, и Маяковский объявлял работу гениальной. Ты знаешь, Марина, что я *целиком с тобой* в сужденьи о вещи, и это слово не должно нас сбивать. Дело не в этом. Я хочу сказать, что не только трогательность Володина отношенья ко мне, но и моя старая любовь к нему (помнишь чтенье в Кречетниковском с Белым?) не могли ослабить моего раздраженного удивленья по поводу их затей и затем вскоре вышедшего журнальчика. О, это не было открытьем для меня, я в 19-м году сказал Маяковскому о 150.000 то, что теперь начинают говорить в печати, но (и с этого я

начал письмо) была у меня какая-то смутная надежда, что М<аяковский> наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, и – нас закроют или еще что-ниб<удь>, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, вперемешку с легализованным сквернословьем (т. е. с фрондой, апеллирующей против большинства… к начальству), что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл (*хотя бы и духовно чуждый мне*), показалась более близкой и приемлемой и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество. Потом пошли диспуты, на которых официальное болото со своим вечным словарем застоя и лицемерной глухоты разносило крайнюю группу своих неофициальных головастиков. Ты понимаешь, в чем тут дело, и поймешь, как действовала на меня эта вопиющая дичь, как далеко в стороне я от нее ни находился. Для того, что я тебе хочу поверить, сказанного достаточно. Но, подчиняясь тяге фактов, прибавлю еще кое-что. Они знают, что я не с ними. Но Маяковский, нестерпимо цинический в обиходе, меняется в моем обществе, а со мной бывает иногда просто метафизичен. Т. е. он что-то знает обо мне такое, чего не знает Асеев, несмотря на наше давнее приятельство и близость в жизни, не знает, как человек эмпирических температур. Вот отчего, когда в ответ на мое заявленье о выходе из «Лефа», в конце длиннейших, затянувшихся до 6 ч<асов> утра переговоров, последовала с их стороны просьба не оглашать разрыва с ними, ограничась простым и как бы случайным отсутствием в журнале, номер за номером, я с этим примирился, под влияньем какого-то, сквозь все слова пробивавшегося взгляда М., тяжелого и пристально безмолвного, и которым точно говорило его прошлое. – Однажды ты меня удивила и даже обидела, предостерегши от *приравниванья* М. – Р<ильке>. Неужели ты подумала, что я – нуждаюсь в таком замечаньи? Но я говорю о М. с тобой, и будь жив Р., на третьем разговоре с ним рассказал бы о М. и ему. Вот и все, и это очень много: М. участвует в моей повести, все равно где и в каких годах. Он участвует также и в твоей: ты была тогда у Цетлиных, ты помнишь себя и Белого и Сабашникову, «Человека» и «Войну и Мир». Затем я благодарен ему также за себя и тебя. О существованьи «Верст» (твоих) узнал я от него от первого. Годом раньше я узнал от него о *существованьи* «Сестры». Ты понимаешь? – Наконец, вне этого всего: смею утверждать, что даже и тебе, тебе, Марина, не может быть полностью известно, в каком отталкивающе чуждом мире я тут живу. Он совершенно беспросветен и особенно ясно беспросветен бывает в свете так

наз<ываемых> удач и «успехов». Дооценить этого ты не можешь оттого, что ты, а значит и то, чем я живу, вечно под рукой у себя. Значит, представить себе того, что тебя нету, ты по-настоящему не в силах. Но добро бы хоть как-нибудь (как человек – человека) напоминали тебя тут: строем совести, что ли, языком или логикой, сколь угодно отдаленно и бледно, все равно как. И знаешь, *только* <подчеркнуто дважды> вот этот взгляд М., когда он безмолвен, как-то в этом отношеньи приемлем, как-то годится, чем-то напоминает о поэте и жизни поэта. Я совершенно не умею говорить о таких промежуточных, растекающихся вещах и, наверно, раздосадую тебя.

Продолжаю без всякой последовательности. Остаюсь еще на год. Бесконечно счастлив и рад, что – перекипело и что могу писать об этом спокойно, после двух недель волненья. Вот отчего придется остаться: Нельзя, чтобы нахожденье на чужой территории разом же *совпало* с возвращеньем к себе: т. е. с философией и с тоном, которые, конечно, должны будут пойти вразрез со всем здешним. Это надо попытаться начать здесь, открыто, в журналах, на месте, в столкновеньях с цензорами. Ясно ли это тебе? Тут не бытовые соображенья. Не бытовые не от «храбрости», конечно, а оттого что блюсти «чистоту» мне и в голову бы не пришло. Твое окруженье мне близко, я, ничуть не задумываясь, отдал бы все свои силы тем, кого бы ты мне назвала и указала. Т. е. тут никак не забота об условной и насквозь фальшивой «репутации». Нет. Но ты представляешь себе, насколько бы я облегчил задачу всем этим людям двух измерений, заговори я о трех не с Волхонки? Произвели бы все истины географически, от страны, откуда бы это посылалось друзьям и в журналы, и тем бы и отделались. Этого, легчайшего из штампов, мне не хочется давать им в руки. Если не убедить, если не переделать что-то, то уж во всяком случае мне хочется трудно даться им и себе. Не буду округлять письма и заканчивать. Но вот, очень существенная просьба. Сообщи мне обязательно день, т. е. число полученья этого конверта. Не забудь, пожалуйста. И затем, в ответе мне, не касайся всех этих тем. Это тоже серьезная просьба. Наконец, прости за третью по счету, и – вот она в чем: как сумеешь, попроси за меня извиненья у Св<ятополка>-М<ирского>. Меня мучит, что я до сих пор все еще ему не ответил. Надо ли комментировать этот предположенный возврат к себе? Если надо, то вот краткий комментарий. Я себе и не изменял никогда. Я бездействовал, доходил в недоуменьи до одичанья, бросал литературу, служил библиографом, переводил, наконец нашел выход в ретроспективности, но писал эту вещь пониженно и водянисто, по

многим причинам, частью виноват в ее недостатках и сам. Но за этой работой, чувствуя за счет прошлого, которому по теме разрешалось чувствовать и верить (хотя и тут цензура кое-что выкидывала), в привилегиях темы, отошел душою и сам, настолько, что вещь стала моральным рычагом освобожденья во что бы то ни стало. Но ты не будешь ждать от меня лирики, которой уже тут спрашивают с меня, на том одном основаньи, что я… «заработал 1905-м право на нее». Ты знаешь, что писаньем лирических стихов, когда они требуются и у тебя на них есть «право», я никогда не занимался. Ты знаешь, что лирика начнется опять с обожествленной жизни, если начнется; ты знаешь все. Но прозу, и свою, и м.б. стихи героя прозы, писать хочу и буду. Обнимаю тебя.

<На полях:>

P.S. Пожелай мне успеха на этот год и будь со мною. Если я или кто-ниб<удь> другой скажет тебе когда-ниб<удь>, что я не был счастлив, не верь. О таком друге и таком чувстве не смел никогда и мечтать, загадочный по незаслуженности подарок. Не пугайся однообразья нашей судьбы (т. е. что все мы да мы, да письма, да годы). Так однообразна только вселенная.

Письмо 91
<7–8 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Твое письмо я получила 7-го мая, в розовую грозу. Пришло на четвертый день. Звучит, как ответ на мое, но – по срокам – мое (то) ответ на твое. Ты пишешь – «писать лирические стихи, когда их ждут и есть на них право», а я – в том – пишу: не жду от тебя лирики, нужен перерыв и т. д. Но в том письме я тебя звала, а в этом ты не едешь, это уже разминовение: точная жизнен<ная> последоват<ельность>, норма дней: в порядке дней.

Ну, что ж Борис, будем с тобой воскрешать германских романтиков, нет – рыцарей, нет – соверше<ннее> – мифы <вариант: песни>. [Троянская война длилась – сколько? Это всё-таки из всех – наличест<вующих> и] Эпос. Кримгильда сколько лет ненавидела и готовила месть! Столько же лет готова любить. Только, просьба, всё-таки на этом свете, чтобы не вышло Орфея и Эвридики (достовернейший из мифов). <Под строкой: всё равно кто – за кем>. Не ссылай, не *доссылай* меня на тот свет, раз мне нужно жить (дети). Да, Борис, не думал ли ты, что *боги* оборот Орфея предвидели и посему разрешили. А в этом повороте – что: любовь или простое мужское (в пре<дставлении> Орфея) нетерпение. Мало любил, что повернулся. Или много любил? Ты бы не обернулся, Борис, но ты бы не за мной пришел, ко мне. Эвридика ведь *старше*, как же тащить ее снова на поверхность – Handfläche[75] – любви (земли). Но всё это ты знаешь.

Твой неприезд. Не доверяю ни тебе, ни себе в дов<одах> – всегда поводах – всегда послушных. Ты же поэт, т. е. в каком-то смысле (нахождение 2-ой строки четверостишия, например) всё-таки *акробат* <вариант: гимнаст – гений!> мысл<ительной> связи. Причины глубже – или проще: начну с проще: невозм<ожно> в жару – лето – семья (берешь или не берешь – сложно) – беготня, и всё с утра, и всё бессрочно и т. д. А глубже – *страх* (всего).

Но твой довод (повод) правдив и, <оборвано> ибо давно считаю правдой (чудовищное [сопоставление] <варианты: звуч<ание>, созвучно) тебя и обществ<енность>. В конце концов – простая, qu'en dire-t-on[76], доброт<а> и забот<а>. О говорящ<ая>, почти что Pestalozzi. Я без злобы и без иронии. Так – ответ.

Отстрани нянек, Борюшка, даже меня с моей мо<льбой>

о большой прозе – к чертям! Пусть тебя не охаживают (о пис<ательских> стол<кновениях> говорю). В ст<олкновениях> что-то коршунье. Твое дело. Шмидт еще не делает тебя обществ<енником>. Собст<венное> дост<оинство>. Разрешаю тебе совсем не писать, я за тебя спокойна. Поезжай на Кавказ (никогда не была, *моя* родина! <вариант: страна>), проведи лето в большой природе, – п<осле> людей.

– Как у тебя *совершенно* жизнь идет, какая просящаяся биография. До —

Скромная прихоть:
Камушек. Пемза.
Полый как критик.
Серый как цензор
Над откровеньем.
– Спят цензора! —
Нашей поэме
Цензор – заря.

– включительно. Твоя война – война Вагнера, Гёльдерлина, Гейне, *всех* <над строкой: не перечисл<ить>>. Твоя война старинная.

О Маяковском *прав*. Взгляд – бычий и угнет<енный>. Так<ие> <вариант: Эти> взгляды могут всё. Маяковский – один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что [нечего начинать], надо молчать. Огром<ность> вин<ы>. Падший Ангел. Архангел.

– Милый друг, ты пишешь о безвоздушности. Я верю только в простой воздух, которым дышишь легкими. Тот – *где* он? Вещь (Ding) настолько совершеннее человека (любая – любого), что самый прямой как раз равняется самому кривому кусту. Мне с людьми, умными, глупыми, отвлеченными, бытовыми – ску-у-чно. Клянусь тебе, что как человек в дверь – так шью, чтобы не терять время. От Запада жди не людей, а вещей, и еще – свободы выбора их. У меня никого нет, ни даже Асеева, и первая мысль, когда зовут: а накормят? Если нет – не иду.

Ты связан с Россией, я *нет*, у тебя долговые (вольные) обяз<ательства>, – что подумают, как истолкуют. Борис, я тебя не уговариваю, но подумай только то, что есть: наконец, вырвался (дорвался!). А что тебе в том, что стихи будут истолкованы территориально, раз наконец. Шмидта несомненно толкуют – классово (в лучшем случае – интеллигентски!) Я странно, и *боевее* и бесстрастнее тебя. Знаю свою страстность, не иду, п.ч. всё это

ничего не стоит. Но когда случайно попадаю (затащут) – недавно было – всей настороженностью уха и тотчас же раскрепощ<ающегося> языка – срываю собрание. Большому кораблю – большое плаванье, большие воды, а жизнь – сплошное царапанье дна: место, где даже утонуть нельзя.

Твою жизнь здесь – через год, но будет же – вижу *не* с людьми, не дам тебя терзать, в глушине, в глубине, в горах, без забот, с тетрадью, с наставленным ухом. Побыть человеком – перестать быть с людьми.

(А у Маяковского взгляд каторжника. *После* преступления. Убившего. Соприкоснулся с тем миром, оттуда и метафизичность: через кровь. Сейчас он в Париже, хочу передать ему для тебя что-нибудь.)

Не удивл<яюсь> и не огорч<аюсь>, что не рвешься ко мне, я ведь тоже к тебе не рвусь. Пять лет рваться – не по мне. Вопрос времени и территории. Будь ты хотя бы в Варшаве – рвалась бы, в Берлине – разрывалась бы и т. д. 5 лет о́б стену пространства, – а? Я и к Рильке не рвусь, ни к кому, тиха как святая. Рвусь к тетради, п.ч. здесь же, а нельзя (видит око, а зуб…). Рвалась тогда, с (давно упраздненных) богемских гор, слушала тебя в звоне пустого ведра (вниз за водою), а видела в большой луне в полнолунье (с водой наверх), была с тобой на всех станциях, о, Борис, *той* любви ты никогда не будешь знать. Моя книга стихов, сквозь всё и всех – ты, в самый разгар меня к друг<им> – вопль о высшем, моем, тебе, Тезее… почти забавн<о> будет (так врачу, разрезав, забавно, что именно то и так) лейтмотив *той* боли сквозь все днешние.

О себе. Вчера, – за час до тв<оего> пи<сьма> – С.Я. мне: М., я удивляюсь, как на Вас не действует такое освещение. Я прямо не могу. (Не отрываясь стоял у окна.) – Странно, что именно у Вас, на Вас… – Дома я ничего не чувствую, ничего, давно, дома я только спешу. Чувствую я только на улице. И это правда, такая странная жизнь, с мыслями (разовы<ми>, готов<ыми>) и без чувств. Чувство требует времени, по крайней мере неогранич<ения> его в пределах – ну, часа? Если я буду чувствовать, нечего будет есть – Nur Zeit![77]

Большая просьба: уезжай на́ лето, *перебори*. И не в среднюю Россию, а куда-нибудь дальше, в новое, немножко в меня. Я, это твое уединение с собой, *ничего больше*. Стихи, Борис сами придут, не смогут не прийти. Ведь разное – когда горы ждут – и когда люди ждут. И п.ч. горы не торопятся, стихи приходят сразу.

А обо мне – не огорчайся. По такой линии готова ждать годы. (По линии опущенных рук!) И кто знает – пос<ле> встр<ечи> – не *<2 сл. нрзбр.>* друг друга на всей карте именно то место,

которое обходят – и взглядом, и слухом, и нюхом <над строкой: мыслью>. М.б. кто-то – только бережет, <*нрзбр.*>.

Знаю, Борис, что не *в нас*, не от нас пойд<ет>.

(Ты – это в моей жизни м.б. тоска по *совершенном* сне и совершенном с<ын>е, такое чуешь и за тысяч<и> верст и лет. На твое от<цовст>во была бы ненасыт<на>. Говорю так, п.ч. всё равно не бывать.)

Возьми меня когда-нибудь в свою к<ровать>, в самую лет<нюю>, лиственную из к<роват>ей.

А то, что я писала о заработанном 5 годом праве на себя (отъезд, прочее) – общее место, вернувшееся в общую местность – ведь я-то никаких таких заработков *не* знаю, ведь это мое удивленное, ироническое, но всё-таки *преклонение* перед чужим (твоим) заскоком.

Святополку-Мирскому напишу, что ты – слыхала стороной – дал зарок годового молчания в письмах, – срок достаточен? За год авось надумаешь. (Я и за́ пять – нет.)

Пиши мне.

Дополнение

Борис! Отчего у меня *занавес* всегда связан с *розой*, неужели от *з*. Но само з не есть ли – служба связи? – *смысл* связи.

Письмо 92а
<ок. 11 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, ты никогда не думал о том, что есть целая огромная чудная область, для стихов запрет<ная> и в которой открываются такие огромные законы, открывались бы – через слово. Так нынче, идя по улице, установила: мужчина, дающий влагу, припадает к женщине, как к роднику. Мужчина припадает к женщине как к роднику – а сам родник. – Сам поит, а думает, что пьет. / Правда в припадении мужчины к женщине, как к роднику, к<огда> сам родник. Поя́щий – а пьет! *Правда* эт<ой> *недостоверност<и>*. / Или же: / Есть миры, Борис, да – дивись / То, что *узнаешь вдвоем*, – так бы я назвала, так это называется. Ничто, Борис, не познается вдвоем (забывается – всё!), ни честь, ни Бог, ни дерево – ни – ни… Только [тайна твоего] твое тело, к которому тебе ходу *нет*. Подумай, странно<сть>: целая область души, в которую я (ты) не могу одна, Я – НЕ МОГУ ОДНА. И не бог нужен – а человек. Sesam, th<ue> Dich auf![78]

На эт<и> мысл<и> набрела после сегодняшнего раннего утра, когда я вдруг почувствовала тебя рядом – в моей досягаемости, только руку (и очень немножко) протянуть, отвести от тела, просто – пошевельнуть. Я лежала и думала: как ПРОСТО.

Думаю, что если я была бы с человеком, которого очень люб<ила>, – МАЛО! – того, Героя П<оэм>, *очень* любила – нет с таким – ну, Колумбом внутрь (КАК Я) – [следовательно, не сердись, с тобой (ведь это лучше, чем начать с «тобой»] я бы сказала, т. е. узнала, установила, утвердила целый ряд изум<ительных> вещей, не откры<тых> там: неска́занных, м.б. несказа́нных (высказала бы), [Не поэт в охоте за дичью] внезапное озарение, что я целой себя (второй себя, другой себя, земной себя, – а ради чего-нибудь жила же!) НЕ ЗНАЮ, да, вопреки Поэме Конца. Там было ошеломление, столбняк ЛЮБИМОСТИ (так меня никогда никто не *смел* любить – как люблю́!), зачарованность чужой зачарованностью, задохновение чужим задохновением, – в горах отзыв (Поэма Горы!), [но я этот материк открыв<ала>] Зараженность и заряженность, сильнейший вид душевной отзывчивости, нашедшей *земные* слова.

Борис, это страшно сказать, но я ТЕЛОМ ни<когда> не была, ни в любови, ни в материнстве, всё через: отсвечива<ло> <вариант: отсветом> в переводе *с* (или на́).

Смешно мне тебе, незнакомому, невиданному (разве только

что во сне!) – за тридевять земель – писать такое. [Я никогда не думала о тебе в этой области – ну руку к губам, ну головой на грудь.] Я мало думала о тебе в этой области <вариант: таком> – ожогами – не для́ (длительн<ость>). А за последний год совсем нет – ты стал младшим братом Рильке. А сегодня! И такая жгучая жалость, что не бывать, не бывать! Ведь целый мир [пропадет потонет] – пойдет ко дну! (а мог бы взорваться <вариант: открыться!>. Я бы такие слова нашла, самые (о <линии?> говорю) чистые, с<амые> точные. (Читатель бы думал, конечно, что я пишу о Царстве Небесном, <а?> меня сейчас здесь *все* <подчеркнуто дважды> обвиняют (Бунин, Гиппиус, молодежь, критика), обвиняют в порнографии за стих —

[Точно душу можно дать иначе как через тело! Точно (о <ненаписанном?>) тело иначе как через душу.]

Ты, Борис, в этом мире уже был в Сестре моей Жизни – огненная чистота, огненная <вариант: огневая> чистка этой книги! Тогда, когда писала, умолчала – ТАЙНУ. [Есть стр<оки>, от которых, правда, озноб по хребту] Но ты не замкнул его ночью, разлил его по кругу дня, втянул в него деревья, тучи, пр. Это (тай<ну>) в твоей книге просмотрели все.

Я не говорю о Liebeslieder[79], я говорю о <пропуск одного слова> Есть строки *тождественные*, однозначные, равнодействующие. Ты их знаешь.

Ка<кая> чудн<ая> стра<на> для открытий – твоих и моих. Це<лая> сокровищница подобий, соответствий, це<лый> свод (грот!) законов. И всё это нельзя[80].

Пишу тебе по проставлении последней точки книги «После России», в первую секунду передышки. Завтра сдаю. Две нач<атые> вещи: одну хочется, другую нужно (долг чести).

Тот свет, Борис, это ночь, утро, день, вечер и ночь с тобою. Это – КРУГЛЫЕ СУТКИ! А потом спать.

* * *

Борис, почему я ничего не мыслю долгим? М.б. потому что – вечная?

* * *

Борис, это письмо – порви, голубчик. Ты этого письма не читал, а я не писала. <Над строкой: Я его никогда не писала, а ты не читал.> Пусть оно останется как твоя собств<енная>

мысль (домысел).

* * *

Не пойми меня превратно: я живу не чтобы стихи писать, а стихи пишу чтобы жить (Кто же конечной целью поставит – писать стихи?) Пишу не п.ч. знаю, а для того, чтобы знать. Пока о вещи не пишу (не гляжу на нее) – ее нет. Мой способ знания – высказыванье: попутное знанье, тут же знанье, из-под пера. Пока о вещи не пишу, не думаю о ней. (Ты – тоже ведь). Перо – русло опыта: сущего, но спящего. Так Сивилла *до* слов – не знает. (Ахилл у Сивиллы. Она об Ахилле никогда не думала. Сивилла знает сразу.) Слово путь к вещи. Потому мне <пропуск одного слова> с тобой нужно не для того, чтобы написать стихи (не сбиться!!!), а [чтобы по написании узнать, что (и что́) она была] для того чтобы через стихи узнать, что́ такое ночь. Стихи – так ведь? – осознание прозрения (прозрение осознания).

Ты мне, Борис, нужен как тайное, как неизбывное, как пропасть, как прорва. Чтобы было куда бросать и не слышать дна. (Колодцы в старинных замках. Камень. Раз, два, три, четыре, семь, одиннадцать —. Есть!) Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не-поэта. [Мне мало отзыва] И ты не можешь. [Дело не в том, что другой поймет, и не в том, что отдаст, в том, что *передаст* и ты на его пере-еще передашь, и он на твое… Бери в глубину, в высоту, в к<акое> хочешь измер<ение> (говорю точно: их тридц<ать> семь!) – всё то же.] Ведь тайная мечта, твоя и моя, оказаться НИЩИМ (низшим). Это – с не-тобою – недостижимо. Как ты ни унижен, ни порабощен, есть тебе, над тобой, за тобой – *ТО* <подчеркнуто дважды>. [А тут – равные силы, т. е. (notre cas[81]) Сверхчеловеческие <над строкой: несоизмер<имые>>. Куда это всё умест<ить> в жизни (notre cas) не знаю.] Пойми высоту (с'высоту!) поражения, если будет. – Ты сильней меня. – (Мечта сильного о равном – мечта о поражении от равного) Рав<енство> – чтобы было что нарушать (Посейдон колебл<ет> зем<лю>.) Не божественный, не любой: равный. (Собожеством, или же со-любы́м – в мире ином!)

Помнишь Элегию Рильке ко мне? (Никому, кроме тебя, не дам до гроба). Liebende können, dürfe nicht…[82] – не пом<ню> – столько знать. Он был прав. Я, конечно, не [любящая] Liebende, я <хотела?> сказ<ать>: Wissende – нет, из другого его письма: Ahnende[83]. А тебе – не дороже любви?

Скобка. Любить тебя, я, конечно, буду больше, чем кто-либо кого-либо где-либо, но – не по своему масштабу. По *сво<ему>* –

масшт<абу> – мало. П.ч. я, как ты, втягиваю в любовь такое, от чего она сил<ой> напряж<ения> разрывается рассосредотач<ивается> – или – разрывается <над строкой: не сбывается – <*нрзбр.* >>. И потом – лохмами возвращается ко мне отвсюду, по кругу разрыва: с неба, с деревьев, справа и слева протянутые руки, из-под ног (земли, – травою). Борис, – всё может быть! – и это так естественно – ты м.б. сейчас у письменного стола, такого же тверд<ого> ощуп<ью> осяз<ания>, как мой. В левой руке папироса, правая в бегах. (У меня над письменным столом во всю стену план Парижа – остан*о*к прежнего кварт<иросъемщика>, русского шофера, который я не имею мужества, времени и чего-то еще – снять. И замеч<ательная> карта звезд. В Париже бываю редко и не люблю его, боюсь до́ смерти. Французов не люблю.) А у меня сейчас за окном солдатский сигнальный рожок, – казармы спать идут. Казармы (здание) – *живое*, а солдаты в Версале (я ведь рядом с Версалем живу) – игрушечные / деревянные / оловянные. П.ч. <вариант: Ибо> казарма – Ding[84], а солдат – даже не человек (иначе же – плохой солдат).

<Набросок карандашом, продолжающий тему середины письма:>

Унижение знать через низшего, недост<ойного>. [Я не хочу чувствовать от (через) неравного.] / Лучше не знать совсем. Сейчас – люба, а через 5 минут будут презирать (вспоминаю своих московских, времен 1919–22 г., партнеров). [Только отойду, будут презирать. Или не презирать – расценивать – жалеть – снисходить. Я не снисхожу – восходите.] Ланн еще лучший! / Ко мне шли учиться душе, а я к другим – учиться телу (собственному). [Честное слово. И ничему не научил<ась>.] Первый, осмелившийся, зах<отевший> научить меня телу, был тот, герой поэм. И ему, по гроб жизни, благодарна за желание, за бесстра<шие> и слеп<ость> жеста. Моя книга тебе много объяснит – в постепе<нности>.

Никто никогда во мне не видел души! – жалоба стольких. Никто никогда во мне не видел тела – не жалоба, но задумч<ивость> – моя. Даже самые грубые. Так и шло врозь.

Тот, герой, увидел во мне тело, но… не моей души тело (вторую душу), а – желанное женское [За которое умираешь, но], сам<ое> дорогое из всех любим<ых>. Пойми мое *счастье* и – очень скоро – мое: назад. <В теле?> я спасалась от пространства, этого прост<ранства> задуш<ившего> меня. – Кусок исповеди. Забудь.

<Пропуск одного слова>, а утром: у Пастернака нет

ясн<ости>, нет гармонии, прочт<ите> Пу<шкина>, —. Как я могу *<3 сл. нрзбр.>*

Письмо 92б
11 мая 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис! Ты никогда не думал, что есть целый огромный чудный мир, для стихов запретный и в котором открываются, – открывались такие огромные законы. Так, нынче, идя по улице, подумала: не странно ли, что мужчина поя́щий припадает к женщине как к роднику. Поящий пьет! – *Правда* этой превратности (перевернутости). Дальше: не есть ли поить, – единственная возможность жить? То, что узнаешь вдвоем – та́к бы я назвала, так это называется. Ничто, Борис, не познается вдвоем (забывается – всё!), ни честь, ни Бог, ни дерево. Только твое *тело, к которому тебе ходу нет* (входа нет). Подумай: странность: целая область души, в которую я (ты) не могу одна, Я НЕ МОГУ ОДНА. И не Бог нужен, а человек. Становление через второго. Sesam, <thue> Dich auf!!

Думаю, что если я была бы с человеком, которого бы очень любила – мало! – того героя поэмы тоже очень любила, нет, с таким – ну́ Колумбом – внутрь как я – я бы сказала, т. е. узнала, установила, утвердила, новооткрыла целый ряд изумительнейших вещей – только потому несказа́нных, что нескáзанных. Внезапное озарение, что я целой себя (половины нет), второй себя, другой себя, земной себя, а ради чего-нибудь жила же – не знаю, да, вопреки Поэме Конца. То было ошеломление <пропуск в копии> любимости (так меня никогда никто не смел любить, как любую!), зачарованность чужой зачарованностью, задохновение чужим задохновением, – в горах отзыв – (Поэма Горы). Зараженность и заряженность – сильнейший вид душевной отзывчивости, нашедшей земные слова. Борис, это страшно сказать, но я телом никогда не была, ни в любви, ни в материнстве, все отсветом, через, в переводе с (или на!). Смешно мне, тебе, незнакомому (разве ты-то в счет), да еще за тридевять земель писать такое. Я редко думала о тебе таком – ожогами – не для (длить). А за последний год <пропуск в копии> совсем, ты стал младшим братом Рильке, не кончаю из суеверия. А сегодня? И такая жгучая жалость, что не бывать, не бывать! Ведь целый мир (открытый бы!) пойдет ко дну! (А мог бы взорваться.) Ведь целый мир не взойдет со дна. Я бы такие слова нашла чистые: (читатель бы думал, конечно, что я говорю о Царстве Небесном, как теперь, благодаря Борису и <Rilke>, убеждена в <правде> хотя бы этого стиха <пропуск в копии>)

Точно гору несла в подоле —
Всего тела боль.
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.

Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.

Точно нору во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль

Стонущей. Сквозняком, как гривой,
Овеваясь, гунн:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн

Горловых, горловых ущелий
Ржавь, живая соль…
Я любовь узнаю по щели,
Нет, по трели
Всего тела вдоль!

Ты, Борис, в этом мире (донном) уже был в «Сестре моей жизни» – огненная чистота, огненная чистка этой книги! Тогда, когда писала (впрочем, плохо писала), умыкала, как тайну. Но ты не замкнул его ночью, роздал его по кругу дня, <втянул> в него деревья, тучи. Раздарил, распял его. Это в твоей книге просмотрели все. Я не говорю о Liebeslieder, я говорю о строках. Есть строки тождественные, равнодействующие.

Ты же знаешь, <какая чудная страна> для открытий твоих и моих. Какая сокровищница подобий (соответствий).

Тот свет, Борис, это ночь, утро, день, вечер и ночь с тобой, *это – круглые сутки*! А потом…

Не пойми меня превратно: я живу, не чтобы стихи писать, а стихи пишу, чтобы жить. (Кто же конечной целью поставит писать стихи?) Пишу не потому, что знаю, а для того, *чтобы знать*. Пока о вещи не пишу (не гляжу на нее), ее нет. Мой способ знания – высказывание, тут же знание, из-под пера. Пока о вещи не пишу, не думаю о ней. (Ты тоже ведь.) Перо русло опыта сущего, но

спящего. Так Сивилла до слов не знает. Сивилла знает сразу. Слово – фон вещи в нас. Слово – путь к вещи, *не обратно*. (Если было бы обратно, нужно было бы слово, а не вещь, а конечная цель – вещь.)

Ты мне, Борис, нужен как пропасть, как прорва, чтобы было куда бросить и не слышать дна. (Колодцы в старинных замках. Камень. Раз, два, три, четыре, семь, одиннадцать… Есть.) Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не поэта. И ты не можешь. Ведь тайная мечта твоя и моя сделаться нищими. А какое же нищими, раз в тебе (хочешь не хочешь) высшее. Пойми <высоту> поражения твоего, моего, если будет. Не божеством, не любым: равным (собожеством или же со-любы́м в мире ином!). Мечта о равенстве – мечта о поражении от равного. Равенство – как ристалище…

Любить я тебя, конечно, буду больше, чем кто-либо когда-либо, но не по своему масштабу. По своему масштабу (всей себя, себя – в другом, во всем) – мало. Я как-то втягиваю в любовь такое, от чего она не сбывается, рассредотачивается, разрывается. У других развивается дважды: как развитие (постепенность) и как *развитие* (растление) и потом лохмами возвращается ко мне отовсюду по кругу разрыва: с неба, с деревьев, справа и слева протянутые руки, из-под ног (земли – травою). (Другой любит меня, я – всё. Другой любит меня, я – всех. Пусть *в нем* <подчеркнуто дважды>, но ВСЁ и ВСЕХ.) Но при чем тут ты? Там, на границе того света, уже одной ногой на нем, мы не можем, не в том <ли> и чудо того света, что здесь не можем не! оповестить Бога, в какую сторону скашиваем каблуки. Я не могу представить себя иной и знаю, что по первому приезду – иной – стану. Я иная – это ты. Только предстать <пропуск в копии>

И возвращаюсь к первой половине письма. – А может быть – именно Бог???

Письмо 93
<ок. 12 мая 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Вот письмо к Св<ятополку>-Мирскому. Сделай одолженье, перешли его. Вчера получил твое. Как ужасно трудно ты существуешь! Совершенно непонятно, в каком времени протекает работа, дающая в результате такие чудеса. – Много думаю о твоей книжке. Настоящий разговор будет, конечно, о ней, т. е. она явится отчетным, завершительным поводом для формулировки всего, перечувствованного (кому дано) за поэмами. Жду ее, как праздника.

Позволь написать тебе, когда будет веселее, горячее, определеннее. Сейчас, – как темный сон.

Неужели всегда так жили? Неужели всегда такие тайны составляли задний план по-видимому благополучной, т. е. соответственной чаяньям и желаньям деятельности? И так много зависело от денег? Смешно говорить о воле. Она похожа на главного участника, т. е. подходит, чтобы его, по-обезьяньи, изобразить. Но если разрешенье близится, оно и без нее обойдется. Будем существовать дальше. Я не о запредельном. Я о симпатиях и антипатиях, распределенных словно пространствам и временам наперекор.

Твой Б.

<На полях:>

Не забудь переслать письмо. А получила ли мое о Лефе?

Приложение

Пастернак – Святополку-Мирскому

<Запись Ц. перед копией письма:>

Письмо Б.П. к Св<ятополку>-М<ир>скому, по праву моей собственности на Б.П. прочитанное и переписанное.

10 мая 1927 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Димитрий Петрович!

Простите, пожалуйста, и уверьте меня, что Вы не заметили

этого непомерного запозданья, что все забыто. В Вашем прощеньи я нуждаюсь настоятельнее и неотложнее, чем в чем бы то ни было – Вы от меня. Я тотчас стал отвечать Вам на письмо, но и в настоящую минуту опять налицо та трудность, которая 5 месяцев назад решила судьбу моей попытки. Заговорить с Вами впервые значит заговорить о необозримо многом и нестерпимо болезненном. Это значит заговорить о себе в десятилетьи, – тема плачевная и не поддающаяся изложенью. Допустите, что это не первый разговор наш. Убедите меня, что Вы и сами догадывались и знали, что это существованье было похоже на полусон со страшными сновиденьями и почти лишено внутренних признаков жизни при очень слабой видимости внешних; что полный отказ от деятельности, в былой ее форме, сменялся деятельностью нечеловечески затрудненной и ослабленной, а эта последняя – приступами возобновленного отчаянья; что чувствованье времени, составлявшее почти метафизическую природу лета 17-го года, уступило место голой и пока не утоленной потребности понять и почувствовать все поколенье, во всей его горькой и несчастной целости в 27-м, – потребности, уже не утолимой одной интуицией, а обреченной долго и мучительно побираться в своем голоде по бесформенно расползшимся дорогам неизученных фактов и чужих преждевременных обобщений.

Скажите, что этот разговор уже состоялся и всё известно Вам, и тогда со всею точностью я вернусь к Вашему письму. В дальнейшем же, если это суждено, мы будем перекидываться с Вами частностями о частностях.

Мне не сказать, как оно меня взволновало. Даже и Ваша совершенно очевидная переоценка моих сил, чтобы не говорить об остальном, и та растрогала и умилила меня, как черта, *несоразмерно более рисующая Вас самих*, нежели как бы то ни было относящаяся до меня. Не объясню Вам, за дальностью темы, но сам прекрасно знаю, отчего именно черта эта отбросила меня к годам первых детских пробуждений, когда те же щедрые, неожиданно широкие ноты слышались в разговорах и сужденьях людей Толстовского времени и круга. Отец стал только иллюстрировать его тогда. Самого Л<ьва> Н<иколаевича> помню очень смутно. Его почти замещает в том сводном ощущеньи образ другого старика, художника Н.Н.Ге. Именно к нерасчлененному пятну той поры сходятся, как это ни странно, корни всего потом воспоследовавшего. Даже Rilke (он тогда ездил в Ясную Поляну) зарождается именно тут, впрочем несколько к концу, около 1900 г. В *традиции*, туда же восходит и мое ощущенье Вас. И Вы легко себе представите, с каким чувством лично к Вам натыкался я, за чтеньем матерьялов к 1905-му году,

на факты, делающие такую честь Вашему имени и семье. Это к тому же и история, да еще вдобавок и история ослепительнейшего исключенья из всего этого странного царствованья.

А сила, превращающая нечаянности личной повести в партии исторического письма, есть именно та сила, которая, к глубокому моему горю, все больше и больше порабощает меня. Где-то она играет между нами. Наверное, я давно кончился, деятельно и страдательно поглощенный одним из ее уравнений.

– Совершенно нелепо, наверное, поминать теперь про предложенье «Commerce». Там незаслуженно любезны. Переведены ведь решительные пустяки. Для меня большим счастьем было помещенье переводов именно в этом журнале. Если они не оставили мысли о гонораре, то, вероятно, можно его перевести сюда по моему адресу через какой-нибудь банк. Гораздо ощутительнейшим вознагражденьем было именно вниманье журнала и, прежде всего, самые переводы. Они мне понравились. Если Вы знаете Е.Извольскую, передайте, пожалуйста, ей мою глубочайшую признательность. Горячо Вас благодарю за мысль перевести «Детство Люверс». Допустив даже, что вещь заслуживает Вашего труда и вниманья французов и до конца не будет Вами брошена, – откуда быть и тут гонорару, о котором Вы говорите, если не из готовности Вашей урезать свой собственный или уделить мне его долю? Разумеется, это ни с какой стороны не допустимо, и разговоры об этом должны быть оставлены. – Мне очень трудно писать Вам, как трудно (и еще труднее) временами переписываться с М.И. Это в полном смысле – растравливанье раны, и без того постоянно дающей чувствовать себя. На поездку же с женой и ребенком у меня нет денег.

<На полях:>

Не сердитесь, что письмо пересылаю Вам через М.И. Это вне моей власти, я не знаю, отчего это так, но во всем верю ей и ее живому превосходству. Желаю Вам счастливого и успешного лета.

Преданный Вам

Б.Пастернак

Письмо 94
<втор. пол. мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

<Запись перед письмом:>

Письма Пастернаку отправлены: 8го мая (воскресенье, ответ на Леф) и 12го мая (четверг) о потонувшем мире.

Дорогой Борис. Твое письмо не только переслано, но прочитано и переписано. Искушение давать читать его всем морально: чтобы Мирскому меньше было, а фактически: чтобы до Мирского дошли одни клочья. Сейчас не знаю, что́ хуже: держать твое письмо не мне, а Мирскому в руках (собственной рукой нанося себе удар, наносить ему радость) или в час, когда мне нет письма – за редкими исключениями каждый час моей жизни – думать, что вот сейчас, именно в эту минуту, оно (т. е. мое), минуя меня, в руках у Мирского. Словом, ревность – до ненависти. Полная раствава. Прочтя те места твоего письма, где ты оправдываешься – «Я не знаю, почему это так. Это знает М.И.» – я не удержалась и «Олух Царя Небесного!» И Аля, присутствовавшая, спокойно: «Вовсе нет. Он – *СОВ*». Во-первых, Борюшка, я тоже не знаю, почему это так, я вовсе не говорила об одном конверте, т. е. неизбежном моем вскрытии. Конверт в конверте (яйцо в яйце, Матрешка, конкурс и Кащеева смерть) – такому-то, или же *на* конверте: Такой-то для такого-то. Ты – перецветаевил. Во-вторых, зачем *ему* о Рильке (упоминание), лицо которого в очередном № «Звена» я от него загородила локтем. Зачем *ему* о Ясной Поляне. Ему можно только о Святополке-Мирском (непредвиденной весне или как? Злюсь). Нет, Борис, вот его адрес: Tower St., 17, London WC 1 (Не забудь Prince[85]! Издеваюсь), а Вам, милый Димитрий Петрович, вот адрес Б.Л.Пастернака – Волхонка, 14, кв. 9 (не забудьте *Леонидович*: сын художника). (Упиваюсь.) Кстати, в какой-то книжке о поэтах он-таки упомянул сыновнесть <вариант: причастность>.

Полушучу, полузлюсь, целостно <вариант: полностью> страдаю. Ничего, Борис! То ли будет.

Два последних письма к тебе (в этом, к Святополку-Мирскому, святополчьем, неполученных) отправлены 8го и 12го мая. Первое – в ответ на Леф («Нашей поэме – цензор заря», отрывок, это я тебе как веху), второе – по-рассветное, о мире запретном, не имеющем взойти со дна.

Да, Борис, насчет гонорара. У нас здесь закон: в худшем случае ПОРОВНУ. Иные переводчики берут ⅓ – ⅔ автору

переводимому, т. е. тебе. От праведных денег не отказывайся, купишь сыну башмаки <вариант: сапоги>.

* * *

Да! Родной мой, не смущайся, не считайся… Будь я в живых (т. е. значься я в твоей жизни) – <оборвано> Это ревность *тех*, у которых ничего нет, ни руки в руке, ни – только *мысль*. И эта мысль вдруг отводится – к другому кому-то.

Мирский тебе может быть очень полезен. Тебя он не разлюбит, п.ч. ты не женщина. Он многое для тебя сделает, издалека и вблизи.

Тебе ему так же (однородно) трудно писать, как мне. СПАСИБО. Но говорить с ним, предупреждаю, тру-удней, чем со мной.

Письмо 95
<ок. 27 мая 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина.

Я и второпях пишу тебе с полнейшим сердцем, без опасенья. Ты все видишь, ты увидишь, как и когда что пишется. Живость положенья целиком дойдет до тебя, не останется за порогом; действительность тебя в заблужденье не введет.

Я не учел, не додумал, а потому и не сказал тебе, в какой степени все это зависит от денег. Даже и Кавказ, представь (в семейной части, в комбинациях), пока недоступен.

Но у меня большая радость. Стало совершенно легко на душе. Вот основанье этой легкости. Я довел до конца, до каких-то простых человеческих положений тот круг мыслей, который меня беспокоил. Отчасти ты знаешь их. Ты чудно о них сказала (Pestalozzi).

Эти формулы ушли на дно ночного сосуществованья с временем, в рост волос, в походку. Я забыл об этих силлогизмах, выводы их материализовались в убежденьях. Я стал существовать в созданном обществе, которого нет, наверное. На пути *такого* восприятья его природы меня ждут может быть неприятности, м.б. и крупные. Но я их встречу как *неожиданность. Готовность* к ним была бы невыносима. Я рад, что от нее избавился.

Как ни сильно обскакивала ты меня эти годы, осенью ты оставишь меня Бог знает где. По стихотвореньям 24-го года книжка твоя совершенно бесподобная по полету и силе, ты и сама еще не знаешь ее заряда. А мне придется заняться реализацией неиспользованных начал (отрывков). Я попробую дописать Спекторского. Ты мне о нем ничего не говорила, он, верно, не нравится тебе. Но я его попытаюсь докончить. Личных побуждений тут гораздо больше, чем в случае с «1905-м». В замысле это почти на границе полной апологии поэтического мира. Ты скажешь, что он в ней не нуждается. Тогда ты не совсем представляешь себе, что тут произошло и насколько *подчинен* я – не чревовещанью времени, а *жизни, протекающей* среди чревовещающих лет. Чьей? Твоей, Р<ильков>ской, дважды моей. Но тебе покажется, что не так она протекла?

Сп<екторский> – это почти предпоследняя инстанция, так он задуман. – Кстати, ты как-то обмолвилась, что Шмидт, в 1-й части, был где-то перепечатан. Где именно? Что касается II-й и III-й части, которую, просто для порядка, пересылаю, то не давай их

перепечатывать: м.б. в корректуре я тут кое-что переделаю, и тогда правы окажутся те, что уже говорят, будто по многим признакам я скорее печатаюсь у вас, а тут перепечатываюсь. Осенью, думаю, выйдет книга. —

Замечательно говоришь ты о 2-й строке, о гимнасте, о гении связи. Это та же тема, которой ты коснулась тогда из Лондона, о правдивости, ненарочитости даже явных поручений воли, ее почти что даже *заказов* судьбе у людей нашего строя. Слов твоих не помню, мысль была та же. Именно эта композиционная подоплека, как это тебе ни покажется странно, ввязала меня во все эти истории с историей, с духами года, с Pestalozzi и пр. Именно она и не оставляет меня без надежд среди самых иногда безнадежных предвестий. – Твои слова о М<аяковском> уже подхвачены, все поражаются их меткости и исчерпывающей глубине. – Говоря о моей связанности и трагизме твоей доброй воли, ты прибавляешь: «Так, напр<имер>, я достоверно теряю славу, свой час при жизни». Ты говоришь это не без горечи, меня это волнует, мне хочется тебе по этому поводу сказать все, что знаю и что удесятерит мое чувство к тебе, – но у тебя это сказано слишком широко и неопределенно, раскрой и уточни этот намек, допускающий больше трех толкований. Утвержденье это противоречит фактам при любой дешифровке, но мне хочется знать, что именно померещилось тебе. Скорей и обязательно напиши об этом. —

Неужели ты не пересаливаешь, не шаржируешь (о Бунине, порнографии и пр.)? Но в таком случае что с ними? Это ведь неправдоподобно, непредставимо! А какой чистоты и силы и молодой, идеальной правды стихотворенье! А насчет письма (мир открытий, не могу одна, поящий – пьющий) – ну конечно, Марина! И это мое «ну конечно» ведь известно тебе. – О, Марина, все будет прекрасно, не надо только говорить. Все, все, все решительно. Самое главное: книга твоя будет бесподобна!

Письмо становится все глупей и глупей. Не могу описать тебе душевной легкости, которая меня охватывает все более и более. Не представляю себе и никогда не смогу представить, чтобы ты могла стать когда-нибудь для меня меньше, чем есть или была. Ни о чем не хочу думать. На днях специально назначил встречу с Асеевым и Маяк<овским>, чтобы договориться, со всею резкостью, и поссориться. Говорили, противоположности подчеркнуты и будут расти, и при всем том: – пустяки. Всем троим бросилось в глаза, что любим и любили друг друга больше, чем знали (о том). Это к характеристике состоянья. А пример – совершенная ничтожность в сравнении с тобою. Так хочу провести лето. Начинаю верить, что буду опять поэтом когда-

нибудь.

Обнимаю. Очень твой.

<На полях:>

Спасибо за журьбу по поводу письма к Св<ятополку>-М<ирскому>. Шутливость его дошла до меня. Может быть и правда наделал глупостей.

Письмо 96
<31 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, я животное, я только вчера отправила твое письмо Святополку-Мирскому, вчера, 30-го, получив его 17-го. – А? – И вместе с просьбой Мирскому выслать мне очередное иждивение, обернув твою лирику в эту <пропуск одного слова> *облапив* ее – ею. Он, конечно, кинется сперва на твое письмо, а на закуску мое – а? (Иждивение – мал<ая> сумма, раз в три месяца выпрашиваемая им для меня у английских друзей.)

Борюшка, ты взволновался о *славе*. Дай, пойму. …теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему. [Если бы я была пон<ята> через 100 лет назад (я с ума сошла! вперед, конечно). Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом / Когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех <над строкой: и о каждом (единице всех)>.] И вот, мое глубокое убеждение, что печатайся я в России, меня бы *все* поняли – и тут же, – угадай, чье? – чтобы / да, да, все [из-за моей *основной* простоты], п.ч. каждый бы нашел *свое*, п.ч. я – *много*, множественное. И меня бы эта любовь – несла.

(Конечно, так лучше, всё лучше как есть.)

[Мне просто захотелось океанской волны, целого океана в одной волне, безличного заочного тысячегрудого – ох – при моем имени. И – своей поднятой головы в ответ. И – своего отсутствия в ответ]

(Борис! Слева стихи, справа письмо к тебе, пишу попеременно.) Просто в России сейчас пустует тр<он>, по праву – не по желанию – мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Тебя же никогда не будут любить так, как Блока (Есенин – междуцарствие, на безрыбьи и…, ПОПЫТКА созд<ать>), ты *избраннее* меня, нужно родиться тобой, а я – через стихи – таких рождаю. (Кажется, прави<льно>.) Или, точнее: мой жест *из*: жил, сил, чего хочешь. Изымающий. Ты вводишь. Будучи введенным, нужно жить. Я *вывожу* и этим – предоставляю. Я – одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше – его дело, и боль<ше> ему не нужн<о>. <Писала ли?> тебе: [ты видимое превращаешь в невидимое, я невидимое – в видимое.] ты явное делаешь тайным, я тайное – явным: вывожу на свежую воду.

Но, чтобы вернуться к славе – моих книг в России нет и поэтому поэта нет. Не Маяковского же им любить – служебного, не Асеева – бездушного, не тебя – *под* сущного, когда они и

сущего-то не видят, конечно, Борис, меня – с моими перебоями, перемежениями сокровения и откровений. Меня, Борис, – *молнию*, ту синюю вчерашнюю, бившуюся в мои окна в 2 часа ночи. Люблю ее! О – *как* больше луны!

* * *

Несоизмеримость I части и III. II – переход. Сейчас бы – Шмидта – с конца! III часть – настоящий ты. Читая «первенец творенья», я улыбнулась – не я одна – все присутств<овавшие>, и один из них: Дорвался!

Продолжение
<2 июня 1927 г.>

Борис, всё это – знаки. Сегодня безумный день, лондонский туман. С утра сердце летело. (Ты не можешь себе представить, до чего я редко что-нибудь чувствую, до чего я машинна. Между мной даже – с богемской горы к тебе – и мной сейчас – несоизмеримость. Первое чувство в ответ на какое бы то ни было собственное – изумление: *Как*? Значит – еще?..) Итак – и вот – Лондон в Мёдоне, дымная желтизна, потемнение – с минуты на минуту, о, я не могла дорваться до улицы – ник<огда> солнце так не повелительн<о>. Выйдя, выбежав – окунулась. [Домой!] Не шла – несло. После двух ночей гроз – синих!! – утро тумана. (Писавший утро туманное думал совсем о другом, тум<ан> – стихия.) Слов<ом>, после тебя еще ты (и я тебя обожаю, в скобках). О, Борис, Борис, как всё – вместе идет. Последовательность: 1) моя, наконец, отсылка письма Мирскому, 2) твое письмо, 3) в тот же день Шмидт! – гроза, 4) в тот же вечер чтение его – гроза, 5) вчера письмо из Чехии с описанием выступления Маяковского и впечатлений от твоей прозы, впервые читанной, 6) нынче – одновременно – яйцо тумана (а в яйце я) и письмо Мирского в ответ на твое, привожу. Борис!

Мой обожаемый! (Можно так говорить?) III ч<асть> Шмидта такая сила-силища, такая – ты, что у меня одно чувство – победителя. (Чего – поймешь.) О, Борис, так поют, вырываясь из тюрьмы. Ты в III ч<асти> уже вне Шмидта, *потому* так восхитителен. Начинать так нельзя, так только кончают. (Не могу не отметить *речь* Шмидта, местами отвратит<ельную> – родственн<ую> письмам: тираны и пр. *общятина*). Когда я смотрю – в веках – на эту пару: тебя и Шмидта, я – смеюсь. В одну телегу впрячь не можно – Коня и трепетную – рвань (дрянь). Если бы не боялась тебя обидеть, сказала бы слякотную. Нет, Борис,

Шмидт – хороший человек, и Бог с ним, а вот III часть – великолепие, и *боги с тобою*. В твоей истории с Историей я тебя понимаю с трудом, я ведь, в какой-то глубине, в наедине своем – безотв<етственно> историю *сбрасываю*. Но не обо мне. *Рада* книге Шмидта [какой матерьял для психоанализа] и сейчас не мысл<ю> ее общност<и>. Думаю, в брошюре – III часть отлетит *на́* – *за́* – не знаю: далёко! в ней пружина, бьющая. III часть вровень Потемкину. Наконец, с чистым сердцем могу писать тебе о тебе в текущих днях.

Усиление тебя в *моих*, присутствие в часах до таинственности (если бы что-нибудь было таинственным, если бы не всё и значит – ничто!) совпадает с усилением моей жизни в стихах. Я сейчас пишу вещь, совсем одинокую, отъединяющую, страшно увлечена. И вот рвусь между письмом к тебе и очередным четверостишием, говор<я>: справа ты, слева стих, *оба* [лучше больше] пуще. (Вдруг – неожид<анно> – ответ женщины XVIII столетия, XVIII столетие устами женщины: Что бы Вы сделали в лодочке <над строкой: во время бури>, где Вы, [Ваш муж и Ваш друг] и нужно было бы, чтобы было <только?> дв<ое>: – Je sauverais mon mari et je me noierais avec mon amant[86]. – Noyade (почти naïade![87]), вот это – конец Мóлодца – в огнь синь! – это всё мое право на себя, *но* – *КАКОЕ*.) Я никогда не стану для тебя меньше чем есть, чем была. Конечно, нет. Знаю. Меньше может быть только, когда берут из целого (стылого), а когда из растущего – даже ты, Борис, не сможешь пожрать меня в росте, предвосхитить, подавиться, проглотить (envoûter[88]. Какое чудо – этот грот, втягивающий море – в глотку). Родной! – «Не надо говорить». Конечно не надо, я тебе говорю только о том, *КАК* я бы сказала. Мысль, а вовсе не *слово*. Мне нужен союзник – в м<ысли> – кто как не ты? (А под рукой мех, твоя голова, сквозь который явственно прощупывается мысль. Мех и мысль. И не с затылка, нет, с лба, как себя держу за голову, отведя волосы, переп<летя> пальцы концами и под ладон<ями> неуловимое место <вариант: средоточие> силы).

Как можно было у Гёте Вертера взять Гёте – Euphorion?

– Мысль. Ты во мне не существуешь, подсуществуешь, как вообще в мире, твое пребывание во мне не есть выхождение *из*. Ненарушенность. Почему всё конч<ается>, п.ч. люди, живущие внутри или вне, – выходят в любви – наружу или внутрь, *нарушают, не могут*. Лучшие «опускаются», снисходят, другие возвышаются, – едино: не их воздух, не могут. Перерыв. И опять домой. Самое ужасающее явление дробности, частичн<ости> кус<ков>, вырванных из жизни. – Говорю и о себе. – Усиление <*нрзбр.* >, по той же <*нрзбр.* > – так быть должнó. Или же –

ПОЛНОЕ ИЗЪЯТИЕ себя из себя, мира из мира – те, прости за грубость – двое суток в постели Нинон де Ланкло <над строкой: тех двух> – [не о пост<ели> говорю] – ничего не зная, не ведая, пусть дом сгорит – не вста<ла>. [Говорю не о <пропуск одного слова>, а о напряж<ении> ее.] (Пойми мой подход к подобию!)

* * *

Вдруг, среди ночи, внезапн<ое> осознание осознания тебя в *их* глазах <над строкой: твоего положения среди> – аристократом, да, мол, Шмидт и всё так далее, а всё-таки… Полуусмешка, полубоязнь. Сторонение.

Entfremdung[89].

* * *

<Преклонение?>.

Хотела тебе сказать о замечательном писателе Конраде – поляк-англичанин, по окончании очередной книги которого безутешна. Lord Jim, Victory. И еще – о *полном* равнодушии к Valéry и воинствующем презрении к A.Gid'y. И еще о плачевности прозы Hofmannsthal'a, <*нрзбр.* > книг<у> (не даром!) переводи<ли> франц<узы>. О недосягаемости (раз достигнуто!) Рильке.

Дополнение

Борис, я пишу вещь, от которой у тебя мороз пойдет по коже. Эта вещь – начало моего одиночества, ею я из чего-то – выхожу <вариант: изымаюсь>.

Письмо 97
19 июня 1927 г., Дер<евня> Мутовки
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Мы на даче. С неделю готово письмо тебе, в ответ на твое (где о славе, переоценка III ч<асти> Шмидта, несколько слов о М<аяковском> и работе над лирикой). Оно лежало, и я не даю тебе деревенского адреса, потому что не доверяю местной почте. В особенности заграничная переписка ей не по навыку. Не пересылаю его и пишу новое потому, что оказия, с которой хотел его послать, против моего ожиданья запоздала. Брат не приехал из города в воскресенье, как думали, завтра отправлюсь в Москву я сам. И только оттого, что письмо пролежало больше, чем я предполагал, оно мне кажется несвежим. Это с ним случилось именно в дни, прибавившиеся против недельного расчета.

Сначала несколько слов о себе, с этим я разделаюсь быстро, без трудной точности. Здесь очень хорошо. Это в 5-ти в<ерста>х от Хотькова. Под боком – Абрамцево, Аксаковское в далеком прошлом, позднее – Мамонтовское именье. Помнишь лавочку в одно окно в Петр<овских> линиях, с Поленовыми, Малютиными, Врубелями и др. из дуба, ореха и майолики. Твой лев, третий год служащий мне настольной пепельницей, думается, тоже оттуда. Ну вот, мы теперь на их заброшенной родине, в 60-ти в<ерстах> от Москвы, в прекрасной новой избе, на самом краю лесистого обрыва, с соответствующими просторами, открывающимися с него, и рекой Ворей, являющейся из лесу на противоположной высоте и сворачивающейся в две круглых излуки на наших глазах, под нами, в кустах, болотцах и других неописуемых неожиданностях. День на третий или на четвертый после переезда, набродившись, сколько надо, кругом, я проснулся в том самом мире, от которого, в твоем выраженьи, у меня пойдет мороз по коже, как и сама ты хорошо предчувствуешь. Ты занята им сейчас, я страшно верю в эту твою полосу и люблю твою готовящуюся книжку и твое лето перед ней: это и по историческим часам Европы нынешним *летом* (т. е. им самим над головами и в сердцах и по лицу земли) мыслимо, нужно и жданно и воплотимо. Просыпается послевоенный человек, с природою, как сном, в чуть-чуть постаревших глазах, с жаждой наверстать проспанное без сновидений. Нечто подобное, в качестве близких рабочих видов, колыхнулось и во мне. Завозился над Спекторским, кое-что обдумал, кое-что записал,

нашел вновь, что Тютчев выдерживает, как всегда, предельное испытанье сырого зеленого соседства, облюбовал урок: сходить в Мураново, Тютчевское именье в 8-ми в<ерстах> отсюда, и о прогулке написать, что дадут сказать, на тему: время, природа, поэзия (гетеанская гамма, внушаемая тут каждым оврагом, каждым часом, отданным лесу или реке). Так зажилось тут сначала, я с верой и повеселевшей волей взглянул вперед. И вдруг все изменилось. Я знаю, условья, в которых ты работаешь, в смысле времени, средств и житейских сил – в тысячу раз хуже моих, и стыдно и больно, что я этого не могу изменить. Но ты понятья не имеешь о том, какие нравственные неожиданности (в смысле перспектив и настроений) подстерегают тебя тут на каждом шагу, в лучшие, лучшие абсолютно, т. е. не для тебя одного, а для всего дня, минуты! Так было и сейчас. В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчанье полной подавленности и потрясенья. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явленью» свободолюбивого века! И вот – не дано, – возмущает до основанья, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету, и журналист в пиджаке, обремененный семьей и этим зарабатывающий себе и ей на пропитанье, пропишет мне, что четвертованье и сажанье на кол есть последнее открытье передового человечества, читавшего Маркса в библиотеке, а не глодавшего его в пещере, а послезавтра другой сукин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я английский шпион, потому что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно <так!> из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром – блажь на взгляд обесчухломленной чухломы, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья. На эти фразы мне не отвечай, не облегчай другим выслуги, если меня спросят, я отвечу: да, ради этого герои шли на смерть, об этом мечтало человечество: чтобы, отмывшись от вшей, изойти от душевного зуда внутреннего подглядыванья, чтобы покрыться паразитами по всей совести, чтобы зачесалась душа.

Кроме того – настали холода, пошли дожди, заболел мальчик. Я не знаю, чем он хворал. 3 дня у него был сильный жар. Я дважды за пять верст лесной дорогой (почему описываю? – один раз это было ночью) ходил за доктором. Обещал и не был: раз, п.ч. был занят в больнице; другой – п.ч. подряженный для него извощик затонул по пути в доме крестьянина (культурное учрежденье с прямо противоположными целями). Мальчику давали по вдохновенью то касторку, то еще что-ниб<удь>.

Показалось – корь. Сегодня он первый раз гулять вышел.

Итак, это время было не до работы, и хуже: как всегда при таких причинах широкого характера и неопределимо распространяющегося действия – должно было сказаться и на близких: мальчик капризничал, буянил и нюнил (тонкая переборка не доверху, т. е. вдвое больнее уху, чем без перегородки, когда занят и глаз) – ссорились с женой.

Сегодня впервые выглянуло солнце. И мальчик гуляет. И я пишу тебе, т. е. мне кажется, что душу отвел. Словом, давай признаем, что мне надо «светлее» взглянуть на себя и свое и лета с работой не уступать настроеньям. Может быть и правда все улучшится и опять наладится ладившееся уже было.

Перед отъездом раза два виделся с Асей. У ней завязалась переписка с Горьким, читала мне одно письмо, удивительное по уму и сердечности: он зовет ее вместе с ее другом в Италию и вызывается помочь им не только денежно, но в смысле влиянья по исхлопотанью виз. Подумай, может еще так случиться, что ты с ней встретишься! Я от души ей желаю осуществленья этой мечты.

Я не знаю, писал ли я тебе, что болел III-й частью Шмидта, т. е. темой суда и казни, т. е. этой не утратившей остроты, людоедской и в наши дни, темой. Думаю и я, – она лучше других. Но ты ее хвалишь сверх меры и, радуя своим желаньем придраться, к чему можно, чтобы обнять похвалой, вместе с тем и смущаешь. Если бы эта часть была так хороша, как тебе того хочется, мне пришлось бы пожертвовать половиной денег, следуемых за книгу, и сократить поэму вдвое, равняясь по этим мнимым ее превосходствам. Я же к этому ни с какой стороны не готов, особенно в качестве книги не был заинтересован, примирившись с самого начала с ее уровнем, и вообще, относился к этому легко. И вот глупый, как это иногда у меня бывает, вопрос к тебе. Напиши мне, если можешь, не откладывая, как мне быть. Делать ли из этого готового и почти вперед оплаченного греха стоющее нечто или пощадить, в этом изданьи, время и карман? Кстати, завтра еду за первой корректурой. Ответь так, чтобы застать меня за ней. Я к тебе даже обращаюсь как к самому дорогому и к оракулу, а не как к поэту за советом: для этого последнего случая вопрос поставлен слишком расплывчато и нелепо.

Написал отсюда С<вятополку>-М<ирскому>, воспользовавшись данным адресом. Дал также и свой. Честное слово, я не понимаю твоих замечаний по этому поводу, даже как шуточных. Зимой я принял это без рассужденья, как твою волю. Теперь ты, видно, отказалась от такого порядка. Зачем же ты подтруниваешь над собою и мной?

Но все это пустяки. Как не хочется мне говорить тебе под руку, но как представляю я себе, что с тобой делается и что ты дашь! Горячо тебе желаю подходящего расположенья, требующейся тишины и свободы, здоровья кругом, хорошей погоды и сосредоточенной силы, превращающей эти дни и недели в начальные, с новой мыслимой необозримостью сроков впереди. О, как я безбожно комкаю всегда, когда, не продумав, ляпаю разом, желая много сказать. Горячо желаю тебе досуга и удачи, горячо, горячо. Это не только сильнейшее мое пожеланье тебе, но и сильнейшее вообще мое желанье. Верю в тебя и в то, что что́ ни наметишь, исполнишь.

Из твоих слов о славе существенно только соображенье что книг твоих тут нет. М<ежду> пр<очим>, до сих пор и я в таком же положеньи, и оно изменится только осенью, не знаю, с каким результатом для меня. Но вернусь к тебе. Замечанье правильное. Их отсутствия недооценивать нельзя. Но вывод («а стало быть, нет и меня») неправилен и, – как свидетель ручаюсь, – ложен. Вот мои наблюденья и соответственные сему предположенья.

1) В широчайшем, нарицательном смысле тебе предстоит еще *стать открытьем* для местной литературной заштатности, для тех, которым нет числа, т. е. скажем, для провинциальной газеты. Тебе этого не миновать и ждать относительно – недолго. Ну что же, с этим можно поздравить. Не смейся. Из всех видов популярности это – *еще живая* ее форма. При ней безлично неопределенное множество входит в твою жизнь еще облагороженным своей пораженностью, состояньем своего восторженного прозренья. В таком виде, взволнованное первым знакомством, среднее арифметическое, входя в твою биографию, еще не портит ей желудка, еще по свежести своей годится в дорогу тебе. Это о перспективе известности вновь повсеместной.

2) В более же узком кругу, в том, в котором живу и я и проживу свой век и вне которого меня нет, ты последние годы не перестаешь вести исключительное, завидно повышенное существованье. Эти разговоры о Марине Цветаевой особенно удивительны тем, что они ничего не утрачивают в своей свежести, несмотря на свое постоянство. И в апреле их жару не мешает то, что с такою же дружной внезапностью они по тем же редакциям (разумеется, неофициально) велись в феврале и марте. Существованье это не развешано по гвоздям именных связей. Оно расходится по неведомым путям. Поэмы ходят в списках.

Однажды в журнале, поставившем себе нечеловеческую цель ругать все человеческое и называющемся «На Лит<ературном> Посту», я прочел выдержку из В<оли> Р<оссии> о твоей вероятной популярности тут, у нас, как явленья нового,

послереволюционного. Это предположенье В<оли> Р<оссии>, справедливое, как сама истина, настолько отвечает действительности, что кажется корреспонденцией отсюда. Но, разумеется, в журнале этот факт отрицается. В том же № высказывается одобренье моему «новому направленью». Но хвалит меня человек, разносивший за Сестру и Темы, и хвалит так, точно я у него и у журнала в кармане. И что это за карман! – Но как я записался! Надо ложиться спать. Завтра еду в 6 ч<асов> утра.

Твой Б.

Письмо 98
10 июля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Вторую неделю брат не приезжает сюда и нет связи с городской квартирой. До этого раза два ездил в Москву я сам и тогда писал тебе. М.б. за эту неделю есть что-нибудь от тебя, и я этого не знаю. Последним письмом от тебя было то, на которое я отвечал. Разумеется, особенно грустно бывало садиться в вагон не солоно хлебамши, т. е. без твоего письма. И всегда это бывает к вечеру, когда солнце слева полосует скамейки, светит под них и поезд от Пушкина становится пуст и точно даже без машиниста, т. е. когда и без того все это так похоже на детство. Но если даже и сейчас еще нет ничего от тебя, то как ни противятся этому всякие суеверные изворотъ сознанья, основное мое настроенье находит только радостное объясненье твоему молчанью, потому что только им может удовлетвориться. Наверно ты работаешь, и – представляю себе, – ка́к! Косвенно я уже тут сказал тебе, какие чувства у меня берут постепенно верх над прежними и недавними. Кажется, я оживаю. Как ни отличны условья, в которых мы с тобой живем, то, что меня начинает подымать, – шире этих различий. Т. е. я думаю (меня это чувство не покидает), что нечто, подобное моему, в то же самое время переживаешь и ты и делаешь из этого одинаковые выводы. Что-то делается с самим временем, вот в чем дело. Оно точно устало от свалившихся на него ролей, ему опять хочется быть организмом. Если ты не делаешь этих же наблюдений, то этим ты меня нисколько не смутишь: ты сама ведь готовишь книгу стихов, т. е. осенью напомнишь, что родилась и жила лирическим поэтом, делать же это можно только в соседстве с цельным временем, чувствительным к живым фрагментарным знакам, соединяющимся, смешивающимся с нами. Я проговорился против воли. Если по переезде в город мне нечего будет показать тебе, куда я денусь от стыда со всею этой метафизикой? Но с какою верой смотрю я на будущее! Как люблю и знаю твою книгу. Но опять я говорю тебе под руку. В этом состояньи счастья по еще не выяснившимся причинам лучше всего молчать. Обнимаю тебя.

Твой Б.

Письмо 99
15 июля 1927 г., тотчас же
Цветаева – Пастернаку

Борюшка, в последнем письме я писала тебе, что буду писать – и отчасти, что́ буду писать о Шмидте. В этом основном что́ мы не сходимся с Мирским (как после 10 дней дружбы вообще ни в чем не сходимся), недавно приехавшим и слышавшим III часть. Сходимся – в восторге перед ней и от нее – не сходимся в оценке I части – писем. Знай, что Мирский их оправдывает [(так нужно) и ссылается на будущее, знай, что я их не оправдываю и ссылаюсь на то же будущее] как историк, знай, что я их не оправдываю как поэт. Их – нет, тебя – целиком – в вещи – да. Борис, ты настолько огромное явление, что рассматривать Шмидта самого по себе ни мне, ни другим твоим любящим не удастся. Шмидт как этап. Шмидт в контексте, скажем предположительно, Спекторского – и последующего не знаю чего. Шмидт – document humain[90] сосланного на землю духа – Б.П. (Фауст – как этап.) Сам Б.П. – как этап в истории Духа. И т. д. – ибо *далее* всегда есть: оно и есть ВСЕГДА.

Обо все этом, несколько иначе, я тебе уже писала, теперь о другом, тревожащем, – письма не доходят? Какая безнадежность – писать! О Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону за помощью, <оборвано>. Ты не знаешь моего одиночества [на которое, заметь, ни разу в жизни не жаловалась]. Кончила Поэму Воздуха. Читаю одним, читаю другим – полное – ни слога! – молчание, по-моему – неприличное, и вовсе не от избытка чувств! от полного недохождения, от ничего-не-понятости, от ни-слога! А мне ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то в Чехию: – Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня, п.ч. у него есть двое-трое друзей-*поэтов*, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы – на час – стихи предпочел бы всему. Это – так. У меня нет друзей. Есть дамы – знакомые, приятельницы, покровительницы, иные любящие (чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то, в тайне сердца, конечно стихи 1916 г.). Для чего же вся работа? Это исписывание столбцов, и столбцов, и столбцов – в поисках *одного* слова, часто не рифмы даже, слова посреди строки, почему не знаю, но свято долженствующего звучать как —, а означать —. Ты это знаешь. Борис, я обречена тебя любить, все меня на это толкает, прибивает к тебе, как доску к берегу, все бока облом<аны>

о тебя. Еще одно: недавно среди дня неожиданно свалилась в сон. У меня в комнате маленький серый диван – мышиный – дареный, если вытяну ноги, свисают на аршин, так во́т – свалилась, сплю. И такое глубоч<айшее> при<виделось>, не безымянное, не кто-то – ты. Я о тебе не думала, ни о чем, только знала: спать! Очнувшись, вспомнила ведьм: Та́к, а не иначе. Вообще, Борис, разъясни мне и одновременно знай – откуда это свободное уверенное двигание в воздухе, которым в жизни не дышал! Ведь – ни одного спиритического сеанса за жизнь (брезгую!), ни одного антропософского заседания, ни шприца кокаина, *ничего*. Откуда – *опыт*, точное знание, не-удивление, свойственность, осведомленность. Вот для чего ты мне – главное – нужен, вот на что, говоря: *на тебя*! – надеюсь, – вхождение *ногами* в другой мир, рука об руку. Так: выйти из дому, по лестнице, мимо швейцара, всё честь-честью, и вдруг, не сговариваясь, совместно единовременно оттолкнуться – о, на пядь! – Борис, еще одно: моя пустота. Беспредметность моего полета. Странно, что здесь, якобы за пор<огом> чувств, мои только и начинаются. В жизни я уже почти никогда не чувствую, и это растет. Не знаю, что́ со мной сталось. М.б. – били, били, забивали, задуряли – что-то и окаменело, перестало. Я просто притерп<елась> к боли (*NB*! моя единственная возможность <вариант: мой провод> чувства), боль стала состоянием и пребыванием, все болевое уже попадает *в боль*. – Можешь ли ты меня понять. – Нечувствование острий, в готовое. Даже физически: беру раскаленное – и не чувствую, все говорят: липы цветут – не слышу, точно кто-то – бережа и решив – довольно – залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое. Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пяту другого? – Ты. —

Мой родной, ты, наверное, переоцениваешь мою книгу стихов. Только и цены в н<ей>, что тос<ка>. Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь – не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, – точно поэмы не лирика! Но условимся, что лирика – отдельные стихи) служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня, топя меня и заводя каждый час по-своему, по-мо́ему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса. Каждая книга стихов – книга расставаний и разрываний, с фоминским / перстом Фомы в рану между одним стих<отворением> и другим. Кто же из нас не прост<авлял> тирэ без западания сердца: А дальше? От поэмы к поэме промежутки реже, от раза до разу рана зарастает. Большие вещи – вспомни Шмидта – stable fixe[91], лирика – разовое, поденное, вроде нищенства или грабежа с <*нрзбр.* > счаст<ливого> часа. (Если попадет в твою

лирическую волну – посмейся!)

А недавно я на улице встретила человека, похожего на тебя, он долго на меня смотрел, очевидно расовое притяжение.

Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду – в подлиннике: в пересказе, совершенно соответствующем всем тем разрозненным песням и повестям. – Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь-невинными, с обманутым Королем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с пост<оянными> наруш<ениями> самых святых обетов, с – наконец! – женитьбой Тристана на другой Изольде (к<ак> буд<то> бы есть др<угая>!) – aux Blanches mains[92], – из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого *ничего* не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, п.ч. умерли врозь, она – в сознании измены Тристана. (Другая Изольда из ревности сказала той, первой, что корабль, поехавший за Тристаном, возвращается с *черным* парусом, – т. е. *без* него (с незахот<евшим> Тристаном, т. е. *без* него).) И Изольда умерла. История, ничем не отлич<ающаяся> от истории Кая и Герды, любящих, тер<яющихся>, <*нрзбр.*>, сход<ящихся>.

* * *

Сдаю в Версты «С моря» (прошлолетнее – тебе) и Новогоднее (Письмо к Рильке), переписываю для Воли России Поэму Воздуха, не знаю, возьмут ли, сейчас должна приняться за Федру, брошенную тогда (31го дек<абря> 1926 г.) на 2ой картине. Долг чести. В промежутке между 3 и, скажем, 4 (всех 5) напишу о тебе и Шмидте (Б.П. и Лейтенант Шмидт). Лето проходит, не осуществившись. По 3, часто не разреш<ающихся>, грозы в день, по два хороших ливня (обожаю Сестру мою Жизнь, *но* … <подчеркнуто трижды>), в летн<ем> пла<тье> холодно, на́спех вытаскиваю зимние шкуры. Вчера, 14ое июля, глядела с нашего мёдонского железнодорожного моста на ракеты и дрогла. – И этого уже не люблю, не так люблю, больше по долгу службы.

* * *

Но Мур – заглядение. *Чудная* голова, львиная. Огромный лоб, лбище, вздым<ающийся> це<лой> белой бурей кудрей. Разгов<оры> такие: Мама чеса́ет морковку (чесает – чешет –

чистит). – Мама, поцелуй Мурке пузу. – Идти к папе, захватывать вещи (вещи, вязаное одеяло, обожаемое, в которое с 6 месяцев по-котиному перед сном впивается когтями <вариант: в которое влюблен>, готов стоять часами, вкагачиваясь и обмахиваясь). Спать один не хочет, среди ночи явление головы над сеткой. «Мула хочет идти в дуглу́ю каватку». Влезает. – «Дуга (друга) дать: аделя́ло!» Лезет вслед и «друг». Через минуту спим, слева Аля, посредине Мур, на Муре друг, с краю я. Кровать тесная, сон спартанский. Утром сидит у меня *на голове*, просыпаюсь от приблиз<ительного> чувства Атласа (думаю, держат мир и головой).

* * *

Борис, всегда отвечаю сразу, если не будет писем – знай: почта. Хочу оказии для нескольких книг и фуфайки тебе, ни разу не прохожу мимо витрин мужских вещей без ревности за тебя. Пусть хоть рукавами обниму тебя – за недостатком <вариант: недостиг<аемостью>> рук.

Письмо 100
17 июля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогой мой друг! Твое письмо пролежало ровным счетом две недели в городе. Не сердись, никто не мог знать, что заболеет брат, перестанет ездить сюда и что ему не придет в голову вложить письмо в новый конверт и сюда переправить. Ну и досталось же ему за это! Если ты даже и отомщена, я все еще не могу успокоиться. Когда вновь и вновь, по поводам, которым <и> густо покрыт весь мир и поросли дороги, и каждый из которых забывается в следующую же минуту, я вспоминаю и вновь измеряю бесконечностью was ich in Dir habe[93], мне, не считаясь с тобой, хочется прямо тебя спросить: скажи мне еще раз, что ты не выдумана, что ты – человек в юбке, что ты не заглавье редчайшей, обнимающей тысячу душевных повестей идеи, что ты не история счастья, первою из сказок рассказанная мне детством и потом поэтами и философами и потом собственным одиночеством в минуты его сильнейшей тоски по таком рассказе. Но ты скажешь, что именно все это ты и есть, о, я знаю, но ты недооцениваешь того, что у тебя есть адрес и руки, которые я без конца целую тебе за то, что их можно целовать, говоря этой нежностью *так редкостно много*. Ты существуешь. И не может быть положенья, при котором я мог бы почувствовать себя несчастным.

Ты совершенно права в своих объясненьях насчет Св <ятополка> -М <ирского> и сороконожки. И как права! Но ведь это такой милый, такой настоящий человек, такое достоянье наше в лице, что ради этого приходится чем-то и платиться, становясь и его достояньем, т. е. платиться именно тем, о чем ты говоришь. Я очень неловко это выразил, получилось что-то вроде расчета: а я хотел сказать о страдательном обороте исторического сродства (понимаешь?). Он прислал мне номер журн <ала> The London Mercury со своей статьей. Читала ты? Я, как и ты, верно, не можем принять greatest («first greatest») и second greatest[94], потому что это для нашей породы *ничего не значит*, точно так же как значило для иных *все*, мы об этом уже однажды списывались. Но много верного сказано о тебе и обо мне, – и я доволен. Ведь ты еще неожиданнее и оригинальнее меня, и еще труднее *описать* тебя. А он кое-чего достиг тут. Хвалю его робко, не зная еще твоего мненья, а то бы похвалил решительнее. Я уже писал тебе, как тут тебя знают. Не могу пожаловаться и я. Но от таких разборов вплотную, в стремленьи уловить *суть*, мы тут отвыкли,

и я поражаюсь его глазу и глубокомыслию. Отн<осительно> меня сказано самое важное в указании о поэтическом опыте. Не сердись, если ты других мыслей. – Дорогая Марина, не жди от меня в ближайший год ничего стоющего, *по статье* (вот – сороконожка!). Приходится все еще *зарабатывать из недели в неделю*. Т. е. *надо будет* кончить Спект<орского> и в том случае, если я даже считаю этот жанр – категориально ложным. Ты знаешь, что все это значит. Обнимаю тебя, дорогая, незаслуженная!

Твой Б.

<На полях:>

Что это за птицеловы? Не знаешь ли ты их адреса и к кому обратиться? Кого они издают и кто они для меня, если ты их не знаешь?!

Письмо 101
<ок. 24 июля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Родной Борис. Птицелов жулик, знаю главного заправилу, а конвенции нет – итак <оборвано>. Огорчена, наверное, не меньше <вариант: больше> тебя, п.ч. за тебя. Картина знакомая: плод твоих рук (локтей) не пожинает, а пожирает другой – кому и руки только на то даны. Так было – так будет.

Статьи Мирского не читала; не только не прислал, но не упомянул, из чего ничего не вывожу, п.ч. о нем вот уже год как не думаю – никогда, все, что я тебе скажу о нем, неубедительно, п.ч. познается *общением*. Кроме того, ты не только добрей меня, ты – сама доброта и не можешь ненавидеть человека за врожденное уродство. Мирский со своими писаниями незнаком, а я весь последний год знакома только незнакомым. Есть здесь еще один – куда более странный – человеческий случай, его приятель, тоже дефективный и тоже *душевно* – дефективный, но [с уклоном в сторону сердца] душевно-*сердечно*, тогда как Мирский душевно-душевно, просто (о Мирском) ничего: ни дерева, ни лица, ни – непосредственно, не через литературу не чувствует и от этого страдает. А тот (третий редактор Верст) все чувствует, ничего не хочет чувствовать и от этого *не* страдает. Мирский – непосредственно – тупица, Сувчинский – гениальный интуит, иногда устрашающий. Зачем о них? П.ч. когда-нибудь свидишься, если бы не суждено было – не писала бы. «Не живу – я томлюсь на земле». Кто это написал? Блок или Ахматова, это обо мне написано <вариант: я написала>, но не *по* любви, любящей меня, и в любви, и без, всегда, как родилась. Я недавно говорила одной умирающей, перелюбливающей, т. е. любящей меня так же, как недолюбил – когда-то – брат <вариант: когда-то ее брата – я>, – я недавно говорила одной умирающей: «*Зачем* я родилась? Это бессмысленно. Лучше бы другой кто-нибудь», – и вовсе не от несчастности, именно от неразумности факта моего существования. Да в том-то и горе, Борис, что есть адрес и рука, иначе я бы давно была с тобою. Ты единственный человек, которого я хотела бы при себе в час смертного часа, только тебе бы повер<ила>.

Борис, ты не знаешь «С моря», Письма к Рильке, Поэмы Воздуха, – сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что нужно собраться с духом и переписать, но переписка – тебе – безвозвратнее подписания к печати, то же, что в детстве –

неожиданное выбрасыванье какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда / – пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда – что́? Ну, материнскую сумку, что-нибудь роковое.

Борис, я соскучилась [по русской природе], по лопухам, которых здесь нет, по не-плющо́вому лесу, по себе в той тоске. Если бы можно было родиться заново, я бы родилась 100 лет назад – в Воронежской глушайшей губернии – чтобы ты был мой сосед по имению. Чудачек было немало и тогда – как и чудаков. Сошла бы. Сошли бы.

Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне – на лестнице крутой.

У меня была бы собака (квартира, даже птиц, даже цветов на окнах нельзя!) <над строкой: пункт контракта>, своя лошадь, розовые платья, нянька, наперсницы… Помещичий дом 150 лет назад ведь точь-в-точь – дворец Царя Тезея. Только там и быть Кормилицам и Федрам. А Ипполит – стрелок! Борис, почему я не могу проснуться от зари сквозь малиновое или розовое пл<атье>, перек<инутое> через спинку кресла, с первым чувством: до твоего приезда еще 39 дней! – или столько же часов. А потом: се-но-кос, се-но-вал, ужи шуршат, сухо, теряю кольцо, лесенка, звезды. Понимаешь – и смейся, если хочешь – Тристан и Изольда, ничего другого, с *необходимыми* участниками трагедии, strict nécessaire[95], без перегрузки советских, эмигрантских новоизобрет<ений>, всех читанных и усвоенных тобою, читанных и не усвоенных мною книг, да, без Шмидта, Борис, и м.б. без всех моих стихов – только в альбом! – …во время оно, Борис…

С тобой, в первый раз в жизни, я хотела бы идиллии. Идиллия – предельная пустота сосуда. Наполненная до краев идиллия уже есть трагедия.

Письмо 102
<ок. 27 июля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Ответ на твое от 15-го /VII. – Не беспокойся за письма. Все доходят вовремя. Это только мне их привозят по вдохновенью. Прошлое твое, на кот<орое> я даже толком еще не ответил, пролежало больше 10-ти дней. В самый канун его прибытья я сам был в городе, и значит, когда грустил о твоем молчаньи, оно, бедное, отлеживалось там, бессильное помочь мне и за тебя вступиться. Но я не хочу поддаваться побочным ощущеньям, как бы они ни были естественны, т. е. не дам сегодня воли своей, часто праздной, сентиментальности перед сильными и прямыми чувствами, которые вызывает нынешнее твое, *замечательное*, письмо. Как оно написано, и как много ты сказала в нем! Мне много хочется сказать тебе в ответ. Разумеется, я не скажу и части должного. Ведь это из той области широчайшей и серьезнейшей зрелости, которою-то и дышет все твое письмо. А ведь ее не сведешь к перечню положений. Вся она – однажды выражена 1-й строфой Гётевской эпиталамы: Ich ging im Walde / so für mich hin / und nichts zu suchen / das war mein Sinn[96]. Т. е. это прогулка с непрерывно развертывающимися находками, шаг за шагом ложащимися тебе под ноги. Но ты не мирочерпалка, всего не возьмешь, природа заботливо одарила тебя рассеянностью и даром невниманья; ты родной брат случайности, ты видишь и светишься периодически, – одно подберешь, другое упустишь. Итак, я ничего не скажу тебе по порядку, а по прошествии времени, в итоге ближайшей предстоящей переписки, все сразу, по разным поводам, исходящим от тебя. Твое изумительное письмо просто радиоактивно. Я не знаю, что оно даст завтра. На сегодня оно меня излечивает от самой дурной моей болезни: от буднишной обстоятельности, столь страшно свойственной мне. Она в семье у нас трогательна и благородна. У меня же она, в обстановке соседствующих качеств, выродилась в наследственный порок. Она, как ты верно часто замечала по моим письмам и линии моего поведенья, переколдовывает меня во что-то другое и глубоко мне чуждое. Я в ней кончаюсь, как теленок в студне. Много этой обстоятельности затесалось в мой недавний «историзм». Именно эта обстоятельность писала письма Шмидта и, – надо быть строже, чем ты или даже Д<митрий> П<етрович>, – *не написала* их. Однако надо ей отдать справедливость: как раз эта-то обстоятельность помогла мне без

душевного вреда пережить это десятилетье. Сколько живых и удивительных когда-то людей перестали отличать проволочную проводку эпохи от собственных нервов и волокон, сколько их принимает первое за второе! Несчастная же моя обстоятельность распутала эти перевившиеся мотки, и – боюсь сказать, мне кажется, концы в руках у меня: разнять, оглянуться и – поминай как звали. Что-то кончилось, что-то начинается, так скажут другие. Нам радостно будет это услышать. В счастливейшие наши поры так именно говорили о нашем и дорогом нам: о беспрепятственно продолжающемся. Итак, что-то опять продолжается, по миновеньи препятствий. Но я начинаю чревовещать. Перебью и возвращусь потом. Перебью тем, с чего следовало бы начать. Где твоя Поэма Воздуха и Письмо к Р<ильке>?[97] Отчего ты не шлешь их? Я был уверен, что получу их в этом письме, и оттого о них не заикнулся в предшествующем. Это было грубо. Не следовало чувствовать себя в обладаньи их, не получив их в руки, и мне стыдно сознаваться в этом. Прости же и пришли. Но спокойная моя уверенность насчет всего, касающегося *тебя и меня*, ничего общего ни с какими частными чувствованьями не имеет. – Сам я ничего из того, чем, очевидно, на месте была охвачена ты, – не пережил. Но Линдберг становится для меня новым Ариэлем с одной-двух твоих недомолвок в том письме. Сюда могло дойти только через газеты. Но я их не читаю. Знаю, что надо бы, стараюсь – и не могу. Я говорю о наших, здешних. Их вот отчего нельзя читать. Действительность, которую они, точно *свою*, расхваливают в пух и прах, в тысячу раз лучше их похвал, хвалят же они так, точно это – дрянь, которой, без их рекламы, земля б не носила. Вообще, по-видимому, революционны те мненья, мысли и интонации, слушая которые, готов думать, что революция – ложь и выдумка, нуждающаяся в остервенелой охране от нечаянного разоблаченья. Но как-нибудь надо ведь назвать то, что со всеми нами случилось? Однако карманнический этот стиль так убедителен, что начинаешь сомневаться в собственных воспоминаньях. Но есть и более простые и сильнейшие причины, отчего их нельзя читать. Как ни сильна привычка, анахронистичность этого допетровского всеисповедывающего, никем не оспариваемого листка – сильнее ее. Кроме того, в деревне я еще и рад их не читать. – Ты несколько раз думала писать о Шмидте, а теперь – даже и статью. Прости, что не успел вовремя тебя остановить, хотя еще есть время. Ни мне, никак, Марина! Прошу тебя! Мало у тебя своего, неотложного. Не возражай, что, мол, и это «свое». Тогда ведь я еще скорее скажу тебе, что – твое, да не мое, против твоего такого, что и мое, – и мы заспоримся до бесконечности.

Статью, разбор! Да ведь это Сизифов труд и вдесятеро нарымистее исходного нарыма. И кому это надо? Тебе? Мне? – В скобках сообщу тебе, что подарил книжке на платье четыреста рублей с лишним. Да, вынул и выложил. Не знаю, много ли она приобретет от этого сокращенья (Шмидта) более чем на треть, но за корректурой показалось мне, что неплохо бы ей похудеть и чуть-чуть стянуться. Залежалось именно то твое письмо, которое меня от этих забот избавляло, – разрешительное. – —

27 шюля 1927 г.

Как убийственно! Ну что я тебе написал должного в ответ на твое открытое, громадное и *милое* – не доверием ко мне – но верностью непосредственной передачи нашей каторги (Днепр, напр<имер>). Дай хоть объясню, зачем я начал с этой ахинеи с эпиталамой. Когда я читал: про твое одиночество (чтенье и молчанье), отчаянье выстраиванья столбцов (Днепр, долженствующее значенье, десятисложно-односложное), поэтическое знанье всего без кокаинов, духовных и физических, пустоту и беспредметность полета и нечувствительность в жизни, – мой собственный опыт отвечал твоему всем своим существованьем. Он отвечал в том же одиноком своем пребыванъи, той же невознаградимой мучительностью. Он не отвечал ударами отдельных мыслей или признаний, а всем своим фактом, родным тебе. Это был разговор неподвижно родных областей, более потрясающий, чем их метафоризированное Бирнамское передвиженье. Ты только одного еще не знаешь или не сказала. Что ты сама пока еще моложе своей поэтической зрелости. Этот факт – единственная причина кажущейся тебе беспредметности полета. Марина, прости, что сегодня я оставляю тебя при почти пустом листе вместо ответа. Обо всем перечисленном мне надо сказать тебе то, что я по себе знаю. Об этом и буду писать в следующем письме, что бы ни заключало твое ближайшее, если будет. И прости, прости меня. И не отвечай, пока я не заслужу, т. е. пока не на что. Кончаю ночью в страшной усталости. Завтра в 6 ч<асов> утра в город.

Письмо 103
<нач. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, мы точно пишем друг другу из двух провинций, ты мне в столицу, а я тебе – в столицу, а в конце концов две Чухломы: Москва и Париж. Борис, не везде ли на свете провинция. Из больших столиц я все видала, п.ч. Нью-Йорк не столица, – раз не местопребывание! (местопрохождение). (Стольный град, град, где держут стол.) Еще скажу: все так называемые пятичувственные ужасы столичного разврата мне мнятся чудовищными по провинциализму забавами, а посему все-таки ребячеством: *глупостями* (в народном смысле). Еще одно: в этом мире я ничему не дивлюсь, заранее раз навсегда удивившись его факту существования, [ни завоеваниям техники, по-моему – естественным, раз весь данный мир, столько голов над ними работает. Чем автомобиль, идущий без лошади, удивительнее паровоза, делающего то же, *в котором я родилась* (паровоз как страна и эмоциональный строй, твой также)]. Нет, еще проще: чем автомобиль, идущий без лошади, удивительнее меня, тоже идущей без лошади, и самой лошади, тоже идущей *без*. Возьми Мура: машина и лошадка для него одно и то же, помимо роднящего *ш*. Будет старше, будет знать: лошадку создал Бог, а машину – Черт. По мне, в чистоте сердца, вся техника – превышение прав и нарушение <пропуск одного слова>.

«В 6 часов еду в город» – как (слухом!) знакомо. Я никогда не езжу в город в 6 утра, п.ч. мне там нечего делать, и очень жалею. Безумно люблю – между дуновен<ный>, – деревней и городом – шестой огородный молочный рыночный ранний час. Еще вчера говорила кому-то: Парижа я не люблю, п.ч. (я его не знаю) ни разу не была на Halles в 6 часов утра. – Вот. – Париж знал только один человек, Рильке, Париж может знать собственник особняка в Булонском лесу и подмостный рабочий, которым одинаково открыто всё, первому через зол<ото>, второму через взлом.

Хочется целовать. Воет завод. Бредет
Дряхлая знать в кровать, чахлая голь – к обедне.
рвань

Я – между, о, в этом великое горе моей жизни (м.б. прожила бы и с деньгами).

«Поэтическая зрелость, опережающая жизненную». Борис, но на чем мне, в жизни, учиться? На кастрюлях? Но – кастрюлям же. И выучилась. Как и шитью, и многому, всему, в чем проходит мой день. А *одиночество* уже стихи, дерево – уже стихи. Просто: я, для упрощения задачи, обречена на сплошной жизненный черновик, – чтобы и не заглядыв<алась>! Все, что не отвратительно, – *уже* стихи. В стихи не входит только то, что меня от них отрывает: весь мой день, вся моя жизнь. Но, чтобы ответить тебе в упор: мне просто нет времени свои стихи *осмысливать*, я ведь никогда не думаю, п.ч. все время думаю о другом. Стихи думают за меня и сразу. Беспредметность полета, – об этом ведь? Я из них узнаю, что́, о чем и как бы думала, если бы…

Прости, родной, за промедление с Письмом к Рильке и Поэмой Воздуха. Вечное либо – либо, с неисчисл<имостью> подразделений. (Либо: желанное *для себя*; письмо к тебе, переписка поэм, переписка очередной рукописи, письма другим, стихи, либо должное – перечислять не стоит, и каждое либо опять <вариант: в свою очередь> на несколько либо. Я бы не машинке (презираю), не стеногр<афии> – выучилась, а леворукописанию. (Письмо все еще топчется <оборвано>

Борис, можно про амазонку —

Тетиву – в куда упруже
Тетивы: грудь женоланью
Отведя – в <тоске?> слиянья

Письмо 104
<нач. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, я прошла к тебе в комнату, в попытку ее, села с тобой рядом и вот рассказываю.

17го были мои именины. Я получила: мундштук в футляре (Сувчинский), роговые очки, как у всех белокурых англичанок (его жена), розовое платье с цветами (приятель), розовую рубашку (приятельница), всё письменное (С.) и фартук (Аля). И еще розы. Борис, я в первый раз, взрослая, праздновала свои именины – и так эфф<ективно>. Теперь всегда буду. А нынче Мурино 2½ летие, и ты скоро получишь его фотографию, с лицом, затуманенным не только расст<оянием>, но его же слезами: 40 минут рыдал и ревел в неистовом ужасе надвигающегося аппарата. В крупных случаях жизни (рождение Мура) я вдруг узнаю, что меня любят. Очевидно, чтобы отважиться меня *любить* – нужно видеть меня физически лежачей, т. е. физически ниже себя глядящей, или же под покров<ительством> (как нынче, имен<ном>) святого, т. е. тоже физически стать ниже обыкновенного. А я бы всю жизнь лежала, чтобы меня любили, но так как до сих пор не нашлось такого умника, кто бы это прослышал, а я – не скажу… / который этого не знает, а я – не говорю…

Борис, Geschichten des lieben Gotts (Истории доброго Бога, – хороший перевод?).

Борис, я сегодня стояла в кухне, что-то варила и думала тебе в ответ, и вдруг – ты же должен это знать! – вполоборота – радостно – ну как от внезапности <вариант: от наконец – того слова!> [крутым оборотом] – руки на плечи – воздуху. Я так думала о тебе, что положила тебе руки на плечи, не я, думающая, я – недумающая, которую больше всех люблю и которой <вариант: факту существования которой> думающая обязана всем. Борис, чистый вздор – дружба (или любовь / и такой же чистый вздор – любовь) между такими, как мы. Что меня застав<ляет> не положить тебе рук на плечи? Не только положу, не сниму-у. Борис, я никогда, ни одной секунды жизни не чувствовала своей принадлежности *кому* бы то ни было – очевидно, из-за всех чему бы то и короче <вариант: и их суммы>: всему – поэтому в «изм<ене>» ни секунды угрызения совести, только твердое решение: [съесть с пеплом]. «Измена тебе – измена *мне*», этого я ведь ни разу в жизни, как и ты, не сказала,

не имела счастья – или низости – сказать. Жалость, щажение, бережение. И еще – по-удив<ительному> – страх безобразия, эпитета, штампа. Очень сильно – страх сглазу. Всего сильней: ревность к тайне.

Думаю о т<ебе>: т<о> сб<удется>, с *кем* буд<ешь>, была бы только с *тем*. Домой – в —. Только – на земле ли?..

Продолжение

Еще думала об одном: мы, и без того преображающие, мы, обвинение в гиперболичности несущие как хвалу (а есть хвала – вне гиперболы? А гипербола сама – не есть ли хвала Создателю, создавшему *такое*) – с тем воспит<анным> наклоном недоумения в ответ на вещь заведомую – во что́ бы мы, ты и я, превратили любовь, стихию гиперболы, родное лоно ее. Ах, Бальмонт с его «грудью» и Пушкин с его «ножками», ведь в том-то и дело, что в любви и вода – не вода и земля – не земля, неузнаваемо – знакомое, знакомо – неузнаваемое (проверь 10 раз, – все правильно!), уж куда ближе к д<елу> Соломон, несмотря на все свои груди, с его – неподобностью образов[98] (*NB!* Песнь Песней не люблю). Грудь – *как* – вздор. Отставить грудь, одно *как*, или упразднить его – просто. Сравнение без перевода, иероглифы для любящих, для как мы – любящих, для *однородцев*, остальные пусть ходят просто – по лесу, не знаю, по какому, с род-н<ым> неузн<аванием> вещи, п.ч. до нее, любви, этой вещи не было, не та вещь была, и с др<угим> неузнав<анием> потом, после любви, п.ч. вещь, виденная некогда, уклонилась, провалилась в любовь и вместе с любовью. («Не тот человек» – совершенно верно, не тот человек, п.ч. тот был, пока любила, но *был*.) Понимаешь, Борис, при нашем *знании* каждого изгиба, поворота и провала, неужели мы, ты и я, не сумели бы – силой – волей – жилой – поэтически направ<лять> любовь, противуборствуя и покор<ствуя> ей, как – ход поэмы, смыслу противуст<авляя> звук и звуку – смысл. Есть жестокие мелочи, мне стыдно о них говорить, стыдно слово брать под перо, самое простое: *нервы*. В любви – и нигде больше – я *нервна*: как лошадь. Вот эти вострые лошадиные уши, наставл<енные>, эта мания гончей, выставляющей нос, лису унюхавший, а м.б. *не* унюхавший – бредит лисом воображение! – но – *пошло*! И ка́к не–отвратимо. В этом ты должен быть старше меня, спокойнее, умным поводырем. Здесь – в лошадино-ушно-гончье-песье-лисьем – ты должен *вести*, выручать, спасать. П.ч. я в этом *брежу* и всегда в злостную для себя сторону. Болезнь гордости. Остерегаю (и сама смеюсь, – точно ты завтра должен приехать!)

* * *

Еще одно мерещится – прости наперед за скачки́. Любовь, в просторечии жизни, это бой, данный друг другу, т. е. полом – полу. Явно две стороны, наивно и очень коротко воображающие, что – одна, одни – против всех. Неизбежное фиаско вражеского «мы». Die feindlichen Brüder[99], Ахилл и Гектор, возомнившие себя Ахиллом и Патроклом. (Неслиянность от неверности упора, упор – друг в друге / Графически: упор – друг, в друге.) Раз упор друг в друге, то – уже друг *против* друга, т. е. бой. Ахилл и Патрокл – (дружба) одна сторона, упор / Ахилл и Патрокл, дружба / Ахилл же и Патрокл – дружба – совместный упор в третьем, отпор, т. е. общий бой. Грех любви, Борис, и ее конец в ее взаимо-, а не совместно-обожествлении – борении – горении. И вот, Борис, зная это, неужели мы, ты и я, *братья*, Борис, не сумели бы из этой жестокой частности взаимопожирания сделать – общее дело – cause commune, конец <вариант: острие> одной стрелы…

Довелось мне, на неведомо-каком повороте, встретить:

…забыв наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов…

Звездный счет, во время песен, петь и считать, вот твоя, моя, *наша* «обстановка», Борис, все наши черновики. Никогда я так ни одного человека не боялась, как тебя, всего твоего богатства, до которого у меня есть жезл. Sesam, thue Dich auf[100], – невозвр<атность> этого слова! А не было еще сказки о Сезаме – поглотившем, не выпустившем. А не было сказки о человеке, не захотевшем назад, с частичностью сокровищ в полах. Нет – была – немножко другая – Эвридика, не захотевшая (ибо оборот Орфея дело *ее* – глаз). Сезам, Аид – одно, из внутренности вещей возврата нет. [Спящий Сезам, п.ч. ты, конечно, спишь с твоими неловкими и торопливыми гостями <вариант: пришельцами>] от страха перед тобой. Спящий Сезам, ибо ты, конечно, спишь, ибо – что́ знает Сезам о своих сокровищах? Он: они – одно. Он сам – понятие сокровища. Для других «сокровище», для себя «я». Чтобы Сезам себя сокровищем, т. е. свою силу, осознал, нужна жадность, равная сокровищу, зоркость, равная сокровищу, вместимость, равная сокровищу. Сезам тогда проснется, когда придет гость, захотевший взять *всё* <подчеркнуто трижды>, т. е. – рукой не двинуть. Век, тобой воспеваемый, сумел взять у

тебя – тщедушного скелета Лейтенанта Шмидта, сведя тебя, *вечного*, «ich der in Jahrtaus<ende> lebe»[101] – к частности не поколения даже, а десятилетия его – на одном отрезке *земного* шара, когда – вселенная! Борис, Борис, не знаю твоей Елены – но – хорош<о> <*нрзбр.*>!

И хаос опять выползает на свет…

Тогда, в 17, у тебя был достойный тебя враг, не о ней говорю, о ней – любви – боли, всей женщине, *Елене*, Борис! – и ты писал: бог неприкаянный, сейчас, в 27 г., у тебя недостойные тебя друзья – и ты – ТЫ – пишешь Шмидта. Я хочу от тебя эпоса – я в нем не отч<аялась> – без единого человека – только с Dinge und Kräfte[102] – начала и конца – мірного. Один из твоей породы написал же Апокалипсис, Борис. Помнишь, что я когда-то – очень молодо, невнимательно, поверхностно, но *верно* причислила тебя к 3-му дню создания, а ты, родной, все бьешься о… восьмой, каино-авелев, в тот мир, в который тебе ходу нет. Ведь это, родной, и посторонние видят: чуть море, чуть дождь, чуть *НЕ* – людское (человеческое всё тот же дождь и свет и пр.), ты – ты, сила, веселье, твой род, твой дом. На этом схожусь и я и лондонский адвокат-буржуй, значит – правда. И как же этого не знать твоим подл<инным> друзьям.

О себе. II часть Тезея – Федра – III картина Федры. Заметила одно, от меня ничего не зависит. Всё – дело ритма, в который я попаду. Мои стихи несет ритм, как мои слова – голос – <*нрзбр.*>, в котор<ый> попадаю. Как только не в тот ритм (а какой *тот*? Не знаю, только знаю, *не этот!*) – кончено, ползу, 3 строки в день, не только бескрылость, безлапость. Словом, то – несет, то – ползу. Сейчас я, явно, не в течении и очень устала от постоянных чувств, которые не мои. Будешь читать – не заметишь, как и я, перечитывая, не замечаю, п.ч. все-таки *хорошо*. Кроме того, сейчас у меня явн<ое> подч<инение> смысловому, не только из-за сюжетного действия, просто – отсутствие непосредственного притока, отсутствие человека в моей жизни, явный перевес себя, головы. В Поэме Воздуха я, думается, на волоске <оборвано>

Письмо 105
7 августа 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Марина, я страшно стыжусь своего последнего письма: мне хотелось сделать тебе несколько дельных сообщений, несколько наблюдений над самим собой, в ответ на то твое письмо, которое до конца исчерпало твой блокнот с синей каемкой. Между тем, дальше вдохновенных приготовлений и вступлений к этой «сути» дело не пошло. В свое извиненье скажу, что писал его в конце кратковременной полосы, отданной работе, т. е., как это у меня всегда бывает с работой, в последний день недельного или десятидневного периода, уже с половины обыкновенно пугающего меня наступленьем бессонниц, пустой нервности и нестерпимой, по бессмысленной мучительности, подверженности настроеньям. Не поправить мне этого и сейчас, в исходе другого, тоже типического срока, – одного из тех, которыми я бессознательно уравновешиваю действие первых и отдаю чтенью, домашним заботам и прочим таким вещам, никогда, в своих прямых целях, не удающимся, потому что отдыхать не умею, т. е. для отдыха добровольно перерождаюсь в более или менее далекого мне истукана, от которого жду не дождусь избавиться, лишь установится сон и уходится учащенная маховая инерция рабочего возбужденья. Если бы я был моложе и здоровее, или если бы была сделана уже более заметная доля должного, я бы никогда не жертвовал этими запасами легкой и увеличивающейся стремительности. Я доверял бы им больше, чем переходам от нулевой точки до их вступных высот, за которыми начинается бесконечный и только выносливостью сердца ограниченный разбег. Именно этому уровню, а не предварительным подъемам обязан я всем, что делал когда-то, лет десять назад и раньше. Когда ты говоришь о беспредметности полета, то сверх всего прямого, что заключено в этих словах, я понимаю тебя и так, что ты щадишь себя меньше, что от основных навыков, прямо восходящих к прирожденностям, ты не отступаешь, что, словом, ты работаешь на несущихся возвышенностях полного душенного разгона, а не на переходах к ним, как я в последние годы. Отчего и зачем это у меня, – разговор очень долгий, главное же – излишний в обращении к тебе: потому что любая из догадок, какие явятся *тебе* <подчеркнуто дважды>, будут живо-правдоподобны, а значит, и истинны. Вот именно: корни этого душевного маневра целиком в современной действительности, в

непреодолимом ее реализме. Только большое воображенье, способное живо и разом обнять ее, может истолковать и это полусознательное перемещенье. Но сказав, что это разговор долгий, я как будто и начинаю вступать в него. Прервем эту тему.

Ты пишешь о своем недохождении при первой читке, о круговом молчаньи, воцаряющемся за ней. Мой опыт в этом отношении страдает если не той же, то очень близкой правильностью. Только самые ранние и сырые вещи, лет 15 назад (т. е. буквально первые и самые начальные) доходили (но и до 1½-ра только человек) немедленно. Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и ее дохожденьем за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше.

Разумеется, ты не только не в счет, но ты и *настолько* не в счет, что те два-три непостоянных исключенья (сегодня один человек, завтра другой), которые тоже отступают от этого закона, тоже подчинены тебе, т. е. они и переживаются мною, как частность нашей истории, как ее третьи лица, и сами, в действительности, тебе подчинены: переписчики твоих поэм, распрощики о тебе, твои верные.

У Б.П., пишешь ты в Чехию, «есть двое-трое друзей *поэтов* … и т. д.». Итак, значит о Б.П. Речь, если принимать в расчет эти две буквы, могла бы идти только об Асееве и Маяковском. Сельвинский и Тихонов не хуже и не враждебней. Но ты, ты, например, меня приковала. Ты – родной, главное же – громадный поэтический мир. Громадным он сказался раньше, чем оказался, мало-помалу, родным. Потом внутренние истории (мать, музыка, Rilke, Германия, – чтобы что-нибудь сказать) стали поражать сходствами. Раньше же всего были – размеры и крепость (чистота). Так вот. Требуется теперь нечто *такое*, чтобы оно вошло в мою жизнь, как бы о том ни приняли вакансии. Ни Сельвинский, ни Тихонов, *вероятно*, этого предъявить не могут. Вероятно. А то бы они места эти заняли, я и сам не заметил бы, как и когда. Я их не собираюсь порочить, как не опорочу и Маяковского с Асеевым дальнейшим о них разговором. М<аяковский> предъявлял нечто равнозначительное. Это я помню и не хочу забывать. Отошло же это в такое незапамятное прошлое, что моя потребность в их дружбе фамильярна с обоими одинаково. Но и эта фамильярность еще достаточно была бы горяча, и от этого чувства, оглядывающегося на давность связи, на *ту* Москву, *те* годы и тех нас (в особенности с А<сеевым>), от этого чувства было бы одно благо, все еще перевешивающее свежий интерес С<ельвинского>, Т<ихонова> и других молодых дарований. Но деятельность А. и М., теперь имеющая

значенье лишь *поведенья*, – так враждебна всему тому, что я люблю, так давно этому враждебна; допущенье же их, что их неумеренная преданность мне может примирить меня с *этим*, с *таким* расхожденьем, – так противно пониманью истинной жизни и живых перспектив; все это отдает такой жалкой удовлетворимостью, таким рыночным релятивизмом, так где-то не у меня в Москве, а где-то там, в отвлеченной провинции происходит, что наконец я (совсем недавно) с ними порвал документально. Я двадцать раз выходил из Лефа, и весною – категорически. Мне рассказали, что и в последнем номерке я значусь на обложке участником. И вот недавно я послал им заявленье в тоне, который им, в их ослепленьи, покажется пределом подлости, неблагодарности и прочих качеств. «Благоволите поместить… и т. д.» Ничего, кроме просьбы сотрудником не считать и эту просьбу о том напечатать.

Я жалею об этой утрате. Зима в Москве, еще и без них, – не знаю, что это будет! Но побочных смыслов (не для посторонних, а для самого чувства), выраставших из этого взаимокасательства, было чересчур много. Простой факт близости (а как бы мне ее хотелось сохранить; о, конечно, в тысячу раз больше, чем им) проходил, *активно прогонялся* ими через цыплячью призму «Лефа», этого неописуемого органа с комариными запросами.

8 августа 1927 г.

Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего. Ну что ты скажешь! Надо тебе еще знать, как она тут жила! И вдруг, в самое средоточье этой героической, без ропота отбивающейся от самой оскорбительной прозы борьбы за существование – такой сон, такая поездка! Это так исключительно, что от ее поездки я получил больше удовольствия, чем получил бы, отправься я сам. А ведь как я рвусь!.. И наверное, сама путешественница не испытала той радости, что я. – Как и с письмами, так и в остальном у меня с городом связь очень случайна. Известие это привез брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали. Она звонила, отправляясь на вокзал!! Ведь вы съедетесь, странно даже спрашивать? У меня столько, наверно, промахов по отношенью к ней, что тот факт, что она меня не известила о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминанья. Ну что б я еще сделал? Что-нибудь м.б. передал? Умею ли я вообще это делать? Все равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полнопробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхонках. Каких несколько у ней будет

дней: снова вполне сегодняшних, присущих всему сердцу, оглушительно настоящих! – Настолько не знаю ни адреса ее, ни обстоятельств поездки (кроме гаданий, которые тебе сообщал), что наконец и не уверен, не впустую ли радуюсь: м.б. не поняли и переврали. —

Вместе с этой новостью привезли из города и посылку из Мюнхена от сестры, Duineser Elegien, которых ведь я до нынешнего дня не знал.

Все и всякие «если бы», каковы бы они ни были, – отвратительны и заслуживают сложенной о них поговорки. Не лучше их и то, на которое я все же отважусь. Так вот, если бы эта книга или хоть слабое представленье о ней было у меня прошедшею весной, она, а не мои планы и полаганья руководили бы мною. После нее, вероятно, и Сонеты Орфею предстанут в другом виде. Без элегий же и до них сонеты (м.б. моя тупость тому виною) разделяли в моих глазах судьбу теперешнего человечества. История гнетом лежала на них, на их тоне, на их тематике. Трудно и долго это объяснять. Но не писал я ему оттого, что первою по порядку и обязательной была живая встреча с ним. Уверенья и доказательства на вещах, на случайностях, на погоде, в которых бы эта встреча разыгралась, что эти элегии написаны всеми остальными его книгами час назад, *в эти дни и для них*. Я не знал, что такие элегии *и действительно написаны*, и он *сам*, не нуждаясь в помощи чужих показательных потрясений, стал истории на плечи и так *сверхчеловечески свободен*. Я переживал его трагически, и эта трагедия требовала чрезвычайной осязательности сношенья. Мне следовало знать, что немыслима у *такого* человека трагедия, которой бы сам он, допустив, не разрешил, *не успел разрешить*. – Я бы писал ему, писал бы все лето, как более молодому счастливцу, обращенье к которому настраивало бы меня на беспечный лад, точно все кругом – как всегда и годы никому не прибавили возраста, и не расстреливали тысяч, и ничего страшного не произошло. Как ты терпела мое незнанье этой книги и что об этом думала?

<На полях:>

Вышли, как только сможешь, все три вещи. Я не знаю ни одной. Кончаю неожиданно: торопят, а до этого произошла неприятность.

Твой Б.

Письмо 106
<сер. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

У тебя, Борис, есть идеи и идеалы. В этом краю я не князь. / У меня есть мысли и уверенност<ь> <вариант: утверждения>. Короче говоря, у тебя – *миросозерцание*, у меня – мироощущение или – толкование, ряд молний, связанных только моей общей <ночью?>. Я беру слово *природа* и знаю что оно – правда. – «А червь?» – Меня ничего не стоит разбить: не в словах (отыграюсь), не в сути (сращусь!), в чем-то другом в чем любой сильней меня и в чем я не живу. Начав с утверждения люблю всё, прихожу к признанию, что не люблю (дела нет!) ничего, кроме природы: дерево со всеми последств<иями> и разветвл<ениями>. *Ни* истории, ни культуры, ни искусства, ничего не в голом виде, верней не могущего быть в голом виде. Во многом я тебе не собеседник, и тебе будет скучно и мне, ты найдешь <вариант: назовешь> меня глухой, а я тебя – ограниченным.

Продолжение

Там, где для тебя гор<ы> – история, для меня не существует и вопроса. Ряд вещей в моей жизни не значится. Например, история. Какая история Жанны д'Арк? Но ведь это же – эпос. А, кажется, *есть*! Для тебя – история, для меня – эпос. «Вскочить истории на плечи» (ты о Рильке), т. о. перебороть, превысить ее. Вскочить эпосу на плечи не скажешь: *ВОЙТИ* в эпос – как в поле ржи. Объясни же мне: когда есть эпос, – зачем и чем может быть в твоей жизни история. Почему такая забота о ней? Какое тебе, вечному, дело до века, в к<отором> ты рожден (соврем<енности>). «Историзм» – что́ это значит?

Письмо 107
<кон. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

<Борис>! Каждая кассирша, каждая телефон<истка> счастливее меня, п.ч. у нее есть *время* на работу, и это время – священно <вариант: неприкосновенно, под покровит<ельством> закона. А у меня нет, на всё есть, кроме…

Моя работа, т. е. мой *заработок* – последнее, с чем я и окружающие считаются, просто не в счет.

Борис, у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, *ничего*, только тетрадь. И ее у меня *нет*.

За что? —

Письмо 108
<кон. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Как это может быть, что после такого *чудного* чувства люди могут выносить друг друга не-чудных, вне этого чуда – без.

Как это может быть, чтобы такое чудное чувство не распр<остранялось> потом на всё, как оно может остав<аться> в пред<елах> <оборвано>

Нужно только осмысл<ить> его <оборвано>

Как такое чувство локализировать, не распростр<анить> его на всё.

[Как может человек, бывший богом, неминуемо становящийся богом]

Человек обрекается им на божественность.

Как после него не понимать стихов, смерт<и> всего, куда он девал это *знание* <оборвано>

Письмо 109
8 сентября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Не значит ли что-нибудь твое молчанье? Может быть ты почему-либо недовольна мной? Перебираю и не нахожу, что бы я мог сказать или сделать такого, что бы могло тебя огорчить. Когда же перехожу к фантастическим, с трудом мыслящимся немыслимостям, то, как ты сама знаешь, этой области нет границ. Вот, в качестве примеров. Я переборщил, послушавшись твоей просьбы не говорить с Асей о тебе (помнишь?); ты с ней виделась или списалась и удивлена, в какой малой доле составляешь мою жизнь и на нее ложишься. Или. Ты виделась или списалась с Асей, она рассказала тебе про *меня прошлою весной*, и, забыв, что все это происходило *до* твоей просьбы, ты возмущена тем, что я твоей просьбы не послушался и что Ася знает, что́ ты составляешь для меня и т. д. Чем бы ты ни была задета, бесконечно ли большой оплошностью или бесконечно малой, умоляю тебя, опомнись и прости меня. Иногда же приходит мне в голову, что, взявшись переписывать обещанные три вещи, ты два-три слова в списке изменила, и отсюда вдруг пошла и разрослась переделка, которая тебя ото всего оторвала. И еще, несравненно естественнее: хлопоты по осуществленью встречи с Асей, в которых, понятно, деятельной стороной приходится быть тебе. Такие предположенья успокаивают, и они вероятны. Но если ты даже сердишься на меня, то, уверен, сердясь, чудесно знаешь, что будь ты здесь, я был бы вполне счастлив родиной и либо совершенно не думал о «загранице», либо в той только части, которая приходится на родителей и сестер. Но тогда ведь и они были бы тут? И не потому, что я тут так очарован, а потому что мне должно быть особо по-русски темно и трудно, чтобы жить, подыматься и опускаться и за что-то перевешиваться, когда кажется, что тянет завтрашним днем или будущим годом. И так как вышеприведенное допущенье – пустая мечта, то зиму я потрачу на то, чтобы как-нибудь научиться забываться по-немецки или по-французски, с тем, чтобы вероятная будущим летом поездка была живым, а не только пространственным фактом. Я пишу тебе сегодня страшно бедно и несвободно. По правде говоря, печальная неизвестность гаданий о тебе, т. е. о твоем, вероятно, мнимом недовольстве – сейчас единственная моя тема, она глядит на меня изнутри и в окно, всей осенью, всем холодом и

облачным небом. И так как вырваться из ее широкого кольца у меня сейчас нет сил, то лучше я кончу.

Что сказать тебе нового, дельного, «фактического»? Я хочу все же написать статью о Р<ильке> – для здешнего критического журнала. Намеренье безнадежное, но попытаюсь. Говорил ли я тебе, что даже и расположенный ко мне редактор зимой сказал, что о нем (т. е. о Р.) *дадут* писать уж никак не мне, а облеченному доверьем знатоку из ГУС'а (госуд<арственного> ученого совета), п.ч. в эту и без того жгущуюся тему я только масла подолью. А нужно бы – воды, чтобы от нее кроме шипенья и грязи ничего не осталось. Странно, все свои разговоры я всегда свожу к таким сплетням. Это простительно прислуге, и то не нынешней. Может быть по переезде с дачи в Москву я на неделю съезжу в Петербург. Мне надо отдохнуть, хотя я за лето ничего ощутительного не сделал. Оттуда я м.б. напишу тебе о своих планах, но строжайше только тебе: если их узнают Аля или С.Я., то уже и тогда есть риск, что им не сбыться. Ты на себе, верно, замечала, что нет такой мелочи, которой бы не подхватил общий сквозняк. Тебе зевнется, и после ты об этом узнаешь из другого города или уж совсем с чертовых куличек.

Всей душой и всей осенней растерянностью крепко обнимаю тебя.

Твой Б.

Письмо 110
18 сентября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! С нетерпением жду Асю и рассказов о тебе. Мы друг у друга в долгу не остаемся. Последние наши письма как-то не наши. Я говорю о твоих. Вероятно, таковы же и мои. В предпоследнем меня огорчил играющий тон в отношении героя «П<оэмы> Конца». Давно как-то ты мне писала о своей «ненависти». Сейчас ты скажешь, что твоя манера думать о людях *такова* именно, и если это мне не понравилось, то это – мое дело. Да и что вообще ты такова, и т. д. Но т<ак> как кому и знать лучше твоего, к чему сводятся корни так называемого «характера», то долго тут говорить не придется. Вся суть конечно в волевых оттенках самопознанья, в их выборе. Может быть все это еще сложнее, чем я думаю, т. е. то, что мне кажется, природою в свою очередь еще сложено вдвое, но мне кажется, что ревновать тебя я могу только к тебе же, и мне было бы по-настоящему хорошо, если бы ты о нем не написала так бессердечно. Однажды это было и с какими-то твоими словами о Р<ильке>. Это трудно сказать в двух словах, но быть может ты все поймешь и с них. На меня веет от тебя холодом, и вызывает чувство, похожее на ревность, всякое проявленье *добровольно бесплодного самопознанья* с твоей стороны. Но теперь ты рассвирепеешь за стиль, т. е. за то, что от этой психологии пахнет ладаном. —

Вчера мы переехали в Москву. Писал ли я тебе в свое время о местности, в которой мы жили? Поначалу там было удивительно хорошо, и редкой сердечности люди в деревне. Всему этому есть объясненья в прошлом этого места, но это долго рассказывать. Я много гулял, почти совсем не работал и теперь не знаю, на что ухлопал больше трех месяцев. Приложенные пять стихотворений в редакциях принимают очень восторженно, но ты мне скажешь, как и о Шмидте, не есть ли это модифицированный Ходасевич, т. е. не пришел ли я, дав возобладать над собою Гётеански-Тютчевской стихии, исторически тяготевшей над самим местом (Абрамцево и Мураново!), к какому-то подобию Ходасевичева «классицизма». Добавлю еще, что это никак не «вехи», что ни к чему я не шел и целей себе никаких не ставил, т. е. что все это – между прочим, но восходит к очень сильным и настоящим впечатлениям. Жаль, если они выставлены в смешном виде. В ощущении история у меня вернулась в природу, где ей и подобает быть. – Маяковский и Асеев понемногу берутся за ум и написали

по хорошей поэме к десятилетью. Меня это радует. Их благоденствовавшее безделье рядом с моим долго выбивавшимся из нужды трудом стало меня просто задевать в последние годы. Теперь это уравновесится. Письма моего они не поместили, но имя с обложки сняли. Встретились с Асеевым по-дружески. В авторском чтении его поэма показалась мне местами прямо-таки замечательной. Как выйдет, пошлю тебе. С Маяк<овским> еще не встречался. Однако в глубине отношенья эти непоправимо двойственны. Хуже всего то, что Асеев, защищая сантиметровые масштабы своего «миросозерцанья», начинает швыряться и тобою, удивляясь, как, любя Крысолова, я не понимаю, за что его люблю. Ты, оказывается, тоже «формалистка», сознательная, как они, или бессознательная, как я, по их мненью. Все это совершенные пустяки, но бывают состоянья души, при которых даже положенья за столом или то, кто с кем идет на общей прогулке, переживаются с отчетливостью событья. Именно этой повышенной чувствительностью я и страдаю по отношенью к тебе. – Временности начинают редеть. Их будет все меньше и меньше. Эту зиму я еще посвящу заделыванью последних дыр: реализации Спекторского и прочего. О дальнейшем, т. е. о том, что тебе всего интереснее: о тебе – боюсь говорить. Пока все шло как надо. Спасибо тебе, что удержала меня год назад. Уже я знаю и вижу, зачем это было. Если и моя выдержка получит такое же оправданье, это будет просто удивительно. – Как здоровье Мура? С «пузом» – чудесно. То, что ты написала о нашей «дружбе», конечно, *неправда*. Ты все прекрасно знаешь и только дразнишь меня. Это опять одна из крайностей самосознанья. Но раз подпал ей и я. Это когда я поставил в пару (в одном письме к тебе) Ахматову с Волошиным. Ты сама знаешь, что по отношенью к ней это было низостью. Я не знаю зачем, т. е. как, это сделал. Ты не остановила меня потому, что поняла, что это такое, я же настолько неловок и глуп, что каждую твою холодность к другому слышу собственной кожей.

Приложение

Ландыши

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как на пол с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.
Накрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вон кто-то наблюдает снизу.
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

Пространство

К ногам прилипает наждак.
Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отливает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку

И месит шоссейный кисель,

Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, —
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колей непроезжих
Цветные, как лес, пятаки
Пропитанных мглой сыроежек!

И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб,
И знаться не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске по стекле и цементе.

Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, и где перечесть
Московского съезда соблазны,
Ненастий горящую шерсть,
Романтику мглы непролазной?

Раздавшись на обе зари,
Не ломом числа племенного, —
Он болью одной изнутри,
Как плошкою, иллюминован.

Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок,
В него, как в картонный кремлёк,
Случайности вставлен огарок.

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать и теплить и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

История

Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленою пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.

Веками спит плетенье мелких нервов,
Но раз в столетье или два и тут
Стреляют дичь и ловят браконьеров
И с топором порубщика ведут.

Тогда возней лозин глуша окрестность,
Над чащей начинает возникать
Служилая и страшная телесность:
Медаль и деревяшка лесника.

Трещат шаги комплекции солидной,
И озаренный лес встает от дрем:
Вверху плывет улыбка инвалида
Мясистых щек китайским фонарем.

Не радоваться нам, – кричать бы на́ крик!
Мы заревом любуемся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик,
И ярок тем, что мертв, как лампион.

Приближенье грозы

Ты близко. Ты пылишь пешком

Из города и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И расшвыряет груду дров
Слетевшей на́ сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оценит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточка, упав,
Вскричит. Всей купой дрогнет тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты – до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Но вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки касок и костюмов.

А утром я, нырнув в росу,
Наткнусь ногой на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

Сирень

Положим, – гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И – спинки соломенных стульев,
И – черные зерна слепней.
И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела.

И где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,

И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Грохочущим воздухом свод,
Лиловое зданье из воска,
На облако бросясь, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

Письмо 111
<между 29 сентября и 1 октября 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая моя! Как ужасно! Опять я не исполнил твоей просьбы. Ты просила о немедленном знаке, что письмо дошло. Оно написано 14-го, пришло 20-го, как и все предшествующие без исключенья. Все они, перечисленные тобой, шли по 5-ти дней, как им полагается, и в свое время доходили, почта исправна, неисправен я. Я ездил в П<етер>б<ур>г, я вез туда свою предвосхищенную поездку с предвосхищенным письмом к тебе из самой сердцевины предположенного гощенья где-то, скажем, у тетки и двоюродной сестры. Из предвкушенной тишины давнишних и проверенных и новых, заданных случайности впечатлений. В этом забеганьи вперед нет для тебя ничего чуждого. Так ты живешь и жила всегда, так же и я. И у меня не было там разочарований от того, что все сложилось иначе и меня встретили другие неожиданные мелочи, благоприятные, но незначительные, за вычетом одной-единственной, о которой два слова в конце. Вчера я вернулся оттуда. Я не написал тебе из П<етербурга> оттого, что остановился в проходной комнате и все время, что бывал там, был на виду, отвечал на беспорядочно порывистые расспросы тетки и сестры и участвовал в сумбурных философствованьях этих существенных и по-своему мне близких женщин. У всякого в родне бывают исключенье, иллюстрирующие его собственный род и лучшую его зарядку. Так обстоит дело и с этими.

Но то, что мне стало трудно писать тебе, в этом есть некоторая закономерность. Ты на время отняла у меня легкое счастье писать тебе десятые и двадцатые письма, поставив перед ложною надобностью первого, т. е. первого вновь, и в который раз, письма. Ты что-то сказала о превращеньях, зимами постигающих нашу дружбу. Ты сравнила эти дни, которым зимой пойдет третий год, с чешской неизвестностью. Ты была всегда, ты открылась мне в Верстах, но не надо смешивать, – полная и неприкосновенная истина нашей связи начинается там, где именно это слово «ты» к тебе в одном письме надломило и сорвало мне голос. И вот я говорю тебе его, и ничего с ним не делается зимами, и все было, не было *только* его в Чехии. Говорить же за птиц, а ими именно и будут те случайные вещи, и прохожие, и крыши над нами, и французский язык, которым еще осталось сказать вокруг нас о том, что нами уже сказано друг

другу – это выше моих сил. – Иногда же теперь, в самое последнее время, мне кажется, что это будет тут, что моя задача, в которой я еще не разобрался, чтобы место, где ты столько лет жила с такой силой в виде вздоха и сна и сердечного пробела, первым тебя увидело живою; не только чаянной, неповторимой. Слово же, которое тебе может быть весело услышать в двадцатый раз по тому труду, с каким оно произносится в разлуке, торчит из строк, и надо его хотеть не видеть и не слышать. – Где ты сейчас? Выздоровел ли Мур? С вами ли еще Ася? Перешли, пожалуйста, Св<ятополку>-Мирскому его экземпляр «1905-го». Его, наверное, уже нет во Франции, нового же его адреса я не знаю. Тебе хотел послать 2 экз<емпляра>: один свой, другой расхожий, с надписями разных температур. Стал надписывать, *как расхожий*, оставалось еще, в этом назначении, слово: современнице (в<еликой> и л<учшей> современнице); задержался на превосходных *качествах*, на живой тебе, и вот оба назначенья слились в одно. Можно таить и показывать. Обнимаю тебя.

Твой Б.

<На полях:>

Об одной петербургской подробности (очень важной) другой раз. Напомни. Сообщи мне имя и отчество (*и адрес*) Сувчинского. Удобно ли послать ему 1905, его не зная?

Письмо 112
<2 октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, совсем удивительный вопрос, а навели меня на него две недели лежания: пустоты: скуки. И навела меня на него *я в постели*. Для чего ты живешь, ты, п.ч. не вообще человек живет / не вообще для чего человек <вариант: неизвестная постоянная величина>, – боюсь, из этой общности исключены и ты и я, нет, именно *ты*, как самое родственное. Ася говорит: чтобы делаться лучше, и она права, п.ч. за эти годы *сделалась* лучше и всё будет улучшаться, т. е. права в своем определении своей жизни, убедительна. Но о себе я так сказать не могу, п.ч. не делаюсь лучше, делаюсь не лучше, а хуже: тупее, равнодушнее <варианты: малодушнее, злее>. За две недели лежания: опоминания ясно убедилась в том, что живу *не для чего*, т. е. от часа к часу, очередной мелкой радостью: очередным 4-стишием, погодой, мечтой о поездке, *ничем*. Встречей с Рильке? (Туманно). Да, если бы был жив, *от* встречи к встрече, но его ведь нет, не здесь, о нем я могу только думать, даже писать ему не могу. Рильке как цель уклонился. С тобой? Но встреча с тобой *так обречена*, что заранее воля руки опускает. Человеку в колодках на один миг в окно показал<и> море. / Из нее же ведь *ничего* не выйдет, разве ты не знаешь. Ростом Мура? Но Бог его знает, какой вырастет. И что я ему дам, при моей всяческой несостоятельности: [ни уверенности, ни денег, только безумный страх автомобилей и людей. Чему я могу научить? Любить людей? Ненавижу, не чувствую религиозной, моральной, умственной <оборвано>. О, я не прибедняюсь. То, что я говорю, знает о себе каждый поэт].

Письмо 113
2 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая! Вот несчастье! Новость эта страшно меня встревожила. Береги себя и будь осторожна. Ничего не читай и не пиши и остерегайся долгих разговоров с Асей и близкими. Это очень важно. Лучше скучай и тоскуй, но избегай хотя бы и мнимых и, – на самом ходу, незаметных напряжений. По выздоровлении, а ты должна выздороветь без малейших следов перенесенного, если только твое дьявольское своеволье не вмешается в дело природы, которая ведь больше, горячее и привязчивее меня, – по выздоровлении тебе покажется, что твоя память переродилась и притупились ее острия, в тех местах, где ты их привыкла всю жизнь находить. Не бойся этой перемены обстановки. Позднее ты найдешь другие воспоминанья, в новом расположеньи. Это не изменит ни тебя, ни мира. А может быть даже и этого не будет с тобой. Остального не помню, болел ею в 909-м году. Но ведь к тебе ходит врач и все скажет? Бедные дети, и особенно Мур! Ничего не пиши, старайся ни о чем не думать. Это последнее длинное мое письмо к тебе. Буду исподволь тебе писать легкие и короткие, для развлеченья. Страшно жалею, что успел послать тебе «1905», надеюсь, С.Я. или Ася догадались не давать его тебе. Ты же не пиши мне не только оттого, что ничего тебе писать не полагается, а и по другому: тут кругом дети (не один мой, но конечно и он в их числе), а скарлатина колдовски прилипчива. Она может предаться и через конверт с письмом. Однажды моя старшая сестра заразилась от младшей через прикосновенье к ее школьному учебнику спустя месяц после (несовершенной, вероятно) дезинфекции. Если можешь, наладь, пожалуйста, чтобы меня о твоем здоровьи извещал кто-нибудь другой, не из твоей квартиры, этот неизвестный навсегда меня этим обяжет. Может быть Св<ятополк>-М<ирский>? Или м.б. Надежда Александровна, которая через неделю собирается в Париж? Нет, она будет опасаться за сына, если только у них не было скарлатины. Уподобься растенью, прошу тебя. Вообрази, что ты – ползучее и всеми стеблями в цветах лежишь на гряде. Отдайся этому лежанью целиком, дай времени течь и свертываться над тобой, и близким – поливать тебя лаской, когда это надо. Над всеми своими демонами поставь духов лени, лежи и ленись изо всех сил. Это и ради детей. Возвысься до совершенной бездумности, от сна ко сну, от слова до другого, по

одному в сутки; это будет лучшей и труднейшей твоей заботой о них. Житейски очень хлопотливо и тяжко, что вы болеете все сразу втроем. *Глубже*, однако, и в стороне от этой трудности то, что Мур Алю и тебя возвращает детской, обращенной в больницу. Подчинись его внушенью и болей, как его ровесница. Кляну вчерашнее свое письмо. Оно могло возволновать тебя. Думаю и все время буду о тебе думать мыслями той же усыпительной и успокоительной силы, как эти сегодняшние колыбельные заклятья.

Целую тебя. Выздоравливай поскорее, лежи как можно глупей.

Письмо 114
3 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Ну, как ты спала? Против нас на сквере храма Спасителя цветут вторым цветом яблони. Посылаю тебе этот редкий обращик октябрьского цветенья на счастье. Когда я был в Питере, то мало где бывал и с кем видался. Ник. Тихонов затащил меня к себе. Он славный и настоящий и очень мне мил. У него хорошая жена, из той редкой женской породы, у которой от женскости и даже – ственности ничего не отымает и не отымет возраст. С вероятным наливом крупного ума и сердечности, который раньше, чем сказаться в словах и делах, сквозит через внешность. Но я хотел тебе писать легко и весело, пишу же сложно и скучно. Вне сравнений и сближений, и только если говорить о ремесле в истории и обществе, Тихонов – имя, которое могу назвать по полуторачасовой паузе после тебя, единственной, ну, как ты называла мне иногда кое-кого из Верстовцев. Пауза же после его имени, никем уже больше не прерывающаяся, целиком возвращается к тебе, в полуторачасовую. Т. е. если бы речь шла о журнале и ты бы меня спросила, с кого начать ряд. Его жена из образованной военной семьи, м.б. с примесью польской крови. 7 лет на фронте провел и он, кавалеристом. Умный, существенный человек, хороший друг, без наигранной романтики. Очень просто и хорошо, не по-плебейски (тут начинаются мании с эстрады) управляется с именем и успехом.

Но это не та мелочь, которая осталась за мной в последнем предскарлатинном письме. А вот она. Там читали, людей было очень немного. Собрались поздно, в одиннадцатом часу. Читал в теченье часа отрывки большой прозы поэт Конст. Вагинов, молодое дарованье, с которым там очень носятся. Среди его стихов, которые все – не от мира сего, попадаются такие, что нравятся и мне. Проза же не только не понравилась мне, но она нехороша и на деле. Я это сказал, чем очень огорчил автора, и гостей, и хозяев. Однако, с разрастаньем разговора вокруг этой вещи и моих слов, все к концу со мной согласились. Потом читали стихи и пристали ко мне, прочесть хотя бы известные им вещи, п.ч. «чтенье мое не записано в граммофон, его нельзя завести, и они меня никогда не слыхали». Я прочел III-ю часть Шмидта. Среди присутствовавших оказался тот самый мальчик, которому Есенин кровью написал свое известное «До свиданья,

друг мой, до свиданья». Действие, которое это чтенье на него произвело, ни он, ни я не могли, конечно, оценить иначе, чем в том духе, что глухая тяжба покойного со мной разрешилась наконец, в эти несколько ночных и напряженнейших минут. Бесследно растворено и становится преданьем то, что однажды довело меня до озверенья. Был шестой час утра, я возвращался с этим молодым полпредом того света на извощике с Петербургской стороны. Перед самым нашим носом развели мост, и пришлось стоять, пока проходили баржи, в широкой и неописуемой тишине забывшейся невской панорамы. В ее предрассветной сдержанности, в ее широковерстном отступленьи к самому крайнему берегу мыслимости и вообразимости было все, что когда-либо давали людям русская тонкость и загадочность. Я принадлежал ей вместе с тобой, с этим спящим берегом хотелось спать рядом, мне и сейчас не хочется и трудно говорить о нем, разбивать же эту далеко ушедшую, вытянувшуюся тень на отдельные дома и тени меня ничто не заставит. Но тут были и Пушкин и Блок и все, кого бы ты, родства ради, в этот час ни пожелала. Эту мелочь, случившуюся у Тихоновых, посылаю тебе вместе с цветком. Она в том же роде.

Ты болеешь и выздоравливаешь, я об этом догадываюсь. Но когда ты выздоровеешь совсем и об этом мне напишешь?

Твоя болезнь в одно время с детьми не может не быть связана и с такими трудностями, которые стыдом ложатся на твое время и на далеких твоих поклонников и поклонниц, ничего, впрочем, о том не ведающих и ни в чем не повинных. На днях ты получишь немножко денег по почте. Если ты хоть словом о них заикнешься, Марина, это будет безмолвным знаком того, что ты со мной рвешь и меня *намеренно* за что-то оскорбляешь.

В заключенье, прости за письмо. Так больным не пишут. Еще просьба. Если прямое обращенье (и почерк и стиль) тебя утомляют, попроси Асю сообщить мне, и я буду писать тебе через нее. Кланяюсь сердечно ей и С.Я. и целую Мура и Алю.

Твой Б.

Письмо 115
<5 октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Это письмо отойдет – когда! Мне еще 3 недели карантину. Но всё равно. Для нас сроки не в счет. Вчера получила Пятый год и первое письмо, нынче второе, колыбельное. Пятый год прочла вчера же вечером и дважды – читала по экземпляру Мирского, чтобы не – нарушать (?) своего, не предвосхищать радости его целостности. – Понял? – И вот под первым ударом: чудесная, сильная и цельная книга. Шмидт преобразился – когда я прочла строки о ревнивом пространстве, у меня захолонуло сердце: в упор обо мне. И не ко мне оно ластится, это *я́* – оно, льнущее в окна, выслеживающее одиночества, селящееся, сначала как нищенка, с лохмотьями и благодарностью, а через день уже со всеми звездами и безднами и, через день еще – вытесняющее жильца – в меня. О Борис, от меня всегда уходили – в меня, в посмертную, дорожде́нную, не рожденную меня, в *ОНО*, в то. Человеку со мной меня становилось мало, уходил искать меня за окном – где я. Это ведь <как> человек пост<авит> в нишу куклу (предв<арительно> убив ее), назв<ав> ее Мадонной, и раз в 10 лет, проходя, молится на нее. Но – о Шмидте. Совсем замечательно, стройно, строго, много природы, мало людей, – ни курсисток с фуриями (как я тебе благодарна!), ни двусмысленных потерь казенных денег, Шмидт почти бессловесный, – то, что я хотела. *Теперь я* посвящение принимаю, дура, сбил на черновике. Совсем прекрасно 1) Отцы, совершенно – как оно и быть должно – заслон<енные> матерями и… приятельницами матерей (NB! Мать С. – Лиза Дурново, подруга Перовской, Желябова, *любовь* Валериана Осинского, дочь николаевского любимца, с которым снят на [лошади] Сенатской площади, – есть гравюра. Умерла в Париже, в эмиграции – грозила смертная казнь. В обществе с 16 по 56 лет – красавица.) – Конечно: Гапон. Об одной замене жалею, и многие со мной, во 2 издании исправь: На мичмана в рабочей блузе. Куда лучше и как смысл и как звук. Братья *всегда* в выпачканных блузах, ничего не дает. И раз брат – то блуза домашняя: бумазей*новая*. Но – частность. Твой 5 год – оправдание 5-го, ведь я его ненавижу. Внезапное озарение: откры<ла> сабашниковское издание Марка Аврелия: Отцу я обязан – учителю я обязан – такому-то и т. д. Ведь это ты. Ты, упавший с неба, в благодарность, очевидно, что не расшибся, обязан собой – всем.

5 году, даже 5 году. А что это за год, сказать? Год *иллюзий*, т. е. <оборвано>. Ты, достовернейшее, что есть, обязан собой – иллюзиям. 5 год – ни одной верной мысли, сплошь неверные жесты, глубочайший самообман, безъязычн<ость>. Что в нем было хорош<его>? *Дети*. Ты в 5<-ом> дал детей, ибо и твой Шмидт – большой ребенок, вспом<ни> его гимназ<ическую> речь!

Мое малодушие доходит до того, что я подчас мечтаю, чтобы наша встреча была уже позади, чтобы уже *шло, длилось*, чтобы хреб<ет> уже зарос. Твое письмо из Петербурга? Мало тебе, что мы вместо того чтобы друг с другом дружить – пишем, мы – вместо того, чтобы писать друг другу – о письмах – мечтаем <вариант: мы и письма заменили мечтой о них>. Ка́к ты – *я*!

Письмо 116
7 октября 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

(Письмо в тетрадь)

Борюшка, благословляю болезнь, три дня подряд письма. Так, м. б., когда-нибудь благословлю смерть. Можешь ли ты мне обещать, что моя смерть – это ты, жизнь с тобой. Нельзя жить на свете без большего себя, таким был Рильке, таким хочу, чтобы был ты. Не женская жажда самоуничижения (artiste, et par cela traître a son sexe[103]) – и осекаюсь: м.б. индусская жажда самоуничтожения (индусские вдовы). Борис, сегодня держала корректуру своей книги, уже сверстана, со страницами (153, стихи в ряд), вся книга о тебе и к тебе, даже в самый разгар Горы – обороты на тебя.

Из наших обычных чудес. Вчера показыв<аю> Герою Горы Пятый Год. – «Кроме него сейчас ведь никого нет в России?» – (Ты тогда был его жесточайшей ревностью, что-то осталось.) Я, из скромности: – «Есть. Тихонов… <вариант: «Никого» и, устыдившись: Впрочем есть> который, кстати, всё лучшее взял у Пастернака. ¾ Пастернака, а четвертая его, Тихоновым, Пастернака трактовка». – «Но он очень однообразен». – «Очень, только о крупн<ых> вещах <вариант: предметах>». Разговор происходил во время бритья, бреюсь третий раз и каждый раз у другого. Первый раз – С., второй – один недавно вернувшийся с Н.З. (есть два «Н.З.», две, так не с той, которой думаешь, с неправдоподобной), третий – Герой Горы. Клянусь, не кокетство – случайность. С. сейчас играет в «Жанне д'Арк», и его никогда нет дома. 15-го октября отпускаю. Обрилась в жажде новизны, отчасти из любопытства и в сильной надежде на завив. (После кори (17 лет) вилась 10 лет – да как! Развилась в Берлине, только что переех<ав>.) Все говорят – череп хороший. Женщины в огорчении, мужчины в восторге, из чего можешь заключ<ить> о [роде моего отношения с теми и другими, об отреш<енности> моих отношений, всей моей жизни с людьми] о лояльности моей текущей жизни. Со мной случилось странное чудо, Борис, мне все перестали нравиться, начисто. Рада бы – да / Час жизни, когда ищешь равного, т. е. неустанно сбывающегося. Таков, в моей жизни, сейчас только Мур. Ася привезет карточку – увидишь. Не совсем он, он добрее и не так мелко вьется, – сдуру накануне выкупала, вот и забаранился.

Борис, выпила всю твою петербургскую ночь, вобрала и не

захлебнулась. Всю Неву, всё небо над ней, все баржи с грузом, всего тебя – с грузом не меньшим – хотя бы одной моей любви к тебе. – «Где вода? Быки выпили». А знаешь, как быки пьют? С деревьями <вариант: дубами, мостами>, с берегами. Твой цветочек растравителен, п.ч. с сквера Христа Спасителя, где я постоянно, все весны, лета и осени Революции гуляла с Алей. Пойди, во имя мое, к плотине. Там всё одиночество тех моих годов. Але было 5 лет, она читала андерсеновскую Русалочку, плотина шумела, я спала. И еще на берегу спала, на узкой полоске, у самой воды, под какой-то большой стеной. От голода и от солнца. Где ты был те годá? —

Рада за тебя и Есенина. Помирились. Ты, конечно, знаешь о страшном конце Дункан. Моя первая мысль была: «Почувствовал ли что-нибудь Есенин?» Оборот на Москву <вариант: Пр<осто> – оглянулась на Москву, когда уже было поздно>, – в которой его уже нет. Конец, страш<ный> вдвойне: Автомобиль (дети) и шарф (Есенин). 2) Шарф, второе я ее танца, – танец семи покрывал. Веющее – удавило. Вздымавш<ееся> утянуло под колесо. Ее смерть доказ<ала>, что она в жизни ничего не *выбирала*, ее совсем не *делала*. О ней знаю только ее одно слово, из уст ее камеристки, с которой мы вместе уезжали из Москвы. «O les enfants ne devoient pas s'amuser du tout. C'est après 18 ans qu'on s'amuse»[104]. Мы тогда везли ее багаж: сорок сундуков, которые раскрывались и из-за которых мы стояли на всех границах. И знаешь, что в них было? Советские печи: кирпичи, трубы. Камеристка везла ее граммофон, и наш вагон всю ночь не спал – от музыки и от радости. Есенин и Дункан улетели накануне, в Берлине он бывал у нас с Эренбургами. Ein verschmitztes Gesicht[105]: – Домой пора. – Как? – Да нужно, а уж как не хочется! То же самое, что в 15–16 году с Клюевым.

* * *

Борис, был спор о церкви, и я была беззащитна, п.ч. за мной никого не было, даже моей собственной тоски по ней. Была моя пустота, беспредм<етность>: постыдная и явная. Вместо Бога – боги, да еще полубоги, и что ни день – разные, вместо явн<ого> святого С<ебастьяна> – какие-то Ипполиты и Тезеи, вместо одного – множество, какой-то рой грустных бесов. О, я давно у себя на подозрении, и если меня что-нибудь утеш<ает>, то это – *сила* всего этого во мне. Точно меня заселили. Борис, я ведь знаю, что совесть больше, чем честь, и я от совести отворачиваюсь. Я ведь знаю, что Евангелие – больше всего, а на сон грядущий

читаю про золотой дождь Зевеса и пр. Я читала Евангелие и могу писать Федру, где всё дело в любви женщины к юноше. Если бы я *то* оспаривала, нет, я знаю, что больше и выше нет, а всё-таки не живу им. Если бы я [соблазнялась чем-либо. И если бы я еще *соблазнялась* не-евангельским]. И если бы я еще *была* Федрой – нет, <пропуск одного слова>. Видимо, не люб<я> ни зем<ли>, ни неба, я наст<олько> здесь, к<ак> наст<олько> та<м>, люблю средн<ее> т<о> трекл<ятое> тр<етье> царство, за которое даже не сто*ю́*.

Письмо 117
<ок. 13 октября 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Мой родной друг! Вчера приехала Ася. Она прямо от тебя. Лишний, и судьбой воплощенный, каламбур: она даже может *заразить* тобою. Мой друг, знаешь, отчего я почти никогда не пишу тебе о чувстве? Потому что оно настолько неизмеримо больше *существует*, чем… называется, что все ушло в эту потрясающую разницу между фактом и словом и в ней живет. О, как оно существует! О, если бы мне или тебе существовать хоть в его половину! Но ближе, ближе. Оказывается, я без головокруженья не могу слышать о твоих трудностях и слезах. Родная моя, любимая Марина, слушай меня со всей усталостью, со всей обидой, со всей простотой! Я все это сделаю, все это сделается постепенно. Все, задолженное тебе временем, будет заплачено тебе. Ты все это увидишь. Скоро весь этот выверт, в который попала твоя судьба, как и многих из нас, выправится и станет воспоминаньем. Все, что в моих силах, я сделаю, чтобы приблизить это время. Сейчас я больше ничего не скажу тебе. Умоляю, верь мне, что тебе заживется легче! Я отвечаю перед тобой за эти слова: в них – клятва. Не относись к ним свысока, как к низменным представленьям, не наполненным духом, достойным тебя! О, никогда так естественно и разом я не отдавал всей своей души даже и музыке, как отдаю и отдам ее мечте о том, чтоб тебе жилось легче, лучше и вольней. И я этого добьюсь. О, ты увидишь, как все сойдется. Ради этого уже написан 1905-й год. Мы потом поймем, что́ это было за звено, и зачем, и в какой цепи. Сейчас выздоравливай и не думай о мире и о своей жизни в целом. Я прошу тебя! Прости и отпусти себя, но ради Бога не так, как ты это толкуешь. Стань девочкой, этого хотела скарлатина. Сколько сделанного уже, сколько силовых швырков, приросших к нашей родовой истории, – и ты не заслужила отдыха? Но я знаю, как вы живете. Этого позора на нас больше не будет. Облегченья пойдут с *разных* сторон, вот увидишь. Так было и со мной, как я любил эти проявленья поддержки, как их принимал. Прости, что пишу о пустяках, это оттого, что я боюсь тебя. А потом кому-то и чему-то надо тебя рассудить и примирить с Россией. Как это будет, в подробностях не вижу. Будет сплошь в случайностях и неожиданностях. И скоро. Опять (я и другие люди) в этом году попробуем двинуть это колесо. А дальше оно само пойдет. Я не знаю, как это будет. Может быть разлетятся другие жизни и я

увезу тебя сюда. Но нет, *этого* не будет, это *они* так думают, никому нет надобности разлетаться: у тебя и у меня в доме светятся лампы, играют дети, движутся близкие люди. Они облиты светом. Но насколько они облиты моим и твоим созерцаньем, этого они не знают. Никого и ничего не покинем и не подкинем. Хватит сил и дыханья и за этими пристрастными кавычками и вне их. Я увижусь с тобой совсем не так, как ты иногда представляла. Свободно, широко, *бессчетное число раз*! А сейчас обнимаю, люблю, люблю и целую.

Твой Боря.

<На полях:>

Две цели умеряют и теснят это письмо: нежеланье волновать тебя и нежеланье описывать перечувствованное. За подарки и стихи благодарю в следующем.

Но мундштук, какая мысль, Марина! Совершилось, и этот миллионно первый, где-то на полпути между настоящим полным и всеми прежними, пережитыми и писанными. Но если б ты знала, как я люблю тебя!

Письмо 118
<ок. 13 октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Конспект письма

1) 1905 г. дошел, много раз перечитан, превзошел все ожидания. Если бы на него было убито 5 лет – и то бы стоило.

2) другая посылка тоже дошла. Благодарность. Речь впереди.

3) пишется длинное письмо в тетрадку, после дезинфекции перепишется и пришлется.

4) из Сорренто получит книгу «После России», которая выходит на днях.

5) обрилась[106], здоровье детей и мое – хорошо. Карантину конец 20го–25го.

6) все письма дошли.

U.R.S.S. Moscou
Москва
Волхонка, 14, кв. 9
Борису Леонидовичу Пастернаку

Приложение

C.Rodzevitch
14, rue Monge
Meudon-Val-Fleuri
13 октября 1927 г.

Родзевич – Пастернаку

Глубокоуважаемый Борис Леонидович!

Пишу Вам по поручению Марины Ивановны. Собственным письмом она не хочет нарушать запретную черту карантина, который продлится у нее, вероятно, числа до 20–25 октября.

Вот что М.И. просила Вам передать:

1. «1905 г.» дошел, много раз перечитан, превзошел все ожидания. Если бы на него было убито 5 лет – и то бы стоило.

2. Другая посылка тоже дошла. За нее – благодарность. Об этом речь впереди.

3. Вам пишется длинное письмо – пока в тетрадку, после дезинфекции перепишется и пошлется.

4. Из Сорренто получите книгу «После России», к<отор>ая выходит на днях.

5. Все письма получены.

6. Здоровье детей и М.И. – хорошо.

М.И. – обрилась (подтверждаю это свидетельским показанием – вместо «русых кудрей» – голый череп с обострившимися очертаниями ушей. Что-то напоминающее одновременно и сатира и древнего египтянина).

Простите, что мое письмо похоже на протокол: это от желания по возможности точно передать слова М.И.

Наш короткий разговор мы вели на расстоянии, с соблюдением карантинных предосторожностей. Моя бумага – медицински чиста!

Пользуюсь случаем, чтобы со своей стороны (как один из Ваших читателей) выразить Вам признательность за Ваши последние стихи. Я из тех, кто видел и помнит 1905 г. – Вы воссоздали его живым и правдивым. И люди, и речи, и чувства, и даже погода тех дней – настоящие!

К сожалению, Ваш «1905 г.» (таким он будет жить!) знаком мне только по отрывкам, печатавшимся в журналах. Жду возможности перечесть все – полностью.

Искренне Ваш

Константин Родзевич

Письмо 119
14 октября 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

Думаю о тебе и гляжу на карту метро (подземки), единственное украшение моей комнаты, – наследство бывшего русского шофера (*NB!* зачем ему метро?!).

Голубой крюк Сэны, и под низом слева: Limites d'arrondissements[107]. (Я: «Раз arrondissements, конечно limites!»)

Дальше: Stations de correspondance[108]. (Я, радостно: А вот это мы с Б.) И – третье: Nord – Sud[109], т. е. «С Северо-Южным, Знаю – неможным…».

Когда тебя сошлют в Сибирь, а меня – лечиться в Египет, мы окончательно сойдемся.

* * *

Милый Борис, я не хочу с тобой ни обедать, ни ужинать, ни гостей, ни дел, ничего, что есть день. А ты не дума<л>, кстати, что жизнь и дни вовсе не сумма и сослагат<ельность>, что *жизнь* совсем не состоит из дней, что Х-вое количество дней вовсе не дает жизн<и>?

Я хочу с тобой вечного часа / одного часа, который бы длился вечно. Место действия: сон, время действия – те самые его три минуты, герои – моя любовь и твоя любовь.

* * *

Письмо к твоему отцу! Ты не знаешь меня по-французски. Первое: безукоризненность. Почему по-французски? П.ч. он по-французски, он Chère Madame, я Cher Monsieur[110]. Учтивое <пропуск одного слова>. Чуя, что ты в каком-то смысле его больное место (*большое* больное место), я конечно не преминула порадов<аться> его honneur и bonheur[111] иметь такого сына. – Цитата из твоей автобиографии (указание на отца). Параллель с Марком Аврелием. Такая фраза: «Père Céleste ou père terrestre, c'est toujours une quest<ion> de filialité»[112]. И под конец, прося разрешения прислать ему книгу, одновр<еменная> просьба de n'en point appréhender la «nouveauté». Je tiens au passé par tout mes racines. Et c'est le passé qui fait l'avenir![113]

Послала заказным, привозят домой.

Письмо 120
15 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо, верно, сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидать, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна. В Шмидте инстинктивно и случайно поиски матерьялов о смерти ведутся именно в таком мокром снеге. Зима открылась с Аси. Первою крупой из первой обреченной тучи я был осыпан под Триумфальными, по дороге на вокзал. Теперь опять стали прибывать на Брестский, а не на Виндавский, как недавно. Я отвез ее домой. Против ее окон за лето вырос кирпичный остов нового дома, в голых мокрых лесах, с каменщиками и черными тучами, разглядывающими ее комнату из тоскливых сквозных пролетов. В комнате же сухой и пыльный хаос тряпья и книг, постепенно сползших на диван и на пол с размягчившихся полок и этажерок. И вот она стала переодеваться, начала раскладывать вещи, рассказывать. Волевой, практический вывод из той тоски, которая все сильней стала меня при этом душить, я изложил тебе вчера. Прежде и больше всего я, конечно, люблю тебя, это может быть ясно ребенку. Но я не был бы собой, теперешним, если бы оставался у этого сумасводящего родника, а не шел вниз вдоль его теченья, по всем последовательностям, которые лепит время. Время, твоя величина и моя тяга. И вот – планы, планы. Тебе кажется естественным положенье, в котором ты находишься, мне – нет. Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, пока еще Геркулесово дело. Но оно и единственное, других я не знаю. И, клянусь тебе, оно будет совершено. В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность выразил так: «…Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь *писать*, я ответил бы: *все что угодно*, что может вырвать это огромное дарованье (т. е. тебя) из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России». Не могу от тебя скрыть. Чем дальше, тем больше ты обезразличивала для меня прямую мою работу. Теперь она обезразличена для меня до предела. По счастью, все сплелось с такою логикой и смыслом, что при этом я не кривлю ни душой, ни собственною судьбой, ни – возможным и мыслимым назначеньем. Я должен добиться авторитета и прав, которые были бы способны переплавить твои соотношенья с этой современностью, в некотором отношении и субъективно, то есть в

тебе самой. Прости за цинизм, но вот главные нервные пути моего влеченья к тебе, способные затмить более непосредственные: мне надо соблазнить тебя в пользу более светлой и менее отреченной судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечи. Теперь все это тебе может быть чуждо, но мы ведь встретимся и, как этого ни понимай, будем жить друг возле друга. Тут это и сделается. Если моему плану суждено осуществиться, то за границей я разделю с тобой работу, которая тебя обеспечит на год, на два. Она будет тебе близка, я не хочу ее покамест называть из суеверья. Я достиг некоторой независимости тут, мне верят и имеют основанье верить. Но ради тебя я был бы даже готов лакействовать, как Лефы. К счастью, не придется. Вечная моя просьба остается в силе. Когда у тебя продезинфицируют и ты мне напишешь, не апеллируй к моему чувству. Такое мгновенье, загоревшись от одного слова, обезоруживает меня против долгого, долгого года, и у меня опускаются руки. Менее чем когда-либо им теперь позволительно опускаться.

По словам Аси, она старалась рассказывать обо мне в наивозможно худшем духе (чтоб уберечь тебя от неизбежного разочарованья?). Она либо клеплет на себя, либо поступала, как надо, либо же мне все равно: ее заявленье меня не огорчило и не обеспокоило. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слез. Очевидно, на мой счет у ней нет опасений.

Она дала мне свои экземпляры «С моря» и «Новогоднего», – Е<катерина> П<авловна> скоро должна привезти мои. Что сказать, Марина! Непередаваемо хорошо. Изложенное легче оказывается таким с разу, изложенное трудней – со второго или третьего. Так, как это, я читал когда-то Блока; так, как читаю это, писал когда-то лучшее свое. Страшно сердечно, и грустно, и прозрачно. Выраженье, растущее и развивающееся, как всегда у тебя, живет, как в лучших твоих вещах, совпаденьем значительности и страсти, познанья и волненья. Особо горячо благодарю за «Море»; особо – за «Новогоднее». В обоих, сама знаешь, все до боли близко и лично. Благодарю за обращенье в «Море», за ссылку на мое сновиденье весны 1926-го; прости, если прочел, вкладывая не то что вложено, так понял. За игру, за подарки, за бездну вниманья к сигналам земного инвентаря, утопленную в этой игре, за философию этих сигналов, живую, наслаивающуюся, непоспешную, – за море, и мели, и материки, и толкованье рожденья и жизни: обмелевающее бессмертье. (!) За ту же дикую в своей неподвижной, немстительной, плещущей тоске

географию «Новогоднего». За идеальную естественность требованья: «Не один ведь рай, над ним другой ведь – Рай; не один ведь Бог, над ним другой ведь – Бог». За изумительную изложенность этой последней страницы, дающейся, вместе с некоторыми другими местами, сразу, и оттого кажущейся лучшей на первый раз. Очень хорошо, Марина. Хочется читать и перечитывать, не хочется разбирать, т. е. писать об этом. Спасибо, спасибо.

Поправляешься ли ты? Жду косвенных о тебе сведений.

Твой Боря

Письмо 121
16 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Ты, наверное, как все мы, не любишь технических новшеств и ждешь, чтобы за их действием сменили друг друга три поколенья, пока их признаешь. Летала ли ты когда-нибудь? Представь, это знакомее и прирожденнее поезда и больше похоже на музыку и влеченье, чем верховая езда. Сегодня я впервые подымался с Женей, одним знакомым и простой солдаткой – женой коменданта аэродрома. На караулке надпись, неизвестно кем, когда и для чего составленная: привесвую дорох товарищиф 1905. Такова и вся Ходынка. Уже сейчас, по прошествии 6-ти часов, мне эти сорок минут представляются сном. Восстановляю, во всей *реалистической* точности. Восстановляю не в чаяньи *передать* ощущенье, п.ч. знаю, что это еще не перетасовано, не испытано всеми и значит, пока, невыразимо. Восстанавливаю скорее с целью *рекомендации* тебе, на случай, что ты еще не летала, чтобы ты верила им снизу, когда они пролетают над тобой, и знала, что «механизма» в них, в пропорции с целым, меньше, чем в рояли, и согласилась бы когда-нибудь повторить это со мной: грохот и гуденье нас заглушат, я не смогу помешать тебе, это будет одиночество вдвоем, вмененное высотой. Так как ощущенье это совсем особенное, совершенно не испытанное, то и в *сыром переживаньи* оно вкатывается волной навязывающейся аналогии. И до чего же неожиданно-родной! Ну вот. Разбегаешься по земле и не замечаешь, как от нее отделяешься. Через мгновенье (два-три раза чуть-чуть успело упасть и подняться сердце) вся метаморфоза уже позади, ты не заметила, как совершилось преображенье. На свете существует лишь: 1) твое безмолвно-оглушительное одиночество, громогласно-бессловесно любящее, поклоняющееся расстояниям и высоте, да 2) огромное, покрывшее полгорода, серое с черными исполинскими R.R.O.B. крыло справа, под тобой, под твоим окошком. И никого кругом. Небо, гром и грохот паренья, клочки несущихся туч, *единство воздуха, обнятого этим «случаем с тобою»,* стоверстного и замкнутого, как сон о чем-то одном, Москва (тысячу лет назад существовавший с людьми и движеньем город) на дне этого сна *и крыло* о твою правую, огромное, неописуемое, в этой серой бездне крыло, с которым ты только и говоришь и которое обожествляешь. О эта твоя *опущенность* в мир в этот день, в этот час! Всего поразительнее, и я когда-нибудь научусь говорить об этом, как о

дождях, всего поразительнее (в цвете, в страсти черноты и очертанья, в трагике затерянности и размеров и пр. и пр.) именно соотношенье этого крыла, страшного небесного туземца, Робинзона облаков, со всем миром, с землей, которая *была до него*, теперь – под ним, и вновь будет после него. Какова же она теперь, когда она не просто в себе, а в *сколь угодно* глубокой его памяти, на том или ином дне и отвесе его 1000-метровой или 1500-метровой тоски? И тут вторая по важности замечательность, и вновь неожиданно родная, гигантски несоизмеримая с родственностью лошади или паровоза. И опять я буду точен. Марина, найдись среди хаоса этих сближений, я их не успел еще отобрать, тут дать характеристику, приближенное представленье – предел мечтаний. «Смыслы», которые подвернутся тебе, *посвящены ей* (характеристике), а не обратно. *Вещь* тут на первом месте, нажимы философских регистров, ее составляющих, – на втором. Что делается с землей, куда, во что она погружается? Какой отраженный образ несется снизу в ответ на это ее окунанье? Как это отражается на тебе и на крыле? Эта, сеткою человечества исчерченная равнина, эта нежно-серая и волнующе одноцветная ширь, царапнутая там и сям коготками железных дорог, эта Москва в рыжем бисере кирпичных кружев, чайной дорожкою положенная на призрачную скатерть зимы (вот кончается кружево и рядом, – какая сервировка! – отступя лежат мшистой подушкой Воробьевы горы, вот, совсем тут же – другой конец, и мхи Сокольников). И все это взято опрятною октавой (палец тут, палец там) на снегу и происходит в смертельной тишине. Так вот, эта Москва теперь такова, как Петербург у Достоевского и у Диккенса – Лондон. Если судить это волненье и запросить обо всем один глаз, то и тогда: эта Москва провалилась вся в таинственное виденье *старинных мастеров*: ее коричневость не нарушает призрачной одноцветности творящегося: начни с нее, – это – коричневое преданье, начни с застав, – она серебристо-сера. И вот, снова, подняв голову, переводишь глаза на крыло, жаркое, понятное, воплотившее для тебя все, что есть жизнь, и им вновь охватываешь все целое. И итоги, как в музыке волны исходной и окончательной тональности, теснятся опять в самом переживаньи, а не в размышленьи о нем. Это – тысячеметровая высота неразделенного одиночества. Ее история и ее источник ясны: они уже оглушили тебя, и глухота долго не пройдет: эта высота достигнута гудящим и непрекращающимся *напором*; это высота предельного напряженья, подымающего на воздух в тот миг, как ты в нем разбегаешься по земле. Этот неописуемый образ, разостлавшийся внизу, есть сумрак неизбежного, при таком одиночестве, *единства* и нежность

неизбежного, при такой высоте, *обобщенья*. Красота этих сумерек в любой час дня если на какую красоту походит, то *только на* красоту земли в истинной поэзии, на красоту связного, рассыпного, мельчащего в своих вероятьях, невероятного в своей огромной печали пространства, встающего за мелодическими отчетами музыки или сопровождающего воображенье истинного романиста. Все это тысячу раз видено и предчувствовано в жизни, все это до удивительности пережито и прирождено. Мы спустились. Пустой автобус стоял у остановки в Петровском парке, продолжавшем с неслыханной тишиной купаться во всем том, что открылось сверху. Нельзя было поверить, что дома, люди и улицы высохли и затвердели, и, поддержанные перекрестной порукой, – заняты собой. Было чувство, что улица останется на рукаве и ее придется счищать бензином. Слова не слышались. Они плыли и падали кругом не внятнее, чем листья ясеня, клена и осины. Только спустя два часа я постепенно вошел и вчленился в *действительность*, наплетенную людьми за мою 37-летнюю жизнь. Эти же два часа (на земле скоро зажгли огни) я провел, все слабее и слабее это чувствуя, между двумя сырыми страницами той книги, которая меня манила снизу и оказалась точь-в-точь отвечающей заглавию и обещанью переплета.

Этот сбивчивый лепет тебе посылаю. Для себя не оставил никакой записи. М.б. когда-нибудь, если это *можно забыть*, попрошу у тебя. Вероятно, это сырье ничего не передает, но мне оно многое сможет напомнить.

Обнимаю тебя. За первыми 1300 фр<анками>, которые действительно от меня, есть надежда, последуют еще деньги. Эти уже не от меня, а от неизвестного, пожелавшего остаться в неизвестности, и для этого пользующегося моим именем. Но потом и я опять смогу кое-что сделать. Не лишай меня этой радости.

Письмо 122
20 (?) <октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, твое письмо после приезда Аси. Мне стыдно, Бог весть чего насказала, мне совсем не плохо живется, моя беда в том, что я не могу растроиться – десятериться – и т. д., древняя беда. Моя беда, в ложном или нет, но чувстве *незаменимости*, незаместимости. Не могу не сама, отсюда всё. Помнишь тысячерукую индусскую богиню и русскую (без <*нрзбр.*>) Троеручицу. Двух – *мало*. И 24-х мало. Боюсь, моя беда во мне, в [злобном] германском, Бог весть отколе, не понятии, а *чувстве* долга, съевшем всё.

От тебя идет такая огромная волна добра, доброты, что… руки опускаются. *NB!* Сувчинский о 05 годе. Это огромно. А первое! Задыхаешься, нельзя сразу б<ольше> 10-ти строк.

Лампы – дети – осиянность голов, б<ольших> и маленьк<их>. *Неповинность* голов.

* * *

5 минут одиночества. В голове точно зажигается лампочка – 150 свеч!

Не сон, не покой, – досуг (тот свет).

Хороший конь не будет отдыхать больше, чем ему надо, а надо ему мало, п.ч. он сильный <вариант: хорош>. Дайте отдохнуть коню. Только кляча не требует отдыха – всё равно умирать.

* * *

О мундштуке. Без подлежащего, без сказуемого, какими путями сказанное тобой – дошло. Вот минута, когда [слово перерастает слово, оконч<ание> слиянья с вещью, *ОНА*. Чудесам – прости меня, Господи! – поэты учатся не у священников] *слову* грозит опасность (еще секунда – его не будет), отказавшись от всех своих охранных грамот и прав на жительство, оно становится чистым духом, самой вещью, тем, о чем, в данном случае – ртом, твоем на моем.

…Не так, как мне видится? Мне никак не видится, да и тебе

никак, видятся лампы и головы. *Наши* с тобой – dans un temps inexistant[114]. Думаю, впереди большая уступка: чтобы сохранить *всё*, отдать *всё*. Ты же им продашь меня за —. Есть выход, Борис, невозможный, изумительный, о нем в одной из своих Geschichten vom lieben Gott[115] знал уже (!) и Рильке, выход всего будущего (всего настоящего в будущее), ибо при моей страсти к бывшему, я в вопросе семьи и любви конечно человек будущего – идущего на нас с островов сестер. Знаешь, как в карт<ах>. Для себя – для дома – для сердца – как сбудется – чем кончится – *на чем успокоится*. Меньше с Бога, судьбы, тебя не возьму.

То, чего никак не мог понять герой горы: (кстати, получил письмо?), то, за что я его так любила: невозможность, незаконность, кощунственность, богопротивность совместной жизни, этого чудовищного размель<чения>. Я за наезды, Борис, за женскую пещеру и мужскую охоту. За логово и лес. За́ очаг (о, не иносказательный, красный, с дымом и треск<ом>!) и колчан. Волчье начало, Борис. И еще одно: я бы не вынесла – ты бы не вынес – ни одного отхода, ни одного вполоборота, для этого нужно два берега и посреди река, очень большая, чтобы ни дома, ни дыма, только общий ландшафт, который и есть *душа другого*, взгляд с того света.

Возвращ<ение> к другому *вопреки*, обречен<ность> друг на друга. Расскажи К<оллон>тай, ей, наверное, понравится.

Книга (последняя корректура) сдана.

Всё ты один – во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах
Моими клятвами – мостят!
Моими вздохами – снастят!

20 октября

Борис, ты опередил мой ответ, который читаешь впервые, т. е. ты услышал и опроверг мое «в порядке вещей». – «Ты такую жизнь считаешь естественной, я – нет». Не <оборвано>

Борис, я вообще жизнь *всю* считаю неестественной, т. е. мне в ней – всей – не живется, не только в моей. Моя – частность всей, ярая частность, т. е. ее, моей, тесность – есть именно, точь-в-точь тесность всей. *Вся* именно такова, как моя. Если моя несколько черней соседской – Царя Соломона, скажем – то говорим-то мы, он сверху, я изнизу – одно, и с совершенно одинаковым правом, – опыта, он: избытка, я – недостатка. А – впрочем, и он недостатка: времени: Nur Zeit![116] (Гениальный стих, кажется, Dehmel'a, рассказанный мне кем-то своими словами. У нас есть всё: дом, хлеб, дети, пр. – Nur Zeit.)

Странная вещь, Борис, из Советской России у меня один опыт и один вывод: стыд имущества, стыд счастья. Мне несвойственно в довольстве, мне неловко <пропуск одного слова>, мне лучше так. Это я о своей бессмертной душе.

О себе в днях же: да, тяжело, да, хочется писать, да, хочется, чтобы Аля училась, а Мур летом уезжал, а С. не играл в кинематографе с 6 часов до 8 часов вечера за 40 франков, да, много чего. Ннно (кажется, опять бессм<ысленно> ввязалась!) зато на Страшном суде мне будут отвечать, а я буду спрашивать, зато, что бы ни делала – невинна, в тебе (заскок в будущее) невинна! Счастливая жизнь и Б.П. – жирно. Ты каждым моим днем, чем черней – тем чище! – заслуживаешься. – Кстати, нынче полдня разыскивала и приводила в порядок твои письма. Письма того лета – сэнжильские, в одном пакете с письмами Рильке, так и оставила. Последнее его слово ко мне: «Erkennst Du mich so, auch so?»[117] Не горюй, Борис, что не успел ему ответить: нет ответов, есть оклики – отклики. Он заранее прочел твое последнее, раньше, чем получил твое первое. Кстати, уверенность, на которой строю: буду умирать – придет за мной. Он ведь, конечно, ангел. Сразу ангел. Когда приедешь, прочтешь его письма. Раз Рильке есть, не нужно ни газет, ни событий.

О 1905 г. и мне тебе нынче написал Сувчинский. Кстати, вчера С., доказ<ывая> кому-то что-то: «Крупнейшая вещь Б.П., т. е. 1905 г.» и т. д. (говорил о социальной базе писателя). Ты в нашей семье живешь как свой.

Письмо 123
21 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Сейчас получил милое письмо от К.Родзевича. Не могу ему ответить, т<ак> к<ак> не знаю его отчества. Передай, пожалуйста, ему сердечную благодарность за сообщенье и личную приписку, тебе же большое спасибо за переданные известия. Одно меня огорчило. По его словам, ты пишешь мне длинное письмо, пока в тетрадку, с тем чтобы его потом переписать: это именно то, чего тебе не надо делать. С каким бы малым напряженьем это ни было связано, тебе надо остерегаться и такого. О том, чтобы ты провела это время в совершенной глупости, наверно, немало говорили тебе врач и близкие люди. Страшно рад, что тебе и детям лучше. Судя по письму К.Р<одзевича> и по сведеньям, еще раньше сообщенным Эренбургом, у вас (потому что их мненье не самостоятельно, а – отраженье вашего) господствует взгляд, что твое и их здоровье хорошо и абсолютно и что все прекрасно. Верю, что так и будет, и не хочу внушать тебе страхов, однако именно теперь нужна наивысшая осторожность. Может быть, Марина, тебе придется когда-нибудь еще писать о неодушевленной человечине, как в Крысолове. Постарайся же играть ее, как роль, еще неделю, другую. За этим перевоплощеньем ты сможешь обогатить свой сатирический опыт. Не сердись на меня, но как мне тебя уговорить? Ей-богу, мне хотелось бы, чтобы ты побольше говорила с маслом и вовсе не разговаривала со мной. Горячо тебя благодарю за тепло твоих приветов и твоего одобренья. Все это полностью дошло в передаче К.Р. Когда начнешь писать, не хвали мне «Девятьсот пятого». Истина твоего отношенья лежит где-то посредине между словами Аси, вскользь, без упора, сказавшей, что он не нравится тебе, и той похвалой, на которую ты сейчас напустишься, чтобы доставить мне радость. Улови также тон, которым полны эти последние слова. Естественность этого положенья ни для кого из нас не обидна. Я ее знаю, жил в ней всю жизнь, люблю ее законы и люблю тебя в ней. Не обманывайся также насчет той середины, в которой я ищу настоящего значенья вещи и нашего к ней отношенья. Этим сказано не то, что вещь – посредственна, а то, что область, в которой можно и надо ее судить, – где-то в стороне, может быть – впереди, и уже по тому одному – гадательна. Во всяком случае с нею мне легче быть в

каком-то отношении полезным обществу (и опять не морщься), чем без нее. Ее судьба живейшим образом касается меня и тебя. Может быть это – иллюзия, но чем меньше ты мне скажешь своего, горячего, поэтического о вещи (а это почти невозможно в отношении ее), тем легче мне эту иллюзию питать. Завуалированные же осужденья Савича, например, или, еще больше, – Эренбурга меня именно оттого и не трогают, что в их существованьи нет узла, как в твоем и моем, который эта вещь пытается помочь распутать. Один человек тут очень хорошо и неожиданно выразил то, что составляло основную корысть этой книжки. Провести в *официальный адрес* нечто человечное, правдивое и пр. было задачей еле мыслимой. Если бы это сделали еще два-три человека, лающий стиль официальщины был бы давно сорван. Но представь, этот мой опыт уже благотворно отразился на некоторой части последних работ Маяковского и Асеева. Они уже *не так* бездушны. Авторы со мною в пассивной ссоре. Они не знают меня и все, что со мною делается без моих для этого усилий, воспринимают как мою личную интригу против них как желанье обскакать их и сесть им на голову. Положенье получилось глупое и печальное. Обнимаю тебя.

Твой Боря

Не забудь, пожалуйста, поблагодарить Родзевича. Не сообщит ли он мне свое отчество?

Письмо 124
22 октября <1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

[Борис, вчера твое письмо о полете. Что ж, Борис, – эврика!]

Борис, понимаешь ли ты сам значение для тебя этого дня. Тобою открыт новый мир, твой второй дождь, уже ставший – в определении тебя – общим местом и посему – ощущала это с тоской – нуждавшийся в заместителе. Борис! Ведь еще ничего о полете, а о воздухе – только моя поэма, еще не вышедшая.

Борис, слов нет, чтобы высказать тебе всю радость, всю веру. Новая эра, вторая песнь твоего эпоса, Борис. Это Бог тебя, Борис, вознаградил за Шмидта. (Женя твой, конечно, будет летчиком?) Помнишь, в одном письме я говорила тебе: пожалуйста, без людей, эпос вселенной. И Асе говорила: Библию по возможности без народов. *Тот* вздох у тебя есть. Помнишь – 3 день творения, Борис, в неумелой статье о тебе. И вот – сбылось.

Давай по чести: что́ могло заткнуть в тебе зияющую вопиющую дыру, оставленную Годом. Соприкоснувшись с *Годом* – народом – эпосом – не мог же ты вернуться к – давай по чести – меньшему: – доказательство сирень и ландыши, *мастерские* и этим обреченные. Ты не мастер, Борис, упаси Бог, ты вечный ученик *сил*. И вот – на выручку – воздух: ПРО-СТРА-А-АНСТВО.

Один страх, Борис, – твоей доверчивости и щедрости в радости. Пойдешь по разным Маяковским и Асеевым разносить заразу бездны, учуют, полетят, *напишут*, и хорошо, конечно, и ты не будешь фактически – первым, что́ в данную минуту – и через 100 лет – мне – истории – важно. Ах, если бы я могла отсюда заткнуть тебе глотку! Будь я с тобой, знаешь, что бы я сделала: защелкнула бы тебя на ключ: пиши, потом – толчок в спину – неси. – Точное мое хотение: брось всё остальное и приним<айся> тотчас же. Отстояться – отслоиться – вздор. Отстояться – часто <подчеркнуто дважды> – рассосаться! Ведь это же болезнь, Борис, если моя – fiévre pourpre[118] (Св. Августин), то твоя – fièvre-azur?[119] нет – éther[120], м.б., не важно, сам найдешь.

А теперь о маленькой частности. «Я взял с собой Женю» – первая мысль: счастливец! с таким отцом – такое! И – укол. И весь сеанс кинематографа – душевная щемь – тоска, нежелание вернуться к письму. Только много потом озарило: да вовсе не с мальчиком! И – странно – полный покой, точно ты один летал <над строкой: и летчик>. Тут я ревновала, конечно, к

предвосхищенным воспоминаниям его, отстоящим в будущем, в котором – если вспомнит 70 лет – меня конечно не будет. В этом полете его с тобой была моя смерть: моя нечислимость в твоей жизни – в его воспоминаниях. Мое двойное отсутствие. А та́к —

[А Женя – что ж, современница]

А вот моя встреча с авиацией. В Трианоне. Месяца три назад. Разгар лета и леса, деревья, внуки тех деревьев, под которыми бегал дофин с сестрою. Ни души! Спиленный дуб. – Считание кругов. – Считают из серед<ины> к окружн<ости> – С. и обратно – жена Сувчинского. Так как направлений только два, [а я третья] уступаю, ничего не считаю, гляжу в небо и, кстати, на очередной авион, который вдруг начинает трещать (С: «Глядите! Глядите!») и падать с чем-то черным рядом. – Разбился. – Летим. Бог весть откуда – только что парк был пуст – со всех сторон люди. Сторож, потерявший ключ от ближайшей калитки. Упал рядом, но за оградой парка, т. е. за рвом, пробуем прыгнуть – глубина и вода, бежим рвом, ров не кончается, словом, когда подходим к фруктовому садику[121], в который суждено было упасть летчику – от авиона ни следа: в щепы! Карета скорой помощи – на́ смерть. Протискиваемся: вроде Муркиных игрушек к вечеру водворения: жесть, фанера, куски шелка – легчайшее, ненадежнейшее, что́ есть. И эти лоскутья, клочья, осколки жадно разбирает толпа, особенно женщины, особенно мальчики. Porte-bonheur[122] вроде дерева висельника? Киплю и – через минуту – в руке зазубренная щепа: на память – для Али. Домой – т. е. к верс<альскому> вокзалу – бесконечн<ым> шоссэ, мимо лавчонок и трактиров, *серебром застав*. – Так они вправду серебряные?

Разбившийся на самых днях должен был лететь в <*нрзбр.*>.

* * *

NB! Если бы ты видел морду (широкую, умную, бритую, барскую, – лицо Воскресения из Человека, который был Четвергом), с которой П.П.Сувчинский просил у меня твой адрес: – «А можно адрес Пастернака?» Как-то и опасливо, и умоляюще, и развязно. Он верно думал, что я и с ним начну, как с Мирским: Через год-де, да еще <оборвано>

Письмо 125
<ок. 24 октября 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Любимый мой друг, у тебя нет страху, что отныне я буду только писать тебе письма и ни на какую деятельность уже больше не способен? О, если бы ты была здесь! Как трудно из передач, сообщений и упоминаний собирать холодное подобье присутствия, и потом приходить в ужас от нагороженного, и разрушать его, чтобы дать дорогу простому потоку тепла, лучом упирающемуся в милое имя! Сегодня меня растрогали Святополк и Горький, растроганность же эта, мало потраченная в ответах, знает один лишь медонский адрес.

Знаешь ли ты, что сейчас такое Россия? О, конечно, больше прежнего это постоянная возможность оказаться за одним столом с осведомителем, с тенью вечной бессовестности, подпущенной под тебя для того, чтобы твою горячую, выдающуюся верность подделать под предательство. Так Россия когда-то заботилась об ограниченном круге. Теперь, с *действительной* ее заботой о миллионах, этот ужас удесятерился.

Но и вот еще что она, и об этом расскажи Сереже. Она еще – и гость, нынешним вечером являющийся к твоей прислуге, восемнадцатилетней рязанской крестьянке. Он на этом месте у ней впервые. Он земляк ее предшественницы и подруги, от нас пошедшей замуж этим летом. Он с нашей теперешней одного уезда, разных деревень. Нюра входит ко мне пунцовая, пылающая, в это время меня зовут к телефону; когда я возвращаюсь, на столе беспорядок. Снова меня куда-то зовут, проходя коридором, где ее угол, вижу на коленях у ее гостя развернутую «Сестру мою жизнь». Он вполголоса ей эту чепуху читает. Мы с тобой близкие люди, ты легко вообразишь, что́ я им говорю, с непринужденнейшей душой и с радостью за поколенье. Но на предложенье бросить эту ерунду и взять у меня Толстого он отвечает светлой, осмысленной улыбкой и просьбой дать им, *в таком случае*, «Девятьсот пятый»! Оказывается, посидев у ней минуту-другую, он в числе первых задал ей вопрос о том, у кого она служит. Речь шла о фамилии. И вот, едва Нюра меня назвала, как он сказал ей, кто я, и послал ее за книгами. Он рабфаковец, т. е. студент рабочего факультета. И – не исключенье. К ней больше ходят, чем к нам, и все рязанские, и каждый раз либо билет в Художественный, либо еще что-нибудь, свежее, проще и счастливее, чем мы в те же годы. Романы же ровные, щадящие,

без ложного рыцарства, но с прелестью братства, т. е. подавленного и упрятанного в бережность мужского превосходства.

Понимаешь ли ты это и радует ли это тебя?

Твой Б.

Письмо 126
24 октября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Сейчас узнал о происшедшей путанице и ко всем, через одно твое посредство, спешу на помощь. Спасибо за отклик, которым ты всех их подарила, все перепутав. Книгу свою, если можно, подари старшей сестре Жозефине, она ее полнее и лучше оценит, чем папа. Пассивно она – почти что я. Из нашей семьи она мне ближе всех и человек замечательной доброты и тонкости. На этой неделе, или около того, она ждет ребенка. Она замужем за моим (и своим, значит) троюродным братом. Французская записка была от него. Он родился в немецком подданстве и хотя долго жил и потом был интернирован, как военнопленный, в России, но, очевидно убоявшись твоего литературного имени, предпочел тебе написать по-французски. Зачем вообще было ему писать тебе, одному Богу известно. Не сделай он этого, не было бы и путаницы. Теперь, слышу, собирается тебе писать папа, и я серьезнейшим образом боюсь, как бы он не написал каких-нибудь глупостей, которые тебе покажутся странными, особенно в этом случае. Всего хуже, что твое письмо, по словам сестры, *замечательно*, т. е. тот факт, что оно их взволновало или привело в восторг, удесятеряет мою тревогу. Тут папа что-нибудь и выкинет. Однажды ты меня просила не судить о тебе по Асе и не делать заключений из семейных посылок. Обращаясь сейчас к тебе с такою же просьбой, я рассчитываю на полную твою проницательность в отношеньи этой тревоги. Тогда я понял, что за притворной обеспокоенностью насчет себя самой ты прячешь горячую и ревнивую заботу об Асе, т. е. то ответвленье личной гордости, которое боковым побегом тянется за семьей и без ее ведома ее покрывает. Я узнал тогда твое движенье не только по его горячности, но и по его неосновательности и беспричинности. Объективно Ася его не вызывала, но именно эта беспричинная мнительность мне была близка. И вот для полного подобья я тебя и отвожу к старшей сестре; только в ней аналогия и осуществилась. Я всегда знал, что знакомства с тобой она когда-нибудь заслужит. Люблю же я, конечно, их всех, оттого и взволновался. Сейчас у ней тревожное время, которое, наверное, еще продолжится с месяц. Вот отчего не могу посоветовать ей написать тебе теперь же. Потому же ни слова не обращаю ни к кому из них по поводу путаницы и как ее распутать. К кому бы из них я с этим ни обратился, все равно это

отдастся по ней, т<ак> к<ак> она – сердце семьи, или просто взяла на себя труд его во плоти представлять. Она любит тебя, и, кажется, Поэму конца ей возили. Не знаю, дошел ли до нее «Крысолов». Восторженность, с какой они встретили твое письмо, имеет давние корни. Она не выносит своего имени за его «красивость» и тяготится множеством таких же пустяков, которым придает преувеличенное значенье. В ответ на книжку она зальет тебя потоком пессимистической метафизики, наивной, сырой и детской, несмотря на ее 27 лет. За всем тем это человек прекрасной души, склонный к экзальтации, по-своему умный и много страдающий от своей мягкости и вовремя не преодоленного самомучительства.

Вновь из ее письма о письме узнал о твоем, готовящемся, с тем же чувством, какое вызвало и сообщенье К<онстантина> Б<олеславовича>. Ася находит, что нам лучше не переписываться непосредственно. Заражаюсь ее осмотрительностью. Пишу статью «о поэте»; подвигается медленно: звонки, посещенья, просьбы, бесчисленные «начинающие», никогда не кончающие.

Это не письмо. Запрети мне писать их, ради статьи. Обнимаю тебя.

Твой *Боря*

Письмо 127
Пастернак – Цветаевой

<В левом верхнем углу первой страницы:>
Вовремя не поставил даты. Это 20-ые чис<ла> окт<ября>.
Дорогая Марина!

Недавно я писал тебе, что меня растрогал Горький, потом я получил еще письмо от него, в результате которого спешу предостеречь тебя от возможных случайностей, которых надо избежать. Очевидно, Ася и ее спутник, главным же образом этот последний, прирожденный дурак и путаник, наделали там каких-то бестактностей, или превратно поняли свое положенье, или же вовсе встали в ложное. Если это случилось с Асей, то только благодаря З<убаки>ну, потому что если бы Ревизора написал не Гоголь, а Достоевский, то Хлестаковым был бы именно этот З. Мое постоянное отношенье к нему выражалось в терпеливом отмалчиваньи, к которому меня обязывал тот факт, что Ася его как-то ценит. В отношении Горького к тебе нет ничего обидного. Он относится к тебе с тем же холодом природного отчужденья, как и к Белому; и если такое отношенье не целиком сказывается и ко мне, то только оттого, что он непосредственно мне и пишет. От души советую тебе, чтобы не скатывать этого клубка дальше, придерживаться совершенной пассивности в отношении Горького. Т. е. если будет тебе письмо от него, на него же только и отвечай, не касаясь неизвестных тебе и только воображенных положений, как напр<имер>, А<синой> и Зубакинской поездки, или моих предостережений, или еще чего-нибудь. В противном случае ты неизбежно, сама того не зная, попадешь в неприятное положенье, которыми нас с избытком награждает эта поездка, по З<убаки>нской, повторяю, вине. Все это совершенные пустяки, просьба же моя о сдержанности и пассивности целиком совпадает с моими общими рецептами тебе на это время: вот отчего я с такой охотой и высказываю ее. И потом будь покойна: ничто тебя не уронит и не заденет, и все это сделается без тебя. Тут был план, отчасти допущенный Асей, с ролью, созданной для меня, которой я подчинился, потому что Асино пониманье этого плана было тем единственным, что я о нем знал. Чутье *за тебя* у меня развито до чрезвычайности, и можешь быть уверена, что он придет в осуществленье только в том случае, если он так же светел и приемлем, как это представила Ася. Я это проверяю, ты будь от этого в стороне. Если при пропуске через все сердце он даст хоть какой-нибудь осадок, этот план будет заменен другим,

более трудным, но целиком уже родным, и м.б. мне предложенной Асею роли играть не придется, хотя до этой минуты я душой готов был ее играть. В заключенье о важном – о литературе. Горькому Белого, разумеется, не уступлю, о тебе же и говорить не приходится. Но мы не Ходасевичи, и оттого, что не нравимся Г., он не становится меньше: главное же, надо помнить, что помимо нас ищут и друг друга находят наши романы и поэмы и наши пути в литературе, и не всегда мы даже знаем о том.

Обнимаю тебя и еще раз предостерегаю: не суйся в эту путаницу даже и через Асины двери: я ей ничего не скажу, это больше ее огорчит, нежели что-нибудь исправит.

Письмо 128
<кон. октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, начнем с конца, все живы-здоровы, дезинфекция была, можем я – писать, ты – читать без примесей и примылов <вариант: без помощи огня и воды>. Приняла после болезни по крайней мере десять ванн. А о голове своей: «Не трогать! свеже-выбрита»… Брилась семь раз, тупя и копя бритвы, дольше С.Я. отказался. Брили меня все кому не лень, были и такие, которые никогда не брили и на моей голове учились. Сейчас у меня – нее – множество сочувствующих, сообрастающих. Волосам моим нынче седьмой день.

Начнем с твоего последнего письма, только-ч'него. Первое: негодование на Асю. Ка́к?! *мне* не нравится 1905 Год?!! Но С. быстро остудил: книгу я получила уже без нее, несколько дней спустя ее отъезда, и она ничего того – всей той меня <вариант: меня за ней – над ней – с ней> – не видела и не слышала. О лести – такте – доброте и речи быть не может. Я Года не знала, т. е. 1905 г. для меня был Шмидт, а Шмидт – письма. Знала, конечно, и Потемкина и Гапона (прежние имена, о которых сожалею), но всё было залито Шмидтом, и именно 1 частью и в ней именно письмами. Подробн<ость>: и Баумана знала, но читала его тогда, не переводя на законные четверостишия, по печатному, не по писаному. / Сейчас уловила. Его, как всю книгу, нужно либо слушать (тогда 4-стишия сами образуются) – а слушать не-четверостишия нельзя – либо читать, переставляя, трудно, но возможно.

О Годе речь впереди, т. е. позади, покамест же повторю тебе: это, совершенно спокойно, твоя лучшая вещь, первый эпос за русскую Революцию <вариант: твой первый эпос>, *дело мужа* <под строкой: – и лучшая —, твой первый эпос – и первый эпос – >.

Не я одна, Борис, – С., Сувчинский, философ Карсавин, многие, которых знаешь, еще больше, которых не знаешь, определенно ставят Год первой и единственной вещью современности, это уже вне спора, свершившийся факт, как твой дождь. Сувчинский пять дней носил в сердечном кармане (сердечной сумке!) – как не то соблазн, не то раскаяние – письмо к тебе, все не решаясь / которое отправил только после моего утверждения, что ты все равно поймешь *другое*.

* * *

Письмо прервалось приходом К.Родзевича, которого сама вызвала, чтобы передать твой привет. С места в карьер две просьбы, Борис. Вышли два *Года*, один С., другой Родзевичу. Когда я вчера сказала С., что буду просить у тебя книгу для Родзевича, он оскорбленно сказал: А мне?? А мне (мне) почему-то в голову не пришло, конечно в первую голову С., который – сделай это – всё равно вы судьбой связаны, и, знаешь – не только из-за меня – *меня*, из-за В<еры> Ст<епановны>, из-за круга, и людей, и чувствований, словом – все горы братья меж собой. У него к тебе отношение – естественное, сверхъестественное, из глубокáй большой души. И в этом его: а мне? было робкое и трогательное негодование: почему *мимо* него – Родзевичу, когда он *тáк* …

Итак, две книги – можешь одним пакетом на мое имя – одну С., другую К.Родзевичу, отчество которого Болеславович (каково?!).

Теперь о вчера. Пришел Родзевич, я прочла ему кое-что из твоего письма, чувствуя, что озолачиваю, оалмазливаю. В первое твое ты бросилась как с мостов в море – унося с собой и его (слуш <оборвано>). И знаешь, первое, чтó он сказал: М.! Вам надо бы в Россию. – Я похолодела. – Что?! – Да, да, не навсегда, съездить, вернуться, летом, Вам надо, *Вас* надо там, они тянутся к Есенину, п.ч. не доросли до Пастернака и никогда не дорастут, а Маяковский и Асеев – бездушны, им нужно души, собственной, Вашей. Отсюда Горький, оттуда Пастернак, в две силы, возможно. Нельзя жить своим запасом, Вы 5 лет как уехали…

[И планы – планы

И в ответ моя внезапн<ая> твердая вера, что это будет.

– Знаете ли]

И – в ответ – покой, твердая вера, что это будет <вариант: остолбенение простоты выхода>, «а ларчик просто открывался», и с ним разверзшийся тупик. Первое: не ты ко мне в мою – европейскую и квартирную – неволю, а я к тебе в *мою* русскую тех лет свободу. Борис, на месяц или полтора, этим летом, ездить вместе, – У-у-ра-ал <под строкой: (почти что у-р-ра-а!)>.

[Реально: ты бы там, а Горький здесь должны были бы поручиться в моей благонадежности.]

Мне это никогда, ни разу не приходило в голову, разве в самом сонном сне. И вдруг, Родзевич – простыми словами, совпадающими с некоторыми твоими окольными – «поэт издалека заводит речь! Поэта – далекó заводит речь» – «мне иногда кажется, что наша встреча должна произойти здесь» и т. д.

Борис, ведь это то, что нужно, тебе и мне, единств<енное> – и в этом ПОКОЙ – что возможно. Наезды, набеги. И первый набег – мой. Сможешь ли ты, в полной честности и ответственности за свои слова, дать мне *месяц* своего лета, в полную собственность, в обоюдное совместное владение. *Не* Москва, Борис, – слишком много хвостов, от Ланнов до книг и тетр<адей>, разбросанных по бывшим друзьям, *не жить*, Борис, ездить. Нельзя ли было бы – несколько выступлений, совместных, по городам России, ты с Годом, я с *русскими* стихотворными Мóлодцем, Егорушкой, кое-чем из После России. Но – важная вещь, Борис, – мне в России нужно немножко зараб<отать>, чтобы мое отсутствие не легло фактич<еским> бременем на плечи остающихся. Привезти – хоть чуть-чуть. Для этого надо бы устроить в России какую-нибудь мою книгу. Пишу и обмерла: а дорога?? а жизнь??

Für heute – alles[123]. Теперь будешь <оборвано>. Замечаешь, что начала действ<ие> с конца, т. е. с будущего лета: с начала бесконечности. Теперь будешь получать ту скарлатинную, шарлаховую хронику – отрывочками, всего – много, у меня вообще – с пуд неотправленных писем к тебе, начиная с Чехии.

Кончаю просьбой о высылке книг, С. и Родзевичу. В обоих у тебя, что бы ни было, *друзья навек*. Кстати, Родзевич моряк и как моряк (ведь лучше, чем поэт!) влюблен в твое море (Приедается всё), а С. 12-ти лет сражался на московских баррикадах. Не могу не привести одного совпадения – [твоих лаборантш] стих этого лета:

Маляры-то в поднебесьице —
Это мы-то с жиру бесимся?
Баррикады в пятом строили
Мы, ребятами. История.

М.

Письмо 129
<кон. октября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борису. – Случай со Шмидтом наводит меня на мысль, что периодическая печать – разврат. Кто бы думал, следя шаг за шагом, что получится такое? Вещь не есть сумма, в периодической же печати даны именно сослагательные, которых нету. Готовая вещь – твоя Москва с аэроплана: настоящее, будущее, чем кончится. Клоки по журналам – булыжники мостовой, которые 1 + 1 + 1 = не дают ожид<аемого>.

* * *

Борис, вчера отсылала с чувством: «а теперь за Федру» и вчера же вечером – но этому предшествовало следующее. Зализывая конверт, заметила, что под Шарлаховой стоит продолж<ение>, а собств<енно> ей конец, но торопясь, не исправила, отправила как есть. Это было утром, а вечером оказалось, что хроника не кончена, и вот каким образом. В ней был пропуск, а именно моего письма к твоему отцу и моих чувств по поводу – и письма и отца.

Откатись со мной на две недели назад. Тогда пакет с каз<енной> печ<атью> пришел не один, с письмом, начинавшимся Chère Madame. Это chère к незнакомому человеку на фоне Горьковского уважаемая, да и без всякого, на моем собственном, с которым слилось, так меня растрогало, взволновало, обнадежило (да, да, и это, хотя не из моего словаря, как душевного, так словесного), что я тут же, с места в карьер написала твоему отцу – уступаю место тетради:

«Письмо к твоему отцу! Два дня живу им, тобой в свете сыновнести, тобой – ребенком. Началом его».

Бог с шарлаховой! – своими словами: о где-то прочтенной твоей автобиографии – «всё, что я есть, и почти всё…» – о совпадении с Марком Аврелием, *свою* начинающем: Тем-то в себе я обязан моему отцу, тем-то – учителю и т. д. – И, в самую секунду писания учуяв тебя как больное место его – их, отца, матери, – жизни (большое больное место!) – о радости и гордости иметь такого сына, о сыновнести земной и небесной, о современности, которую ненавижу, и о тебе, ее поэте, которого люблю, о корнях будущего в прошлом, о многом, о всем, Борис.

Писала по французски, п.ч. Chère Madame, в ликующей ту́-светной свободе себя в чужом языке.

Отправ<кой> заказн<ым> пригвоздила.

И – с распиской в руке, мрачное озарение: подпись явно F. Гм… И – воспоминание доисторическое: в Берлине, среди болт<овни> о том о сем, Л.М.Эренбург – «А сестра Пастернака вышла за своего дядю – или двоюродного брата, в Мюнхене»… Та́к. Значит Chère Madame писал кто-то не явл<явшийся> твоим отцом. Значит, все чувства мои по поводу… *Ничего* не значит, всё в порядке, отец ост<ается> отцом, сын – сыном, а я – собой.

И – забыла.

И вчера, Борис, письмо от твоего отца: чудесное, молодое, доброе, без обращения Chère, но ст<оль> звучащее им, как —, [письмо, открыв<ающее> новые простр<анства> во мне – к тебе] письмо – эра во мне к тебе. Ведь за отцом *мать*, Борис, та девочка, когда-то поднятая на руки со смычком в руках, сложивш<ая> смыч<ок> и скрип<ку>, та молодая жен<щина, когда-то поднимавшая <вариант: явившая> тебя впервые над всей землею: – жест посвящения *небу* всех матерей, помнишь Vom lieben Gott[124], в Венеции… («Das Meer auch»[125]). Ведь свысока тех ее памят<ей> я, как ты с твоего авиона, увижу *карту* [твоего детства, тебя, с заставами! твоего детства, тебя бывшего и будущего, вплоть до застав бессмертия, которые *серебряные*.

Борис, я этой себя боюсь, прости мне Бог мое малодушие! кажется – боли боюсь, ведь мне сразу захочется к твоей маме и – навсегда. «Когда Боря был маленький»… Прости, Борис, но в этом она мне ближе, чем ты, та́к себя не любят, так любят другого, и этот другой и у нее и у меня – ты. Борис, если бы я жила в Берлине, она бы меня *очень* любила, и я была бы наполовину счастливее – есть ведь такая глупость, счастье.

Напишу ли я ей, не знаю, что́ я могу ей сказать, я могу только спросить – спрашивать – слушать. Я не *с чем* иду, а зачем, мое первое *зачем* за всю жизнь. Отвлекись, что это ты, взгляни, увидь из меня.

Любовь наперед – это ты знаешь? Любовь не как влеч<ение>, а как реш<ение>. *Раз – то* … Раз это его мать – я буду ее любить. <Над строкой: Какова бы ни была – буду.> Какова бы ни была. Ведь из двух, отца и матери, кто-нибудь да *свой*, да – руку на́ сердце положа – не дороже ли мне в данный час моей жизни ее изустный простой, предп<очтительно> простейш<ий> расск<аз>, в котором и я как-то могу участвовать, т. е. с откр<ытыми> просторами моего толкования,

твоего детски-люверсного подхода, вещи данной и сделанной. – Когда-нибудь ты напишешь для меня историю своего детства.

Письмо 130
1 ноября 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

Родной, целое утро просидела над одним четверостишием, очередным четверостишием <вариант: «куплетом»> проклятья Тезея – Ипполиту. 3 страницы тексту и 4 строки. Ты тоже так пишешь.

Вчера твое письмо об отце и сестре; параллель с мои<ми> некогдаш<ними> опас<ениями>. Будем ясны: не хочу себя никогда друг<ому> из ничьих рук, особенно родств<енных>, особенно – любящ<их>. В этом, если хочешь, частичное отречение от родства. (На это ты скажешь: «А как же мать? первоисточник?» пр.) Выбор другого не есть *мой* выбор, <пропуск одного слова> меня, предположим помн<ят> за *книгой*, а я, минуя все книжки <пропуск одного слова>, именно тот раз, когда я *не* читала, а играла, и что из этого вышло. О своем детстве тебе, кстати, когда-нибудь расскажу, есть что, и этого что́ не знает никто, не знала и мать на смертном одре, никогда не узнает Ася.

Тебя в свете семьи я чувствую двойственно: то осиянного св<етом> Ясной, бывшей одновременно и молодостью отца, почти что в том ламповом кругу его картин<ы> / записей, то семью покинувш<им> с утробы матери, в свете уличного <вариант: предместного> фонаря. То *сыном*, то блудным сыном. В предшествующем письме я обращалась к сыну. За отца не бойся, у меня для *отцов* свое сердце, возникающее только от биения ихнего, с твоим отцом я бы чудесно подружилась, п.ч. во мног<ом> *больше* соглас<на> с н<им>, чем с тобой – ме́ньшим мо<его> сердца. Сестру обещаю любить, [только моя любовь счастья не приносит] книгу же пошлю и папе и ей, благо два города и адреса. Папа мою книгу будет любить, обещаю. Папу, кстати, видела раз в Берлине, крас<ивого>, мол<одого>, легкое явление. Я тогда сказала – Un vieux beau[126], что́ иначе звучит чем un beau vieux[127], и полярно un bon vieux[128]. Кроме тебя, о нем с *большой* нежностью неоднократно мне писал Рильке, и он мне о Рильке расскажет. Твоих сестер ты мне явил сам – в воротах Дворца Искусств, когда читал Блок. Мне они тогда показались надменными – м.б. потому что я была очень плохо одета. Помню удлиненные лица и общий аристократизм.

А нынче письмо с Нюрой. Лучше бы мне таких вещей не знать, они с детства разрыв<ают> мое сердце. Вот образ<ец>:

у моей бабушки (швейцарки, мачехи матери) в Тарусе был садовн<иком> черкес, убивший где-то кого-то и отбывавший в Тарусе поселение. Андрей. Мне было 6 лет. Я смотрела, как он окап<ывает> яблони, и мы беседовали. «Какая книжка?» – «”Ясное солнышко” Лукашевич. Про девочку, которая всем делала добро и потом умерла». Показ<ала> картинку. Потом. Потом <пропуск одного слова>. Посреди песочного двора проща<ние>: бабушка, ее две прислуги-латы<шки>, обожающие меня, Андрей. – Гувернантка и я. – Целую бабушку, целую латышек и подаю руку Андрею. – Смех. – Да что вы, барышня, нешто с садовником за руку прощ<аются>? (латыш<ки>). И я, покраснев до слёз, вторично, молча, ожесточенно. И, бабушка: «Mais tu es parfois raison, petite. Il est peut-être prince dans son pays»[129]. – Так вот все эти Иваны-Царевичи, хлынувшие в Москву, «за книжками», и твое сжатое сердце от *бездны* между данным и Сестрой моей Жизнью, СТЫД ЗА НЕЕ, как мой – за столькое. И твоя радость отводу – Года. Знаю всё. Вывод? *Это* – народ, а то – нарост. Одно с другим не путаю. Хотя́ в Россию, к *таким* хочу.

Письмо 131
<нач. ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Б.

Мир видишь каким-то расплавленным, точно всё твердое в нем – начиная с гор, кончая гордостью <вариант: от первых до последних>, растопилось, aufgelöst[130], растеклось в об<ъятии> двух. Солнце тех утр я помню жидким, плещущим в горсти.

* * *

И сердце течет, волоча сво<и> кам<ни>.

* * *

Горячий поток.

Письмо 132
<ок. 6 ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, не могу удержаться от соблазна написать тебе два слова о твоем письме в руках и жизни Сувчинского. – «Я никогда не смел думать, что он та́к откликнется». / Нарочно пришел пешком из своего Кламара ко мне в Мёдон (40 мин. ходьбы, больная нога), чтобы известить меня о своей добыче. Да, именно добыче, он всей своей природой добытчик, крупный и нежный хищник, – enjôleur, enrôleur, mangeur, dévideur[131] и – представь себе! – не женских сердец – мужских, и не сердец, а сущн<остей>, – наподобие тех мецен<атов> <над строкой: русских и итальянских> XVIII в., *могших* только в другом, <над строкой: т. е. в *мужчине* >. Мне его жалко, всегда и неуст<анно>, не пон<имая>, я убеждена, что он больше, да так и есть. 1) Огромный голос, который презирает, 2) музыкальный гений, которого отринул, [когда-то] *первый* откликнулся на 12 Блока, п<отом> с Блоком первый зачинал Евразию… Читатель всегда в уровень поэту, даже тебе, даже Рильке, – изумит<ельное> явление, Сезам, с… <над строкой: закр<ойся>> не знаю чем отшвыриваю<щий>, д<олжно> б<ыть> послед<ствие> холод<ного> сердца. Лукавец – льстец – и с такой грустью, с таким иногда огромным вырыв<ающимся> вздохом, вздохом, физически выдающим всю глубину груди и души. И в итоге я ничего о нем не знаю.

Обратное Мирскому, может зараб<отать> мил<лиону> поэтов на 10 милл<ионов> поэм.

Еще: человек, что-то во имя чего<-то> в себе переломивший (убивший?). И яростно на это что-то в другом накидывающийся – самоборчество – богоборчество (боги) – в чем-то мой *явный* враг, мой скр<ытый> <вариант: тайный> друг. Ты от него не оторвешься (к Мирскому тебя придется прикалывать английской булавкой, да и то оставишь клок), он от тебя не оторвется, вам, конечно, нужно встретиться, письменно и очно – обратн<ая> бездн<а> после Мирского и Маяковского. Верь, поп<робуй>, в кредит. Я бы *очень* хотела, чтобы вы переписывались, так же, как когда-то не хотела, чтобы переписывались ты и Мирский. Сувчинский явный *приток*.

Письмо 133
<ок. 12 ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, моя [черновая] тетрадь меньше стихи, чем письма к тебе. Вот, справа – налево несколько страниц назад, большое письмо тебе о Сувчинском – неотосланное по недостатку времени, т. е. малодушию (время всегда есть, ты это знаешь). В нем я – не бойся – хвалила Сувчинского. А сегодня совсем о другом: об – удивительной всё-таки вещи – что я во всем русском Париже совершенно никому не нужна. Ко мне *никто* не ходит, никогда. Ходят к С. и в дом, вообще посидеть. [Это, впрочем, было и в советской Москве.] О стихах никто никогда, в последний раз читала стихи Асе, а до этого?? честное слово, не помню. Меня *никто* не любит и никто не знает, знают стихи (то или иное в том или ином журнале) и знают веселую и резкую хозяйку дома. Вчера ночью я прочла то, что нав<ерное> раньше знала: «un organe – s'atrophie»[132] и тотчас же сказала: сердце. Моему нет работы, в стихах же оно ни при чем. У меня (него) нет пов<одов> ни к [жалости, ни к] расширению, ни к сжатости, я все [дни и] вечера дома, всегда, – и даже книг нет, п.ч. в Мёдоне нет библиотеки, даже приходской, без романов, с путешествиями. Единственный вечерний выход раз в неделю в местный кинематограф, который уже начинает делаться событием. В Чехии были деревья – и концы концов и многое. Была новая, в первый раз полюбленная, *русская* среда, растравительная и благородная, была переписка с Волконским (заглохла), была моя безнадежн<ая> по<пытка> п<оездки> к тебе. А главное – горы! Дерево, к которому лезешь и которое можно обнять. В лице одной такой березы прощалась со всей Чехией. В Чехии была *растрава* и тоска. Я Чехию любила, и она меня. Чехия мне дала Мура.

Мёдон? Квартира (там – лачуги), газ (там дым <вариант: чад>) и – дверь, [в которую никто не стучит, а мне не к] с английским замком, в нем всё. В Мёдоне я упорядочена, хожу на рынок, чищу, благополучие <вариант: *данные* > / просто обязывают. Мой день: утром варка утреннего и снаряжение детей на прогулку – варка обеда – кусочки Федры – дети с прогулки, Мур спать, обед. *После обеда:* прогулка с Муром – чай, кормежка детей и гостей – приезд С. после съемки – мысли об ужине, кусочки Федры, укл<адывание> Мура, ужин. *Вечер*: С. в городе (дела и уроки), Аля спит, я – нет, не пишу, – кураж́у нет

(фуражу́!). Письма? некому, тебе – только смущать в работе. Книг нет, – в Мёдоне нет библиотеки, хоть приходской – идти некуда, все либо в городе, либо – хуже – дома, у себя дома, а я не хочу ни в какой, хочу *из*, а никто не хочет, п.ч. дождь и у большинства башмаков нет. Итак, с 9 часов до С<ережиного> поезда (1 час) – [без дела] шью.

Письмо 134
12 ноября 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогой мой друг! В том свинстве, что от меня давно ни слова, главное же в то самое время, как от тебя приходит, день за днем, Шарлаховая хроника, виноват не я. Но тороплюсь тут же, в обгон сказанному: эти три пакета такая драгоценность, что никакими словами за хронику тебя не отблагодарить. И сейчас пишу не *в ответ* на нее, а просто, чтобы ты превратно не истолковала моего молчанья. Много чего сошлось в эти две недели: дряблые, затяжные, как ненастье, обстоятельства. Во-первых, денежная запинка, займы по пятиалтынному (послезавтра, во вторник, все это будет бесследно покрыто блестящим авансом). Куча писем и рукописей (чужих), бесконечных поэм и начинающих посетителей. Словом, нечто такое, что даже и для *отказов* требует времени, а я, к сожаленью, (за очень незначительным вычетом) гнать не умею и почти всегда вхожу в разбор того, что делать человеку, если его приход к литературе – случайность или ошибка. И если ты решила, что я воспользовался твоей просьбой не писать тебе и сижу за работой, то вообразила сущую небыль. Не пропали же эти две недели оттого, что частью и неизвестным тебе образом были посвящены тебе. Ты легко себе представишь (о других радостях дальше), какую радость доставило мне то, что впервые за эти годы ты заикаешься, или начинаешь думать, или допускаешь мысль о приезде сюда. Что бы я ни сказал дальше, – это душевное событье огромного значенья для тебя, для всех нас и для истинного нашего дня. Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький. Однако устраивать это *надо*, и вероятно, в устройстве этого, в результате, нам удастся преуспеть. Темы этой оставлять нельзя, ты сама дальше увидишь, до чего она носится в воздухе. Но вот я допустил, что завтра или через месяц ты получила бы визу. И знаешь, я первый стал бы тебя просить с приездом повременить. Я бы не поручился, что в случае какого-нибудь процесса, ни волоском не имеющего к тебе отношенья, тебя бы не припутали по периферии каких-то третьих лиц и десятых гаданий, как это тут бывает с целым рядом ни в чем не повинных людей. Для меня, в таком случае, оставалась бы облегчающая возможность сесть вместе с тобой (так или иначе я бы неизбежно пришел к этому), но во всяком случае я не могу звать тебя к таким перспективам. Но тема, тема твоей готовности

и желанья, существовать начинает, и чем больше она тут пустит корней, чем они будут разнообразнее, многочисленнее и неожиданней, тем спокойней я буду к месяцу ее осуществленья. – Воспользовавшись моим разрывом с Лефовцами, всякие досужие сплетники стали мне уже передавать невообразимые глупости, будто бы ими обо мне сказанные. Если и не всему этому вздору я верил, то все же у меня было чувство, что они против меня ожесточены, и с ними не встречался. На днях я был посрамлен вдребезги Ник. Асеевым. М.б. он и знал, чем меня можно умилить вконец, до загипнотизированности, но и это соображенье смысла его звонка не умаляет. Он попросил меня принести «Поэму Конца» и «Крысолова», т<ак> к<ак> добился разрешенья написать о тебе в своем годовом отчете о поэзии, в чем до сих пор отказывали мне или предлагали с оговорками, для меня (в отношении тебя) неприемлемыми. Далее он сказал, что принимается за дело о твоем возвращеньи, что говорил уже об этом с Луначарским, но тот будто на стену полез и объявил, что это покамест совершенно невозможно. У Асеева – итальянская виза, он скоро собирается в Италию, где между прочим хочет о том же поговорить с Горьким и *так* ему прочесть твои поэмы, что потом его и убеждать-то особенно не придется. Читает же он тебя отлично. Детское отступленье, которое тут же сделаю, прямо к делу не относится, но считаю нужным, чтобы ты знала впрок, что я вас не ревную или это чувство побеждаю, и что чем живее вы друг друга воспримете, тем это будет благоприятнее в отношении множества вопросов, т. е. в отношении житейских перспектив, а м.б. и более глубоких, т. е. перспектив поэтического сцепленья. Клянусь тебе, что говорю совершенно чистосердечно, и умоляю тебя, в этой связи, мифов на мой счет не строить и какой-то логики вещей, тебя касающихся, с этой стороны не ограничивать. Он читал мне свою поэму, написанную к десятилетью (из истории сибирской партизанщины под Колчаком), и множество мест в этом чтении показались мне прекрасными. Я все еще не мог получить ее на руки. На днях он получит авторские, получишь, вероятно, и ты. Чтобы покончить с этой тирадой, вставляю упущенную мелочь. В прозе, которую посвящаю памяти Рильке (полувоспоминанья, полуфилософия), будет о «Поэме Конца» как о событии, т. е. будет о всей силе случившегося той весной, и, говоря *объективно*, это будет действительнее статьи. Пишу же я все это, т. е. пока еще думаю написать, *так*, чтобы мне не могли отказать в помещеньи. Т. е. это вроде того «*так*», как собирается тебя прочесть в Сорренто Асеев. Ты не можешь себе представить, как взволновал и обрадовал меня твой намек о книжке для С.Я. Ты точно угадала мое желанье и мне эту возможность подарила.

Это ведь движенье сродни мысли о России, т. е. это – то растягиванье души, при котором легче становится и тебе самой и тем, которые больше всего тебя любят. Не хочу отбирать слова и уяснять мысль: догадайся о ней, если она непонятна. Летом я писал Мирскому о том, как мне всегда бывает больно оттого, что ты идешь (в творчестве и в жизни, т. е. по департаменту поступков, ах, все это не то, но ты поймешь) сплошной и постоянной *высотой невознаградимости.* Т. е. мне больно не как поэту, а как Боре, которому бы хотелось, чтобы тебе было весело и вольно, и так далее. Тут, в быту и в распределеньи планов надо больше любить и щадить себя, нежели это в твоих нравах. Милая Марина, прости за глупость, с которой я об этом говорю, не читай моих слов построчно. – Так вот, о книжке для Сережи. Именно ради него я тотчас после твоих слов побежал в склад Госиздата и достал несколько новых экземпляров, так что ряд лиц, которые их получат, того не зная обязаны ему, человеку, который делит и разделил с тобой жизнь. Опять глупости. (Ты знаешь, я сейчас пишу, сильно волнуясь.) Да, так вот. С 4-го числа лежит эта стопка бандеролей, и я все еще не имел возможности их отослать по временным, до смешного сошедшимся, затрудненьям. Больше всего за ними меня раздражала именно эта невозможность отозваться моментально на твое предложенье, но скажи С.Я., что, прочитав тот кусок Шарлаховой хроники, я моментально побежал на Никольскую и по возвращеньи домой тотчас ему книжку надписал. Два другие экземпляра пусть распределит по своему усмотренью. Горячо благодарю тебя за письмо отцу и за твои слова на всю эту тему. – Утопаю в мелочах, которые надо сказать тебе, и не могу себе позволить расписаться о хронике, т. е. о том, как она обняла мое сердце, и как ты добра, щедра, и как я люблю тебя. – Значит, опять о мелочах. Родная Марина, вдруг напросился и подобрался новый источник, не тот, о котором Ася говорила Сереже и потом тебе, и об этом в другой раз, а пока короткий рассказ. Летом 1925 г. нам было так трудно, что просто на переезд с дачи в город не было (и «дача»-то была снята на займы, просто – крестьянская изба). Тем летом я что-то пробовал для детей писать (хорошо шла детская литература, и те, кому она удавалась, богатели). У меня ничего не выходило. По этому поводу я был в переписке с Корнеем Чуковским, который до небес превозносил меня как поэта, но ничего устроить не мог. И вот мы мокли под дождями, *крепкие земле*, по причине задолженности, и не могли сдвинуться и переехать в город. Раз как-то жена, отправясь в Москву за очередной десятирублевкой, возвратилась, сияющая, с известием, что «все устроилось», и протянула пакет с 10-ю ф<унтами> стерл<ингов> *неведомого* происхожденья,

поданный ей утром, на городской квартире, неизвестной ей курьершей из Упр<авления> Курской Ж<елезной> Д<ороги> (!!!). Отдаленного намека на разгадку она, очевидно, ждала от меня, и только в таком чаяньи приняла деньги, из которых половину уже успела разменять в банке. В глубине души я порадовался, что меня не было в городе, п.ч. я наверное бы от денег отказался как от заведомой ошибки.

Прости, доскажу в другой раз.

<На полях:>

Не сердись на меня. Карточки Асе передал. Какие они все у тебя прекрасные, и как я люблю их!

Письмо 135
19 ноября 1927 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Ряд вещей, ряд вещей. Твое ответное застало меня в разгар переписки Октября в вагоне – записей тех дней, которые у меня попросили для десятилетия. Оставалось несколько строк, но рука уже не шла, прочтя / – отт<ого> тетрадь с Федрой, т. е. письмом к тебе. Я так давно тебе не писала и так радовалась твоему молчанию. Каждый день без письма был мне залогом новой страницы, пусть половины, твоей статьи (!?) о Рильке. Ты меня огорчил, не себялюбиво, я, жившая в те годы от письма к письму, т. е. от 1-го января 1923 до 1-го января 24-го, после той огром<ной> волны доброты, разбивш<ейся> на мое *ежедневное* счастье, могла бы жить без писем еще месяцы – нет, мне просто досадно и *больше* за твое потерянное время поэта, время, потраченное на плохие чужие стихи <вариант: всё твое благодаря чужому написанному, не написано>. Таких еще двоих знаю: Рильке и Роллана, загнанных, затравленных письмами и стихами, нет – трое <вариант: с пол<овинкой>>: себя, ни одно письмо в жизни не оставлявшей без отклика, но зато – ско<лько> стихов! Я жестка, Борис, меня никто не учил, не помогал, я ни у кого не спрашивала, и только в таких верю. Ни из чьих рук не может выйти поэт как из Божьих и ни из чьих – поэма, как только из собственных. Ты это знаешь. Больше скажу: чем больше меня хвалят, тем мне подозрительнее, и страшнее, и грустнее: первое – за будущее (дурной глаз!) грустнее / второе: ведь, значит, *того* места, слова, *слога* (нарыва, болячки!) он не заметил. Порадует меня только тот, кто с места в карьер укажет на худшую строку. *Только* ты.

Только ты, Борис, это и в ответ на приезд Асеева. Ты, в каком-то смысле, для меня и дело чести. Последней чести, ставки на последнюю свою возможность любить *человека*. Борис, Борис, сказалась растрата тех лет, всех лет! Ни морщин, ни болезней, ничего от моих 33 лет, кроме равнодушия – даже не по возрасту, льда в сердце – к людям. Та́к же как тогда (всегда!) любила всех, каждого – и *ка́к*! – так теперь *никого*, пустое место. Последнее, что уцелело – жалость.

Асеев?? Да у меня с тобой – *жизнь* прожита! Смешно, Борис, и прости за слишком голые слова, но ни разу в жизни я не / ты первый раз заст<авил> меня услы<шать> / ты мое первое наполнение слова <пропуск одного слова>, [т. е. то<го>

несбыточно<го> всегда бывш<его> для меня] всегда мне чуждого / мало мне чуждого, но вытеснявшего меня за свои пределы одним своим звуком. / Мы были враги. Оно меня не хотело, я всегда была за бортом. И [вот, после стольких лет только и протекав<ших> в том] Как счастл<ив> дом, где ты лишен. А нынче я спокойно пишу его тебе, свою новооткрытую Америку, о которой до этого письма сама не знала. Не дружба, не любовь, не братств<енность>, не спутничество, не современничество – сколько *не* столько и – и в сумме *не* и *и* – брак, т. е. попросту соприсутствие всего, т. е. [Мы с тобой сращены, сплетены так густо и так кровно, та́к глубоко – всеми корнями и верхами, что только какая-нибудь низость, исхитренность, уловка жизни может развести.]

Асеев чужой. Что́ – еще раз поднимать эту глыбу чужести, еще эту гору волочь? *Зачем*? Хороший поэт? Есть книги! Душа? (предпол<ожим>) – В Царствии небесном все встретимся.

Его приезд мне как весть от тебя, вторая живая. Радуюсь очень. Он не будет в Париже? Пусть Горький (УСТРОЙ, и Асе скажи, и Асееву!) позовет меня в Сорренто, *приеду*, во имя тебя. Он мне расскажет о тебе и о России, для меня равнозначащих. Дай эту мысль и ему и Горькому, визу мне получить будет нетрудно, есть связи. Поехала бы на 2 недели, вела бы себя *ЧУДНО*, т. е. свято дала бы себе слово не раскрывать рта. Асеев тебе бы рассказал обо мне и привез бы прозу, которую ты до сих пор не знаешь, и м.б. уже и мою книжку.

<Следующие три абзаца отмечены на полях двумя крестиками и дугой, как будто изымающими их из текста:>

Спасибо за С. [Передала. Во многом (всем общественном, например) вы с ним больше сойдетесь, чем мы с тобой. М.б., не может не быть – еще будете друзьями.]

В отдельном письме напишу тебе на днях одну встречу, жаркую, жуткую, <пропуск одного слова>. Хочу твоего отзыва. А сколько писем угроблено, т. е. так и ост<ались> в тетради: одно из них о Сувчинском.

О России <оборвано>

Борис, моя тоска по России растет. Недавно напала на свою брошенную вещь «Егорушка», – <два слова начерно зачеркнуты>. Смесь своего «Егорушки», Багрова-внука, Асиных рассказов, некоторых твоих писем, всё это зовет. Прочтя, что нельзя, я ничуть не удивилась и, представь, не огорчилась. Мне важно знать, что ты этому радуешься <вариант: что слово сказано>, где-то мой приезд уже есть, мы с тобой уже ходим и

ездим, это уже сущее. Как Мёдон будущего 1928 г. – уже бывшее. Такая медлительность судьбы меня как-то – устраивает. Здесь я, как ты в России: чего-то, нет: *всего*, что от жизни, *страстно* боюсь [в существе]. Из России меня в чет<ыре> рук<и> – 2 отс<утствующие>, две люби<мые> – выкорчевали, хотя – в другом смысле – не уезжала, ноги унесла —. Не могу висящего надо мной *счастья*. Пока нет сроков, нет и навеса, груза, страха. «Когда-нибудь»… Пойми меня правильно, напиши мне ты выезжать в следующее воскресенье – я бы поехала <вариант: радовалась!>. Выезжать к 1-му мая – я бы уже места себе не находила. Но, Борис, одно я знаю: что-то началось: *мое* желание и встречные желания хотя бы 5–6 человек, приезд Аси, и теперь приезд Асеева, и перекличка с Горьким, слово Россия – только *знак*. Вещь начала делаться, это – пузыри ее подводного ворочанья. Остальное предоставим времени.

* * *

Я не о возвращении говорила, о гощении. Ведь это разное: «можно к вам в гости» и «можно к вам жить». Не хочу терять своей прекрасной, моей во всем исконной, позиции гостя, т. е. одного против (хотя бы полупротив!) всех, очеса и ушеса разверзающей – *чужести*!

На вчерашнее письмо и книгу С. отозвалась листочком, – с тобой не боюсь гипербол! – что-то похожее на один из пластов кожи. Сердечной. Борис! Борис! Скорей в Царствие небесное, где ни кож, ни сердец.

Асеев будет писать? Любопытно. Рада. У меня холод по спине от его фамилии, стальной. Почему не Алексеев? Боль<ше> бы свет<а>. А это звук ножа по стеклу. Читаю Конармию Бабеля, хочется сказать слова 3-летней – когда-то! – Али: «Кто тебе так глаза перевернул?» Какой романтизм ненависти! Если ксендз, так уж непременно лифчики прихожанок. Единств<енное> мил<ое> место в книге когда с ним говорят молодцы и красавцы начдивы: «Паршивенький какой». Умилительно. А правда, так паршив, как встает? Еще хорош один старый генерал, не жел<ающий> сдаться. Захлебывание зверствами и уродст<вами>. Маяковского передернуло от твоих червей, а что он сказал на сценку над мертвым поляком. *Всё* ли нужно писать, даже бывшее? И не лучше ли об ином помолчать.

Читаю сейчас одного за другим современных французов-прозаиков. И знаешь вывод: des frais pour rien[133]. Между кровавостью Б<ернаноса> <оборвано>

Письмо 136
<втор. пол. ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис! Я бы хотела еще раз родиться, чтобы *всее!* <подчеркнуто дважды> сказать.

Псевдосвобода океана.

Листья я чувствую менее связанными, чем волны: поступившись передвижением, они раз навсегда вольны во всем. Волны: теш<атся> на привязи. Или же: кто-то волнуется волнами, они следствие чьего-то волнения. Их как таковых нету. Та́к американка, стремимая Капиталом. Я же, Борис, лист.

Письмо 137
<ок. 30 ноября 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

Родной Борис, а вот ист<ория> соб<лазна>. Он идет издалека, родина его Москва моих 15 лет. Это была самая красивая из всех моих соучениц всех моих гимназий, красивая до тоски. Она была младше меня на класс, и я все<гда> люб<овалась> ею в коридоре. За год ежедневных встреч ест<ественно> не сказала с ней ни слова. – 1917 г. Павлик Антокольский. Его друг: ее брат. 1917 г. – 1918 г. Хождения / Дарение – мне – друга и меня – другу. Сперва неудачное – год прошел – удачное слишком. В моем – когда-нибудь! – полном собрании сочинений прочтешь, лучше не скажу. Пока же: бездушие при всей видимости души. 1918–1919 г. Л<юбовь>. Обида. (Облак<а> на экране.) 1925 г. Париж. 3 дня как приехала. Письмо на «Последние Новости», пересланное мне. – «Марина! Вы меня, наверное, не помните. Я – [та Вера Завадская] когда-то училась с Вами в гимназии, Вы мне нравились, но я Вас боялась», etc. Отвечаю. Еще. Еще. Очень больна, [лечится]. Встреч за 2 года 9. Раз я у нее, в узе<нькой> квартирке П<орт> д<е> П<асси>, на фоне мещанской мебели, в сжатости, с вес<елой> красивой мате<рью>. 2 раза этим летом у нее в S.Y. в санатории. Бес<еды> о литературе, противует<ественные> над бездной тех писем. О том, о сем. 1927 г. [Неожиданный стук] в дверь. Я только что встала с постели и *неделя* как отрастаю (брилась 7 раз!) / 1927 г. месяц назад. Сон о *том*, о котором не думала ни разу с отъезда из России. Увер<енность>: нынче от нее письмо. 1 час дня. Стук в дверь. Дама. Я: «Сал<омея>! Вот радость! Пройдемте, по<жалуйста>, в мою комнату. – А *где* Ваша комната?» Глухой низкий голос. *Письмо!* Мех, жаркие щеки, еле дышит, ибо с вокзала к нам в гору и еще лестница, а у нее – вид<ишь> рис<унок> – от двух легких один тончайший внизу полусерп. *Всё съедено*. Шахм<аты>, гост<и>, завтр<ак>, улы<бка> Му<ру>. Реш<аем> вместе погулять. Но – сама наша прямая улица чуть-чуть подымается. Перевоплощ<аюсь>, задых<аемся> совместно. Назад, с тоской предст<авляя> лестницу (один этаж!). И, еле войдя: «Теперь, можно, я лягу». Лежит на моем крохотном мышином диване красивая, молодая (32 лет не дашь ни за что – 22, 23 года). Молчит. Смотрит. Хочу с раб<отой> на стул, остан<авливает> гол<овой>, век<ами>, соб<ой>. Сажусь. Волей всего, что в комнате, беру за руку.

Волей руки в руке (одн<а> в руке, друг<ая> на волосах) клоню<сь>, в мозгу «Мириады». И в полн<ом> сознании [преступления] творимого – в его очаг. В полн<ом> сознании.

Борис! 2 года любви к брату <над строкой: моей (Москва!)>. 2 года любви [ко мне] ее. О, как по-иному, чем ин<ые>, сопротивлялся этот рот. И с каким *стыдом* подд<ался>. Мой первый настоящий поцелуй. И, м.б., его жел<ание>. Борис, я целовала смерть. В одном будь вним<ателен>: мысль о ней – о ее, сейчас, стыде и блаж<енстве> – мысль о себе, о моем сейчас преступлении – я ничего не ощутила, это был са<мый> отвлеч<енный> п<оцелуй> из всех, *чистый* знак – [чего? – сочувствия, жалости]. Желание от лица *жизни* вознаградить за всё. Просто *жизнь* целовала смерть. Я была *жизнь*.

В ванной, с зубной щеткой в руке (ведь сейчас поз<овет> Мур!) остановилась: при чем зубы? Дело не в зубах: «Звезды до-олго горят там в тиши». Весь день до позднего вечера – *<4 сл. нрзбр.>* – физ<ически> жгло весь пищевод.

Борис, каждый поцелуй должен бы быть таков<ым>, не на жизнь, а на смерть, в полном сознании цены и платы.

Борис, *можно* так? *Нужно* так?

Если ты мне скажешь: «раз ты можешь спрашивать»… я тебе отв<ечу>: «о *все* спрашив<ают>, всегда, только скоты *не* …»

Умирающая, хуже – прокаженная, а у меня – дети. Преступление в полн<ом> составе. *Но* – ведь ее *никто*, ни один – не счит<ая> люб<ви> прокаж<енного> – не осмел<ился> в р<от>. Вывод: ей быть целованной либо прокаженным, либо – ценой лжи. Никто в полн<ом> сознании, хот<я> бы не зн<аю> к<ак> влюбл<ен> (я – совсем нет, всё ушло на брата, в брате вся пор<ция> исчерпа<лась>). Никто – жизнь. Никто – правда. Либо см<ерть>, либо ложь. Я это ощутила долгом, (правды, да) неминуем<остью> д<анного> час<а> и мест<а>. О ней не зна<ла> нич<его>. Должно быть, почти мучила.

Объясн<и> мн<е> дел<ьно>, в л<юбви>, с л<юбовью> и ж<изнью>. Я ч<его>-т<о> не пон<имаю>.

* * *

А вот семейное. Неда<вно> бы<ла> ок<азия> в Берлин, впроче<м>, хот<ела> тебе пи<сать> их опас<ения>. Кстати, у тебя в Мюнхене – п<лемянник> и<ли> п<лемянница>? Важно.

Письмо 138
Meudon, 1 декабря 1927 г.
Эфрон – Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович,

Не знаю, как выразить Вам свою благодарность за книги, и еще более за книгу, и еще более за надпись.

То, что дружба наша родилась в тысячеверстной разлуке, а во времени – не в сегодня, не во вчера, а в самом радостном и в самом творческом, что у нас есть – в нашем завтра, более всего утверждает меня в вере в кровность нашего с Вами братства.

О «905 г.» после высказываний Сувчинского и Мирского (№ 3 «Верст», выходящий на этой неделе) мне писать трудно – до того наше отношение к Вам и к Вашей удивительной поэме стало для нас общим.

Позвольте же обнять Вас и пожелать Вам того, в чем Вы больше всего нуждаетесь – творческого досуга.

С. Эфрон

Письмо 139
14 декабря 1927 г.
Пастернак – Цветаевой

Марина, мне было больно не отвечать тебе на твои дорогие письма. Они все получены, их было три: короткое, о получении С.Я.-ем книг, хроника, – о многом, о твоем и близком, о П.П.С<увчинско>м, о Radiguet, о разных вещах и ответ на мое письмо об А<сее>ве, и третье – сказочный автобиографический сгусток о В<ере> (последнее удивительно сталкивается с тем, что я сейчас пишу). Мне также бы очень хотелось вовремя и должным образом отозваться на радость, которую принесло с собой письмо твоего дорогого С. Короче, мне очень тяжело на все это отписываться второпях. Но назад с месяц я разорвал себе плечевые связки на левой, по счастью, руке. Две недели я провел в тугих бинтах и в мученьях, за которыми ни за что не мог приняться и все должен был бросить. Как это всегда бывает, поползло все врозь и в доме. Растянула сухожилье на ноге прислуга, заболел чем-то необъяснимым, что впоследствии оказалось воспалением почек, лоханок, мальчик, к концу своего трудного ухода за всеми захворала и Женя. По всем перечисленным причинам я взял, и мы быстро израсходовали, авансы в двух редакциях. Одной пообещал «предположенье» о Рильке, другой – продолженье Спекторского, настолько проблематичное, что его не назовешь и «предположеньем». Теперь я здоров, лишь рукой еще не вполне владею, но это улучшится. Однако сейчас мне надо спешным порядком приводить все эти обещанья в исполненье, потому что дома уже снова интересуются обеими редакциями и хотели бы передать им через меня новый поклон. Разумеется, ничего безвыходного тут нет, я изо всего выпутываюсь, но работать надо усидчиво и спешно, а тут опять новая попытка переселить нас из квартиры (обходительная, деликатная, – не нахрапом, как бывало раньше) – и мне недостает часов в дне. Итак, узнай все это, раскинь и расположи наперед, посочувствуй и, главное, – прости, прости «назад» и впрок. – Теперь возьмусь вплотную за Рильке. В тот же день, как кончу и понесу в журнал, вышлю в копии и тебе. Писал ли тебе Асеев? Он в Италии, кажется в Палермо. Я от него не получил еще ни слова, если не считать телеграммы с порученьем, которого мне, верно, не придется исполнить по его неописуемой хлопотливости, и особенно потому, что лучше моего посвященный в его трудность, он об этом меня просит с предурацкой миной совершенного

неведенья. Меньше всего я выношу как раз этот вид ломкой и ускользающей «непосредственности». Если он с тобой спишется, воспользуйся, пожалуйста, им как оказией для пересылки твоей книги. Как жалко, что Ек<атерина> Павл<овна> уехала до ее выхода. Если не будет оказии Асеевской, пошли без дальнейших объяснений, и только с надписью мне, родителям в Берлин: Motzstr. 60, Berlin W30. Может статься, им подвернется случай переслать ее мне. Еще просьба. Передай С.Я., что я не знаю, как благодарить его за письмо и чувства, и больше всего буду стараться никогда их не уронить. Всей душой на них отвечаю. И, наконец, напоследок вот что. У него с Асей (т. е. вернее у Аси с ним) есть некоторый секрет от тебя, в который я посвящен по самой его сути. Не покушаясь на эту тайну, т. е. не домогаясь ее раскрытья, попроси его сообщить мне при случае, произошло ли что-нибудь во исполненье Асина плана или же нет. Это касается и Горького. Я не уверен, что вся эта Асина затея удачна. Я попал в нее как кур во щи, как м.б. и все участники. Хуже всего, что подчиняясь во всем этом Асе, я, по ее настоянью, вынужден об этом предмете писать с окольной таинственностью. Пожалуй, лучше, если С. тебе об этом расскажет и мы получим возможность списаться об этом открыто, не возбуждая ничьих подозрений. А списаться надо, ибо случилась со всем этим путаница. Обнимаю тебя.

Твой Б.

Да, правда, попроси С.Я. тебе обо всем рассказать, сообщи (или попроси его сообщить), было ли что-нибудь, что говорит о движеньи дела, а затем я тебе и С. напишу, что думаю и знаю.

Письмо 140
<ок. 27 декабря 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Зашла Ася и попросила переслать тебе письмо. Итак, в виде приписки. Вошла ли Федра в 3-и Версты и вышли ли последние? Не задаю того же вопроса о книге, т<ак> к<ак>, вероятно, она уже давно появилась. И вот, просьба. *Поторопись* послать ее по Берлинскому адресу в двух экземплярах, для меня и для Аси (хотя не знаю, согласится ли «оказионер» везти обе), а также и Версты, если они выпущены. – Совершенно не справляюсь с кучей нахлынувших дел. Вновь и вновь приходится откладывать в сторону прозу, посвященную Рильке, ради более живо оборачивающихся вещей. Надобность в отклоненьях особенно сказалась перед праздниками. Между прочим, даже некогда подумать о руке. Хирург по телефону удивляется, что она не нагнала здоровой и с ней еще не сравнялась, и требует, чтобы я показался ему. Но он живет в Сокольниках, а туда еще дальше, чем до прозы. Об Асееве ни слуху ни духу. Я даже не знаю, в Италии ли он. Мне надо было ответить ему на его деловую телеграмму, и за неименьем адреса я не нашел ничего другого, как попросить Горького переслать ему письмо, хотя с Г<орьким> у меня вышло крупное недоразуменье, очень фатального характера, т. е. такое, в котором он кругом прав передо мной, да и я ни в чем перед ним не виноват. А<сее>ву ни словом не напоминал относительно его благих намерений и планов. – От души желаю тебе на эти дни, чтобы у тебя задуманный урок был сделан, благословлен и отложен по боку, и чтобы ты с Сережей попала в общество, где будут знать, чего вы заслужили, т. е. будут точно знать, кто ты, и любить его, и обставят вас вином и мельканьем хороших лиц, т. е. желаю тебе шибкого и свежего отдыха и радостной встречи 28-го года, падающей блаженным жужжащим отблеском на короткий сон под 1-е число. Прости, что желаю тебе глупостей. Обнимаю тебя.

Твой Б.

Письмо 141
<30 декабря 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку

С Новым Годом, дорогой Борис, пишу тебе почти в канун, завтра не смогу, п.ч. евразийская встреча Нового Года происходит у нас, следовательно —

Вчера – годовщина дня смерти Рильке, а сегодня мне с утра – впрочем, успела еще на рынок – пришлось ехать в госпиталь – резать голову. Теперь буду жаловаться: подумай, Борис, моя чудная чистая голова, семижды бритая, две луны отраставшая – пушистая, приятная и т. д. – и вдруг – нарыв за нарывом, живого места нет. Терпела 2 с лишним недели, ходила в кротости Иова, но в конце концов стало невтерпеж. – 10 или 12 очагов сгуст<ившейся> боли. Лечебница на краю света, ехала, одним Парижем, час, ждала два, в итоге – не прививка, на которую не имею возможности, ибо 10 дней леж<ать> чуть ли не в 40-градусном жару – а буйно и внезапно взрезанная голова. Ехала домой, как раненый, совсем особое ЧУВСТВО бинта – рамы бинта, что-то и от летчика и от рекрута, во всяком случае *лестно*. Так мужское во мне было удовлетворено. Причина 1) трупный яд, которым заражена вся Франция (2 миллиона трупов), 2) малокровие, еще гнуснее и точнее: худосочие. Посему тотчас же по возврате в Мёдон, только зайдя домой проведать, полетела в аптеку за рыбьим жиром детям. – Для чего рассказ? Перекличка с Рильке (вспомни Мальте) – Новый Год и бинт, Новый Год и госпиталь, окраина и, проще – его собственная смерть: умер ведь пожр<анный> белыми шариками.

Что еще? Новый Год евразийский, дружественный, но не мой. Мой – твой.

Ездила с книгой Рильке, читала в вагоне, в метро, в приемной, после такого чтения хоть кожу сдирай – не крикнешь. Впрочем, я терпеливая, дубовая. Знаешь ли ты, как мне когда-то мать в пылу рвения (9 лет воспаления легких) пришила к коже <вариант: прошила с кожей> компресс и только на другой день, снимая, обнаружила. – Чего же ты молчала? – Я думала, что так надо. Чувство стыда боли. Отец этому чувству – Дьявол.

Но довольно о <оборвано>

Письмо 142
1 января 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! С Новым Годом! Едва я опустил Асино письмо, как пришло твое, и только я начал тебе отвечать, как вновь пришла болезнь – грипп, а потом и очередной флюс. Только теперь от них избавился, хотя еще не выхожу, и значит, встречи 28-го, какой желал С.Я. и тебе, сам не сподобился. По счастью, на этот раз болезнь не затянулась, хотя в частоте этих возвращающихся сюрпризов есть нечто, приводящее в отчаянье. Причина одна: нет времени заниматься руками, зубами и прочим, они этим и пользуются.

Несколько твоих слов о Б.З<убаки>не радостнейшим оборазом «разрешают мне уста» относительно темы, которой я до сих пор не смел касаться. Разумеется, он именно то что ты о нем пишешь. Мое уваженье к Асе очень велико, и никакая несуразность никогда его не изменит. А отношенье мое к Б.З. всегда состояло в терпеливом отмалчиваньи, к которому меня обязывал тот факт, что Асе он как-то дорог. До знакомства с ним (в 23-м или 4-м г.) я, конечно, не знал, до какого конфуза может опускать человека стихия холостого, сборного и копеечного любительства, по сравненью с которой стихия дилетантизма кажется источником вечного откровенья. Он не дилетант, а тапер, и было бы жестокостью судить о нем с этой стороны. Не знаю, надо ли тебе пояснять, что я не из людей, для которых святая, умная обиходная вселенная начинается с «талантов», «искусств», «*творцов*» и прочего. И не только никого я в жизни никогда таким «творческим» небреженьем не обидел, но всегда изо всех сил старался разоблачать ту безвкусную оперную чепуху, которой столько наверчено вокруг этих вопросов. Человеку неодаренному я первым делом стараюсь вбить в голову, что в его ошибке ничего роняющего и фатального нет, что если в *таком* сеченьи призванья его профиль минуется, то он обязательно должен быть налицо в каком-то другом. Но что ты поделаешь, есть люди, которые сами толкают тебя на неловкость и у которых, помимо дарованья, нет такта и какого-то уваженья к своей судьбе. Мне больно писать эти вещи, т<ак> к<ак> не целиком, но в большой доле они относятся к З<убаки>ну. Между прочим, в том, что чудесная, сказочная Соррентийская история, подлинных начал и концов которой я не знаю, резко оборвалась и как-то безобразно закончилась, виновата та же путаница. Летом я думал, что просто

хорошие, незаурядные люди, умные и с большой, многого натерпевшейся душой неожиданно вырываются в сновиденный географический рай к человеку, одарившему их таким случаем и пообещавшему гостям сыграть чисто, без сбоя и полностью хозяина. Я не знаю, кто кому помешал тут, но в том, что там речь зашла о *литературе*, о З<убакине> как поэте и т. д., уже была допущена какая-то бестактная, безжалостная и зловещая дичь, и не один Г<орький>, наверное, виноват в созданьи этой бессмыслицы. А когда, в результате двух-трех писем от Г. с конечным мненьем, частью об А<се>, главное же о З., я встал, скрепя сердце решительнейшим образом, на защиту обоих, а в особенности стал просить его исключить тебя из клубка, без твоего ведома и участия на твой счет смотанного, т. е. отказаться от Асиного плана, п.ч. мне больно было, что ты хотя бы в поминаньи вязнешь в неведомой и мне нелепице, которою закончилась их поездка, то в итоге за все это досталось мне. Он просил меня больше ему не писать, раздраженный истерикой (действительной) моего письма по последнему пункту. В том, что все, по твоим словам, повисло в воздухе, – большое счастье. Я очень тебя прошу всю эту историю похоронить в душе и даже с Асею о ней не заикаться. Тебе, а также и мне не на кого и решительно не за что сердиться, и само теченье вещей, без нашего участия, нас от принадлежности к чужим промахам постепенно освобождает. Не знаю, давно ли я завел у себя или развил эту способность, но в последнее время я стал совершенно спокойно относиться к возможностям превратных представлений или толкований на мой счет, неизбежных всякий раз, как где-нибудь кто-ниб<удь>, вроде З., принимается говорить о тебе, все равно как, как о враге ли или друге. Ты, очевидно, держишься таких же привычек, п.ч. твои былые предостереженья об Асе показывают, что тебе этот вкус заочных интерпретаций слишком знаком. Прости за многословное и неинтересное письмо, главное же за то, что оно пишется с таким запозданьем: его следовало написать уже неделю назад. Выслала ли ты в Берлин свою книгу, как я тебя об этом просил? Если она еще не ушла в Берлин, то теперь пошли ее в Мюнхен, Maria Theresia str. 19, п.ч. на Праздники все из Берлина уехали в Мюнхен. А проза всё ни с места. Это печалит меня; оттого и письмо такое.

Твой Б.

Письмо 143
<нач. января 1928 г.>
Пастернак – Эфрону

Дорогой Сергей Яковлевич!

С Новым Годом, и крепко Вас обнимаю. М.И. писала мне о предполагающейся поездке Д<митрия> П<етровича> и П<етра> П<етровича> в Сорренто. У меня явились кое-какие догадки о побужденьях, связанных с поездкой, и если они правильны, то я от всей души желаю им обоим успеха и целиком разделяю Ваши чаянья. Сближенье с Горьким могло бы дать Верстам давно и с превеликою лихвой заслуженную опору; изо всех носящихся в воздухе и напрашивающихся возможностей это – самая естественная. Если же я, что называется, «попал пальцем в небо», то – простите. Я убежден, что мое отношенье к Г<орькому> совпадает с Вашим собственным и со взглядами Вашего круга. Для меня Г. – чистейшее и крупнейшее *оправданье* эпохи, ее осязательная и покоряющая персонификация. В этом случае человек настолько заслоняет для меня писателя, что последнее обстоятельство кажется мне производною частностью. Я далек от мысли тут же строить обязательный для себя идеал художника по этому примеру, п.ч. этот распорядок прямо противоположен тому в котором я себя воспитал, но ведь и из Вашего, М.И., и моего собственного склада я также не стал бы делать рецептов для вселенной. Я долгое очень время хворал, болезнь сменялась болезнью, и страшно запустил неотложнейшие (хотя бы лишь в отношении заработка) работы. Мне очень хотелось бы написать Св<ятополку>-М<ирскому> и Сувч<инско>му, но в ближайшее время от этого удовольствия придется отказаться. Если Вы в переписке с ними, я очень бы Вас просил передать им мой сердечнейший и напутственный порыв им вслед и в их сторону. Я также хотел бы, чтобы они помнили, что в любом сочетаньи и при какой угодно встрече там, они – прямейшие и непосредственнейшие мои друзья изо всех, какие там могут быть или оказаться. Т. е. я скорее наперед подпишусь не только под их мировоззреньями, но и под отдельными *их* мыслями и тем, что им на Адриатике привидится во сне, чем приложу руку к какой бы то ни было случайности, не от них исходящей. – Меня очень огорчает, что вследствие *растерянности*, овладевшей мною в последние дни (залежи неотложных и накопившихся дел и пр.), я не могу написать Вам настоящего, Вас достойного письма. Но еще недостойнее я

написал Марине, что уже прямо преступленье. Но все это возместите и загладите Вы сами. Всем сердцем с нею и с Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 144
5 января 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Моя дорогая Марина! С окончаньем Федры тебя, крепко, крепко и от всей души. И спасибо за виды Мёдона. Rue des Pierres я ни разу доселе не видал, и без нее у меня бы так и оставалось превратное представленье о Мёдоне как о городке недавно возникшем и без старины. Но и очень немногое из твоей улицы показалось мне виденным раньше, в воображеньи, и давно знакомым. Да и это также оказалось ошибкой. Дело в том, что часто представлявши себе, где и как ты живешь, я видел именно тот (второй) двухэтажный домик повыше, который находится от вашего входа через дорогу наискосок, как раз против переулочка за вашим домом. А м.б. это проще, и все дело в том, откуда снята фотография. Очевидно, когда я о чем-нибудь запрашиваю воображенье, оно всегда ставит просимый образ лицом на зрителя, т. е. именно так, как изображен ваш визави. – Для переправки «После России» воспользуйся обеими оказиями, твоею собственной и той, о которой писал я. Обманет одна – выручит другая. О полном имени твоей подруги догадался по инициалам. В Берлине я раз или два видался с – пасынком ее, вероятно; кажется, звали его Владимиром, и пробовал он себя в стихах. После о нем ничего не слышал. – Ты вспомнила о времени, когда я говорил тебе Вы. Вероятно, в тот же день мне явилось другое воспоминанье, близкое и м.б. сильнейшее. Я вдруг вспомнил, что моему «ты» с тобою предшествовало твое предложенье разорвать отношенья, которые ты признавала обидным и недостойным заблужденьем с твоей стороны. Помнишь, это было в ответ на быстроту, с какой я тебе доставил все (т. е. то, что имелось) о Есенине, для задуманной поэмы. И хотя все мое существо возмутилось против твоего предложенья и я восстал против него просто, по-человечески, но преодолевая боль, я м.б. на словах бы ему на некоторое время подчинился, если бы вслед за тем не грянули подряд два грозовых, очищающих, проясняющих весь мой кругозор удара: «Поэма Конца» и известие, что я попался Рильке на глаза. Ты знаешь, эти две вещи были тем первым знаком мира и родства, которого я ждал с самого 914-го года! Понимаешь ли ты, о чем я говорю? Помнишь как все ждали мира и выхода из тыловой фальши? Помнишь время, когда Бетховен оказывался бельгийским композитором на программах Кусевицкого? Эти бельгийские композиторы были до «коллективного творчества»

и пролетарской поэзии. Уже тогда началась эмиграция душевная и саботаж совести и сердца. Не была ли ты временами скрытой германофилкой, не в отношеньи Берлина, разумеется, а по линии Беттины? Но тогда мы были моложе и свежее, да к тому же и требованье приспособленья было государству в первоучину; надзор за обезличенностью и изолганностью не был еще достаточно организован. В сентябрьском №-ре журнала «Die Neue Rundschau»[134] напечатано несколько писем Rilke. Прочти, узнай в нескольких местах себя самое; потрясись тем, что́ он должен был там в те годы выносить, и… и поблагодари Бога, что все же, все же (ценой каких жертв!!) все это пришло, приходит к какому-то концу, – *придет*. И вот первым обещаньем, провозвестием подтвержденности того, что родной, чистосердечный и умный воздух сомкнётся вокруг меня, может быть еще при жизни, были два эти явленья. Особенно благодаря тому, что в своей равновеликости они существовали независимо от меня и друг от друга, далеко в пространстве. Случайными путями, из третьих рук, попалась мне «П<оэма> Конца». Такими же случайными обходами пришла весть о моей прикосновенности к R<ilke>. Оба факта и не глядели в сторону Волхонки. В мученическом одиночестве они двумя столбами били где-то в свою высоту, головокружительно родные и любимые. Оттого и первое, что я сделал, было порывом тотчас же вас уведомить друг о друге и породнить. Для меня же с этой минуты (после 12-тилетнего перерыва!) началось что-то другое. Волны едва чаемого воздуха уже существовали. Он становился мыслим в предвосхищеньи. Я понял – элементарно, по-мужски, – что можно и стоит и надо бороться. Что надо напречься, и хотя бы на голову встать, но взять свое и быть с вами. Так зародился Шмидт, так собралось и выпрямилось отношенье к уже сделанным частям «Года». И когда, нарычавшись и отхрипев в своих рабочих припадках, эта, названная по имени, кликнутая и призванная вновь через 12 лет к существованью воля падала в себя, она себя узнавала и себе радовалась в постоянном и прямящем обожаньи тебя, как в своей отныне постоянной, незаслуженно *счастливой* участи. Помнишь, как много я тогда тебе писал о счастьи? Так оно и осталось, так есть и сейчас. – А чтобы ты все-таки вспомнила о бельгийских композиторах полностью и по-настоящему, – вот выдержки из его писем того времени. «Ich fühle mich von einer Welt, die *imstande* war, in so sinnlosem Wirrsal ohne Rest aufzugehen, widerlegt und verlassen und vor allem *bedroht*. Denn dieses sollten, müssten, mehr als frühere, *meine* <подчеркнуто дважды> Jahre sein, Jahre geschütztester Leistung, und nun weht mir der böse Zufall eines *aus Menschenmache hervorgegangenen Untergangs* ums preisgegebene, arme,

wehrloseste Leben. Was soll ich sagen? Für die Freunde in Schweden hab' ich das herzlichste Zutraun. Noch 1914 wollte ich wieder hin, nach zehn Jahren; hätt'ich's getan und überstünde *dort* das Ärgste dieser Welttrübe: mir *wäre heimatlich zumut!* Grüssen sie hinüber. *Meine Bemühungen, hinauszukommen, waren vergeblich.* … Noch Eines: der Cornet ist eine alte Sache, *man möge ihn genug sein lassen*, besonders nicht mit Musik ihn vorbringen; mit mir hat er nur von ferne, *mit dieser Zeit vollends* hat er nichts, nichts zu thun. (Подчеркнуто мною. Ты догадываешься? Из «Корнета» вероятно сделали патриотическое «военное» чтенье!!) Ach wie war er anders, anders gemeint!»[135]

Из другого письма.

– Es ist eine Beunruhigung und Sorge, ja eine fortwährende Warnung des Herzens in mir, die mir innerlich zuruft, dass jetzt *unaufhörliche Fehler* geschehen (auf deutscher Seite), ich starre täglich in fünf sechs Zeitungen, und so unbeholfen und reinunkundig ich sie lese, eine jede bestätigt mir's, und mit jedem Atem ziehe ich das vorwurfsvolle, widersprüchige Bewusstsein tiefer in mich ein und weiss den Irrtum und kann ihn doch nicht sagen, *denn wie sollte meine anders erwachsene Stimme* sich plötzlich in den Dienst des gröbsten Momentes finden. Da und dort spricht einer, wie ich reden würde, aus einer verwandten Warnung heraus – Naumann neulich im Reichstag, Prof<essor> Förster, der Pr<inz> Al<exander> Hohenlohe, – aber das sind ja gerade die Stimmen, die keine Geltung haben[136]. – Но все это гораздо выразительнее в общем контексте.

– T<ак> к<ак> вчера, по-видимому, закончилась и моя короткая эпопея с Горьким, то я хочу ее вкратце тебе пересказать, и подробнее, чем я это делал раньше. До поездки A<си> туда у нас с ним не было переписки. Мое отношенье было к нему тем, к которому я опять вернулся и о котором недавно писал Серг<ею> Як<овлеви>чу. К этому историческому признанью и безмерному уваженью осенью у меня присоединилось личное чувство глубокой благодарности за A. Она мне сообщила оттуда, как хорошо он относится к моей прозе, в частности к Детству Люверс. Это меня тронуло и обрадовало, но о своей растроганности я написал только Асе. Потом я послал ему 1905-й с надписью: величайшему оправданью эпохи. Он мне ответил коротким сердечным спасибо'м за книгу и сообщил, что Детство Люверс выйдет весной в англ<ийском> пер<еводе> в Америке. Он также обещал уведомить меня об условьях изданья, лишь только они выяснятся. Тогда я написал первое ему письмо, в котором умолял не заниматься такими пустяками и предоставить информированье меня кому-нибудь другому. Я знал или

представлял себе, какова, по размерам, его переписка, и мне больно было от мысли, что вот она еще разрастется и благодаря мне. Это чувство заботливости повторялось у меня в ряде далее последовавших писем, т. е. оно, больше всего другого, вызывало их, и оно же и повлекло к первым недоразуменьям между нами, т<ак> к<ак> он либо не понял его, либо в искренность этого чувства не поверил. В том же первом письме я прибавил, что если бы 1905 г. был таков, каким мне хотелось его сделать, он бы наверняка обмолвился о нем, и что молчанье его на этот счет многозначительно. Что я прошу его не тратить время на меня и не разуверять в этой неудаче. Приехала Ася. Она мне между прочим сказала, что 1905 его не удовлетворил, а также рассказала о плане с тобою. С.Я. расскажет его тебе во всех подробностях, вплоть до той фиктивной роли, которую А. в этом плане создала для меня. Какою радостной случайностью было для меня в этот вечер то, что до всех этих планов я успел давно и просто предупредить все эти фикции. В тот же вечер, движимый почти сыновней преданностью к Г<орько>му за все то, о чем мне рассказала Ася (да, я забыл еще сказать, что от Аси узнал, что переводчица Люверс на англ<ийский> – М.И.Закревская, близкий друг Г<орько>го, которой посвящен Самгин), я написал ему о твоем значении как поэта, о моей безмерной, не знающей края, благодарности, о том, что моя догадка о его впечатлении от 1905 подтверждена Асей и, следовательно, тем сильнее моя просьба не тратить время на ответ мне, раз все это известно. Это было второе мое письмо. Между первым и вторым был промежуток в сутки: по роковой случайности я написал ему первое накануне А<синого> приезда, а второе в его день. И вот, спустя шесть дней, с таким же промежутком в сутки пришли два его последовательные ответа: одно на первое письмо, другое – на второе. Отвечая мне на неопределенную догадку первого, он начинал «Дорогой мой Б.Л.», и о 905-м отзывался с той *теплой* похвалой, на которую мне показалось недостаточным отвечать письмом и хотелось ответить телеграммой. Мое ответное (в тот же день) письмо и походило по лаконизму порывистой признательности на телеграмму. Но вот на другой день пришло второе ответное, где, значит, он исходил: из моих слов о тебе, из моей, с достаточным тактом и с конспиративностью, навязанной мне Асею (по его просьбе) благодарности за его ласковость к миру, мне дорогому, и наконец из моих слов о подтвердившейся догадке. Его письмо было настолько же ужасно, насколько радостно предшествующее. Он со страшной едкостью, сплошь в кавычках, обрушился на ни в чем не повинную Асю, построив на этой мелкой, всем нам из повседневности известной черте

«третьих уст» чуть ли не психологическое определенье Аси. Далее следовало несколько ограничительных примечаний к канунишним словам обо мне, м.б. справедливым. Далее следовала чепуха о тебе, которой я не привожу из уважения к его имени, хотя мне это трудно, так документально глупо и ошибочно и *так, значит, к вящему твоему торжеству* было бы это утвержденье математика, что 2x2=5, и ты, мол, этого простого правила не знаешь. Заканчивалась эта тирада тем, что тобою, как и Андреем Белым, владеет слово, вы же, напротив того, не владеете им. На это письмо было ответить убийственно трудно. Это было трудно *мне*, по той сложности чувств, тем и положений, которые передо мной встали: одни – в своей справедливости, другие – в естественности своей, третьи в предвидимости. Главное, я знал, что уваженья к нему я не теряю и расстаться с ним должен достойно, т. е. написать надо было так, чтобы письмо не оскорбило его. Однако мысль о том, на какой невинности разыгралась вся эта буря, приводила в отчаянье. Сейчас я расскажу, как и что я ему ответил. Я не знал, как мне быть, говорить ли об этом Асе или нет. Во-первых, он с ней еще не порывал и письмо его меня связывало. Я боялся осложнений, к которым повел бы я сам, если бы ей его письмо *передал*. Но первой я написал тебе, – и там было много «теплых» слов о Зубакине и о каких-то вероятных иеосторожностях, сделанных Асею в соседстве последнего и под его влиянием. Неотправленное это письмо и по сей день у меня. Я призывал тебя в нем к наивозможнейшей пассивности и точности с Г<орьки>м, советуя касаться только известных тебе вещей и ничего, ни даже Аси, другого. Ведь можно было ждать исполненья обещанного, и я боялся, что тут с тобой случится что-нибудь подобное тому, что произошло со мной. Вдруг какое-то чувство подсказало мне, что лучше все предоставить судьбе и ни о чем *этом* тебе не заикаться, и видишь, все к лучшему, – оно не обмануло меня. А теперь о том, что́ я ему ответил. О тебе было вдвойне, и было это к концу письма. Все же оно было посвящено двум вещам. Во-1-х, я спрашивал, за что он взвалил *на меня* бремя своего раздраженного мненья о З<убакине> и А. и что хотел этим мне вменить. Должен ли я затаить в сердце его негодованье и скрыть его от человека (А.), с которым дружен, или же он дает мне право помочь им порвать друг с другом? Во-2-х, я взял под *одинаковую* защиту как А., так и З., и последнее не должно тебя удивлять, п.ч. никакое мое отношенье к З. не разрешает мне несправедливостей к нему, а А. и З. я тут защищал именно от несправедливости. Я удивился негодованью, которое вызвала у Г<орько>го пустая оплошность А. (с передачей мненья о 1905);

я, не называя этих категорий прямо, звал его от придирок желчного крючкотвора к жизни, к тому, как всегда бывает с передачами. Переходя к другим причинам Г<орьков>ского недовольства ими, я между прочим ему написал, что, по-моему, мы от других, в виде нормы, вправе требовать только благородства и порядочности, гениальности же, в виде нормы, каждый обязан требовать только с себя. А в отношеньи первых требований А. и З. чисты и перед ним, как перед Богом. Однако всего труднее было выразить то, что – прости меня, мой друг, за это вмешательство, – составляло цель и оправданье письма. Я должен был попросить его отказаться от всего этого плана относительно тебя. Я умолял его с чистосердечностью и порывом, смывавшим все неловкости и тени и вырывавшим меня из того проволочного круга, которым они нас обоих опутали, забыть про обещанье, п.ч. оно добра не принесет ни тебе, ни ему. А заканчивал я так: я люблю Цветаеву и Белого и не уступлю их Вам так же, как не уступлю никому и Вас. Ответом на это письмо было предложенье прекратить переписку. В тот же день я узнал, что он заболел воспалением легких и при смерти. Я написал ему глупое, взволнованное письмо с заклятьями и пожеланьями, в стороне и за 1000 верст, разумеется, от тебя и Белого и Пастернаков и пр. и пр. Т<ак> к<ак> я сижу дома и ничего не знаю, то я строил какие-то вероятные предположенья о рукописи 2-й части Самгина, «находящейся невдалеке от постели», и «ждал от нее чудес больше, чем от врачей и от лекарств» и пр. и пр. Потом я узнал, что эта 2-я ч<асть> давно написана и уже набирается для Моск<овских> журналов. Но что же преступного в этой ошибке? Затем захворал я и несколькими бессонными ночами болезни прочел 1-ю ч<асть> Клима Самгина. Тут же, в болезни, я написал ему о книге с просьбой, которую ты, может быть, поймешь. Я был в бинтах, не спал ночами, был лишен возможности мыться и делать холодные обтиранья каждый день, ни за что не мог взяться, все было подернуто завесой грязной, мучительной и сонливой безотрадности, и в письме я попросил, чтобы он мне прислал обещанного Самгина с надписью в форме пожеланья. Я попросил его пожелать мне чего-нибудь хорошего. В том, что все это обращалось к человеку, попросившему не трогать его, не было ничего ни удивительного, ни навязчивого. Сама судьба игнорировала *его* разрыв со мной. Кроме того, было несколько вещей, заставлявших меня желать примиренья. Среди них тот, например, факт, что вся эта история оставалась тебе неизвестной и что план относительно тебя мог, несмотря на мою просьбу (он ведь ее как будто бы с возмущеньем отверг), стороной, между Сорренто и Парижем прийти к осуществленью.

Или, например, поездка Асеева с еще более радостными планами относительно тебя и опять с Г<орьки>м. Или, наконец, поездка Св<ятополка>-М<ирского> и Сувч<инского>. Но теперь всему этому, и А<сее>ву, и всем гадательным возможностям, и всем попыткам сердца был дан достаточный срок, и совершенное выбытье мое из Соррентийской темы никого не запутает и никому не повредит. Я не только не о тебе, конечно, но даже и не о Сувч<инском> и Св<ятополке>-М<ирском>, когда говорю «никого» и «никому». Именно в верном предчувствии исчерпанных по адресу Г. средств ко взаимопониманью и в чаяньи вероятного конца я и напоминал на днях С.Я., что бесспорными и первыми своими друзьями в любом кругу и окруженьи считаю их, а не кого-нибудь другого. Но как не поставить точки? Суди сама. Вчера я получил книгу. Кавычки – его. Борису Леонидовичу Пастернаку. Пожелать Вам «хорошего»? Простоты, – вот чего от души желаю я Вам, простоты воображенья и языка. Вы очень талантливый человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете потому, что «мудрствуете» очень. А Вы музыкант, и музыка, – при ее глубине, – мудрости враждебна. Вот мое пожеланье. Книгу только сегодня получил из Москвы. А.Пешков.

Хотя это «мудрствуете» очень, вместе с «очень талантливым человеком» (вроде «молодого человека»), в особенности же философское утвержденье о музыке, … хотя все это, говорю я, того же ранга, как замечанья о тебе, но я не предаю его, сообщая тебе надпись, п<отому> что это не письмо, а надпись в книге, которую каждый может увидать. Я поблагодарил его, искренно и по-хорошему, за подарок и не скрыл от него, что надпись прочел со смешанным чувством. Я признался ему в том, что мне грустно, п.ч. мое чутье отказывается решить, какая доля осужденья омрачает радостность его привета и насколько его симпатия ко мне уравновешена антипатией. Мы ему категорически чужды. Я ни слова, после пробы с тобой, не писал ему ни о себе, ни о поэзии, ни о чем бы то ни было с этой стороны, а только о человеческих, живых вещах, которые мне казались общими для нас всех. И если я когда-нибудь для кого-нибудь из нас мечтал о хороших с ним отношеньях, то, конечно, только по линии этих простых, общечеловеческих чувств. Ведь только о таком пожеланье я и думал, когда о том его просил. Он же понял, что я прошу его об отметке, о полном литературном балле, и выставил мне его с двумя минусами! И это *я* мудрствую, а его отношенье: к А., к З., к тебе, к моим словам и просьбам и т. д. и т. д. – просто! И надпись его проста! И он не знает, что можно уважать его без меры и даже любить как явленье и в то же время не хотеть не только быть из счастливцев, которые ему нравятся в искусстве без

минусов, но даже и им самим. – Мне очень трудно было распутать перед тобой всю эту историю, и как все последнее время, при страшной торопливости, я ее изложил невозможно-суконным языком. Я, наверное, что-нибудь пропустил в ней, и очень м.б. важное, та́к она сложна. Но чувство подскажет тебе все коррективы, если ты чего-нибудь, за пропуском не поймешь. Если хочешь мне доставить удовольствие, не касайся этой истории ни в письме ко мне, ни где бы то ни было еще. И не думай, родная, что в желаньи освободить тебя от осложненного до недосягаемости великодушия Г., я действовал легко и с запальчивой опрометчивостью. Нет, все обдумано и переустроено.

<На полях:>

Если ты не поверишь, что зачеркнутое – непростительный сентимент, то я тебе его раскрою. Я прошу поцеловать Сережу, зачеркиваю, пишу С.Я., зачеркиваю, заменяю Сережей. Какова же сумма? Я целую Сережу и прошу поцеловать Серг<ея> Як<овлевича>.

Не сердись за такую длинную реляцию: мне ведь еще труднее было ее писать, чем тебе читать ее.

Удалась ли поездка *друзей* в Сорренто? Крепко обнимаю тебя, самая родная и милая сила на земле, тебя и всех, кто с тобою.

Больше таких чудовищных писем не будет. Пишу все утро. А от «отчета» голова болит.

Письмо 145
<ок. 10 января 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Моя родная Марина! Приехал человек, привезший Версты. Кто же теперь привезет «После России»? И потом, по своей глупости, я некоторое время думал, что Федра будет уже в них, в III-их, но по последнему письму догадался, что III и готовили давно, в одно время с твоею работой над Федрой. Но т<ак> к<ак> III-и обложкою похожи и на IV-й №, то хотя я и знал, что Федры в них не будет, я это отсутствие *вижу*, как какую-то положительную, сине-желтую неожиданность. С Моря и Новогоднее я уже знаю и писал тебе. Скажи мне правду, Марина, бывает ли при чтеньи «меня» то, что неизменно, как действие простого закона природы, охватывает при пробеге твоей страницы, лишь только ее развернешь. Как чувство элементарное и неразложимое, его трудно описать. Все вероятья за то, что мы – люди и что людей еще пребольшое множество там – вообще – кругом. Есть какие-то загадки о душе и ее судьбе. Есть участки, куда сажают по недоразуменью и откуда не выпускают, пока не догадаешься вдруг сойти с ума (общество, история, вечные вопросы и пр.). Есть золотые силы, называющиеся умом, сердцем, голосом слова. Есть в косматом реве природы минуты, когда она надеется на переделку всего сделанного, и в этом наплыве веры, называемом весною, хочет детей, и до того влюбляется в свою трехмесячную надежду, что влюбляет и нас. Есть минуты, когда в пространстве, которое до того занимала одна она, оплакивая раскинувшийся под ней муравейник, вдруг проносится сонм равновеликих ей Природ, о которых пишут романы. Есть все это, и есть еще более того неисчислимого, качественного, свежего, уходящего, – и обиход смотрит на все это в окно, и так привык видеть эти вещи за мутным стеклом, что, возведя слабость в заслугу, начинает поучать в статьях, партиях, университетских лекциях и пр. и пр., как глядеть, чтобы видеть помутнее, и время катится, и уличные прохожие земного существованья валят на службу, и все становится литературой в Верленовом смысле слова. И вдруг – бац, оконные створки врозь, – говорит поэт, и о физическом движеньи его губ, точно о прерывистых рассужденьях ветра, знают не только твои легкие, но и волосы и пола пиджака. За этой головою живет все, потемненное навыком мутновиденья, но только на один первый миг оно за спиной поэта, на тот миг, в который переживаешь всю поэзию как визит, как явленье. Потому

что в следующую же минуту начинается чтенье и вниканье, и вся улица вселенной, поворотясь, по тексту вплывает к тебе. Эта божественная, орфеева, временно обритая голова вдувает тебе в глаза и во взволнованное горло вдруг по лирическому кильватеру выстроившийся мир (глотай, давись, реви и обмирай), точно игрушечную флотилию. Ну и конечно, я ничего не сказал, сколько ни намямлил. Терпеть не могу этих вылазок в будущие разговоры с глазу на глаз. Ты – удивительна, ты – непередаваема. Я никогда не смогу тебе дать понятье о том – что́ ты в действии и выраженьи. – Когда ты пишешь о контекстах, не забывай, как я в важнейшем – твоей же вязи. Я то же самое, в основном, что ты. Но я это неизвестное в прозаическом рабстве, а ты – на прозаической свободе[137].

Пробежал, конечно, и статью Дм<итрия> Петр<ови>ча. Прочти дальше и сделай за меня то, что сочтешь нужным, т. е. передай или не передавай ничего, как рассудишь. Мне легко было бы ему написать в том случае, если бы несоразмерность его похвал была вещью *только* незаслуженной (как оно и есть на самом деле). Тогда бы я так ему и сказал: растроган и сконфужен и пр. и пр. Но дело, сложнее. Вот слушай. Он вообще – умница без меры и человек глубокого пластицизма. Все его статьи всегда меня восхищали, да и в этом же номере прекрасны его Годовщины и Библиография. Он их писал сам, без всякой помехи. Статью же о «Годе» скомкал ему я. Вот как это случилось. Осенью я написал ему, что он единственный человек, чье мненье об этой черно-красной книжке станет и моим собственным и прекратит мои колебанья в отношеньи ее. Я и сейчас держусь такого взгляда на его мненье насчет этой контекстово-водопроводческой, исторической, адовой, уродливо мужской работы. Но именно эти мои слова, вероятно, и связали его, не в мысли, так в эмоции. Вероятно, он писал ее, боясь недодать в чувстве, т. е. все ему казалось недостаточным после моего заявленья, которое на него действовало (и его отвлекало), как доверчиво протянутая рука. Вся статья хороша, тонка в разборе и констатациях, вся сплошь преувеличенно незаслуженна, но есть четыре слова, в нестерпимости которых нельзя винить его, п.ч. в них-то и сказалась аффектация (даже и стилистическая), повод к которой подал я своею несчастной фразой. Но, во-первых, я имел в виду личное ко мне письмо от него, а не статью, что было ясно. И во-вторых, я не напрашивался на ласку, а говорил о самостоятельном мненьи математика о полуматематической работе. (Мненьем о «Сестре» или какой-нибудь иной личной внематематической вещи я так глупо и откровенно никогда не интересовался.) Эти 4 слова, как ты догадываешься, в последнем

абзаце. «Великий революционер и преобразователь русской поэзии». Да, но в том-то и суть, что всему виной недоразуменье. Сам сказал – Этими 4-мя словами я изгадил ему статью, чего бы не было, не случись недоразуменья. Но вообще о «Верстах» (о Сувчинском и Струве) как-нибудь в другой раз.

<На полях:>

Сережину статью обнял по-братски, как младшего брата: *так точно и я тянусь* за проблемой, прикуривая у курящегося теоретизма. Страшно похоже. Но это *я тебе* говорю. Ты же его поцелуй, не говоря от кого и почему.

Крепко обнимаю тебя, и да будет это письмо совершенным секретом. «Версты» просмотрел бегло.

Письмо 146
12 января 1928 г.
Эфрон – Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович,

Получил Вашу открытку о Г<орьком>. Я думаю, что Вы по отношению к себе не правы, углубляя до такой степени Ваши внутренние ответы и отклики на его письменные. Хорошо не представляю себе – вернее, совсем не представляю (да, кажется, и Вы не до конца знаете), где главное в том клубке, о котором Вы пишете. Но и не зная, уверен, что это главное находится в плане очень элементарных и очень характерных для Г. предвзятостей. Г. мне представляется человеком, наделенным необычайной зоркостью в тех случаях, когда он смотрит со стороны, и совершенно незрячим, когда сам проявляется в действии. Другими словами – полярное несовпадение Г. – автора романа с Г. – героем романа. Заключаю это не из личного с ним знакомства (видел его лишь раз и бессловесно), а по ряду наблюдений издалека его окружения, склонностей и привязанностей. К подобным людям легко приспособляться (пример – дружба с ним его антипода Ходас<евича>) и почти невозможно строить отношение по прямой – в упор. Вряд ли Ваше предположение о его замученности Вами и М. через Асеева и Ход<асевича> справедливо – вернее думать, что главное содеяно А<сей> и З<убакиным>. Последний ужасен (говорю понаслышке), и чувство тошноты, им вызываемое, должно быть длительным. – Помогите А. с ним разделаться!

Получил короткое извещение о состоявшемся свидании Сувч<инского> и Д<митрия> П<етровича> с Г. Все, кажется, обошлось прекрасно. Обе стороны разговорились, договорились и остались довольны друг другом. Но Ваши догадки о цели свидания совершенно ошибочны. Ни о Верстах, ни о М. речи не было, да и не могло быть. Состоялось лишь взаимное ознакомление, для нас очень важное, но не в том смысле, в каком Вы предполагали. Всякая связь с Г. лишила бы нас независимости, а в ней наше главное достоинство. Насколько ценно нам его сочувствие и расположенность со стороны, настолько было бы опасным, а м.б. и гибельным включение его в наш круг.

Дорогой Борис Леонидович, то что Вы пишете о нас – нам более чем дорого. Я думаю – Вы должны чувствовать, как прочно и накрепко мы связаны с Вами и как в нашей работе Вы постоянно и действенно соприсутствуете. А одиночество, о котором Вы

пишете – временно, и верю – недалек день его окончания. Только не терзайте себя осложнениями с Г. и не возводите случившегося на не соответствующее иерархическое место Вашей внутренней жизни.

Сердечно Вас обнимаю.

С. Э.

<На полях:>

Письмо это было написано до получения Вашего длинного письма М. Все же свое отправляю.

Письмо 147
12 января 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Напрасно ты вдаешься в сближенья с Р<ильков>ским белокровьем: этим ты, как угодно отдаленно, превращаешь свою болезнь во что-то допустимое, и нельзя сказать, как пугаешь меня. Знаю я эти нарывы, знаю и нравы их. Как и сотня других вещей, мелких и громадных, вызванных войной, они могут быть побеждены долготерпеливым недопущеньем их и ни в какие параллели с концом Р<ильке>, – явленьем совсем иного исторического стиля, идти не могут. Не смейся над этим психологическим анализом накожной неприятности. Ты не представляешь себе, насколько эти вещи связаны с душевною тактикой по их адресу. Причинно они с нервами не связаны, а вызваны истощеньем. Но раз появившись, они проходят скоро или загащиваются надолго, а это и зависит уже от нервной системы, потому что управленье биологическими сроками находится, конечно, в этом ведомстве, и сюда поступают прошенья об отсрочке ото всех на нас паразитирующих испытаний. Надо, чтобы тут они получали отказ, – и вот почему меня огорчают твои сопоставленья. У меня бывали они под мышками, и это м.б. настолько же отвратительнее той формы, в какой они у тебя, насколько твои, вероятно, мучительнее. Тогда мне выписали очень хорошую мазь, которою я, после компрессов и прочего, в течение более чем года предупреждал их повторенье, – п.ч. это вещь очень прилипчивая. Главной составной частью в эту микстуру входил некий thygenol, – спроси врача, не применима ли эта комбинация и в твоем случае. Потом я долго, путем постепенно увеличивавшихся перерывов, отучал кожу от этой аптекарской поддержки. Прости, что так много об этом пишу, и не сердись. Но ради Бога не освящай этой возмутительной вольности бактерий, принимая ее, как какой-то мыслимый факт. Пожалей себя. Ведь интуитивно ты не хуже врача разбираешься во всем, что в тебе происходит, и все эти шепоты крови до тебя доходят. Как это ни скучно, надо добиться соответствия между питаньем и расходованьем сил. Прости еще раз, я знаю, как иногда это трудно. – Зачем ты говоришь, что я стал забывать тебя? – В том, что *мои письма* стали мало говорить обо мне, есть закономерность, коренящаяся во множестве случайностей этого года, но то или иное качество моих писем, само по себе, такой пустяк, что это меня не пугает. Так, недавно

мне вместо простой сердечной волны в твою сторону, что протерло бы глаза и мне, пришлось измучить тебя утомительнейшим отчетом о Соррентийской путанице, и если ты получила этот отчет, то, наверное, он удручил тебя еще больше приписки в Асином письме. Не хочу каламбурить насчет за*сор*енья слуха и вниманья: какое-то чувство говорит мне, что эти производные от *Сор*ренто слова идут ко мне в твоем ответном письме, которого я еще не получил. Но м.б. я обманываюсь.

15 января <1928 г.>

А сейчас пришло твое письмо со столбцом фамилий и боязнью, что эти *контексты* нас *рассоря́т*. Ты видишь, даже по линии каламбурного словопроизводства мысль у меня идет по противоположному направленью. Я просто забыл, что от Сорренто можно произвесть твой глагол с его угрожающе-двойственным удареньем: мне мыслилось только *за*соренье, т. е. преодолимая, требующая разбора и уборки тягостность. Но ведь всю ее целиком я беру всегда на себя. И если я говорю о докучности моего длинного письма (ты его еще не получила), то ведь это не тебе я по своей воле докучаю, а только *вынужден* допустить случай, где *ты* меня *увидишь* <подчеркнуто дважды> за всеми этими дрязгами. Т. е. мне больно, что я тебя низвел до такого зрелища и чтенья. Если бы ты не была для меня Мариной, я бы просто не мог всю эту путаницу взять на себя: не смел бы и не снес. В значенье же глагола «быть Мариной» я входить не хочу, ты должна знать его смысл. – У меня горячая, огромная, безбрежная просьба к С.Я. Если бы подвернулась возможность воспользоваться на месте, практически «Годом», то эта вещь его полная и личная собственность. Я ничего об этом не буду знать. Тогда только надо будет анапест собрать в четверостишья, Шмидт же останется в неизменности. Я написал бы С.Я. об этом, *но по некоторым* причинам на эту тему можно только промямлить вскользь и лишь на полях. Возможность или мыслимость примененья допускаю, п.ч. был прецедент с «Птицеловом»; и если это неосуществимая чепуха, то пусть он простит меня за просьбу и предположенье.

Читай исподволь себя, когда забываешь, кто ты мне. Это тебе всегда забытое напомнит.

Письмо 148
<1 февраля 1928 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борису. Трехлетие Мура. Je n'y re<garde> pas de si près[138]. Отъезд Томашевских. – Орша. – Туда в страну чудес, глухую, неучтимую. Изв<лекла> тебя к себе, *себя* – к тебе! Провалилась, проп<ала> как в сон нын<ешней> ночи. Москва опоганена Ланнами (воспоминаниями), заселена нечест<ивыми>, перенаселена. Глухие места! Я и ты правы, п.ч. Г-жа Ролан умирала с портретом Бриссо, а Бриссо с портретом Г-жи Ролан. И об этом пишут в учебн<иках> для юношества.

Из-за тебя я в первый раз выслушала 1½-часовой доклад о формальном методе, из которого впервые узнала об Опоязе и несбывшемся каком-то Емельке (М.Л.К.), несколько хороших мыслей Шкловского (наследие по линии дядя – племянник: из которого след<овало>, что Пушкин наследник не Державина. Я: А кого же? – Не исследовано. Сложный узел и т. д. – «А м.б. негрской крови?» – Он не был негром, а *эфиопом*).

Письмо 149
<пер. пол. февраля 1928 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, хочу тебе покаяться в одних страшных <вариант: ужасных> вещах, в которых мы, как во всем, что не наше действие, неповинны. Ужасные вещи три, и они есть одна: в первый раз за жизнь – *скука*, в первый раз за жизнь отвиливание от писанья, точно такое же самочувствие, как у других во время беременности – равнодушие, неохота, пониженный жизненный тон вплоть до тошноты от всего – состояние, знакомое мне только по рассказам, ибо все (3х9=27) 27 месяцев своих жила, как всегда (NB! не подумай, ибо этого не может быть и не потому, почему 99 раз на 100 не может быть, мой случай – сотый: изъятие себя из числа <вариант: выбытие из строя> вот уже около 4 лет). Итак, неохота к тетради, всё чаще и чаще, сбегаю, ища поводов и находя их, естественно, в излишке. Не Россия, Борис, а м.б. любовь. Когда мне в любви не везло (всегда), я отыгрывалась, мое писанье было отыгрыванье от человека (если бы ты знал историю Царь-Девицы и Красного Коня, – да всего!). Последняя моя вещь – Попытка комнаты – почти мертвая. И наивно утверждение окружающих: «Поэма конца (или Горы) мне нравится больше»… – точно она написана не на костях (не только моих!). Я просто, как Ася говорила в детстве, «задушилась». С 1924 г., Борис, – четыре года – ни одного рассвета, ни одного ожидания, ни одних проводов. Да, был Рильке, был – твой приезд, но всё это было еще или уже в Царствии Небесном, всё под черепом. Не принимай меня за то, что я не есть, мне *мало* нужно, знать, например, что через столько-то месяцев я тебя *увижу*. Но знать. Ждать. А я сейчас никого не жду. Это – основное. Второе – отсутствие собеседников, мое вечное в чужом кругу и в своем соку. Из меня возносится, в меня же падает, обрушивается. Фонтан. А я – река. Мне нужно берега, *мимо* которых, и м.б. несуществ<ующее> море, *в которое*. Мне нужно клонящееся и глядящееся в меня, хотя бы чтобы ветки по-иному (по-моему!) двигались и дома по-иному стояли: *не* стояли. Я плеч<ами>, и грудью, и головою чувствую себя рекою, которая не что иное, как ПЛОВЕЦ, несущая других пловцов. В Мёдоне нет реки, и в Мёдоне я не река, меня *застояли*.

Продолжение

Вот из этой несостоявшейся застоявшейся *реки* и прост<ой>

женской моей скуки, п.ч. я никого не жду («Только пела и ждала», отсеки *ждала* – и петь перестанешь) и выведи, Борис, меня настоящего дня: без бер<егов> р<ека> (NB! болезнь ведь тоже бер<ег>, корм<лю> собой недуг (врага), что – меня ест и усыпляет и обескровливает. Как только свободная минута – сплю, могла бы спать

> Und schlafen möcht ich schlafen
> Bis meine Zeit herum[139].

Письмо 150
<февраль 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Мой дорогой друг! Ты не сделаешь ошибки, если в промежутки, когда я тебе не пишу или пишу мало, станешь просто жалеть меня. Это всегда бывает вызвано незадачами, неприятностями или чем-нибудь в этом роде. Я не люблю слова неврастеник и верю в свое душевное здоровье. Но всякий пустяк, особенно же проявленье глухой враждебности, идущее откуда-нибудь издалека, датированное каким-нибудь 24-м годом, когда меня тут стерли в порошок и довели до решенья «бросить литературу», и вдруг доходящее до меня случайно в 28-м – омрачает меня на недели. Какой-нибудь услужливый «темный» друг докладывает тебе какое-нибудь четверостишье Ив. Приблудного, в те времена возникшее и по странности оставшееся тебе неизвестным. Оно невинно, там только говорится о том, что ты бездарен, как пара сапог. И хотя ты прекрасно знаешь цену *этому* авторитету, а также и то, как и зачем это сказано, но эти чуждо-значащие в чужом и малозначительном голосе слова так напоминают (номинально) твой собственный ужас перед твоим нынешним вынужденно двойным существованьем, что, получив другой смысл, становятся твоей собственностью, аккомпанементом к твоей работе.

Обыкновенно эти мелочи повседневности ложатся на почву, подготовленную действительной, объективной неприятностью. Я не знаю, достаточно ли ты знаешь и умеешь ли живо это вообразить, что я тут существую совершенно dépaysé[140], что сердцем и будущим я абсолютно вне всего того, что могло бы быть моим кругом, моими радостями и пр., что письма, приходящие ко мне из далеких углов России, я пробегаю условно, как далекий секретарь моего горячего и наполовину находящегося у тебя одиночества, что о себе читаю статьи и рецензии как о чужом, что интересы свои блюду как интересы человека, который мне поможет матерьяльно тебя увидеть? Я бы не хотел, чтобы ты себе это представляла романтически, как *только* чувство разлуки, как чувство, которое может усиливаться и ослабевать, п.ч. то, о чем я говорю, гораздо шире, грубее и постояннее такого представленья, и если бы существовала фотография нравственных состояний, мою душевную ожесточенность можно было бы сфотографировать в любой момент, меня о наводке объектива не предупреждая. Иначе

говоря, мне за границу на год, на два надо, как никому. Ты знаешь, что я один не поеду, и представляешь, вероятно, себе, как это трудно втроем. У меня на этот, денежный так сказать, счет было два плана, и вот один из них рухнул на днях. Относительно второго у меня нет еще ответа, но мало веры уже и в него. Тогда мне останется выгонять требуемое прямо из-под пера, т. е. сколачивать теми самыми недописанными прозами о Рильке, «Спекторскими» и прочим, т. е. всем тем, что по своей медленности до сих пор не поспевало и за нуждами дня. Я боюсь панического чувства скоротечности времени, перед которым, вероятно, вскоре стану. А за ним все у меня обыкновенно и вовсе выпадает из рук. Между тем твои письма вибрируют и колеблются, подымаются и опускаются, как все в жизни. Они живут и бывают двух родов. Одни из них прочитываешь, как то, что сообщает тебе безусловно и категорически дорогой человек: в них все ценно своим источником. Другие действуют почти анатомической близостью своего строя: написанное говорит о пишущем больше, чем он о том ведает. Таково из двух твоих последних писем – первое, где о читке Федры, о Сувч<инском> и его рассказе о Г<орьком>, о Т<омашевско>м и пр. В этом письме столько тебя невольной, реальной и живой, и твоя естественность так близка, что точно испытав твое присутствие, я как в тумане пошел после него к Асе, чтобы попеть о тебе, но не застал ее дома.

Высылаю тебе № Печати и Революции, где статья об эмигрантской литературе, и о тебе, и о Верстах. Но ведь у тебя нет *мерила*, чтобы оценить *даже и такой* тон! А как мне дать его в письме тебе? Горбов еще и партийный к тому же. Оцени и насладись.

Попроси прощенья у С., что не пишу ему. Мне грустно, п.ч. поездка пока что пошла прахом.

Письмо 151
25 февраля 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая моя! Уже затомашились и томашатся. Я их не видел, они, верно, прямо проехали в Л<ени>нгр<а>д. Он пишет то открыточку, то – тем же бисером, – сопроводительный бланк при посылке. Ее не принесли на дом, я пойду сейчас за ней, и т<ак> к<ак> буду на самой почте, то, обижая тебя и то, что из рук твоих, пишу тебе до полученья и разворота. Благодарю тебя. Твои подарки, как камни по мелководью, как мостки: ты заставляешь эту давнюю воздушную версту (Die Antenne spricht zu der Antenne[141]) жить в материи. Итак, о Т<омашевском>. Я его не знаю. Кажется, я был однажды, до 22 г., на каком-то его докладе и набросился на него, и никто меня не понял. Я смеялся над вечной «научностью» словесников, которая мне кажется немужественной, нелепой. Я говорил, что описательные науки возможны лишь тогда, когда они подхватывают описанье, начатое самим объектом их изученья. Так, ботаник продолжает курс, который в своем росте и цвете и самохарактеристике описывает растенье. Яблоню можно описать только потому, что раньше нас она сама себя описывает. Это вечный парадокс биологических наук, я его однажды подсмотрел на психологии, тоже – «наука», рабски и грамотно записывающая свободные и безграмотные слова пациентки. «Научность» же формалистов, по крайней мере в той стадии, в какой она тогда была, заключается в совершенном нигилизме метода и предмета. Они с'обезьянили у точной науки ее деловой цинизм и думают впасть ей в тон, приводя к нулю предмет своего исследованья. Вообще формализм есть метод ничегонеговоренья ниочем. По счастью, его теперь и не существует. Все они стали теперь честнейшими историками литературы, с большими подчас знаньями, с чем их и можно поздравить. Что до Т., то я его плохо помню, мы грызлись, я его обидел, и сейчас я не столько равнодушен к нему, сколько свой интерес к нему хотел бы отложить до после-смерти. Она написала мне письмо о тебе. На него я ей отвечаю посылкой 1905-го с надписью: «Р.Р.Т<омашевск>ой, в знак благодарности и на память о ее знакомстве с моим лучшим другом и любимейшим поэтом». Благодарю ее за привоз и пересылку. В итоге же ее письма́ – следующее. Разумеется, ты не была бы собой, если бы поступила по-иному, и вообще м.б. мой упрек не имеет смысла и противоречит себе. Но чего-то мне все-таки жаль. Зачем она знает

о твоем «исключительном интересе» ко мне, и знанья ее так односторонни (если уже допущены), что я их спешу пополнить и поправить в надписи? Отчего ты говорила о себе? Почему ты не сказала ей: «Он любит меня как свет небесный, и если, Р.Р., Вы этого не знаете, то у Вас нет литературных познаний, в настоящее время необходимых». Зачем ты вообще говорила с ней? Я ее не видал, и м.б. в своих словах покаюсь. Я знаю, иногда в одиночестве трудно носить эту постоянную преданность, но ведь ты счастливее меня: раньше я тебя носил в Леф или к Асееву, – но ведь я с ними больше не вижусь; тогда как у тебя под боком родной человек (С.), который, по сравненью со всеми очевидчествами Т<омашевски>х, – вчера от меня, и твое разлетающееся одиночество поддержит трезвым разделом. Как бы мне хотелось, чтобы это живо коснулось Жени когда-нибудь. Когда я осенью был в Петербурге, она в мое отсутствие прочла «Поэму Конца» и поразилась ее силе. Я тебя попрошу когда-нибудь об этом, т. е. о письме к ней или еще о чем-нибудь. Кстати, не знаю, к чему эта Т<омашевская> вздумала посылать тебе вырезку. В ней нет ничего дурного, и все м.б. правильно, но она очень случайна и в своей отдельности не имеет смысла. За этот месяц до меня, случаями, дошло 9 таких заметок и рецензий и 3 больших статьи. Из них меня больше всего растрогала статья И.Розанова в периодическом сборнике «Родной язык в школе» своей живостью, непосредственностью, биографическим правдоподобьем и пр. И хорошей, благородной наивностью среднего, одинокого человека, беззаветно любящего поэзию и до последней простоты знающего ее. Вдруг бытовой русский книголюб, на которого старается Х<одасеви>ч, возвысил свой голос. Между прочим, ты помнишь, что Поэму Конца я получил не от тебя? Ну, так вот, пришла она в списке из тех вод, где водится этот Румянцевский отшельник, если и не прямо от него. Твое предложенье о подписке невыполнимо: пересылать отсюда деньги нет никакой возможности, я это в поездку Асеева до конца проверил. Но то, что ты сообщаешь о задержке книги, просто ужасно, и меня как громом поразило. Надо найти какой-нибудь выход. Не может ли С. или ты занять где-нибудь денег месяца на два? Дело в том, что вся моя эпопея с Г<орьким> началась с его сообщенья о переводе Детства Люверс на англ<ийский> и ее предполагающемся выходе весною в Америке. Я тогда же понял, что авторские поступят С., но доведено ли Г<орьки>м это дело до конца, когда будут деньги и сколько их будет, пока не знаю. Я заикнулся ему об этом в последнем письме и попросил, чтобы мне никаких денег сюда не переводили, если они будут, т<ак> к<ак> у меня есть за границей долги. Но пока ни слуху ни духу.

Я напишу Закревской.

Письмо 152
28 февраля <1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Моя родная! Что скрывать от тебя временами все то, что ты знаешь с избытком *обо мне*, а не о себе? Ведь ты знаешь, как ты любима? Но для меня и С. и Женя – и дети – и друзья – в нем, в этом чувстве, а не вне его. Ты не представляешь себе, как много оно подымает. И как раз от того, что это не частность и не перегретый аффект, его иногда можно не узнать за теми формами, которые оно принимает, когда вмешивается в жизнь. Она не потеряет, и ни одно из ее прав не будет ущерблено, если даст себя подчинить его дыханью. Дай я что-то тебе расскажу. Здесь стала выходить газета «Читатель и Писатель». Опрашивали, кто чем занят, что готовит и пр. и пр. Мне захотелось звякнуть тобой и Рильке в ответ, но не как делом *моего* сердца, не как точкой *моего* фанатизма (п.ч. это и не так), а с объективным спокойствием, как здравым и для всех обязательным фактом, всеми разделяемым. Представь, поместили, и даже, вчера узнал, в Prager Presse почему-то перепечатали, где вдруг (в Праге!) сошлись втроем: известие о Р<ильке> и его смерти, Поэма Конца и мой долг вам обоим. Но это надоело уже тебе, на советской же странице было заявлено впервые. Поместили с почти трогательной оговоркой от редакции, что хотя она на «все это» смотрит иначе (на что?), но, дескать, слова Б.П. так искренни, так искренни, что их нельзя не помещать. К чему же я это тебе рассказываю? Вот зачем. Представь, за тебя обиделся близкий мне человек, братний шурин. Н.Н.Вильям, – я тебе о нем однажды писал. Он как-то написал о тебе статью для Р<усского> Современника, – вернули. В этом году он написал по заказу «Кр<асной> Нови» обо мне (умнейшая и преполезнейшая для молодых статья, где не похвалы, а *дело* и пр.), – и с тем же успехом: за слово «апперцепция» вернули и за то, что не отдал должного моему «общественному сдвигу». Так вот, в этом моем упоминаньи о тебе его обидело, что я назвал с тобою рядом Маяковского и Есенина. Вот эта фраза. «В те же приблизительно дни мне попалась в руки “Поэма конца” Марины Цветаевой, лирическое произведение редкой глубины и силы, замечательнейшее со времени “Человека” Маяковского и Есенинского “Пугачева”». Не надо было этого говорить. «Но я же не для вас это писал, Количка!» – «Все равно, вы, Б.Л., так не думаете, вы знаете цену каждому в отдельности, вы унизили М.И.,

М.И. вас за это не поблагодарит». Вот видишь ли, мне, вместо водворенья тебя здесь, надо было бы сослать тебя на Св. Елену и, рассорив со всеми здешними силами, афишировать свое не разделимое ни с кем поклоненье тебе (да его бы и не поместили!).

Родной мой друг, биографическая проза движется до чрезвычайности медленно. Она тебя разочарует. Матерьяльная необходимость заставила меня отдать в «Звезду» небольшое и до смешного незначительное начало. Оно мало говорит о дальнейшем. М.б. я его тебе пошлю, но так: через С<ере>жу или С<увчин>ского. Позволь через второго. Понятен ли тебе такой обход? Мне хочется на пути к тебе забрать побольше общей родственности в дорогих лицах. Ну не сводник ли я? – А м.б. то же чувство толкало тебя к Т<омашевской>? Но то Т., а то – С., – разница. Крепко обнимаю тебя и без конца целую.

Письмо 153
<4 марта 1928 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, я всегда буду тебя уступать, не п.ч. я добра или не вправе, а п.ч. мне всего мало, чем больше – тем меньше, и на этот свет я всё равно давно плюнула – или махнула рукой. Когда я вижу, как сходятся и расходятся, сводят и разводят, меня охватывает ужас от их уверенности / устойчивости, тот же ужас (недоумения) охватывал меня в первые месяцы 18 г., когда я увидела, как все вокруг стали устраиваться накрепко в воздухе, как *все поверили*, – и еще раньше, после землетрясения Мессины. Я тогда в Сицилии, сев в цинковую ванну, чуть не умерла от иной достоверн<ости>.

– К чему всё это? Чтобы сказать тебе, что никому из твоих и моих ничего не грозит, не п.ч. *я не* гроза, а п.ч. моя гроза, *я*, гроза, семей – чужих и моих – иду мимо, эти поля миную, разражаюсь не так и не здесь.

Ннно, Борис, уступив заранее всё *здесь*, ничего не уступаю внутри, ничего не включаю и не совмещаю. Женю твою любить не смогу, как твой *не мною* согретый сердечный левый бок. Я всегда буду думать, что ты со мной был бы – нет, не то – что своего ребенка от тебя я бы любила больше, т. е. en plus gr<ande> connaissance de cause[142], чем она своего, и много других вещей буду знать. Я буду задушена всей своей правотой, равняющейся здесь бесправию. Не надо мне ей писать, мне очень легко любить, меня очень легко любить, меня все женщины любят, самые разные, я им тот homme rêvé[143], всем, всем —. И именно п.ч. та́к начинать эту любовь между Женей и мной – бесполезно, лишняя боль, п.ч. человека напополам не раздерешь. Всё это – голое, грубое, —

О другом. Чтобы понять *тебе* меня в другом, в моем соответственному нужно было бы тебе говорить вещи, которые написать нельзя, я большой трус, рука не отваж<ится>. Из-за трусости руки, да что́ – руки: языка! я и загубила свою ж<изнь>. Из-за невозможности сказать.

А внутри выла и орала (выло и орало) с первой минуты. Борис, пойми меня: я всю жизнь и в данный час не на воле и не на привязи, жена и не жена, не *чья*-нибудь и не ничья, я со всей моей четкостью так напутала… Есть грубые слова и всё, и здесь бы многое дал формальный метод. И главное: что я всё чудесно знаю: гениальный врач над безнадежным больным (это я, кстати,

сказала о Прусте).

Борис, я всегда жила любовью. Только это и двигало мною. Все вещи напереч<ет>, н<и> одной безымянной, хотя чаще: псы, а не отцы. Сейчас – до-олгое сейчас – полных четыре года я никого не любила, ни одного поцелуя никому – 4 года. Сначала (Поэмы конца, горы, Крысолов, Тезей) жила старым порохом. Письмо с моря – игра (с морем!), Попытка комнаты – <пропуск одного слова> Федру я уже писала в окончательном тупике, абсолютно равнодушная к ее судьбе / ко всем в ней, так же. Начало иссякновения. Прорыв – Письмо к Рильке, единственная после Крысолова моя *необходимость* за эти годы. Был бы жив Рильке, приехал бы ты. —

С 1925 г. ни одной строки стихов. Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви – источник. Поэт мне будет служить до последнего вздоха, живой на службе мертвого, о, поэт не выдаст, а накричит и наплачет, *но я-то буду знать*. Просто: такая жизнь не по мне, в Чехии был колодец, и ведро, и деревья, и *нищенство*, и *всё*, что ты знаешь и чего не знаешь, в общем я всю Чехию насквозь пролюбила, отсюда – всё. А сейчас тоска без тоски: всё же промчится скорей песней обманутый день. И я их гоню, да, загоняю, зовут – иду, в музей так в музей, на лекцию так на лекцию, и ничего мне этого не нужно, мне нужен физический стук чужого сердца в ухо, иногда завидую врачам.

Мне нужна моя собственная душа из чужого дыхания, пить себя. Та сушь, которой я сначала так радовалась, губит меня.

Сейчас Егорушка по долгу чести. Сказка, небывалая сказка, сама себя завораживаю – *о, как я знаю свою кривую*. С 42° Поэмы конца к 35° Федры, к 32° Поэмы Воздуха.

Пойми меня правильно. Крысоловом (*мною* во мне) я *отыгрывалась*, как когда-то Царь-Девицей. Ведь две возможности справиться: либо Поэма Конца (ты, тебя, тебе, тобой и т. д.), либо Крысолов / либо войти в рану, поселиться в ней, либо засыпать ее горящей золой, на которой *новый* дом. Этой золой и домом был Крысолов. В рану – над раной – но всегда *РАНА*.

А – с чего мне сейчас писать? Я никого не люблю, мне ни от кого не больно, я никого не жду, я влезаю в новое пальто и стою перед зеркалом с серьезной мыслью о том, что опять широко. Я смотрю на рост своих волос и радуюсь гущине. И радуюсь погоде. И всему очередному, вплоть до блинов у Карсавина, которые пеку *не я*. В ушах жужж<ание> Ев<разийцев> *<3 сл. нрзбр.>*, в глазах пробеги очередного фильма, вчера, например, Декабристы. Кстати, вчера впервые <с> России услышала ушами слово «товарищ» (зал был советский), очевидно *здешние* опаздывают. Смотрела, думая о тебе, на всех молодых советских барышень, в

меру нарядных, в меру сознательных, улыбалась.

Да, Борис, сейчас умирает брат моей подруги, брат Вашего московского Чацкого (Завадский), Володя, которого мы с С. угов<орили> сделать операцию. Он совсем умирал (туберкулез кишок), мы понадеялись на нож, Алексинский сделал чудо, больной стал было поправляться, но с удесятеренной силой перекинулось на легкие, словом общий туберкулез, безнадежн<ый>. Если бы меня через стену родных, врачей и сиделок допустили к нему, я бы сказала ему: «Володечка, на час раньше или на час позже… Позвольте мне открыть окно, впустить к вам солнышко и взбрызнуть вам столько морфия, чтобы вам стало совсем хорошо – навсегда». Я бы говорила с ним весело и деловито, как лучшие врачи – наверняка. И – м.б., не знаю, скорей да – предложила бы ему поменяться, уступая бы ему свои остающиеся годы, как всегда всю жизнь и особенно в Советской России уступала вещи тому, кто наиболее – более меня! – в ней нуждался, будь то хлеб или книга или <оборвано>. Принадлежность вещи по признаку наипервейшей в ней необходимости, вот мое освящение и освещение собственности.

Так Володя прекрасно, ничтоже сумняшеся, употребил бы мои даром-зрящие дни, не гнал бы их и не <пропуск одного слова> бы так бесполезно. У меня *всё* время, Борис, сознание, как у некой старухи, что я заедаю чью-то жизнь. Не от того, что я даю меньше, а другой дал бы больше: нет! *беру* меньше. Не в коня корм. Клянусь тебе, что пишу это письмо в полном сознании и твердой памяти, у него нет числа, «de toutes les h<eures> de ma vie»[144].

«– Ну, а *я* <подчеркнуто трижды>?!!»

Ты? Последнее здесь, как Рильке первое там, то последнее, чего я захотела и не получ<ила>. И еще, Борис, Россия так далёко, после вчерашнего смотра войск (в отд<еле> Смесь)

еще дальше, после сегодняшней крестьянки М., учащейся стрелять по портрету Чемберлена, – еще дальше, Рильке на том свете, а Россия всей прор<вой> сво<ей> так<ой> ту-свет, что м.б. вру, говоря последнее здесь, м.б. – перв<ое> *там*.

Вот тебе отчет.

Письмо 154
<ок. 6 марта 1928 г.>
Пастернак – Эфрону

Дорогой Сергей Яковлевич!

Сейчас, на этой незаписанной странице, я ищу поддержки у Вас. Утренний час, я захожу за Вами и, не сказавши М., мы с Вами бродим по нижеследующим строкам, они ленятся на солнцепеке, по ним, из пятой в десятую, поют петухи, мы с Вами давно перешли на ты и обходимся без отчеств. Я рассказываю Вам, как глупо и болезненно я устроен, как множеством роковых случайностей намеренно затруднен, заторможен мой шаг. Как, позабыв обо всем, чему успели научить годы, вдруг, на смену рабочему уединенью, начинаешь принимать людей и ходить если не к ним, то в места, где их можно встретить. Как двоит и принижает симпатия, идущая, вероятно по недоразуменью, путями, на которых ее нельзя принять и на нее ответить. Как наблюденья, произведенные не в пользу наблюдаемых, уничтожают не их, а тебя. Как, повесив голову и с опустившимися руками, возвращаешься в свое логово. Но неузнаваемо уже и оно, оскорбленная твоим отсутствием, ревнивая работа, как оказывается, оставила его на этих днях; она сбежала не сказавшись куда, и в ее добровольное возвращенье веришь только оттого, что уж кому-кому, а ей известно, как она тебя наказала, и положенья этого не выдержит и сама. Но время идет, на свете есть смерть, между тобой и теми единственными, которых любит и она всем своим раскинутым миром – неисчислимые версты и препятствия; чтобы их одолеть, нужны деньги, для этого надо работать без перерыва; зачем же, играя мною, она так страшно рискует сама? Ведь эта встреча – *ее* подорожная, ведь Вы нужны ей не меньше, чем мне. Или это круг, из которого нет выхода? Трезвеешь ты, – теряет голову твое назначенье: собираешься весь в комок почти непосильного, изматывающего благоразумья – безумеет твоя работа. И вот мы бродим с Вами, уходим незаметно за Девичье, верим, что скоро заговорят колеса, и, близкие друг другу люди, делаем друг с другом чудеса. То я, легко и отрывисто, отвечаю Вам на Ваши рассказы то, что должен был бы Вам сказать облачный кругозор, то в ответ на свои слова слышу и от Вас такие же возраженья. Скользят лошади, блещут крыши, мы расходимся, пьяные и осчастливленные, убедясь еще раз, что дружба – вещь баснословная и сверхчеловеческая, что другом называется тот, кто одаряет словом воду и воздух и, зарядив их

этим даром, оставляет потом с тобой.

Я пишу Вам в состоянии очередного упадка. Были встречи, слышал глупости, видел мерзости, видел одаренных людей, которые преждевременно впадают в детство. Видел вчера новую кин<ематографическ>ую картину талантливого режиссера, автора «Брон<еносца> Потемкина», на тему «Октябрь». Режиссер и оператор рослые, светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди. Был просмотр для литераторов, для печати. Были лефовцы, были все, для кого сделана картина. По просмотре из зрительного хлынули толпой в другой зал, вроде фойе. По смежности находилась темная каморка. В ней скрывались оба автора фильма. В зале толпились люди, похвалы которых были обеспечены. Черт их дернул, постановщиков, зазвать, кажется первым, меня в эти взволнованно-именинные потемки. «Вы нам скажете правду, как еще ее услыхать». Они стояли торжествующие, молодые, а приходилось говорить им безнадежные неприятности. Но зато и беспардонна нравственная сторона картины. И это – история?! Все, что не большевики – пошлая карикатура. Вроде Эренбурговой… иронии.

<На полях:>

Никак не судите этого странного письма. Его вдруг оборвали эти кинематографщики. Перед ним шла волна признаний Марине и Вам, Вам и жене и жизни, Марине, Вам, жене и жизни и судьбе. Вы все это знаете. Дай Бог, чтобы все мы созрели в один час и никто не запоздал.

Обнимаю Вас.

Ваш Б.П.

Письмо 155
<ок. 10 марта 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Моя родная, моя родная! От тебя давно нет писем, и я тебе написал дурацкое (а какое и напишешь?), и чего доброго первое, что ждет меня от тебя, будет заслуженным ответом. Когда я получил твои подарки, я дважды начинал тебе писать и рвал написанное; не говори, что не надо было: было б тяжелее и тебе. Меня качало от одного поминанья твоего имени, мне вдруг захотелось разом кончиться в твоих руках и чтобы из них меня получили Женя, и Сережа, и дети, и все, у кого столько прав, оплаченных недолетами, обидами, недоуменьями, всей тихой безмолвной музыкой безмолвного «за что», «зачем». Ведь я только иногда справлялся с тугостью этого никому вполне не известного беатричианства, где ты так круто вдвое переплетена с временем, вдоль всей его стальной струны, где ты единственное и с лихвой достаточное объясненье, оправданье, ключ и смысл всего, что я делаю и чего не делаю, и всего, что делается со мной. Ведь по правде говоря, 23-я тоска и разлука никогда не кончались, никогда не становились чем-нибудь другим. И я умоляю тебя. Напиши мне что-нибудь в духе нашей трезвейшей и спокойнейшей переписки, а то все попáдает из рук и ничего никогда не будет. Ради Бога, помоги мне и скажи, что это тебе не нужно, что ты знаешь, слышишь, слышала. Ведь это слово, как пробка в квасной бутылке, тронь – и кончено. Оно непроизносимо в разлуке. Я рад, что оно не прорвалось. Как мне трудно без тебя. Горячо благодарю тебя за подарки. Р.Роллан и Конрад, конечно, и мои любимейшие. Я мало их знаю. Ж<ан> Крист<оф>, музыкальные монографии, два-три романа Конрада. Как ты живешь, т. е. нет ли *неотложной* надобности в деньгах? О, прости, ведь я знаю, что – есть. М.б. что-нибудь удастся сделать до Люверс.

<На полях:>

Сейчас сделаю ужасное признанье. Заговорив о материальном, почувствовал облегченье. Матерьялизация разреженной муки в заботе. Звери мы. Порода – добрые.

Обнимаю тебя без конца. Ведь кроме тебя я никого здесь не помню, ни с кем не видаюсь.

Письмо 156
31 марта 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина, я не писал тебе вечность, соответственно этому и на душе у меня. А конечно, надо было ответить тебе тотчас, в особенности насчет того, что ты назвала «физиологией творчества». А ты думаешь, у меня иначе? La sécheresse morale[145]? А летние стихи? Не Х<одасеви>ч? Недавно скончался сосед по квартире, один из уплотнителей, старик, первым перебравшийся к нам еще в 19-м году, когда по дому выселяли. Кстати, знаешь сколько у нас сейчас народу в квартире, бывшей когда-то папиной, казенной? 21 человек! В комнаты обращены: передняя, ванна, одна комната поделена перегородкой надвое. 6 семейств. Ну так вот, на этом отпеваньи не узнал себя, глаза сухие, всё мимо. И ты во всем права, но вот тут-то унывать и нечего. Страшно было бы, если бы у тебя было по-другому. – Марина, вытерпи, *про* времени <приставка подчеркнута дважды>, как хочешь и знаешь, и не стыдись сердечной унизительности этого состоянья. Оно *кажется* тебе: личным, т. е. лично твоим, зависящим от возраста и главное – окончательным. Таким оно кажется тебе именно потому, что ты молода, и оно, пусть даже с год или больше, приходит к тебе впервые. Я не так сказал. Я должен был сказать: оно кажется тебе лично твоим и окончательным, потому что ты – у его *начала* и не видишь ни смысла его, ни происхожденья. Ничего об этом не мог знать Пруст, и ничего тут нет похожего. В этом споре с тобой мне не интересны твои доводы и возраженья, не потому что они – во вред тебе, а потому что твои молодые заблужденья насчет этого «перерожденья» могли бы меня растрогать в близости и заставили бы целовать тебя, как ребенка вслед за каким-нибудь особенным проявленьем его детскости, и они совершенно неинтересны, т. е. ими нельзя живо взволноваться на расстояньи. Если Х<одасеви>ч действительно таков каким он тебе представляется, то вот уж кто наверняка не знает того, о чем ты пишешь. Я м.б. лучшего мненья о нем. Я думаю, что sécheresse marinienne[146] и моя, известны *и ему*, хотя как кажется, в противоположность нам, ни на стихах его ни на поведенье *не отражаются*. – Насколько мне известна эта тема, суди из тона, которым полно письмо: это уверенность инстинктивно перекинувшаяся из предмета в голос. Я был у начала этого состоянья давно, еще когда ходил к тебе с письмами С<ереж>и в

Борисоглебский. Тогда оно приходило кусками еще, налетами, как, верно, к тебе в последние годы. Так, как оно утвердилось у тебя в самое последнее время, оно у меня оформилось в заграничную поездку в 22–23 году. Ты думаешь, после «Верст» я не сумел, как надо, прочесть твои первые письма в Берлин, те весенние, где ты прощалась и напутствовала? Для меня было тогда мукою не то, что я был *мертвой особью* (я ею не был), а то, что смысл твоих писем был в живом будущем следующего мгновенья, а между тем предо мной, отделяя меня от его даты, лежал неотменимой полосою *мертвый период*, истинной длины которого я не знал. Половину сказанного я понял теперь, половина сказалась уже и тогда в противоречивостях тогдашнего ощущенья. Это состоянье и мне тогда должно было казаться лично моим и окончательным. Возвращенье мое сюда было ужасно. Я был открытьем *этой* sécheresse[147] оглушен и нравственно для себя уничтожен. По своей удручающей честности я нес свою робость и растерзанность перед собой, как заполненную анкету, я сам себя стирал в порошок и отдавал на затирку. Я ходил, как клеймленый и провинившийся, повеся голову, делал адову работу за неслыханные гроши, наконец понял, что «пора бросать», и стал искать службы. Я так искал ее, что, конечно, не скоро смог найти. Замечательно, что и тут я казался себе ничтожеством, т. е. умудрился позабыть, что кончил университет и что-то знаю, и т<ак> к<ак> думал, что ничего не знаю и ни на что не гожусь, а следовательно, и все равно, за что приниматься, то засел изучать статистику, в надежде на то, что с ее знаньем легче найду себе место. (По образов<анию> я филолог.) В моих столкновеньях с Есениным больше был виноват я сам, нежели он. Я сам на это напрашивался и подавал повод. Я говорил тогда так, как ты сейчас. Вот он мне и возвращал истины, бывшие в первоисточнике моими же словами. А говорил я точь-в-точь, что ты сейчас, потому что, оскорбленный этим новым душевным обличьем, смысла которого не понимал, я и не щадил себя в нем, и уничтожал, и ненавидел. Но довольно размазывать. Вот что хотел я сказать. Работать я начал, когда увидал, что состоянье это временное, а не окончательное, и не мое, т. е. *не меня в поэте*, а поэта во мне, т. е. не Маринино, а – Цветаевой. Но я еще не вполне это понимал и перенадеялся. Я начал писать Спекторского, которого писал наивно, собой и поэтом сразу, т. е. Мариной Цветаевой, а это было рано тогда до безумья, – начал и сорвался. Вдруг я понял, что писать надо силой и страстью именно этой sécheresse, именно этой страны во мне, истории во мне, именно потрясающей жалостностью несчастного поэта во *мне, всегда обставлявшем его порывистее,*

богаче и сердечнее, чем он теперь обставлен историей и судьбою. Что из этого что-то выйдет. Выйдет? Значит тут-то и будет выход (это не игра слов) и у этого выхода опять мы встретимся. И вся эта книга так именно написана. Она писалась так бездарно, так неслыханно по-Х<одасеви>чески, что если бы тебе даже эти уловки двойникового состраданья (себя к поэту во мне) явились в полуобморочном бреду или во сне, ты бы *их не увидала*, твой талант отразил это виденье и встал между тобой и им. Все почувствовано на одном лишь крепком чаю. – Давай я кончу пока, а то я заговорился и буду повторяться. И когда ты это получишь? Лучше отправлю сейчас. Я верю в твою волю. Все в ней. Ты (хронологически) пришла к этому поздно, и проходить придется не долго. Что это не окончательное состоянье, видно из того, что оно тебе поперек встало. Иначе ты бы не заметила его. Твое страданье – твой размер, твой огонь. Ты еще будешь радоваться именно так, как *не чаешь*. Обнимаю тебя.

Б.

Письмо 157
11 апреля 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Может, это легкомыслие с моей стороны, но я верю, что ничего дурного ни с тобой, ни с твоими не случилось, что вы здоровы и что с письмом моим С<ереж>е не произошло недоразумений. Мне скучно и тоскливо без твоих писем, но легче на душе от сознанья, что не я один молчу месяцами. А это всегда так тяжело, несмотря на то, что временами и неизбежно. Я очень мало сделал за зиму, много занимался посторонним и много накопил причин свирепеть на самого себя и отказывать себе, для наверстки упущенного, в самом нужном и дорогом. Но все время, а с присылки твоего подписного листа в особенности, я помнил, что положенье ваше нестерпимо, и искал прямых, беспосредственных путей вступиться, и не нашел. И ты не сердись на меня, что пошел обходными. Я давно в письме к Г<орько>му косвенно запросил М.И.Закревскую относительно перевода «Люверс», но месяцы прошли, и я ничего об этом не знаю. А из обходных путей этот был бы, относительно, более прямым, т. е. это было бы наше дело, и мы никому бы не были обязаны.

Я очень боюсь, что Раиса Николаевна Ломоносова, которой я, не найдя другого исхода, написал в Кембридж, переблагородничает, по редкостности своего характера, в отношении тебя и меня. Однажды я начал тебе рассказывать о 20-ти ф<унтах> стер<лингов>, чудесным образом пришедших на мое имя в миг, когда мы сидели без гроша и не в состоянии были переехать с дачи. Я прервал этот рассказ так, как всегда, менее заметно, прерываю свои письма, как и ты, впрочем, потому что жизни не переслать в конверте, а с этим только детским умыслом и садишься за письмо. Оказалось, что это деньги от Р.Н.Ломоносовой, приятельницы Корнея Чуковского, который, как потом выяснилось, написал ей о моем положеньи, – долго рассказывать, почему он его именно знал и почему я ему так в то лето полюбился. Так завязалось у меня знакомство с Р.Н., человеком, о котором я дотоле ничего не слыхал и которого доселе не видел. Она – переводчица на англ<ийский> язык, знаток англ<ийской> литературы и жена выдающегося инженера Ломоносова, который изобрел тепловоз – усовершенствованную форму локомотива. Они не эмигранты, напротив того, в начале революции Юр<ий> Влад<имирович> был задержан в Англии в качестве политического заложника; но

он не нашел достаточного примененья своим познаньям и талантам и, кажется, работает за границей. А м.б. я ошибаюсь, – говорю со слов Жени, которая лично познакомилась с ними в свою бытность в Берлине в 26 году. Вернулась она с восхищенным рассказом о всех троих (у них сын, кончает Кембриджский ун<иверсите>т). По всему тому, что я знаю, мне они представляются как раз теми настоящими, простыми, счастливыми и сердечными людьми, с которыми нас тянет дружить всякий раз, как мы вспоминаем, что литературный круг – круг проклятый и заколдованный, оправданный существованьем двух-трех исключений, и, точно в это оправданье, состоящий из сотен или тысяч мнимостей. Я не только убежден, что Р.Н. не знает меня и если бы себя поставила перед альтернативой, нравится ли ей то, что я делаю или нет, должна была бы от меня отказаться, но я даже рад тому, что ничего этого не надо, что все это существует вне электрической зарядки, сосущей и съедающей меня, что она хороша как-то по-своему, на неведомый мне и недоступный манер. Но т<ак> к<ак> я ее ни разу не видел, то м.б. я неправ и при всей своей симпатии ее недооцениваю. Женя им понравилась, они ее живо, т. е. беспросчетно – полюбили. Во мне, при встрече, они бы разочаровались. Я, вероятно, был бы грустен и мнителен среди них, а им – скучен. Я, а ты тем паче, по-другому живой, по-другому современный человек. – Я просил ее об одолженьи *мне*, по способу легко выполнимому, и просил о *точности* в исполненьи просьбы потому, что в предвиденьи ее разочарованья считаю себя ее должником. – Ты спрашивала о дневнике В<ырубовой>. Я его не читал, но и тут он вызвал сенсацию. По-видимому, это все же не подлинник. Я разузнавал и жалею, что вовремя не записал данных. Его приписывали Ольге Форш, но это вздор, она никакого отношенья к этой талантливой мистификации не имеет. Теперь называют (за что купил, за то и продаю) – некую Брошниовскую (кажется, не переврал), особу того круга и слоя, где много могли из этих сенсаций знать. Но что тебе в том? Мериме ли, нет ли, – для тебя это – Песни западных славян, и кончено. Не удивляйся, что и после твоих запросов я не вцепился в дневник. И до них я уже предчувствовал, что это не впору может взволновать и отвлечь меня. Так, по другим причинам, но в одинаковых чувствах, я *боюсь* читать Пруста, пока кое-чего не сделаю и не стану вдесятеро старше и проще его. Прислать ли тебе дневник? Напиши мне все же. Обнимаю тебя. Напиши мне также и о Сереже.

Твой Б.

<На полях:>

А главное: как книга?

Письмо 158
22 апреля 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Спасибо за письма и карточки. Муром не могут налюбоваться: карточка ходит по всей квартире, и он действительно неотразим. Всего лучше было бы вовсе не писать в том состояньи, в котором нахожусь сейчас, но письмо будет коротко, и единственная его цель – предупредить тебя о некотором вероятном периоде вынужденного молчанья. В середине Страстной я простудился, всю неделю пролежал в гриппе с высокой температурой, вчера наконец встал с постели, чтобы за дела приняться, потому что по многим причинам – пора, и тут только обратил вниманье на диковинное упорство той головной боли, которая не оставляла меня все время, сосредоточившись над левым глазом, и казалась знакомой и естественной при сильном насморке. Тут только обратился к врачу, и оказалось, что это осложненье в какой-то лобной пазухе или лобно-пазушной кости, уж точно не знаю, но целое расписанье того, что мне нужно делать, с компрессами и синими светами и пр. лежит предо мною, а если это не поможет, то придется вскрывать. Главное же – ни читать, ни писать нельзя, второе же вместе с тем и надо как никогда, потому что лето на носу, и все мои расчеты были на работу последнего месяца, которая от этого насморка идет насмарку. Я сейчас прощусь с тобой. Вот что я хочу сказать, «больной», тебе, покамест м.б. здоровой. Не терзай себя все на ту же старую тему и радуйся, что ты на ногах. Спусти мне, пожалуйста, пошлость этих расхожих советов, п.ч. мне сейчас и думать запрещено, но мне кажется все устроено как нельзя лучше, потому что ко времени, когда положенье (т. е. значенье затраченной жизни и заключительная безвыходность итога) становится действительно глупым, глупеешь и кончаешься *до* положенья и его не замечаешь. Не хочу сказать, что так полностью обстоит сейчас со мной, но равнодушье, к<оторо>ое меня охватило последние дни, дает о том достаточное представленье. Это – равнодушье простое, одноголосное, не расщепленное возраженьями, в своей внутренней молчаливости похожее на беспамятство. Мне не хочется умирать, хотелось бы поскорее выздороветь, но ничего не надо и ничего не нравится. Глупо писать из недр такого туманно-обложного состоянья, и с этого признанья я начал. Я несомненно оттолкну тебя. Но я скорее и не пишу, а извещаю тебя о

неписаньи и о его причинах. Благодарю С.Я. за приписку. Прости, разорви письмо и забудь о нем. А м.б., поправившись, мы (поколенье сверстников) еще покажем. Но лежать в жару в эти годы далеко уже не удовольствие.

Письмо 159
28 мая <1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Я ужасно рад твоему листку и его живой, почти укоризненной короткости. Ты и это умеешь, как никто. Мне его недоставало, чтоб написать тебе. Я совершенно здоров. Ты права, что я написал тебе туманно. Хуже, я писал тебе как старая баба, с ханжеской похоронной многозначительностью, со всех сторон дурацкой. Но мне было плохо тогда, да, впрочем, я и сознавал глубину музыки, в которой и том письме плавал, отчего и попросил тебя его уничтожить. – Но еще хуже: я ничего не сказал тебе о Красном бычке, точно его и не было. Он очень настоящий и безвыходно-простой; всего грустнее и сильнее средние строфы: длинный, длинный, длинный, длинный, и т. д., где эта песня всего песеннее и так все вобрала в себя, точно сложена самим походом, а не в нем только. Непростительно, что я вовремя тебя за его посылку не поблагодарил. Но мне кажется, что ты меня простила. – Я совершенно выздоровел, но отдохнуть не придется. В отличье от прошлого года, когда мы все втроем провели чудное лето в чудесном месте, мне это не удастся на этот раз. Вероятно, я Женю с мальчиком и няней подыму на Кавказ, но тем моя подъемность пока и кончится. – Странно. Я должен был бы зарабатывать много, несравненно больше, чем зарабатываю, в совершенно других счетных единицах, – тысячи, как их тысячи и зарабатывают, – писатели, журналисты, критики и компиляторы. Отчего же это у меня не выходит и мне так трудно? Я думаю, это от того тоскливого отчужденья, которым я охвачен: я все не могу отвыкнуть от мысли, что временно живу не своей жизнью, но м.б. я неправильно выразился, следовало сказать: я не могу привыкнуть к ней. О, как все было бы по-иному, если бы ты была тут! – Ты неправильно называешь Ломоносову: ее зовут Раиса *Николаевна*, ты же пишешь Р.В. – Применительно к твоим последним письмам Ася просила тебе сказать, чтобы ты не писала о лицах, которые ее не интересуют и упоминанье о которых, напр<имер> В<рангеля>, может доставить ей огорченье. К этой просьбе присоединяюсь даже и я. Я никогда не ограничивал тебя в переписке, как и себя, в этом отношеньи ничего не изменилось, только смотри, чтобы здравое чутье не изменяло тебе. И прости, родная, за докторальность тона. В упреке Аси всего более виноват я сам, т<ак> к<ак> сам подал основанье твоей тематической вольности. – Перед болезнью я близко

познакомился с Мейерхольдом. Было это так. Он поставил «Горе от ума» настолько же дерзко по-своему, как перед этим и «Ревизора» (постановка гениальная), т. е. с кройкой текста по авторским черновикам, с привлеченьем историко-бытовых красноречивостей, Грибоедову современных, но им не затронутых. Он дал многоговорящую возможность эпохи, несравненно более правдоподобную, чем прямая действительность комедии, какова она есть. В постановке множество провалов, детских, неописуемых, как всегда у него. Но если бы ты знала, насколько глубоко то настоящее, что беспорядочными глазка́ми навара плавает в этом детском супу! В официально-критических кругах, «простивших» ему Ревизора, на этот раз подняли травлю. Тут с вечной омерзительностью, этой категории присущей, больше всего кричали об индивидуализме и «нереволюционности» былые нововременцы, которые «верой и правдой» служат новому порядку именно по департаменту его невыносимости, т. е. всякие тупицы и Слащевы от литературы. Я, и не посмотрев еще «Горя» (с меня Ревизора довольно было, навсегда поверил), послал ему «1905-й год» с надписью. Он немедля написал мне, позвонил, мы познакомились, и несколько дней я жил им, его женой, детьми Есенина, их домом, их гостями и театром. Особенно он меня пленил своим непередаваемым pêle-mêle[148] из «Балаганчика», террористического коммунизма, седины, провалов, прозрений и других несовместимостей, живущих в его молчаливой улыбке. Кроме того, он, как редко кто, знал, как и о чем со мной говорить, т. е. был на редкость прост и приветлив. В те дни я точно побывал в отъезде и только-только не доехал до тебя, хотя это было очень близко, даже и внешне, благодаря множеству иностранцев, встреченных у него. – Последние дни мне пришлось писать одну вещь, тягостную по своей непополнимости еще больше, чем от воспоминаний, с этой работой связанных. Осенью скончалась Лили Харазова, помнишь, я однажды послал тебе ее немецкие стихи, и в вечер смерти Рильке она ко мне заходила? Теперь ее второй муж издает в Германии ее стихотворения, и мне, по смыслу контракта, который он там заключил, надо писать к ним послесловье. Она скончалась 24-х лет, была красавица и не от мира сего, была медиумичкой, рассказывать о ней – не кончить, она была человеком глубоко одаренным с действительно – по двум-трем подробностям – ужасной судьбой – только оттого я и отнесся и отношусь к ней как старший брат (я видел, что иначе нельзя, потому что всякая радость *привыкла* оборачиваться для нее несчастием, а с нее и перенесенных уже за глаза довольно). Она, кроме того, писала стихи, и часто хорошие, и во всяком случае со всем

перечисленным связанные и косвенно о нем говорящие. Таких данных для людей бывает достаточно, чтобы, путая биографию, психологический разряд, судьбу, обстановку и пр., заговаривать прямо о поэтической документации, будто бы носящей все эти волнующие черты, между тем как весь фатальный трепет человеческого явленья и ухода именно в том, что вещь не одна, а их две, и один разговор – характеристика возможностей, характеристика же дела – другой. Самое главное в ее жизни, на мой взгляд, было то, что она родилась в Швейцарии и безотлучно там прожила до 15-летнего возраста, воспитывалась в одном из лучших пансионов, а когда кончилась война, была одна, 15-ти лет, ни слова в жизни не слыхав по-русски, препровождена в Россию (на Кавк<аз>) к отцу, уехавшему оттуда в начале войны. Девочка проделала этот путь (18-й – 19-й год!) одна, сквозь хаос, разруху, тиф, мешочничество, гражд<анскую> войну и пр., прямо из-за стола табльдота, – а об отце всю войну не было вестей! Но это еще только полповести, главное же впереди. Отец ее талантливый мерзавец из мистических анархистов и среднепробных гениев, математик, поэт, все что хочешь, – что́ ему дочь, да еще в момент, когда его, богача, разорила революция? Если и до нее, по пятому изданью Заратустры, все было ему (*именно* ему, это о нем радел Fr. N<ietzsche>) позволено, то что же говорить о 19-м годе. Тут ведь он даже вправе мстить, направо и налево, дочь так дочь, кому попадется. Благодаря ему, ее кру́гом стала среда тифлисских вундеркиндов кофейного периода, имажинистов, ничевоков и пр. (Ты помнишь этот кокаинный олимп в «Домино» и «Дв<орце> Иск<усств»>?) – Так вот, все встало в своей мере предо мной, когда я ее всего лишь увидел, при полном же вторичном огляде и подавно. Так я и написал. И началось. Муж, Ася, Женя. Я-де «ничего почти не сказал о ней как о поэте». А в том-то и ее трагедия, что поминать ее значило проклясть вновь и насвежо случай (переезд) и среду, именем покойницы, ее памяти ради. Придрались к фразе: «Я увидал что искусство в ее жизни только случай, что, неотразимо обаятельная и глубоко несчастная, она – свободна и не порабощена им». Я не знаю, зачем я пишу все это тебе и вдался в такие детали.

Сейчас я дописываю, начало письма пролежало больше недели. Прости, что так долго тебе не отвечал. Теперь я понял к чему такая реляция о послесловьи. Дела были, много *таких вот* дел. Сама покойная Lili, конечно, не «одна из» неотложностей, она вне разряда (ты должна была ее видеть!), но советы и пересуды и уговариванья вокруг статьи – Как пример и хотел привесть.

Вчера на Кавк<аз> уехала Женя с Женичкой (буду в другой раз жить – позабочусь о несовпаденьях, очень неудобно). Ей надо поправиться, она очень худа и бледна. Я остался, потому что не успел справиться матерьяльно, вообще это лето придется поработать, не знаю, вырвусь ли куда-нибудь. – Больше таких идиотских писем не будет. Это оттого, что я его пишу урывками, ввожу и бросаю, не успев ничего сказать. У меня к тебе большая просьба. Не могу найти 2-го и 3-го тома Бальзаковых «Illusions perdues»[149]. Первый есть, верно при распродаже книг в голодные годы отнес без первого и так сошло. Купи, пожалуйста, и пришли мне их почтовой бандеролью, иностранных книг не задерживают, всегда получал. О том же довольно давно просил сына Балтрушайтиса, Жоржика, но он не сделал, и чтобы не было повторенья (а вдруг соберется), извести его, пожалуйста, открыткой Paris XIV Villa Virginie 5 (т. е. наоборот: 5, Villa Virginie). Изданье Calmann Lévy в серии Nouvelle collection Michel Lévy, un franc le volume[150] (так было когда-то) в зеленой обложке. Первого тома не надо, – есть. Прости, что так прямо, без обиняков, утруждаю и заставляю тратиться. Если будут когда-нибудь еще подобные просьбы, устрою иначе и для тебя легче. – Пожалуйста, не сердись за молчанье и *такой* <подчеркнуто дважды> его перерыв. Мне, правда, временами, трудно. Напиши мне, пожалуйста, как с твоей книгой. Извести о выходе, но по почте не посылай, русские книги никогда не доходят. Поцелуй Сережу, я виноват перед ним, но сейчас, правду говоря, я ни перед кем не виноват, ни перед ним, ни даже перед тобой, моя дорогая, родная.

Твой Б.

Письмо 160
<июнь 1928 г.>
Цветаева – Пастернаку

Б<орис>, наши нынешние письма – письма людей отчаявшихся: примирившихся. Сначала были сроки, имена городов – хотя бы – в 1922 г. – 1925 г.! Из нашей переписки исчезли сроки, нам стало стыдно – что́? – просто – врать. Ты ведь отлично знаешь – то, что я отлично знаю. Со сроками исчезла срочность (*не* наоборот!), дозарез-ность друг в друге. Мы ничего не ждем. О Б<орис>, Б<орис>, это так. Мы просто живем, а *то* (*мы!*) – сбоку. Нет, быв впереди, стало – вокруг, растворилось.

Ты мне (я – тебе) постепенно стал просто другом, которому я жалуюсь: больно – зализи. (Раньше: – больно – выжги!)

Письмо 161
<ок. 29 июня 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Горячо поздравляю тебя! Какие удивительные выдержки! Нетерпеливо жду путешественника с книгой (я совсем не знал, что он у вас). Я знаю, что она будет событьем, вторым рожденьем, мукой, счастьем, и не для меня одного. И это совсем излишнее признанье.

Все, что он (Х<одасевич>) говорит о тебе в ущерб мне – правильно, и я сам бы сказал и говорю. Но одно утвержденье – вошло в меня глубоким уколом. Неужели правильно и оно? Нет, нет, промёрзни до полного бесстрастья и отступи от меня как можешь далеко, но только не за край правды, не в несправедливость. Но разве ты мне это скажешь? Неужели меня спасает темнота, и рассейся она, ничего бы не стало, неужели действительно во мне никого нет? Он серьезно так думает?

Иногда – не по его поводу, он оснований не подал – думаю о Синаях и Давидах. Правда и то – по-разному они показали себя. И твой чужеземец из Гайаваты отольется мне прегорько. Но разве расхлебать все это, изменить, вмешаться или хотя бы понять в моей власти? Как случайно (случайней тебя) я родился! Ведь ничего, кроме этой случайности, изо всего этого, на мне нет. Но и этого малого я не мог не оставить на себе и на сыне. Ведь это *не человеческая* оплошность, ведь то, что ее допустило, больше меня.

Я буду говорить сейчас глупости. Но допусти их в их мыслимости, в идеале. Чем больше я буду совершенствоваться, чем ближе я буду к правде, тем больше я буду говорить о родине, тем больше я буду ее куском. Тем вернее тогда, что я причиню ей страданье, что ей со мной будет трудно, что застенчивая (и тем понятная мне и прекрасная), она будет дошедшее до нее скрывать и отворачиваться от меня всякий раз, как между нами будут вырастать природные ее ревнители, перед легкостью и простотой которых ей стыдно будет трудности, которой я ее наградил. Веянье племенного недружелюбья почти никогда меня не касалось. Да я и не увидел бы в нем обиды. Сознанье же того, что чем естественнее и безотчетней меня тянет к русской памяти, тем неестественней ей будет со мной – составляет невеселый круг, о котором я никогда не забываю.

Вообще – устал. Скучаю по Жене и сыну, они на Кавказе, я один, так сложилось. Перерабатываю для переизданья две первые книги, избавляю их, как могу, от символического хлама (не

Белого, не Блока – это люди простые), от архаизма и гороскопии тех времен, как и излишней порывистости футуристического нахрапа, заново переделываю только лучшее, т. е. то, где темы-находки бесследно утоплены в беспомощности и манере; из худшего же, что приемлемо, оставляю почти без переделки, жалеть нечего. Темы же обрабатываю так, как может быть нельзя, как прозу. Мне все равно, иначе не могу: такова теперь моя поэтика, взволновываюсь только в состоянии совершенного безличья и забвенья о себе, как и того, по личному ли это пошло поводу или нет. Забываю начала. Может быть, прав Ходасевич, он ведь хочет сказать, что я не поэт. – Работа спешная, хочу вырваться на воздух. Не знаю, как примусь за нее завтра или послезавтра. Мысль, что тебе в этой полосе или с нее стану чужд, – нова и появилась только сегодня. Привыкнуть не смогу, постараюсь прогнать. Это сделалось по двум причинам. Как-никак, внутреннее несогласье, мешавшее разделять общие радости, затем позитивистический воздух, разлитый кругом, должны были рано или поздно сказаться. Они загнали в угол, привели к тишине и простоте. Я рад, что они сделали невозможной позу, пока я был поэтом, «похожим на поэта», я не стоил нынешнего своего мизинца. Но может быть в стремленьи к отчетливости я забыл меру и высох, как на то (в себе) жаловалась и ты. Но я не боюсь. Мне что-то открывается. Лишь бы лавина несправедливостей меня не опередила. Как я всему этому поддаюсь. Я люблю тебя, и ты изумительная, неправдоподобная правда. На днях я думал о смерти, и, конечно, твое «Знаю, умру на заре» неотступно звучало, я был близок к слезам. С твоих тех слов, в том тоне, я записал, в духе того, что говорю сейчас.

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и в лед,
Утром спугни с мочежины озерной.
[Целься и славься и] Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О пренебрегнутые вы мои,
Благодарю и целую вас, – руки
Родины, робости, дружбы, семьи!

Т.е. они-то и подымают на высоту.

Твое, все твое, не оскорбляйся, я не крал, не помню, откуда. И вообще это не так, п.ч. слова «Бей меня влёт» (в них весь смысл) должны быть восклицаньем, отделенным точкой, т. е. что-нибудь вроде того: Стой до скончания. Бей меня влёт!

<На полях:>

Я это тебе не как стихи (слабые!), а чтобы услышала, что мне грустно.

И потом, Рильке был отшельником, поэтика его год от году кажется мне все более потрясающей по своей чистоте, и это на мне сказывается тоже. И потом, человек, с которым я тут дружу всего сильней, Н.Н.Вильям (брат моей невестки), – я тебе о нем писал, твой первый после меня поклонник в бесконечном ряду мне известных – он о тебе писал, статьи не приняли, и обо мне, – статьи не приняли – да, так этот Вильям двадцатипятилетний тоже меня поддерживает во всем, что со мной делается, и не любит 1905 г., и Бог знает что говорит о работах этого года, где отмер всякий романтизм, и вне этой разновидности толстовства, гётеанства и р<омен>-ролланства истины не видит и не ищет. Не жди Бог весть чего, я говорю только о тоне, о повествовательности, вошедшей впервые наконец в захват вдохновенья как *элемент*, т. е. как это прежде бывало со строчкой, с метафорой, с образом, с аллюром чувства в ритме.

Какое глупое написал я тебе письмо! Марина, родная, с этой безмерностью в мире мер – вот что произошло: он о тебе недостаточно хорошо сказал, но приемлемо; он поставил ребром несколько гениальных твоих строк и под ними наговорил мне гадостей, и они кажутся мне допустимыми, п.ч. произнесены на гениальном фоне.

<На полях:>

Посылаю не перечитывая, м.б. встретятся несообразности. Я говорил с тобой. Обнимаю С.

Я ужасная свинья перед тобой. Я не успел повидаться с Мейерхольдами перед их отъездом в Париж, а о поездке П<авла> Г<ригорьевича> не знал и вовсе, п.ч. больше года не видался.

Письмо 162
Париж, 4 июля 1928 г., среда
Цветаева, Эфрон, Родзевич – Пастернаку

<Рукой М.И. Цветаевой:>

Дорогой Борис, сидим – С., Родзевич и я – в пресловутой Ротонде – *пережидаем время* (до Сережиного поезда). Сейчас 7 ч<асов>, Сережин поезд идет в 10 ½ ч<асов>, – оцениваешь эту бесконечность? Едет вслепую – в Ройян (найди на карте!). Мы: двое нас и двое детей считаемся famille nombreuse[151] (отец, мать и дитя – famille moyenne[152]).

А Ройян, Борис, не доезжая до Bordeaux, севернее.

<Рукой С.Я. Эфрона:>

Я испытываю волнение большее, чем перед отъездом на фронт. Там враг за проволокой – здесь вокруг – в вагоне, на вокзале, на побережье, а главное, в виде владельцев дач. Боюсь их (владельцев) больше артиллерии, пулеметов и вражеской конницы, ибо победить их можно лишь бумажником.

А кроме всего прочего – у меня врожденный ужас перед всеми присутственными местами, т. е. перед людьми, для которых я – не я, а что-то третье, которым я быть не умею. Это не неврастения.

Обнимаю Вас и очень Вас чувствую.

С.Э.

<Рукой К.Б. Родзевича:>

С. Я. уезжает уже целую неделю. Вместе с ним я побывал и на границе Испании, и на берегах Женевского озера, и на Ривьере и …но всего не перечислишь! Я так привык к этой смене мест, пейзажей, ожиданий и разочарований, что сейчас когда отъезд стал реальным, я с грустью чувствую себя возвращенным домой. Но до отхода поезда еще 2 часа. А вдруг мне удастся продолжить мое неподвижное путешествие. Нет, сложенные корзины, пакеты, вокзалы, справочные бюро – все говорит за то, что я остаюсь.

Ваш К.Р.

Письмо 163
7 июля 1928 г.
Пастернак – Цветаевой

Моя родная, благодарю тебя за письмо с маршрутами. Поистине, это путешествие я разделил полностью и пережил, как ты. Мне было очень весело и хорошо в дороге.

Мне очень жалко П<авли>ка. Хотя все, что ты говоришь справедливо. Я это находил уже давно. Помнишь вечер в Доме Печати, куда, кажется, ты пришла с Т<атьяной> Ф<едоровной>? Выступали: ты, он и Буданцев. В твоем присутствии я уже и тогда чувствовал что-то абсолютное. Но что именно? Чистоту? Правоту? Обаянье открытости? Но верст я тогда еще не знал. Я не знал еще, кто ты. Так вот, на том вечере я уже говорил ему о декламации, театральной тематике, триумфальных цезурах (ты прекрасно знаешь, что я этой последней чепухой хочу сказать). М.б. повредил ему я. Да, наверное. Поводов для этих производных недоразумений надавал я много. Как удивительно промолчала ты в свое время о «Барьерах», их получив. Молчи и сейчас. Теперь, когда я их переделывал, моей рукой водило именно это молчанье. Но была своя *правда* и в них, и как ни дика она, я в переделке только ее и восстанавливал.

Затем и ты была бы меньше, если бы не являлась источником поэтических несчастий. Виновата, конечно, и ты. И твой ранний романтизм, прекрасный и по-естественному агрессивный (потому что *вот что* из него теперь выросло, и не зря я его переписывал от руки целое лето) – тоже понят был как последнее слово именно в его блеске, который ему задавало нетерпенье, т. е. неудовлетворенность. Он же впитал его как законченное достиженье, как равновесный стиль.

Так что все это справедливо, и виноваты мы оба, но я стараюсь всего этого не знать и смягчать это. Слишком безжалостна и сама уж логика всех этих вещей. И обо мне ты когда-нибудь так же скажешь. Но тут дело другое. Я знаю, что к чему бы жизнь ни пришла, все это – хорошо. И вот откуда я это знаю. Представь, я загадал тогда на почтамте. Если телеграмма *попадет на ее вечер*, то тогда все хорошо. И ты вправе оскорбиться, что твое сообщенье о ее судьбе пережито мной не в одном только твоем движеньи, милая. Но оно заменило мне Лейбницеву Теодицею. Что́ же хорошо, спросишь ты? Зачем называть несомненное? Я не загадывал о тебе. Но и все, в чем

можно сомневаться, – хорошо и то. Спасибо тебе. Счастливой дороги тебе и всем твоим.

Твой Б.

Письмо 164
<ок. 20 июля 1928 г.>
Пастернак – Эфрону

Дорогой Сергей Яковлевич! Вероятно, Вы еще в Мёдоне, и моя открытка Вас тут застанет. Все последнее время я был в такой же приблизительно переделке, что и Вы. Последние две недели работал, как каторжный, болел, недосыпал жил в обстановке осадного положенья, мною же самим по дому объявленного, посетителям и телефонистам говорилось (соседями, по моему наущенью), что я то в Китае, то что Нобиле улетел спасать. Через два часа уезжаю к своим в Геленджик. Адрес будет такой: Геленджик, Черноморск<ое> поб<ережье> Кавказа, ул. Д<окто>ра Гааза 22. Это в течение 2–3-х недель. Ася в Сочи, скоро возвращается в Москву. Свою китайскую экспедицию мне было тем труднее выдерживать, что ждал возвращенья Антокольского и его звонка: был уговор на этот счет с опросчиками. Но он так и не сказался. Маринину книгу получил вчера вечером. Разыскивать П<авла> Г<ригорьевича> и ее отправилась по моей просьбе Маринина горячая поклонница, некая Эва, как она себя в виде псевдонима называет. Книжки не раскрывал, т<ак> к<ак> боюсь зачитаться и остаться в Москве.

Ваш Б.П.

Письмо 165
<ок. 7 октября 1928 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Никогда так благодарно не удивлялся тебе, как на этих днях. На письмо хотел ответить телеграммой, и жаль, что этого не сделал. Если, что́ превзошло мои надежды, ты мне простила эти три необъясненные месяца, не ищи им пока еще объясненья. С твоей помощью я это сделаю, но не сегодня. Ничего так не хочу, как скорейшего твоего выздоровленья. Вскользь сообщенные планы предупреждают мои собственные. Тянусь к тому же, но держат незаконченные вещи в разноотдаленных от окончанья долях. Если найду путь и согласятся, хочу и могу прислать немного денег. – Но перерыв в переписке (такой вот – с тобой и абсолютный – с родными и друзьями) пока неизбежен. Не могу, не в силах и не вправе забегать вперед, почему он и к чему, но – в границах человеческой подверженности самообману – допущен в наилучших чаяньях, в счастливейшей, чем когда, преданности тебе и верности всему, чем я когда-либо кого мог привлечь и сделать другом. Книга? Передал ли ее А<нтокольский>? О, разумеется. Без ее боя, без ее сгустков, без ее сосредоточенной силы, то, что наползло, осело, приурочилось и вздумало объявить себя гранью (для воли, выбора и полаганий) потребовало бы вероятно больше пристальности и напряженности с моей стороны, чем это случилось. Именно о ней не хочу сейчас говорить, и если уж это себе по отношенью к ней позволил, то уже ни с кем ни о чем. Изумительные стихи, более счастливые, чем мы с тобою. Если бы нас уже не было и нам больше ничего не оставалось, первый разговор был бы о ней. Или если бы у нас было право на долгий отдых, с путешествиями, с обеспеченною оглядкой. Ради Бога не думай, что я что-нибудь преувеличиваю или, умничая, паразитирую на какой-нибудь из былых «бездн». Без всяких потусторонностей: в нашем положеньи (исторически) нам надо еще пожить и поработать. Вдруг я зачувствовал это элементарно, здорово и сверхсловесно. Страшно этого хочу. Дай мне доубрать твою же собственную елку[153], хотя бы это длилось и целый год, ведь не в потемках же тебе ждать, а только жить своим и не думать. Буду писать тебе, а ты не отвечай. Поцелуй С.Я., а он пусть – Д<митрия> П<етровича> и П<етра> П<етровича>.

<На полях:>

Как удивительно, что ты меня не прокляла! Я шел на этот Цветаевский исход, на этот удар с самонадеянностью, которой ты не должна оскорбляться: с надеждой на то, что это будет не окончательно. Что я что-то заслужу и все начнется вновь и еще лучше! То же, что ты написала мне, – лучше всего.

Письмо 166
3 января 1929 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина. Это далеко еще не то письмо, которое я тебе должен написать: приступить к последнему нет никакой возможности; всё – клубком у меня. Третий месяц я со дня на день собираюсь взяться за работу после тяжелого полугодового перерыва. Как и почему он получился, – это тоже длинная история. Но только за работой светлеет у меня голова, а потому и мысль об отчетном письме к тебе у меня все время была связана с этим, и сегодня еще не наступившим, сроком.

Между тем твои фантазии о М<аяковском>, обо мне, о его роли в Москве и главное, о твоей судьбе волнуют меня не меньше твоего, а м.б. и больше. Все твои представленья на этот счет (кроме разве одного: о прирожденном обаяньи М. и его загроможденной противоречьями гениальности) – превратны. Мне это отсюда видней, и позволь мне, пока что, остаться голословным. Вспомни, что за эти годы я доверье твое заслужил, ну хотя бы как друг и информатор. Вспомни и верь мне, что огорчаться или быть недовольной собою у тебя основанья меньше, чем даже у того же М. Именно оттого я и называю этот совет свой голословным, что он исходит из объективных данных, которых в письме не охватить и не перечислить. Сделай же удовольствие мне и уверенно гони все сомненья и обиды взашей.

Я не знаю, предал ли М. инцидент с тобой огласке. Я с ним не встречаюсь и давно от его круга далек. Среди многих причин сделали невозможной нашу дружбу и те его бестактности в отношении тебя, о которых ты мне в разное время писала. Началось с рассказа о книжной лавке, комсомолке и Сельвинском, года 2 тому назад, если вспомнишь. И тогда его обычную хамоватость я стал чувствовать по-новому и свежее, чем м.б. нужно.

Но все это и эта моя сложность с М. – в порядке вещей.

Не знаю, поддержали ли рассказы М. эти городские толки, но все упорнее, с самой весны, ходят у нас слухи о твоем предполагающемся возвращеньи. Теперь, в беспорядке, несколько советов на эту тему. Отрывочно, от А<нтокольского>, узнал о героизации наших дел, отличающей С<ереж>у, и о том, как мало его мог удовлетворить в этом смысле А. Так вот, ближе к правде, конечно, С.Я., а не А., с той поправкой, что это правда не дареная, не стилизационно созерцательная, не романтическая, а –

заданная, скупо растущая уступами крутых преодолений, антиромантическая, пушкинская, а не пушкинианствующая, т. е. такая, где личностно гениальное без остатка почти до анонимности переплавляется в трудовой массив произведений и влияний – и…, довольно – прости мне эти, все равно ничего не говорящие, прилагательные. Но я не знаю, вернусь ли еще когда к этой осведомительной характеристике (а здесь я обращаюсь столь же к его (С.Я.) сердцу, как и к твоему), и потому вкратце дополню. Мне кажется, нашему времени тут (а оно вместе и есть время века, время Европы) не столько даже враждебна прямая политическая враждебность, сколько, даже при дружестве, – придаванье какого бы то ни было значенья: потенции, обещанью, faculté virtuelle[154]. Традиция *силовых зарядов* и тех положений, при которых их лаконизм или прямое безмолвие были красноречивым языком, была прекращена войною. Она не только ведь разрушила Лувен – что обнаружить было не так трудно, – но я не знаю, сколько должно пройти времени для того, чтобы *беременность Лувеном* стала духовно говорить что-нибудь и что-нибудь означать, – так велико было уничтоженье этой… преемственности всходов. Ты вряд ли оценишь, как много значит сказанное и какую необозримую сферу неизбежных превращений эта перемена определяет. Скажу кратко: сейчас я верю только в дух, который, страдая и деформируясь, подымает на моих глазах *матерьяльную тяжесть*. Состоянье лебедки – вот нынешнее призванье творческого самородка. Взгляд, будто сейчас существует несколько вольно и естественно живущих миров, чуждающихся и враждующих, но порознь и в отдельности естественных и не чудны́х (старый и новый, правый и левый, такой-то и такой-то) – недалек и наивен. Он господствует и у нас и у вас. Он зиждется на отвлеченьи и на сказке, и в моем представленьи одинаковые романтики как Ходасевич, так и Маяковский и Горький. Каждым из них задача облегчена до узости родного круга. В другое время против этого нечего было бы возразить. <Начало следующей фразы зачеркнуто.> Все это (и главным образом на этой строке уничтоженное продолженье) – лежит давно. Все это сухо, многословно, а главное, неизвестно к чему. Мне так и не удалось до сих пор попасть к тебе. Тебя осведомляли другие, непосредственно или издали, – в печати, как, скажем, иностранцы или тот же Горький. Мне здесь видны их нехватки и границы, и в самых экономных, отвлеченнейших чертах я их осведомленье хотел исправить. Это труднее, чем я думал. Все это еще когда-нибудь успеется. – Задолженность моя перед тобою растет со строки на строку. Я должен подробно написать тебе о «После России». Я должен досказать тебе то, о

чем тут заговорил. О том сложном, трудном и провокационном, что тут в последнее время творится. О себе, может быть. Наконец я давно должен был исполнить твою просьбу о Перекопе. Уже больше месяца тому назад я с этой просьбой обратился к знакомому – знатоку по части книг, которому много обязан по этой и другим частям. Но пока им ничего не сделано. Сегодня послал тебе совершенный пустячок, скоро достану журнальную военную статью и м.б. достану книгу Слащева, изданную давно и которой нет больше в продаже. Тебе же советую достать книгу Г.Н.Раковского «Конец белых», изданную «Волей России» в 21 г. Кажется (библиографическое указанье), там есть матерьял. – И наконец то, с чего я не хотел начинать, чтобы не затруднить делового тона. Спасибо тебе за берет, за письма. С Новым Годом тебя и всех твоих. Крепко целую тебя и С.Я.

Твой Б.

Письмо 167
12 мая <1929 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая, это третий по счету ответ на твое письмо. В тех были другие обращенья. Но что я люблю тебя, ты знаешь, а также и то, кто́ ты. А волнующая чернильная чепуха, которой поддаешься, немыслимо-нестерпима уже через мгновенье по написаньи, и как раз она осуждает письма на неотсылку. На этот раз она была еще вызвана и характером твоего письма. Это качество ты получила при рожденьи, и оно сказывалось всегда в твоих письмах, но всего больше его – в последних. Никогда еще твои слова не действовали на меня так, как в этом году. Может быть, ты и сама не знаешь о переменах, происшедших в тебе, но так именно я читаю твои строки за несколько тысяч верст от тебя, так сужу, так вынужден судить, и не смейся надо мной, если я ошибаюсь. – В прошлом году ты писала о sécheresse morale[155]. И это тебя огорчало. Я тогда бы не сумел тебе сказать, что суха только новизна этого открытья, а не его предмет, что горька неожиданность, неподготовленность наблюденья, а не наблюденное. Но теперь, по-видимому, это уже позади, и озадаченность не застилает озадачившего, а последнее, предоставленное себе самому, оказалось влажнее влажного, и ты убедилась, что мысль не только не разлучит тебя с живым миром, а напротив того, это опять новое какое-то в жизни *новоселье*, на которое он пойдет вновь ломиться всей своей свежей целостностью, как во все наши переломные сроки. Итак, тебе уже больше не больно, мой друг, и ты не обижаешься на свою новую зрелость? – Ты мне ничего об этом не пишешь. Я это вычитываю из волнующего спокойствия твоих строк. Чтобы их прочесть, на них надо глядеть глазами. А прочитав их, испытываешь чувство, точно сопровождал их ход, закрыв глаза. Это действие крупнейших на свете вещей, так действует на нас обреченное достоинство природы. Таковы же люди складки Goethe – Rilke, и так как твоя порода мне давно ясна, то я знал, что на горечи прошлогоднего признанья ты не остановишься, что тебе сужден шум нового прилива, новой реальности, по-новому молодой, т. е. не ограниченной одним только сердцем. – Я думаю, если бы ты была здесь, это развитье у тебя и у меня шло бы скорее. Мы облегчали бы работу тому, что в нас с тобой сидит, и вероятно, это протекало бы так. Мы бы расходились и ссорились друг с другом и потом друг к другу возвращались. В эти промежутки ты

ненавидела бы меня больше, чем я тебя, и мы причиняли бы друг другу больше боли, чем ее заключено в нашей разлуке. Но наше созреванье (которому ведь нет конца) шло бы скорее, и мы бы только оттого и терзали друг друга, что разом бы терзались тем одним, чему сейчас подчинены порознь.

Ты догадываешься, что частью сказанного о тебе я попутно рассказал и о себе. Но в отличье от тебя, я еще и просто постарел, и м.б. даже и болен. Но еще более, чем стар и болен, я счастлив. Никогда я еще не радовался тому, что свет устроен, как он устроен, как в последний год. И не последней радостью для меня было то, о чем я упомянул вскользь выше. Этого нельзя назвать открытьем, потому что трижды или четырежды в жизни это было уже видано. Но эти состоянья просветленья, видно, нуждаются в напоминаньи. И вот теперь, когда я увидал, что болезненная тягостность зрелости вновь поворачивает весь мир на оси и совершенно так же, как в какие-то мгновенья детства, первой любви и первой поэтической объективности, я понял, как падка жизнь до наших краеугольных переломов, и что ко всем нашим переменам она относится, как к праздникам, хотя бы сами-то мы иные из этих превращений и оплакивали.

И если я теперь тебе скажу, что давно перестал читать ту ерунду, которую пишут о тебе и обо мне люди, этого не переживавшие, но только и живу твоим и моим будущим, то есть надеждой на нашу общую работу, в сотрудничестве с людьми, наиболее близкими, то я назову тебе ту же радость, о которой выше, и лишь в несколько иных выраженьях.

В теченье мая я вышлю тебе несколько вещей, которыми был занят весь истекший год. Я с разных сторон захожу к той большой обыкновенности, которую спешу противопоставить всему необыкновенному, что о нас двоих слышу. Я одновременно начал две прозаических вещи и пока не кончу их, не вправе взглянуть на тебя, потому что это мой долг перед Rilke, тобой и собою. Кроме того, как выйдет, пошлю тебе «Поверх Барьеров», которых ты не узнаешь. У меня чувство их полной тождественности с тем, что я хотел сказать уже во времена футуристического разврата, как-то уживается с чувством того, что в них ничего старого, кроме названья книги, не осталось. Даже в том случае, если это полный самообман и никто в книге не найдет поэзии, все равно остается непоколебленным тот факт, что прошлое лето я видел, слышал и чувствовал так, как в наиважнейшие годы моей жизни. И у меня просьба к тебе, чтобы ты мне ни о чем не писала в отдельности, пока посылки не улягутся во всей совокупности. И еще другое. Ты живешь не здесь и не знаешь того, что когда при встрече с кем-нибудь на людях, в издательстве я начинаю, мямля: «А, NN –

здравствуйте! Знаете – мм —», то рядом стоящие подсказывают, шутливо, как бы предупреждая попугая, фраза которого всем известна: – Марина Цветаева…..Так, и довольно пикантно, получилось с Лилей Брик, это мне подсказавшей в тот миг, когда, увидав ее с возвратившимся Маяковским, я собрался рассказать им, как у меня в «Кр<асной> Нови» не приняли посвященья тебе (устранили твое имя, но стихотворенье взяли) и отказались печатать эпиграмму на Маяковского, как ни настаивал на ее напечатаньи Всеволод Иванов, один из соредакторов. Ну так вот. Дело не в том, что попугайской моей фразы ты не найдешь ни в чем из присланного, ни также среди посвящений в «Барьерах» – потому что вряд ли это попугайство может тебя радовать, да и никакого попугайства нет, или попугаев тысячи, о чем ниже. Но по тем частям задуманного, которые пока готовы, ты не сможешь догадаться о месте, которое займешь и должна будешь занять в дальнейшем продолженьи обеих работ и во всяком случае, в развитии Охранной грамоты, за окончанье которой я возьмусь по исполненьи другой прозы, начисто повествовательной и не философской. – За переделкой «Барьеров» я еще больше, если это возможно, полюбил Святополка, Ломоносову, С.Я. и остальных друзей, части которых ты не знаешь, потом) что им тут не дают ходу. – И так как я этого не успел сделать за «Сестрой», когда чувство было еще очищенней, то пришлось наверстывать упущенное, и похоже, в состояньи налета на целую книгу, я уяснил себе существо всего нелюбимого и побежденного – будь то чиновник от культуры, как Ходасевич, или талант, у своего таланта ничему не научившийся, как Маяковский. Для меня они совершенно безразличны. И вот (ты сейчас оскорбишься) всю дугу, от бездарности через пустоцвет (момент высшего подъема) ведущую к бесплодию, я называю для простоты романтизмом – и меня не пугает, что мы разойдемся с тобой в *терминологии*. Но я опять вдруг (попутно) увидал границу, у которой одинаково кончаются и дурак и «интересный человек» и с которой начинается тот голый, громадный поэт, который явлен на свете только под двумя мне известными видами: в гении и в обыкновенном человеке. Не смейся, это – одна порода, *посредственность* же гораздо ярче и ядовитее, чем ее принято изображать.

А твой случай с Маяковским только частность. Я был готов заняться вашими зимними восторгами, потому что любить Маяковского мне легче, чем презирать, а до твоего отзыва о «Хорошо» я уже было примирился с тем что стать советским Бальмонтом, по странности, выпало на долю именно ему. Правда, в «Хорошо» есть места, возвышающиеся над этой пустой

инструментальностью, но я их насчитал немного. Кроме того, если вспомнить, что музыка есть *совесть слова*, то я бы даже эту бессовестную словесность не назвал и музыкальной, хотя по-Северянински. Но тут, знаю я мы разойдемся. Однако я заговорил о нем по другому поводу. Прости, он мог бы тебя ударить, и все же это было бы не так низко, как случай его странной забывчивости. Нет, уверь меня, еще раз. Он не сказал, он правда не сказал тебе: «Не анекдот ли, Марина, – всес<оюзная> асс<оциация> пролет<арских> пис<ателей> (ВАПП) ценит Вас как поэта больше, чем меня»? У него этого не вырвалось при виде тебя, как вырвалось бы у всякого попугая? – Когда-то Брюсов писал о хожденьи ручных списков с «Сестры» (ее не издавали). Но что сказать о Крысолове? Как измерить тираж *этого* рукописного изданья? Он исчисляется, вероятно, тысячами и только вопрос, – сколько их.

Теперь секрет, о котором никому, даже С.Я., ни слова, а то все погубишь. Уже и сейчас ясны формы моего появленья у тебя. Беспощадно-конфузную, почти порочаще ответственную наглость одного предложенья я приму только затем, чтобы сдать тебе на руки или м.б. с тобой разделить. При твоей нелегальности это временно останется нашей тайной, и у меня найдется нескромности (напускной) покрыть ее своим именем. Предстоит обработать существующие переводы Фауста (по невежеству я знаю только два: Фетов и Брюсовский); думаю, половину придется переводить наново. Я об этом еще не говорил, но меня называли. – Если бы не это проклятье с прозами и недоконченными вещами, я бы мог сняться на эту работу (я приму ее только при условии долговременной командировки в Веймар) хоть сейчас. – Пока ничего об этом не знаю, потому что по горло занят другими работами, и лето наступает, т. е. дает чувствовать себя и денежно. – Может случиться и так, что я до дачи все это оформлю, и тогда, если ты согласна и у тебя будет досуг, м.б. сейчас же к этому и приступишь, и напишешь мне, какие партии себе облюбовала. И мы будем друг друга править, не правда ли, мой друг? Ты рада? Но, как сказано, молчок, – и при ответных поминаньях называй это работой и не более того. Думаю, я найду способ периодически переводить тебе деньги. Но только не торопи меня. В той счастливости, о которой я писал на начальных страницах, единственный несчастный изъян – это моя мешкотность и все усиливающееся расхожденье со сроками. – А теперь, если можно, расцелуй, пожалуйста, С., Св<ятополка>М<ирского> и всех тех, которых я полюбил еще больше, но не переписываюсь по обилию допущенных в прошлые годы пробелов и по необходимости спешно восполнить их.

Обнимаю тебя.

Весь твой Б.

P.S. Книжку В.Познера вчера получил. Еще ранее он прислал мне свою антологию. Судя по нескольким вводным замечаньям в антологии, частью совпавшим с моими собственными симпатиями, я ждал настоящей широты, объективности и благородства и от его истории лит<ерату>ры. В таком духе ему и написал, с просьбой о присылке книги. Я ее только пробежал пока, и чем милее мне иные страницы (об Анненском, об Ахматовой и др.), оправдывающие мои надежды, тем досаднее его промахи, непонятные и непозволительные, нет – просто говоря, обесценивающие, дискредитирующие всю книгу целиком и все содержащиеся в ней утвержденья. *Нельзя*, находя место для упоминанья Бобровых, Лунцев, Родовых, Эльз Триоле, Кирсановых, Кусиковых, Крученых и т. д. и т. д. – обходить полным молчаньем *Асеева*. Он не упомянут ни разу хотя бы в перечисленьях имен собственных, и это такое упущенье, что сразу бросается в глаза. Удивляюсь, как это могло с ним случиться. А что сказать о *такой* неполноте *мне* <подчеркнуто дважды>, ежели и забвенье Демьяна Бедного показалось мне смешным с его стороны капризом, а как нужен мне этот самый Демьян, ты легко себе представишь. Асеев же настоящий, хотя и несчастный по своей судьбе – поэт. Это человек, легкомысленный и от природы, да еще вдобавок и слишком предавшийся Лефовскому влиянью. Вообще осведомленность Познера кончается, по-видимому, на 22 годе, и он лучше бы сделал, если бы честно ограничил свою задачу и неосведомленность свою либо оговорил, либо же восполнял. А оплошность с Асеевым так меня удручает, что затрудняюсь и отвечать В.П<ознеру>, а то придется ругаться.

<На полях:>

Ужасная безвкусица этот перечень двадцатостепенных фигур при очень хорошем взгляде на крупные вещи, на ход десятилетий и пр.

«Охр<анную> Гр<амоту>«посылаю на имя С.Я., это вместе и привет ему.

Письмо 168
30 мая 1929 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Мне вернули с почты ранее принятую бандероль с рукописью на твое имя при разъяснении, что на такие пересылки требуется специальное разрешенье. Я не пойду его исхлопатывать не из лени, а из боязни, как бы не посеять в инстанции, к<отор>ая меня м.б. не знает, подозренья относительно всей нашей переписки, и – будущей.

Мне очень хочется показать тебе, что я сделал за год, придется, однако, повременить. К концу лета все сбежится в печатном виде, в котором до сих пор пересылка производилась беспрепятственно. До этого времени все и придется отложить.

Вероятно, из этих разноразгонных прыжков разной длины и удачи самым стоющим будет начало проз<аического> романа, который я начал в феврале и в одной части (четвертой, т. е. не по порядку, а в смысле пропорции) недавно кончил. Мне посчастливилось его на днях читать в исключительно благоприятствующих условьях (у Пильняка, перед молодежью его – советско-славянофильской школы), почему и критика выродилась во взаимные объятья, признанья в любви и пр. Слова же, там произнесенные, – всем приснились, и я счастливого этого сна цитировать не буду.

Но им уж захотелось абсолюта, и тогда некоторые из них стали высказывать цеховые пожеланья. И вот этим немногим я сказал, что их советами бы воспользовался, если бы был свободным художником, каким они себя и, верно, меня считают. А я не художник, а несчастный человек. Мне не пришлось делать ссылки на тебя и твой круг, п.ч. все известно, и они меня поняли. Это заявленье о своей эстетике я делал в состояньи беспредельного, незаслуженного счастья. Счастлив я был и Ямским Полем и Avenue Jeanne d'Arc.

У Мандельштама осенью случилось очень досадное недоразуменье с Горнфельдом, по вине одного издательства. Оно было улажено обоюдосторонними письмами в редакцию. В середине зимы он имел глупость и несчастье «в общественном разрезе» поставить тему, одноименную с областью, в которой он проштрафился, или только, как хочу думать, благородно обжегся. Он напечатал в «Известиях» фельетон о постановке переводческого дела в СССР, прекрасно написанный и

показавшийся мне глубоко антипатичным. Он там называл изъяном дела то, что переводы поручаются (как бы сказать покороче) тем, кому бы я их только и поручал, т. е. людям нуждающимся, знающим языки, а не литераторам-специалистам. Это даже немного било по моим постоянным усильям и по моим симпатиям. Я люблю людей обыкновенных, и сам – обыкновенный человек.

Теперь против него поднята, действительно недостойная, травля, и как всё у нас сейчас, под ложным, разумеется, предлогом. Т. е. официальные журналисты, являющиеся спицами левейшего колеса, нападая на него, сами м.б. не знают, что в своем движеньи увлекаются приводною тягой правого. Им и в голову не приходит, что они наказывают его за статью в «Известиях», что это, иными словами, действие всяких старушек, от «Известий» находящихся за тысячу верст. Это очень путаное дело. У нас против травли *протестовало* 15 лучших писателей (протестовали соседи старушек!), и я в том числе, сейчас в «Литературную Газету» прислан протест из Ленинграда с Ахматовой, Тихоновым, Толстым и другими подписями. И все это разбивается о какую-то невидимую стену, постановления комиссий, разбиравших его дело, не печатают, письма писательские обходят молчаньем. А сам он удивителен. Правда, надо войти в его положенье, но его уверенности в правоте я завидую. Вру – смотрю, как на что-то нежданно-чужое. Объективно он не сделал ничего такого, что бы хоть отдаленно оправдывало удары, ему наносимые. А между тем он сам их растит и множит отсутствием всего того, что бы его спасло и к чему я в нем все время взываю. На его и его жены взгляд, я – обыватель, и мы почти что поссорились после одного разговора. Напрасно я об этом с тобой заговорил. Неполнота рассказа тут равносильна искаженью.

Всего лучшего. Я опять, кажется, на верном пути. На твоем. Вот увидишь.

Твой Б.

Письмо 169
1 декабря 1929 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Буду писать точно не тебе, точно не молчал, точно все по-другому. А то не написать никогда. Итак, первое. Я здоров. Ты напрасно тревожилась. И тому дикому свинству, что я тотчас же тебя не успокоил, нет имени. Мне делали операцию летом, вынули кусок кости из нижней челюсти, предварительно перед этим удалив шесть зубов. Там была костная киста, цинготное следствие голодных лет. Операция с точки зренья внутренней хирургии несерьезная, но очень мучительная. В том месте проходит центральный лицевой нерв, операцию производили почти без анестезии, по причинам, в которые вдаваться было бы долго, все сделали в один прием (зубы и вскрытье и пр.), дело длилось 1½ часа, когда задели за лицевой нерв, я от боли потерял сознанье. Именно мучительность этого всего, вместе с некоторыми частностями, которые осложнили бы и без того пространный рассказ, и повела к разговорам и слухам. Вот и все. – Но все, что ты пишешь о крови, – верно. Кровь ли или еще что, дело не в том, а в том, что, конечно, наша работа не «литература» и сами того не зная, мы все время расходуемся. Я наверное тебе писал не раз о странных и нестерпимых болях, периодически случавшихся раза по два в год в теченье шести последних лет, и всегда в полосы разгара работы, когда пошатывался сон и пр. и пр. Это вот и разрушалась кость в подбородке. Но внешне я не изменился после операции, она произведена изнутри, без наружного шва, и кость, по-видимому, регенерирует.

Ты читала повесть? Там есть несколько ничтожных опечаток, главная же опечатка та, что не указано, что это начало романа и примерно – первая его треть. Но только она пока и написана. «Повесть читала собой» – говоришь ты, и я понял эти слова. Разумеется, ты права. Но ведь это не все еще. И если бы даже было все, то ведь я еще не умер. И если бы я даже и умер, то ведь жива еще ты. Видишь, сколько еще глав впереди. Тебе понятно? Жаль, если нет, потому что подымать эту тему словесно, и в письме, сил нет. Да и пра́ва. Вычеркни, сделай милость, весь этот абзац из письма и из памяти.

Существую я одиноко и невесело. Живу мечтой, давно тебе известной. И опять, не надо ничего предрешать: говорю о

немногом, житейском, детском, вольном. Что земля и люди разошлись врозь для меня, что ближайшие мне люди не на той земле, что мне всего ближе. Прежняя цель остается в силе. Приближаюсь ли я к ней? Я думаю, что да. Но ты видишь, как медленно, и чем дальше, тем все медленнее я иду к ней. Все, что ты прочтешь моего – этапы на пути к ней. И не творческие, разумеется, а – заработочные. Но не хочется ныть, да и не до того.

Я совершенно вне здешней литературы, т. е. дружбы мои не тут. Люблю Мейерхольдов, его и ее (это значит: вижусь все-таки раз в два года). Познакомился кое с кем из философов, с музыкантами, и только обнаружил, с большим опозданьем, что мне всего живей и милей там-то и там-то, как выяснилось, что они знают П.П.Сувчинского, а поводом к узнанью послужил Прокофьев, с которым встретился у Мейерхольдов. Там же был и пианист Генр<их> Нейгауз. И, можно сказать, *благодаря вам* (потому что много этого духу было на вечере) свиделся с Маяковским, подошедшим к концу, и узнал, что́ он пишет, после почти 3-летней разлуки.

Давай писать друг другу легкие письма, о чепухе, о житейском. Но перед этим скажи, как ты думаешь поступить с письмами R.M.R<ilke> к тебе? Мое единственное разделит участь твоих. Но у меня на этот счет нет определенного мненья (я его издателям не посылал).

Ты знаешь, я перевел оба его реквиема и напечатал. Трудно было, и ты будешь недовольна. После операции мне две недели нельзя было разговаривать, и тут я именно и перевел один (An eine Freundin[156]). Если увидишь (он тоже в Нов<ом> Мире), не суди строго, и, кажется, опечатки есть и там. Но переводилось хорошо, я находился все время в возбужденьи после принятых мук (первый случай *неотвлеченного переживанья* после долгого поста этих глубокомысленных лет), и Женя была удивительна, за дверью операционной и еще долго потом. И – молчать, иметь благовидный предлог, причину и основанье для молчанья, молчать без страха, что в него *вложат* какой-нибудь смысл, это стоит испытать, это – вроде музыки!

Тут кончу и скорей отошлю, чтобы не залеживалось. Как получить «Молодца» с Гончаровой? Не будет ли оказии? И проза ли или не проза – гибель семьи, что ты пишешь? Лучше бы проза. Хотя ты в другом положеньи, чем я, ты и за пределами лирики и в самых широких просторах остаешься поэтом, у меня же повествовательное в стихах ни разу не удалось.

<На полях:>

Пожалуйста, передай С., что я люблю его, нуждаюсь в нем и

никогда не забываю. Из Гёте ни для тебя, ни для меня ничего не вышло.

Обнимаю тебя.

Б.

Письмо 170
24 декабря 1929 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Эту зиму мы живем вне календаря. Я не ищу кругом признаков того, что сейчас сочельник, и если бы искал, не нашел. Но ударил сильный мороз, и мне всегда кажется, что в мороз электричество горит жарче. И сына купали, и мыли полы, и дом пуст, все ушли в гости: но все это случайные совпаденья.

Нового Года, как праздника, тоже не будет. И я не возражаю, это тоже в порядке вещей.

Однако я мечтал его встретить у нас и хотел встречать с Мейерхольдами и Белым и еще кое с кем: а потом, по легком охмеленьи и в разгаре шума, позвать несоединимых: Маяковского и Пильняка, скажем, или еще кого-нибудь. И мне представилось, что все мы пошлем тебе поздравленье, разными почерками, – прижжем и продымим и припечатаем донышком стакана; всегда найдется хоть один, без умысла, в ходе встречи залитый вином. Но для всего этого потребовались бы деньги, и я имел все данные на них рассчитывать, но меня подвели, расплаты перенесены на январь. Или это тоже вид нравственно-оздоровляющего воздействия? Ото всего этого я уже отказался и поздравляю Сергея Яковлевича, тебя и Алю и целую Мура один и без всякой торжественности, и тебя – одним тоном этих строк, – по-ночному осторожных, чтобы не проснулись дети.

Я сам врежу себе. Стоит мне допустить, что от тебя и твоих могут быть письма, как их полученье становится условьем моего существованья. Я под них подгоняю ход работы, я с них, в воображении, начинаю всякий завтрашний день. Тогда одно из двух: либо надо самому писать часто, либо вовсе не писать. И первое было естественно однажды, и второе – неизбежно; а теперь ни на то, ни на другое у меня нет силы.

У нас есть официальное учрежденье, называющееся Вокс (Вс<есоюзное> об<щест>во культ<урной> связи с заграницей). Мне из него звонили недавно: в него обратились из Польши с просьбой склонить меня на поездку к ним. Я отказался из тех соображений, что собираюсь который уже год во Францию и не оставил этой мысли: что встретить там долю французского веянья будет мне мучительнее полного лишенья. Что куда бы я ни поехал, я поеду как незаметное частное лицо и на свои средства. Потом пошли официальнейшие уговоры, и я узнал что-то вроде

того, что не имею права отказываться, т<ак> к<ак> Союз должен пользоваться всяким случаем укрепленья связи с Западом, и союзный полпред в Варшаве настаивает на желательности моей поездки, т<ак> к<ак> приглашение исходит как от левых так и от правых писательских кругов, что… и т. д. и т. д. Дорогая Марина чувствуешь ли ты, какой это вздорный анекдот, и поймешь ли, как трудно мне было втолковать собеседнику, что я не скромничаю и не разыгрываю дурака и что это нонсенс совсем по другим причинам. Мне между прочим гарантировалась полнейшая свобода в выраженьи мнений, меня снаряжали, как тенора.

Но еще труднее, чем ездить в Польшу, – писать письма. И еще труднее не писать их.

Прости, что пишу на обрывках, – у меня нет бумаги, вся вышла. Я боюсь, не рассердилась ли ты на меня за что? Дорогая моя, если тебе что-нибудь в тягость, ты не должна нуждаться в основаньях, чтобы от нее избавиться, и всегда будешь права. Но сам-то я их, по доброй воле, никогда не подам, и вряд ли ты себе представляешь, как связано тобой самое расположенье моей жизни, ее смысл и ее очерк.

Напиши мне, пожалуйста. Я живу – трудней нельзя, пишу туго. Много важного и существенного хотел вложить в вещь, называющуюся «Охранная Грамота», и рад, если ты не читала (начала, напечатанного в «Звезде»). Теперь занялся ее продолженьем. Материалы «Повести» и предполагаемого продолженья последней – автобиографические ответвленья «Охранной Грамоты», т. е. все то, чего нельзя рассказывать о себе, т. е. вести от 1-го лица. – Отсылаю, чтобы пришло к первому. Итак, новых сил, новой выдержки! И мира и удачи в семье и удачи детям.

Твой Б.

Письмо 171
Мёдон, 31 декабря 1929 г.
Цветаева – Пастернаку

– Борис! Это совпало с моим внезапным решением не встречать Нового Года, – отправить Алю туда, где меня будут ждать, а самой сидеть при спящем Муре и писать тебе. (Почему нет С., сейчас узнаешь.) «Борис! Аля ушла на Новый Год сижу с Муром, который спит, и с тобой, которого нет», – так начиналось, предвосхищая сроки. Утром сказала Але, а вечером твое письмо – да ка́к еще! Ездила в город, вернулась поздним поездом, на столе записка: «Мама! Очень интересное письмо. Если хотите получить – разбудите». (Ruse de guerre[157].) И я *конечно* не разбудила и *конечно* не искала, а письмо получила, потому что проснулась сама.

Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь всё, что с другими – без слов, через воздух, то теплое облако *от – к* – у нас словами, безголосыми, без поправки голоса. Мало произнесено (воздух съел) – утверждено, безмолвно проо́рано. Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец – всегда худой. Ведь говорят – на прощанье. Есть у Степуна, не знаю собственное ли, но исчерпывающее определение: «Романтики погибли оттого, что всегда жили последними». Каждое наше письмо – последнее. Одно́ – последнее до встречи, друго́е – последнее навсегда. Может быть оттого что редко пишем, что каждый раз – всё за́ново. Душа питается жизнью, здесь душа питается душой, саможорство, безвыходность.

И еще, Борис, кажется, боюсь боли, вот этого простого ножа, который перевертывается. Последняя боль? Да, кажется, тогда, в Вандее, когда ты решил не-писать и слезы действительно лились в песок – в действительный песок дюн. (Слезы о Рильке лились уже не вниз, а ввысь, совсем Темза во время отлива.)

С тех пор у меня в жизни ничего не было. Проще: я никого не любила годы – годы – годы. Последнее – вживе – то, из чего Поэма Конца, шесть лет назад. Рождение Мура всё то – смыло, *всё* то, и российское всё. Мне стало страшно – опять. И эту неприкосновенность – почувствовала. Я опять вернулась к своей юношеской славе: «не приступиться». Всё это без слов. Совсем проще: я просто годы никого не целовала – кроме Мура и своих, когда уезжали. – Нужно ли тебе это знать?

Всё это – начинаю так думать – чтобы тебе было много места вокруг, чтоб по пути ко мне ты не встретил ни одной живой души, чтобы ты ко мне шел по мне (в лес по́ лесу!), а не по рукам и ногам битв. И – никакого соблазна. Всё, что не ты – ничто. Единственный для меня возможный вид верности.

Но это я осознаю *сейчас*, на поверхности себя я просто закаменела. Ах, Борис, поняла: я просто даю (ращу) место в себе – последнему, твоему, не сбудься который у меня отсечено – всё быть-имеющее, всё, на чем я тайно строю – всё.

Борис, последний день года, третий его утренний час. Если я умру, не встретив с тобой такого, – моя судьба не сбылась, *я* не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту́ меня, которая *есть* и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета.

– Борис, я тебя заспала, засыпала – печной золой зим и морским (Муриным) песком лет. Только сейчас, когда только еще вот-вот заболит! – понимаю, насколько я тебя (себя) забыла. Ты во мне погребен – как рейнское сокровище – до поры.

С Новым Годом, Борис, – 30-тым! А нашим с тобой – седьмым! С тридцатым века и с седьмым – *нас*. Увидимся с тобой в 1932 – потому что 32 мое с детства любимое число, которого нет в месяце и нужно искать в столетии. Не пропусти!

М.

NB! Меня никто не позвал встречать Новый Год, точно оставляя – предоставляя – меня тебе. Такое одиночество было у меня только в Москве, когда тебя *тоже* не было. Не в коня эмиграции *мой* корм!

А идти я собиралась на новогоднюю встречу Красного Креста, ни к кому. Не пошла из-за какого-то стыда, точно бегство от пустого стола. Письмо сто́ит стакана!

Это письмо от меня – к тебе, от меня-одной – к тебе-одному (твоей – моему). Вслед другое, о всем, что *еще* есть.

Нынче ночью – вслед – другое письмо. Про всё. Обнимаю тебя.

Письмо 172
31 декабря <1929 г.>
Цветаева – Пастернаку

Телеграмма
SANTE COURAGE FRANCE MARINA[158]

Письмо 173
7 января 1930 г.
Эфрон – Пастернаку

Мой адр<ес>: Château d'Arcine
St. Pierre de Rumilly
H<aute> Savoie

Милый, милый Борис Леонидович,

– Пишу Вам в дни русских праздников. Знаю о Вас от М. Дай Вам Бог в наступившем тридцатом исполнения Вашего основного желания.

А я сейчас далеко от М. – в горах. Сюда выслали меня врачи. Живу так, как, кажется, никогда не жил. И чувствую себя обжорой – берущим и ничего не дающим взамен (вот Вас бы сюда!). Надеюсь к лету перетянуть и М. сюда.

Продолжаете ли свою «Повесть»? Читали ли, что написал о Вас Мирский? А я написал о Вас во французском журнале, в самом неожиданном, и Вами открылся в нем русский отдел. Когда увидимся – покажу.

Братски обнимаю Вас.

Ваш С.Э.

Письмо 174
19 января 1930 г.
Пастернак – Цветаевой

Я еще не поблагодарил тебя за телеграмму, а от тебя третье письмо, и это мне не дает покою. Ты еще летом окольно и издалека говорила об оказии. Но только из рождественского твоего письма в первый раз узнал, кто это. Я три раза ходил к В<ере> А<лександровне> и не заставал ее дома. Вчера мне посчастливилось прийти ко времени их обеда. Я получил шарф и ридикюль для Аси, ужасно тебя благодарю. Но ходил я не за этим, а главным образом за твоей статьей о Рильке и за другой, о Гончаровой. Представь, она их и не повезла. Это было для меня большим разочарованьем. Я затем и задерживал ответ тебе, чтобы написать по прочтении статей, и о них, первым делом. На нее нельзя сердиться. Но половина установлений, имеющих силу в любом государстве в какое угодно время, исходит от передового населенья, от того, как себя люди ведут. И в тех случаях, когда я сознаю совершенную чистоту и невинность того, что я делаю, мне и в голову не может прийти, каким ложным истолкованьям может подвергнуться или даже *принято* подвергать эти вещи. Чем верить в какую-то атмосферическую неврастению, я лучше ошибусь, веря в широкое здоровье воздуха, которым я дышу. По той же причине, по которой В.А. не привезла статей, она не ответила на письма С.Я. и Д<митрия> П<етровича>, и не ответит.

А я всегда с ужасной тягостью подчиняюсь вынужденной «конспирации», испрошенной со стороны, т. е. недописыванью инициалов и прочей ерунде этого порядка. И это всегда бывает, когда приходится говорить о других, о милых, робких, суеверных и пр. людях. От В.А. же узнал впервые о серьезном желаньи Святополка приехать сюда (Прокофьев говорил об одном Сувчинском). Однако В.А. не верит, чтобы он получил разрешенье. А это изменило бы всю мою жизнь.

Как ты замечательно пишешь! И всего больше тебя и жизни, т. е. музыки земного притяженья в твоих спокойных описаньях. Над будками и дворовым выкачиваньем в эпических скобках поднялось французское Рождество, и я его провел с тобою не в силу какого-нибудь своего влеченья, а силой чуда производимого тобою привычно-размеренно, поденно и затрапезно, без восклицательных знаков, за которыми никогда не бывает никаких чудес.

Вчера я получил от С.Я. письмо и сегодня ему отвечу. Я

ужасно ему обрадовался. Я мысленно уже писал тебе, и вот о чем, когда его получил. Я хотел у тебя попросить прощенья, что долго не отвечал, зная в особенности, что ты одна, и что́ это, по моему собственному опыту, может значить. И тут я делал сближенья с тем засореньем нервов, которого я никогда не ведал в моем досемейном одиночестве, веселом и огромном, и которым я заболеваю всякий раз в квартире, признавшей фактом меня и моих, и меня – благодаря последним. Разреши не вдаваться в тонкости: ты либо знаешь это, либо от этого счастливо избавлена. Далее я жалел, что мало знаю С.Я., потому что только о нем бы и писал тебе все это время, и ты бы радовалась. Его страшно любят люди, имеющие касательство до тебя и меня. Назову, чтобы кого-нибудь вспомнить, Асю и Антокольского. В их рассказах по посещеньи тебя он участвовал в превосходной даже, против тебя, доле. И то, что я люблю его – не фраза, не желанье какой-то сердечной позы, не лирическое намеренье: все это было бы для него обидно, и я бы это спрятал, не показав. Он замечательный человек, мне это известно. Нутро же его – это я сам в некоторой высокой степени, забрасывающей в области, куда я не попал (п.ч. часто там, где он возводил себя в степень, я извлекал корень). Последнее, впрочем, вздор, инерция разбежавшейся фразы, и я бы должен был это зачеркнуть; но в данном месте тебя бы заинтересовало, что именно зачеркнуто. Вот почему это схематическое закругленье (как я их ненавижу, а вот и сам не свободен иногда!) оставляю. Кроме того, я хотел тебе признаться, что твоя цитация дачи и общего крова резанула меня, представив (против твоей воли) бо́льшим пошляком, чем я мог себя считать. – И тут пришло его письмо. —

А у В.А. я застал служащего Нац<иональной> библ<иотеки> в Париже, очень милого человека, наговорившего мне кучу приятностей. Он отправляется с С<мышляевы>ми в Ростов, на Кен-озеро и на Ледов<итый> океан. Я плохо говорю по-фр<анцузски> и еще более того смущаюсь. Они вернулись с обхода букинистов и, жуя, запивая вином и пр., раскладывали покупки, хвастая сходностью купленного. Я увидал старый «Петербург» Белого, твою Вишняковскую «Разлуку», несколько сборников народн<ых> песен; – но меня тотчас отвлекли, – были еще гости, и я только успел сказать ему, чтобы он достал твои Версты и не верил твоему мненью о них, – что ты их недооценила. С<мышляев>ы же однажды отдыхали с Женею в здешнем d'Arcine (в «Узком»; я ни разу ни в каком доме отдыха Цекубу не жил и, кажется, единственное изо всех «кубистов» исключенье: Женя – дважды, Ася – просто несчетное число раз). И – не знаю, врут ли или верить – Женя им понравилась. И тут ты

оценишь весь клубок: Ист<орический> музей; круглый стол с гостями (И.Н.Розанова ты ведь знаешь?); ты и твои подарки мне (что прозы не будет, я еще не знал); француз, осы́павший меня комплиментами и пожирающий глазами; d'Arcine – Узкое; любят Женю, – и все это почти что в Париже. – Выхожу блаженный, бездонно облагодетельствованный; шестой час, вечер уже наступил, мне на Петровку в кассу за билетами на конц<ерт> Оборина. Думаю, теперь обязательно что-то случится «эгоцентрическое», и тут же предвосхищаю, знаю, мол, – что́: по дороге на Петровку увижу в витрине «Недр» (книжного магазина) «Поверх барьеров» или что-нибудь подобное, не более того. Но вместо «Недр» – пустое помещенье с огромной надписью, что Недра переведены туда-то и туда-то (куда – не успеваю прочесть) … а дальше, в двадцати шагах, за углом Большого Театра, последнею в огромном хвосте дожидающихся автобуса – Женя. Я страшно ей обрадовался. Так ли это у тебя, т. е. любишь ли ты также, чтобы любили близкого тебе человека, и тогда ли только убеждаешься, как он близок тебе? —

Прервал письмо. Зашла Ася с сыном Ад. Герцык. Я совершенно не нужен ему, Ася же, вперед взвинтив себя, успела, верно, внушить ему, как важно для него со мной познакомиться. Такая страсть ко взаимным пронзеньям и к сталкиванью людей, которых ни жизнь, ни случайность без ее вмешательства не столкнули б – *единственный* ее недостаток, но я его терпеливо сношу во вниманье к остальным ее заслугам и достоинствам. Но часто это бывает очень неловко. – Зачем дали Муру «Зверинец», и как ты могла это допустить? Я не знаю на свете книжки нелепее и неудачнее: совершенно неизвестно, для кого она написана. В ней есть два-три места поэтически-жизненных; однако для того, чтобы быть предназначенными для взрослых, они должны были бы отличаться большей серьезностью. То же, что для детей она никак не годится, ясно не только автору, читателю и издателю, но и бумаге, которая это стерпела, как и многое. Этот Зверинец вместе со столь же прекрасною Каруселью были написаны в самую тяжелую для меня пору, весной 25 года; и – в частности, Зверинец в те самые дни, когда одна девушка передала мне по оказии твое письмо о рождении Мура (Feuerzauber[159] со спиртовкой, помнишь!). Мне тогда очень благоволил Чуковский, но даже и его усилья, конечно, ни к чему со Зверинцем не могли привесть: легче было устроить десть чистой писчей бумаги по детскому отделу, чем эту остроумную рукопись. Чуковский писал мне неслыханно лестные и по-настоящему сердечные письма. Он готов был в лепешку расшибиться, чтобы мне помочь. И тогда-то родилась Ломоносова, о которой ты вновь прочла в моем письме

к Д<митрию> П<етровичу>, которое так же нужно было тебе показывать, как давать Зверинец Муру. – Но как все это связано, а! – «Зв<еринец>» же из милости издали в прошлом году для какого-то n-го возраста, об определимости к<оторо>го лучше не думать. – Мне правда стыдно перед Муром. Я мечтал о будущей дружбе с ним, а теперь навек вами перед ним опозорен. – Книжки достану и пришлю.

Однако пора кончать. Знаешь ли, как начался у меня год, т. е. что сопутствовало твоей телеграмме (очень хорошо France[160] в виде пожеланья!), т. е. кто был тебе спутником в этот день? Я получил книгу от R.Rolland'a, с надписью, в конце которой есть тоже пожеланье bonne traversée de l'un a 1'autre bord[161] (хотя в смысле переправы с востока на *закат*, из молодости в старость). Это подстроила Майя (М.П.Кудашева, помнишь?). С ее слов он знает о тебе и обо мне. Она золотой человек и очень скромная и умная. Жалко, что эта тема к концу пришлась, потому что *так* ни о ней нельзя писать, ни о том, как меня взволновал этот подарок. Я не умею «переписываться с великими людьми», и этого не было у меня в жизни. Но мне и по-фр<анцузски> было отвечать R.R<olland> легче и вольнее, чем в свое время по-русски Горькому.

<На полях:>
Прости за длинное письмо. Негде даже и поцеловаться.

Твой Б.

Письмо 175
20 января 1930 г.
Пастернак – Эфрону

Дорогой мой Сергей Яковлевич!

Единственное мое намеренье крепко Вас расцеловать за вашу братскую подпись. Братом меня назвали с тех же гор, где теперь и Вы, в самый первый день года. Я получил от R.Rolland'а книгу с надписью, в которой встречается то же слово, и теперь, после Вашего случая, оно мне кажется альпийским.

Все о Вас знаю из письма М.И. Она даже с Ваших слов описала мне местность, которою Вы окружены, и я ее вижу. Новостью для меня был точный Ваш адрес, радостью, и преогромной – Ваше письмо.

Из рождественского письма М.И. узнал впервые о ее прозе, посланной с оказией. Ходил к В<ере> А<лександровне> и только на третий раз застал ее дома. Она ни Вам, ни Дм<итрию> Петровичу не сможет ответить по той же причине, по какой не повезла с собой и прозу. Хотя совесть ее так же чиста, как у меня, и у нее никакого повода нет впадать в суеверную сторожкость обывателя, она предпочитает воздерживаться от переписки с заграницей, т<ак> к<ак> на этой почве бывает много недоразумений.

Поправляйтесь, пользуйтесь случаем, в санатории наш брат попадает не часто. И сколько, наверное, кругом Вас бездельников, которым это совсем не нужно!

Мне становится все трудней год от году. Никто кроме меня в этом не виноват. Когда-то я естественно рос из своего одиночества, не задумываясь над тем, к чему этот рост ведет и что значит. Потом это изменилось. Начиная с «Девятьсот пятого» я пишу не от себя, а все для кого-то. Между тем ответа я от этого местоименья не получаю и с тем, что до меня доходит, жизни завести не могу. В отношеньи меня здесь уже успели застыть кое-какие холодно-лестные суперлативы, и при пользованьи ими в них не заботятся даже внести разнообразья. Правда, словарь, которым приходится пользоваться нашей критике, беден и ограничен; значащих слов в нем почти нет, – отсюда и стереотипы. «Повесть» я писал прошлой весной, добрую ее долю – с хорошим волненьем. По-настоящему ее принял только Пильняк с молодежью, им руководимой. Но вот и все, что я от нее видал. Дм<итрию> Петровичу я недавно напомнил, что заграничная моя звезда сводится к Вашим совместным усильям. Но я позабыл

прибавить, что эта ясность причин и источников меня радует, а не смущает. Я этой «перепиской с друзьями» счастлив, это именно то, чего мне недостает в моей здешней судьбе: – очень хорошо, что все это узко, субъективно и спорно; я участвую в общем разговоре и – не одинок.

Но сколько бывает случаев радоваться всему происшедшему, и неописуемой трудности времени, и его суровости и пр. и пр.! Они неисчислимы. Вдруг забредет что-нибудь такое с «*поэтом-вещуном*» (это – Тютчев, если помните(!!!)) на устах; с «пушкинской простотой» вегетарьянского стиха, в жизни не убившего и мухи. Или, например, статью Люб. Столицы об Адел. Герцык вам покажут. Бог ты мой! И еще ты стонешь?! И главлит не по тебе?!

Так это все еще «пишет» и «размышляет»! И сквозь мир зримый незримый провидят? И отметинки остались, как накладывать? А кощунства-то сколько (не говоря уже о посвященности в судьбу и назначенье форм!). Евангелисты бедные старались, показали безумно-правое, молниеносно-вечное, – отвесно-молодое (как лошадь в мыле, как трава в росе) – тысячелетья шли, только искры сыпались, – так гениален заряд, – а послушать иную такую, так это ведь нечто губернское, только под косынкой и понятное, то самое, что стали *прозирать*, когда табак перестали нюхать, ну, знаете, что под кивки и вздохи сказывается; такая, знаете, безыскусственность; наследство небольшое, но много ли человеку нужно. А мы-то думали… Так вот они, первоприглашенные вселенной! Мы-то щурились – лицо в улыбку – на небо глядя. А тут маститая кресло просидела при спущенных занавесках, сидит и истины нижет, что зерно клюет, птица певчая. Говорят тоже, Ходасевич не выдержал, юбку надел, но не верю. – Или вдруг с противоположной стороны заедет. Что-нибудь золотозубое в элегантно сшитом пиджаке, показываясь, как в фокстроте, рассказывает вам, как прелестно оно прокатилось по Германии. И лезвия для бритв передает и просит написать, что «*привет* Ваш передан; благодарю Вас». Но позвольте, я отказываюсь, я лезвий никогда приветами не называл, я напишу как есть, называя вещи их именами. Плеск рук, глаза с тарелку, вы непрактичны, я Вам услугу, а Вы меня губить, и пр. и пр., и все явленье, как платок, надушено спекуляцией, духами, мерзость которых нами тут позабыта.

Чувствуете ли Вы, чем близки эти противоположности? На одной только и мелют, что о духовном, но… но по душевной импотенции не знают, *что такое бессмертие*, и не желают его, потому что не могут его хотеть. На другой не успели ни разу им соблазниться ввиду заполненности жизни акциями и

бутербродами.

Революция есть ответ оскорбленной истории: ее бурное объясненье по всем пунктам с человеком, по тем или иным причинам к бессмертию безразличным. Да здравствует революция. Обнимаю Вас.

Ваш Б.П.

Письмо 176
2 марта 1930, Château d'Arcine
Эфрон – Пастернаку

Родной мой – Борис Леонидович,

– Спасибо, спасибо, спасибо и за письмо Ваше и за книжку.

То, что Вы прислали мне Ваши стихи именно в эти дни – совершенное чудо. Почему – скажу при свидании, в которое твердо верю.

Мне очень трудно писать Вам, и потому что я в письмах косноязычен, и потому что у меня еще никогда и ни к одному человеку не было такого предельно открытого дружеского притяжения (и, верно, оттого кажется, что все, о чем я могу Вам написать – Вы уже давно знаете).

Никогда так не любил и не нуждался в Ваших стихах, как сейчас.

С благодарностью Вас обнимаю.

Ваш С.Эфрон

Письмо 177
18 апреля 1930 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетворись тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от событья, и этого было достаточно, чтобы мое чувство, объявленное чужим и далеким, перестало на него отзываться на общей церемонии. Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признанья красоты его свободного конца, не заключали. Сохрани, пожалуйста, этот факт в тайне. Если бы тут узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда нужно мне.

Все это совершенные пустяки вот почему. В дальнейших главах «Охранной Грамоты», которые я написал зимой, он и его смысл и его роль и обаянье и главное: его значенье в моей судьбе даны так, что это покажется многим неожиданным. Я потому с самой осени и не видал его, что все ждал, когда главы эти будут переписаны, и даже не посвящал в эти планы. – Дорогая моя, друг мой, прости, что не пишу тебе. Это некоторое время еще будет продолжаться. Меня очень мучит, что я не знаю твоего «Перекопа». Волны восхищенья разрозненно доходят до меня, вероятно это замечательно. Из твоих сообщений меня сильнейше коснулось все о французских переводах, это было самым реальным и счастливым изо всего, что я узнал «заграничного» за этот год. Твоя французская строфа настолько твоя, что сливает оба языка в один, как сливаются немецкий с французским под St. Gothard'ом (?). Ты страшно ты во всем этом и страшно мне нравишься верностью в этом всему, что в тебе всегда восхищало. Я и от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т. е. исчезнет в неизвестность или обманет ожиданье еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить, чтобы совершенствовать неожиданность, а о таком именно исходе я не думал. Но, разумеется, и он (т. е. конец) того же высокого рода. Не поддавайся волненью или тревоге, работай как до сих пор, я люблю тебя, если это тебе нужно, и крепко целую. Неандер был, благодарю за подарки, но деньги он сам переведет, а я сейчас не могу. Пусть С.Я. простит, что до сих пор не ответил ему.

<На полях:>

Тут превосходную лирику выпустил М.Кузмин, и я написал ему как раз накануне самоубийства В.М<аяковского>.

Письмо 178
24 апреля 1930 г.
Эфрон – Пастернаку

Мой дорогой Борис Леонидович,

Я знаю – какой удар для Вас смерть Маяковского. Знаю – кем он был для Вас.

Обнимаю Вас крепко со всей любовью и со всей непроявленной дружбой.

Ваш С.Эфрон

Письмо 179
<май 1930 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Ася давно просила переслать тебе эти карточки. Прости, что позабыл вложить в последний раз. Огромное тебе спасибо за твое письмо. В нас сказалась одна и та же забота друг о друге, но как оценить *твою*, принимая во внимание мое свинское поведенье последних месяцев.

Мне немного нездоровится, утомлен, недосыпаю, весь день хожу с мутной головой.

Когда застрелился Маяковский, я два дня прокипел в здоровом, чистом, укрепляющем горе. Я давно-давно не чувствовал так отлично – не скажу: себя, но отчетливую размещенность всего любимого: особенности столетья, тебя, твоих, язык, задачи, недооткрытые области поэтического знанья, – прости за вздорное теченье фразы, так к слову пришлось.

Я писал тебе, что во всем перечувствованном получил скорый отпор. Было бы ложной аффектацией задерживаться на этом случае дольше, чем я на нем задержался на практике. Эта мелочь и в письме должна была уписаться в одну строку, как и в жизни она заняла одно мгновенье.

Но с этого мгновенья меня как-то залихорадило. Однако ты не беспокойся. Это наполовину нечто мнимое, хотя я так создан, что мне от одного соприкосновенья с умственной пошлостью обметывает губы: от одной мысли, что выход из рабочей сосредоточенности подобен разврату и загрязненью крови. Я скоро возьму себя в руки: да это уже почти и случилось.

Моя работа затрудняется происшедшим. Я начерно писал зимой о Маяковском, крупно (в замысле), горячо и живо. Но как о живом, в расчете, что попадется на глаза живому и чем-нибудь ему да послужит. Иное дело теперь, когда все это надо вести холоднее и суше, чтобы не потеряться перед разом разросшейся натурой: ибо теперь – так я понимаю – писать о нем значит писать об истории гос<ударства> целого, и этот образ впервые для себя откапывать, обтирать, – и заводить в душе. (Скользни и забудь: – приблизительности непозволительно невоплощенные.)

Я с просьбами. Передай, пожалуйста, Дм<итрию> П<етровичу>, что я страшно его благодарю за Eliot'a и рад подарку, но чтобы простил, что не скоро ему напишу. Пусть также за то же не сердится на меня С.Я. – *Можно ли поместить во 2-м изд<ании> Барьеров стихи к тебе?* [162] Я их доправлю.

Вышли новыми изданьями «Две книги» (хорошее изданье) и «Девятьсот пятый» (в отвратительном виде). Если кому нужно будет, напиши.

Не сердись на меня и не суди по этим письмам. У меня нет сил победить их бессодержательность, т. е. диссимулировать ее. Твой Б.

А почт<овая> марка – твой «Перекоп». Заметила?

Письмо 180
20 июня 1930 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Я хочу, чтобы ты это знала. Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г<орькому>, слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. Под разными предлогами он отклоняет мою просьбу и советует подождать. Не могу, но хотел бы научиться верить, что это слово что-нибудь значит, т. е. что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить.

Оттого и не писал. Все последнее время был в большом волненьи. Верил почему-то в успех. Когда не нужно – любят, говорят, раскупают изданье за изданьем, прощают (сильнейшее из имеющихся) противоречье всему, что возведено в канон. Когда нужно, – узнаёшь, что прикован за ногу, и никто палец о палец не ударит тебе в освобожденье. Настроенье соответствующее. Не начинать, – не знал бы, испытанье не из приятных.

Пока это свежо, трудно даже письмо дописать. Оно – тебе и С.Я. Главное в сообщении. Можно сказать Д<митрию> П<етровичу>, но никому больше. Да и больше некому.

В этом году выдумали почему-то под Киев на дачу. Идея знакомых, одного из которых, пианиста Нейгауза, кажется, знает П<етр> П<етрович>. Семья с конца мая уже там, завтра и я еду. Адр<ес> будет такой: Ирпень, Киевск<ий> окр<уг>, Ю<го>-З<ападная> ж. д. Пушкинская 13, мне. Люди, сманившие туда, гл<авным> обр<азом> тот же Н<ейгауз>, – очень милые.

Итак, придется смириться и временно перестать об этом думать. Но осенью возобновлю попытки отн<осительно> Жени и Женички.

Не сумею тебе этого описать толком, но на Кузнецком, прямо от секретаря Г<орького>, с его письмом (прочитанным) в руках, и больше: переходя через дорогу и остерегаясь автомобилей, – именно в этой обиде и, – относительном, – несчастьи, *вспомнил* о поэзии, о том, скажем, чем занимался иногда Верлен (чтобы не бубнить все о том же R<ilke>). И мне хочется и *тебе* об этом напомнить, если ты так же *полно* забываешь себя, как я тут, – годами. И вдруг, в огорченьи, *приходится становиться собой*, ничего, за закрытьем всех выходов, другого *не остается*. —

Мне придется в ближайшие месяцы позаботиться о книге

прозы и о злополучном, чтоб его черт побрал, романе в стихах. На подготовку книги я смотрю всегда как на первую, в настоящем смысле слова беловую, после тех черновиков, какими были отдельные части целого или отдельные вещи сборника, появлявшиеся в журналах. По-моему, это тебе близко и «После России» собрано и *вновь написано* именно так. Вот и попробую. – Часто болею, ложность положенья растет, своей судьбы не понимаю. Из Ирпеня лучше напишу. Когда ты попросила меня написать С.Я., мне тоже было очень тяжело. Простила ли ты мне, и он, что просьба осталась без исполненья? Ответь. Эта вина меня очень мучает.

Письмо 181
12 октября 1930 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина.

Писал тебе на днях. Сейчас получил письмо, очень меня огорчившее. Ни в намереньях, ни в возможностях перемен не произошло, но сейчас выплачивают деньги с ужасными задержками. Это общее явленье. Мне давно должны в издательстве, однако и сами они не знают, когда смогут уплатить. Вторую неделю живем без денег, и т<ак> к<ак> это удается все хуже, то выход все равно придется найти до уплаты задолженного. Но т<ак> к<ак> и это все гадательно, то я уже кое-что предпринял и думаю, что результаты опередят письмо. Прости, это гораздо меньше должного и обещанного, но рассчитывай на остальное. Только пока не сообщай мне способа, а несколько спустя. Последние дни – так сошлось – я все пишу за границу, а к этому всегда относятся подозрительно, – а тут еще о деньгах – боюсь, что прямой мой долг перед тобой поймут превратно.

Это именно то не-письмо, которым ты мне разрешаешь ответить.

А ты мне сообщи про радость, – никак не могу догадаться, и никто еще не привозил.

Целую тебя и С.Я. Пиши скорее, не сердись на меня.

Б.

Письмо 182
5 ноября 1930 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Не удивляйся, пожалуйста, – но я серьезно не уверен, не писал ли я тебе уже это все.

Твой перевод ошеломил меня. Это верх артистизма во всей его силе и смысле. Просто-напросто это гениально и легко предречь, что твой вклад во фр<анцузскую> лирику отразится на ее развитьи. – Но еще удивительнее русская сторона дела. Принято считать, что наибольшей статочностью обладает наиболее естественное, вероятное, справедливое. Наверное, так бывает во всем свете, кроме одних нас. И если бы твой случай задали как задачу; т. е. спросили, кто из современников способен в расцвете сил и достигнутого перейти из языка в язык и разом без переходов занять на этом новосельи прежнее, только что покинутое место, – то разумеется, это была бы ты, и за ответом не стоило бы лазить в конец задачника. Это была бы наперед ты – и ты одна, но именно в отвлеченьи от русских условий. И то, что традиция нашей судьбы побеждена тут, кажется мне самым оглушительным. Все, естественное в отношеньи Verger (я только о факте, я книги не видел), в твоем русском случае сверхъестественно.

Как еще сказать тебе о действии твоих столбцов и всей этой новости? Прими во вниманье, что тут у нас свирепейшая проза, и я старюсь, и мне не до преувеличений. Так вот, утрачивая чувство концов и начал в этом бесплотно капканном времени, я в твоем труде обретаю для него дату. Это год твоего фр<анцузского> Молодца и его близкого выхода, говорю я себе, и нечто похожее на хронологию ложится в окружающий хаос. – Ты убьешь меня и разогорчишь на всю жизнь, если снимешь посвященье. Хотя ты обещаешь его сохранить, я так дорожу этим счастьем, что боюсь, как бы в последнюю минуту что-нибудь не изменило твоего решенья. «М<олоде>ц» в свое время побыл у меня не более недели. Я носил его М<аяковско>му. Там его куда-то заложили. Так я его по сей день и видал. Сходна судьба и Асина экземпляра.

Итак, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ты молодчина из молодчин, под тобой земля, над тобой небо, кругом воздух, ты реальна, ты электрический неразменный заряд, не все обман, не все басня.

Настоящим, мгновенным откликом на твой перевод было

письмо к Майе с описаньем происшедшего и просьбой разыскать тебя. Знаешь ли ты, что она в Париже? Я его отправил простым, но почему-то верю, что дошло, хотя от нее ни привета ни ответа. Но все равно, все это в духе года, так, верно, и надо. Все смолкло. У меня было хорошее лето, жили под Киевом (ах, какой город чудесный!) с отличными людьми. Один из них, знакомый П<етра> П<етровича>, рассказывал о нем и показывал его квартиру. Он же играл много, – прекрасный музыкант. Жили дружбой, работой, вечерами, природою, обманчивостью допущенья, что все это и есть все. Пишу и чувствую, что издалека ты, в особенности же мужчины (С.Я., Д<митрий> П<етрович>, П<етр> П<етрович>) должны меня за этот замогильный тон презирать. Что ж делать. Сейчас из-под Москвы от Б.Н.Б<угаева> (А.Б<елого>) получил письмо, как из Сахары в Сахару. Еще раз поздравляю тебя живую, новую, беспромашливую, гениальную. Поцелуй С.Я.

Твой Б.

<На полях:>

О себе не пишу не случайно. Это – не тема, пока лучше не надо. А без этого, верно, тебе читать скучно: себя самое не хуже моего знаешь, а только ты тут и есть.

Письмо 183
5 марта 1931 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

У меня в руках твое письмо к Асе. Гляжу на твою строчку: «*Мне* ему писать сейчас *неудобно*, он мне давно не пишет, – письмами не считаюсь, но ввиду его переезда и т. д. не хочется та́к напоминать о своем существованьи». – Гляжу, – краснею. Ты права. Но не вини меня. – Итак, сперва о деле. Я бессовестно виноват перед тобой, что в свое время не сходил к Вавиной матери. Но то было как раз в начале и разгаре всего воспоследовавшего, и помешало мне, что у меня тогда не было денег. Я безбожно запустил дела, – они и сейчас еще не в порядке, но на днях поправлю, надеюсь. Тогда пойду, – это обязательно, и, вероятно, с двухсрочной сразу помощью. Тогда извещу. – Ты не обижайся, я никому не писал давно, и в свое извиненье буду ссылаться на твой случай: не писал, мол, *даже* и М.Ц.

По-видимому, тебе что-то известно. Вопросы предшествующего твоего письма Асе тому доказательством. Итак, как можно короче. Мы лето провели с семьей музыканта (удивительного!) Н<ейгауза>. Я к ним привязывался день ото дня все больше. Действовали силы, к<оторы>м я никогда не умел сопротивляться: его одухотворенный дар (большого полета и широкого, охватывающего философию и поэзию, кругозора) и ее удивительная красота, высокой, ходовой, инстинктивной одухотворенности. Это называлось дружбой, каждая встреча кончалась признаниями, я обращал их к обоим, и в игре свойств, которые меня к ним притягивали и в них ослепляли, он и она казались мне иногда как бы братом и сестрой между собою (ты понимаешь?): я не мог отделаться от чувства *одинаково* беспредельной свободы по отношенью к обоим. Осенью я понял, что люблю ее, понял с той восхитительной ясностью, немного страшной, как это понимают в начале жизни. Я написал обоим по балладе. Вторую, посвященную ей, привожу. Разумеется, это неизмеримо хуже стихов «Сестры», и ты права будешь, найдя форму и словарь сплошной пошлостью. Но я тебе пишу о том, как жил и живу, а не о том, что сделал. Так вот, первым сильно пережитым обращеньем к лирике после долголетнего перерыва были эти осенние месяцы. Я тогда кончил Спекторского. Ты увидишь, это не совершенно пустое место. *Какое-то* значенье ему присвоится. И там имеешься ты, ты в истории, моей и – нашего

времени. – А вот баллада.

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины,
На даче снят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, – он хлынул с час назад,
Кипит деревьев парусина,
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. – Я на учете.
Я на земле, где *вы* живете
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. – Да будет так же свят,
Как их невинная лавина…
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон. Я взят
Обратно в ад, где все в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится. Из ребят
Я взят в науку к исполину
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, – кустов щепо́ти,
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд.)

Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

Потом мы переехали в Москву. В каком-то надломе самовнушенья я продолжал обращаться к обоим, не разделяя их, и не любил попадать туда в отсутствие Г<енриха> Г<уставовича>. Но когда мы собирались втроем, нам ясно становилось, что это уже действует *ее* власть, ее судьба и история, что моя жизнь их разделила и выдвинула ее вперед. 1-го января он уехал в труднейшее по теперешним топливным и продовольственным условьям концертное турне по Сибири. Я этого не хотел, я страшно боялся его отъезда. Я знал, что раньше или позже наши судьбы скрестятся, что мое чувство прорвется и тогда уже ни у каких границ не остановится. Но в его отсутствие во все это могло замещаться что-то нечестное. Однако он должен был уехать. Он возвращается через две недели. Я жду его с нетерпеньем, без всякого чувства вины. Я вновь и вновь забываю, что все случившееся касается его непосредственно, а вовсе не через меня и мою неизменившуюся привязанность к нему, как нелепейшим образом представляет это все все мое ожиданье. Я не знаю, как все распутается и что будет с нами четырьмя и детьми.

Теперь мне хочется сказать тебе несколько слов о Жене. Уничтожь, умоляю тебя, все хоть сколько-нибудь дурное, что я говорил или писал о ней под влияньем минуты. Это было непростительной низостью с моей стороны, и, в прошлом, я заслуживаю некоторого снисхожденья лишь тем летом 26-го года, когда мне так хотелось к тебе и я думал с ней расстаться. Теперь сходная обстановка, но разрыв был доведен до конца, и тут только я увидел, каким преступником по отношенью к ней был в душе все эти годы. Этого раскаянья недостаточно, чтобы невозможное сделать возможным: рядом с этим пристыженным состраданьем высится живая, все победившая бесконечность, – все затмевается ею. Но Женя – человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил, и это первая правда, произнесенная мною о ней за всю нашу совместную жизнь. Она, верно, безбожно идеализирует меня в разлуке, я не знаю, что мне сделать, чтобы унять ее страданье, у меня готово и самопроизвольно рвется навстречу к ней чувство глубочайшей дружбы, я знаю, что оно несоизмеримо лучше (*и для нее*) того дурного и двойственного прошлого, к которому она зовет вернуться, но она живет в мираже страданья, прикрашивает прошлое и в будущем ничего хорошего не видит. Мне страшно трудно.

<На полях:>

Мой временный адр<ес:> Москва 40, 2-я ул. Ямского поля, д. 1а, уч. 21, кв. Б.А.Пильняка, – мне. Если письмо не застанет, перешлют. Но не отвечай письмом необдуманным или несправедливым, я как-то боюсь этого. Все равно я останусь с тобой хорошей и ничего недоброго твоего не пойму. Прости.

Тв<ой> Б.

Приписки не зачеркиваю, хотя уже стыжусь ее: только что получил твое письмо. Зачем ты напоминаешь о нашем совместном? Неужели ты думала, что тут может что-ниб<удь> измениться? Я оттого ни словом его не коснулся, что это – самоочевидность, которой ничто никогда не поколеблет.

Но твой упрек, что ты узнала последней – несправедлив. Пишу тебе первой, никому ничего не писал, ка́к разнеслось, – не понимаю. Источник осведомленности Р<аисы> Н<иколаевны> для меня – тайна. Ни Женя, ни я давно не писали ей. И – последнее. Ничего не знаю. Может быть вернусь к Ж<ене>. Но люблю З<ину>. И тебя и Памир. И Ж<еню>. И – Р.Н.

В мае-июне, если буду жив, пошлю тебе две новых книги, «Охр<анную> Грамоту» и «Спекторского». Не обошлось без цензурных стеснений, но удачи перевешивают, и мне необъяснимо везет.

Письмо 184
<18 марта 1931 г.>
Цветаева – Пастернаку

Баллада хороша. Так невинно ты не писал и в 17 лет – она написана тем из сыновей (два сына), который крепче спит. Горюю о *твоем*. Но – изнутри Жени, *не* мальчика. Какое блаженство иметь тебя – отцом раз, тебя отцом на воле – два. Если он *твой* – ему лучшего не надо. Ты бы в детстве дорого дал – за себя, отсутствующего.

* * *

Б<орис>, из памяти: когда я через Смиховский холм (мою «гору») шла от С. к Р<одзевичу> и через Смиховский же холм – от Р. к С. – *туда* была *язва*, оттуда *рана*. Я с язвой жить не могла. (Помнишь того богача из хрестоматии, созвавшего друзей и в конце пира – под пурпуром – показавшего им язву? Ведь пировали – *они*.) *Моя* радость, *моя* необходимость в моей жизни не значили. Точнее: чужое страдание мгновенно уничтожало самую возможность их. С. больно, я не смогу радоваться Р. Кто перетянет не любовью ко мне, а необходимостью во мне (невозможностью *без*). Я *знала* – да так и случилось! – что Р. *обойдется*. (М.б. за это и *любила*?!)

Катастрофа ведь только когда обоим (обеим) *нужнее*. Но этого не бывает. Для меня весит давность. Не: nous serions si heureux ensemble! – nous *étions* si malheureux ensemble![163]

Я не любовная героиня, Борис. Я *по чести* – герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, *пешего*. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце, и голова.

С Р. – никого не любила. Его вижу часто, он мне предан, обожает Мура, *ничего* не чувствую.

Вот тебе *мой* опыт.

* * *

У тебя *еще* сложнее: ведь и у нее – свое, тот же выбор. Но верь моему нюху: четверо легче, чем трое, что-то – как-то – уравновешено: *четверостишие*. Трое, ведь это хромость (четыре ноги). И еще: весь вес на одном (центральном: ней – как тогда –

мне). Нет, слава Богу, что – четверо.

* * *

Еще, Б<орис> – уезжает Е.А.И<звольская>, раздает книги, как зверей – в хорошие руки – и вот частушка Переяславль-Залесского уезда:

Не об том сердце болит —
Который рядом сидит,
А об том сердце болит —
Который издали глядит.

Выиграет тот, кто проиграет.

Только расставшись с Р., я почувствовала себя вправе его любить и любила напролет – пока не кончилось.

* * *

Не совет. Пример. Отчет.

* * *

Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины к Гёте. *Большой* Терезы – к Богу. Безответную. Безнадежную. Без помехи приемлющей руки. Как в прорву. (В огромную ладонь – прорвы. В провале́нную ладонь – прорвы.) Что бы я с тобой стала делать до́ма? Дом бы провалился, или бы я, оставив тебя спящим и унося в себе тебя спящего – из него вышагнула – как из лодки. С тобой – жить?!

* * *

Дай ей Бог всего этого не знать, быть просто – счастливой, отстоять тебя у совести, Бога, богов, *тебя*. (№! что же у нее останется?? 1938 г.)

* * *

…А знаешь – дела дивные! – раскрываю Гёте «Aus meinem Leben»[164] и – эпиграф: – Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen[165] – т. е. то, что постоянно, всю жизнь говорю о себе и своей жизни, – только у меня: – Es ist von Gott besorgt, dass die Bäume[166] —

Ну́ – обнимаю.

Письмо 185
<ок. 27 марта 1931 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Я писал тебе о неудачном состояньи моих дел, заботах и пр. Они неожиданно улучшились в тот самый день, как тебя, вероятно, достигли мои жалобы. Спешу этой открыткой успокоить тебя на мой счет. Мне даже удалось уже помочь моей старушке, и вдвое против того даже, на что она рассчитывала. Привет. Прости за торопливость почерка.

Письмо 186
10 июня 1931 г.
Пастернак – Цветаевой

Родной мой друг, Марина, вот уже несколько лет, что я тебе не писал по-настоящему. Дела у меня обстоят так. Женя с Женичкой (сыном) в Берлине или Мюнхене. Это Роллан помог, без него не добиться бы мне паспорта. Отец в письме называет Женю подстреленной птицей и о глазах мальчика говорит, испуганных, недоумевающих. Страшное письмо равносильное проклятью, с воспоминаньями о разговорах в Ясной Поляне, времени иллюстрированья Воскресенья, вероятно справедливое в отношеньи меня, и недалекое, не выдерживающее никакой критики в житейской своей философии. Ему 70 лет. Недавно он перенес тяжелый грипп, с осложненьем, угрожающим его – *художника*, зренью. Ему запрещено читать и волноваться, и вот он берет и пишет такое письмо, на двадцати страницах. *Такое*, т. е. после которого мне кажется, что у меня с ним было два разговора: один – всю жизнь, другой – в этом письме. Он обращается ко мне как к разоблаченному недоразуменью.

И добро бы шел этот гнев на меня, преступника, об руку с любовью к пострадавшим. Но к ужасу моему, я в словах его прочел боязнь, не свалено ли *все это* ему на шею, – и тут сердце у меня сжимается за своих, потому что ни на что, кроме нравственной поддержки и развлекающего участья, я в их сторону не рассчитывал, матерьяльно сам обеспечу (и частью уже сделал) и значит, в главных своих надеждах, быть может, обманулся. А между тем никогда уехавшие не были мне так безоговорочно близки, во всей чистоте, как сейчас, когда полу-сон, полу-обман совместного существованья прорван, и можно человека ценить во весь рост, и понятное тепло к нему совершенно бескорыстно. А о сыне? – Когда вера в то, что жизнь не оставит его своею милостью, крепка до осязанья. И не пойми меня превратно: все это при том, что я неотвратно буду думать и заботиться о них, и больше и лучше, чем когда, и впервые свято. И вновь свижусь.

Но покамест там мрак и печаль и мала надежда, что Женя поможет мне, что она произведет усилье и улыбнется наконец: сперва природе, потом себе и затем мне, и мы сдружимся (как я этого хочу!), и она увидит… Но пока это маловероятно, и я ошибся в своей родне: там некому ее этому научить.

И были самоубийственные волны в другой семье. Но Нейгауз человек высочайшей закваски; этот-то знает, что *надо* совладать,

на то и брат мне, и, кажется, постепенно овладевает собой. Тут много подробностей, усугубляющих тягость испытанья. Во-первых, при жилкризисе все это происходит на старых нетронутых квартирах, а ты знаешь, что значит в таких случаях голос вещей, когда изо всех оглядок нужно рвануться в одно оздоровляющее завтра, а кругом вещи, и тут оказывается, что их развитье останавливается на последнем потрясеньи, и они *только* помнят и жалят и жалобят и ничего не хотят. Итак, ездил он концертировать, и оттуда слухи являлись – едва что-то не случилось, и я снаряжал ее к нему. Так на два дня сам попал в Киев. Вернулся в Москву, – З<инаида> Н<иколаевна> осталась в Киеве, а я на другой день с Гладковым и еще кое с кем поехал в Магнитогорск (на Урале), это уговорено было раньше, и вдруг срок подошел, когда я и думать позабыл о затее. Но не выдержал забот, тревог и призраков на зауральском, еле преодолимом почтою расстоянья, и всю поездку в смех обратил, повернув с трех суток пути из Челябинска (не доезжая 300 верст до Магнитной).

Погоди, если это тебе неинтересно. Существенное впереди и объяснит также, почему пишу. Но прежде всего. Возможность любить так, как позволяет она всем своим прирожденным складом, перекрывает все несчастья. Она совершенно как я, но в молчаливом своем явленьи еще более просветлена инстинктом, еще менее опорочена рассудком. Почти то же место в жизни, та же тень в тот же час.

Итак, она в Киеве с одним из сыновей, я только что с Урала, мне сейчас туда нельзя, у меня куча запущенных дел, Гаррик (Генрих Густавович) – в Москве, на той же, опустевшей квартире, я с Урала приезжаю в день его концерта, знакомые просят не ходить к нему, чтобы не волновать, на концерте почти лежу на стуле, скрытый спинами, чтобы не заметил. Он играет совершенно неслыханно, с неожиданностями *такого* полета, что право авторства самим звучаньем переуступается от Шопена и Шумана ему, он побеждает такое страданье, что, скрючившись, я реву и ноги готов ему целовать, думая, что меня не заметили. Но в антракте меня зовут к нему. Я говорю, что его на руках надо отнести с концерта. Потом он идет к устроителям (концерт благотворительный в пользу немцев Поволжья), и, сговорившись, мы сходимся в 3-м часу ночи у общих друзей (Асмусов). Потом светает. Замечают, как я разбит трехсуточной дорогой. Но нет сил даже подняться. Тут (странная логика) пристают – почитать тебя. Появляется Крысолов. Опять потрясаюсь твоей силой, твоим первенством. «Как гениально!» – слышится со всех сторон. «Гениально. Гениально», – твердит вполголоса Гаррик, – я гляжу, – все лицо мокрое, – слушает, улыбается и плачет. Это

Асмусовский экземпляр у меня ничего твоего нет, раздавалось, возвращалось отдавалось вновь и вдруг не вернулось, и не всегда помню, кто́. В шестом часу уходим, Генр<их> Густ<авович> забирает Асмусовского Крысолова с собой. Сейчас звонит (и это толчок к письму). «Да, знаешь, я все утро читал. Какая высота! Какой родной, единственно нужный человек, единственно необходимый!» —

Письмо пролежало неделю. Даже успел чернила сменить. Вдобавок к рассказанному: тебя везде знают. В Челябинске на тракторстрое подошли 2 молод<ых> человека из Комсомольской Правды, – спрашивали о тебе, знают Крысолова. – Сейчас я один в Москве. Зимой у меня резко переменилась жизнь. Теперь, когда я остаюсь надолго один, я почти мешаюсь в уме, так полно взорваны все связи с рядовою равнодействующей, со сговоренностью общежитья. Опять какая-то подлинность (в идеале) стала единственным делом. В апреле я страшно легко написал несколько простых стихотворений, одно за другим, и писал бы все лето, если бы З<ина> не уехала, а потом и я не сунулся в эту поездку. Дела продержат меня еще тут до конца месяца. Потом я заеду за ней в Киев, и мы поедем на Кавказ. На днях пошлю тебе вторую часть «Охр<анной Гр<амо>ты». Ее, по-видимому, будут переводить. Впервые за все эти годы стал подумывать о твоем возвращеньи, представил его себе. Пришли мне свое о Маяковском. Ася дала третью или четвертую подкладную копию (от руки), абсолютно слепую, – читать, как муз<ыкальную> пьесу собирать из лоскутков по полтакта. Что если бы ты вздумала написать мне не откладывая, и тогда, – в Киев. – Ул. Гершуни (бывш. Столыпинская) 17/19 кв. 9, Зинаиде Ник. Нейгауз для меня.

Письмо 187
<между 2 и 10 июля 1931 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис, я стала редко писать тебе, п.ч. ненавижу зависимости от часа, – содержание, начертанное не тобой, ни даже мной – не начертанное, а оброненное случайностью часа. <Над строкой:> Мне хотелось бы, чтобы я писала тебе, а не такое-то июля именно мне диктовало. Пиши я тебе вчера, после того-то и того-то – я бы тебе написала одно, пишу тебе нынче – читаешь это, неизбежно-другое, чем завтра прочел бы. В этом разнообразии не богатство, а произвол. Случайность часа и свои законы пера – где же тут ты, и где же тут я? Мне тебя, Борис, не завоевывать – не зачаровывать. Письма – другим, вне меня живущим. Так же глупо (и одиноко), как писать письмо себе.

Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе – жизнь), не думая о том, что́ делаю (и – делая ли то, что́ думаю?), повесила на стену тебя – молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца. Под тобой – волей случая – не то окаменевшее дерево, не то одеревеневший камень – какая-то (как Евгений Онегин) столетней работы или: «игрушка с моря», из тех, что я тебе дарила в Вандее в 26-ом. Рядом – дивно-мрачный Мур, 3-х лет.

Когда я – т. е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы и в голову, и в руку не пришло та́к выявлять тебя воочию – себе и другим, настолько ты был во мне закопан, завален, за <пропуск окончания слова>, зарыт. Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б.П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.

Морда (ласкательное) у тебя на нем совершенно с колониальной выставки. Ты думал о себе – эфиопе – арапе? О связи, через кровь, с Пушкиным – Ганнибалом – Петром? О преемственности. Об ответственности. М.б. после Пушкина – до тебя – и не было никого? Ведь Блок – Тютчев – и прочие – опять Пушкин, ведь Некрасов – народ, т. е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, 22-летний»… Думаю, что от Пушкина прямая кончается вилкой, вилами, один конец – ты, другой – Маяковский. Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь (NB! в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что Пушкин – еврей: ПЕРЕСТАВЬ), ты был бы счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими

легче бы пошло.

Ведь Пушкина убили, п.ч. своей смертью он не умер никогда бы, жил бы вечно, со мной бы в 1931 году по Мёдону гулял. (Я с Пушкиным мысленно, с 16-ти лет всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, ни малейшего соблазна. Пушкин никогда мне не писал «Для берегов отчизны дальней», но зато последнее его письмо, последняя строка его руки мне Борис, – «та́к нужно писать историю» (русская история в рассказах для детей), и я бы Пушкину всегда осталась «многоуважаемая», и он мне – милый, никогда: мой! мой!) Пушкин – негр (черная кровь, Фаэтон) самое обратное самоубийству, это всё я выяснила, глядя на твой юношеский портрет. Ты не делаешь меня счастливее, ты делаешь меня умнее.

* * *

О себе, вкратце. Получила окольным путем остережение от Аси, что если я сделаю то́-то, с ней случится то́-то – просьбу подождать еще 2 года до окончания Андрюши. Ясно, что не два, а до конца времен. Таким образом, у меня еще два посмертных тома. Большую вещь, пока, отложила. Ведь я пишу ее не для здесь, а именно для там, – реванш, языком равных. Пишу, пока, отдельное. Ряд стихов. Как только дашь наверный адрес – пришлю (боюсь, что и так уже в К<иев> запоздала!). Несколько дней назад тебе писал С.Я., просьбу его можешь исполнить смело, я – порукой.

– А жена? – Жена пока и т. д. – Ой, ой, ой, да ведь это же – разрушать семью! – Хороший, должно быть, человек.

* * *

Очень болен Дмитрий Петрович: грудная жаба. Скелет. Мы с ним давно разошлись, м.б. – он со мной, приезжает, уезжает – не вижу его никогда. Сережа видится в каждый приезд, у Сережи с ним отношения ровнее. Возвращаюсь к Дмитрию Петровичу: положение серьезное, но не безнадежное: при диэте, ряде лишений может прожить очень долго.

* * *

Это лето не едем никуда. Все деньги с вечера ушли на

квартиру, как раз и внесла. Все эти годы квартиру оплачивал Дмитрий Петрович, сейчас в связи с лечением не может. Как будем жить дальше – не знаю, ибо отпадает еще один доход (300 франков в месяц, который одна моя приятельница собирала в Лондоне). Словом, верных ежемесячных у нас 700 франков на всё. Пожимаю плечами и живу дальше. (Раисе Николаевне ничего не пиши, о тяжелой болезни сына ты знаешь.)

М.б. Сережа на две недели съездит в деревню, к знакомым рабочим, обещают кормить, так что наша – только дорога. Сейчас он пытается устроиться в кинематографе (кинооператором), у него блестящие идеи, но его всё время обжуливают.

– Так что мой адрес на всё это время – прежний.

Да! ты пишешь о высылке II части Охранной Грамоты, у меня и I нет. Посылал?

Письмо 188
<кон. октября 1932 г.>
Цветаева – Пастернаку

Милый Борис, я всё горюю о Максе. Не носом в подушку, а – если хочешь – носом в тетрадь, п.ч. от *тех* слёз по крайней мере хоть что-нибудь остается.

Словом: 20-летие дружбы. Словом: большая тетрадь *Живое о живом* и ряд стихов, конца которому —

Письмо 189
<нач. мая 1933 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, родной, получила от Аси вид Музея с известием о смерти брата. Музей снят сверху, перед ним дом с крестиком: с пометкой: дом, где живет Б.П. – . И, осознавая всё как-то сразу – приняла тебя, Борис, в свою семью.

Письмо 190
Пастернак – Цветаевой

<На книге: Борис Пастернак. Стихотворения. В одном томе. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. Первоначальная надпись стерта и поверх нее написано:>

Марине.

Прости меня.

Целую Сережу. Сергей Яковлевич, простите и Вы меня. Я бы хотел, чтобы главное вернулось.

Я это должен еще заслужить.

Простите, простите. Простите.

Боря

Сначала надписал как книгу. Хоть и горячо, но как ни в чем не бывало; и стер. Потому что никакой книги нет, а только привет, – тебе и Вам. И – никакой надписи, а только:

простите.

Письмо 191
27 мая 1933 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис, простить ведь не за то, что не писал 2 года (3 года?), а за то, что стихи на 403 стр., явно-*мои*, – не мне? И вот, задумываюсь, могу ли простить, и если даже смогу – прощу ли (внутри себя)? «Есть рифмы в мире сем, Разъединишь – и дрогнет» – вот мой *ответ* тебе на эти твои стихи в 1925 г. Теперь, не устраняя напряжения: я, опережая твою 403 стр. на 7 (?) лет, это твое не-мне стихотворение, сорифму твою не со мной, с не-мной, *свою сорифму с тобой и твою со мной* нав<еки> – по праву первенства – утвердила, – право первенства, Борис! – и вот ты, со звуком этого утверждения в ушах, обращаешь его к *другому* существу. Без моего «Есть рифмы в мире сем» ты бы этих стихов *никогда* не написал, ты здесь *из меня* исхо<дил>, из такой-то страницы. После России – и идешь со мной не ко мне. <Над строкой: Если ко мне – возвращаешься (полная рифма).> Плагиат, Борис, если не плагиат образа, смысла и сути.

На 403 стр. сверху надпись: – Если даже не мне – *мне*. И если даже не мне – *мои* <вариант: *я* >. *Так* книга и останется. (Для ясности: либо стихи написаны *мне*, либо *я* их написала.)

Дальше:

> Уходит с запада душа —
> Ей нечего там делать…

Эти ст<роки> я давно уже (в журнале?) слышу как личное оскорбление, отречение. И ты *та́к* <тяжко?> можешь меня оскорбить и от меня отречься. Дальше только ведь всё небо <вариант: Разве что еще от всего неба>, на котором ведь тоже «нечего делать» (а? тебе дело в *делах*).

Борис, рифмы оставь: твоя (с другой) жизнь <вариант: с другой ты можешь>, – перечисли и включи всё, не хочу ни реестра, ни лирики – но *рифмовать* (дело *ТОЛЬКО* в слове) себя ты ни с кем кроме меня не можешь – смешно – третейский суд из трех дураков и то рассмеется за очевидностью.

(*Только* в слове, во всем его, *слова*, и данного слова – для тебя охвате. Всегда хочу – ясности.)

Пиши стихи кому хочешь, люби, Борис, *кого* хочешь.

Если <оборвано>

Ты мой единственный единоличный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой. Теперь скоро все так будут говорить. <Над строкой: Мы с вами срифмованы.> А я, тогда, отрекусь. Не вынуждай у меня этого жестокого вопля: (как раньше говорили: Ты мне не пара)

– Ты мне не рифма!

Ибо если я *тебе* не рифма, то естест<венным>, роков<ым> обр<азом> ты *мне* не рифма, м.б. лучше, м.б. вернее и цельнее. Тогда уж я свою органическую рифму на этом свете искать откажусь. А на том – *всё* рифмует <вариант: рифмуем>!

Этого ты не *смел* сказать, не *смел* отказаться, на это не *смел* посягнуть.

* * *

(Аля: «Мама, это Ва́м, наверное…»)
А ВДРУГ – МНЕ?
Тогда, Борис, сияю во всё лицо.

Продолжение
<кон. мая 1933 г.>

<Запись перед наброском:>
(Начало в желтой записной книжечке)

– Зачем с Высокой Болезни снял посвящение? Где мой акростих?

* * *

Здесь верстовое тирэ, Борис. Я это должна была сказать а ты это сейчас должен забыть, чтобы спокойно, с радостью читать меня дальше.

Последнее живое свидетельство о тебе: один из советских писателей, видевший тебя где-то на трамвае с борщом. Я закрыла (мысленно), внешне же опустила глаза и увидела твои над красным морем свеклы, загнанным в судок. (М.б. всё – вранье? Писатели, как знаешь, врут: прозаики. Мы же – свято даже *peinlich* [167] <вариант: даже klein-lich[168]> правдивы.)

Больше о тебе ничего не знаю.

(Какие жестокие стихи Жене «заведи разговор по-альпийски», это *мне*, до зубов вооруженному, можно так говорить, а не

брошенной женщине, у которой ничего нет, кроме слёз. Изуверски-мужские стихи. Так журавль угощает лисицу или лисица журавля, ты попеременно оба со своими блюдами озер и мозговыми ущельями гор…)

Не знаю, как Женя, *я́* в этих стихах действительно – впервые – увидела тебя «по-другому». Это себе (или *мне* из всех одной – *мне*) можно говорить такое: взлети *над* своей бедой – и пой. А если человек не умеет петь? Если эта беда (гора, все Альпы – весь твой тот Кавказ) на *нем*??

Но м.б. всё это уже древняя история. Пусть. Не забудь, что в стихах всё – вечно, в состоянии вечной жизни, т. е. действенности. Непрерывности действия свершающегося. На то и стихи.

Но – дальше <вариант: минуем>.

* * *

О себе вкратце. *Очень мало* пишу стихов, очень много прозы, русской и французской. Могла бы быть первым поэтом Франции – у них только Valéry, а тот – нищий, но… всё это окажется после моей смерти, я как всегда вне круга, одна, в семье, с случайными людьми, не могущими знать цены тому, что я делаю (NB! Я не про семью говорю). С – в лучшем случае – «любителями». Мне нужен – знаток. Не могу я, Борис, после 20 лет деятельности ходить по редакциям, предлагая рукопись. Я этого и в 16 лет не делала. И еще менее могу, еще более не могу объяснять в прозе, кто я: известная (??) русская писательница и т. д.

Вот и сижу как филин над своими филинятами. А они – растут.

О своих, вкратце: С. целиком живет – чем знаешь, и мне предстоит беда, пока что прячу голову под крыло *быта*, намеренно отвожу глаза от неминуемого, ибо я – нет, и *главное* – из-за Мура. Аля (19 лет) чудно, изумительно рисует и работает гравюру и литографию. Но сбыта, как у моих французских вещей – тоже нет, ибо видят только «знакомые» – и хвалят, конечно.

Мур (1-го февраля, в полдень, исполнилось 8 лет). С виду, да и разумом, да и неразумом – 13, обскакав всё: и рост, и ум, и глупость (у каждого возраста – своя, у меня, никогда не имевшей возраста, всегда была только своя собственная, однородная <пропуск одного слова>) – ровно на пятилетие. *Не* лирик. Активист. Вся *моя* страстность, перенесенная в действие. Рву из рук газеты. Мне верит, но любит и делает – *свое*. Таким, впрочем, был с рождения. Мне он бесконечно – темпом – *нравится*. Вообще

дом разделен на С. + Аля, Мур + я. Внешне – живая я, только красивее, вернее уместнее, ибо – мальчик. *Очень* красив, но красота еще заслонена своеобразием – образием.

Очень труден – страстностью. Невоздержанность (словесная) моя. Чуть что: «Вы – гадина, гадиной родились, гадиной и остались». И я, ничуть не сердясь: – Всё что угодно, только не гадина, п.ч. гадина, змея: жирная, а я, Мур, худая и *ходячая*, ноговая.

Он: – *Сно*говая. И через минуту, щекой к руке: – Я очень извиняюсь, что я Вас назвал гадиной, Вы, конечно, *не* гадина, – совсем не похожи – это мой рот сам сказал. Но почему Вы мне не позволяете прилизывать бакер-стритом? (*Помешан* на рекламе и, главное, на «современных» мужских прическах: все волосы назад и прилизаны так, что (*моим*) вискам больно, – ходят без шляпы, ибо сплошное жирное *сало*.) Кстати, *умоляет* меня красить волосы.

Я, Борис, сильно поседела, чем очень смущаю моих (на 20 лет старших) «современниц», сплошь – черных, рыжих, русых, без ни одной седой ниточки.

Каждым моим седым волосом указываю на *их* возраст.

– А ведь любят серых кошек. И волки красивые. И серебро.

* * *

Фраза о стихах.

Письмо 192
12 февраля 1934 г.
Пастернак – Цветаевой

Марина, спасибо. Страшно большая радость. Закрытые письма заводят страшно далеко. Пишу и конца не вижу. Ты права во всех своих недоуменьях, и я радуюсь им. На днях отправлю тебе закрытое. Открытку пишу себе в успокоенье: жить не дает мысль, что ответ тебе еще не в пути. За эти годы жизнь моя хотя и облегчилась душевно и я не знаю нужды, но до совершенной непосильности расширился круг забот, непосредственно на мне лежащих. Близких людей и судеб стало так много, что просто не знаю, как будет дальше. Итак, о главном. Целый год пробовал писать прозу, и ничего, кроме фабулы, оставшейся временно в голове, не получилось. Это меня не пугает. Судьба попытки мне ясна, эта неудача меня политически воспитала. Говорю о неудаче внутренней и субъективной, п.ч. никому ничего не показывал. Большую роль в жизни последних 3-х лет играла Грузия. У меня там много друзей. У них два-три отличных поэта и – в потенции – вообще замечательная поэзия. Перевожу их по подстрочникам, книгу назову «Книгой *переложений*». Был при смерти Нейгауз, год пролежал в больнице (полиневрит), теперь дома, но долго не сможет играть, если и сможет когда-нибудь. Всю зиму болели дети: корью, скарлатиной, вет<ряной> оспой и пр. Работаю урывками. Привет всем твоим!!

Письмо 193
13 февраля 1934 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина, прости, я знаю, как неприятно получать открытки, точно они еще менее письма, нежели полное их отсутствие (молчанье). Но честное слово, я не вру и не конспирирую, говоря, что закрытые неведомо куда заводят. Я начал тебе два письма, и они разрастаются в трактаты. Их не будет, п.ч. это та мера многословья, которая равносильна взаимному мучительству. Пиши и ты мне открытки, чтобы не было неравенства. Кругом все больны, и мне месяц-другой придется страшно гнать работу, чтобы оправдать себя и *моих многочисленных своих* <все три слова обведены рамкой>. Но потом м.б. станет немного легче и я буду *тебе* больше писать. Главное, что мы снова в совместном разговоре, мне просто не верится! На похоронах Б<елого> было меньше народу, чем того ждали П<ильняк> и я. Мы были в пох<оронной> комиссии, и я все это переживал с кровной деловитостью старух в семьях, где покойник (кто был, кого не было, сколько было цветов и пр. и пр.). В заметке моего только две-три деловых вставки, и то не в моих выраженьях. И мне и П<ильняку> не до содержанья было: надо было задать тон всей последующей музыке, т. е. судьбе вдовы, произведений, самих даже похорон и пр. Подбор имен был не только не мой, но мне наперекор. Пруст у меня в родном мне ряду между Толстым и Рильке. Белый в ярком, но мне далеком. Будь здорова.

Письмо 194
<ок. 16 марта 1934 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Я совсем не согласен с твоим предложеньем не считаться письмами, и если до сих пор не поблагодарил тебя за письмо, то только оттого, что все надеялся в закрытом передать тебе: 1) свое восхищенье Муром (какой наполеонид, что за прелесть мальчик, спасибо!) 2) свой ужас перед трудностями вашей жизни. И в закрытом я, к твоему негодованью, м.б. робко бы предположил, что ты слишком горяча и, наверное, несправедлива. Но, нимало в этом не служа примером общей здешней жизни, лично у меня этот год сложился очень трудно. Я писал тебе о болезнях и пр. Последние недели сильно продвинулась вперед работа по сооруженью метрополитена как раз под нашим домом. Двухэтажный флигель стал маленькой частностью очень сложной конструкции, обнявшей его снизу, с боков и отчасти даже сверху. Меня удивляет, что эта развалина, всегда вздрагивавшая от пробега трамв<айных> вагонов, еще не расселась и не рухнула. Очевидно, надо переезжать, но пока некуда. Обещают помочь в союзе пис<ателей>, и вообще мне жаловаться нечего, но вот чем занят тот плацдарм, с которого я должен был бы расположить свое письмо тебе. Благодарю тебя без счета за все твои мысли и за рассказ о себе. На днях опять в открытке скажу, в цепи каких уравнений находится мое задолженное письмо к тебе. Будь здорова.

Твой Б.

Письмо 195
5 октября 1934 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Первого октября я приехал в город. Мне грустно и хочется написать тебе.

Только в состоянии инерции я не чувствую беспомощности, когда, не думая о себе, не думаю и о тебе. Комната мне «обо мне» напомнила. Ах, если бы мы жили в одном городе! До чего мы были бы друг другу в помощь!

Надо зарабатывать и работать, надо за что-то садиться, и я знаю, за что: за прозу, которую я начал в позапрошлом году и бросил, а теперь летом возобновил. Но какое это несчастное заблужденье! Сколько тут превращений, переходов одного в другое, как я дал обмануть себя, куда забрел!

24 октября

Так я начал тебе однажды по приезде, перед тем как приняться за работу, от неверья в нее. Теперь мне стыдно этой ненужной и предосудительной нервности.

Дело проще, надо переписываться, хотя бы по два, по три раза в год. Чаще я не умею, а неотвеченными письмами твоими болею.

Напиши мне о своих, о Сергее Яковлевиче, о Муре и Але. О себе тебе еще труднее будет писать, чем мне. Ведь это томы и томы, хуже всякой прозы. Чтобы не вышло недоразуменья: в такое положенье попал бы каждый из наших близких, если бы ему предложили о себе говорить, а я *тебя* о них спрашиваю. Мы это они, никакой разницы. Оттого люди, ради которых я живу, не замечают, что я люблю их. Тождество ведь не занимает места в пространстве, пальцем в него не ткнешь.

Я рад сказать тебе, что работаю в невозможнейших условиях, в которых другой бы спился или с ума сошел. Это не для того, чтобы равняться с тобой: я достаточно зарабатываю, и это мне перед тобою рот зажимает. Я всех своих поддерживаю, мы масло едим, но обыкновенной человеческой квартиры я никогда не увижу.

Всех удивляет и даже раздражает, что я хожу ободранный, но не как человек опустившийся, а еще не заинтересовавшийся платьем. Это и вредит мне практически.

Тут выработался стиль, необходимый для преуспеванья, немой язык удачи, при пользованьи им ее обеспечивающий, при отказе от него мстящий за отказ. Вот некоторые его признаки.

Нельзя ограничиваться нужным, надо просить вдвое: тогда дают вчетверо. Надо любить радио, патефоны, пишущие машинки, американские шкапы, эстрадные выступленья. Надо это понимать.

Но у меня нет выбора. Сами обстоятельства меня оправдывают. Я, наверное, человек робкий: чуждая обстановка всегда мне кажется лучше и выше меня (как бы я разумом ни осуждал ее – физически я в ней теряюсь).

Именно оттого всегда выхожу я таким оторопелым идиотом на фотографиях. Чем надо быть и как это сделать, чтобы быть достойным фотографа и объектива? В минуту, которую занимает съемка, этого вопроса никогда не решить.

Но нынешним летом, в Одоевском бывш<ем> уезде бывш<ей> Тульской губернии (Одоевском районе Моск<овской> области), когда бывший Одоевский учитель, очень милый и робкий человек, навел на меня что-то дощатое и обшарпанное, не только ничем не похожее на фотогр<афический> аппарат, но и вселяющее к себе меньше уваженья, чем клетка с прорицающим попугаем, я почувствовал себя на равной ноге со всем этим и пришлю тебе фотографию.

Много семей у нас живет на Волхонке, все в разное время встают, начиная с 6-ти утра, весь день ходьба, все это мимо меня грохочет, а у меня перегородок тонкоребрость, сквозь которую можно пройти, как свет, и все это раздалось, пошатнулось, опустилось, село: – метро. Всюду трещины, лоскутья обоев, дыры, грязь, песок, крысы. И шум. При рытье туннеля этаж под нами пошел под шахты, полы рубили. И обвалили черную лестницу. Черный ход отпал, строка из Волн стала общим трактом для всех живущих, для помоев, для ношенья дров и хожденья на рынок.

Но ты не ужасайся, потому что вперед надо знать, *чему* ужасаться: ужасаться надо мне. Для полученья квартиры надо только *бросить работу* (заработок от этого бы вырос) и купить новый костюм (заработок от этого поднялся бы еще выше).

Два слова о прозе, ты и с одного поймешь. На что она сдалась мне, к чему такое упорство? Ведь я ее писать не умею, это мне так трудно.

Мне почему-то верится, что – в предпринимаемой (скромной и серой, с фабулой, вытесняющей почти все нефабульное из ткани) мне удастся записать несколько хотя бы *слов* нынешних: антипоэтических, повседневных, административно-советских и бытовых, – таких, которых до сих пор бумага не принимала. Мне хочется, чтобы она вдруг взяла их да и не как-нибудь, – а преданно и любовно. Мне за них больно, я жил с ними по поговорке стерпится-слюбится. Мне их, как серых приютских девушек, из некрасивых и не смеющих глаза поднять, хочется в

свет вывести, чтобы они глаза подняли и убедились, что не страшно. Короче, это что-то вроде советской Достоевщины (только без проблем и надрывов и лишь в его сверхбелкиновщине, сверхъевгеньевщине).

Выше я тебе свое расхожденье представил с тоном наших благополучных. Ты ошиблась бы, если бы его за разлад с временем или порядком приняла. Ничуть не бывало. Ведь за это время *время* с гору выросло, и надо быть слепым, чтобы его не видеть. А как его не любить, когда оно, пока ты жил, все *против* тебя росло, тебе в укор, и вдруг все *из тебя* выросло, из лучшего твоего, из ближайшего. Я ведь это не только в первом лице говорю, а к тебе обращаю: и из лучшего твоего, Марина, и из Сережина. Где, в каком ином еще воплощеньи найдем мы и узнаем себя и то, что лучшего от домов и жизней осталось, что, по собственным давним-давним и затаенно дерзким нашим желаньям *должно* было от них остаться. А куда те ночные разговоры подевались, старших классов гимназии? Где они, коли не тут? А когда иногда этот американизм выпирает, про который было выше, так разве это не дура вырядившаяся, не ворона в павлиньих перьях, не то, от чего всего роднее и ревнивее сердце сжимается? Нет, я человек страшно советский.

Я тебе карточку в книжке пошлю, кстати не помнется. Слыхала ли ты что-нибудь о хевсурах и сванах, жителях двух почти неприступных горных областей Грузии, мужественных, первобытных, подающих благодарный повод к построенью самых неожиданных легенд об их историческом происхождении, когда-то переплетших христианство с язычеством так, как это кроме них никому не снилось, и при всем том – географически реальных.

Перед войной умер грузинский поэт хевсур Важа Пшавела, которого они по силе считают вторым после Руставели.

Когда я стал переводить одну из его поэм по подстрочникам (заглавье с тремя е подряд долго будет тебе глаза колоть, но привыкнешь; заметь, что ять отменено, при котором этого бы не получилось, а змиеед или пожиратель змей казалось мне безвкусицей), Да, так значит, когда я принялся за перевод, мне не то что Жуковский (тут никакого сравненья быть не может; модернизаторские параллели между стариками и живущими всегда безответственно лживы, классики (и всякие!) *всегда* выше нас), а союз Жуковского с детьми и стариками, с детством и старостью нескольких прошедших поколений представился. И этот дух руководил мной. Мне именно *этой* гладкости хотелось, этой гладкости передачи. Чтобы это легко было читать и нравилось старикам и детям. Я о стариках и детях Ломоносовой написал и тут же сострил галантно, что это, стало быть, книжка

не для нее, – если удалась.

Ты же мне простишь, если я без таких комплиментов понадеюсь, что этот тон перевода будет тебе приятен, если я только достиг его.

Не пиши мне о «протестах», рифмовке иных мест и прочем. Я не о lapsus'ах говорю, их там куча. Но и они могли быть уместны, если старчески-детский замысел осуществлен, если это грешневая или манная каша, которой надо съесть полную тарелку.

Во всяком случае, крупа превосходная, как бы плохо я ее ни сварил. Я говорю об авторе. Как слабо я его ни перевел – содержанье, мысль, компоновка, члененье частей и их настроенье – его и были бы сохранены и сквозь языковое сниженье. Но, думается мне, он сам поднимал меня.

Там много очень близкого тебе, со многих сторон. Нравственный лапидаризм, натуральное ницшеанство, горы, природа. Не чужд он был, конечно, и мне.

Ну вот, письмо получилось длинное.

Сейчас Ася звонила. Я было хотел уже запечатывать и посылать, да вдруг узнаю, что у тебя адрес новый. А открытки твоей с адресом Ася в минуту найти не могла и на днях сообщит мне. Опять судьба письму лежать. Но теперь это меня не так беспокоит, п.ч. от Аси узнал, что вы живы все. И я, пока. Удивительно это, и не знаешь, как благодарить… Всего лучшего, тебе и твоим.

Твой Б.

Письмо 196
2 ноября 1934 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Около двух недель назад я написал письмо тебе, запечатал и думал было отправить, но узнал вдруг от Аси, что у вас новый адрес. Ася обещала его найти, но, видимо, далеко куда-то заложила. Сегодня Ел<изавета> Як<овлевна>, которой я за этим позвонил, обещала прислать его в письме. Мне жалко, что письмо так долго валяется, я бы, может быть, уже ответ от тебя имел. «Змееeда» все-таки пошлю, хотя он восторга в друзьях не вызывает. Самые преданные и робкие люди краснеют, когда я их о нем спрашиваю, и не знают, что ответить. Лучше бы вы свое писали, – говорят, чем переводить. Но не в этом дело. Письмо утеряло значенье. Я его легко и наспех писал, думал, ты через 5 дней прочтешь, а теперь. Получилась какая-то забальзамированная болтовня… Чем болел Мур? Мне Ел. Як. писала. Мне бы надо куда-нибудь на год, на два скрыться, а то тут ни жить, ни работать не дают. У нас как-то по-детски или по-американски ко всему относятся. Вдруг какое-то неумеренное, вздорное, разгоряченное вниманье. Теперь только мне открылось, что я ничего не сделал и нечего показать. Ты одна бы только поняла меня. Горячий привет Сергею Яковлевичу.

Твой Б.

Письмо 197
<июль 1935 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Б<орис>, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête a toutes les formes[169]. Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом. Остальное всё у него уже есть.

У тебя, напр<имер>, уже есть *вся я*, без всякой моей любви направленная на тебя, тебе экстериоризировать меня – не нужно, п.ч. я все-таки окажусь внутри тебя, а не вне, т. е. тобою, а не «мною», а тебе нужно любить – другое: чужое любить.

И я дура была, что любила тебя столько лет напролом.

Но мое дело – другое, Борис. Женщине – да еще малокрасивой, с печатью *особости*, как я, и не совсем уже молодой – *унизительно* любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы *хотела* бы – не могла. Раз в жизни, или два? – я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы.

Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я – очень глупа.

Логически: что́ ты мог другого, как не звать меня <оборвано>. Раз ты сам не только в ней живешь, но в нее рвешься. Ты давал мне лучшее, что́ у тебя есть. Но под всеми твоими навязанными в любовь бабами – была другая правда: и ты *со мной* был – по одну сторону спорящего стола.

Я защищала право человека на уединение – не в комнате, для писательской работы, а – в мире, и с этого места не сойду.

Ты мне предлагал faire sans dire[170], я же всегда за – *dire* [171], к<отор>ое и есть *faire*:[172]*задира* этого дела!

Вы мне – массы, я – страждущие единицы. Если массы вправе самоутверждаться – то почему же не вправе – единица? Ведь «les petites bêtes ne mangent pas les grandes»[173] – и я не о капиталах говорю.

Я вправе, живя раз и час, не знать, что́ такое К<олхо>зы, так же как К<олхо>зы не знают – что́ такое – я. Равенство – так равенство.

Мне интересно всё, что было интересно Паскалю, и *не* интересно всё, что было ему *не* интересно. Я не виновата, что я так правдива, ничего не сто́ило бы на вопрос: – Вы интересуетесь будущим народа? ответить: – О, да. А я ответила: нет, п.ч.

искренно не интересуюсь никаким и ничьим будущим, к<отор>ое для меня пустое (и угрожающее!) место.

Странная вещь: что ты меня не любишь – мне всё равно, а вот – только вспомню твои К<олхо>зы – и слёзы. (И сейчас пла́чу.)

Однажды, когда при мне про Микель-Анджело сказа<ли> бифштекс и мясник, я так же сразу заплакала – от нестерпимого унижения, что мне (кто *я́*, что́бы…) приходится «защищать» Микель-Анджело.

Мне стыдно защищать перед тобой право человека на одиночество, п.ч. все сто́ющие были одиноки, а я – самый меньший из них.

Мне *стыдно* защищать Микель-Анджело (одиночество) – оттого я и плачу.

Ты скажешь: гражданские чувства М<икель>-А<нджело>. У меня тоже были гражданские – т. е. героические – чувства, – чувство героя – т. е. гибели. – Не моя вина, что я не выношу идиллии, к к<отор>ой всё идет. Воспевать к<олхо>зы и з<аво>ды – то же самое, что счастливую любовь. *Я не могу*.

<Запись после письма:>

(Набросок письма карандашом, в книжку, на скворешной лестнице, в Фавьере, пока Мур спал. Письмо было лучше, но Б.П. конечно его не сберег.)

Письмо 198
<ок. 3 октября 1935 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина!

Я жив еще, живу, хочу жить и – надо. Ты не можешь себе представить, ка́к тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около 5-ти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков 12 лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостил Роллан с Майей, несмотря на их настоянья; что имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, чуждой и смертельной, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой неузнаваемой, никакой, непроглядной. Тогда бы только и могли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, – упущенное, уступленное, проплывшее мимо.

Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем. Часть моих страхов и наблюдений оказывалась вдруг химерами. Но возникали новые. Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город и моим возвращеньем к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок. При одном из анализов выяснилась одна серьезная нескладица с желудком. У меня есть опасенье, – я не хочу его называть, послезавтра пойду на просвечиванье.

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, везде смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определенья, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена», отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа, так сказать, вызваны природою предмета и жар и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы. В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама в одном месте замечаешь (диэзы и бемоли), идет не по существу. Но живых образов и черточек и тут целая пропасть. Я все это исчертил отметками. Теперь оттиски у Аси.

Летом мне переслали твое письмо с той виллы (урожденной Елпатьевской). Я не мог тебе ответить вовремя, п.ч. был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты? В ней все преувеличено. А состоянье мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непониманье (оно естественно) я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это *только перерыв* в моей жизни, а не – как ни смешно это выраженье – начало конца. Собственно, у меня ряд аномалий прошел, какие летом, какие позднее, к осени. Нервность, неврозы – все это одни разговоры. Я мог и должен был бы уже и сейчас поправляться, а между тем мне страшно подходить к зеркалу.

Но, допусти, – а вдруг я оправлюсь, и все вернется. И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу? Причем тут твои абсолюты? Позволительная ли это романтика? —

Я не только подружился с Сережей, я, так сказать, приехал сюда и с Алей твоей на устах. Нет, серьезно, не они б, я просто бы в Париже *рехнулся*. Мне надо быть совершенно здоровым и радостным, чтобы написать этим замечательным людям. Ты их крепко поцелуй от меня.

Но когда же вы приедете? Или опять мы увидимся в Париже? Потому что я серьезно теперь об этом мечтаю, если только судьба мне выздороветь.

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, – после твоего летнего письма?

Твой Б.

Письмо 199
<октябрь 1935 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис. Отвечаю сразу, – бросив всё (в то полувслух, как когда читаешь письмо). Иначе начну думать, а это заводит далёко.

О тебе. Тебя нельзя судить как человека, ибо тогда ты – преступник <вариант: чудовище>. Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери, на поезде – мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет – не жди. Здесь предел моего понимания, нашего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я *на себе* поезд повезу, чтобы повидаться (хотя м.б. так же этого боюсь и так же мало радуюсь). Не проси понимания от обратного (обратнее нет. Моя мнимая резкость). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: *все* близкие мне – их было мало – оказывались бесконечно мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart[174] – и это меня огорчало, п.ч. иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только – форма, контур сути, необходимая граница самозащиты – от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Б.Пастернак. Ибо вы в *последнюю* минуту – отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род – выше, и *мóй* черед, Борис, руку на сердце, сказать: О, не вы! Это я – пролетарий. Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* – любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б. в *лучшем*, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики. М.б. от того, что буря (как женщина) любит домоводство.

Собой (ду-шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах – редких, ибо я всю жизнь – водила ребенка за руку. Но именно п.ч. всю жизнь – заботилась, всю жизнь и огрызалась – отгрызалась. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: (служение, *бесполезное*) жертвоприношение. *Мать-пеликан*, в силу создавшейся системы питания – *зла*. – Ну́, вот. —

О *вашей* мягкости. Вы – ею – откупаетесь, затыкаете этой ватой <над строкой: гигроскопической> дыры <варианты: зевы,

глотки> ран, вами наносимых, вопиющую глотку – ранам. О, вы добры, вы при встрече *не можете* первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы – чтобы не обидеть <над строкой: человек не подумал, что…>. Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман *забыл*, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только помнил <вариант: спросил> о старшей девочке: – Всё ли у нее такой чудесный голос?

Но – теперь ваше оправдание – только *такие* создают *такое*. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не проехавший во Франкфурт повидаться с матерью – бережась для Второго Фауста (или еще чего). Но – скобка – в 74 года осмелившийся влюбиться и решившийся жениться – здесь уже – *сердца* (физического!) не бережа. Ибо в этом вы – растратчики, ты – как «все». И будь я – не я, Рильке ко мне бы со смертного одра приехал – последний раз любить! Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловека в себе: божества в себе), как собаки <над строкой: собственным простым языком от ран> лечитесь – любовью, самым простым. И когда Ломоносова мне с огорчением писала о твоей «невоздержанности», по наивной доброкачественности путая тебя с Пушкиным и простой мужской страстностью истолковывая твой новый брак, – да, милая, – слава Богу! ибо это его – последний прицеп.

Только *пол* делает вас человеком, даже *не* отцовство.

Поэтому, Борис, держись своей красавицы.

* * *

«Абсолюты»… Слова не помню (да и не *личное*) – очевидно: «рассчитывала на тебя, как на каменную гору, а гора оказалась горбом анаконды (помнишь, путешественники развели костер на острове, а остров, разогретый <вариант: раздраженный огнем>, перевернулся – и все потонули <вариант: пошли ко дну>…» Такое?

Ну, что ж… И все-таки на меня со стены глядят: твоя Мария Стюарт (Car mon pis et ton mieux – sont les plus déserts lieux[175], эту строку, подаренную мне тобой, у меня перед смертью выпросил Рильке, словами, робкими. Это было им последнее на земле полученное. Последняя получка) – вбок глядит, с условным коварством всех женских лиц того времени (Марины Мнишек время?) – подавленная <варианты: утвержденная, держимая, упроченная> своим кольчужным платьем – в одной руке

перчатки, в другой, взятый наотвес, медальон – и руки не знают <вариант: ведают>, что творят. И Рильке глядит – *ею*, последней, одаренной (М.Стюарт – ты – я – Рильке – о, цепь!), и годовалый Мур глядит с сенжильского плажа (Ich kann nicht zu Dir nach Wallis, ich habe einen einjahrigen Riesen – Napoleon – Sohn, der meiner bedarf)[176], и еще, Борис, мой пражский каменный рыцарь, самый человечный из всех вас.

Я сама выбрала мир нечеловеков, что же мне роптать???

– Это как Розанов, однажды, Асе: – Ты же понимаешь, что кроме Людей Лунного Света – нет *никого* (нет ничего стоющего).

* * *

Моя проза. Пойми, что пишу для заработка: *чтения вслух*, т. е. усиленно членораздельно, пояснительно. Стихи – «для себя», прозу – «для всех» (рифма – успех). Моя вежливость не позволяет час стоять и читать моим «последним верным» явно-непонятные вещи – за их же деньги. Т. е. *часть* моей тщательности (то, что ты называешь анализом) вызвана моей сердечностью. Я – отчитываюсь. – У меня было так, но (ряд примеров) ведь и у вас было так, вы только забыли… А Бунин еще называет мою прозу: *безумно* трудной <над строкой: (Прекрасная проза, но безумно трудная)>, когда она для годовалых детей.

– Скоро пришлю тебе летние фотографии, посмотришь – передашь Асе. (Ты ведь всё жжешь: не хочу, чтобы Мура сожгли.) Вообще, давай переписываться – спокойно. А из-за тебя я разошлась с человеком, который меня любил весь прошлый год и во всем помогал. Помнишь, ты с внезапной мужской подозрительностью (нюхом!) – А кто этот человек? – Это шофер, русский. – Я знаю, что русский. Но вообще – кто? – Это мой сосед, с Юга России… <над строкой: семья>

В тот же вечер (ночь) – он всегда у меня что-нибудь чинил и свободен был только от 12 ночи: – А Вы Пастернака давно знаете? – Это самый мой близкий человек.

Вслух – не посмел, в письме поставил на вид, я – рассмеялась <вариант: задохнулась от негодующего смеха> – Как? Я – перед Вами отчитыв<аться>. Я, из-за каких-то соображений, должна скрывать, что Б.П. мой самый близкий человек! (Он думал, что самый близкий – он!) Словом – *разошлись* (я только и умею!). Перестал писать и после моего приезда ни разу не пришел. И не придет. А я – очень рада. П.ч. еще раз защитила *невидимое*, от видимого и еще раз – *всё* проиграла. (Ибо ты же меня первый будешь укорять за жесткость.)

Образец взрывчатой силы вещества поэта. Бровью не повел, дыхание затаил – и уже обрушился свод. Вот видишь, Борис, ты на меня и не посмотрел, а от твоего непосмотрения я потеряла человека.

* * *

Про отъезд (приезд) я ничего не знаю. <Над строкой: Очевидно – Москва.> Поеду – механически, пассивно, волей вещей. Про твой приезд? Тебе нужно приехать с женой, иначе ты истерзаешься. Приехать, чтобы пожить, чтобы не быть новинкой <над строкой: никуда не ходить>, чтобы на тебя не ходили. Просторно – приехать, с <пропуск одного слова> (м.б. стол не столь широк – ах, Борис, Борис). Совсем и ни в чем не считаясь со мной: наша повесть – кончена. (Думаю и надеюсь, что мне *никогда* уже от тебя не будет больно. *Те* слезы (а ты думал, п.ч. не хочу ехать) были – последние. Это были слёзы очевидности: очи видели невозможность и *сами* плакали. Теперь – не бойся, после того, что ты сделал с отцом и матерью, ты уже *мне* никогда ничего не сможешь сделать. Это (нынче, в письме: проехал мимо…) был мой последний, сокрушительный удар от тебя, ибо я сразу подумала – и вовсе не косвенный, а самый прямой, ибо я сразу подумала: если так поступил Б.П., лирический поэт, то чего же мне ждать от Мура? Удара в лицо? (Хотя неизвестно – что легче…)

Твоя мать, если тебя простит, та самая мать из средневекового стихотворения – помнишь, <над строкой: он бежал и сердце выпало> сердце упало из рук, и он о него споткнулся. «Et voilà que le coeur lui dit: T'es-tu fait mal, mon petit?»[177]

* * *

Ну́, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе.

Але и С. я передала, тебя вспоминают с большой нежностью и желают – как я – здоровья, писанья, покоя.

Увидишь Тихонова – мой сердечный привет <вариант: поклонись>.

* * *

Я тогда принесла твоему сыну глобус-чинилку и всё время держала <вариант: нащупывала> в сумке, а ты всё говорил про ненависть к вещам – и я так и не решилась дать. А тебе – старинного Бальзака. Ты не знаешь всей бездны моей *робости*.

Письмо 200
<март 1936 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис! Ты был бы собой, если бы на своем Пленуме провозгласил двадц<атилетнее> <над строкой: юношеское> вещание, сорокалетнее безумие и бессрочное бессмертие Гёльдерлина (о котором Горький, кстати, запрашивал меня в письме, и когда я *всё* живописала – оказывается, недоразумение: ошибся *немецким именем*), итак, провозгласил бы имя <вариант: неизвестное имя> Гёльдерлина, а не мазался бы, полемизируя с Безыменским. Литературная газета (где твоя речь) – о, Господи! «Мы в непогодь, в стужу шли на подъем (хотя бы – *напролом*!), Мы пляшем и дружим и песни поем – Ласкаем детишек, растим города…», впрочем это уже не Безыменский, а Беспощадный, т. е. та же бездарь, только с другой начинкой, что здесь, на всепарижском смотре поэтов, *то же*, ибо то же чувствую: встать и уйти.

То, что у *вас* счит<ается> бесстрашием (очевидно, так надо понимать твою речь) – не у «нас» (у *нас* – нет), не у нас, в Париже, а у нас – в *Лирике* —

Ничего ты не понимаешь, Борис (о лиана, забывшая Африку!) – ты Орфей, пожираемый зверями: пожрут они тебя.

Тебя сейчас любят *все*, п.ч. нет Маяковского и Есенина, ты *чужое* место замещаешь – надо же кого-нибудь любить! – но, любя, уже стараются <над строкой: ломают, обкарнывают по своему образу-подобию> («Откровенный разговор» – кстати, без подписи – откровенностию *заборов*, где тоже всё сказано и даже нарисовано – только не подписано) по белому месту своего лица.

Тебя никакие массы любить не могут, так же как *ты* – никаких масс любить не можешь, п.ч. для тебя это либо: самум или урожай, вообще стихийное бедствие или благодеяние – либо 160 миллионов *одиноких* голов: разновидностей – но *душ*, что тоже *массы* не дает.

И, по чести: чем *масса* – судья? (твоим стихам и тебе). На 40 учеников в классе сколько – любящих стихи? Ты – да я? (Процент – по моему великодушию) <над строкой: а на самом деле – на 400, 4 000, 40 000 – *один* >. Так почему же эти четырежды сорок миллионов нелюбящих тебе – судья? Ты скажешь, целая страна и есть единица. Согласна. Но единолично явленная, через единицы, т. е. через тех же тебя и меня. *Я* тебе судья – и никто другой.

Откуда взял свои слова Montaigne, нет – тот безымянный, на

кого Montaigne ссылается: Il me suffit *de pas un* [178].

Судья тв<оим> стих<ам>, Борис – твоя *совесть*, неуют от не того *слова: слога*, судья тебе – твой локоть, твой висок, твоя тетр<адь>.

Зачем ты *объявл<яешь>*, что будешь писать по-другому. Это твое дело – с утробой. Кому до этого дело? («Я рождала всё черных, а теперь *решила* породить *рыжего*». Или у вас это уже практикуется?).

Знаю, что т<ебе> – трудно. Но Новалису в банке тоже было трудно. И Гёльдерлину – в дядьках (няньках). И Гёте – в Веймаре (настаиваю).

С.Я. говорит: – Там, по крайней мере, им (Пастернаком) живут, здесь бы его просто замолчали.

Господи, mais c'est le rêve![179]

Т.е. – не мешали бы ему хотя бы… надеждами!

Милый Борис, если бы мне дали тысячу франков в месяц за расп<иску> ни одной строки при жизни больше не напечатать – …

Но, милый Борис, если бы мне всю родину с ее Алтаем, Уралом, Кавказом и Б.П. – как на ладони подали – за согласие никогда больше не увид<еть> своих *черновиков* – еще всю Канаду и всю…… прибавь – *нет*.

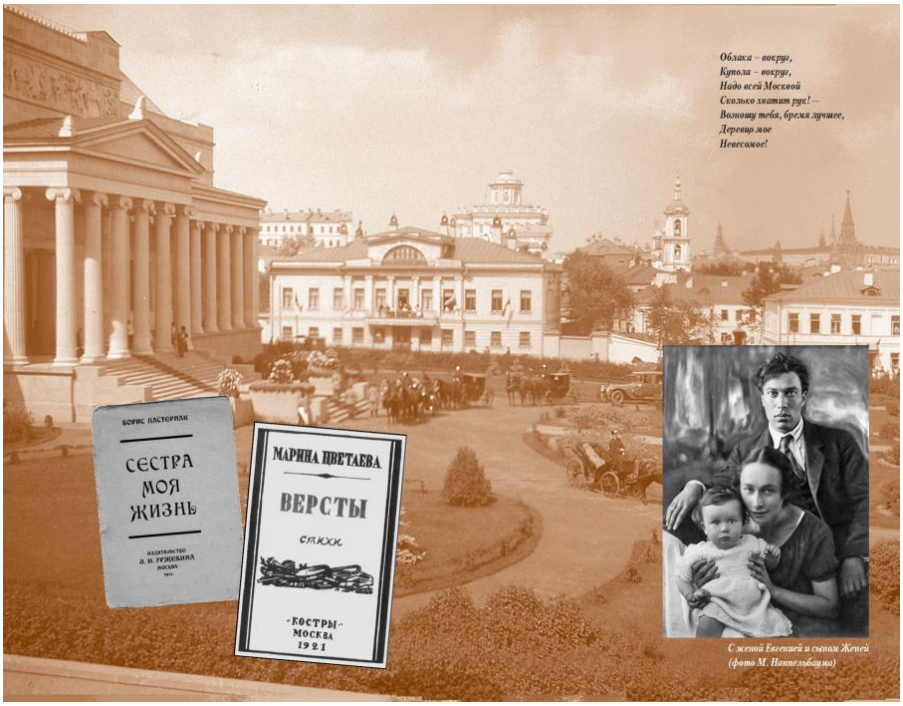
Мур мне говорит: – Мама <над строкой: как странно>, Вы в маленьком – совсем не эгоист: всё отдаете, всех жалеете, но зато – в большо-ом – Вы *страшный* эгоист, и совсем даже не христианин. Я даже не знаю, какая у Вас религия.

– Не христианин, Мур, а *фараон, всё* забираю в гробницу! – дабы через тысяч<елетия> проросло *зерно*.

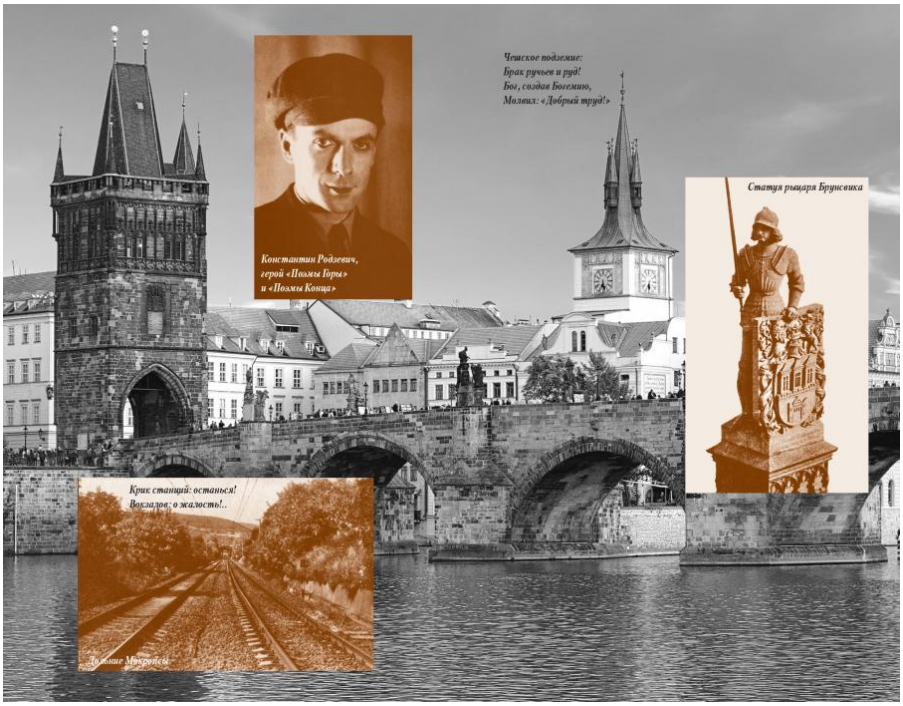
Я знаю, что я своими *делами* больше права, чем вы с вашими *словами*. Постарайся дожить до *девяноста* лет, чтобы это застать. П.ч. слова о стихах не помогают, нужны – стихи.

Цветная вкладка

Портрет работы А. Билиса


Облака – вокруг,
Купола – вокруг,
Надо всей Москвой
Сколько хватит рук! –
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!
БОРИС ПАСТЕРНАК
СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ВЕРСТЫ
СТИХИ
-КОСТРЫ-
МОСКВА
1921
С женой Евгенией и сыном Женей
(фото М. Наппельбаума)

Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!..
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край...
Friedrich-Str. 143
Gigar
Неисправимому поэту
Марине Цветаевой,
дочкой, зятем и
сердцем
от поклонника
ее дара, отказавшегося
читать эти
и отличных, и четырех
категорий.
Б. Пастернак
20/I 23
Берлин.
С дочерью Алей



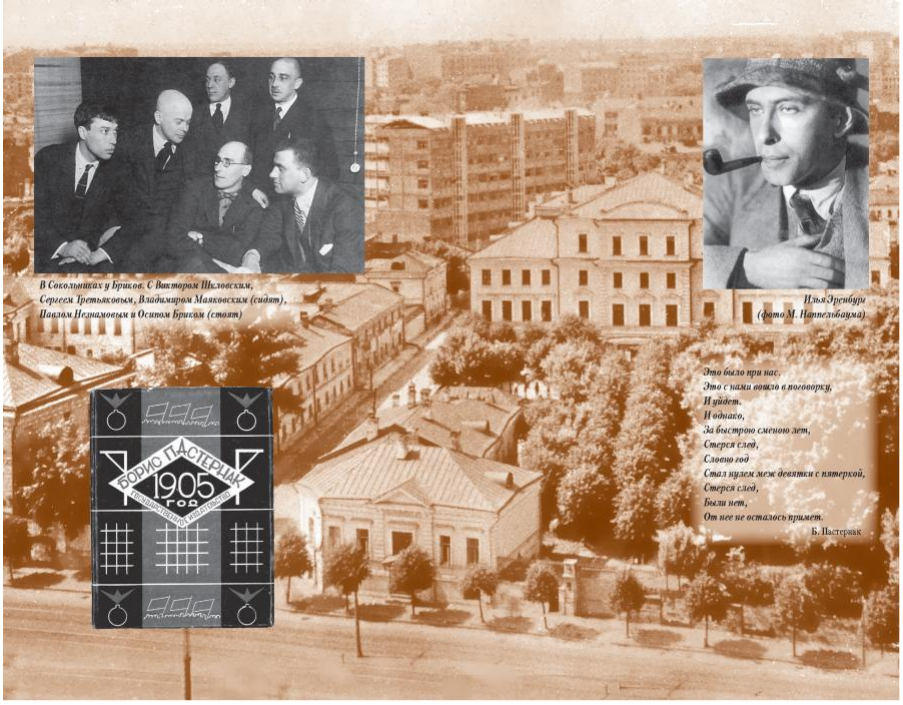
Чешское подземье:
Брах ручьев и руд!
Бог, создав Богемию,
Молвил: «Добрый труд!»

Константин Родзевич,
герой «Поэмы Горы»
и «Поэмы Конца»

Статуя рыцаря Брунсвика

Крик станций: останься!
Вокзалов: о жалость!..

Дождик Моравии



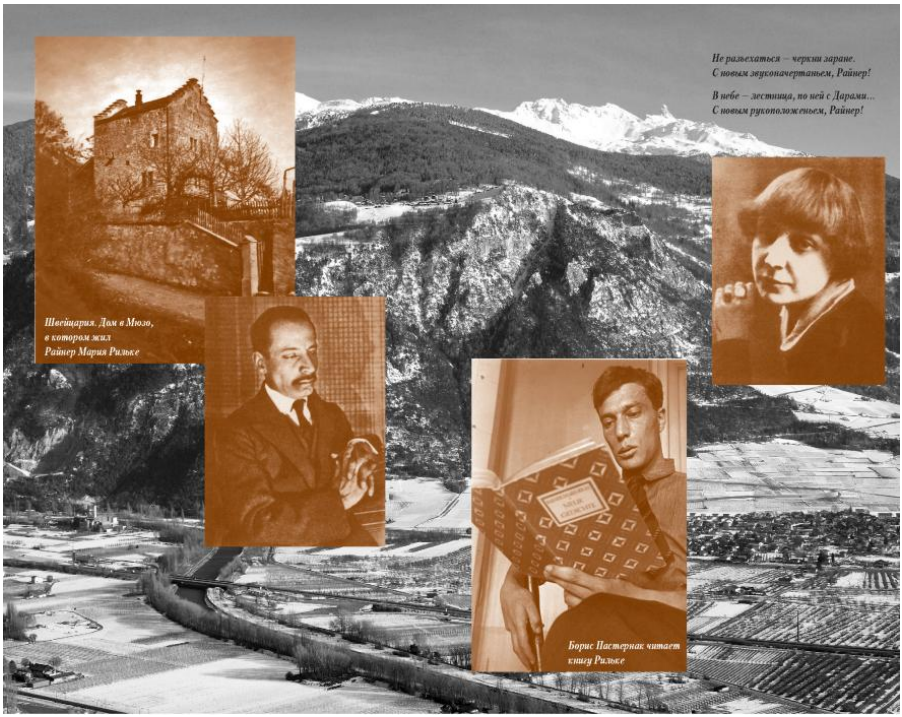
В Сокольниках у Бриков. С Виктором Шкловским,
Сергеем Третьяковым, Владимиром Маяковским (сидят),
Павлом Незнамовым и Осипом Бриком (стоят)

Илья Эренбург
(фото М. Наппельбаума)

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И однако,
За быстрою сменою лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.

Б. Пастернак

БОРИС ПАСТЕРНАК
1905 ГОД


Не разъехаться – черкни заране.
С новым звуконачертаньем, Райнер!
В небе – лестница, по ней с Дарами...
С новым рукоположеньем, Райнер!
Швейцария. Дом в Мюзо, в котором жил Райнер Мария Рильке
Борис Пастернак читает книгу Рильке

Мне Францией – нету
Неже́ще страны –
На долгую память
Два перла даны.
Зинаида Нейгауз с сыновьями Адрианом и Станиславом
С сыном Теодором
Франция
Москва
Волхонка, 14, кв. 9

О неподатливый язык!
Чего бы попросту – мужик,
Поймя, певал и до меня:
– Россия, родина моя!

Дом в Болшеве, где семья Цветаевой
в последний раз собралась вместе в 1939 г.

Сергей Эфрон
с дочерью Ариадной

Портрет работы Л. Пастернака

Комментарии

Список сокращений

Имена Пастернака и Цветаевой обозначаются, соответственно, инициалами П. и Ц.

Архивные шифры: все ссылки на архивные источники, хранящиеся в РГАЛИ, даются в формате: 1190-3-15, 54–54 об. – где первая цифра обозначает номер фонда, вторая номер описи, третья номер единицы хранения, а цифры после запятой номера листов.

ВР – ж. «Воля России» (Прага, затем Париж).

газ. – газета

ж. – журнал

Зв – ж. «Звезда» (Ленинград).

ЗК (1–2) – *Цветаева М.* Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2000–2001.

изд-во – издательство

КН – ж. «Красная новь» (Москва).

ЛН-70 – Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

ЛН-93 – Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–1930-х годов: Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1983.

МС – Машинопись О.Н.Сетницкой (1334-1-834). См. раздел «Описание источников», пункт 7.

МЦВС (1–2) – Марина Цветаева в воспоминаниях современников. М.: Аграф, 2002. ([Т. 1.] Рождение поэта; [Т. 2.] Годы эмиграции.)

МЦКС1 – Марина Цветаева в критике современников. М.: Аграф, 2003 ([ч. I.] 1910–1941 годы).

МЦНГ – *Цветаева М., Гронский Н.* Несколько ударов сердца: Письма 1928–1933 годов. М.: Вагриус, 2003.

НА – Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. 2-е изд. СПб.: Эгида, 1999.

НМ – ж. «Новый мир» (Москва).

РПЦ – *Рильке Р.М.* Дыхание лирики: Переписка с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Письма 1926 года. М.: АРТ-ФЛЕКС, 2000.

п. – письмо (при внутренних ссылках на письма, помещенные в данном томе)

П-СС (1–11) – *Пастернак Б.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2003–2005.

почт. шт. – почтовый штемпель

примеч. – примечание

ПРС – *Пастернак Б.* Письма к родителям и сестрам. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

сб. – сборник

СЗ – ж. «Современные записки» (Париж).

СП – *Цветаева М.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1990 (Биб-ка поэта. Большая сер.).

СТ – *Цветаева М.* Неизданное: Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997.

ст-ние – стихотворение

ТС – Тетрадь О.Н.Сетницкой (1334-1-834). См. раздел «Описание источников», пункт 7.

Ц-СС (1–7) – *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995.

Описание источников

Вводная информация об источниках текстов, представленных в настоящем томе, содержится в предисловии к изданию.

Все тексты в настоящем издании, за исключением письма № 171, сверены с существующими рукописными или машинописными источниками. С текстологической точки зрения использованные источники делятся на несколько групп:

1. Оригиналы писем. К этой группе относятся все письма П. (кроме письма № 93 (Приложение)), несколько писем и фрагментов писем Ц., все письма С.Я.Эфрона, письмо Д.П.Святополка-Мирского и письмо К.Б.Родзевича. Письмо № 56 публикуется по фотокопии с оригинала (местонахождение оригинала нам не известно), но как источник также принадлежит к этой группе.

2. Черновики писем Ц. в ее рабочих тетрадях. Архивная ссылка в комментарии сопровождается пометой: «тетрадь Ц.».

3. Расшифровки Ц. собственных черновиков писем. Архивная ссылка в комментарии сопровождается пометой: «тетрадь выписок Ц.».

4. Рукописные и машинописные копии, снятые с писем Ц. Архивная ссылка в комментарии сопровождается пометой: «рукопис./машинопис. копия».

5. Письмо № 93 (Приложение) печатается по рукописной копии Ц., сделанной с письма П. (оригинал утрачен).

6. Письмо № 171 печатается по Ц-ССб, так как местонахождение источника публикации неизвестно.

7. Дополнительные источники. Датировку и содержание ряда писем Ц. (в том числе утраченных) оказалось возможным уточнить по тетради (ТС) и машинописи (МС) О.Н.Сетницкой. В тот период времени, когда оригиналы писем Ц. находились в ее распоряжении, она составила частичный реестр писем по датам и из некоторых сделала выписки.

Выбор источников писем Ц

Источник 1 сохранился полностью только для пяти писем, три из которых по преимуществу являются автографами поэтических произведений (№№ 13б (Приложение), 20, 56, 85 и 118). В двух случаях (31б и 70б) источник 1 сохранился частично и публикуется в комбинации с источниками 2 и 4. Возможно, сохранился источник 1 для письма № 171, но он остался нам недоступен.

Если сохранились источники 2 и 4, то публикуются оба источника.

Если сохранились источники 2, 3 и 4, то публикуются только источники 2 и 4, а в комментарии к источнику 2 делается ремарка: «Вариант текста: СТ» (это публикация источника 3).

Если сохранились источники 2 и 3, то публикуется только источник 2, а в комментарии к нему делается ремарка: «Вариант текста: СТ» (это публикация источника 3).

Если источник 4 сохранился в двух вариантах, реконструкция текста делалась с учетом обеих копий.

Литеры «а» и «б» добавляются к номеру письма для отделения вариантов (разных источников) одного и того же письма друг от друга. Литеры не закреплены за определенным типом источников.

Принципы подготовки текста

С точки зрения принципов подготовки текста источники делятся на две категории:

А. Все источники, кроме источников группы 2. Они печатаются по стандартным академическим правилам публикации рукописных источников, с использованием конъектур для раскрытия всех авторских сокращений (либо с сохранением этих сокращений: см. ниже).

Б. Источники группы 2. Эти источники представляют собой черновики, в значительной части написанные скорописью, то есть не поддающиеся спонтанному чтению и требовавшие скрупулезной расшифровки. При публикации этих источников, во избежание перегруженности печатного текста конъектурами (ломаными скобками), они сохранены лишь там, где у публикаторов не было уверенности в однозначности или правильности чтения.

Следующие общие принципы были последовательно проведены при подготовке писем к печати:

1. Унифицирован формат и расположение датировок писем; датировки в формате *<ок. 5 марта 1927 г.>* даются в тех случаях, когда письмо датировано по почтовому штемпелю (письма П.) или когда тетрадный черновик письма датирован по дате соответствующего ему посланного письма (письма Ц.).

2. Подчеркивания в рукописи передаются *курсивом*. В случаях двойного или тройного подчеркивания курсив сопровождается ремаркой публикаторов «<подчеркнуто дважды/трижды>».

3. Слова, написанные в рукописи печатными буквами, передаются ПРОПИСНЫМИ.

4. Зачеркнутые фрагменты сохраняются, если они существенны для смысла текста, и заключаются в квадратные скобки.

5. Косая черта «/» сохраняется в источниках категории Б как авторский знак, отделяющий варианты фраз или слов.

6. Ломаные скобки используются в следующих случаях.

а) Для раскрытия авторских сокращений, включая инициалы упоминаемых лиц (в источниках типа Б это делается только в оговоренных выше случаях; во всех других случаях слова и имена/фамилии даются полностью, без конъектур). При этом:

– ряд общеупотребительных сокращений в тексте не раскрывается: т. е. (то есть), м.б. (может быть), п.ч. (потому что), т. о. (таким образом), т. д. (так далее), т. п. (тому подобное);

– при наличии в тексте инициала фамилии, раскрывается только он;

– имена или фамилии, обозначенные несколько раз в одном письме одним и тем же инициалом, раскрываются при первом таком упоминании, а при последующих оставляется инициал;

– не раскрываются ни разу следующие инициалы: С., С.Я. (С.Я.Эфрон), Б., Б.П., Б.Л., Б.Л.П. (Б.Л.Пастернак), М., М.И., М.Ц. (М.И.Цветаева). Исключение составляет инициал Б., когда это обращение («Дорогой Б<орис>»).

б) Для дополнения авторского текста словами, вставленными публикаторами по смыслу. В этих случаях слово целиком заключается в ломаные скобки.

в) Для обозначения слов, чтение которых является проблемным. В этих случаях слово полностью заключается в ломаные скобки и в конце конъектуры ставится знак вопроса.

г) Для ремарок публикаторов, поясняющих особенности текста. Текст ремарки набирается меньшим шрифтом. Например: <пропуск одного слова>.

д) Для ремарок публикаторов в сочетании с авторским текстом. Текст ремарки набирается меньшим шрифтом. Например: «У той, которая с тех пор как себя помнит <вариант: уже с 7-ми лет>…».

е) Для указания мест в рукописи, которые остались неразобранными. Ремарка <*нрзбр.*> означает, что в этом месте осталось одно неразобранное слово; если неразобранных слов больше, указывается их количество: <*3 сл. нрзбр.* >.

7. Пунктуация авторов в основном приведена в соответствие с современными нормами, с сохранением индивидуальных особенностей в тех случаях, где это не мешает пониманию текста.

8. Использование/неиспользование кавычек в названиях и при цитировании сохранено в авторских редакциях.

9. Орфография авторов частично приведена в соответствие с современными нормами. Исключение сделано для ненормативных написаний некоторых иностранных (по происхождению) слов и отдельных русских слов, традиционно сохраняемых в таком виде при публикациях текстов П. и Ц.

10. Во всех случаях устранены без оговорок явные смысловые и грамматические описки.

Принципы комментирования

Комментарий к каждому письму состоит из преамбулы и пояснений к выделенным фрагментам письма.

Структура преамбулы.

1. В первой строчке преамбулы дается архивная ссылка или ссылка на частное собрание (см. раздел «Список сокращений» для корректного чтения архивных шифров). Для писем Ц. дается также пояснение в скобках, квалифицирующее тип источника (см. раздел «Описание источников»). Для писем Ц. здесь также указывается наличие варианта текста в СТ (источник 3).

2. *Письма П.* Во второй строчке преамбулы содержится информация о почтовых штемпелях и адресах, на которые посланы письма. Адрес указывается при первом письме, которое было послано на этот адрес; при последующих письмах дается ремарка: «Послано на тот же адрес».

3. *Черновики писем Ц.* Во второй строчке дается информация о контексте, в котором находится письмо в рабочей тетради, если такой контекст есть (в ряде случаев письма написаны на изолированных от остальных записей и набросков страницах).

4. *Черновики писем Ц.* Во второй или третьей строчке может содержаться ремарка: «Датировано по ТС/МС», либо иная информация, уточненная по этим источникам.

5. В преамбулу может включаться дополнительная информация, касающаяся материалов, приложенных к письму.

Комментарий к тексту писем носит избирательный характер. Информация, которую легко можно почерпнуть в общедоступной справочной литературе (относящаяся как к реальному комментарию, так и к персональным справкам об упоминаемых лицах), не приводится, за исключением тех случаев, когда контекст письма к этому обязывает.

Подготовка комментария к настоящему тому была бы невозможна без использования опыта многих предшествующих изданий сочинений и переписки обоих авторов. Кроме того, публикаторы считают своей приятной обязанностью выразить благодарность всем, кто оказал помощь в поисках справок для этого комментария: Е.И. Лубянниковой, Мишелю Окутюрье, Е.В. Пастернак, Е.Б. Пастернаку, Лазарю Флейшману, Б.Я. Фрезинскому, а также сотрудникам Дома-музея М. Цветаевой в Москве. Публикаторы благодарны Л.А. Викулиной и Кэрен Эванс-Ромэйн за помощь с переводами немецких фрагментов в письмах.

Письмо 1

1190-3-155, 1–5 об.

Почт. шт.: Binz (Rogen), 26.06.22. Послано на адрес: Trautenaustr. 9, «Trautenau Haus», Berlin – Wilmersdorf. Адрес на конверте – рукой И.Г.Эренбурга; к письму приложено его письмо к Ц. (1190-3-155, 6):

«Дорогая Марина,

Шлю Вам письмо Пастернака. По его просьбе – прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также за Вас – Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака.

Жду очень Ваших стихов и писем!

Нежно Ваш

Эренбург».

«Знаю, умру на заре, на которой из двух», «Я расскажу тебе про великий обман» – начальные строки двух ст-ний Ц. из сб. «Версты» (1921).

«Версты и версты и версты и черствый хлеб» – вторая строка ст-ния Ц. «Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» из сб. «Версты».

…подобных имени, осчастливленному Вашим посвященьем. – Сб. «Версты» вышел с посвящением Анне Ахматовой.

…следом за гробом Татьяны Федоровны… – Речь идет о похоронах вдовы композитора А.Н. Скрябина, Т.Ф. Шлёцер-Скрябиной (1883–1922), в апреле 1922 г. См. также п. 2.

…с Вашей верстовой Суинберниадой… – Алджерон Чарльз Суинберн (1837–1909) – английский поэт.

Якобсен Йенс Петер (1847–1885) – датский писатель, творчество которого оказало существенное влияние на стилистическую и тематическую модернизацию европейского романа.

Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов… – Ц. с дочерью Ариадной покинули Москву 11 мая 1922 г.

…не говорите мне… о приятии одной книжки Маяковским… – П. неоднократно упоминал, что на сб. Ц. «Версты» как на заслуживающий внимания ему указал Маяковский. См. также п. 2.

Деборд-Вальмор Марселина (1786–1859) – французская поэтесса. Упоминая ее имя в связи с Ц., П. едва ли знал, что в юношеском сб. Ц. «Волшебный фонарь» (1912) было ст-ние, обращенное к французской поэтессе («В зеркале книги М. Д.-В.»).

…Berlin… Herrn Pr. L.Pasternack… – Адрес семьи Пастернаков в Берлине. Родители П., Леонид Осипович и Розалия Исидоровна, и его сестры Лидия и Жозефина уехали из Москвы в сентябре

1921 г. и остались жить в Германии.

…Илью Григорьевича! – Речь идет об И.Г. Эренбурге.

…недавно вышедшую «Сестру мою жизнь»… – Сб. вышел в 1922 г. в «Изд-ве З.И.Гржебина» в Москве. Ц. получила этот сб. от П. в первых числах июля 1922 г. На нем дарственная надпись: «Марине Цветаевой. Б.Пастернак. 14/VI 22. Москва» (1190-2-166).

Письмо 2

1334-1-1005, 3–8 (машинопис. копия); 1190-3-115, 1–4 (машинопис. копия).

Послано на адрес Л.О.Пастернака со следующим сопроводительным письмом (Ц-ССб, 294):

«Многоуважаемый г. Пастернак,

Не откажите в любезности переслать это письмо Вашему сыну. Я бы никогда не решилась беспокоить Вас такой просьбой, если бы не указание в письме самого Бориса Леонидовича.

С совершенным уважением,

М.Цветаева

Берлин, 29 нов. июня 1922 г.».

…за ужином у Цейтлинов. – П. описал этот вечер в доме Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных в «Охранной грамоте» (ч. 3, гл. 13).

Коган Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы и литературный критик.

«Я прочла Ваши стихи про голод…» – Речь идет о ст-нии П. «Голод» (о голоде в Поволжье), напечатанном в «Известиях ВЦИК» от 15 марта 1922 г.

…моя книга «Ремесло»… – См. п. 13б.

…«Стихи к Блоку» и «Разлука». – Оба сб. вышли в 1922 г., первый в изд-ве «Огоньки» (Берлин), второй в изд-ве «Геликон» (Москва-Берлин). На сб. «Разлука», посланном П., есть дарственная надпись: «Борису Пастернаку – навстречу! Марина Цветаева. Берлин. 10 нов. июля 1922 г.» (Собрание Л.М.Турчинского).

…моего издателя Геликона. – Речь идет об Абраме Григорьевиче Вишняке (1895–1943), управляющем делами изд-ва «Геликон» в Берлине.

Письмо 3

1190-3-155, 10–14 об.

Почт. шт.: Berlin W., 15.11.22; Dresden, 15.11.22 и 17.11.22.

Послано заказным письмом в Прагу на адрес: Svobodarna, Libeň, Praha VIII (на имя С.Я. Эфрона, для Ц.); это адрес общежития, где у С. Эфрона (мужа Ц.) была комната.

…«Словами на сон»… Вашей обо мне статьею. – Речь идет о ст-нии Ц. «Неподражаемо лжет жизнь…» (печаталось без упомянутого названия), записанном ею от руки на экземпляре сб. «Разлука», посланном П. (см. примеч. к п. 2), и о ее статье «Световой ливень» (1922), посвященной сб. П. «Сестра моя жизнь».

Бирнамский лес – образ, восходящий к трагедии Шекспира «Макбет».

Serment du jeu de paume… – Одно из важных событий, непосредственно предшествовавших началу Великой французской революции. 20 июня 1789 депутаты Генеральных штатов от третьего сословия, объявившие себя за несколько дней до этого Национальным собранием, принесли присягу в зале для игры в мяч Версальского дворца – в том, что они не разъедутся и не распустятся до тех пор, пока не будет принята конституция страны. В «Световом ливне» Ц. упоминает это событие в связи с одним из ст-ний П.

«Всесильный Бог Деталей». – Строка из ст-ния П. «Давай ронять слова…».

«Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь…» – Из ст-ния Ц. «Знаю, умру на заре! На которой из двух…» (сб. «Версты»).

Письмо 4а

1190-3-6, 9–10 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 148–150.

Контекст в тетради: черновик поэмы «Мóлодец», часть 2, глава 3.

Письмо 4б

1334-1-1005, 9–14 (машинопис. копия); 1334-1-833, 1–2 об. (рукопис. копия).

Мне привез его муж из Свободарни (русское студенческое общежитие в Праге). – См. преамбулу комментария к п. 3.

…Ваша земная книга на коленях. – Сб. «Сестра моя жизнь».

Жил он, кстати, в поселке гробовщиков… – Белый жил в пригороде Берлина Цоссене (Zossen); впоследствии Ц. описала свою поездку в Цоссен к Белому в очерке «Пленный дух» (1934).

…стихи, присланные в «Эпопею»… – Трудно сказать, о каких

стихах идет речь. Четыре ст-ния цикла «Отрок» уже были напечатаны к моменту написания этого письма в № 2 (сентябрь) «Эпопеи» за 1922 г. Других стихов Ц. в этом издании не появлялось. Ежемесячник «Эпопея» редактировался А.Белым и издавался издательством «Геликон» в 1922–1923 гг.

«Это пеплы сокровищ…» – Ст-ние Ц., впоследствии вошедшее в сб. «После России».

Письмо 5

1190-3-155, 7–8 об.

Почт. шт.: Cassel, 03.02.23; Dresden, 04.02.23 и 06.02.23; Praha, 07.02.23. Послано заказным письмом в Прагу на тот же адрес.

…поблагодарить Вас за «Царь Девицу». – Поэма-сказка Ц. «Царь-Девица» была опубликована в 1922 г. двумя изданиями: Государственным издательством в Москве и изд-вом «Эпоха» в Берлине. Последнее вышло в октябре 1922 г., и именно экземпляр этого издания Ц. послала П. с дарственной надписью: «Борису Пастернаку – одному из моих муз. Марина Цветаева. 22 декабря 1922 г. Прага» (частное собрание).

…всякая Билибинщина… – Художник Иван Яковлевич Билибин (1870–1942) был широко известен своими иллюстрациями к русским народным сказкам и былинам, в которых имитировал стилистические приемы русского народного и средневекового религиозного искусства.

Посылаю Вам книжку… – Речь идет о сб. «Темы и вариации», вышедшем в начале 1923 г. в изд-ве «Геликон». На форзаце сб. дарственная надпись: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, “донецкой, горючей и адской” (стр. 76), от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки и теперь кающегося. Б.Пастернак. 29/I 23. Берлин» (Семейный архив Б.Пастернака).

Письмо 6а

1190-3-7, 95–98 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 117–121.

Контекст в тетради: перед письмом черновики ст-ния «Эмигрант»; после письма черновики ст-ния «Выше, выше! Лови летчицу!..».

«Так начинаются цыгане»… – Строка из ст-ния П. «Так начинают. Года в два…» (сб. «Темы и вариации»).

Это я, а не Вы – пролетарий! – Неточная цитата из ст-ния П.

«Я их мог позабыть? Про родню…».

«Политехнический зал» – зал Политехнического музея в Москве, где часто устраивались публичные литературные чтения.

…un grand peut-être… – Выражение, восходящее к легендарной предсмертной фразе Ф.Рабле: «Je m'en vais chercher un grand peut-être» («Я отправляюсь на поиски великого Может Быть»).

Письмо 6б

1334-1-1005, 15–23 (машинопис. копия); 1334-1-833 3–8 (рукопис. копия).

Чурилин Тихон Васильевич (1885–1946) – поэт. Ц. была им недолго увлечена в 1916 г.

…у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. – Ц. допускает небольшие неточности. В начале 1913 г. она выпустила сб. «Из двух книг», но он включал лишь избранные стихи из двух более ранних сборников (за исключением одного нового ст-ния). Первым сборником, появившимся после этого, был сб. «Версты», вышедший первым изданием в 1921 г., а вторым – в 1922 г. В 1922 г. вышел и сб. «Версты. Выпуск 1» со стихами 1916 г. Скорее всего, именно интервал в публикациях между своим еще полудетским сб. «Волшебный фонарь» (1912) и сб. «Версты. Вып. 1» Ц. и хочет подчеркнуть здесь. К невышедшим Ц. всегда относила сб. «Юношеские стихи» (стихи 1913–1915 гг.) и «Версты. Вып. 2» (стихи 1917–1920 гг.; небольшой выборкой из него был сб. «Версты»). Кроме того, в 1910-е годы Ц. упоминала о планировавшемся ею сб. «Мария Башкирцева», но о его составе ничего не известно.

Я тогда дружила с Геликоном… – Т. е. с А.Г.Вишняком; см. примеч. к п. 2.

Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) – театральный деятель, художественный критик, мемуарист. Близкое знакомство Ц. с В. относится к весне 1921 г. К нему обращен поэтический цикл Ц. «Ученик» и ст-ние «Кн. С.М.Волконскому» в сб. «Ремесло», а его книге мемуаров «Родина» посвящено эссе Ц. «Кедр. Апология» (1923). В. посвятил Ц. свою книгу «Быт и бытие» (1924).

Письмо 7

1334-1-1007, 3–8 (машинопис. копия); 1334-1-833, 9–11 (рукопис. копия).

Ваша книга – ожог. Та ливень, а эта ожог… – Речь идет о сб. «Темы и вариации» и о предыдущем сб. «Сестра моя жизнь».

А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство. – Ц. имеет в виду повесть «Детство Люверс» (1918); опубликована в альманахе «Наши дни», 1922, вып. 1.

…Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку…» – Ст-ния из сб. «Темы и вариации».

«Я их мог позабыть» (сплошь)… – Цикл из пяти ст-ний.

…и последнее. – Либо заключительный цикл «Осень», либо последнее ст-ние этого цикла «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…».

«Весна после смерти» – сб. стихов Т.Чурилина, вышедший в 1915 г.

«Dunkle Zypressen!..» – Из ст-ния Теодора Шторма «Frauen-Ritornelle». Ц. ошибочно приписывала эти строки Николаусу Ленау (1802–1850).

…только что кончила большую поэму… – Речь идет о поэме «Мóлодец», начатой весной 1922 г. еще в России и завершенной в Чехии в конце этого года.

…«дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! – Ц. перечисляет образы ст-ний П. «С полу, звездами облитого…» (цикл «Болезнь»), «Маргарита», «Вдохновение» и «пушкинских» стихов из цикла «Тема с вариациями».

И вот уже стих: С аггелами – не игрывала! – Строка, завершающая ст-ние Ц. «Лютня», датированное днем этого письма.

«И руками не потянусь». – Строка из ст-ния Ц. «Ты проходишь на Запад солнца…» (цикл «Стихи к Блоку», 1916).

Стихи в кармане – руку протянуть – не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) – Ц. была на двух чтениях Блока в Москве 9 и 14 мая 1920 г. На втором из этих чтений она передала Блоку через свою дочь Ариадну (Алю) конверт со стихами, посвященными ему (см. воспоминания А.С.Эфрон: МЦВС1, 227–229).

Письмо 8

1334-1-1007, 9 (машинопис. копия).
В ТС зафиксировано как открытка.

Долетела Ваша открытка с ответными крышами. – А все-

таки я Вас с крышами перекричу! – Нате, любуйтесь! – Открытка П., о которой пишет Ц., не сохранилась. А.Крученых сделал примечание к этому месту: «Письмо Ц. тоже на открытке с изображением Праги со множеством крыш». Согласно ТС, этой открытке Ц. предшествовала другая, датированная 9.02.23, ответом на которую и была открытка П.

Письмо 9

1190-3-156, 2.

Почт. шт.: Berlin, 24.02.23. Послано на адрес: Praha II, Vyšehradska tř. 16, Městsky Hudobinec (на имя С.Эфрона, для Ц.).

Письмо 10

1190-3-7, 111 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 121–122.

Контекст в тетради: перед письмом черновики ст-ния «Плач цыганки по графу Зубову»; после письма записи и черновики ст-ния «Офелия – Гамлету».

… только один вместил: 61 г. от роду и – очевидно – миллиардер, т. е. привыкший. – Речь идет, вероятно, о кн. С.М.Волконском (см. примеч. к п. 6б).

Письмо 11

1190-3-156, 4–4 об.

Почт. шт. неразборчив. Послано из Берлина на тот же адрес.

Мы уезжаем 18 марта. – Отъезд П. с женой из Берлина состоялся лишь 21 марта.

В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре… – Назначение встречи в Веймаре было, по-видимому, связано со словами Ц. о ее желании побывать там с П. (см. п. 6б).

Письмо 12

1334-1-1007, 9 (машинопис. копия).

В ТС зафиксировано как открытка.

Шкапская Мария Михайловна (1891–1925) – поэтесса, впоследствии прозаик-очеркист.

Письмо 13а

1190-3-7, 116–117 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 125–128.

Контекст в тетради: черновики ст-ния «Жалоба» из цикла «Федра».

Эренбург (урожд. Козинцева) Любовь Михайловна (1900–1971) – жена И.Г.Эренбурга.

…принялась за большую книгу прозы… – Книга (имевшая рабочее название «Земные приметы») не вышла и неизвестно, была ли работа над ней завершена. Относящихся к ней рукописей не сохранилось, но можно предположить, что целый ряд впоследствии опубликованных очерков Ц., посвященных ее жизни в послереволюционной Москве, генетически связан с планом книги.

Слоним Марк Львович (1894–1976) – литературный критик, один из редакторов ВР. На протяжении многих лет был дружен с Ц. См. его воспоминания о ней: МЦВС2, 90–145.

Герцог Рейхштадтский (Наполеон II) – единственный сын Наполеона Бонапарта, умерший в возрасте 21 года от чахотки. В 1908–1909 гг. Ц. перевела пьесу Э.Ростана «Орленок», героем которой является герцог Рейхштадтский; он также неоднократно появляется в стихах первых двух сборников Ц. «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь».

Непосредственно после этого письма Вы получите другое, со стихами. – См. Приложение к п. 13б.

Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое. – Ц. указывает, что п. 12 было ответом на п. 9.

Письмо 13б

1334-1-1007, 10–17 (машинопис. копия); 1334-1-833, 12–13 об. (рукопис. копия).

…пойдите по приезде к Н.А.К<оган> (жене П<етра> С<еменовича>, матери Блоковского мальчика)… – Речь идет о жене П.С.Когана Надежде Александровне Нолле-Коган (1888–1966), с которой Ц. познакомилась осенью 1921 г. Н.-К. была близкой знакомой Блока в последний период его жизни. Судя по записям Ц. (см. СТ, 66–70), Н.-К. сама внушила Ц., что ее сын Саша, родившийся в 1921 г., был сыном Блока. Этот миф Ц. увековечила в посвящении своего цикла из двух ст-ний «Вифлеем» в «Ремесле»: «Сыну Блока, – Саше».

…для сестры… – Т. е. для Анастасии Ивановны Цветаевой

(1894–1993), родной сестры Ц.

Антокольский Павел Григорьевич (1896–1978) – актер, поэт. Ц. познакомилась с А. в конце 1917 г., и их близкое знакомство продолжалось в течение двух-трех последующих лет. Впоследствии Ц. описала эти годы в «Повести о Сонечке» (1937–1938), одним из героев которой является А.

О «Ремесле». Вчера… Вам его выслала, – свой экземпляр, пробный, немножко замурзанный… – На шмуцтитуле сб. дарственная надпись: «Моему заочному другу – заоблачному брату Борису Пастернаку. Марина Цветаева, Прага, 9-го нов. марта 1923 г.» (собр. Л.М.Турчинского).

«Переулочки» – поэма Ц., написанная весной 1922 г., незадолго до отъезда из России.

Чабров (наст. фамилия Подгаецкий) Алексей Александрович (1883 – ок. 1935) – музыкант и актер. Прославился, сыграв роль Арлекина в пантомиме «Покрывало Пьеретты», поставленной А.Я.Таировым в Свободном театре в Москве (сезон 1912–1913 гг.). В эмиграции с 1923 г. В 1927 г. принял католичество, в 1931 г. был рукоположен как католический священник и получил приход на Корсике.

Посылаю стихи «Эмигрант». – Неясно, было ли это ст-ние послано отдельно. См. его в составе автографа в Приложении к этому письму.

Приложение

1334-1-984, 1–2 об. (автограф Ц.).

Все ст-ния, вошедшие в этот автограф, за исключением ст-ния «От руки моей не взыгрывал…», вошли впоследствии в сб. Ц. «После России»; приводимые редакции имеют ряд разночтений с редакциями стихов в сборнике.

Письмо 14

1190-3-156, 6–8.

Почт. шт.: Berlin, 20.03.23; без места, 23.03.23. Послано заказным письмом на тот же адрес; в качестве обратного адреса указано издательство «Геликон»: Helikon-Verlag, Berlin W. 50, Bambergerstr. 7.

…моей милой, терзающейся жене… – Евгения Владимировна Пастернак (урожд. Лурье; 1898–1965), художница; стала женой П. в начале 1922 г.

Это роковая незадача, что мы не встретились втроем. – В записной книжке Ц. сохранился фрагмент, который можно считать ответом на эти слова П.: «Втроем не выйдет. Я и вдвоем

умею плохо. / Я и в “вдвоем” слаба. 2 уже меньше чем (наедине) один (в *к<отор>ом* другой!) / 2 это ряд<ом>, наедине это в упор. Нет, не обольщаюсь и не обольщаю: втроем не выйдет. Могут выйти – два вдвоем (мое с Вами, мое с ней). – Зачем втягиваете? Я размежевыв<аю>. Не отводите мне никакого места» (ЗК2, 287).

…не Елена книжки – моя жена… – Елена Александровна Виноград (1896–1987) является адресатом многих стихов П. из сборников «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации».

Спасибо за Эккермана. – По-видимому, Ц. подарила П. «Разговоры с Гёте» И.П.Эккермана.

Письмо 15

1190-3-7, 132 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 128–129.

Контекст в тетради: перед письмом черновики ст-ния «Самовластная слобода!..» и «Голубиная купель…»; после письма черновики ст-ния «Эвридика – Орфею».

Письмо 16

1190-3-7, 143–145 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 130–132. В СТ за первым фрагментом письма следует текст (три абзаца в скобках), отсутствующий в записи 1923 г.

Контекст в тетради: перед письмом черновики ст-ния «Терпеливо, как щебень бьют…»; после письма черновики ст-ния «Весна наводит сон. Уснем…».

…с Вашим вопросом… о сестре. – См. п. 14.

«Не ждите ни меня, ни моих писем»… – Неточная отсылка к фразе П. из п. 14.

Horizontales und Wertikales Handwerk. – Выражение «horizontales Handwerk» восходит к очерку «Путешествие по Гарцу» из книги Г.Гейне «Путевые картины».

Со мной сумел (вместил и ограничил) только один, вдвое старше Вас. – Речь, по-видимому, идет о С.М.Волконском (см. примеч. к п. 6б).

Письмо 17

1190-3-8, 119 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 204.

Контекст в тетради: черновики ст-ния «Меж нами – десять заповедей…».

Письмо 18

1190-3-8, 206–207 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 279.

Контекст в тетради: запись диалога Тезея и Вакха (к пьесе «Ариадна»); черновики «Поэмы Горы».

Датируется по содержанию. В ТС не зафиксировано письма с такой датой, но есть письмо, датированное 31.03.24 (а также две открытки от 8.04.24 и 22.04.24). В какой мере мартовское письмо могло совпадать по содержанию с приведенным тетрадным отрывком, трудно сказать. В ТС приводится следующий отрывок из него:

«Я *знаю*, что я Вас добьюсь – рукой не шевельнув. *Как* это будет в этом мире, который *весь* тупик и <*нрзбр.* > – не мыслю. <купюра в источнике> Мы полубоги (если бы просто люди или просто – боги, давно бы уже были вместе!). Ахилл и Елена – *разрозненная* пара, которую м.б. долго спустя, наконец додумавшись, сведет какой-нибудь новый Гомер. <купюра в источнике> Наша земная встреча на острие случайности. <купюра в источнике> Но ни Вы, ни я билетов не берем, из высокомерия (доверия к божеству?). Нам нужна судьба. Я брезгую земным устройством, я брезгую вмешательством, – пусть боги. <купюра в источнике> Наша встреча страшна, как всякое чудо, вне закона и вне охраны его. <купюра в источнике> Вы – единственная возможность для меня земной верности.

Все ты один, – во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах.

<купюра в источнике> Это письмо навек, наперед, подтверждение, чтоб знали» (1334-1-834, 6–6 об.).

С 64. *…так пройдут и еще полгода, и еще год – если еще помните!* – Ц. имеет в виду намеченную на май 1925 г. встречу с П. В Веймаре.

Я так пыталась любить другого… – Речь идет о романе с Константином Болеславовичем Родзевичем (1895–1988), начавшемся в конце августа 1923 г. и закончившемся расставанием в декабре того же года.

Письмо 19

1190-3-157, 1–2 об.

На конверте надпись: «Цветаевой». По-видимому, передано с

оказией.

Синезубов Николай Васильевич (1891–1956) – художник, с 1921 г. член группы «Маковец». В 1922 г. участвовал в 1-й Русской художественной выставке в Берлине. В 1928 г. в последний раз выехал из России по командировке Наркомпроса; жил сначале в Берлине, а с 1932 г. – в Париже. С. был близким другом А.А.Чаброва и, видимо, через посредство последнего был знаком с Ц. Подробностей о его поездке за границу в 1924 г. установить не удалось. Вероятно, именно с ним П. передал настоящее письмо к Ц., а Ц. передала П. печатаемое следующим номером письмо со стихами.

Письмо 20

1334-1-984, 3–11 об. (автограф Ц.).

Все ст-ния, включенные в этот автограф, вошли впоследствии в сб. Ц. «После России»; приводимые редакции имеют ряд разночтений с редакциями стихов в сборнике.

«И – мимо! Вы поздно поймете…» – Строка из ст-ния П. «Нас мало. Нас может быть трое…» (сб. «Темы и вариации»).

Письмо 21

1190-3-8, 333 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 293.

Контекст в тетради: черновики «Поэмы Конца».

Письмо 22

1190-3-8, 338 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 293.

Контекст в тетради: черновики «Поэмы Конца».

Письмо 23

1190-3-157, 4–7 об.

Почт. шт.: Москва, 17.06.24; Praha, 22.06.24; Smichov, 23.06.24; без места, 24.06.24. Послано заказным письмом на адрес: Praha, Smichov, Švédska ul., č. 1373; переадресовано: Praha II, Lazarská 10, ruský stud. komitet.

С. 90. …*из «Барьеров»*… – Речь идет о сб. П. «Поверх барьеров» (на обл. 1917; вышел в дек. 1916).

«Я люблю тебя черной от сажи…» – 4-е ст-ние из цикла «Скрипка Паганини».

Часть Ваших стихов будет напечатана в журн<але> «Русский Современник». – В № 3 этого журнала за 1924 г. были напечатаны два ст-ния Ц. – «Занавес» и «Сахара».

Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас… – Речь идет о Николае Николаевиче Вильяме (Вильмонте) (1901–1986), впоследствии известном германисте и переводчике. Его сестра Ирина Николаевна в 1925 г. вышла замуж за брата П. – Александра.

А Бобровскую в «Печати и Революции» получили? – Речь идет о рецензии Сергея Боброва на «Царь-Девицу» и «Ремесло» Ц., напечатанной в № 1 этого журнала за 1924 г.

Постарайтесь с оказией прислать Психею и все что издано у Вас после Ремесла. – Сб. «Психея», проданный Ц. «Издательству З.И.Гржебина» еще до ее отъезда из России, вышел вскоре после «Ремесла». Следующей ее вышедшей книгой была поэма «Мóлодец» (на обл. 1924; вышла весной 1925).

Письмо 24

1190-3-11, 16–17 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: среди пустых листов; тетрадь датирована летом 1924 г.

Пока мальчика нет, думаю о нем. – Ц. говорит об ожидании рождения сына. Ее сын, Георгий Эфрон, родился 1 февраля 1925 г.

Вспомните старика Гёте в Wahlverwandschaften. – Речь идет о романе Гёте «Избирательное сродство» (1807–1809).

«Но если я умру, то кто же – мои стихи напишет!»… – Неточная цитата из ст-ния А.Ахматовой «Покорно мне воображенье…» (1913). У Ахматовой: «И если я умру, то кто же / Мои стихи напишет Вам…».

Elementargeist – в немецкой народной демонологии название группы дýхов, связанных с одной из четырех стихий (элементов): землей, водой, воздухом или огнем.

Письмо 25

1190-3-10, 353 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 308–309.

Контекст в тетради: варианты посвящения «Мóлодца» Пастернаку; наброски к статье о болгарской народной поэзии.

…с рождения моей второй дочери (родилась в 1917, умерла в 1920 г.) прошло 7 лет… – Дочь Ц. Ирина умерла от голода в

детском приюте в Кунцево на окраине Москвы.

О «Детстве Люверс» – потом… – Сохранились наброски неосуществленной статьи Ц. о прозе П., сделанные после чтения «Детства Люверс» (см. СТ, 305–308).

…я закончила большую вещь – I часть трилогии «Тезей»: Ариадна. Приступаю ко второй. – Речь идет о двух пьесах Ц., «Ариадна» (при первой публикации «Тезей») и «Федра». Последняя была завершена лишь в конце 1927 г.

В «Современных Записках» (XXI кн.) есть моя проза, из советских записей… – В этом номере был опубликован очерк Ц. «Вольный проезд».

Письмо 26а

1190-3-12, 269 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 382.

…как Вы – с то́й карточкой. – Ц. имеет в виду ст-ние П. «Заместительница» из сб. «Сестра моя жизнь»; оно начинается строчкой «Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет…».

Жила эту зиму «Детством Люверс»… Многое, по поводу нее, записала, м.б. напишу. – См. примеч. к п. 25.

Продолжение
1190-3-12, 285 (тетрадь Ц.).

«Игры слов и смыслов», – какую-нибудь книгу свою я так назову. – Такой вариант названия для нового сборника стихов фигурирует в тетрадях Ц. в начале 1924 г. (см. СТ, 285).

Письмо 26б

1334-1-1013, 3–7 (машинопис. копия); 1334-1-833, 14–16 (рукопис. копия).

Это не сантиментальность… – Примеч. А.Крученых: «Вероятно, здесь М.Цветаевой был приложен засушенный цветок. А.Кр.».

Если бы не… знакомый студент-медик… – Речь идет о Григории Исааковиче Альтшуллере (1895–1983). См. его воспоминания о Ц.: МЦВС2, 59–65.

Мой сын – Sonntagskind… – По немецкой мифологии, ребенок, родившийся в воскресенье, одарен счастливой судьбой и всевозможными магическими способностями.

Демона, любящего (или губящего) десять Тамар, я не мыслю. – Речь идет о персонажах поэмы Лермонтова «Демон».

Тогда – парнасцы, сейчас – везувийцы (мое слово). – В тетрадном наброске Ц. о прозе П. есть следующий фрагмент: «Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем» (СТ, 308).

Письмо 27

1190-3-12, 124 (тетрадь Ц.). Вариант текста: СТ, 349.

С 102. *Дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе – заняты!* – Ср. финальные строчки ст-ния Ц. «Русской ржи от меня поклон…» (май 1925), завершающего сб. «После России».

…Вы посвящаете свои вещи чужим – Кузмину и другим, наверное. – Михаилу Кузмину была посвящена повесть П. «Воздушные пути», опубликованная в № 2 ж. «Русский современник» за 1924 г.

…носит мои стихи при себе… – Речь идет о цикле Ц. «Стихи к Ахматовой».

…от Мандельштама – несколько холодных великолепий о Москве… – К Ц. обращены три ст-ния Мандельштама: «На розвальнях, уложенных соломой…», «Не веря воскресенья чуду…», «В разноголосице девического хора…» (все – 1916).

…от Чурилина – просто плохие стихи… – Посвящение Ц. предпослано публикации прозаического фрагмента Чурилина «Из детства далечайшего» в альманахе «Гюлистан» (1916, № 2). Стихи Чурилина, обращенные к Ц., возможно, остались ненапечатанными.

…от С.Я.Парнок – много и хорошие… – К Ц. непосредственно обращены два ст-ния Парнок: «Следила ты за играми мальчишек…» и «Смотрят снова глазами незрячими…» (оба – 1915); еще несколько ее ст-ний, вероятно, связаны с Ц.

Письмо 28а

1190-3-12, 267–268 (тетрадь Ц.).

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». – См. первую главку этой повести.

Вот Вам мой «Мóлодец»… – На авантитуле сб. дарственная надпись: «Борису Пастернаку – Марина Цветаева. Прага, май 1925 г.» (1190-2-68). На обороте фронтисписа рукой Ц. записано ее ст-ние «Русской ржи от меня поклон…», под которым подписано: «Веймар, 1-го мая 1925 г.» – место и дата

планировавшегося, но не состоявшегося свидания с П.

«Поэма Горы» – поэма, написанная Ц. в начале 1924 г.; опубликована в ж. «Версты», 1926, № 1.

…откуда посвящение к Мóлодцу? Из русской былины – Морской царь и Садко. – Поэме «Мóлодец» было предпослано посвящение: «Борису Пастернаку – “за игру за твою великую, / за утехи твои за нежные”». Это неточная цитата из одного из наиболее популярных вариантов былины о Садко («Садко», № 134 по сб. «Песни, собранные П.Н.Рыбниковым»). В оригинале: «За твои за утехи за великие, / За твою-то игру нежную» (слова Морского Царя, адресованные Садко).

Письмо 28б

1334-1-1013, 8–10 (машинопис. копия); 1334-1-833, 17 (рукопис. копия).

…«Поэма Горы», «Поэма конца», «Тезей»… – Многоточие в этом месте копии, вероятно, означает купюру. См. преамбулу к комментарию к п. 31б.

Письмо 29

1190-3-12, 289 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики 5-й главы поэмы «Крысолов».

…гипсовыми памятниками в<ождям>… – Вероятно, имеются в виду памятники героям национального прошлого, которые временно воздвигали в Москве в первые годы после революции в рамках так называемого плана «монументальной пропаганды».

…как в первом моем стихе к тебе… – Имеется в виду ст-ние Ц. «Неподражаемо лжет жизнь…».

…пустынник и медведь. – Аллюзия на басню И.А.Крылова «Пустынник и медведь».

Письмо 30

1190-3-157, 9–11 об.

Почт. шт.: Москва, 04.07.25. Послано на адрес: Všenory, č. 23 (p.p. Dobřichovice) u Prahy.

Ася – А.И.Цветаева.

Жена и ребенок в деревне, на даче. – Этим летом семья П.

снимала дачу в селе Александровское вблизи станции Усово под Москвой.

Я получил работу по библиографии. – Осенью 1924 г., при посредничестве критика и историка литературы, в то время секретаря ж. «Печать и революция» Якова Захаровича Черняка (1898–1955), П. получил работу, связанную с большим проектом библиографического справочника материалов о Ленине, готовившегося Институтом Ленина при ЦК ВКП(б); П. занимался просмотром иностранных источников.

Я начал роман в стихах. – Речь идет о начале работы над «Спекторским».

…«Карусель». – Ст-ние было опубликовано в детском ж. «Новый Робинзон», 1925, № 9 и издано отдельной книжечкой в 1926 г.

…«Зверинец». – Ст-ние было опубликовано в ж. «Огонек», 1925, № 52 и издано отдельной книжечкой только в 1929 г.

Фонтенуа Жан (Jean Fontenoy; 1899–1945) – французский журналист, коммунист; в это время был официально аккредитован в Москве. Познакомился с П., по-видимому, через посредство французского писателя и философа Бриса Парэна (1897–1971).

Она так и должна была называться «Проза». Издательство заставило меня назвать ее «Рассказы»… – Сб. П. «Рассказы» вышел в 1925 г. в изд-ве «Круг». На авантитуле дарственная надпись: «Марине, удивительному, чудесному, Богом одаренному другу. Б.П.» (1190-2-167).

Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. – Речь идет о повести «Воздушные пути»; финал повести, о котором говорит П., считается утраченным.

Письмо 31а

1190-3-12, 290–292 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики 5-й главы поэмы «Крысолов». Перед письмом – запись Ц. о получении письма П.: «10го июля. Первое человеческое письмо (остальные – ангельские!)» (1190-3-12, 289).

…вспомни К.И.Мармеладову – это я. – Речь идет о героине романа Достоевского «Преступление и наказание».

В Праге бываю раз в месяц, за иждивением… – Ц., как и ряд других русских писателей и деятелей культуры, получала специальное пособие, учрежденное правительством Чешской Республики (оно прекратилось лишь в 1932 г.).

…докторскую работу «Иконография Рождества»… – В Карловом университете в Праге С.Я.Эфрон занимался в семинаре знаменитого византолога Никодима Павловича Кондакова (1844–1925); докторская диссертация Эфрона называлась «Иконография Рождества Христова на Востоке».

Письмо 31б

1334-1-835, 1–1 об. (автограф Ц.).

Согласно ТС, к этому письму было приложено описание крестин Мура, текстуально близкое к СТ, 379–380. В ТС приводится также следующая цитата из этого письма, не совпадающая в точности с текстом копии (возможно, в действительности она является цитатой из п. 28б): «Вещи, после Вашего отъезда мною написанные: “Поэма Горы”, “Поэма Конца”, “Тезей” (драматическая), теперь “Крысолов” (сатира). Печатается поглавно в журнале. Посвящается Гейне, Борис, еще перекличка (Il tratto di Apelle)» (1334-1-834, 9).

И Прозу и поэму получила. – См. п. 30.

Павлик – П.Г.Антокольский (см. примеч. к п. 13б.).

Письмо 32

1190-3-157, 13–17 об.

Почт. шт.: Москва, 17.08.25. Послано на тот же адрес.

Над известием о кончине Рильке… – Из какого источника Ц. получила ложное известие о смерти Рильке, установить не удалось.

…запрос Либермана для голландского ежегодника… – Речь идет о Семене Петровиче Либермане, сотруднике берлинского изд-ва И.П.Ладыжникова. О каком издании идет речь, установить не удалось.

Письмо 33

1190-3-12, 301–302 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики 5-й главы поэмы «Крысолов».

…все мои сны о Вас… – Ср. запись в СТ, 300–301.

И не успокоится мое… – См. финал очерка Ц. «Герой труда» (1925).

…я его впервые прочла в Берлине, в 1922 г. … – В своем первом

письме к Рильке (9 мая 1926 г.) Ц. утверждала, что, когда уезжала из России в эмиграцию, взяла его книги с собой; сказанное здесь прямо опровергает эти слова. В том же письме Ц. упоминала, что впервые прочитала сб. «Ранние стихотворения» («Die frühen Gedichte») в Праге. Известно также, что в первый день после переезда из Берлина в Прагу Ц. купила там сборник Рильке «Книга образов» («Das Buch der Bilder»); на экземпляре Ц. есть ее владельческая надпись: «Марина Цветаева. Прага, 1-го нов. августа 1922 г. – первый день. – » (1190-2-142).

Рабиндранат – речь идет об индийском писателе Рабиндранате Тагоре (1861–1941).

…С.Я. пока остается в Праге, кончать докторскую работу. – См. примеч. к п. 31а.

…твоя проза… к весне будет издана отдельной книгой. – Издание не состоялось.

Письмо 34

1190-3-158, 1–4 об.

Почт. шт.: Москва, 06.01.26; Dobřichovice, 11.01.26; Paris XIX, 05.02.26. Послано заказным письмом на тот же адрес. Переадресовано: Chez M-me Tchernoff, 8, rue Rouvet, Paris XIX, France.

С 121. *Вы уже, конечно, узнали о смерти Есенина.* – Сергей Есенин покончил с собой в номере ленинградской гостиницы «Англетер» 28 декабря 1925 г.

Последнее стихотворенье он написал кровью. – Имеется в виду ст-ние «До свиданья, друг мой, до свиданья…». См. также примеч. к п. 35.

…я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину. – Один из эпизодов взаимоотношений П. и Есенина, возможно, связанный с тем, что описывает П. (несмотря на различие в характеристике поведения обоих участников), сохранили воспоминания Е.В.Муратовой. Эпизод происходил в редакции КН: «Вспоминаю ссору Есенина с Пастернаком. Есенин без всякого повода стал задирать, бранить Бориса Леонидовича (он его невзлюбил) и всячески вызывать на ссору. Он даже замахнулся на него и хотел ударить. Пастернак вел себя великолепно. Он схватил его руку, успокоил его и потом незаметно ушел. Борис Леонидович любил и жалел Есенина» (*Муратова Е.В.* Встречи (воспоминания) // *Андреева И.* Неуловимое созданье. М.: Совпадение, 2000. С. 137).

…если Вы еще о посвященьи не пожалели… – Имеется в виду

посвящение поэмы «Мóлодец». См. примеч. к п. 28а.

Львов-Рогачевский Василий Львович (1873–1930) – плодовитый литературный критик и публицист марксистского направления.

…большой работой в стихах о 1905-м годе. – Речь идет о будущей поэме «Девятьсот пятый год».

Когда напишу о Шмидте, пошлю эту часть Вам. – В процессе работы над замыслом эта его часть превратилась в отдельную поэму «Лейтенант Шмидт».

Я получил из Германии его «Sonette an Orpheus»… – Сб. Рильке «Сонеты к Орфею» (1923) переслала П. из Германии его сестра Жозефина.

Письмо 35

1190-3-158, 6–8 об.

Почт. шт. нечеток (4.02.26?). Послано на тот же парижский адрес. К письму приложены рукописи двух глав будущей поэмы «Девятьсот пятый год» – «Гапон» и «Бунт на «Потемкине» (в окончательной редакции, соответственно, «Детство» и «Морской мятеж») (1190-3-158, 9–14 об.).

1 февраля 1926 г. – В оригинале ошиб.: 1 января.

Еще большее спасибо за порученье. – Согласно ТС, в письме от 18.01.26 Ц. попросила П. прислать ей материалы, связанные со смертью Есенина, так как задумала в это время писать поэму о нем. П. процитировал просьбу Ц. в своем письме к Г.Ф. Устинову от 24.01.26:

«Вот ее слова: “Напишите мне достоверности о смерти Есенина: час, день недели, число, название гостиницы, по возможности – номер. С вокзала – прямо в гостиницу? Подтвердите. По каким улицам с вокзала в гостиницу? (Вид и название). Я Петербурга не знаю, мне нужно знать.

Еще: год рожденья, по возможности – число и месяц. Были наверное подробные некрологи. – Короткую биографию: главные этапы. Знала его в самом начале войны, с Клюевым. – Рязанской губернии? Или какой? Словом все, что знаете и не знаете.

Внутреннюю линию – всю знаю, каждый жест, – до последнего. И все возгласы, вслух и внутри. Все знаю, кроме достоверности. Поэма не должна быть в воздухе”» (П-СС7, 590).

Замысел поэмы о Есенине не был осуществлен.

Устинов Георгий Феофанович (1888–1932) – писатель и журналист; близкий знакомый Есенина. В своей статье «Сергей Есенин и его смерть» («Красная газета», 1925, 29 дек., веч. вып.)

впервые опубликовал предсмертное ст-ние Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…».

Лукницкий Павел Николаевич (1900–1973) – писатель, автор воспоминаний и биографических работ об А.Ахматовой и Н.Гумилеве.

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – поэт. Вместе с М.Фроманом, В.Эрлихом и П.Медведевым поставил подпись в качестве понято́го при составлении акта о смерти Есенина.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – нарком просвещения; с первых послереволюционных лет был одним из тех членов правительства, к помощи которых чаще всего обращались представители интеллигенции.

Часть сведений, сообщаемых Вами и имеющих отношенье до меня, мне помочь не могут. – В ТС приводятся следующие цитаты из письма Ц. от 18.01.26: «Твоя слава растет. Тебе подражают решительно все пишущие. <купюра в источнике> Твой словарь, твои образы. Но, конечно, ничего не выходит. <купюра в источнике> Появится книга – рвут на части <купюра в источнике> (молодежь – пр<ажский> «Скит поэтов», здешний «Клуб молодых»)»; «Гиппиус (старая змея) негодует на твой синтаксис»; «Из живых здесь только Ремизов и я. Ремизов *горячо любит* твою прозу» (1334-1-834, 10). См. также п. 36.

Нарочно посылаю пробы. Это из большой работы о 905 годе. – См. преамбулу к этому письму.

…о стихах про вонючее мясо… – Имеется в виду эпизод в главе «Потемкин» (в окончательной редакции «Морской мятеж»), предшествующий началу бунта: отказ матросов есть гнилое мясо. Эпизод нашел отражение и в фильме С.Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

Пресня – имеется в виду глава «Москва в декабре» поэмы «Девятьсот пятый год».

Эва – кто скрывается под этим вымышленным именем (см. также п. 164), установить не удалось.

Цекубу – Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

Только что пришел человек с матерьялами из Петербурга. – Речь идет о Льве Владимировиче Горнунге (1901–1993), поэте и литературоведе. Он откликнулся на просьбу П. помочь со сбором материалов о смерти Есенина для Ц. Именно он, в частности, написал соответствующий запрос П.Н.Лукницкому. Судя по записи в дневнике Г. от 1 февраля 1926 г., в этот день он получил пакет от Лукницкого и отнес его П. Среди присланных материалов Г. упоминает «вырезки из газет и журналов, статьи Н.Тихонова, Б.Лавренева и письмо самого Лукницкого о

последних днях Есенина» (Воспоминания о Борисе Пастернаке. М.: Слово, 1993. С. 72).

…«Кр<асную> Ниву» с автобиографией Есенина. – Имеется в виду автобиография Есенина, написанная в 1923 г., но опубликованная лишь посмертно в № 2 (10 янв.) названного журнала за 1926 г.

Письмо 36

1190-3-158, 16–20 об.
Почт. шт.: Москва, 24.02.26. Послано на тот же адрес.
Ответ на письма Ц. от 6.02.26 и 8.02.26 (ТС).

…как в старину с-ер. – Т. е. с прибавлением – *съ* в конце слов («прошу-съ»).

Фроман Михаил Александрович (1891–1940) – поэт и переводчик. См. также примеч. к п. 35.

Эрлих Вольф Иосифович (1902–1937) – поэт-имажинист; автор мемуарной книги о Есенине «Право на песнь» (1930; вышла в конце 1929); адресат предсмертного ст-ния Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…». См. также примеч. к п. 35.

Казин Василий Васильевич (1898–1981) – поэт, один из организаторов литературной группы «Кузница».

…я видел Двенадцатую ночь и Чехова в роли Мальволь… – Михаил Александрович Чехов (1891–1955) исполнял роль Мальволио в постановке пьесы Шекспира 1-й студией МХТ(1917).

Бекман-Щербина Елена Александровна (наст. фам. Каменцева; 1881–1951) – известная пианистка, одна из первых исполнительниц произведений А.Н.Скрябина, многие из которых разучивала под руководством самого композитора.

Не перепечатывайте меня. – По-видимому, П. отвечает на вопрос Ц. о возможности перепечатки его произведений в готовившемся в это время в Париже первом номере нового ж. «Версты», к редколлегии которого Ц. была близка. Перепечатка, однако, состоялась (см. также п. 42): в первом номере журнала (вышел в июне 1926 г.) была напечатана глава «Потемкин» («Морской мятеж») будущей поэмы «Девятьсот пятый год», появившаяся до этого в НМ, 1926, № 2.

Никакого гонорара не надо. Свинство, что мы Вам ничего не шлем. – Вероятно, П. имеет в виду гонорары за публикации ст-ний Ц. в ж. «Русский современник» (1924, № 3) и сб. «Московские поэты» (Великий Устюг, 1924).

Письмо 37

1190-3-159, 1–3 об.

Почт. шт.: Москва, 04.03.26. Послано на тот же адрес.

Ответ на письмо Ц. от 23.02.26 (ТС).

…но гибель Гумилева… – Николай Степанович Гумилев (1886–1921) был расстрелян за предполагаемое участие в антиправительственном заговоре.

Как я рад, что Вы так подробно написали про вечер. – Речь идет о вечере Ц., состоявшемся в Париже 6 февраля 1926 г. (до этого он дважды переносился) и имевшем большое значение для укрепления ее репутации в русской парижской литературной среде.

О перепечатке Сельвинского. – Речь идет о предполагавшейся перепечатке стихов Ильи Сельвинского в № 1 «Верст». Она состоялась: в журнале были напечатаны его ст-ния «Казнь Стецюры», «Казачья походная», «Цыганская», «Цыганский вальс на гитаре».

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) – литературный критик, историк литературы и публицист. Преподавал русскую литературу в Лондонском университете. Один из соредакторов ж. «Версты» (вместе с П.П.Сувчинским и С.Я.Эфроном). Участник евразийского движения. В 1932 г. вернулся в СССР; в 1937 г. репрессирован.

Встречаетесь ли Вы с Ильей Григорьевичем?.. Я ему написал очень жестокое письмо отн<осительно> его вещи и, вероятно, огорчил. – Письмо И.Г.Эренбургу касалось его романа «Рвач» (ср. упоминание в п. 69). В эмиграции на публикацию романа с возмущением отозвался В.Ходасевич: в своей заметке «Вместо рецензии» («Дни», 1925, 27 сент.) он указывал на недвусмысленное оскорбление Эренбургом памяти Николая Гумилева, выразившееся в присвоении фамилии «Гумилов» (при первом упоминании набранной к тому же с опечаткой – «Гумилев») одному из проходных, но крайне отрицательных персонажей романа. Вероятно, реакция П. на такое обращение с памятью расстрелянного поэта должна была быть сходной. Эренбург попытался отклонить публичное обвинение Ходасевича, опубликовав в газ. «Парижский вестник» (1925, 2 окт.) заметку, смысл которой сводился к утверждению, что опечатка была случайной. Ленинградский же ж. «Жизнь искусства», 1925, № 41 (раздел «Обзор печати») вступился за Эренбурга таким образом, что косвенно подтвердил – с авторского согласия или без него – намеренность выпада Эренбурга против Гумилева. П., скорее всего, был знаком с последней публикацией.

Письмо 38

1190-3-159, 5–6 об.

Почт. шт.: Москва, 20.03.26. Послано на тот же адрес.

Ответ на письма Ц. от 8.03.26 и 12.03.26 (ТС).

Пунин Николай Николаевич (1888–1953) – искусствовед и художественный критик; гражданский муж Ахматовой.

Потом я получил твое письмо про то, каково твое ты. – Судя по ТС, речь идет о письме от 8.03.26.

Теперь о Лондоне. – Ц. ездила в Лондон по приглашению Д.П.Святополка-Мирского; она провела там две недели, с 10 по 25 апреля.

…служа воспитателем (гувернером, подумай!) в богатой немецкой купеческой семье… – Речь идет о службе в 1914–1915 гг. в доме крупного коммерсанта Морица Филиппа; П. был учителем его сына Вальтера.

…Бобров переводил Рэмбо… – Сергей Павлович Бобров (1889–1971), поэт, переводчик, а впоследствии исследователь стиха, вместе с П. входил в кружок «Лирика» (1913–1914), а затем – в группу «Центрифуга» (1914–1922). Во «Втором сборнике Центрифуги» (1916) были напечатаны некоторые его переводы из А.Рембо.

…ты выступала с Асей, взявшись за руки… – Такие «парные» выступления сестер Цветаевых зафиксированы газетной хроникой культурной жизни Феодосии 1913–1914 гг.

Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт; так же, как и С.Бобров, был членом «Лирики», а затем «Центрифуги».

Анисимов Юлиан Павлович (1889–1940) – поэт и переводчик; в 1913 г. участник «Лирики».

…для посещенья своб<одной> эстетики… – Речь идет об Обществе свободной эстетики, в собраниях которого участвовали литераторы модернистского круга.

Китс Джон (1795–1821) – английский поэт-романтик.

Суинберн – см. примеч. к п. 1.

Стихов этих я теперь не помню, как и других той поры, и не знаю, где они. – Во время антинемецкого погрома 28 мая 1915 г. дом Морица Филиппа (см. выше) был наполовину сожжен; книги и рукописи П., находившиеся там, сгорели.

Письмо 39

1190-3-159, 8–11 об.

Почт. шт.: Москва, 27.03.26. Послано на тот же адрес.

…Поэмой Конца. – Поэма Ц., написанная в 1924 г. и опубликованная в сб. «Ковчег» (Прага, 1926; вышел в конце

1925).

…Сивцево-Вражечьи… – Улица Сивцев Вражек и примыкающий к ней район были в 1910-е годы местом, где селились представители артистического и литературного мира. И Ц. и П. (в разное время) сами недолго жили на этой улице.

…преувеличенно, то есть / Во весь рост. – Эта и следующие цитаты – из «Поэмы конца» Ц.

Это из «Высокой Болезни»… – Речь идет о ранней редакции поэмы «Высокая болезнь» (1923).

Debordes-Valmore – см. п. 1 и примеч. к нему.

Письмо 40

1190-3-159, 13–15 об.

Почт. шт.: Москва, 29.03.26. Послано на тот же адрес.

«Дитя годовалое: “дай” и “мой”». – Строка из «Поэмы конца» Ц.

…написал в Париж секретарю Раковского, Корнелию Зелинскому. – Речь идет о возможности получать легальным путем публикации произведений Ц. Раковский (наст. фам. Станчев) Крыстю (Христиан Георгиевич) (1873–1941) – болгарский и румынский политический деятель; советский партийный и государственный деятель. С 1917 г. жил в России; в 1923–1927 гг. – зам. наркома иностранных дел, полпред СССР в Великобритании, затем во Франции. В 1927 г. оказался в рядах объединенной оппозиции; в 1937 г. осужден по делу «правотроцкистского блока»; в 1941 г. расстрелян. Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970) – литературный критик, литературовед; о работе З. в парижском полпредстве дополнительных сведений не найдено.

Ты ведь страшная, ты что-то писала и говорила. – См. пояснения в пп. 44, 45.

В статье о тебе, которую для «Русск<ого> Современника» писал некий Вильям, милый молодой философ… – См. п. 23 и примеч. к нему.

К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. – П. имеет в виду полученное от отца известие о том, что Рильке знаком с его стихами (по антологии «Поэзия революционной Москвы» (1922), изданной И.Г.Эренбургом, и по французским переводам двух его ст-ний, напечатанным в журнале «Commerce» (1925, № 6)) и высоко о них отзывается. См. письмо Рильке к Л.О.Пастернаку: РПЦ, 31–33.

К Цейтлиным я попал после конца, после «Разрыва». – См. п.

2 и примеч. к нему.

Письмо 41

1190-3-13, 117–118 (тетрадь Ц.)
Датировано по ТС.

Слушали меня – но этих имен писать не должно. – Туманность намеков Ц. заставляет предположить, что среди ее слушателей были представители дома Романовых и люди, близкие ко двору последнего русского императора Николая II.

Айседора – Айседора Дункан (1878–1927), американская танцовщица, одна из основоположниц современного танца; в 1922–1923 гг. – жена С.Есенина.

Посылаю тебе – бандеролью – старинный Лондон до пожара. – По-видимому, речь идет о посылке гравюр Вацлава Холлара (1607–1677), чешского художника, известного своими гравюрами Праги, Лондона и др. городов. П. благодарит Ц. за гравюры Холлара в п. 43.

…твоя канареечная клетка в Лебяжьем… – См. п. 38.

Не могу возвр<ащаться> в букву, смысла которой не понимаю… – Ц. имеет в виду аббревиатуру СССР. Ср. также п. 75.

Письмо 42

1190-3-160, 1–2 об.
Почт. шт.: Москва, 04.04.26. Послано на тот же адрес.

Ответь, пожалуйста, на прилагаемую анкету. – См. Приложение к этому письму. Ответ Ц. см.: Ц-СС4, 621–624.

Усов Дмитрий Сергеевич (1896–1943) – поэт и переводчик.

Это будет, по его словам, сборник сухих справок… – Издание не состоялось.

…Потемкина, если по-твоему сто́ит, перепечатайте, – он уже напечатан. – См. примеч. к п. 36.

Гапон (Мне 14 лет), конечно, лучше, но он еще не появлялся в печати, хотя запродан с осени. – Эта глава «Девятьсот пятого года» была впервые напечатана без названия в сб. «Пролетарий» (Харьков, 1926).

Только не перепечатывайте старья, вроде Матроса… – Имеется в виду ст-ние «Матрос в Москве» (1919), опубликованное в КН, 1921, № 4.

Изд<ательс>тво «Новая Москва» выпустило антологию поэтов XX в. … – Речь идет об издании: Русская поэзия XX века:

Антология русской лирики от символизма до наших дней / [Сост. и статьи И.Ежова и Е.Шамурина]. М., 1925.

Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1943) и *Герасимов* Михаил Прокофьевич (1889–1939) – пролетарские поэты, члены объединения «Кузница».

Приложение
1190-3-160, 4.

Письмо 43

1190-3-160, 5–5 об.
Почт. шт.: Москва, 05.04.26. Послано на тот же адрес.

…копия письма Rilke к отцу со словами обо мне… – См. примеч. к п. 40.

…в кино, на постановке «Потемкина»… – Речь идет о фильме С.Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» (1925).

Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) – поэт и драматург, член «ЛЕФа».

Дай мне руку на весь тот свет. – Строчка из ст-ния Ц. «Русской ржи от меня поклон…». См. также п. 27 и примеч. к нему.

Спасибо за гравюры Холлара. – См. примеч. к п. 41.

Письмо 44

1190-3-13, 273–276 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: после письма – черновик ответа на анкету.
Датировано по ТС.

Я только что вернулась из Вандеи… где была 3 дня и куда 15 го еду на полгода. – Ц. с детьми уехала в Вандею 24 апреля и пробыла там до 2 октября.

…читая, твое вниз головой… – См. п. 39.

«Приедается всё…» – Начало главы «Потемкин» («Морской мятеж») из поэмы П. «Девятьсот пятый год».

Ларош-Жакелен Луи (La Rochejaquelein, Louis du Vergier; 1777–1815) – руководитель восстания в Вандее во время «ста дней» Наполеона Бонапарта. Убит на мосту Матье (pont des Mathes) 4 июня 1815 г. во время сражения с верными Наполеону силами.

С. 152 *…(со знаками препинания)…* – Замечание связано с сообщением П. в п. 39, что «Поэма конца» первоначально попала к

нему в машинописной копии без знаков препинания.

…статью о Брюсове, статью о критике… – Речь идет об эссе «Герой труда» (1925) и «Поэт о критике» (1926).

«Но вещи рвут с себя личину…» – Из ст-ния П. «Косых картин, летящих ливмя…» (сб. «Темы и вариации»).

Прочти Святополка-Мирского… – Речь идет о рецензии Д.Святополка-Мирского на поэму Ц. «Мóлодец», опубликованной в СЗ, 1926, кн. 27. См. ее текст: МЦКС1, 242–247.

Ты пишешь, что я что-то читала. То же, что в Советской России, давнее… – Судя по пояснению в п. 45, речь идет о чтении стихов из «Лебединого стана» (их Ц. читала на своем вечере 6 февраля в Париже), за которыми закрепилась репутация «контрреволюционных» и «белогвардейских».

Продолжение

1190-3-13, 67 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: наброски неосуществленной поэмы о Добровольчестве (см. в СП под названием «Несбывшаяся поэма»).

Письмо 45

1190-3-13, 72–74 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: наброски неосуществленной поэмы о Добровольчестве (см. в СП под названием «Несбывшаяся поэма»).

Датировано по ТС.

«И по имени не окликну…» – Из ст-ния Ц. «Ты проходишь на запад солнца…» (цикл «Стихи к Блоку», 3).

Брик Лиля Юрьевна (1891–1978) – возлюбленная Маяковского; литератор.

Повидаешь Ремизова, Шестова… – Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957) и Лев Исаакович Шестов (1866–1938) в это время являются, как и Ц., ближайшими сотрудниками готовящегося ж. «Версты» (на журнале будет указано: «при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова»), чем и обусловлено упоминание в первую очередь их имен в этом письме. Ср. также фразу из письма Ц. от 6.02.26, которая приводится в ТС: «Ненавидима местной буржуазией и литературной нечистью вроде Адамовича, Яблоновского, Тэффи, Loulou и т. д. Дружу только с Ремизовым и Шестовым» (1334-1-834, 10 об.). («Loulou» – вероятно, описка Ц. или ошибка в копии; речь, по-видимому, идет о Л.Г.Мунштейне, писавшем под псевдонимом «Lolo».)

Тебя в лицемерии, а <меня> в нещадности. – Ср. в п. 40

(«если думаешь, как все, что лицемер, то порви со мной»).

Одно мое письмо к тебе пропало – давнишнее, кажется в июле 1924 г. – когда я только что узнала о своем сыне. – См. п. 24.

Письмо 46

1190-3-160, 7–11 об.

Почт. шт.: Москва, 12.04.26. Послано на тот же адрес.

Меня больно кольнуло известие о Х<одасеви>че. Как мне избавить тебя от «стрел», направленных в меня? – Возможно, речь идет о заметке Ходасевича о поэтическом конкурсе «Звена»; говоря в ней о ст-нии Даниила Резникова «О любви», Ходасевич отметил, что его «литературная традиция восходит к наименее удачным вещам Марины Цветаевой, и, следовательно, к Пастернаку» («Дни», 1926, 14 марта, с. 3). Весьма вероятно также, что Ц. передала П. и какие-то устные высказывания Ходасевича о них обоих.

Жанна Матвеевна – Брюсова (урожд. Рунт) Иоанна (Жанна) Матвеевна (1876–1966), жена Брюсова.

Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939) – литератор, философ; до революции председатель Религиозно-философского общества в Москве.

«Неповторимое имя Марины, Байрона и болеро». – Из ст-ния Ц. «Встреча с Пушкиным» (1913).

…его первой жене, А<нне> И<вановне>… – Речь идет об Анне Ивановне Ходасевич (урожд. Чулковой; 1887–1964); в действительности она была второй женой Ходасевича.

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920) – историк литературы и лингвист, автор обширных работ по истории русской литературы XIX века.

«Возмездие» – поэма А.Блока, оставшаяся незавершенной.

Сакулин Павел Никитич (1868–1930) – историк и теоретик литературы.

Шмидта дописал до половины. – Речь идет о поэме «Лейтенант Шмидт», отпочковавшейся от замысла «Девятьсот пятого года».

«Не оперные поселяне…» – Ст-ние при жизни П. не печаталось.

С 162. *…«реквием» по Ларисе Рейснер.* – В окончательной редакции – «Памяти Рейснер» (1926), ст-ние вошло в сб. П. «Поверх барьеров» (1929). Лариса Михайловна Рейснер (1895–1926) – советская писательница; в годы Гражданской войны была бойцом и политработником Красной армии.

Мишле Жюль (1798–1974) – французский историк, автор работ по истории Великой французской революции.

При перепечатке Потемкина набирайте в целую строфу, как в письме тебе посылал, а не с «Нов<ого> Мира», где разбита. – В автографе, присланном Ц. (см. преамбулу к п. 35), П. записал обе главы поэмы длинными строками пятистопного анапеста, объединив их в четверостишия (такая графика и была сохранена в «Верстах»). В России с первой публикации и по сей день поэма печатается в ином графическом виде: каждая из строк пятистопного анапеста разбита на 2–4 строчки.

Письмо 47

1190-3-160, 13–16 об.
Почт. шт.: Москва, 17.04.26. Послано на тот же адрес.

С. 163 *Он посвящает женщине Типические письма*. – По-видимому, характеристика Шмидта (этих строк нет в публикациях поэмы «Лейтенант Шмидт»).

Если ты что-ниб<удь> от него получишь, сообщи мне. – В своем письме к Рильке от 12.04.26 П. просил его, при возможности, написать Ц. и послать ей сборник своих стихов; кроме того, он попросил Рильке пользоваться адресом Ц. для пересылки возможного письма ему самому, так как почтовое сообщение между Швейцарией и Россией не было надежным.

…мать целые дни во Вхутемасе… – Е.В.Пастернак была студенткой Вхутемаса (Высших художественно-технических мастерских) с 1921 г.; в 1923 г. она прервала обучение в связи с рождением сына и возобновила его в 1926 г.; окончила курс в 1929 г.

…затрепанное Пушкинское: и в просвещении стать с веком наравне… – Из ст-ния Пушкина «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…) (1821).

Письмо 48

1190-3-13, 269–271 (тетрадь Ц.).
Датировано по ТС.

Адалис – литературный псевдоним Аделины Ефимовны Ефрон (1900–1969), поэтессы и переводчицы.

«Как звук рифмует наши имена». – Строка из наброска П. памяти Л.Рейснер (см. п. 46).

«Младенца милого небесное явленье…» – Неточная цитата из ст-ния Лермонтова (его начальные строки в оригинале: «Ребенка милого явленье / Приветствует мой запоздалый стих»).

…с грудными городами на груди. – Строка из наброска П. памяти Л.Рейснер (см. п. 46).

Третья строка предпоследнего 4-стишия – зря. – См. ст-ние П., обращенное к Ц., в п. 46.

Письмо 49

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 22.04.26; Paris, 25.04.26. Послано экспрессом на тот же адрес.

Ответ на письма Ц. от 12.04.26 и 15.04.26 (ТС).

Вчера я прочел в твоей анкете о матери. – См. Ц-СС4, 621–624.

Моя в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петерб<ургской> консерватории. – Речь идет о концерте Розы Кауфман, состоявшемся в Петербургской консерватории в 1881 г. Дирижировал оркестром директор консерватории К.Ю.Давыдов; А.Г.Рубинштейн присутствовал на концерте.

Лешетицкий Теодор (Федор Осипович) (1830–1915) – польский пианист; с 1862 г. профессор Петербургской консерватории.

Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой. – См. письма П. к Ахматовой от 17 апреля и к М.А.Волошину от 17–20 апреля (П-СС7, 656–659). В последнем письме значительное место отведено Ц. и тому впечатлению, которое «Поэма конца» произвела на П.

И<лья> Г<ригорьевич>, Л<юбовь> М<ихайловна>… – И.Г.Эренбург и его жена, находившиеся в это время в Париже.

С 171. *…стал натыкаться на Ланов…* – Евгений Львович Ланн (1896–1958), поэт и переводчик, был предметом краткого увлечения Ц. в конце 1920 – начале 1921 г.

Э<льза> Ю<рьевна> – Эльза Юрьевна Триоле (урожд. Каган; 1896–1970), сестра Л.Ю.Брик; в это время начинающая писательница, впоследствии известная французская романистка. С 1919 г. в основном жила во Франции. Согласно ТС, в письме от 15.04.26 Ц. рассказывала П. о встрече и разговоре с Эльзой Триоле.

…не из-за слов о Гапоне… – Имеется в виду глава «Девятьсот пятого года», впоследствии переименованная в «Детство».

Письмо 50

1190-3-13, 97–99 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – наброски неосуществленной поэмы о Добровольчестве (см. в СП под назв. «Несбывшаяся поэма») и «Поэмы одного часа» (будущей поэмы «Лестница»); после письма – первые наброски «Попытки комнаты».

Датировано по ТС.

Через год. – Ответ на вопрос П. из п. 49: «Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?»

С первой встречи (1905 г., Коктебель). – «За такого бы я вышла замуж!» (17 лет). – Встреча Ц. с ее будущим мужем произошла в мае 1911 г. в Коктебеле. Ей шел тогда девятнадцатый год.

…в замке Психеи и Belle et la Bête и Аленького цветочка (одно) … – Имеются в виду новелла Апулея «Амур и Психея» (из романа «Золотой осел»), французская народная сказка «Девушка и зверь» и сказка С.Т.Аксакова «Аленький цветочек».

Meisterlehrling (опять Гёте!) – помнишь? – По-видимому отсылка к балладе Гёте «Ученик чародея» («Zauberlehrling») впоследствии П. перевел ее.

«Отними и ребенка и друга…» – Из ст-ния Ахматовой «Молитва» (1915).

Е.Ю. – Имеется в виду Э.Ю.Триоле; см. примеч. к п. 49.

Письмо 51

1190-3-13, 118–119 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – письмо о чтении в Лондоне (п. 41), написанное примерно на месяц раньше; после него – набросок письма к Рильке от 13.05.26.

Борис! Что ты со мной делаешь? Сам просишь не писать, а сам шлешь мне книгу с надписью… – В архиве Ц. сохранился небольшой конверт с надписью «Заказная бандероль (Печатное)», посланный Пастернаком на парижский адрес Ц. (1190-3-160, 18); Почт. шт.: Москва, 22.04.26 и 23.04.26; Paris XIX, 27.04.26 и 28.04.26. С большой степенью вероятности можно предположить, что П. послал Ц. свой маленький сборничек «Избранные стихи» (М.: Узел, 1926). Разыскать этот экземпляр не удалось.

Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! – В названный выше сборник вошли следующие ст-ния П. из сб. «Поверх барьеров»: «Метель» («В посаде, куда ни одна нога…»), «Петербург», «Импровизация», «На пароходе», «Марбург».

Письмо 52

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 10.05.26. Послано на адрес: St. Gilles-sur-Vie, Vendée, Avenue de la Plage, Ker-Edouard.

Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь – вокзал: скоро уеду; куда – не скажу»? – См. Ц-ССб, 624.

На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. – В письме к Жозефине Пастернак от 13.04.26 П. писал: «Меня стал посещать страх, что я умру в этом году, не успевши закончить Спекторского и вообще написать все то, что хочется» (ПРС, 293). В письме от 21.04.26 Жозефина Пастернак старалась успокоить брата (см. РПЦ, 280–281).

Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени и о своей. – П. имеет в виду, прежде всего, свой сб. «Сестра моя жизнь», имевший подзаголовок «Лето 1917 года».

«О государства истукан…» – В окончательной редакции поэмы «Лейтенант Шмидт» этот фрагмент завершает шестую главку первой части.

Не все понимают, что в «Потемкине» сл<ова> «За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду…» – не случайная описка, а сказано так умышленно. – Это и ряд последующих пояснений и ссылок на источники связаны с предстоявшей перепечаткой главы «Потемкин» («Морской мятеж») в ж. «Версты», 1926, № 1. В качестве «Примечаний автора» эти пояснения были напечатаны в «Верстах» при публикации главы. О документальных источниках «Девятьсот пятого года» (и в частности, этой его главы) см.: *Поливанов К.М.* К «интимизации истории»: Заметки о «Девятьсот пятом годе» Бориса Пастернака // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. Stanford, 1994 (Stanford Slavic Studies, vol. 8). P. 71–80.

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из организаторов и руководителей партии эсеров; провокатор, работавший на «охранку».

…отвечу на твои продолжением и окончаньем Люверс… – П. считал «Детство Люверс» началом обширного романа; однако работа над ним впоследствии прервалась, а рукописи, относящиеся к этой работе, были уничтожены автором.

Письмо 53

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 20.05.26; St. Gilles-sur-Vie, 26.05.26. Послано на тот же адрес.

Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное молчанье твоей руки. – См. пояснения Ц. в п. 56. Ц. переслала П. письмо Рильке к нему (см. РПЦ, 105–106).

По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок – Возможно, это было письмо от 4.05.26 (ТС). В 1914–1916 гг. Ц. пережила роман с Софьей Яковлевной Парнок (1885–1933).

…я вышел из «Узла», отчасти из-за нее. – Временный разлад в редколлегии изд-ва был вызван спорами по поводу публикации сб. Дм. Петровского «Поединок» (1926) с портретом автора работы Ю.Анненкова (обычно сборники публиковались без портретов). П. поддерживал Петровского, тогда как Парнок, по-видимому, была против выпуска сб. с портретом.

Зачем тебе, зачем / моя душа спартанского ребенка. – Из ст-ния Ц. «Есть имена, как душные цветы…» (1915), вошедшего в цикл «Подруга», обращенный к С.Я.Парнок.

«Посвященье» («Мельканье рук и ног и вслед ему…») – Было напечатано при публикации начальных глав «Лейтенанта Шмидта» (НМ, 1926, № 8/9); при последующих публикациях поэмы не воспроизводилось. См. также п. 81.

«Событье на Темзе, столбом, отрубей…» – При жизни П. ст-ние не печаталось.

Rue Rouvet – имеется в виду парижский адрес Ц. до отъезда в Вандею.

Я твоей просьбы относительно Над<ежды> Ал<ександровны> еще не исполнил. – Речь идет о Н.А.Нолле-Коган. По-видимому, Ц. просила П. забрать какие-то из оставленных ею у Нолле-Коган книг. См. п. 56.

Письмо 54а

1190-3-13, 125 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: наброски поэмы «С моря».

Что они будут делать в «огнь-синь»? – Речь идет о финале поэмы «Мóлодец» – совместном полете героев в мир иной.

Продолжение
1190-3-13, 133 (тетрадь Ц.).

…ты мне ответил «поехали бы к Рильке». – См. п. 32.

Письмо 54б

1334-1-1013, 11–13 (машинопис. копия).

«Всю жизнь хотел я быть как все…» – Неточная цитата из «Высокой болезни» П. См. также п. 39 и примеч. к нему.

У меня в Праге был его сын… – Шмидт-Очаковский Евгений Петрович, автор книги «Лейтенант Шмидт» (Прага, 1926). Вторая часть его фамилии образована от названия крейсера «Очаков», восстание на котором возглавил П.П.Шмидт.

…и для него была трагедия и добавка «Очаковский»… – Это место в копии представляется дефектным; восстановить его смысл не удалось (предпринятая в Ц-ССб реконструкция «и для него была трагедией добавка “Очаковский”» не представляется убедительной).

Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. – После возвращения из-за границы, где мать Ц. лечилась от туберкулеза, семья Ц. провела некоторое время в Ялте (осень 1905 – весна 1906 гг.). К этому времени могло относиться названное воспоминание.

Письмо 55

Семейный архив Б.Пастернака.
Конверт не сохранился.

…есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный. Сейчас решил, что отделаю летом. – Рукопись не сохранилась. См. также упоминание в п. 64 под названием «Чужая судьба».

Чудесно о тебе написал Свят<ополк>-Мирский. – См. примеч. к п. 44.

Кусиков (наст. фам. Кусикян) Александр Борисович (1896–1977) – поэт, примыкавший в начале 1920-х годов к имажинистам.

«Накануне» – газета сменовеховского направления, издававшаяся в Берлине в 1922–1924 гг. А.Н.Толстой до отъезда в Россию был ее активным участником.

Rue de Grenelle – улица, на которой находилось советское полпредство в Париже.

Люблю С<вятополка>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли определяет меня… Ведь это выходит вроде «Шума времени», как ты его определяешь – натюрмортизм. – Речь может идти как об упоминавшейся выше рецензии С.-М. на «Мóлодца» Ц. (значительная часть которой была посвящена сопоставлению П.

и Ц.), так и о его рецензии на «Рассказы» П. (СЗ, 1925, кн. 25). Вероятно, сомнения П. вызваны следующими словами из первой рецензии: «Пастернак зрителен и вещественен. Его поэзия – овладевание миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, *обнимать* вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он “наивный реалист”. <…> Пастернак, в своих рассказах («Детство Люверс»), дает одни оболочки, и души его не личности, а геометрические места пересечения внешних впечатлений» (МЦКС1, 243–244). Согласно ТС, Ц. сообщала П. о работе над статьей «Проза поэта» (о книге О.Мандельштама «Шум времени») в письме от 27.03.26. Статья не была опубликована, и ее беловой текст считается утраченным; восстановленный по черновикам текст был впервые опубликован в 1991 г. под названием «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (Ц-СС5, 305–316).

Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю… Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. – Святополк-Мирский писал о Ц.: «Среди поэтов послереволюционных ей принадлежит или первое, или одно из двух первых мест: единственный возможный ей соперник – Борис Пастернак, – поэт совершенно иного, чем она, склада» (МЦКС1, 242). См. также пп. 30 и 31б, где развивается тема «первого поэта».

…в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли… – В кн. 2 альманаха «Ковш» (1925) были напечатаны главы 1–3 поэмы «Спекторский»; в кн. 4 того же альманаха (1926) – 4-я глава поэмы. По-видимому, П. послал лишь второе из этих изданий.

…нашел в сборничке 22 года две странички, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. – Речь идет о статье «Несколько положений», опубликованной в сб. «Современник» (1922, сб. 1).

А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова. – В Зв, 1926, № 2 была опубликована (без названия) глава «Мужики и фабричные» из поэмы «Девятьсот пятый год».

Письмо 56

Частное собрание (фотокопия с автографа Ц.).

«Приедается все – лишь тебе не дано…» – Начало главы «Потемкин» («Морской мятеж») из поэмы П. «Девятьсот пятый год».

«Прощай, свободная стихия»… – Начало ст-ния Пушкина «К

морю».

«Вкусих мало меду»… – Из Первой книги Царств (14:43).

Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом. – См. начало п. 53.

«Не надо Орфею сходить к Эвридике…» – Из ст-ния Ц. «Эвридика – Орфею» (1923).

…расставание Аси с Белым… – Андрей Белый и его жена Анна Алексеевна (Ася) Тургенева (1890–1966) окончательно расстались в 1922 г. в Берлине.

Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный». – Ц. имеет в виду «Посвященье» к «Лейтенанту Шмидту». См. п. 53.

«Царевна в зелени» – повесть французского писателя и поэта Андре Терье (1833–1907).

Mariens Tagebuch – книга Адама Штейна (наст. имя Роберт Густав Мориц Шпрингер; 1816–1885).

Ту вещь о тебе и мне почти кончила. – Судя по характеру упоминания, Ц. уже писала П. о работе над будущей поэмой «С моря» (это могло быть в письме от 17.05.26, зафиксированном в ТС). Следует заметить, что при последующих упоминаниях «вещи о тебе и мне», «вещи о нас» речь может идти как о поэме «С моря», так и о поэме «Попытка комнаты», написанной вслед за первой поэмой.

…к Н<адежде> А<лександровне>. – Речь идет о Н.А.Нолле-Коган. См. п. 53 и примеч. к нему.

«…В перестрелку – скиф…» – Из ст-ния Ц. «В седину – висок…» (1925).

…есть ли у тебя три стиха: ДВОЕ… – Имеется в виду цикл из трех ст-ний «Двое» (1924).

…у Рильке взрослая дочь, замужем где-то в Саксонии, и внучка Христина, двух лет. Был женат, почти мальчиком, два года – в Чехии – расплелось. – Ц. пересказывает сведения, которые сообщил ей Рильке в письме от 17.05.26. В 1901 г. Рильке женился на Кларе Вестхоф (Рильке); в конце того же года у них родилась дочь Рут. В августе 1902 г. Рильке навсегда расстался со своей семьей. Рут Рильке в 1922 г. вышла замуж за Карла Зибера, юриста по образованию, и в 1923 г. у них родилась дочь Кристина (Кристиана).

Tzarenkreis – цикл «Цари» («Die Zaren»), входящий в сб. Рильке «Книга образов» («Das Buch der Bilder»).

…родит<ельный> падеж, если хочешь? Рильке'м… – По-видимому, описка и следует читать «творительный падеж».

Мать с отцом уехали на Урал за мрамором для Музея. – Имеется в виду мрамор, необходимый для постройки Музея

Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. Пушкина), инициатором создания которого был И.В.Цветаев.

Таруса. Хлысты. – Позднее Ц. описала свои детские впечатления о тарусской хлыстовской общине в очерке «Хлыстовки» (1934).

Гаррах – торговая фирма по поставке и продаже хрусталя, названная по имени австрийского политического деятеля XIX века Иоанна Ф. Гарраха. В Москве фирма располагалась в доме 5 по Кузнецком мосту.

Письмо 57

1190-3-13, 137–138 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики поэмы «С моря».

Письмо 58

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 08.06.26; St. Gilles-sur-Vie, 13.06.26.

С 201. *Деньги, до полученья, мечтал отдать Асе.* – Речь идет о гонораре за перепечатку главы «Потемкин» в ж. «Версты», 1926, № 1.

С 202. *Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу.* – Речь идет о планировании поездки жены и сына П. за границу.

С 203. *Синякова* Надежда Михайловна (в замуж. Пичета; 1889–1975) – впоследствии певица; П. был увлечен ею в середине 1910-х гг. Ее сестра Ксения стала женой Н.Асеева.

О Шмидте два слова. – К письму был приложен автограф первой части поэмы «Лейтенант Шмидт» в ранней редакции (напечатана в НМ, 1926, № 8/9). Автограф, посланный Ц., не сохранился.

Между 7 й и 8 й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре… – Эта главка («Письмо к сестре») была опубликована отдельно от остального текста поэмы в ж. «Молодая гвардия», 1926, № 7. П. дослал эту главку Ц. вместе с п. 64; автограф не сохранился.

Мне позвонили из «Комсомольской правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). – Начальные слова главы «Детство» из поэмы «Девятьсот пятый год». Без названия, но с пометой «Из поэмы» была напечатана в газете 13 июня 1926 г.

Письмо 59

1190-3-13, 165 (тетрадь Ц.).

Письмо 60

1190-3-13, 169 (тетрадь Ц.).

Письмо 61

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 11.06.26 и 12.06.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

…18-го мая (день твоей молчаливой пересылки)… – См. п. 53.

…при всей моей reconnaissance к тебе («Благонамеренный», Цветаева)… – В ж. «Благонамеренный», 1926, № 1 Ц. опубликовала подборку своих записей революционных лет под общим заглавием «О благодарности».

Химеры рассеяны его изумительным вторым письмом к тебе. – Ц. переписала и послала П. два первых письма Рильке к ней (см. ее письмо к Рильке от 14.06.26).

…по твоим правилам («Благодарность»). – Отсылка к публикации записей Ц. «О благодарности» (см. выше).

Письмо 62

1190-3-13, 174 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: поправки к поэме «С моря».

12 июня 1926 г. – В действительности набросок письма был сделан не ранее 13 июня, так как в нем Ц. отвечает, в частности, на п. 58, которое (см. почт. шт.) получила лишь 13 июня.

Вспомни свою волну (на́ бок). – См. п. 39.

«Боюсь свободы, боюсь влюбиться». – См. п. 58.

Вот тебе письмо Мирского… – Вероятно, речь идет о «Письме в редакцию» Святополка-Мирского, опубликованном в еженедельнике «Звено» за 16 мая 1926 г. Это письмо было ответом на статью Адамовича из цикла его «Литературных бесед» («Звено», 1926, 25 апр., № 169; перепечатка: *Адамович Г.* Литературные беседы. СПб.: Алетейя, 1998. Кн. 1.). Статья Адамовича была, в свою очередь, откликом на доклад С.-М., прочитанный им 5 апреля на диспуте «Культура смерти в русской предреволюционной литературе», организованном редакцией ж. «Версты» (впоследствии напечатан в № 2 «Верст» под названием «Веяние смерти в предреволюционной литературе»). Согласно ТС,

Ц. сообщала П. об этом диспуте и докладе С.-М. в письме от 6.04.26. В своем «Письме в редакцию» С.-М., в частности, писал: «Я не собираюсь возражать против суждений г. Адамовича обо мне и о моем докладе, наоборот, я их приветствую, так как именно таких суждений я и ожидал. Особенно же меня обрадовал открытый г. Адамовичем “явно марксистский” оттенок моего тезиса. В какой мере г. Адамович “не преувеличивает” в своем резюме схематичности и прямолинейности моего доклада, могут судить все бывшие на докладе. <…> Отмечу только одно характерное искажение моих слов г. Адамовичем. Говоря о новом духе в русской поэзии, я назвал *четырех* поэтов, в которых, по моему мнению, этот дух особенно ясно выразился: *Гумилева*, Маяковского, Пастернака и Цветаеву, и из этих четырех больше всего говорил именно о Гумилеве. Г.Адамович называет только трех последних и имя Гумилева опускает вовсе. В связи с его указанием на мой “явный марксизм” и со сравнением моего доклада с изобличением гнилой буржуазной культуры в “захолустнейшем пролеткульте”, – такое умолчание очевидно не случайно» (цит. по: *Адамович Г.* Указ соч. С. 538).

Письмо 63

1190-3-13, 142 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: между набросками «С моря» и попыткой чистовика «Попытки комнаты».

Твоя мысль была гениальна: Рильке. – См. пп. 32, 54а/б.

У меня есть виды его жилища: Muzot, замок XIII века, одинокое зданье, в горах. – Рильке прислал Ц. несколько фотографий замка Мюзо и две своих фотографии вместе с письмом от 8 июня 1926 г.

Письмо 64

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 13.06.26. Послано на тот же адрес.

«Чужая Судьба» – рукопись не сохранилась.

Да, еще посылаю вставку под 8 ю цифру в Шмидта, письмо к сестре. – Посланный автограф не сохранился. См. примеч. к п. 58.

Письмо 65

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 18.06.26 и 19.06.26; Paris Distribution,

21.06.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

…проявленную в Сказках… – Имеются в виду поэмы «Царь-Девица» и «Мóлодец».

Св<ятополк>-Мирский очень хорошо и верно сказал о надобности многократного вчитыванья. – По-видимому, П. имеет в виду рецензию С.-М. на «Мóлодца» (см. примеч. к п. 44). Однако по смыслу парафраз П. ближе к рецензии Г.Струве на «Поэму конца» (МЦКС1, 211–213), но нет никаких данных о том, чтобы П. мог знать ее.

Рай-город – см. главу «Город Гаммельн».

«Ти-ри-ли», «Индостан» – см. главу «Увод».

«Фиговая! Ибо что же лист…» – См. главу «Город Гаммельн».

В моих (через край-город). – См. начало главы «Сны».

Не сущность вещей – вещественность сути. Не сущность вещей – существенность вещи. – См. главу «Сны».

Засова не сняв, замка не затронув… – См. главу «Сны».

«Гусиных перьев для нотариуса». – См. главу «Напасть».

«Полка с мопсами в лавке глиняной!» – См. главу «В ратуше».

…в этом Сакулинско-Коганском разборе… – См. примеч. к п. 2 (Коган) и к п. 46 (Сакулин).

Письмо 66

1334-1-1013, 31–32 (машинопис. копия).

Барьеры – сб. П. «Поверх барьеров» (см. примеч. к п. 51).

…письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас, либо отказаться от чешской стипендии. – Ц. получала чешскую стипендию в рамках так называемой «русской акции» чешского правительства, помогавшего нуждающимся русским беженцам, и в частности, ряду русских писателей.

…Чехию я изжила, вся она в Поэмах Конца и Горы (герой их 13-го обвенчан)… – К.Б.Родзевич женился в июне 1926 г. на М.С.Булгаковой.

…эхо парижской травли («Поэт о критике» – травля)… – Ц. говорит о серии негативных откликов на ее статью «Поэт о критике», напечатанную в ж. «Благонамеренный», 1926, № 2. Вот основные из них: *Осоргин М.* Дядя и тетя // Последние новости. 1926. 29 апр. № 1863. С. 2; *Антон Крайний* [Гиппиус З.]. Мертвый дух // Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 4. С. 257–266; *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 2 мая. № 170. С. 2; *Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // Руль. 1926. 5 мая. № 1647. С. 3; *Яблоновский А.* В халате // Возрождение. 1926.

5 мая. № 337. С. 2; *Струве П.* Заметки писателя. О пустоутробии и озорстве // Возрождение. 1926. 6 мая. № 338. С. 3. См. также частичные перепечатки этих отзывов: МЦКС1, 247–273.

В Днях перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. – Речь в действительности идет не о перепечатке, а о цитате из статьи Маяковского «Подождем обвинять поэтов» (КН, 1926, № 4), приведенной в обзоре В.Ходасевича (под пседонимом Ф.Маслов) «По советским журналам» («Дни», 1926, 30 мая, № 1019, с. 4).

«Время – горе небольшое…» – Строки из незавершенного ст-ния Ц. мая 1924 г. (см. СТ, 294).

…о тебе и мое. – Возможно, дефект копии, и следует читать «о тебе и мне» (см. примеч. к п. 56).

И еще элегию (мне) Рильке. – Элегия Рильке, посвященная Ц., была приложена к его письму к ней от 8.06.26 (РПЦ, 141–142).

Письмо 67

1190-3-13, 193 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики поэмы «Лестница».

…ich bin Viele, Unzählige vielleicht… – Неточное воспроизведение слов из письма Ц. к Рильке от 14.06.26. (Последнее предложение целиком отсутствует в письме.)

Письмо 68

1334-1-1013, 33–35 (машинопис. копия).

Каляев Иван Платонович (1877–1905) – член боевой организации партии эсеров. В феврале 1905 г. убил московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Был казнен.

…заимствую у Степуна: жертву мечтательности, а не героя мечты. – Источник цитаты не установлен. Степун Федор Августович (1884–1965) – русский философ, писатель и публицист.

…вспомни Чехова и море!.. – В Ц-ССб другое чтение: «вспомни Чехова “В море”»; источник такого чтения нам не известен. Имеется в виду рассказ Чехова «В море» (1883).

Прекрасна Стихия… Прекрасна Марсельеза. – Так назывались пятая и седьмая главки первой части поэмы в ранней редакции (в окончательной редакции это четвертая и пятая главки).

Письма – сплошная жалость. – Речь идет о главках «Первое

письмо», «Письмо о дрязгах», «Письмо из Севастополя» и «Мужское письмо» ранней редакции первой части поэмы «Лейтенант Шмидт» (см. НМ, 1926, № 8/9). Впоследствии П. полностью исключил из текста поэмы второе и четвертое из этих писем.

…почему ты не дал Шмидта «сто слепящих фотографий»… – Цитата из ст-ния П. «Гроза моментальная навек» (сб. «Сестра моя жизнь»).

…чем же кончилась потеря денег? – Эпизод из «Письма о дрязгах», входившего в раннюю редакцию поэмы (П-СС1, 415–416).

«Странно, скажете, к чему такой отчет?..» – Из «Письма о дрязгах» (П-СС1, 416).

«Благонамеренный» кончился. – После второго номера (март-апрель 1926) журнал прекратился. Его главный редактор, Дмитрий Алексеевич Шаховской (1902–1989), вскоре принял монашеский постриг.

Будет часок, пришлю тебе нашу встречу. – Речь идет о поэме «Попытка комнаты».

Пишу большую вещь, очень трудную. – Речь идет о поэме «Лестница».

Письмо 69

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 4.07.26 и 5.07.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

Майя – Мария Павловна Кудашева (урожд. Кювилье; 1895–1985) – поэтесса, переводчица; впоследствии жена Ромена Роллана.

Сорокин Тихон Иванович – историк и искусствовед.

С 222. *Я очень боялся его приезда, после своего письма о «Рваче».* – См. п. 37 и примеч. к нему.

…мотив судаченья (а у нас, а у нас)… – См. главу «Напасть».

«Увод» – ниже в тексте цитаты и парафразы из этой главы.

В «Ратушу» ты вложила… – Ниже в тексте цитаты и парафразы из главы «В ратуше».

…про «Детский Рай». – Ниже в тексте цитаты и парафразы из этой главы.

Письмо 70а

1190-3-13, 224 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики поэмы «Лестница».

Лейтмотив вселенной. – См. п. 69 («Это самая громкая нота во вселенной»).

Письмо 70б

1334-1-835, 2–2 об. (автограф Ц.).

Автограф представляет собой первый лист письма. Второй лист письма не сохранился и приводится по машинописной копии (70б. Продолжение).

Продолжение

1334-1-1013, 36–40 (машинопис. копия).

То место в «Мóлодце» с цветком, помнишь? – См. главу «Мрамора́» во второй части поэмы.

Потемкин четверостишиями. В конце примечания. – См. примеч. к пп. 46 и 52.

За мной еще то о тебе и мне… – См. примеч. к п. 56.

Письмо 71

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 15.07.26; Paris Distribution, 17.07.26; St. Gilles-sur-Vie, 19.07.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

…в романе у меня героиня, а не герой – не случайно. – П. имеет в виду повесть «Детство Люверс»; см. примеч. к п. 52.

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) – советский поэт, чье творчество пользовалось в эти годы большим успехом.

«Ich habe Heimweh unbeschreiblich…» – Неточная цитата (три начальные строки) из ст-ния И.Р.Бехера (сб. «Сион», 1920).

Если она будет в Париже, вас все равно столкнет случай… – Жена П. не заезжала в Париж во время заграничной поездки 1926 года.

Позволь мне… снять посвященье тебе с этой посредственной вещи. – Согласно ТС, в письме от 22.07.26 Ц. просила П. не снимать посвящения с поэмы «Лейтенант Шмидт».

Госиздат, верно, переиздаст Сестру и Темы. – Переиздание состоялось («Две книги», 1927).

Письмо 72

1190-3-21, 19–19 об. (тетрадь выписок Ц.: СТ, 543).

Датировано по ТС. В ТС имеется следующая выписка из оригинала этого письма:

«Человеческого сердца хватает только на одно отсутствие, оттого оно (отсутствие) в сердце и оно, сердце, им, отсутствием – так полно.

Ты меня не имел и меня не терял. Я – вечно отдаленное, хронически невоплощенное присутствие, никогда отсутствие. <пропуск в копии>

Я Вам не снюсь (больше)». (1334-1-834, 10 об.)

Письмо 73

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 30.07.26 и 31.07.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

Брики – Л.Ю.Брик (см. примеч. к п. 45) и Осип Максимович Брик (1888–1945), литератор и теоретик литературы, юрист по образованию.

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) – поэт, близкий в время к левому крылу в литературе, член «Лефа».

Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. – Имеется в виду журнал «ЛЕФ», издававшийся в 1923–1925 гг. одноименной литературной группой («Левый фронт искусства»), в которую в это время входил и П.

…аналогия к чтенью Шмидта со Святополком-Мирским? – См. п. 70б (Продолжение).

Ты еще забыла Рильке, когда так истолковала переезд. – Рильке родился и провел свои молодые годы в Праге.

Письмо 74

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Москва, 31.07.26 и 2.08.26. Послано авиапочтой на тот же адрес.

…это могли бы написать Боря или Володя… – Т. е. Пастернак или Маяковский.

«Как живет и работает черная лестница»… – Речь идет о поэме Ц. «Лестница».

Письмо 75

1190-3-10, 349–352 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: поправки к пьесе «Тезей» («Ариадна»).

Где вещи – (Dinge) – великоле<пно>… – Ding (вещь, предмет) – важное понятие в эстетике Рильке, включающее как природный мир, так и мир материальной культуры.

История Франции до конца мира в четверостишиях Нострадамуса. – Знаменитый французский астролог, мистик и предсказатель Мишель Нострадамус (1503–1566) писал свои предсказания в форме так называемых центурий – стихотворений, сотоящих из ста четверостиший; каждое четверостишие являлось законченным описанием какого-то из грядущих исторических событий.

Вот элегия Рильке. – Была или не была послана П. элегия Рильке, посвященная Ц., остается неясным. С одной стороны, Ц. неоднократно ссылается на это ст-ние в позднейших черновиках писем к нему; кроме того, она упоминает в письме к Л.О. и Р.И. Пастернакам от 21.12.27 о том, что П. – единственный кто знает эту элегию. С другой стороны в письме к М.К.Баранович от 15.11.59 П. говорит о том что никогда этого ст-ния не знал и что присланные ему недавно Ю.П.Иваском первые пять строк элегии были для него новостью (Переписка Б.Пастернака с М.Баранович М.: МИК, 1998. С. 58).

…принимаюсь сейчас за гору: чистку Тезея (50 сомнительных мест). Потом, надеюсь, за Тезея и Федру. – Ц. имеет в виду подготовку к сдаче в печать пьесы «Ариадна» (при первой публикации «Тезей») и планы работы над второй частью задуманной драматической трилогии – «Федра».

Ты уходишь из России в буквы, в которые никогда не вернусь. – Ц. имеет в виду аббревиатуру СССР. Ср. также п. 41.

…тупое слово враг. Гощу – гостит во всех мирах. – Имеются в виду строчки из ранней редакции поэмы П. «Высокая болезнь»: «Еще бессмысленней, чем песнь, / Тупое слово «враг». – / Гощу. – Гостит во всех мирах / Высокая болезнь».

Из предполагаемой статьи о твоей прозе: Б.П. взрывается сокровищами. – См. набросок этой статьи: СТ, 305–308.

Car mon pis et mon mieux – sont les plus déserts lieux. – Эти строчки Марии Стюарт, известные по «Мемуарам» Пьера де Брантома, П. цитировал в своей статье «Несколько положений» (см. примеч. к п. 55).

Буду присылать тебе, по возможности, всё написанное, без одной строки, пока не позовешь. – Согласно ТС, между этим письмом Ц. и ее письмом от 31.12.26, возобновившим двустороннюю переписку, Ц. послала П. еще четыре письма.

Первое было послано сразу вслед за этим, 6.08.26, и речь в нем, в частности, шла о только что появившемся негативном отклике И.А.Бунина на первый номер «Верст» (см. примеч. к п. 83б). О содержании следующего письма, от 8.09.26, в целом судить трудно; в ТС из него зафиксировано лишь сообщение о том, что «Лейтенант Шмидт» будет печататься в ВР, 1927, № 2; возможно, пп. 76 и 77, печатаемые ниже, относятся также к этому письму. Из третьего письма, от 29.09.26, в ТС сделана пространная выписка:

«Сегодня Аля, глядя в камин, где горела вся переписка этого лета (ты не горел, Борис, ты со мной сгоришь, – зарыть себя не дам. Помнишь, как жгли Ахилла?) – переписка этого лета:

– Как давно Вам не писал Пастернак… и тот, с женским именем… Рильке…

– Устали, Аля.

– Это потому что они Вас не видят. Не верят, что Вы есть.

– Ничего, зато меня будут любить через 100 лет. Или же правнуки.

– Которые поверят.

– И вызовут. И я приду.

– Это легче, чем приехать в поезде (отъезд, много вещей)» (1334-1-834, 17).

Наконец, четвертое письмо (открытка) датировано 7.11.26 (как и последняя открытка к Рильке); в ТС из него выписана одна фраза: «А живу я, Борис, как душа после смерти (о как я это состояние знаю) – чуть недоотрешившись, самую малость, эта малость – ты». (1334-1-834, 17 об.)

Письмо 76

1190-3-14, 70–71 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: поправки к поэме «Лестница».

Я недаром его переписывала… – Переписка Ц. первой части поэмы «Лейтенант Шмидт» была связана с намерением ВР опубликовать ее. Публикация состоялась в № 2 за 1927 г. и включала части, напечатанные в НМ и «Молодой гвардии» (см. примеч. к п. 58).

Бросает флот и едет «распутывать интригу»… – См. «Письмо о дрязгах» из ранней редакции поэмы (П-СС1, 415–416).

Мужское письмо… – Исключено из окончательной редакции поэмы (см. П-СС1, 417). Ниже в тексте письма Ц. – цитата из него.

Прекрасны главы: Стихия, Марсельеза и, частично, Ноябрьский митинг и Восстание… – В окончательной редакции поэмы, соответственно, главки 4, 5, 6 и 7 первой части.

Удручающе-явно́ четверостишие… – Для понимания этого места в письме Ц. необходимо привести строфу из главки 6 (в ранней редакции – «Ноябрьский митинг»):

> Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски,
> Толпою в волненьи глотающих клецки
> Немыслимых слов с окончаньем на изм,
> Нерусских на слух и неслыханных в жизни,
> (А разве слова на казенном карнизе
> Казармы, а разве морские бои,
> А признанные отчизной слои —
> Свои?!)

(П-СС1, 296)

Не знаю, написал ли тебе С<лоним>ъ. – Обращение М.Л.Слонима (см. примеч. к п. 13а) к П. должно было быть связано с планируемой перепечаткой первой части «Лейтенанта Шмидта» в ВР (см. выше).

«Кляните́сь / Как тени велят вам». – Эти строки не вошли в окончательную редакцию поэмы (главка 4 первой части).

Письмо 77

1190-3-21, 20 (тетрадь выписок Ц.: СТ, 544).

Письмо 78

1334-1-1007, 21 (машинопис. копия); 1334-1-833, 24 (рукопис. копия).

Умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю… – Рильке умер 29 декабря 1926 г.

Пришли звать на Новый год и одновременно сообщили. – О смерти Рильке Ц. сообщил М.Л.Слоним.

Последнее его письмо ко мне (6 сентября) кончалось воплем: «Im Frühling? Mir ist bang. Eher! eher!» – Последнее письмо Рильке к Ц. было написано 19.08.26. Таких слов в этом письме нет. Однако по смыслу близка к ним фраза «Nicht bis in den Winter!» («Не дожидаясь зимы!»)

…Rainer, was ist? Rainer, liebst Du mich noch? – Неточная цитата из письма Ц. к Рильке от 7.11.26.

Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада – мой

любимый – чуть не сказала: мой лучший – стих за все эти годы. – Михаил Аркадьевич Светлов (1903–1964) был членом группы комсомольских поэтов «Молодая гвардия». Его ст-ние «Гренада» было впервые опубликовано 29 авг. 1926 г. в газ. «Комсомольская правда».

Письмо 79а

1190-3-15, 43 об.–44 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – текст, обращенный к Рильке (см. ниже Приложение к этому письму).

Борис, он умер 30 го декабря. – См. примеч. к п. 78.

«7 – meine Lieblingszahl!» – Ср. в письме Рильке к Ц. от 10.05.26: «Sieben, meine segnende Zahl» («Семь – мое благословенное число»; РПЦ, 89).

Тоуэр (Тауэр) – замок в Лондоне, помещения которого использовались на протяжении веков в различных целях, в том числе как арсенал, хранилище музейных ценностей и тюрьма.

Последняя его книга была французская Verger. – Сб. назывался «Vergers suivi des Quatrains Valaisans» («Сады, с приложением Валезанских катренов», 1926). Ц. (а за ней П.) и далее ошибочно упоминает название сборника в единственном числе.

«И думаю: когда-нибудь и я…» – Из ст-ния Ц. «Над синевою подмосковных рощ…» (1916).

Приложение

1190-3-15, 43 об. (тетрадь Ц.). Немецкий текст: *Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa, Boris Pasternak.* Briefwechsel. Frankfurt a. M., 1983. S. 247–248. Перевод: НА, 115–116.

Die kleine Stadt in der Savoye – wann? wo? Rainer, und das Schlafnest?.. Jetzt kannst Du auch russisch und weisst das Nest – ГНЕЗДО ist… (Маленький городок в Савойе – когда? где? Райнер, а гнездо для сна?.. Ты ведь знаешь теперь и русский и знаешь, что Nest – ГНЕЗДО…) – Парафразы из письма Рильке к Ц. от 19.08.26.

Arme Enkelin, die Dich nie gesehen hat. (Бедная внучка, которая никогда тебя не видела.) – Внучка Рильке – Кристина (Кристиана) Зибер-Рильке (1923–1947); в письме от 17.05.26 Рильке писал Ц., что с младенчества не видел своей дочери, не только внучки.

(…un peu trop en face de ce spectacle émouvant). – Неточная цитата из второго ст-ния цикла «Printemps» («Весна») сб. «Vergers» Рильке.

Письмо 79б

1334-1-1007, 22–24 (машинопис. копия); 1334-1-833, 25–26 (рукопис. копия).

Bellevue – парижское предместье, где поселилась семья Ц. в октябре 1926 г. и откуда она послала свое последнее письмо Рильке (7.11.26).

Приложение
1334-1-833, 27–27 об. (рукопис. копия). Перевод:

<пропуск из-за дефекта копии> – Фрагмент фразы в том виде, как он написан в копии, не имеет смысла.

Письмо 80

1334-1-833, 29 (рукопис. копия).

Приложение
1334-2-429, 1–1 об.

…французский журнал «Commerce» напечатал некоторое время тому назад переводы двух Ваших стихотворений… – В № 6 указанного журнала за 1925 г. были напечатаны ст-ния П. «Душная ночь» и «Отплытье» в переводе Е.А.Извольской (см. о ней примеч. к п. 184).

Я занимаюсь переводом «Детства Люверс», на два языка… – Ни один из переводов не был завершен.

Письмо 81

1190-3-15, 46 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: наброски начала поэмы «Новогоднее».

То письмо помнишь – из Чехии? – Ц. имеет в виду свое письмо с ложным известием о смерти Рильке. Это письмо не сохранилось. См. ответ П. в п. 32.

Еще одно: с содроганием поняла, что вещь о нас двоих «Попытка комнаты» – не о нас… – См. развитие этой темы в п. 83а/83б.

Перечти Элегию… – Ц. имеет в виду обращенную к ней элегию Рильке (см. примеч. к п. 75).

Письмо 82

1190-3-161, 1–1 об.

Почт. шт.: Москва, 03.02.27. Послано на адрес: Bellevue (S. et O.) près Paris, 31, Boulevard Verd.

С 257. *…не дочитал (и жалею об этом) статьи Шестова*. – В № 1 «Верст» было напечатано обширное эссе Л.И.Шестова «Неистовые речи (по поводу экстазов Плотина)».

…акростих был напечатан. – См. примеч. к п. 53.

…редактор, относившийся ко мне… исключительно хорошо… – Речь идет о Вячеславе Павловиче Полонском (1886–1932) – литературном критике, в это время главном редакторе НМ.

Я ему написал письмо… – См. письмо П. к В.П.Полонскому от 2.11.26 (П-СС7, 813–814).

Письмо 83а

1190-3-15, 75 об.–76 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – поправки к поэме «Новогоднее»; после письма – запись об окончании «Новогоднего» и о планах будущих «Поэмы воздуха» и очерка «Твоя смерть».

Вместо письма – первоначальное название поэмы «С моря».

Ася – А.И.Цветаева.

…Тезей – трагедия – 1 часть. – Пьеса «Ариадна» (при первой публикации «Тезей»).

Писала с осени вторую… – Речь идет о работе над пьесой «Федра».

…прервалась письмом к Рильке… – Речь идет о поэме «Новогоднее» (1927).

У тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в Тезее: – Игры – призрак и радость – звук. – См. п. 82 и реплику Миноса во второй картине пьесы «Ариадна» (Ц-СС3, 590).

Не не-все в нем было сном, а ничто. – Парафраз слов из ст-ния Байрона «Темнота» в переводе И.С.Тургенева: «Я видел сон. Не все в нем было сном»; эту строку также использовал К.Бальмонт в ст-нии «Смертию – смерть».

…узнаю Р.Штейнера (видела раз, в Праге)… – О посещении Ц. доклада Рудольфа Штейнера (1861–1925), основоположника антропософии, см. СТ, 233–235.

О Верстах. III № будет, дай для него стихи, если есть. – № 3 (и последний) ж. «Версты» вышел в конце 1927 г. (на обл. 1928).

Стихов П. в нем не было.

Я дам Письмо… – Речь идет о поэме «Новогоднее»; была напечатана в № 3 «Верст».

Дошло ли описание его похорон? – Согласно ТС и МС, письмо Ц. от 5.02.27 содержало описание похорон Рильке по-французски (вероятно, переписанное из газетного отчета).

Скоро увижусь с русской, которая была его секретарем два последних месяца… – Речь идет о Евгении Александровне Черносвитовой (1903–1974), которая была секретарем Рильке в сентябре-ноябре 1926 г. Ц. встретилась с ней весной 1927 г.; об обстоятельствах встречи ничего не известно.

…получила от него подарок – немецкую Мифологию… – В письме к Рильке от 22.08.26 Ц. просила его подарить ей издание немецкой мифологии Г.В.Штолля. Подарок, который Рильке не успел отослать, прислала ей Е.А.Черносвитова. По предположению К.М.Азадовского (НА, 307), это было следующее издание: *Stoll H.W.* Die Götten und Heroen des klassischen Altertums. Populäre Mythologie der Griechen und Römer. 2 Bände. Leipzig, 1875.

…L'Ame et la Danse, Valéry. – Прозаическая книга (диалог) «Душа и танец» (1921) французского поэта Поля Валери (1871–1945). В сентябре-октябре 1926 г. Рильке перевел этот диалог на немецкий язык. Однако это не была последняя книга, которую он читал.

Вариант

1190-3-115, лл. 16–16 об. (автограф Ц.).

Автограф представляет собой отдельный листок; по-видимому, первоначально он был частью чистовика данного письма. Однако на его оборотной стороне есть начало письма рукой А.Эфрон («Глубокоуважаемая Александра»); поздно заметив это, Ц., вероятно, заново переписала эту часть письма, внеся в ходе переписки изменения (ср. 83б).

…есть места недающиеся, невозможные, к которым глохнешь. И вот – 24 таких места в один день. – Речь идет о работе над поэмой «Новогоднее».

«…Да, новые песни…» – Неточная цитата из ст-ния М.Светлова «Гренада».

Письмо 83б

1334-1-1007, 26–32 (машинопис. копия); 1334-1-833, 30–33 (рукопис. копия).

«Двадцать девятого, в среду, в мглистое?..» – Набросок Ц., оставшийся без продолжения.

«Si. Gilles-sur-Vie (survie!)». – В письме к Ц. от 10.05.26 Рильке предложил игру слов, которую воспроизводит здесь Ц.: «sur-Vie» (на <реке> Ви) из части названия деревни превращается в слово с самостоятельным смыслом – «survie» («над-жизнь»; *букв.* «загробная жизнь»).

Версты эмигрантская печать безумно травит. – «Травля» журнала была вызвана, прежде всего, подчеркнутым предпочтением, которое он отдавал новейшей литературе Советской России перед литературой эмигрантской (Ремизова и Цветаеву критики при этом относили к писателям, эстетически близким советской литературе); общая идеологическая позиция журнала также интерпретировалась как пробольшевистская. Наиболее острыми критическими статьями по поводу первого номера «Верст» были следующие: *Бунин И.* «Версты» // Возрождение. 1926. 5 авг. № 429. С. 3; *Антон Крайний* [Гиппиус З.]. О «Верстах» и о прочем // Последние новости. 1926. 14 авг. № 1970. С. 3; *Цетлин М.* «Версты» // Дни. 1926. 22 авг. № 1087. С. 3; *Ходасевич В.* О «Верстах» // Ходасевич В. Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1990. Т. 2. С. 408–417 (впервые: СЗ, 1926, кн. 29, с. 433–441); *Злобин В.* «Версты» // Новый дом. 1926. № 1. С. 35–37. См. фрагменты статей Бунина, Антона Крайнего и Злобина в МЦКС1, 298–303, 312–315.

Письмо 84

1190-3-161, 3–8 об.

Почт. шт.: Москва, 09.02.27; Bellevue, 14.02.27. Послано заказным письмом на тот же адрес.

Вот – то, что написано из II-й части. – Приведенный текст представляет собой ранний вариант второй части поэмы «Лейтенант Шмидт»; в редакции, близкой этой, она была напечатана в НМ, 1927, №№ 2–4 (в журнальной публикации все главки имели подзаголовки). В окончательной редакции эта часть поэмы подверглась сокращениям и исправлениям. Кроме того, были изменены границы между частями: посланный фрагмент соответствует последней главке первой части, второй части и первой главке третьей части по тексту окончательной редакции.

Сейчас написав это, я вспомнил о рожденьи Мура. – См. п. 26б.

Харазова Лили (Елена Георгиевна) (1903–1927) – дочь профессора математики Г.А.Харазова. Выросла в Швейцарии, где

ее отец был политическим эмигрантом. Он вернулся в Грузию в 1914 г., оставив детей в Цюрихе без средств к существованию. В 1918 г. Лили отправилась на его поиски и, в конце концов осела в Москве. Состояла членом Всероссийского союза поэтов. Вскоре после ее смерти от тифа в сентябре 1927 г. П. написал о ней небольшую статью («Лили Харазова», 1928) для предполагавшегося, но не осуществленного издания ее стихов (П-СС5, 31–34). См. также п. 159.

Письмо 85

1334-1-987, 2 об. (автограф Ц.). Автограф «Попытки комнаты»: 1334-1-987, 1–2.

Согласно ТС, на конверте с этим автографом был почт. шт.: Москва, 20.02.27.

…это он тебя первый поздравил с Новым Годом! Через женщину. – Ц. имеет в виду, что поздравление Харазовой (см. п. 84) было поздравлением от Рильке.

Письмо 86

1190-3-161, 10–13 об.

Почт. шт.: Москва, 22.02.27; Bellevue, 27.02.26. Послано на тот же адрес.

Письмо 87

1190-3-16, 35–36 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики писем по-немецки под общим заголовком «Für Nachher».

По-видимому, именно это письмо отмечено в МС как имевшее почт. шт.: Москва, 8.03.27.

Сувчинский Петр Петрович (1892–1985) – музыковед, критик, эссеист; соредактор журнала «Версты» и один из лидеров евразийского движения.

И еще Бог послал мне живого ангела, 20-летнего немца с того света (на здешнем – с Рейна)… – Личность этого знакомого Ц. установить не удалось. По-видимому, к нему обращены те письма, черновики которых окружают в рабочей тетради Ц. это письмо к П.

Кончаю сейчас – Три смерти – или Трезвучие – о двух смертях, пред– и по-шествующей смерти Рильке. – Речь идет о работе над

очерком «Твоя смерть» (1927).

Как мне бесконечно жаль, что ты ничего не читал из моей «прозы» (т. е. МЫСЛИ), которую Святополк-Мирский в своей английской Истории русской литературы называет «худшей на протяжении русской литературы». – Ц. имеет в виду следующий пассаж из книги С.-М. (D.S.Mirsky) «Contemporary Russian Literature. 1881–1925» (New York: Alfred A. Knopf, 1926): «As Marina Tsvetaeva is alive (and one is even tempted to add «and kicking»), the rule *aut bene aut nihil* does not apply to her, and it is only fair to say that the prose she has hitherto written is the most pretentious, unkempt, hysterical, and altogether worst prose ever written in Russian» (с. 263). (Перевод: «Поскольку Марина Цветаева жива (и хочется сказать «еще как жива»), правило *или хорошо или ничего* на нее не распространяется, поэтому можно честно сказать, что проза, до сих пор ею написанная, являет собой образец наиболее претенциозной, распущенной, истеричной и в целом худшей прозы, когда-либо написанной по-русски».

«От тебя до… меня ближе, чем от тебя до… Рильке…» – Вероятно, описка и следует читать: «…от меня до Рильке»; ср. в п. 86: «прямо от себя тебе ближе ко мне, чем к нему».

Вот тебе, дружочек, письмо, недавно оглашенное в Revue Française – [и еще другое, в Русской Мысли –]… vers de méchants ivrognes – узнаешь? Те, «способные». – Речь идет о двух публикациях писем Рильке. В «Nouvelle Revue Française», 1927, № 161 было опубликовано письмо Рильке «A une amie» («К подруге»), которое Ц. под названием «Письмо к другу» впоследствии включила в подборку переведенных ею писем Рильке «Несколько писем Райнера-Мариа Рильке» (ВР, 1929, № 2); приведенная цитата – из этого письма: «…и еще все эти молодые люди из рабочих – в большинстве революционеры – сбитые после тюрьмы со всякого толку и ныне сбившиеся на “литературу”, сочиняя стихи каких-то злостных пропойц: – что им сказать?» (Ц-СС5, 653). Другое письмо Рильке – к Л.П.Струве (без указания адресата) – появилось в ж. «Русская мысль», 1927, № 1; речь в нем шла о повести Бунина «Митина любовь», а за публикацией письма следовала статья Г.П.Струве «Р.-М.Рильке о И.А.Бунине».

…Druineser Elegien… – Правильно: «Duineser Elegien» («Дуинезские элегии», 1923), последний прижизненный сб. стихов Рильке на немецком языке, в который вошли ст-ния, написанные в 1912–1922 гг.

…Орфея… – Сб. Рильке «Сонеты к Орфею». Ц. не помнила, что этот сб. у П. уже был (см. п. 34).

Простись со мной в Bellevue – 1-го переезжаем… – Переезд был отложен на месяц и состоялся 1-го апреля 1927 г. См. новый

адрес в п. 88.

…за перепечатку I части Шмидта… – См. примеч. к п. 76.

…перечла «Malte Laurids Brigge»… – Речь идет о романе Рильке «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge» («Записки Мальте Лауридса Бригге», 1910).

…пришлю случайно уцелевшее, неотправленное (из-за перечёрка) письмо к нему, предпоследнее. – О каком письме к Рильке идет речь, неясно.

Приложение

1190-3-16, 25 об.–26 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед наброском черновой текст очерка «Твоя смерть», окончание которого датировано 25 февраля 1927 г.; после наброска идут столбцы рифм.

Письмо 88

1190-3-115, 15 (машинопис. копия).

Возможно, именно это письмо зафиксировано в ТС как имевшее дату 15.04.27.

Оригинал газеты с записями Ц. не сохранился; копия записей Ц. была сделана А.Крученых. Согласно этой копии, Ц. сделала приписку «трус!» около фразы Ходасевича: «Но прав Адамович: пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут и трудятся» (см. более полную цитату ниже).

Мой новый адрес (перепиши на стену)… – Перерыв в переписке между Ц. и П. с конца февраля до апреля 1927 г. был, по-видимому, связан с тем, что П. не хотел писать на старый адрес (см. преждевременное сообщение о переезде в п. 87), а затем вовремя не получил или затерял новый адрес Ц., по которому она жила с 1 апреля 1927 г.

Вторую простят из-за первой. – Возможно, ошибка в копии и следует читать: «Вторую просят из-за первой».

Порадуйся на своего protégé Х<одасеви>ча… Ведь А<дамо>вич-то… писал о тебе… – Статья Ходасевича «Бесы» была ответом на статью Г.Адамовича из серии его «Литературных бесед» («Звено», 1927, № 128, 3 апр.), посвященную «Лейтенанту Шмидту» П. (по публикации в ВР). В своей полемике Ходасевич, впрочем, далеко отошел от обсуждения собственно творчества П. Поскольку эта статья Ходасевича труднодоступна, приведем из нее обширный фрагмент:

«“От заветов Пушкина Пастернак отказался. И это обрекает его на долгие годы стилистических изощрений и опытов, на

многолетнюю черновую работу, в которой он лично, вероятно, растворится без следа", – говорит Адамович. Значит, по Адамовичу, как будто выходит даже так, что Пастернак видит и знает "уже" побольше и поглубже Пушкина, а потому и явно "не довольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами", пушкинской поэтикой, слишком примитивной для такого титана мысли. Адамович только боится, что задача создать новую поэтику окажется Пастернаку не под силу.

Разумеется, я не буду всерьез "сравнивать" Пастернака с Пушкиным: это было бы дешевой демагогией и слишком легкой забавой. Уверен, что и сам Адамович не думает всерьез, будто Пастернак в "проникновении в мир" ушел дальше Пушкина. Недаром он дважды оговаривается: "кажется", "кажется". Если "кажется" – надо перекреститься. Покуда не перекрестимся, нам все будет казаться, что Пастернак что-то такое великое видит и знает…

> В поле бес нас водит, видно,
> Да кружит по сторонам.

<…>

Сравнивать Пастернака, каков он есть, с Пушкиным – невозможно, смешно. Но эпохи позволительно сравнивать. Тысячи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами "Всероссийского союза поэтов", во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы. Не равны качественно. Но показательностью для своей эпохи – равны. Вот природную *их* враждебность Пушкину, враждебность эпох и выразителей, Адамович ощутил ясно; но, к сожалению, не о ней он заговорил.

Петр и Екатерина были создателями великой России. Державин, один из таких же созидателей великой русской литературы, был современником и сподвижником Екатерины. У Петра такого литературного "alter ego" не было в его пору… "Петровская" эпоха в русской литературе отложилась позже, после Екатерины, в лице Пушкина, когда уже в государственном здании России намечались трещины. Но в литературе ("вослед Державину", а не Радищеву) Пушкин еще продолжал дело, подобное петровскому и екатерининскому: дело закладывания основ, созидания, собирания. Как Петр, как Екатерина, как Державин, он был силою собирающей, устрояющей, центростремительной. И остался выразителем эпох начал.

Ныне, с концом или перерывом петровского периода, до крайности истончился, почти прервался уже, пушкинский период

русской литературы. Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися – существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость – и сумели стать “созвучны эпохе”. Они разворачивают пушкинский язык и пушкинскую поэтику, потому что слышат грохот разваливающегося здания – и воспевают его разваливающимися стихами, вполне последовательно: именно “ухабистую дорогу современности” – ухабистыми стихами.

“Пастернак довольствуется удобрением поэтических полей для будущих поколений, чисткой Авгиевых конюшен”, – пишет Адамович. Опять неверные и кощунственные слова, которые станут верными, если их вывернуть наизнанку. И опять Адамович говорит то, чего, разумеется, не думает. Никак не допускаю, чтобы “до-пастернаковская” (да и не до-пастернаковская, а до-футуристическая) поэзия русская была для Адамовича “Авгиевыми конюшнями”. И для Адамовича она не загаженная конюшня, а прекрасный и чистейший дом. Но прав Адамович: пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут и трудятся (не без таланта, тоже согласен). Только труд их – не чистка, а загаживание, не стройка, а разваливание. Тоже работа геркулесовская по трудности, но не геркулесовская, не полубожеская по цели. Не Авгиевы конюшни чистят, а дом Пушкина громят. Что скажут на это “будущие поколения” – не знаю. Верю – кончится нынешнее, кончится и работа пастернаков. Им скажут – руки прочь! Сами опять начнут собирать и строить, разрубленные члены русского языка и русской поэзии вновь срастутся. Будущие поэты не будут писать “под Пушкина”, но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет Россия.

<…>

Даже именем Пушкина не можем мы больше перекликаться с друзьями, которые там. Тем повелительнее наш долг – оградиться от бесов здесь» (Возрождение. 1927. 11 апр. № 678. С. 2–3).

Письмо 89

1190-3-162, 1–1 об.

Почт. шт.: Москва, 29.04.27. Послано на адрес: Meudon (Seine et Oise) près Paris, 2, Avenue Jeanne d’Arc.

С. 295. *…я наконец добился тут права первого изданья «Тем и Варьяций», да и то не отдельного, а одним томиком, при*

«Сестре». – См. примеч. к п. 71.

Напиши мне поскорее о своем вечере… – Речь идет о вечере Ц., который прошел в студии актрисы и режиссера Н.И.Бутковской на второй неделе апреля (не позднее 13-го; более точную дату установить не удалось).

Твой Тезей замечателен. – Пьеса «Тезей» («Ариадна») была опубликована в ж. «Версты», 1927, № 2 (вышел в самом начале 1927 г.).

Х<одасеви>ча получил и прочел. – См. п. 88.

Письмо 90

1190-3-162, 3–6 об.

Почт. шт.: Москва, 04.05.27. Послано на тот же адрес.

…о 150.000… – Описка: речь идет о поэме Маяковского «150 000 000» (1919–1920).

…вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости… – Речь идет о журнале «Новый Леф», начавшем выходить зимой 1927 г.

Однажды ты меня удивила и даже обидела, предостерегши от приравниванья М. – Рильке. – См. п. 83а/б.

Сабашникова (Волошина) Маргарита Васильевна (1882–1973) – художница, первая жена М.А.Волошина.

«Человек» (1916–1917), *«Война и Мир»* (1915–1916) – поэмы Маяковского.

О существованьи «Верст» (твоих) узнал я от него от первого. – См. п. 1 и примеч. к нему, а также п. 2.

Письмо 91

1190-3-16, 96–98 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: варианты/поправки к ст-нию «С этой горы, как с крыши…».

Дата уточнена по ТС.

Кримгильда сколько лет ненавидела и готовила месть! – Речь идет о героине «Песни о Нибелунгах», спустя много лет отомстившей Хагену фон Тронье и другим бургундским воинам за гибель Зигфрида.

…почти что Pestalozzi. – Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) – знаменитый швейцарский педагог и теоретик новых принципов и методов образования. Ц. упоминает его имя иронически, усматривая в пафосе П. (см. п. 90) намерение играть

роль «воспитателя» по отношению к властям.

«Скромная прихоть…» – Из поэмы Ц. «С моря».

О Маяковском прав. – В ТС имеются выписки из посланного письма Ц., касающиеся Маяковского, близко совпадающие с этим тетрадном черновиком. Вот они:

«О Маяковском прав. Взгляд гнетущий и угнетенный. Этим взглядом могут все. Маяковский ведь *бессловесное* животное, в чистом смысле слова СКОТ. М. – сплошной грех перед богом, вина такая огромная, что надо молчать. Падший ангел.

Было – и отняли (боги). И теперь жует травку (любую). Бог – бык. Конечно, он из страны мифов, потому тебе и мне близок, из той (дальней) родни. Мало таких спутников.

<купюра в источнике>

А у М. взгляд каторжника. Убийцы. Соприкоснувшегося с тем миром через кровь. Оттуда и метафизичность» (1334-1-834, 17 об.–18).

Сейчас он в Париже… – Маяковский пробыл в Париже с 29 апреля по 9 мая 1927 г. 7 мая состоялось его выступление в кафе «Вольтер» в Париже, так что Ц., вероятно, пишет о нем по свежим впечатлениям.

Моя книга стихов, сквозь всё и всех – ты… – Имеется в виду сб. Ц. «После России» со стихами 1922–1925 гг. Весной 1927 г. она интенсивно занималась его подготовкой к печати, редактируя и дорабатывая старые стихи.

Nur Zeit! – См. об источнике этой фразы п. 123 и примеч. к нему.

Дополнение

1190-3-16, 95 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: варианты/поправки к ст-нию «Занавес».

Письмо 92а

1190-3-16, 102 об.–104 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – варианты/поправки к ст-нию «Оплетавшие – останутся…»; после письма – списки поправок в рукопись сб. «После России».

…меня сейчас здесь все обвиняют (Бунин, Гиппиус, молодежь, критика), обвиняют в порнографии за стих… – Речь идет о ряде откликов на «Поэму горы» Ц.; пристрастное внимание критики к этой поэме было связано с тем, что она появилась на страницах ж. «Версты» (см. перечень откликов на журнал в примеч. к п. 83б). Прямые обвинения в непристойности содержались лишь в статье

В.Злобина (пером которого, впрочем, водила З.Гиппиус), однако замечания в статьях Бунина и Гиппиус также были некорректны.

«Да вспомянете <нрзбр.> поэта…» – есть такой стиху П<ушки>на или я его выдумала? – По-видимому, неточная цитата из раннего ст-ния Пушкина «К Маше» (в оригинале: «И уж не вспомните поэта!..»)

Пишу тебе по проставлении последней точки книги «После России»… – См. примеч. к п. 91.

Две нач<атые> вещи: одну хочется, другую нужно (долг чести). – Речь идет о «Поэме воздуха» и пьесе «Федра» (ср. п. 99).

Помнишь Элегию Рильке ко мне? – См. примеч. к п. 75.

Liebende können, dürfe nicht… – Неточная цитата из элегии Рильке, обращенной к Ц.: «Liebende dürften, Marina, dürfen soviel nicht / von dem Untergang wissen. Müssen wie neu sein» («О нисхожденьи в тот мир, о смерти так много, Марина, / любящим незачем знать. Им так новизна подобает»; *пер. К.М.Азадовского*; НА, 89).

…у Пастернака нет ясн<ости>, нет гармонии, прочт<ит>е Пу<шкина>… – Вероятно, речь идет о рецензии В.Набокова (под псевдонимом В.Сирин) на сборники стихов Дмитрия Кобякова «Горечь» и «Керамика» и Евгения Шаха «Семя на камне», опубликованной в газ. «Руль» 11 мая 1927 г. Парафраз Ц., однако, неточен (в рецензии не упоминался Пушкин), что можно объяснить контаминацией в ее сознании этой рецензии и недавней статьи Ходасевича «Бесы» (см. п. 88 и примеч. к нему). Набоков, в частности, писал:

«Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный. Чем-то напоминает он Бенедиктова. <…>

Восхищаться Пастернаком мудрено: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Не одно его стихотворенье вызывает у читателя восклицанье: “Экая, ей-богу, чепуха!” Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву. Страшно и за молодого поэта Дм. Кобякова…» (*Набоков В.* Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 2. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 638–639.)

Письмо 92б

Собрание Ю.Л.Берковского (рукопис. копия).

«Точно гору несла в подоле…» – Ст-ние Ц. «Приметы» (1924); вошло в сб. «После России».

Письмо 93

1190-3-162, 8–8 об.
Почт. шт.: Москва, 12.05.27. Послано на тот же адрес.

Приложение
1190-3-162, 9–10 об. (копия рукой Ц.).

Отец стал только иллюстрировать его тогда. – Иллюстрации Л.О.Пастернака к роману Толстого «Воскресение» делались в 1898 г.

Даже Rilke (он тогда ездил в Ясную Поляну) зарождается именно тут, впрочем несколько к концу, около 1900 г. – Рильке ездил в Россию дважды, в 1899 и 1900 г. Он познакомился с отцом П. уже в первую поездку. Воспоминание самого П. о том, как он видел Рильке (описанное в первой главке «Охранной грамоты»), относится ко времени второй поездки Р., к весне 1900 г.

И Вы легко себе представите, с каким чувством лично к Вам натыкался я, за чтеньем матерьялов к 1905-му году, на факты, делающие такую честь Вашему имени и семье. – П. имеет в виду отца Д.Святополка-Мирского, Петра Дмитриевича Святополка-Мирского (1857–1914), в августе 1904 – январе 1905 г. занимавшего пост министра внутренних дел (и назначенного на этот пост после убийства прежнего министра, В.К.Плеве). Время управления С.-М. было временем уступок растущему общественному движению и было названо «эпохой доверия». К началу 1905 г. С.-М., однако, практически утратил контроль над ситуацией и не смог предотвратить кровавых событий в Петербурге с 9 января 1905 г. Вскоре после них был отправлен в отставку.

Письмо 94

1190-3-15, 91–91об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики «Поэмы воздуха».

Письма Пастернаку отправлены… – См. пп. 91 и 92а/б.

Ему можно только о Святополке-Мирском (непредвиденной весне или как? Злюсь). – По-видимому, ироническая отсылка к

словосочетанию «весна русской жизни», которым характеризовали время пребывания отца С.-М. в должности министра внутренних дел (см. примеч. к п. 93 (Приложение)).

«Нашей поэме – цензор заря». – Из поэмы Ц. «С моря».

Письмо 95

1190-3-162, 12–13 об.
Почт. шт.: Москва, 27.05.27. Послано на тот же адрес.

…ты как-то обмолвилась, что Шмидт, в 1-й части, был где-то перепечатан. Где именно? – См. примеч. к пп. 75, 76.

Что касается II-й и III-й части, которую, просто для порядка, пересылаю… – Одновременно с письмом П. послал Ц. заказной бандеролью журнальный оттиск третьей части поэмы «Лейтенант Шмидт» (НМ, 1927, № 5); почт. шт.: Москва, 27.05.27; Meudon, 31.05.27 (1190-3-162, 15–23).

Письмо 96

1190-3-17, 40 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики «Поэмы Воздуха».

<31 мая 1927 г.> – Датировано по содержанию. В ТС имеет дату 30.05.27.

…«первенец творенья»… – Ц. имеет в виду образ из шестой главки III части поэмы «Лейтенант Шмидт»: «И, на всех остервенясь, / Дождик, первенец творенья, / Горсть за горстью, к горсти горсть, / Хлынул шумным увереньем / В снег и грязь, в снег и грязь, / На зиму остервенясь» (П-СС1, 318).

Продолжение
1190-3-17, 45–47 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики «Поэмы воздуха».
Датировано по содержанию.

Писавший утро туманное… – Имеется в виду знаменитый романс на стихи И.С.Тургенева «Утро туманное, утро седое…».

…вчера письмо из Чехии с описанием выступления Маяковского… – По-видимому, речь идет о письме многолетней пражской корреспондентки Ц. Анны Тесковой (1872–1954). Маяковский пробыл в Праге с 18 по 27 апреля 1927 г.; вероятно, отзыв касался его выступлении в Виноградском народном доме 26 апреля.

…нынче… письмо Мирского в ответ на твое, привожу. – По-видимому, это письмо не сохранилось. В семейном архиве Б.Пастернака сохранилось восемь других писем к нему Святополка-Мирского: от 14.06.27, 2.08.27, 11.10.27, 21.10.27, 7.02.28, 5.11.29, 18.01.30, 18.03.30.

В одну телегу впрячь не можно – Коня и трепетную – рвань (дрянь). – Парафраз ставших «крылатыми» строк из «Полтавы» Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань».

Рада книге Шмидта… – Речь идет о сб. «Девятьсот пятый год» (1927), в который вошли одноименная поэма и поэма «Лейтенант Шмидт».

III часть вровень Потемкину. – Т. е. вровень главе «Морской мятеж» (при первой публикации «Потемкин») из поэмы «Девятьсот пятый год».

Я сейчас пишу вещь, совсем одинокую, отъединяющую, страшно увлечена. – Речь идет о «Поэме воздуха».

Как можно было у Гёте Вертера взять Гёте – Euphorion? – Ц. говорит о главном герое «Страданий юного Вертера» (повести, написанной Гёте в молодости) и о персонаже завершенной им в старости второй части «Фауста» – Энфорионе, сыне Фауста и Елены, в образе которого, по мнению исследователей, отразилось впечатление Гёте о личности и судьбе Байрона.

…двое суток в постели Нинон де Ланкло <над строкой: тех двух>… – Нинон (наст. имя Анн) де Ланкло (Ninon de Lenclos; 1616–1706) – знаменитая красавица, образованная женщина, хозяйка салона, который посещали Фонтенель, Ларошфуко, Мольер, Расин, Скаррон и многие другие. Романтические отношения связывали ее в разное время с несколькими известными людьми своего времени. Лучше всего документированы ее отношения с Шарлем де Сент-Эвремоном (Charles de Saint-Evremond; 1616–1703): часть их переписки сохранилась и неоднократно переиздавалась. Однако нет уверенности, что именно его имеет в виду Ц., когда говорит о «тех двух». Имя Л. впервые появляется в записях Ц. в 1919 г. (ЗК1, 345). В 1928 г. она собирается писать поэму о Л. (сохранившиеся фрагменты приведены в МЦНГ, 237–239). По-видимому, в основу сюжета поэмы должен был лечь трагический эпизод из ее жизни, – история о том, как один из ее сыновей, не знавший, что она его мать, влюбился в нее, а узнав о своем кровном родстве с ней, покончил с собой.

Конрад Джозеф (1857–1924) – знаменитый английский романист польского происхождения. Ц. упоминает его романы «Лорд Джим» (1900) и «Победа» (1915).

…воинствующем презрении к A.Gid'y… – Негативная оценка Ц. может относиться и к более ранним произведениям Андре Жида (André Gide; 1869–1951); однако очень вероятно, что она относится к недавно вышедшему роману «Фальшивомонетчики» (1925; опубл. 1926), появление которого было воспринято

критикой как крупное литературное событие.

…о плачевности прозы Hofmannsthal'a… – Ц. имеет в виду вышедший в 1927 г. во французском переводе сб. эссе австрийского поэта, драматурга и оперного либреттиста Хуго фон Гофмансталя (1874–1929) «Ecrits en prose» («Проза»). В нее вошли эссе «Письмо Лорда Чандоса», «О героях в романе и в драме», «Дороги и встречи», «Короли и знать у Шекспира», «Разговор о "Тассе" Гёте», «Девушка с золотыми глазами», «Разговор о поэзии», фрагменты из «Писем возвратившегося путешественника».

Дополнение

1190-3-17, 38 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики «Поэмы Воздуха».

…вещь, от которой у тебя мороз пойдет по коже. – Речь идет о «Поэме Воздуха».

Письмо 97

1190-3-163, 1–4 об.

Почт. шт.: Москва, 20.06.27. Послано на тот же адрес.

…я проснулся в том самом мире, от которого, в твоем выраженьи, у меня пойдет мороз по коже… – См. п. 96 (Дополнение).

С 14-го года… было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явленью» свободолюбивого века! И вот – не дано… – Слова П. связаны с так называемым «расстрелом двадцати». Официальное сообщение о нем («От коллегии Объединенного государственного политического управления») появилось в центральных газетах 10 июня 1927 г.; в сообщении приводился список расстрелянных и инкриминировавшиеся им преступления: шпионаж, подготовка диверсий, терактов и убийств руководящих лиц партии и государства. Накануне, 9 июня, подготавливая советских граждан к сообщению об этом расстреле, те же газеты опубликовали «Правительственное сообщение». В нем произошедшее за два дня до того убийство в Варшаве советского полпреда в Польше П.Л.Войкова было представлено как звено в цепи целенаправленных действий западных правительств по удушению советского государства и приводились факты арестов шпионов и диверсантов за последние два года. Реальные причины столь жестокой расправы были, однако, иными: она была связана с

разрывом Великобританией дипломатических и экономических отношений с СССР в конце мая 1927 г., что было серьезным ударом и по экономике и по международному статусу СССР. Именно поэтому все газетные сообщения о преступной деятельности шпионов и диверсантов увязывали эту деятельность с «заказом» британского правительства. Западная печать расценила «расстрел двадцати» как акцию устрашения, приравнивая ее, за недоказанностью вины расстрелянных, к расправе с заложниками. Вслед за этими обвинениями в советской печати последовали публикации «показаний», якобы обосновавших вину некоторых из расстрелянных (см. например: *Номад*. Уличающие документы (Показания террориста Эльвенгрена) // Известия. 1927. 16 и 17 июня. № 134 и 135; *Номад*. Английская контрразведка за работой (Показания Сиднея Рэйли) // Там же. 1927. 17 июня. № 135).

…виделся с Асей. У ней завязалась переписка с Горьким… он зовет ее вместе с ее другом в Италию… – Поездка А.Цветаевой к Горькому состоялась. См. ниже п. 105 и примеч. к нему.

Однажды в журнале… «На Лит<ературном> Посту», я прочел выдержку из В<оли> Р<оссии> о твоей вероятной популярности тут, у нас… – Речь идет о статье И.Файнштейна (под псевдонимом Н.Нович) «О новой повести Бунина “Митина любовь”» («На литературном посту», 1927, № 2), в которой автор упоминал отзыв о Ц. в статье М.Слонима «Литературные отклики» (ВР, 1926, № 8/9).

В том же № высказывается одобренье моему «новому направленью». Но хвалит меня человек, разносивший за Сестру и Темы… – П. имеет в виду статью В.Перцова «Новый Пастернак» («На литературном посту», 1927, № 2).

Письмо 98

1190-3-163, 6–6 об.
Почт. шт.: Москва, 11.07.27. Послано на тот же адрес.

Письмо 99

1190-3-15, 10 об.–12 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 картина).

Борюшка, в последнем письме я писала тебе, что буду писать – и отчасти что́ буду писать о Шмидте. – Согласно ТС, это письмо было датировано 24.06.27. В ТС есть следующие выписки из него:

«Я не твой критик, Борис, я твой биограф, – духописец.

Такова будет моя статья о Шмидте, зорче и жестче, чем ждешь. Из будущего. <купюра в источнике>

Есть порядок вещей, в котором, кстати, оказывается все, что не “в порядке вещей”, весь ты. И каждая твоя строка наперед – не как сама, а как ступень. Ты, целиком, всегда прав. И каждая твоя (моя) строка – ошибка, если бы не было последующей. Весь Шмидт, Борис, весь ты – вопрос контекста, соотношения слогов, слов, четверостиший, частей, перевода вовнутрь – где конец?! Каждая ступень лестницы права – вот! Формула. <купюра в источнике>

Но я не хочу, чтоб Шмидт в твоей жизни был еще раз (Нарым)» (1334-1-834, 18 об.).

Недавно писала кому-то в Чехию: – Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня… – Среди известных писем Ц. такого фрагмента не обнаружено, включая письма к ее многолетней чешской корреспондентке Анне Тесковой (*Цветаева М.* Спасибо за долгую память любви… Письма к Анне Тесковой, 1922–1939. М.: Русский путь, 2009.).

Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пяту другого? – Липовый лист, упавший на спину Зигфриду во время его омовения в крови дракона, сделал уязвимым его сердце. Уязвимым местом Ахиллеса была его пята.

Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду – в подлиннике: в пересказе, совершенно соответствующем всем тем разрозненным песням и повестям. – Ц., вероятно, имеет в виду реконструкцию Ж.Бедье, сделанную в конце XIX века.

Другая Изольда из ревности сказала той, первой… – Ц. неверно пересказывает историю гибели героев. Тристан послал корабль за Изольдой, ибо был смертельно ранен и верил, что одна Изольда сможет исцелить его. Было условлено, что если на корабле, возвращающемся назад, будет белый флаг, значит, он возвращается с Изольдой на борту; если черный – значит, она отказалась оставить своего мужа и приехать. Флаг на возвращающемся корабле был белый; однако вторая Изольда, жена Тристана, обманула его, сказав, что флаг черный. Тристан умер; приехавшая Изольда легла на его тело и тоже умерла.

История, ничем не отлич<ающаяся> от истории Кая и Герды… – Персонажи сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева».

Сдаю в Версты «С моря» (прошлолетнее – тебе) и Новогоднее (Письмо к Рильке)… – Обе поэмы были напечатаны в ж. «Версты», 1928, № 3.

…переписываю для Воли России Поэму Воздуха… – Поэма была напечатана в ВР 1930, № 1.

…должна приняться за Федру, брошенную тогда… – Работа

над пьесой «Федра» была прервана известием о смерти Рильке. Ц. интенсивно работала над пьесой осенью 1927 г. и в основном завершила эту работу к концу года. Опубликована (как вторая часть трилогии «Тезей») в СЗ, 1928, кн. 36–37.

…14 ое июля… – национальный праздник Франции, День взятия Бастилии.

Письмо 100

1190-3-163, 8–8 об.
Почт. шт.: Москва, 18.07.27. Послано на тот же адрес.

Он прислал мне номер журн<ала> The London Mercury со своей статьей. – Речь идет о статье С.-М. «The Present State of Russian Letters» («The London Mercury», 1927, vol. XVI, No. 93). См. перепечатку в кн.: *Mirsky D.S.* Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. by G.S.Smith. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989.

Что это за птицеловы? Не знаешь ли ты их адреса и к кому обратиться? Кого они издают и кто они для меня, если ты их не знаешь?! – Как ясно из следующего письма, речь идет о парижском издательстве «Птицелов», владельцем которого был поэт Дмитрий Юрьевич Кобяков (1894–1977). По существу издательство было «домашним» или «дружеским»: помимо сборников самого К., в нем вышло несколько книг авторов из близкого владельцу литературного круга; кроме того, в 1926 г. издательство затеяло выпуск сатирического журнала «Ухват», но он прекратился уже на шестом номере. С какими планами издательства был связан этот запрос П., установить не удалось.

Письмо 101

1190-3-15, 20 об.–21 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (3 картина).
Датировано по ТС.

С 330. *Птицелов жулик, знаю главного заправилу…* – Ц. имеет в виду Д.Кобякова. См. примеч. к п. 100.

«Не живу – я томлюсь на земле». Кто это написал? Блок или Ахматова… – Обнаружить источник цитаты не удалось

Я недавно говорила одной умирающей… – Речь идет о Вере Александровне Завадской (1895–1930). См. о ней также пп. 137 и 174. С ее братом, тогда начинающим актером, Юрием Александровичем Завадским (1894–1977) Ц. связывали дружеские

и романтические отношения в первые послереволюционные годы.

«Перенеся двухдневную разлуку…» – Из ст-ния Ахматовой «Течет река неспешно по долине…» (1917).

Письмо 102

1190-3-163, 10–11 об.

Почт. шт.: Москва, 28.07.27. Послано на тот же адрес.

«Ich ging im Walde…» – Начальная строфа ст-ния Гёте «Gefunden» («Нашел»).

Линдберг Чарльз (1902–1974) – американский летчик, совершивший 20–21 мая 1927 г. исторический перелет из Нью-Йорка в Париж, самый длинный и длительный на тот момент. Это событие совпало с работой Ц. над «Поэмой воздуха» и оказало влияние на образность поэмы.

Статью, разбор! Да ведь это Сизифов труд и вдесятеро нарымистее исходного нарыма. – См. упоминание Нарыма в конце фрагмента письма Ц. от 24.06.27, приведенного в примеч. к п. 99. Нарым, Нарымский край – название северной части Томской губернии, традиционное место политической ссылки в Российской империи. Ц. и П. употребляют это слово как близкое к понятию «каторга».

Залежалось именно то твое письмо, которое меня от этих забот избавляло, – разрешительное. – Видимо, письмо от 24.06.27 (см. выше).

…Бирнамское передвиженье. – См. примеч. к п. 3.

Письмо 103

1190-3-15, 26 об.–27 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (3 картина).

Согласно МС, письмо имело почт. шт.: Москва, 08.03.27.

Halles – букв.: крытые рынки *(фр.); здесь:* Центральный рынок в Париже и район, примыкающий к нему.

«Хочется целовать. Воет завод. Бредет…» – Из ст-ния Ц. «Пять или шесть утра. Сизый туман. Рассвет…» (цикл «Плащ», 1, 1918).

Письмо к Рильке – поэма «Новогоднее».

Письмо 104

1190-3-15, 27 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (3 картина).

«Geschichten des lieben Gotts» – правильно: «Geschichten vom lieben Gott» (1904); сб. Рильке, в котором, в частности, была напечатана «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке».

Продолжение

1190-3-15, 32 об.–33 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 и 3 картины).

Ах, Бальмонт с его «грудью» и Пушкин с его «ножками»… – Имеется в виду ст-ние Бальмонта «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым…» (в частности, строка «Хочу я зноя атласной груди») и знаменитый фрагмент из «Евгения Онегина» Пушкина (глава 1, строфы XXX–XXXIV).

…уж куда ближе к д<елу> Соломон… – Имеется в виду «Песнь песней Соломона», которую Ц. ниже неточно цитирует.

«…забыв наезды / Для цветных шатров…» – Неточная цитата из ст-ния Лермонтова «Спор» (1841) («Бедуин забыл наезды / Для цветных шатров…»).

…не знаю твоей Елены… – Речь идет о Е.А.Виноград (см. примеч. к п. 14).

«И хаос опять выползает на свет…» – Из ст-ния П. «Любимая – жуть! Когда любит поэт…» (сб. «Сестра моя жизнь»).

Один из твоей породы написал же Апокалипсис… – Автором «Апокалипсиса» («Откровения Иоанна Богослова») считается евангелист Иоанн.

Помнишь, что я когда-то… причислила тебя к 3-му дню создания… – Ц. имеет в виду свою статью «Световой ливень», где она, в частности писала: «…разительное отсутствие в кругу пастернаковской природы – животного царства: ни клыка, ни рога. Чешуя лишь проскальзывает. Даже птица редка. Мироздание точно ограничилось для него четвертым днем» (Ц-СС5, 243).

…лондонский адвокат-буржуй… – Вероятно, имеется в виду Александр Яковлевич Гальперн (1879–1956), адвокат специалист по международному праву. С его женой, Саломеей Николаевной Андрониковой-Гальперн (1888–1982), Ц. была многие годы в приятельских отношениях и переписке.

Письмо 105

1190-3-164, 3–5 об.

Почт. шт.: Москва, 09.08.27. Послано на тот же адрес.

С. 341, 343. *7 августа 1927 г., 8 августа 1927 г.* – В оригинале ошиб.: 7 июля, 8 июля.

У Б.П., пишешь ты в Чехию, «есть двое-трое друзей поэтов… и т. д.». – См. п. 96.

Я двадцать раз выходил из Лефа, и весною – категорически… И вот недавно я послал им заявленье. – Заявление П. было адресовано «редакционному коллективу Лефа» и было следующим:

«Несмотря на мое устное заявление об окончательном выходе из Лефа, сделанное на одном из майских собраний, продолжается печатание моего имени в списке сотрудников. Такая забывчивость предосудительна.

Вашему коллективу прекрасно известно, что это было расставание бесповоротное и без оговорок, в отличие от зимнего, тотчас по моем ознакомлении с первым номером, когда собранию удалось уговорить меня воздержаться от открытого разрыва и удовольствоваться безмолвной безучастностью к условной видимости моего участия.

Благоволите поместить целиком настоящее заявление в вашем журнале» (П-СС5, 217; дата в этом издании неверна, заявление в действительности датировано 26 июля 1927 г.). Начиная с № 6 за 1927 г. (журнал запаздывал примерно на два месяца, и этот номер вышел лишь в августе), имя П. перестало печататься в списке сотрудников журнала «Новый Леф».

Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего. – Речь идет о поездке А.И.Цветаевой к Горькому в Сорренто в августе – начале октября 1927 г., откуда она в сентябре на две недели ездила в гости к Ц. См. об этом: *Цветаева А.* Воспоминания. М., 1983. С. 643–708.

Duineser Elegien – см. примеч. к п. 87.

Письмо 106

1190-3-18, 6 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 картина).

Продолжение
1190-3-18, 6 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 картина).

«Вскочить истории на плечи» (ты о Рильке)… – См. п. 102.

Письмо 107

1190-3-18, 16 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 картина).

Письмо 108

1190-3-18, 20 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (2 картина).

По-видимому, именно письмо, содержащее этот фрагмент, имеет в ТС дату 29.08.27.

Как это может быть, что после такого чудного чувства люди могут выносить друг друга не-чудных, вне этого чуда – без. – По-видимому, Ц. говорит о своих отношениях с К.Б.Родзевичем.

Письмо 109

1190-3-164, 7–7 об.

Почт. шт.: Москва, 08.09.27. Послано на тот же адрес.

…взявшись переписывать обещанные три вещи… – Т. е. «С моря», «Новогоднее» и «Поэму воздуха».

Говорил ли я тебе, что даже и расположенный ко мне редактор зимой сказал, что о нем (т. е. о Рильке) дадут писать уж никак не мне… – По-видимому, этим редактором был Вяч. Полонский (см. примеч. к п. 82).

…если их узнают. Аля или С.Я. … – Вероятно, описка, и следует читать «Ася или С.Я.».

Письмо 110

1190-3-164, 9–10 об.

Почт. шт.: Москва, 19.09.27. Послано на тот же адрес.

…в отношении героя «П<оэмы> Конца». – Речь идет о К.Б.Родзевиче.

Маяковский и Асеев понемногу берутся за ум и написали по хорошей поэме к десятилетью. – Речь идет о поэме Маяковского «Хорошо!» (1927) и о поэме Асеева «Семен Проскаков» (1927–1928), посвященной событиям Гражданской войны.

Письма моего они не поместили, но имя с обложки сняли. – См. примеч. к п. 105.

Как здоровье Мура? – В письме от 6.09.27 (ТС) Ц., вероятно, сообщила П. о болезни сына, из-за которой сорвались планы поездки семьи на океан в сентябре. Первоначально ему был

поставлен диагноз краснуха, однако вскоре выяснилось, что это скарлатина. Вслед за Муром, в середине сентября, заболели Аля и сама Ц. (см. последующие письма).

Это опять одна из крайностей самосознанья. – Возможно, описка, и следует читать «самопознанья» (ср. начало письма).

Приложение

1190-3-164, 11–12 об.

Все ст-ния, вошедшие в этот автограф, были вскоре опубликованы: «Ландыши» и «Пространство» («Земля и фабрика», 1928, кн. 1); «История», без заглавия (НМ, 1928, № 1); «Приближенье грозы» (Зв, 1927, № 9); «Сирень» («Земля и фабрика», 1928, кн. 2).

Письмо 111

1190-3-164, 14–14 об.

Почт. шт. стерся. Послано на тот же адрес.

Ты просила о немедленном знаке, что письмо дошло. Оно написано 14-го, пришло 20-го … – В ТС это письмо зафиксировано, но содержание его не отражено.

…у тетки и двоюродной сестры. – Речь идет об Анне Осиповне Фрейденберг (урожд. Пастернак; 1860–1894) и ее дочери Ольге Михайловне Фрейденберг (1891–1955). В молодости П. был увлечен Ольгой Фрейденберг; их переписка длилась затем всю жизнь. См.: *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность: Переписка с О.М.Фрейденберг. М.: АРТ-ФЛЕКС, 2000.

…это слово «ты» к тебе в одном письме надломило и сорвало мне голос. – См. п. 38.

Стал надписывать, как расхожий… и вот оба назначенья слились в одно. – Экземпляр с этой дарственной надписью неизвестен.

Письмо 112

1190-3-18, 29 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (начало 3-й картины).

Датировано по ТС.

Письмо 113

1190-3-165, 1–1 об.

Почт. шт.: Москва, 02.10.27. Послано на тот же адрес.

Вот несчастье! – Речь идет о болезни Ц. См. примеч. к п. 110.
Надежда Александровна – Н.А.Нолле-Коган.

Письмо 114

1190-3-165, 3–4 об.
Почт. шт.: Москва, 03.10.27; Meudon, 07.10.27. Послано заказным письмом на тот же адрес.

У него хорошая жена… – Мария Константиновна Тихонова (урожд. Неслуховская; 1892–1975).

…из Верстовцев. – Т. е. сотрудников журнала «Версты».

Читал в теченье часа отрывки большой прозы поэт Конст. Вагинов, молодое дарованье, с которым там очень носятся. – Константин Константинович Вагинов (Вагенгейм; 1899–1934), прозаик и поэт. По-видимому, речь идет о его первом романе «Козлиная песнь», сокращенная редакция которого была опубликована в Зв, 1927, № 10; вышел отдельным изданием в 1928 г.

Среди присутствовавших оказался тот самый мальчик, которому Есенин кровью написал свое известное «До свиданья, друг мой, до свиданья». – Имеется в виду В.И.Эрлих (см. примеч. к п. 36). Это знакомство П. имело продолжение. В конце 1929 г. Эрлих послал ему свою книгу о Есенине «Право на песнь» и поэму «Софья Перовская» (1929); см. ответное письмо П. от 9.01.30 (П-СС8, 388–389). Отзыв П. об этих книгах см. также в его письме к Н.С.Тихонову от 5.12.29 (П-СС8, 376–377).

Письмо 115

1190-3-18, 32 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4 картина).
Датировано по ТС.

…когда я прочла строки о ревнивом пространстве, у меня захолонуло сердце… – Ц. имеет в виду строки: «Известно ли, как влюбчиво / Бездомное пространство, / Какое море ревности / К тому, кто одинок!» – из 3-ей главки первой части поэмы «Лейтенант Шмидт» (П-СС1, 292). Бóльшая часть этой главки отсутствовала в ранней редакции (см. примеч. к п. 58).

…ни курсисток с фуриями (как я тебе благодарна!)… – Ц. сравнивает 5-ю главку («Стихия») в ранней редакции первой

части поэмы и соответствующую ей 4-ю главку в окончательной редакции.

…ни двусмысленных потерь казенных денег… – Отсылка к исключенному из окончательной редакции первой части поэмы «Письму о дрязгах».

Теперь я посвящение принимаю… – См. примеч. к п. 53, а также п. 71 и примеч. к нему.

Отцы, совершенно – как оно и быть должно – заслон<енные> матерями… – Речь идет о главе «Отцы» поэмы «Девятьсот пятый год».

Мать С. – Лиза Дурново… – Сообщенные Ц. по семейным преданиям сведения нуждаются в корректировке по архивным данным, сообщенным нам Д.А.Беляевым и Е.И.Лубянниковой. Елизавета Петровна Эфрон (1854–1910) была единственной дочерью отставного гвардии ротмистра Петра Аполлоновича Дурново (1811?–1887), воспитанника Московского кадетского корпуса, вышедшего в отставку из лейб-гвардии Конного полка в 1852 г. Ее матерью была Елизавета Никаноровна Дурново (урожд. Посылина), дочь почетного гражданина, из купеческого сословия. Во время обучения на Высших женских курсах Е.П.Дурново вступила в партию «Земля и воля»; на ее сходках она познакомилась с Григорием Преображенским и полюбила его. 6 июля 1880 г. Е.П.Дурново с уставом партии, письмами, листовками и деньгами была арестована в Петербурге на явочной квартире и заключена в Трубецкой бастион Петропавловской крепости; ей грозила ссылка в Западную Сибирь. В декабре 1880 г., по ходатайству отца, заключению врачей, а также под залог в 10 тысяч рублей Е.П.Дурново отдали родителям, и в конце декабря она покинула пределы Российской империи и поселилась в Женеве. Григорий Преображенский был сослан и в ссылке скончался. В 1883 г. Е.П.Дурново вышла замуж за Якова Константиновича Эфрона (1850–1909), также скрывавшегося за границей от полицейского преследования за революционную деятельность. В 1886 г. супругам со старшими детьми было разрешено вернуться на жительство в Москву. Вторичный арест Е.П.Эфрон произошел в 1906 г. на собрании партии социалистов-революционеров (максималистов); она была заключена в Бутырскую тюрьму, и ей грозила каторга. Она снова была освобождена до окончания дела под денежный залог на поруки семьи и летом 1907 г. по чужим документам уехала с младшим сыном Константином за границу. В начале февраля 1910 г. 14-летний Константин покончил с собой, в тот же день покончила с собой и мать. Похоронены они были в один день, 7 февраля 1910 г., на парижском кладбище Монпарнас. В донесениях

Департамента полиции о смерти Е.П.Эфрон она называется «известной революционеркой».

Конечно: Гапон. – Глава «Детство» поэмы «Девятьсот пятый год».

Об одной замене жалею… На мичмана в рабочей блузе. Куда лучше и как смысл и как звук. Братья всегда в выпачканных блузах, ничего не дает. – В ранней редакции (см. примеч. к п. 58) эта главка кончалась строкой «На мичмана в рабочей блузе»; в окончательной (8-я главка первой части) – строкой «На брата в выпачканной блузе».

Отцу я обязан – учителю я обязан – такому-то и т. д. – Римский император Марк Аврелий (121–180) начинает свою книгу философских афоризмов и размышлений «Наедине с собой» с благодарностей всем своим воспитателям.

Письмо 116

1190-3-18, 33–33 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – черновик письма к А.М.Горькому; после письма – черновики пьесы «Федра».

…Герою Горы… – К.Б.Родзевичу.

…один недавно вернувшийся с Н.З. (есть два «Н.З.», две, так не с той, которой думаешь, с неправдоподобной)… – Весьма вероятно, что это намек на кого-то из евразийского или околоевразийского круга, недавно вернувшегося из нелегальной поездки в Россию.

Ты, конечно, знаешь о страшном конце Дункан. – Айседора Дункан погибла, задушенная длинным шарфом, который затянуло в колесо автомобиля.

То же самое, что в 15–16 году с Клюевым. – Ц. имеет в виду романтические отношения, которые связывали в 1910-е годы Есенина и Николая Клюева.

Письмо 117

1190-3-165, 6–6 об.

Почт. шт.: Москва, 13.10.27. Послано на тот же адрес.

Письмо 118

1190-3-116, 1 (автограф Ц.).

Текст представляет собой конспект письма, на основе которого Ц. попросила К.Б.Родзевича написать письмо П. во время карантина в ее квартире.

С 365. *…из Сорренто получит книгу «После России», которая выходит на днях…* – В действительности выход книги Ц. затянулся до начала июня 1928 г.

Приложение
1334-1-830, 1–1 об.

Письмо 119

1190-3-18, 37 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра».

«С Северо-Южным, Знаю – неможным…» – Начальные строки поэмы Ц. «С моря», обращенной к П.

Место действия: сон, время действия – те самые его три минуты… – Отсылка к поэме «С моря».

Письмо к твоему отцу! – Имеется в виду письмо Ц. к Л.О.Пастернаку от 11.10.27 (Ц-ССб, 295). Письмо это было ответом на письмо мужа Жозефины Пастернак Ф.К.Пастернака (написанное по-французски), которое Ц. по невнимательности приняла за письмо Л.О.Пастернака. О выяснении произошедшей путаницы см. п. 126. Ф.Пастернак написал Ц., чтобы известить ее о переводе ей денег, – исполняя просьбу (о переводе), исходившую от П. (см. его письмо к Ф.Пастернаку от 3.10.27; П-СС8, 90–91).

Цитата из твоей автобиографии (указание на отца). Параллель с Марком Аврелием. – См. примеч. к п. 115. В упоминаемом письме Ц. цитировала начало автобиографии П.: «Я родился в Москве. <…> Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери, превосходной пианистке…» (Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. М.: Современные проблемы, 1926; см. также П-СС5, 210).

«Père Céleste ou père terrestre, c'est toujours une quest<ion> de filialité». – В переводе этого письма, напечатанном в Ц-ССб первая часть фразы пропущена; однако она есть во французском оригинале письма («Père terrestre ou père céleste…»; Hoover Institution Archives. Gleb Struve Collection. Box 2. Folder 32).

Письмо 120

1190-3-165, 8–9 об.
Почт. шт.: Москва, 16.10.27. Послано на тот же адрес.

…на Брестский, а не на Виндавский… – Ныне Белорусский и Рижский вокзалы.

В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность выразил так… – См. письмо П. к Горькому от 13.07.27 (ЛН-70, 298–300).

Если моему плану суждено осуществиться, то за границей я разделю с тобой работу, которая тебя обеспечит на год, на два. – Возможно, речь идет о плане нового перевода «Фауста» Гёте, о чем П. подробнее пишет в п. 167.

…Е<катерина> П<авловна> скоро должна привезти мои. – Е.П.Пешкова (первая жена Горького) приехала в Москву из Сорренто 21 октября 1927 г.

Благодарю за обращенье в «Море», за ссылку на мое сновиденье весны 1926-го… – Поэма «С моря» обращена к П. и содержит отсылки к его сну, описанному в п. 49.

«Не один ведь рай, над ним другой ведь – Рай; не один ведь Бог, над ним другой ведь – Бог». – Из поэмы Ц. «Новогоднее» (1927).

Письмо 121

1190-3-165, 11–12 об.

Почт. шт.: Москва, 18.10.27. Послано на тот же адрес.

Письмо 122

1190-3-18, 39–40 (тетрадь Ц.)

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра».

Помнишь тысячерукую индусскую богиню и русскую… Троеручицу. – Возможно, первый пример – это гипербола Ц. В индуистской мифологии супруга Шивы в одной из своих грозных ипостасей богини-воительницы, защитницы богов и мирового порядка от демонов, под именем Дурга изображается десятирукой, сидящей на льве или тигре. Ср. также в ст-нии 1940 г. «Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!..»: «Даже богиней тысячерукой / – В гнезд, в звезд черноте – / Как ни кружи вас, как ни баюкай / – Ах! – бодрствуете…» (СП, 469). Троеручица – один из типов икон Божией Матери, происхождение которого связывается с жизнью Иоанна Дамаскина. Его отрубленная правая рука чудесной помощью Божией Матери срослась. В благодарность Иоанн приписал на чудотворной иконе третью руку.

Расскажи К<оллон>тай, ей, наверное, понравится. – Александра Михайловна Коллонтай (1872–1952) до революции и

в первые послереволюционные годы была известна как активная сторонница женской эмансипации и реформирования института семьи. 10–17 октября 1927 г. в Москве проходил II Всесоюзный съезд работниц и крестьянок. А.М.Коллонтай, только в июне вернувшаяся из Мексики с поста полпреда и торгпреда СССР в этой стране, участвовала в съезде и 15 октября выступала с приветственным словом; однако активной работы среди женщин она к этому времени уже не вела. Возможно, Ц. в газетах попалась какая-нибудь цитата из выступления Коллонтай.

«Всё ты один – во всех местах…» – Из ст-ния Ц. «Брожу – не дом же плотничать…» (1923).

Гениальный стих, кажется, Dehmel'a, рассказанный мне кем-то своими словами. У нас есть всё: дом, хлеб, дети, пр. – Nur Zeit. – Парафраз первой строфы ст-ния Рихарда Демеля (Richard Dehmel; 1863–1920) «Der Arbeitsmann» («Рабочий»).

Письма того лета – сэн-жильские, в одном пакете с письмами Рильке, так и оставила. – Уезжая в августе 1941 г. в эвакуацию, Ц. передала этот пакет на хранение сотруднице Гослитиздата А.П.Рябининой, которая в начале 1970-х годов передала его наследникам П. См. предисловие к настоящему изданию.

Последнее его слово ко мне: «Erkennst Du mich so, auch so?» – Последняя строка последнего письма Рильке к Ц. от 19.08.26.

Письмо 123

1190-3-165, 14–14 об.
Почт. шт.: Москва, 21.10.27. Послано на тот же адрес.

Сейчас получил милое письмо от К.Родзевича. – См. п. 118 (Приложение).

Завуалированные… осужденья Савича, например, или еще больше, – Эренбурга… – О каких высказываниях О.Г.Савича и И.Г.Эренбурга идет речь, установить не удалось. По мнению биографа и исследователя творчества Эренбурга Б.Я.Фрезинского, речь может идти не о его печатных выступлениях, а об общем тоне отношения и, возможно, о каких-то устных высказываниях Эренбурга о поэмах П.

Письмо 124

1190-3-18, 41–41 об. (тетрадь Ц.)
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4 картина).

Помнишь – 3 день творения, Борис, в неумелой статье о

тебе. – См. примеч. к п. 104 (Продолжение).

…доказ<ательство> сирень и ландыши, мастерские и этим обреченные. – См. п. 110 (Приложение).

…fièvre pourpre (Св. Августин)… – Св. Августин болел «пурпурной лихорадкой» в детстве («Исповедь», кн. 1, гл. 1, § 17).

…жена Сувчинского. – Вера Александровна Сувчинская (урожд. Гучкова, во втором замужестве Трейл; 1906–1987).

…лицо Воскресения из Человека, который был Четвергом… – Герой романа Г.К.Честертона «Человек, который был Четвергом» (1908).

П.П.Сувчинский просил у меня твой адрес… – Первое письмо Сувчинского к П. датировано 23.10.27. Ответное письмо П. было написано 31.10.27 (П-СС8, 120–121). На этом переписка оборвалась и возобновилась лишь через тридцать лет, в 1957 г. См. полное издание переписки в кн.: *Козовой В.* Поэт в катастрофе. М.: Гнозис; Paris: Insitut d'Etudes Slaves, 1994. С. 209–286.

Письмо 125

1190-3-165, 21–21 об.

Почт. шт.: Москва, 24.10.27. Послано на тот же адрес.

Сегодня меня растрогали Святополк и Горький… – О письмах Святополка-Мирского к П. см. примеч. к п. 96 (Продолжение). Горький в письме к П. от 18.10.27 (ЛН-70, 300–301) лестно отозвался о книге «Девятьсот пятый год»; ответное письмо П. к нему датировано 25.10.27 (ЛН-70, 302–303; П-СС8, 109–110).

Письмо 126

1190-3-165, 19–19 об.

Почт. шт.: Москва, 26.10.27. Послано на тот же адрес.

Сейчас узнал о происшедшей путанице… – См. примеч. к п. 119.

Она замужем за моим (и своим, значит) троюродным братом. – Жозефина Леонидовна Пастернак (1900–1993) в апреле 1924 г. вышла замуж за Федора Карловича Пастернака (1880–1976), сотрудника Южно-немецкого банка, сына двоюродного брата Л.О.Пастернака Карла Евгеньевича Пастернака.

Пишу статью «о поэте»… – Этот замысел преобразовался вскоре в замысел «Охранной грамоты».

Письмо 127

1190-3-165, 16–16 об. К письму приложено письмо А.Цветаевой к Ц. (17–17 об.).

Почт. шт.: Москва, 26.10.27. Послано на тот же адрес.

Недавно я писал тебе, что меня растрогал Горький, потом я получил еще письмо от него, в результате которого спешу предостеречь тебя от возможных случайностей, которых надо избежать. – См. письмо Горького к П. от 19.10.27 (ЛН-70, 301–302) и ответное письмо П. от 27.10.27 (П-СС8, 112–116).

…ее спутник… – Речь здесь и далее идет об археологе по образованию, поэте-импровизаторе по выступлениям в московских литературных салонах 1920-х гг. и архиепископе «Ордена Духа» по титулованию в московских масонских обществах Борисе Михайловиче Зубакине (1894–1938), погибшем в Соловецком лагере. См. о нем подробнее: *Немировский А.И., Уколова В.И.* Свет звезд, или Последний русский розенкрейцер. М., 1994.

Письмо 128

1190-3-18, 44 об.–45 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).

А о голове своей: «Не трогать! свежевыбрита». – Обыгрывание начальной строки ст-ния П. «Не трогать» (сб. «Сестра моя жизнь»): «Не трогать, свежевыкрашен».

Начнем с твоего последнего письма, только-ч'него. – См. п. 123.

…Потемкина и Гапона (прежние имена, о которых сожалею) … – См. примеч. к п. 35 (преамбула).

…Баумана знала, но читала его тогда, не переводя на законные четверостишия… – Речь идет о главе «Студенты»; о графической подаче текста поэмы см. последнее примеч. к п. 46.

…из-за В<еры> Ст<епановны>… – Возможно, речь идет о В.С.Гриневич (урожд. Романовской), дочери коменданта Судакской крепости, племяннице Е.П.Блаватской. Ц. была знакома с ней с начала 1910-х годов; в 1928 г. в Париже они часто встречались.

…«поэт издалека заводит речь!..» – Начальные строки первого ст-ния цикла Ц. «Поэты» (1923).

Теперь будешь получать ту скарлатинную, шарлаховую хронику… – Далее Ц. и П. несколько раз пользуются названием

«шарлаховая хроника» для обозначения тех писем, которые Ц. писала в тетрадь во время болезни (к ним относятся все ее наброски за октябрь 1927 г., опубликованные выше). Шарлаховая – от *нем.* Scharlach (скарлатина).

«Маляры-то в поднебесьице…» – Строки из незавершенной поэмы 1926 г. (см. в СП под названием «Несбывшаяся поэма»).

Письмо 129

1190-3-18, 45 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).

…с письмом, начинавшимся Chère Madame. – См. пп. 119 и 126.

…на фоне Горьковского уважаемая… – Письма Горького к Ц. не сохранились.

…та девочка, когда-то поднятая на руки со смычком в руках… – Ошибка памяти Ц.: вспоминая рассказ П. о матери (см. п. 49), она «превращает» ее из пианистки в скрипачку.

…помнишь Vom lieben Gott, в Венеции… («Das Meer auch»). – См. рассказ Рильке «Из жизни венецианского гетто» в книге «Истории доброго Бога».

Письмо 130

1190-3-18, 47 об.–48 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – черновики пьесы «Федра» (4-я картина); после письма – полубеловик 4-й картины.

Твоих сестер ты мне явил сам – в воротах Дворца Искусств, когда читал Блок. – Ц. вспоминает о вечере во Дворце искусств на Поварской в мае 1920 г.

А нынче письмо с Нюрой. – См. п. 125.

«Ясное солнышко» Лукашевич. – Речь идет о первом сб. известной детской писательницы Клавдии Владимировны Лукашевич (1859–1931) «Ясное солнышко и др. рассказы» (М., 1898).

Письмо 131

1190-3-18, 53 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).

Письмо 132

1190-3-18, 55 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).
Датировано по МС.

…о твоем письме в руках и жизни Сувчинского. – См. примеч. к п. 124.

Письмо 133

1190-3-18, 59 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).
Датировано по МС.

…была переписка с Волконским… – О С.М.Волконском см. примеч. к п. 6б.

Письмо 134

1190-3-166, 1–3 об.
Почт. шт.: Москва, 16.11.27. Послано на тот же адрес.

Это не так легко устроить, и об этой нелегкости уже успел сказать Горький. – В письме к П. от 19.10.27 Горький писал, что возвращение Ц. в Россию не кажется ему возможным (ЛН-70, 302).

Он читал мне свою поэму, написанную к десятилетью… – См. примеч. к п. 110.

В прозе, которую посвящаю памяти Рильке (полувоспоминанья, полуфилософия), будет о «Поэме Конца»… – Речь идет о работе над «Охранной грамотой» (1928–1931).

Тем летом я что-то пробовал для детей писать… – П. говорит о своих ст-ниях «Зверинец» и «Карусель»; см. п. 30 и примеч. к нему.

Прости, доскажу в другой раз. – См. п. 157.

Письмо 135

1190-3-18, 61 об.–62 (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).

В отдельном письме напишу тебе на днях одну встречу, жаркую, жуткую… – См. п. 137.

Недавно напала на свою брошенную вещь «Егорушка»… – Поэма Ц., начатая в 1921 г. и продолженная в 1928 г.; не была

завершена.

Маяковского передернуло от твоих червей… – В ранней редакции главы «Морской мятеж» из поэмы «Девятьсот пятый год» были строки: «– Порчи нет никакой. / Это черви. / Смыть и только, – / И – кокам: / – Да перцу поболее в борщ» (П-СС1, 524).

…кровавостью Б<ернаноса>… – Жорж Бернанос (1888–1948) выпустил к этому времени два романа: «Под солнцем Сатаны» (1926) и «Обман» (1927).

Письмо 136

1190-3-18, 63 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).

Письмо 137

1190-3-18, 65 об.–66 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики пьесы «Федра» (4-я картина).
Датировано по МС.

Это была самая красивая из всех моих соучениц… Его друг: ее брат. – Речь идет о В.А.Завадской и Ю.А.Завадском (см. примеч. к п. 101).

Кстати у тебя в Мюнхене – п<лемянник> и<ли> п<лемянница>? – В ноябре 1927 г. у Жозефины Пастернак родилась дочь.

Письмо 138

Семейный архив Б.Пастернака.
Почт. шт.: Meudon, 2.<12.>27; Москва, 7.12.27.

1 декабря 1927 г. – В оригинале ошиб.: 1 ноября.

О «905 г.» после высказываний Сувчинского и Мирского (№ 3 «Верст», выходящий на этой неделе) мне писать трудно… – В указанном номере журнала была опубликована статья Святополка-Мирского «“1905 год” Бориса Пастернака» (см. также примеч. к п. 145). Что касается отзыва Сувчинского о книге П., то, по-видимому, Эфрон был в курсе того, что тот написал в своем письме к П. от 23.10.27 (см. примеч. к п. 124).

Письмо 139

1190-3-166, 5–5 об.

Почт. шт.: Москва, 14.12.27. Послано на тот же адрес.

…твои дорогие письма. Они все получены, их было три… – Из упомянутых П. писем первое неизвестно (ср., однако, упоминание в п. 135 «На вчерашнее письмо и книгу С. отозвалась листочком»); второе, судя по описанию, включало пп. 132, 133 и 135; третье – п. 137.

Radiguet – Раймон Радиге (1903–1923), французский писатель. Согласно МС, речь о нем шла в письме Ц. от 12.11.27 (п. 133).

Как жалко, что Ек<атерина> Павл<овна> уехала до ее выхода. – Речь идет о Е.П.Пешковой. Выход книги Ц. затянулся однако еще на полгода (см. примеч. к п. 118).

Я не уверен, что вся эта Асина затея удачна. – Здесь и в ряде последующих писем речь идет о плане материальной помощи семье Ц. По плану А.Цветаевой, эта помощь могла бы исходить от Горького и идти через П., чтобы исключить прямой контакт Горького и Ц.

Письмо 140

1190-3-166, 7–7 об. К письму приложено письмо А.Цветаевой к Ц. (8–8 об.) и ее сына Андрея Трухачева к Але Эфрон (9–9 об.).

Почт. шт.: Москва, 27.12.27. Послано на тот же адрес.

Вошла ли Федра в 3-и Версты и вышли ли последние? – «Федра» Ц. была опубликована в СЗ, 1928, кн. 36–37.

…вероятно, она уже давно появилась. – См. примеч. к п. 118.

…с Г<орьким> у меня вышло крупное недоразуменье, очень фатального характера… – В ответ на письмо П. от 27.10.27 (не включено в ЛН-70; см. П-СС8, 112–116) Горький предложил прекратить переписку. В том письме П., в частности, просил Горького отказаться от участия в планах денежной помощи Ц. (идея вовлечения Горького в этот план принадлежала А.Цветаевой). См. последующие письма П. и Горького в ЛН-70.

Письмо 141

1190-3-19, 24 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: поправки к пьесе «Федра» (4 картина).

Перекличка с Рильке (вспомни Мальте) – Новый Год и бинт, Новый Год и госпиталь, окраина и, проще – его собственная смерть: умер ведь пожр<анный> белыми шариками. – Ц. вспоминает эпизод из романа Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге»,

когда герой сидит в очереди в клинике: «И много было тут повязок. Повязки, слой за слоем окутывавшие голову, оставляя на виду лишь один, одинокий, уже ничей глаз. Были повязки, которые скрывали, и повязки, которые выпячивали то, что под ними. Бинты, которые развязались, и в них, как в грязной постели, лежала рука – уже не рука. А то забинтованная нога выпирала из ряда, огромная, как весь человек» (*пер. Е.Суриц* в кн.: *Рильке Р.М.* Записки Мальте Лауридса Бригге. М.: Известия, 1988. С. 53). Сам Рильке умер от рака крови (белокровия).

Письмо 142

1190-3-67, 1–3.
Почт. шт.: Москва, 2.01.28. Послано на тот же адрес.

…на Праздники все из Берлина уехали в Мюнхен. – В Берлине жили родители и младшая сестра П. Лидия; в Мюнхене – старшая Жозефина с мужем.

А проза всё ни с места. – Речь идет о замысле «Охранной грамоты».

Письмо 143

1190-3-209, 1–1 об.
Конверт не сохранился.

М.И. писала мне о предполагающейся поездке Д<митрия> П<етровича> и П<етра> П<етровича> в Сорренто. – Поездка Святополка-Мирского и Сувчинского к Горькому состоялась в первой половине января 1928 г. См. об этом подробнее: *Примочкина Н.Н.* Горький и писатели русского зарубежья. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 249–251.

Письмо 144

1190-3-167, 4–9.
Почт. шт.: Москва, 6.01.28. Послано на тот же адрес.

О полном имени твоей подруги догадался по инициалам. В Берлине я раз или два видался с – пасынком ее, вероятно; кажется, звали его Владимиром, и пробовал он себя в стихах. – Речь, по всей вероятности, идет об Анне Ильиничне Андреевой (урожд. Денисевич, в первом браке Карницкой; 1883–1948), вдове писателя Л.Н.Андреева, многолетней близкой знакомой Ц., и ее

пасынке Вадиме Леонидовиче Андрееве (1902–1976), поэте и прозаике, старшем сыне писателя от первого брака. В 1922 г. В.Л.Андреев жил в Берлине и был студентом университета; о знакомстве с П. в Берлине и нескольких встречах с ним см.: *Андреев В.* История одного путешествия. Повести. М.: Сов. писатель, 1974. С. 310–317.

Помнишь время, когда Бетховен оказывался бельгийским композитором на программах Кусевицкого? – П. вспоминает об антигерманских настроениях в русском обществе в начале Первой мировой войны. Сергей Александровчи Кусевицкий (1874–1951) – контрабасист и дирижер. Отец Бетховена был родом из центральной провинции Бельгии – Брабанта.

Не была ли ты временами скрытой германофилкой, не в отношеньи Берлина, разумеется, а по линии Беттины? – См. записи Ц. «О Германии» (1919), а также ее мемуарный очерк «Нездешний вечер» (1936) о публичном чтении ею в 1916 г. в Петербурге своего ст-ния «Германии».

В сентябрьском №-ре журнала «Die Neue Rundschau» напечатано несколько писем Rilke. – Речь идет о следующей публикации: *Rilke, Rainer Maria.* Briefe an eine Freundin // Die Neue Rundschau 1927. № 9. S. 301–308. В публикацию вошли пять писем Рильке к Элизабет фон Шмидт-Паули (Elizabeth von Schmidt-Pauli) за 1917–1922 гг.

…вот выдержки из его писем того времени. – Ниже П. цитирует письма от 3.12.17 и 4.02.18 из указанной выше публикации (с. 302 и 303, соответственно).

…вчера, по-видимому, закончилась и моя короткая эпопея с Горьким… – См. письмо П. к Горькому от 4.01.28 (ЛН-70, 307).

Потом я послал ему 1905-й с надписью: величайшему оправданью эпохи. – Надпись была следующей: «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраженью и оправданью эпохи с почтительнейшей и глубокой любовью. Б.Пастернак. 20.IX.1927. Москва» (П-СС8, 95).

…переводчица Люверс на англ<ийский> – М.И.Закревская, близкий друг Г<орько>го… – Перевод «Детства Люверс», сделанный Марией Игнатьевной Закревской-Будберг (1892–1974), остался неопубликованным. См. публикацию предисловия Горького к нему в ЛН-70, 308–310.

Вчера я получил книгу. Кавычки – его… – Вот точный текст надписи Горького: «Пожелать вам “хорошего”, Борис Леонидович? Боюсь – не обиделись бы вы, ибо: зная, как много хорошего в поэзии вашей, я могу пожелать ей только большей простоты. Мне часто кажется, что слишком тонка, почти неуловима в стихе вашем связь между впечатлением и образом. Воображать – значит

внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично. Может быть, я ошибаюсь? Тогда – извините ошибку. Искренне желающий вам *всего* хорошего А.Пешков» (ЛН-70, 308).

Удалась ли поездка друзей в Сорренто? – Имеется в виду поездка П.П.Сувчинского и Д.П.Святополка-Мирского (см. пп. 143 и 146).

Письмо 145

1190-3-167, 10–12.
Почт. шт.: Москва, 10.01.28. Послано на тот же адрес.

Приехал человек, привезший Версты. – Этим человеком был Б.И.Збарский, приехавший из Берлина (см. в п. 140 просьбу П. переслать книги в Берлин). См. письмо П. к родителям от 27–28.12.27 (ПРС, 371–372).

…и всё становится литературой в Верленовом смысле слова. – П. вспоминает ст-ние Поля Верлена «Art poétique» («Искусство поэзии»), с его последней строкой: «Et tout le reste est littérature» («Всё прочее – литература»; *пер. Б.Пастернака*).

Пробежал, конечно, и статью Дм<итрия> Петр<ови>ча. – Имеется в виду статья Д.П.Святополка-Мирского «”1905 год” Бориса Пастернака».

«Великий революционер и преобразователь русской поэзии». – Вот финал статьи Святополка-Мирского: «“Лейтенантом Шмидтом” Пастернак, великий революционер и преобразователь Русской поэзии, поворачивается ко всей старой традиции русской жертвенной революционности и дает ей то творческое завершение, которой она сама себе не в силах была дать. Традиция одиноких, единственная жившая в Пастернаке-лирике, традиция Тютчева, Фета, Анненского сливается с традицией не нашедшей слова общественности (посленекрасовской). Все узлы дореволюционной русской традиции сошлись теперь в поэте, который исходная точка всех будущих русских традиций» (Версты. 1928. № 3. С. 154).

…о «Верстах» (о Сувчинском и Струве)… – В № 3 «Верст» были напечатаны «Письма в Россию» Сувчинского, однако ни в них, ни в других материалах номера Струве не упоминался. Это заставляет предположить, что Ц., пользуясь оказией (см. выше), переслала П. какие-то газетные вырезки, связанные с бурной полемикой, развернувшейся вокруг евразийства осенью 1927 г. Начало ей положила статья В.Л.Бурцева «В сетях Г.П.У.»

(Иллюстрированная Россия. 1927. 8 окт. № 41. С. 1), которую затем отреферировали многие эмигрантские издания. В статье содержались утверждения об инфильтрованности ряда эмигрантских политических организаций (в том числе евразийского движения) советскими агентами и о получении этими организациями денег от большевиков; в отношении евразийцев говорилось и об их идеологической близости к большевизму. Эти разоблачения были, в свою очередь, связаны с произошедшим еще весной этого года разоблачением «Треста», задуманного большевиками как провокаторская «антибольшевистская» организация, с помощью которой они могли бы контролировать реальную антисоветскую работу эмиграции. П.Б.Струве, недовольный тем, что разоблачения Бурцева поставили под удар некоторые из близких ему организаций и близких ему лиц (прежде всего В.В.Шульгина), в своей критике выступления Бурцева перевел стрелки всех обличений исключительно на евразийцев (*Струве П.* Дневник политика: «Разоблачения» В.Л.Бурцева и какая им цена? // Россия. 1927. 15 окт. № 8. С. 1; Он же. Дневник политика: Чем обертывается и во что развертывается евразийская идеология? // Там же. С. 2). П.Сувчинский ответил на обвинения Бурцева (*Сувчинский П.* Письмо в редакцию // Дни. 1927. 23 окт. № 1215. С. 2), однако в публичную полемику со Струве так и не вступил. См. подробнее о материалах этой полемики: *Флейшман Л.* В тисках провокации: Операция «Трест» и русская зарубежная печать. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 243–255.

Сережину статью обнял по-братски, как младшего брата… – В ж. «Версты», 1928, № 3 была напечатана статья С.Я.Эфрона «Социальная база русской литературы».

Письмо 146

Семейный архив Б.Пастернака.
Почт. шт.: Meudon, 14.01.28; Москва, 19.01.28.

Письмо 147

1190-3-167,13–14.
Почт. шт.: Москва, 17.01.28. Послано на тот же адрес.

Напрасно ты вдаешься в сближенья с Р<ильков>ским белокровьем… – См. п. 141.

А сейчас пришло твое письмо… – По-видимому, именно это письмо зафиксировано в МС как датированное 8.01.28; согласно

МС, в нем Ц. говорила о своем ощущении «нарастающей встречи» и связанном с ним «страхе сглаза» (1334-1-834, 35).

Если бы подвернулась возможность воспользоваться на месте практически «Годом», то эта вещь его полная и личная собственность. – Намек на разрешение перепечатать поэму в эмигрантском издании/издательстве, чтобы материально помочь семье Ц.

…надо будет анапест собрать в четверостишья… – См. примеч. к п. 46.

…был прецедент с «Птицеловом»… – См. примеч. к п. 100. Возможно, П. дал разрешение этому изд-ву перепечатать какие-то свои произведения; однако перепечатка не состоялась.

Письмо 148

1190-3-18, 73 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики поэмы «Егорушка» (глава «Соколиная слободка»).

Отъезд Томашевских. – Речь идет о литературоведе Борисе Викторовиче Томашевском (1890–1957) и его первой жене Раисе Романовне Томашевской. См. также п. 151.

…Г-жа Ролан умирала с портретом Бриссо, а Бриссо с портретом Г-жи Ролан. – Ц. вспоминает о ярких фигурах жирондистской партии – Манон Ролан (1754–1793) и Жаке-Пьере Бриссо (1754–1793), окончивших жизнь на эшафоте.

…доклад о формальном методе, из которого впервые узнала об Опоязе и несбывшемся каком-то Емельке (М.Л.К.)… – Речь идет о докладе, прочитанном Б.Томашевским. В том же году по-французски была опубликована его статья на эту тему: La nouvelle école d'histoire littéraire en Russie // Revue des études slaves. 1928. T. 8. Fasc. 3–4. P. 226–240. ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) и МЛК (Московский лингвистический кружок) – научные сообщества конца 1910-х – начала 1920-х гг., связанные с двумя ветвями русской формальной школы.

Письмо 149

1190-3-18, 82 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики поэмы «Егорушка» (глава «Соколиная слободка»).

…если бы ты знал историю Царь-Девицы и Красного Коня… – Работе над поэмой «Царь-Девица» предшествовал роман Ц.

с Н.Н.Вышеславцевым; работе над поэмой «На красном коне» – ее роман с Е.Л.Ланном.

Продолжение
1190-3-18, 81 об. (тетрадь Ц.).
Контекст в тетради: черновики поэмы «Егорушка» (глава «Соколиная слободка»).

«Только пела и ждала»… – Из ст-ния Ахматовой «Помолись о нищей, о потерянной…» (1912).
«Und schlafen möcht ich schlafen…» – Финальные строки ст-ния Аннетты фон Дросте-Гюльсгоф (Annette von Droste-Hülshoff; 1797–1848) «Die Taxuswand» («Стена из тиса», 1841–1842); в оригинале: «O, schlafen möcht' ich, schlafen…»

Письмо 150

1190-3-168, 1–1 об.
Конверт не сохранился.

Высылаю тебе № Печати и Революции, где статья об эмигрантской литературе, и о тебе, и о Верстах… Горбов еще и партийный к тому же. – Речь идет о статье Д.А.Горбова «10 лет литературы за рубежом» («Печать и революция», 1927, № 8, дек., с. 9–35), в которой значительное место уделено «идеологии» авторов ж. «Версты» и поэзии Ц. (подробный разбор «Поэмы Горы», «Фортуны», «Крысолова»); на общем фоне советской критики статья выделяется умеренностью выражений и выводов.

Письмо 151

1190-3-168, 2–2 об.
Конверт не сохранился.

С. 424 *Уже затомашились и томашатся.* – Речь идет о возвращении из Парижа Б.В. и Р.Р. Томашевских.
Она написала мне письмо о тебе. – Приводим это письмо в объяснение неприязненной реакции П.:
«*Ленинград, 22 февраля 1928 г.*
Борис Леонидович —
Сегодня отослала Вам по почте "привет М.И." и вспомнила, что в портсигаре сложная застежка: надо взять в руки болтающийся придаток и потянуть к себе, проведя вдоль всей застежки. Я не умею давать технических объяснений – думаю –

поймете. Кроме того, внутри лежит завернутый в бумагу крошечный стеклянный футляр – не разбейте, ради святого. Я была одновременно с Б.В.Томашевским (моим мужем) в Париже, видела М.И. и поняла, как она дорожит всем тем, что отдаленным образом касается Вас как Поэта и человека. Небольшой курьез: на чаепитии у С.Прокофьева М.И., указав на самый изысканный каштановый торт, попросила: “ – Дайте мне еще кусок того… этого… лучшего… Пастернака”. Так весь вечер – интересный по форме и чудесный по вкусу торт назывался “Пастернаком”. Я предупредила М.И., что – если представится случай – расскажу Вам это. “Санкционировала” – вот и рассказываю. Ее радует Ваша поэтическая слава и беспокоит Ваша внешняя жизнь. Мне все-таки удалось убедить ее в том, что в СССР поэты в 27 году живут лучше, чем поэты Парижа. – Забота и интерес к Вам у М.И. необычайный. Всё это – в связи со всей внутренней структурой ее – носит трогательный характер. Она жаждет Ваших новых стихов, следит за критикой. Послала ей недавно большую рецензию о Вас, напечатанную в нашей “Вечерней Красной”. Будет рада. Как она живет, что пишет (много) могу сообщить Вам – если Вас интересует, если Ваша с ней переписка ослабела. Привет. Р.Томашевская» (1334-1-831).

…к чему эта Т<омашевская> вздумала посылать тебе вырезку. – Томашевская послала Ц. статью-рецензию Бориса Бухштаба на сб. П. «Две книги»: *Бухштаб Б.* Лирика Пастернака // Красная газета. Вечерний выпуск. Л., 1928. 10 февр. № 40. С. 5.

…меня больше всего растрогала статья И.Розанова в периодическом сборнике «Родной язык в школе»… – Иван Никанорович Розанов (1874–1959) в 1927 г. поместил в научно-педагогических сборниках «Родной язык в школе» серию статей «Современные лирики»; одна из них называлась «Маяковский и Пастернак». В этой статье, отмечая, что поэзия Маяковского уже клонится к своему закату, Р. львиную долю внимания уделял П. Начиная свой разбор с первых сборников поэта, он прослеживал его путь до последних поэм и в заключительном абзаце, упоминая Тютчева, Лермонтова и Пушкина, утверждал: «Такого ученика не постыдились бы и наши классики» («Родной язык в школе», 1927, кн. 5, с. 138).

…то, что ты сообщаешь о задержке книги, просто ужасно, и меня как громом, поразило. – Ц., по-видимому, писала о финансовых трудностях, задерживающих выход сб. «После России».

Письмо 152

1190-3-168, 3–4.

Почт. шт.: Москва, 28.02.28. Послано на тот же адрес.

Мне захотелось звякнуть тобой и Рильке в ответ… – В еженедельнике литературы и искусства «Читатель и писатель» ответ П. был помещен последним в ряду ответов А.Серафимовича, Л.Леонова, Г.Санникова, Н.Асеева, М.Козакова и М.Слонимского («Читатель и писатель», 1928, 11 февр., № 4/5, с. 4). Первая часть, посвященная писателям, начинается так: «В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт и мой любимейший учитель Райнер Мария Рильке знает о моем существовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обязан. В те же приблизительно дни мне попалась в руки “Поэма Конца” Марины Цветаевой, лирическое произведение редкой глубины и силы, замечательнейшее со времени “Человека” Маяковского и есенинского “Пугачева”. Оба эти факта обладали такой сосредоточенной силой, что без них я не довел бы работы над “Девятьсот пятым годом” до конца. Я обещал себе по окончании “Лейтенанта Шмидта” свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и все время поддерживало меня» (П-СС5, 219–220).

Поместили с почти трогательной оговоркой от редакции… – Оговорка, однако, относится не к приведенному выше пассажу, а ко второй части ответа П.:

«Теперь о читателе.

Я ничего не хочу от него и многого ему желаю. Высокомерный эгоизм, лежащий в основе писательского обращения к “аудитории”, мне чужд и недоступен. По прирожденной золотой способности читатель сам всегда понимает, что в книге делается с вещами, людьми и самим автором. Вдалбливая ему наши выдумки о том, что мы именно сделали и как этого достигли, мы не просвещаем его, а обеспложиваем. Кроме того, и из нас-то понимают толком, что делают, лишь те, которые делают очень мало и плохо, – основание для поучений довольно гнилое. Вызов к автору незаслуженно унижает читателя. Наши произведения должны и могут быть его личными сердечными событиями. Выводя читателя из его загадочной неизвестности на скудный свет наших жалких самоистолкований, мы трехмерный мир автора, читателя и книги превращаем в плоскую иллюзию, никому не нужную.

Вероятно я люблю читателя больше, чем могу сказать. Я замкнут и необщителен, как он, и в противоположность писателям переписки с ним не понимаю» (П-СС5, 220).

В помещенной ниже заметке «От редакции» говорилось: «Тов. Борис Пастернак, как это явствует из его обращения, занимает в отношении к читателям позицию, несколько отличную от той,

которой держится ряд других высказавшихся писателей. Редакция предоставляет тем не менее и его соображения вниманию товарищей-читателей, рассчитывая, что эти соображения имеют право на уважение, ибо они вполне искренни. Это не лишает, понятно, нас права думать по вопросу, затронутому в соображениях тов. Б.Пастернака, иначе, чем он» (П-СС5, 603).

Представь, за тебя обиделся близкий мне человек, братний шурин, Н.Н.Вильям, – я тебе о нем однажды писал. – См. примеч. к п. 23.

…биографическая проза движется до чрезвычайности медленно… Матерьяльная необходимость заставила меня отдать в «Звезду» небольшое и до смешного незначительное начало. – Речь идет об «Охранной грамоте». Ее первая часть появилась в Зв, 1929, № 8.

Письмо 153

1190-3-18, 93 об.–94 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: планы и первые наброски главы «Лебединая слободка» (поэма «Егорушка»).

…после землетрясения Мессины. Я тогда в Сицилии, сев в цинковую ванну, чуть не умерла от иной достоверности. – Разрушительное землетрясение в Мессине произошло в 1908 г. Ц. была на Сицилии ранней весной 1912 г.

С 1925 г. ни одной строки стихов. – Темы этого письма (кризис лирического творчества и его причины) повторялись, как минимум, еще в одном письме весны 1928 г. В МС зафиксированы следующие фразы из письма Ц. от 16.04.28: «Я привыкла к perpetuum mobile, к вечному шуму воды и вдруг тихо»; «Не потому не хочу, что не можется, а потому не могу, что не хочется»; «Что я могу тебе дать, когда я – не я? Не пишу тебе от стыда»; «Полюбила бы, поцеловав. И все хляби бы небесные разверзлись. Не хватило бы двух рук для стихов»; «Пока могу *не* – не надо: нужно *не* смочь не. Мне нужен *ты*» (1334-1-834, 35).

…всё же промчится скорей песней обманутый день. – Эта строка из Овидия, скорее всего, была памятна Ц. по сб. С.Парнок «Стихотворения» (1916), в котором она поставлена эпиграфом к четвертому разделу, а также завершает ст-ние «Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут…» (1912).

Сейчас Егорушка по долгу чести. – См. примеч. к п. 135.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) – философ, в эти годы близкий к евразийскому кругу.

…пробеги очередного фильма, вчера, например, Декабристы. –

Советский фильм 1927 г., режиссер А.В.Ивановский.

…умирает брат моей подруги, брат Вашего московского Чацкого (Завадский), Володя… – Владимир Александрович Завадский (1896–1928), младший брат Ю.А. и В.А. Завадских, бывший доброволец, жил в Париже с матерью, теткой и сестрой, служил в банке. Умер 8 марта 1928 г. С его смертью связана поэма Ц. «Красный бычок» (1928).

Алексинский Иван Павлович (1871–1955) – профессор, хирург работал в русской, хирургической клинике в Вильжюиф.

…Россия так далёко, после вчерашнего смотра войск (в отд<еле> Смесь) еще дальше… – По-видимому, Ц. говорит о советской кинохронике, сопровождавшей показ упомянутого выше фильма «Декабристы». В конце февраля 1928 г. в Москве и Петрограде прошли торжественные парады по случаю 10-летнего юбилея Красной армии.

…после сегодняшней крестьянки М., учащейся стрелять по портрету Чемберлена, – еще дальше… – В газ. «Последние новости» (1928, 4 марта, № 2538, с. 3) был помещен блок фотографий, две из которых, вероятно, соединились в сознании Ц.: фотография скульптуры В.Мухиной «Крестьянка» и фотография, озаглавленная «Пли, по Чемберлену», со следующей подписью: «Московская работница за прицельным станком учится стрелять. Мишенью служит портрет Чемберлена». Премьер-министр Великобритании Н.Чемберлен оказался в СССР мишенью идеологической кампании после инициированного Великобританией разрыва дипломатических отношений между двумя странами в мае 1927 г.

Письмо 154

1190-3-209, 2–2 об.

Почт. шт.: Москва, 6.03.1928; Meudon, 10.03.1928. Послано на тот же адрес.

Видел вчера новую кин<ематографическ>ую картину… на тему «Октябрь». Режиссер и оператор, рослые, светлые, молодые, хорошо сложенные, достойные люди. – Режиссером фильма «Октябрь» (1927) был С.М.Эйзенштейн, главным оператором – Э.К.Тиссэ.

Письмо 155

1190-3-168, 5–6.

Почт. шт.: Москва, 10.03.28. Послано на тот же адрес.

…23-я тоска и разлука никогда не кончались… – Речь идет о 1923 г. в истории отношений П. и Ц.

М.б. что-нибудь удастся сделать до Люверс. – Т. е. до публикации английского перевода «Детства Люверс» (см. примеч. к п. 144). Перевод не вышел.

Письмо 156

1190-3-168, 7–8.

Почт. шт.: Москва, 31.03.28. Послано на тот же адрес.

…насчет того, что ты назвала «физиологией творчества». – См. п. 153.

А летние стихи? Не Х<одасеви>ч? – См. п. 110 (Приложение), а также оценку Ц. этих стихов в п. 124.

…когда ходил к тебе с письмами С<ереж>и в Борисоглебский. – Судя по тетрадной записи Ц. от 28.02.35 (1190-3-26, 155), П. один раз приходил в ее квартиру в Борисоглебском переулке, чтобы передать письмо Эфрона, полученное от Эренбурга (ср. также п. 2).

Письмо 157

1190-3-168, 9–10.

Почт. шт.: Москва, 11.04.28. Послано на тот же адрес.

…с присылки твоего подписного листа в особенности… – Имеется в виду подписной лист на сб. Ц. «После России». Подписка оказалась условием, которое выставил издатель для издания сборника.

Ломоносова (урожд. Розен) Раиса Николаевна (1888–1973) – жена русского инженера Ю.В.Ломоносова (1876–1952). В письме от 5.04.28 П. обратился к ней с просьбой о денежной помощи Ц. в обмен на его эквивалентную денежную помощь кому-нибудь из родных или знакомых Ломоносовой в России (П-СС8, 199–200; см. также: «Неоценимый подарок»: Переписка Пастернаков и Ломоносовых (1925–1970) // Минувшее. 1994. Т. 15). Ломоносова тотчас же откликнулась на просьбу П., после чего у нее с Ц. завязалась длительная переписка. См. письма Ц. к Ломоносовой в Ц-СС7, 313–349.

Однажды я начал тебе рассказывать о 20-ти ф<унтах> стер<лингов>, чудесным образом пришедших на мое имя… – См. п. 134.

С 437. *…о дневнике В<ырубовой>.* – Речь идет о литературной мистификации, приписываемой А.Н.Толстому и П.Е.Щеголеву, – мнимых дневниках близкой подруги императрицы Александры Федоровны – Анны Александровны Вырубовой (1884 – после 1929).

Мериме ли, нет ли, – для, тебя это – Песни западных славян, и кончено. – Имеется в виду знаменитая литературная мистификация Проспера Мериме – сб. «Гузла» (1827), вдохновивший Пушкина (не разгадавшего мистификации и посчитавшего книгу собранием аутентичных народных песен) на цикл «Песни западных славян» (1834).

Письмо 158

1190-3-168, 11–12.
Почт. шт.: Москва, 23.04.28. Послано на тот же адрес.

Письмо 159

1190-3-169, 1–6.
Почт. шт.: Москва, 7.06.28. Послано на тот же адрес.

…о Красном бычке… – См. примеч. к п. 157.

…всякие тупицы и Слащевы от литературы. – Яков Александрович Слащев (1885–1929) был генералом деникинской, а потом врангелевской армии, вместе с которой эвакуировался в Турцию. В 1921 г. вернулся в Россию, служил в Красной армии.

…его женой, детьми Есенина… – В.Э.Мейерхольд был женат на З.Н.Райх, в прошлом жене С.Есенина и матери его двоих детей, Татьяны и Константина.

Осенью скончалась Лили Харазова… – См. о ней примеч. к п. 84.

Не могу найти 2-го и 3-го тома Бальзаковых «Illusions perdues»… Купи, пожалуйста, и пришли мне их почтовой бандеролью… – Эту просьбу П. по поручению Ц. исполнил Н.П.Гронский (см. его письмо к ней от 20.07.28; МЦНГ, 31).

Письмо 160

1190-3-20, 4 об. (тетрадь выписок Ц.: СТ, 388–389).

Письмо 161

1190-3-169, 7–12.

Почт. шт.: Москва, 29.06.28. Послано на тот же адрес.

С 443. *Горячо поздравляю тебя! Какие удивительные выдержки!* – Ц. послала в письме газетную вырезку с рецензией В.Ф.Ходасевича на ее только что вышедший сб. «После России» («Возрождение», 1928, 19 июня, № 1113); в ней критик цитирует одну строфу ст-ния «Что же мне делать, певцу и первенцу…» и полностью ст-ние «Рас – стояния: версты, мили…».

Нетерпеливо жду путешественника с книгой (я совсем не знал, что он у вас). – Речь идет о П.Г.Антокольском, бывшем в Париже вместе с Театром им. Евг. Вахтангова (см. конец письма).

Все, что он (Х<одасевич>) говорит о тебе в ущерб мне – правильно, и я сам бы сказал и говорю. Но одно утвержденье – вошло в меня глубоким уколом. – П. задело следующее наблюдение критика: «Поэтика прошлого века не допускала одержимости словом; напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, доходящая порой до признания крайнего словесного автономизма и во всяком случае значительно ослабившая узлы, сдерживавшие “словесную стихию”, дает Цветаевой возможности, не существовашие для Ростопчиной. Причитание, бормотания, лепетания, полузаумная, полубредовая запись лирического мгновения, закрепленная на бумаге, приобретает сомнительные, но явочным порядком осуществляемые права. Принимая их из рук Пастернака (получившего их от футуристов), Цветаева в нынешней стадии своего творчества ими пользуется – и делает это целесообразнее своего учителя, потому что применяет именно для дневника, для закрепления самых текучих душевных движений. И не только целесообразней, умней, но главное – талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденней его, – вдохновенней. Наконец, и по смыслу – ее бормотания глубже, значительней. Читая Цветаеву, слишком часто досадуешь: зачем это сказано так темно, зачем то – не развито, другое – не оформлено до конца. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что всё это так темно: если словесный туман Пастернака развеять – станет видно, что за туманом ничего или никого нет. За темнотою Цветаевой – есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее же словами, – “Присягаю: люблю богатых!”. Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады – люблю Цветаеву» (МЦКС1, 348–349).

Иногда, – не по его поводу, он оснований не подал – думаю о Синаях и Давидах. – Ближайшим поводом к этим размышлениям П. представляется блок материалов на тему «Россия и еврейство»,

помещенный в № 3 «Верст»: 1) От редакции; 2) Л.П.Карсавин. Россия и евреи; 3) А.З.Штейнберг. Ответ Л.П.Карсавину; 4) А.З.Штейнберг. Достоевский и еврейство. Особенно убеждает в этом предположении одна сноска в статье Карсавина, текстуально совпадающая с размышлениями П.: «Конечно, есть еще и евреи, лишь “случайно” рожденные в еврействе, а по существу природные христиане» («Версты», 1928, № 3, с. 66).

Перерабатываю для переизданья две первые книги… – Речь идет о переработке стихов из ранних сб. «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров». Эти переработки вошли в сб. «Поверх барьеров» (1929).

…твое «Знаю, умру на заре»… – См. примеч. к п. 1.

«Рослый стрелок, осторожный охотник…» – Ст-ние впервые было напечатано в сб. «Поверх барьеров» (1929).

…с этой безмерностью в мире мер… – Из ст-ния Ц. «Что же мне делать, слепцу и пасынку…» (цикл «Поэты», 1923).

Письмо 162

Семейный архив Б.Пастернака.

Почт. шт.: Paris, 4.07.28; Москва, 12.07.28 и 13.07.28. Написано на двух открытках с видами Парижа, вложенных в один конверт.

…в пресловутой Ротонде… – Знаменитое кафе на бульваре Монпарнас, служившее местом встреч для артистической богемы Парижа.

…пережидаем время (до Сережиного поезда). – Речь идет о поездке С.Эфрона на Антлантическое побережье Франции для того, чтобы снять дачу для летнего отдыха семьи. Дача в местечке Понтайяк около Ройяна была снята, и Ц. с детьми уехала туда 10 июля.

Письмо 163

1190-3-169, 13–15.

Почт. шт.: Москва, 8.07.28. Послано на тот же адрес; переадресовано на летний адрес в Понтайяке: Villa Jacqueline Gilet, Pontaillac, Charente Inferieure.

Павлик – П.Г.Антокольский.

Татьяна Федоровна – Т.Ф.Скрябина.

Буданцев Сергей Федорович (1896–1940) – писатель и литературный критик.

Если телеграмма попадет на ее вечер… – Речь идет о вечере Ц., состоявшемся 17 июня 1928 г.

…Лейбницеву Теодицею. – Имеется в виду сочинение Г.Лейбница «Теодицея (О том, что Бог добр)», в котором постулировалось, что мир, созданный Богом, совершенен настолько, насколько может быть совершенным творение.

Письмо 164

1190-3-209, 4.

Почт. шт.: Москва, 20.07.1928. Открытка. Послана на тот же адрес; переадресована: Pontaillac près Royan, Villa Jacqueline Gilet, Charente Inferieure.

…что Нобиле улетел спасать. – Генерал Умберто Нобиле (1885–1978) в 1928 г. руководил итальянской экспедицией к Северному полюсу на дирижабле «Италия».

Эва – см. примеч. к п. 35.

Письмо 165

1190-3-169, 16–18.

Почт. шт.: Москва, 7.10.28. Послано на тот же адрес.

Письмо 166

1190-3-170, 2–7.

Почт. шт.: Москва, 9.01.29. Послано на тот же адрес.

Между тем твои фантазии о М<аяковском>… о его роли в Москве… – Согласно МС, в письме от 16.12.28 Ц. пересказала П. свое приветствие Маяковскому, появившееся в № 1 газ. «Евразия» (24 нояб.) (см. Ц-СС7, 351). Кроме того, в МС переписана еще одна фраза из этого письма: «Я облеплена ничтожествами – лепятся вокруг моей силы. А сильному силы не нужно, М<аяковско>му нужны барышни. Поэтов у него полная Москва» (1334-1-834, 35 об.).

Я не знаю, предал ли М. инцидент с тобой огласке. – Имеется в виду приветствие на страницах «Евразии» (см. выше). В письме к Маяковскому от 3 декабря 1928 г. Ц. сообщала, что за это приветствие от сотрудничества с ней отказалась ведущая русская парижская газета «Последние новости», и заканчивала письмо так: «Оцените взрывчатую силу Вашего имени и сообщите означенный эпизод Пастернаку и кому еще найдете нужным.

Можете и огласить» (Ц-СС7, 350).

Началось с рассказа о книжной лавке, комсомолке и Сельвинском, года 2 тому назад… – См. п. 66 и примеч. к нему.

Она не только ведь разрушила Лувен… – Город в Бельгии (провинция Брабант), знаменитый своим университетом, который с XVI века, благодаря деятельности Эразма Роттердамского, был очагом гуманистического просвещения. Лувен жестоко пострадал в конце 1914 г. от вторжения германских войск; более полутора тысяч зданий города были разрушены, сожжена университетская библиотека.

Наконец я давно должен был исполнить твою просьбу о Перекопе. – Летом 1928 г. Ц. начала работу над поэмой «Перекоп», посвященную последнему периоду Гражданской войны. Полные названия упоминаемых П. книг: *Слащев Я.А.* Крым в 1920 г.: Отрывки из воспоминаний. М.; Л.: Госиздат, 1924; *Раковский Г.Н.* Конец белых: от Днепра до Босфора (вырождение, агония и ликвидация). Прага: Воля России, 1921.

Письмо 167

1190-3-170, 8–16 об.

Почт. шт.: Москва, 13.05.29: Meudon, 17.05.29. Послано на тот же адрес.

В прошлом году ты писала о sécheresse morale. – См. пп. 149 и 154.

…пошлю тебе «Поверх Барьеров», которых ты не узнаешь. – Книга вышла в сентябре 1929 г. и содержала часть ст-ний из первых книг П. – «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров», существенно переработанных автором, а также новую редакцию поэмы «Высокая болезнь» и несколько разделов, составленных из ст-ний разных лет.

…у меня в «Кр<асной> Нови» не приняли посвященья тебе (устранили твое имя, но стихотворенье взяли) и отказались печатать эпиграмму на Маяковского… – В КН, 1929, № 5 вместе со ст-ниями П. «Анне Ахматовой» (1929) и «Мейерхольдам» (1928) были опубликованы без заглавия два ст-ния, обращенные к Ц.: «Ты вправе, вывернув карман…» (1929) и акростих «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» (1929). Последнее ст-ние П. также написал от руки на шмуцтитуле сб. «Избранные стихи» (М.: Огонек, 1929), посланного Ц. (1190-2-170). Под эпиграммой на Маяковского, вероятно, подразумевается ст-ние «Вы заняты нашим балансом…» (1922).

…ты не сможешь догадаться о месте, которое займешь и

должна будешь занять в дальнейшем продолженьи обеих работ и, во всяком случае, в развитии Охранной грамоты… – Под первой работой подразумевается, вероятно, продолжение «Спекторского».

…другой прозы, начисто повествовательной и не философской. – Речь идет о «Повести», которую П. полагал началом романа (см. п. 168); опубликована в НМ, 1929, № 7.

Я был готов заняться вашими зимними восторгами… – Как можно предположить из дальнейшего контекста, Ц. в своем письме передавала отзывы своего круга о поэме Маяковского «Хорошо!», что, кажется, подтверждается и записью П. 1928 г. на одной из фотографий из коллекции А.Крученых:

«Когда Маяковского в Париже спросили: “Ну, а как Пастернак…?” – он ответил: “Провожал меня. – ”.

Попутно свидетельствую (из того же источника), что поэма “Хорошо” произвела там на слушателей потрясающее и неизгладимое впечатление, как это бывало с первоначальными вещами М<аяковского>, и представители левейшего крыла эмиграции (евразийцы) были счастливы пожать руку этому *первому мировому пролетарскому гению* (собственные слова одного из них, до меня дошедшие). Чувства последнего разделяю, – с вечною растравой, для чувств к Маяковскому неизбежной» (П-СС5, 383).

Предстоит обработать существующие переводы Фауста… – Тогда этот замысел остался неосуществленным (см. п. 169). Свой перевод «Фауста» П. осуществил только в 1953 г. Русских переводов трагедии Гёте к началу XX века существовало около двух десятков, иные из них – Н.Голованова, П.Трунина, А.Фета – выдержали не одно издание. Но все их «отменил» перевод Н.Холодковского, многократно переиздававшийся вплоть до 1942 г. и впоследствии оставшийся в литературе.

Книжку В.Познера вчера получил. Еще ранее он прислал мне свою антологию. – Владимир Соломонович Познер (1905–1992) юношеские годы провел в Петербурге, учился в Тенишевском училище, входил в литературную группу «Серапионовы братья». В 1922 г. уехал с семьей в Париж. В 1929 г. издал «Anthologie de la prose russe contemporaine» («Антология современной русской прозы») и книгу «Panorama de la littérature russe contemporaine» («Панорама современной русской литературы»). Обе книги весной 1929 г. Познер послал П., с которым в 1923 г. мимолетно познакомился в Берлине. См. отзывы П. в письмах к Познеру (ЛН-93, 720–728). То, что П. сообщает Ц. о второй книге Познера, позволяет предполагать, что она писала П. о ней и, возможно, рассказывала об обсуждении книги в Париже. В информации о вечерах литературного объединения «Кочевье» за март-апрель

1929 г., в частности, говорится: «На вечере устной рецензии М.Слоним рецензировал последнюю книгу “Современных записок”, Г.Газданов – книгу Вл. Познера “Панорама русской литературы”, вышедшую на французском языке. Книга Познера вызвала оживленные прения. Г.Газданов в общем отнесся к книге отрицательно – в защиту ее выступили Д.Святополк-Мирский, М.Цветаева и Б.Поплавский. Основной вопрос, вокруг которого шли споры, был посвящен Ив. Бунину. В.Фохт дал восторженную оценку этому писателю, упрекая В.Познера в том, что он в своей книге уделил ему мало места, говоря слишком подробно о советской литературе. Д.Святополк-Мирский, наоборот, вызвал возмущение у Г.Адамовича своим парадоксальным замечанием, что он не променяет всю “Жизнь Арсеньева” Бунина за несколько строк из романа Фадеева “Разгром”. Примирительная позиция, занятая в этом вопросе М.Слонимом, несколько сгладила остроту прений о книге Вл. Познера» (ВР, 1929, № 4, с. 123).

«Охр<анную> Гр<амоту>» посылаю на имя С.Я. – Вероятно, речь идет о рукописи, машинописи или гранках первой части (см. также начало п. 168).

Письмо 168

1190-3-170, 17–20.
Почт. шт.: Москва, 31.05.29. Послано на тот же адрес.

Мне вернули с почты ранее принятую бандероль с рукописью на твое имя при разъяснении, что на такие пересылки требуется специальное разрешенье. – См. последнее примеч. к п. 167.

…самым стоющим будет начало проз<аического> романа… – Речь идет о «Повести» (см. примеч. к п. 167).

У Мандельштама осенью случилось очень досадное недоразуменье с Горнфельдом, по вине одного издательства. – В конце сентября 1928 г. в издательстве «Земля и фабрика» вышла книга Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель» с предисловием П.С.Когана. По договору с издательством Мандельштам сделал литературную обработку двух дореволюционных переводов – А.Г.Горнфельда (1915) и В.Н.Карякина (1916), однако по техническому недосмотру на титульном листе он был обозначен как переводчик. После взаимных извинений и объяснений в печати между издательством и переводчиками недоразумение к концу 1928 г. было улажено. Однако когда Мандельштам весной следующего года выступил со статьей о состоянии переводческого дела в СССР – «Потоки халтуры» («Известия», 1929, 7 апр.), обрушились обвинения в плагиате. Статья Д.И.Заславского «О

скромном плагиате и развязной халтуре» («Литературная газета», 1929, 7 май) стала причиной конфликта, который после ряда газетных выступлений, протестных писем, конфликтных комиссий и судебных слушаний превратился в травлю Мандельштама. Подробнее см.: Мандельштам в архиве П.Н.Лукницкого / Публ. В.К.Лукницкой, предисл. и примеч. П.М.Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М.: Наука, 1991. С. 136–143.

Письмо 169

1190-3-170, 21–25.

Почт. шт.: Москва, 5.12.29. Послано на тот же адрес.

Ты читала повесть? – См. примеч. к п. 167.

Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964) – пианист, завоевавший к этому времени значительную известность; о дальнейшем развитии отношений П. с ним и его женой см. последующие письма.

…как ты думаешь поступить с письмами R.M.R<ilke> к тебе? – См. примеч. к п. 122.

Ты знаешь, я перевел оба его реквиема и напечатал. – Переводы П. были опубликованы в НМ, 1929, № 8/9 и Зв, 1929, № 8.

Как получить «Мóлодца» с Гончаровой? – Предполагаемое издание автоперевода на французский язык поэмы «Мóлодец» с иллюстрациями Н.Гончаровой не осуществилось. Наброски иллюстраций сохранились и воспроизведены в издании: *Цветаева М.* Мóлодец / На русск. и франц. яз. М.: Эллис Лак, 2005. См. также: *Баснер Е.В.* О работе Натальи Гончаровой над поэмой «Мóлодец» // Марина Цветаева: Поэт и время: Выставка к 100-летию со дня рождения. М.: Галарт, 1992. С. 183–188.

И проза ли или не проза – гибель семьи, что ты пишешь? – Согласно МС, в письме от 29.10.29 Ц. сообщала П.: «Пишу большую вещь – гибель семьи» (1334-1-834, 35 об.). Речь идет о «Поэме о Царской Семье», законченной в 1936 г. Текст поэмы утрачен за исключением главы, опубликованной под названием «Сибирь» (ВР, 1931, № 3/4) и отдельных фрагментов (СП, 669–672).

Из Гёте ни для тебя, ни для меня ничего не вышло. – См. п. 167.

Письмо 170

1190-3-170, 26–30.

Почт. шт.: Москва, 27.12.29. Послано на тот же адрес.

Письмо 171

Местонахождение оригинала неизвестно. Печатается по: Ц-ССб, 275–276.

Медон, 31 декабря 1929 г. – В МС имеет дату 30.12.29.

Есть у Степуна, не знаю собственное ли, но исчерпывающее определение: «Романтики погибли оттого, что всегда жили последними». – Источник цитаты не установлен.

Да, кажется, тогда, в Вандее, когда ты решил не-писать… – См. пп. 73 и 74.

Только сейчас, когда только еще вот-вот заболит! – понимаю, насколько я тебя (себя) забыла. – Ср. с основными мотивами этого письма сохранившийся в МС фрагмент письма Ц. от 25.01.30: «Не суждено нам было стать друг для друга делом жизни, на страшном суде будешь отвечать не за меня (какая сила в: не суждено! Какая вера! Бога познаю только через *не* свершившееся)» (1334-1-834, 35 об.).

Письмо 172

1334-1-835, 4.

Письмо 173

Семейный архив Б.Пастернака.
Почт. шт.: Москва, 15.01.30.

Читали ли, что написал о Вас Мирский? – По-видимому, имеется в виду статья Святополка-Мирского «Проза поэтов» («Евразия», 24 авг., с. 7–8).

А я написал о Вас во французском журнале, в самом неожиданном… – Речь идет о статье, напечатанной Эфроном под девичьей фамилией матери: *Serge Dournovo*. Les poétes de la nouvelle Russie // Cahiers de l'Etoile. 1929. № 8 (mars-avril). P. 275–286. В статье был общий раздел и три «именные» главки – о Пастернаке, Маяковском и Тихонове. Журнал, в котором появилась статья, имел теософскую направленность.

Письмо 174

1190-3-171, 1–9.

Почт. шт.: Москва, 21.01.30. Послано на тот же адрес.

Я три раза ходил к В<ере> А<лександровне>. – Речь идет о В.А.Завадской. По возвращении в Москву она стала женой Валентина Сергеевича Смышляева (1891–1936), актера, режиссера, педагога, театроведа. Далее в тексте под «Смышляевыми» П. упоминает В.А.Смышляева и его прежнюю жену, Ольгу Федоровну Смышляеву (урожд. Пушечникову), которая ранее была женою Павла Антоновича Аренского (1887–1941), поэта, переводчика, киносценариста, первого мужа В.А.Завадской. Кроме того, все эти люди были связаны принадлежностью к московской организации тамплиеров. См. о ней: *Никитин А.Л.* Rosa Mystica: (поэзия и проза российских тамплиеров). М.: Аграф, 2002.

…за твоей статьей о Рильке и за другой, о Гончаровой. – Речь идет о статье «Несколько писем Райнера-Мариа Рильке» и приложенных к ней переводах Ц. нескольких писем Рильке (ВР, 1929, № 2), а также об эссе «Наталья Гончарова (Жизнь и творчество)» (ВР, 1929, №№ 5/6, 7, 8/9).

…твою Вишняковскую «Разлуку»… – Сб. Ц., изданный в 1922 г. изд-вом «Геликон», делами которого в Берлине управлял А.Г.Вишняк.

И.Н.Розанов (см. о нем примеч. к п. 151) – историк литературы, историк книги и выдающийся библиофил, собравший уникальную библиотеку-коллекцию по истории русской лирики (см.: Библиотека русской поэзии И.Н.Розанова. Библиографическое описание. М.: Книга, 1975). С 1919 по 1941 г. заведовал отделом истории книги в научной библиотеке Государственного исторического музея.

Оборин Лев Николаевич (1907–1974) – пианист.

Зашла Ася с сыном Ад. Герцык. – Речь идет о Даниле Дмитриевиче Жуковском (1909–1939). С конца 1920-х гг. он работал над созданием синтетической теории восприятия искусства. См.: *Полякова С.В., Мейлах М.Б.* Поэтика Д.Д.Жуковского // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 27–54.

«Зверинец», «Карусель» – см. примеч. к п. 30.

…твое письмо о рождении Мура (Feuerzauber со спиртовкой, помнишь!). – См. п. 26б.

Я получил книгу от R.Rolland'a, с надписью… – Речь идет о первом томе трехтомника «Essai sur la mystique et l'action de l'Inde vivante» («Мистика и подвижничество живой Индии»; 1929; на обл. 1930); первый том целиком занимала работа «La Vie de Ramakrishna» («Жизнь Рамакришны»). Ниже в письме П. цитирует фрагмент дарственной надписи Роллана. Вот ее полный текст: «А

Boris Pasternak, Au jeune frère de la rive du ciel où le soleil se lève, le vieux frère de la rive où se couche le soleil. Bon jour, Bon an et Bonne traversée, de l'un a l'autre bord! Romain Rolland. Villeneuve, l'an qui s'en va» («Борису Пастернаку, Молодому брату с того берега неба, где восходит солнце, – старый брат с того берега, где солнце засыпает. Доброго дня, доброго года и доброго перехода с одного края на другой. Ромен Роллан. Вильнёв, год, который уходит») (цит. по: П-СС8, 391–392).

Майя – см. примеч. к п. 69. М.П.Кудашева в конце 1920-х гг. познакомилась по переписке с Роменом Ролланом, в 1931 г. переехала к нему в Вильнёв; в 1934 г. их брак был оформлен.

Письмо 175

1190-3-209, 5–9.
Конверт не сохранился.

Или, например, статью Люб. Столицы об Адел. Герцык вам покажут. – Речь идет о статье Любови Столицы (псевд. Любови Никитичны Ершовой; 1884–1934), в эмиграции жившей в Болгарии; эта статья, посвященная памяти Аделаиды Казимировны Герцык (1874–1925), называлась «Поэтесса-вещунья» («Возрождение», 1925, 1 сент.).

Письмо 176

Семейный архив Б.Пастернака.
Почт. шт.: St. Pierre de Rumilly, 3.03.30; Москва, 10.03.30.

…спасибо и за письмо Ваше и за книжку. – По-видимому П. послал Эфрону сб. «Поверх барьеров» (1929).

Письмо 177

1190-3-171, 10–12.
Почт. шт.: Москва, 19.04.30. Послано на тот же адрес.

Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. – 14 апреля 1930 г. застрелился Маяковский.

Из твоих сообщений меня сильнейше коснулось все о французских переводах… Твоя французская строфа настолько твоя, что сливает оба языка в один… – По-видимому, Ц. посылала П. в письмах выдержки из своего автоперевода «Мóлодца».

…как сливаются немецкий с французским под St. Gothard'ом (?). – В Сен-Готарде, горном массиве Швейцарских Альп, проходят границы четырех кантонов: франкоязычного Валэ, немецкоязычных Берна и Гларис и италоязычного Тессина (Тичино).

Неандер Борис Николаевич (1893–1931) – журналист, в эмиграции был одно время председателем ОРЭСО (эмигрантского студенческого союза); по линии работы в студенческом союзе был знаком с С.Я.Эфроном. Вернулся в Россию в начале 1930 г.; умер от туберкулеза.

Тут превосходную лирику выпустил М.Кузмин… – П. говорит о сб. М.А.Кузмина «Форель разбивает лед. Стихи 1925–1928» (Л., 1929).

Письмо 178

Семейный архив Б.Пастернака.
Почт. шт.: Москва, 30.04.30.

Письмо 179

1190-3-171, 13–15.
Почт. шт. не сохранился. Послано на тот же адрес.

Я писал тебе, что во всем перечувствованном получил скорый отпор. – После смерти Маяковского произошел окончательный разрыв П. с окружением Маяковского; после опубликования П. ст-ния «Смерть поэта» (НМ, 1931, № 1) и в особенности после выхода «Охранной грамоты» этот разрыв принял публичный характер, например, в полемике между П. и Н.Асеевым в рамках дискуссии Московского отделения Всероссийского Союза советских писателей в декабре 1931 г. (см. ЛН-93, 519–525).

…благодарю за Elioťa… – Какое издание Т.С.Элиота Святополк-Мирский послал П., установить не удалось.

Можно ли поместить во 2-м изд<ании> Барьеров стихи к тебе? – Во 2-м изд. книги П. «Поверх барьеров» (М.; Л.: ГИХЛ, 1931) было помещено ст-ние «Ты вправе, вывернув карман…» под заглавием «М.Ц.».

Вышли новыми изданьями «Две книги» (хорошее изданье) и «Девятьсот пятый» (в отвратительном виде). – Имеются в виду следующие издания: «Две книги» (М.; Л.: Гос. изд-во, 1930) и «Девятьсот пятый год» (М.; Л.: Гос. изд-во. 1930). Они повторяли одноименные издания 1927 г.

А почт<овая> марка – твой «Перекоп». Заметила? – По-

видимому, Ц. почтовую марку отклеила, из-за чего не сохранился и почтовый штемпель.

Письмо 180

1190-3-171, 16–18.

Почт. шт.: Москва, 21.06.30. Послано на тот же адрес; переадресовано (рукой С.Я.Эфрона) на летний адрес в Савойе: Château d'Arcine, St. Pierre de Rumilly, H<au>te Savoie.

Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г<орькому>, слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. – Речь идет о хлопотах П. о выезде за границу.

…позаботиться о книге прозы и о злополучном, чтоб его черт побрал, романе в стихах. – П. говорит об отдельных изданиях «Охранной грамоты» и «Спекторского»; оба вышли в 1931 г.

Письмо 181

1190-3-171, 19–21.

Почт. шт. не сохранился. Послано на тот же адрес.

Ни в намереньях, ни в возможностях перемен не произошло, но сейчас выплачивают деньги с ужасными задержками. – Речь идет, видимо, о материальной помощи семье Ц.

А ты мне сообщи про радость, – никак не могу догадаться, и никто еще не привозил. – См. второе примеч. к п. 182.

Письмо 182

1190-3-171, 22–23.

Почт. шт.: Москва, 8.11.30. Послано на тот же адрес.

…не писал ли я тебе уже это все. – Ср. замечания о французском стихе Ц. в п. 177.

Твой перевод ошеломил меня. – Речь идет о напечатанной в ж. «France et monde» (1930, № 138, 1re trimester) первой главе («Fiançailles», в окончательной редакции поэмы «Accordailles») из французского автоперевода Ц. поэмы «Мóлодец» («Le Gars»). Согласно МС, Ц. приложила этот фрагмент к своему письму от 25.09.30.

Verger – см. примеч. к п. 79а.

Ты убьешь меня и разогорчишь на всю жизнь, если снимешь посвященье. – «Мóлодец» Ц. был издан в 1924 г. с посвящением П.

…знакомый П<етра> П<етровича>, рассказывал о нем и показывал его квартиру. – Речь идет о Г.Г.Нейгаузе (см. упоминание о знакомстве Нейгауза с Сувчинским в п. 180).

Сейчас из-под Москвы от Б.Н.Б<угаева> (А.Белого) получил письмо, как из Сахары в Сахару. – А.Белый постоянно жил в Кучине под Москвой. Речь идет о письме Белого от 1.11.30, на которое П. ответил письмом от 12.11.30 (см.: Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым / Публ. Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 686–706; см. также П-СС8, 465–466).

Письмо 183

1190-3-172, 1–3 об.

Почт. шт.: Москва, 10.03.31; Meudon, 16.03.31. Послано на тот же адрес.

…не сходил к Вавиной матери. – Неустановленное лицо.

По-видимому, тебе что-то известно. – Ц. узнала о переменах в семейной жизни П. от Бориса Пильняка, который останавливался в феврале 1931 г. в Париже на пути в Америку (см. письмо Ц. к Р.Н.Ломоносовой от 13.02.31; Ц-СС7, 329–331). Роман П. с женой Г.Г.Нейгауза Зинаидой Николаевной (урожд. Еремеевой; 1897–1966) начался летом 1930 г.

…написал обоим по балладе. – Обе «Баллады» были опубликованы в КН, 1930, № 12 и вошли в сб. «Второе рождение» (1932).

И там имеешься ты, ты в истории, моей и – нашего времени. – Ц. была одним из прототипов героини поэмы «Спекторский» Марии Ильиной.

…только что получил твое письмо. – Его следов не сохранилось. Согласно ТС, всего за 1931 г. было два письма Ц.; второе из них (п. 184) обозначено в МС вообще как последнее в переписке, из чего можно сделать вывод, что последующих писем П. либо вообще не хранил, либо не захотел в 1941 г. отдать их на хранение в чужие руки, а после утраты всех остальных писем уничтожил.

…две новых книги, «Охр<анную> Грамоту» и «Спекторского». – См. примеч. к п. 180.

Письмо 184

1190-3-21, 4 об.–6 (тетрадь выписок Ц.: СТ, 524–526).

Выписка, которая сделана в МС из этого письма, представляет

собой цитату (не вполне точную в пунктуации) из ст-ния А.К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»

«…И ничего мы вместе не сольем.
Но не грусти! Земное минет горе.
Пожди еще – неволя недолга!
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега».

(1334-1-834, 35 об.)

Баллада хороша. – См. п. 183.

…уезжает Е.А.И<звольская>… – Елена Александровна Извольская (1897–1975), переводчица, религиозная писательница; дочь государственного деятеля Российской империи А.П.Извольского, в 1906–1910 гг. министра иностранных дел, в 1910–1917 гг. русского посла во Франции. О ней и ее отъезде см. первую часть очерка Ц. «История одного посвящения» (1931). П. знал Извольскую как переводчицу двух его ст-ний (см. п. 93 (Приложение)).

Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины к Гёте. Большой Терезы – к Богу. – Речь идет о Беттине фон Арним (1785–1859), книгу которой «Переписка Гёте с ребенком» Ц. особенно ценила, и о Святой Терезе Авильской (1515–1582), испанской монахине ордена кармелиток, известной мистической писательнице («Большой» ее иногда называют в отличие от Маленькой Терезы из Лизьё).

Es ist dafür gesorgt… – Ц. цитирует эпиграф к третьей части книги Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда».

Письмо 185

1190-3-172, 4–4об.

Почт. шт.: Москва, 27.03.31. Почтовая карточка. Послана на тот же адрес.

Письмо 186

1190-3-172, 5–7.

Почт. шт.: Meudon, 22.06.31. Послано на тот же адрес.

Женя с Женичкой (сыном) в Берлине или Мюнхене. – Е.В.Пастернак с сыном уехали из Москвы 5 мая 1931 г. и пробыли

в Германии до 22 декабря 1931 г.

…с Гладковым и еще кое с кем поехал в Магнитогорск (на Урале)… – Поездка писателей на стройки Магнитки и Кузбасса была организована газетой «Известия». П. получил от Вяч. Полонского приглашение участвовать в этой поездке весной 1931 г. П. побывал только в Челябинске, на строительстве тракторного завода.

Итак, она в Киеве с одним из сыновей… – У З.Н.Нейгауз было двое сыновей от первого брака: Адриан и Станислав (в 1931 г. им было, соответственно, 6 лет и 4 года).

…у общих друзей (Асмусов). – Семья профессора философии Московского университета Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975).

Пришли мне свое о Маяковском. – Имеется в виду цикл ст-ний Ц. «Маяковскому» (ВР, 1930, № 11–12).

Письмо 187

1190-3-22, 17 об.–18 об. Вариант текста: СТ, 441–444.
Контекст в тетради: черновики ст-ния «Петр и Пушкин».

…«игрушка с моря», из тех, что я тебе дарила в Вандее в 26-ом. – См. поэму «С моря».

…в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что Пушкин – еврей… – По-видимому, Ц. лишь понаслышке знала об упоминаемом исследовании и потому допускает существенные неточности в его характеристике. Речь может идти о работе Д.Н.Анучина «А.С.Пушкин (Антропологический эскиз)» (1899), где подробно разбирался вопрос об этническом происхождении предка Пушкина – Ганнибала (уроженца Абиссинии) и указывалось, что абиссинцев современная антропология относит к хамитской группе. См. подробнее СТ, 605.

…последнее его письмо, последняя строка его руки мне, Борис, – «та́к нужно писать историю» (русская история в рассказах для детей)… – Ц. неточно цитирует письмо Пушкина, написанное перед дуэлью и оказавшееся последним, к детской писательнице А.О.Ишимовой, автору «Истории России в рассказах для детей»: «Сегодня нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» (*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 16. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 227).

Получила окольным путем остережение от Аси, что если я сделаю то́-то, с ней случится то́-то – просьбу подождать еще 2 года до окончания Андрюши. – 7 марта 1931 г. в газ. «Возрождение» был опубликован очерк Н.Городецкой «В гостях у М.И.Цветаевой»,

в котором Ц. подробно рассказывала о своей работе над поэмой «Перекоп» и о замысле «Поэмы о Царской Семье».

Большую вещь, пока, отложила. – Речь идет о «Поэме о Царской Семье».

Несколько дней назад тебе писал С.Я., просьбу его можешь исполнить смело, я – порукой. – Письмо Эфрона не сохранилось. Вероятно, в нем содержалась просьба о поддержке ходатайства Эфрона о получении советского гражданства, которое он послал из Парижа 24 июня 1931 г. (см. письмо Эфрона к сестре, Е.Я.Эфрон, от 29.06.31; *Цветаева М.* Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 352).

…одна моя приятельница собирала в Лондоне. – Вероятно, речь идет о С.Н.Андрониковой-Гальперн.

Да! ты пишешь о высылке II ч. Охранной Грамоты, у меня и I нет. Посылал? – См. пп. 167 и 168.

Письмо 188

1190-3-23, 36 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: черновики ст-ния «Над вороным утесом…».

…я всё горюю о Максе. – Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) умер в Коктебеле 11 августа. Ц. посвятила его образу и памяти мемуарный очерк «Живое о живом» (1932) и цикл ст-ний «Ici – Haut» (1932–1935).

Письмо 189

1190-3-23, 91 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: поправки к неустановленному французскому переводу и черновики французского письма.

С. 489. *…вид Музея с известием о смерти брата*. – Андрей Иванович Цветаев (1890–1933), искусствовед, сын И.В.Цветаева от первого брака, умер 8 апреля 1933 г. Под «Музеем» подразумевается Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, бывший Музей императора Александра III, основанный И.В.Цветаевым; находится на Волхонке, вблизи дома, где жил П.

Письмо 190

1190-3-189.

Письмо 191

1190-3-23, 96 об.–97 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: этим наброском письма тетрадь заканчивается.

…стихи на 403 стр., явно-мои, – не мне? – Имеется в виду ст-ние 1931 г. «Любимая, молвы слащавой…», обращенное к З.Н.Нейгауз. Ц. задели строки: «И я б хотел, чтоб после смерти, / Как мы замкнемся и уйдем, / Тесней, чем сердце и предсердье, / Зарифмовали нас вдвоем».

…«Есть рифмы в мире сем, Разъединишь – и дрогнет»… – Начальные строки первого ст-ния Ц. из цикла «Двое» (1924).

«Уходит с запада душа…» – Из ст-ния П. «Весеннею порою льда…» (1932); впервые опубликовано в НМ, 1932, № 3.

Продолжение

1190-3-24, 3 об.–5 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – набросок письма к В.В.Рудневу от 28.05.33; после письма – набросок письма к неустановленному лицу (Н.А. или Н.Л.) о смерти Б.В.Свистунова.

Зачем с Высокой Болезни снял посвящение? Где мой акростих? – В сб. «Поверх барьеров» (1929) поэма «Высокая болезнь» имела посвящение А.И.Цветаевой. Акростихом «Мельканье рук и ног, и вслед ему…» (1926) открывалась публикация в НМ поэмы «Лейтенант Шмидт» (см. примеч. к п. 53). Другой акростих, который может иметь в виду Ц., – «Мгновенный снег, когда булыжник узрен…» (см. о нем примеч. к п. 167).

Какие жестокие стихи Жене… – Речь идет о ст-нии «Не волнуйся, не плачь, не труди…», обращенном к первой жене; ниже в тексте письма – цитаты и парафразы из него.

…С. целиком живет – чем знаешь, и мне предстоит беда… – См. примеч. к п.187.

Аля (19 лет) чудно, изумительно рисует и работает гравюру и литографию. – А.С.Эфрон училась в училище прикладного искусства и школе истории искусств при Лувре. Ее сохранившиеся работы опубликованы: *Эфрон А.* Рисунок. Акварель. Гравюра. [Б.м.]: Возвращение; Музей Марины Цветаевой в Болшеве, 2003.

Письмо 192

1190-3-173, 1–1 об.

Почт. шт.: Москва, 14.02.34. Почтовая карточка. Послана на адрес: 10, Rue Lazare Carnot, Clamart (Seine).

Перевожу их по подстрочникам, книгу назову «Книгой переложений». – См. издание: *Пастернак Б.* Грузинские лирики. М.: Сов. писатель, 1935.

Письмо 193

1190-3-173, 2–2 об.

Почт. шт.: Москва, 14.02.34. Почтовая карточка. Послана на тот же адрес.

В заметке моего только две-три деловых вставки, и то не в моих выраженьях. – П. был в комиссии по организации похорон А. Белого, который скончался 8 января 1934 г. Совместно с Б.Пильняком он подписал некролог в газ. «Известия» от 9 января (см. П-СС5, 225–226).

…судьбе вдовы… – Речь идет о второй жене А.Белого Клавдии Николаевне Бугаевой (урожд. Алексеевой; 1886–1970).

Письмо 194

1190-3-173, 3–3 об.

Почт. шт.: Москва, 16.03.34. Почтовая карточка. Послана на тот же адрес.

Письмо 195

1190-3-173, 4–10.

Почт. шт.: Москва, 3.11.34. Послано на адрес: 33, rue J.B.Potin, Vanves (Seine) près de Clamart.

Послано одновременно с п. 196.

…строка из Волн стала общим трактом для всех живущих… – В ст-нии «Волны» (1931) П. несколько строф посвятил квартире в доме на Волхонке («Мне хочется домой, в огромность / Квартиры, наводящей грусть»…).

Я тебе карточку в книжке пошлю… – Как следует из дальнейшего, П. приложил к письму отдельное издание своего перевода поэмы «Змееед» Важи Пшавелы (наст. имя и фам. Лука Разикашвили; 1861–1915); книга вышла в 1934 г. в Тбилиси.

Письмо 196

1190-3-173, 12–12 об.

Почт. шт.: Москва, 3.11.34. Почтовая карточка. Послана на тот же адрес.

Послано одновременно с п. 195.

Елизавета Яковлевна – Е.Я.Эфрон (1885–1976), театральный педагог, режиссер, старшая сестра С.Я.Эфрона.

Письмо 197

1190-3-20. 93 об.–94 об. (тетрадь выписок Ц.: СТ, 506–507).

С. 500 *<июль 1935 г.>* – Датировано по содержанию. Письмо является откликом на встречи с П. 24–27 июня в Париже, куда он приехал как делегат Международного конгресса писателей в защиту культуры.

…а вот – только вспомню твои К<олхо>зы – и слёзы. – Ср. в письме Ц. к Н.С.Тихонову от 6.07.35: «…В ответ на слезы мне – “Колхозы”, / В ответ на чувства мне – “Челюскин”! Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских» (Ц-СС7, 552).

Письмо 198

1190-3-173, 13–16.

Почт. шт.: Москва, 3.10.35. Послано на тот же адрес.

…у которого гостил Роллан с Майей… – См. примеч. к п. 174.

Теперь я прочел твою прозу. – Далее упоминаются эссе Ц., опубликованные в недавние годы: «Искусство при свете совести» (1932), «Дом у Старого Пимена» (1933), «Живое о живом» (1932) и «Мать и музыка» (1934).

…твое письмо с той виллы (урожденной Елпатьевской). – См. п. 197. В Фавьере Цветаева жила в доме, владелицей которого была Людмила Сергеевна Врангель (урожд. Елпатьевская, в первом замуж. Кулакова; 1877–1969), дочь писателя С.Я.Елпатьевского, свойственника И.В.Цветаева.

Я не только подружился с Сережей, я, так сказать, приехал сюда и с Алей твоей на устах. – 28 июня 1935 г. Ц. с сыном, только что перенесшим операцию по поводу аппендицита, уехала в Фавьер, а С.Я. и А.С. Эфроны опекали П. в Париже.

Письмо 199

1190-3-26, 88–90 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед письмом – черновики ст-ния «Двух станов не боец, а – если гость случайный…»; после письма – беловая сводка этого ст-ния. Письму также предшествует следующая запись: «Хочу – дай Бог! – дописать Марию Вечéру и написать Конец Шумана (Ангелы). Особенно (последнее) после письма Б.П. (о его болезни – как не поехал к родителям: проехал мимо их 12-летнего ожидания – матери!!! – на поезде проехал и – не то же, но всё же – не предложил остаться со мной с глазу-нá-глаз – после тех же 12-ти лет» (87 об.).

..даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart… – Неточный парафраз рассуждения Рильке из письма от 28.07.26 (РПЦ, 204–206).

О не вы! Это я – пролетарий. – См. примеч. к п. 6а.

Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. – Ц. вспоминает об «исчезновении» Пастернака с их последней встречи в парижском кафе.

Car mon pis et mon mieux – sont les plus déserts lieux, эту строку, подаренную мне тобой, у меня перед смертью выпросил Рильке… – См. примеч. к п. 75, а также письмо Ц. к Рильке от 6.07.26 и письмо Рильке к Ц. от 28.07.26.

Ich kann nicht zu Dir nach Wallis… – Ц. приводит эту фразу как цитату из своего письма к Рильке (в швейцарском кантоне Валэ находился замок Мюзо, где жил поэт). Однако такой фразы в ее письмах к Рильке нет. В письмах Ц. к разным лицам не раз возникает тема сходства ее маленького сына с Наполеоном; в письме к Рильке от 13.05.26 Ц. варьирует эту тему, упоминая чужие слова о его сходстве с «Римским королем», т. е. с сыном Наполеона (РПЦ, 97).

…мой пражский каменный рыцарь… – Имеется в виду фотография статуи рыцаря Брунсвика, которая находится у Карлова моста в Праге. См. ст-ние Ц. «Пражский рыцарь» (1923).

Это как Розанов, однажды, Асе: – Ты же понимаешь, что кроме Людей Лунного Света – нет никого… – Речь идет о писателе, философе и публицисте Василии Васильевиче Розанове (1856–1919); его книга «Люди лунного света» (1911) была посвящена критике христианской морали в области пола; «людьми лунного света» Розанов называет гомосексуалистов и аскетов.

…из-за тебя я разошлась с человеком, который меня любил… – Ц. говорит о своем соседе по дому в Ванве Митрофане Михайловиче Айканове (1905–1995). Он стал героем ее неоконченной поэмы «Певица» (1935). Нижеследующими сведениями о М.М.Айканове мы обязаны Е.И.Лубянниковой,

которая встречалась с ним в Париже в 1989 г. Семья Айкановых: отец Михаил Порфирьевич (1877–1964), товарищ прокурора Новочеркасской палаты, его мать, жена и пятеро детей до революции жили в Таганроге; в 1920 г. эвакуировались из Новороссийска пароходом в Константинополь, два с лишним года прожили на Кипре, потом в Болгарии, а с сентября 1924 г. обосновались во Франции. В конце 1920-х гг. семья Айкановых поселилась в Ванве, в доме 65 по улице Ж.Б.Потена, на третьем этаже. В 1934 г. они переехали в освободившуюся на втором этаже квартиру, а в их бывшую квартиру въехала семья Ц. Ц. подружилась со всей семьей, часто бывала у них. Митрофан Айканов успел до эмиграции закончить в Таганроге четыре класса реального училища, продолжал образование на Кипре, в Болгарии и Париже, окончил русскую гимназию, реальное училище и частную школу-техникум «L'école technique aéronautique». В 1930-е годы работал в фирме перевозки мебели: грузчиком, водителем фургона, ремонтником.

Про отъезд (приезд) я ничего не знаю. – Имеется в виду переезд семьи Ц. в СССР.

…м.б. стол не столь широк… – Парафраз начальной строки – «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею…» – ст-ния П. из цикла «Разрыв» (сб. «Темы и вариации»).

«Et voilà que le coeur lui dit: T'es-tu fait mal, mon petit?» – Неточная цитата из ст-ния Жана Ришпена (Jean Richepin; 1849–1926) «Y avait un'fois un pauv'gas», ставшего популярной песней. В оригинале: «Et l'coeur disait en pleurant: «T'es tu fait mal, mon enfant?"».

Письмо 200

1190-3-26, 160 об.–161 об. (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: поправки к «Поэме о Царской Семье» (глава «Вал»). Письму предшествует запись: «*NB!* Если я думаю *та́к*, а не *иначе*, как же с меня можно требовать, чтобы я говорила (жила, писала) иначе, а не та́к? Написать Старовера».

…на своем Пленуме… – Письмо является откликом на текст выступления П. на Пленуме правления Союза писателей СССР в Минске, опубликованный в «Литературной газете» 24 февраля 1936 г. под заглавием «О скромности и смелости» (П-СС5, 230–236). См. публикацию текста этого же выступления по архивному источнику: *Barnes, Christopher*. The Original Text of «O skromnosti i smelosti» // Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. IV. P. 294–303.

…двадц<атилетнее>… вещание, сорокалетнее безумие и

бессрочное бессмертие Гёльдерлина (о котором Горький, кстати, запрашивал меня в письме…)… – См. письмо Ц. к Горькому от 8.10.27 (Ц-СС7, 194–195).

…а не мазался бы, полемизируя с Безыменским. – Имеется в виду следующий фрагмент речи П., отвечающий на выступление А.Безыменского: «Например, Безыменский начал с таких вещей, как революция, масса, советское общество, и не без демагогии перешел на упреки, обвинив меня, как в чем-то несоветском, в том, что я не “езжу читать стихи” (его выражение). А что, если я этого не делаю именно из уважения к эпохе, доросшей до истинных и более серьезных форм? А что, если я именно в том, что кажется непонятным Безыменскому, вижу свою заслугу? А что, если, например, меня однажды пленило, как ездили и продолжают ездить Пушкин и Тютчев по своим книгам, и я все силы своего сердца отдал трудностям этих поездок в ущерб чрезмерно укоренившейся у нас легкости разъездов эстрадных?» (П-СС5, 232). Выступление Безыменского на пленуме было частично опубликовано в предыдущем номере газеты (за 16 февраля), однако тех слов, на которые ссылается П., в газетной публикации нет.

«Мы в непогодь, в стужу шли на подъем (хотя бы – напролом!), Мы пляшем и дружим и песни поем – Ласкаем детишек, растим города…», впрочем это уже не Безыменский, а Беспощадный… – Эти строки Павла Беспощадного процитированы в докладе председателя ССП Украинской ССР А.Г.Сенченко «Поэзия советской Украины» («Литературная газета», 1936, 24 февр., № 12, с. 5).

…«Откровенный разговор» – кстати, без подписи… – Речь идет о статье «Откровенный разговор: О творчестве Бориса Пастернака» («Комсомольская правда», 1936, 23 февр., № 44, с. 4) – анонимном отклике на речь П. на пленуме Союза писателей в Минске.

Откуда взял свои слова Montaigne, нет – тот безымянный, на кого Montaigne ссылается: Il me suffit de pas un. – В более полной форме Ц. использовала эту цитату из «Опытов» Мишеля Монтеня (кн. 1, гл. «Об уединении») в качестве эпиграфа к эссе «Поэт о критике» и ко второму разделу сб. «После России».

Зачем ты объявл<яешь>, что будешь писать по-другому. – Имеется в виду следующий фрагмент речи П.: «Хотя только что я усомнился в целесообразности деления стихов на хорошие и плохие, последние, вообще говоря, мыслимы в несколько другой связи. Так, для меня, товарищи, наступил подобный период, и я ему радуюсь. В течение некоторого времени я буду писать плохо, с прежней своей точки зрения, впредь до того момента, пока не

свыкнусь с новизной тем и положений, которых хочу коснуться» (П-СС5, 234).

notes

Примечания

1

Марина Цветаева, Борис Пастернак: Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов / Издание подготовили Е.Б.Коркина и И.Д.Шевеленко. М.: Вагриус, 2004.

2

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева: Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.

3

Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2003–2005. Т. 3. С. 340–341.

4

Согласно реестру писем Цветаевой, составленному О.Н.Сетницкой, всего за 1928 г. было 19 писем (сохранились черновики двух из них, фрагменты черновиков еще двух, а также одна открытка), за 1929 г. – 5 писем (сохранилось одно), за 1930 г. – 13 писем (ни одно не сохранилось). Из двух писем за 1931 г., зафиксированных в реестре (он кончается мартом 1931 г.), сохранился черновик одного. (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 834. Л. 2.)

5

Клятва <зала для> игры и мяч (*фр.*). – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. сост.*

великое Может Быть (*фр.*).

для эпатирования буржуа (*фр.*).

8

Кроме Блока, но он уже не был в живых! А Белый – другое что-то. – *Приписка М.И.Цветаевой.*

в иной (потусторонний) мир (*нем.*).

10

Аля, случайно взглянув в мое письмо: «И даже *не* при поэтах!» – *Приписка М.И.Цветаевой.*

11

Темные кипарисы! / Мир слишком уж весел, – / А ведь всё будет забыто! (*нем.*).

12

Горизонтальное и вертикальное ремесло (*нем.*).

13

Здесь: предчувствующая (*нем.*).

что я умею (знаю)! (*фр.*).

стихийный дух (*нем.*).

воскресный ребенок (*нем.*).

дом на колесах (*фр.*).

18

Чужая здесь (*англ.*).

19

Для галерки (*фр.*), для публики (*нем.*).

счастливый (*фр.*).

21

дом на колесах – ветхий дом (*фр.*). По-французски – игра слов.

духовные письма; письма духа (*нем.*).

23

NB! Формула: «первый» это последняя ступень лестницы, первой ступенью которой является «последний». – *Приписка М.И.Цветаевой.*

24

Нет, действительно, не отвечайте, пока не пришлю поприличнее. – *Приписка Б.Л.Пастернака.*

25

Кроме Устинова, написано еще и Петербург Лукницкому и Всев. Рождественскому. – *Приписка Б.Л.Пастернака*.

26

Оттого-то я и проговариваюсь, и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне, ты впору последним крайностям души, ты моя и всегда была моею, и вся моя жизнь – тобой. – *Приписка Б.Л. Пастернака*.

27

Своей высшей жизнью я живу с тобой (*нем.*).

необозримый, бесконечный (*фр.*).

склоны (*фр.*).

30

«Прикройте себя (наденьте головной убор), сударь» (*фр.*).

испытание силы (*нем.*).

винительный времени (*лат.; грамматическая категория*).

и только-то?! (*фр.*).

Букв.: долгого дыхания; долгого действия (*фр.*).

ученик (в мастерстве) (*нем.*).

(не) мастер, (а) ученик (*нем.*).

37

А также и думать о нём, а писать ему и подавно. – *Приписка Б.Л.Пастернака.*

дом на колесах (*фр.*).

величие (*фр.*).

40

Об этом (о воле, предвосхищеньи и простоте беспредельного разряда) есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный. Сейчас решил, что отделаю летом. – *Приписка Б.Л. Пастернака*.

плюсквамперфект, давнопрошедшее время (*лат.; грамматическая категория*).

сокровище Нибелунгов (*нем.*).

43

Через все миры, через все края, по концам всех дорог / Вечная пара вовек не встречающихся (*нем.*).

44

Не «воспользоваться» «случаем» письма Рильке, чтобы назв<ать> тебя еще раз. – *Приписка М.И.Цветаевой.*

45

В детстве любила, как и любовь. – *Приписка М.И.Цветаевой.*

благодарность, признательность (*фр.*).

47

То есть не надо пересылать, «принимать во внимание», «держать в известности» и пр. Но один раз из неизвестности *надо* было вывесть. – *Приписка Б.Л.Пастернака*

Человек, где ты? (*нем.*)

Я наг (*нем.*).

50

Я – многие, быть может – неисчислимо многие. Ненасытное множество, и ни один (из него) не хочет знать о другом, не должен знать. Они совершенно друг друга не знают, они иногда встречаются только во сне (*нем.*).

51

Т. е. заслоняешься ею насильно и все-таки не заслонен. Ты – это деревья, флаги, листовки, клятва. Ш<мидт> – письма. – *Приписка М.И.Цветаевой*.

52

Тебе Бога <хвалим> (*лат.*) – начальные слова католического песнопения.

Итог (*лат.*).

мое дело, мой случай (*фр.*).

55

«Я неописуемо тоскую по родине. / Мой взор застлан слезами. / Я чувствую себя далеким и женственным». И.Р. Бехер (*нем.*).

сен-жильского бескрайнего пляжа (*фр.*).

все отмщается (*нем.*).

58

Лучшее и худшее во мне – суть две пустыни (*фр.*).

59

Не снисходи; не снисхожу (*фр.*).

мысленно (*фр.*).

Весной? Мне тревожно. Скорее! Скорее! (*нем.*)

62

Райнер, что такое? Райнер, ты еще любишь меня? (*нем.*)

7 – мое любимое число (*нем.*)

Я не хочу хотеть – я не смею хотеть (*нем.*).

Поэзия (*фр.; нем.*).

По-немецки – игра слов: Nest (гнездо) и Netz (сеть).

«Я знаю!» (*нем.*)

с упором (*нем.*).

подчеркнуто (*нем.*).

страдание (*нем.*).

71

Р.М.Рильке. 1. «Сердцу тяжело от звона жаворонков, / Я одна, я ищу тебя в зеркале; / И тихо падает жизнь вокруг / Со склонов уютного холма. // Словно зашумел пруд, поднимающийся от вод стеклянного источника, / В котором тонут окно и ковер. / Девочка в кресле подобна месяцу, / И скатерти никнут и колышутся. // Часы уходят и приходят, / И покрывают морщинами стареющие руки, / Пока одна из них не сдержит вопль сердца / Взламывающим поворотом ключа. // О! – затем шум! Я думаю, смерть! / Бузина и накрапывающий дождь! / Потому что в тихой печали сердца / Жаворонки поводят головками». 2. «Каждый вечер ты, забытый ангел, / Требовательно и решительно входишь в каморку сердца. / Садишься за прялку и золотыми нитями, / Направляешь мою судьбу, так что створки сердца тлеют. // Часы склоняют колени, пьют у меня из рук. / Журчащее воспоминание разумно и без слез. / Висячая лампа тускнеет, красное блюдо – / Как банановые движенья век в море ковра. // Снаружи растут цветы, приближаются волки / И нежными зовами манят тебя прочь. / В источнике крови собирается отзвук / И неуверенно приближается к твоему – последнему слову. // Дальше – Великая пятница. IV том будет Пасха, / Когда птицы вопрошают, как человеческое сердце… И в зеркале скользит твое воскресение: / За столпотворением туч – медленно – в небеса» (*нем.; пер. Л. Викулиной*)

медовый месяц (*фр.*).

стихи злостных пропойц (*фр.; пер. М.И. Цветаевой*).

протеже (*фр.*).

ладонь (*нем.*).

так сказать (*фр.)*.

Только время! (Только времени!) (*нем.*)

Сезам, откройся! (*нем.)*

любовных песнях (*нем.*).

80

Я сейчас с тобой говорю, как с союзником, совершенно упуская <оборвано>. Я тебя сейчас зову к сонегодованию, замеч<аешь>? Как сообокраденного / Исключ<ительно> как сообокраденного. «Да вспомянете <*нрзбр.* > поэта…» – есть такой стих у П<ушки>на или я его выдумала? – *Приписка М.И.Цветаевой.*

наш случай (*фр.*).

любящие не могут, не смеют (*нем.*).

любящая… знающая… предчувствующая (*нем.*).

вещь (*нем.*).

85

Князь (*фр.*).

86

Я бы спасла своего мужа, и я бы утонула со своим любовником (*фр.*).

Потопление – наяда (*фр.*; игра слов).

околдовать (*фр.*).

Отчуждение (*нем.*).

человеческий документ (*фр.*).

прочная устойчивость (*фр.*).

с белыми руками (*фр.*).

то, что мне дано в твоем лице (*нем.*).

величайший, «первый величайший», второй величайший (*англ.*).

с самым необходимым (*фр.*).

96

Бродил я лесом… / В глуши его / Найти не чаял / Я ничего (*нем.; пер. И. Миримского*).

Или «Письмо к Р<ильке>» есть именно та «Попытка комнаты», которую я знаю? – *Приписка Б.Л. Пастернака*.

98

Твои <пропуск одного слова> как маленькие голуби… Любимая – родной лес. – *Приписка М.И. Цветаевой.*

враждебные (друг другу) братья (*нем.*).

100

Сезам, откройся (*нем.*).

«я, живущий в тысячелетиях» (*нем.*).

вещами и силами (*нем.*).

художник (художница), и через это изменник (изменница) своему полу (*фр.*).

104

«О, дети совсем не должны развлекаться. Развлекаются после 18 лет» (*фр.*).

105

Лукавое лицо (*нем.*).

свидетельское показание. – *Приписка М.И.Цветаевой*.

107

Границы округов (*фр.*).

108

Станции пересадок (*фр.*). Далее игра слов, основанная на многозначности *фр*. слова correspondance: соответствие, сходство; сообщение; переписка.

Север-Юг (*фр.*).

110

Дорогая сударыня, дорогой сударь (*фр.*) – ритуальные обращения в начале письма.

чести и счастью (*фр.*).

112

«Небесный Отец, земной ли, всё равно дело в сыновности» (*фр*.).

не пугаться ее «новизны». Я держусь за прошлое всеми своими корнями. И именно прошлое творит будущее! (*фр*.)

в несуществующем времени (*фр.*).

115

Историй Доброго Бога (*нем.*).

только времени! (*нем.*)

117

«Принимаешь ли ты меня таким, еще и таким?» (*нем.*)

пурпурная лихорадка *(фр.)*.

лазурная лихорадка *(фр.)*.

эфирная *(фр.)*.

121

<Вариант>: – Respectez les arbres fruites! сплошь заполненному падением, – одна карета помощи (на́ смерть), от авиона уже ни следа Весь разобран на память. (*Перевод*: Не трогайте фруктовые деревья! *(фр.)*.) – *Приписка М.И.Цветаевой.*

Амулет (*букв.*: приносящий счастье) *(фр.)*.

123

На сегодня – всё *(нем.)*.

<Истории> Доброго Бога *(нем.)*.

125

«И море тоже» *(нем.)*.

Красивый старик *(фр.)*.

старый красавец *(фр.)*.

хороший старик *(фр.)*.

129

«– А может быть, ты права, девочка. В своей стране он, может быть, князь» *(фр.)*.

растворилось *(нем.)*.

обольститель, вербовщик, едок, мот *(фр.)*.

«орган – атрофируется» *(фр.)*.

старанья впустую *(фр.)*.

«Новое обозрение» *(нем.)*.

135

«Я чувствую себя опровергнутым и покинутым тем миром, который был *в состоянии* раствориться без остатка в столь бессмысленном хаосе, и прежде всего чувствую, что он (этот мир. – *Л.В.*) мне *угрожает*. Потому что эти годы в большей мере, чем прежние, обязаны, должны были бы быть *моими* годами, годами самой оберегаемой работы, а теперь мою брошенную на произвол судьбы, бедную, самую беззащитную жизнь овеивает злая случайность гибели, *проистекающей из людского обмана*. Что должен я сказать? К друзьям в Швеции у меня сердечнейшее доверие. Еще в 1914 году я хотел вновь туда, после десяти лет; если бы я это сделал и пережил бы *там* самое худшее этой мировой смуты, мне было бы *родственно на душе!* Приветствуйте их на той стороне. *Мои усилия приблизиться к ним были тщетными*…. Еще одно: Корнет – это старая вещь, *надо бы оставить его в покое* и в особенности не сополагать его с музыкой; для меня он существует лишь издалека, *с этим же временем* ему *совершенно* нечего, нечего делать. Ах, как он иначе, иначе мыслился!» (*нем.; пер. Л. Викулиной*)

136

Это беспокойство, и забота, и непрекращающееся предостережение сердца во мне, которое кричит внутри, что сейчас совершаются *нескончаемые ошибки* (с немецкой стороны), я просматриваю ежедневно пять-шесть газет и так беспомощно и совершенно несведуще их читаю, каждая удостоверивает меня в этих ошибках, и с каждым вздохом я глубже втягиваю в себя укоризненное, протестующее осознание, и знаю заблуждение, и все же не могу ничего высказать, *ибо – как должен был бы мой голос, воспитанный в ином*, внезапно обнаружить себя на службе у грубейшего момента? Тут и там кто-то говорит, как я сказал бы, из схожих предостерегающих побуждений – Науманн недавно в Рейхстаге, профессор Фёрстер, принц Александр Хоенлое, – но это уже те голоса, которые не имеют силы (*нем.; пер. Л. Викулиной*).

137

И нет, нет, конечно нет: но твое *женское* рабство не так уродливо, как мое – мужское (гражданское и пр.): Водопроводческое. – *Приписка Б.Л.Пастернака*.

Настолько вблизи я его не рассматриваю *(фр.)*.

139

И спать, я спать хотела б / Всё время напролет *(нем.)*.

выбитым из колеи *(фр.)*.

141

Антенна говорит антенне *(нем.)*.

с бо́льшим сознанием значения *(фр.)*.

мужчина мечты *(фр.)*.

«из всех часов моей жизни» *(фр.)*.

145

Духовное оскудение *(фр.)*.

Маринино оскудение *(фр.)*.

скудости, сухости *(фр.)*.

смесью, путаницей *(фр.)*.

149

«Утраченных иллюзий» *(фр.)*.

по одному франку за том *(фр.)*.

большой семьей *(фр.)*.

средняя семья *(фр.)*.

153

Это не так притязательно, как ты м.б. заподозрила: я не о себе, конечно, и не прямо о тебе, а о том, что у нас общего и самого невыясненного, самого ускользающего, и, как пока еще *правы* враги: – *превратного* в смысле судьбы и пути. – *Приписка Б.Л.Пастернака.*

скрытой способности (*фр.*).

душевном оскудении *(фр.)*.

Подруге *(нем.)*.

157

Военная хитрость *(фр.)*.

158

Здоровья мужества Франция Марина *(фр.)*.

огненное волшебство *(нем.)*.

Франция *(фр.)*.

доброго перехода с одного края на другой *(фр.)*.

162

Ответь на подчеркнутое. Мне бы хотелось, чтобы позволила. – *Приписка Б.Л. Пастернака.*

мы были бы так счастливы вместе! – мы *были* так несчастны вместе! (*фр.*)

«Из моей жизни» *(нем.)*.

165

Предустановлено, чтобы деревья не врастали в небо *(нем.)*.

Богом установлено, чтобы деревья *(нем.)*.

педантично *(нем.)*.

мелочно *(нем.)*.

готова принять любую фирму *(фр.)*.

делать, не говоря *(фр.)*.

171

Здесь: слово (фр).

Здесь: дело *(фр.)*.

«маленькие звери не едят больших» *(фр.)*.

Ты права, но ты жестока *(нем.)*.

175

Лучшее и худшее во мне – суть две пустыни *(фр.)*.

176

Я не могу приехать к тебе в Валэ, у меня годовалый богатырь – Наполеон – сын, который во мне нуждается *(нем.)*.

177

«И сердце сказало ему: Тебе не больно, малыш?» *(фр.)*.

178

Мне достаточно, чтобы не было *ни одного (фр.)*.

но это же мечта! *(фр.)*.